AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

Том 1-й

ИНСТИНКТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



American Research Press

Абрам Ильич Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах



Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

All correspondence and orders of printed copies of the books should be addressed to Ludmila P. Petrova, the copyright holder of A. I. Fet and the Editor-Compiler of the Collected Works in 7 volumes. E-mail: aifet@academ.org

This book was typeset using the LaTeX typesetting system.

Cover image: "La Liberté guidant le peuple", the painting by Eugène Delacroix commemorating the July Revolution of 1830, which toppled King Charles X of France. This image is the public domain.

ISBN 978-1-59973-392-0

American Research Press, Box 141, Rehoboth, NM 87322, USA
Standard Address Number: 297-5092
Printed in the United States of America

American Research Press

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

Том 1-й

◊

ИНСТИНКТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

◊

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

Оглавление

Глава 9. Рынок и современная цивилизация

Глава 10. Начало капитализма

Глава 11. Начало социализма

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

ИНСТИНКТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Издание 3-е, исправленное

Впервые книга “Инстинкт и социальное поведение” была опубликована в 2005-м году

— Том 1-й —

Предисловие

Абрам Ильич Фет и его книга "Инстинкт и социальная поведение"

Личность Абрама Ильича Фета (1924-2007) для нашего времени уникальна; такие встречались, вероятно, в эпоху Возрождения, французского Просвещения 18 века или среди русской интеллигенции 19 века. Возможно, он был одним из последних представителей этого вымирающего вида. Его кумиром был Герцен, который, как известно, окончил естественный факультет Московского университета, обладал недюжинным писательским талантом, но посвятил свою жизнь служению обществу. В некотором смысле А. И. Фет повторил его судьбу.

Кандидатскую диссертацию по математике А. И. Фет защитил в Московском университете, когда ему едва исполнилось 24 года. Диссертация была признана выдающейся. Докторскую защитил там же. Научные результаты, содержащиеся в ней, до сих пор никто не улучшил. Любой из своих работ по математике А. И. Фет мог по праву гордиться. Но его влекла физика, и он начал сотрудничать с выдающимся физиком Ю. Б. Румером. Результатом их сотрудничества стали не только совместные книги "Теория унитарной симметрии" (М., "Наука", 1970) и "Теория групп и квантованные поля" (М., "Наука", 1977), но и собственная фундаментальная монография А. И. Фет "Группа симметрии химических элементов". (Подготовлена к печати в 1984 году, опубликована посмертно в 2010 году, Новосибирск, "Наука"). В этой работе дано физическое обоснование системы химических элементов, и ей, по-видимому, суждено стать классической. Но А. И. не давала покоя судьба человечества; он постоянно размышлял о природе человека, о путях развития человеческого общества, о судьбах человеческой культуры и цивилизации и писал об этом.

Особенно ярко общественный темперамент А. И. проявился в 70-е годы, когда по всей Польше прокатилась волна забастовок и он почувствовал в них начало развала "социалистического лагеря". Советская печать тщательно скрывала происходящее в Польше, но иностранные коммунистические газеты продавались в каждом киоске — польская "Trybuna ludu", итальянская "Unita" и др., — и А. И. был их усердным читателем. Читать между строк он научился

еще в юности. События развивались, А. И. за ними следил и скоро стал экспертом не только по текущим польским событиям, но и по всей польской истории. В 1976 году в Польше возник "Комитет защиты рабочих" (КОР) — организация интеллектуалов, ставшая центром притяжения для рабочих. А. И. восхищался организованностью КОР-а, использовавшего как легальные, так и нелегальные методы борьбы. Такое сочетание он считал наиболее плодотворным для сопротивления тоталитарному режиму и мечтал, чтобы советские интеллектуалы создали что-либо подобное: КОР мог послужить для них моделью. Эта идея стала его страстью. По горячим следам А. И. стал писать о событиях в Польше. Первоначальные заметки переросли в книгу "Польская революция". Она была издана в Париже и Лондоне и переведена на многие языки. В предисловии к лондонскому изданию итальянец Марио Корти писал: "Нам кажется, что публикуемое здесь сочинение превосходит все остальные не только по объёму и насыщенности информацией. Оно их превосходит ещё по степени понимания исторических предпосылок, сделавших возможным появление в Польше такого массового, подлинно народного движения, которое именуется Солидарностью". Автор предпочёл остаться неизвестным. Он хотел не личной славы, а освобождения России: "Муза истории — писал он — говорит сегодня по-польски. От нас зависит научить её русскому языку."

Кроме того, А. И. искал для России различные модели экономического и социального развития. В Польше в то время выходила серия книг, объясняющих основы общественного и экономического устройства разных стран: "Азбука Стокгольма", "Азбука Вены", "Азбука Берна" и т. п. Всё это А. И. переводил для самиздата. Написал ряд очерков о разных политических и экономических концепциях: что такое либерализм, консерватизм, социализм, революционизм.

Отличительной чертой А. И. Фета был особый нравственный максимализм. Он высоко ставил звание учёного и умел восхищаться широтой взгляда на мир, оригинальностью мышления и независимостью поведения лучших представителей этого сословия, но презирал тех из них, кто принял мещанскую установку "Живи, как все". С их бесконечными интригами, с их жалкими целями и жалкими поступками А. И. не мог примириться и называл это "Из жизни насекомых". Такого не прощают.

Будучи убеждённым противником тоталитаризма, А. И. полагал, в отличие от большинства правозащитников, что существующий строй нужно не улучшать, а менять. Обращаться с жалобами на беззакония к тем, кто сам их чинит, считал бессмысленным. Но

когда весной 1968 года жизнь поставила его перед выбором — подписать или не подписать петицию в защиту незаконно осуждённых, — сделал выбор не колеблясь. “Я прекрасно понимал всю бессмысленность этого письма, — говорил он позже, — но отказ расценили бы как трусость. Иметь такую репутацию я не хотел не только потому, что это стыдно, но и потому, что я имел некоторое влияние на окружающих”. Требуя независимого поведения от других, он демонстрировал его своим примером. Вокруг этого письма была развёрнута шумная пропагандистская кампания. “Подписантов” обличали на собраниях, грозили увольнением, добивались унизительного покаяния. А. И. каяться не собирался. Осенью подошло время переизбрания его по конкурсу в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР, где он работал с 1960 года, и на волне пропаганды от него смогли избавиться те, кого он так презирал — в совете института у них оказалось большинство в один голос. Изгнали А. И. и из Новосибирского университета, где он работал по совместительству: преподавание любого предмета считалось идеологической работой, преподавателей-“подписантов” увольняли всех подряд. Четыре года А. И. был безработным и жил на случайные заработки, продолжая заниматься наукой. Потом ему неожиданно предложили далёкую от его научных интересов работу в НИИ систем, от которой он отказался. Тогда его приняли в лабораторию теоретической физики Института неорганической химии. Видимо, где-то наверху нашли сложившуюся ситуацию неудобной и прикрикнули на нижестоящих чиновников. Так окончился этот урок нравственности.

Широта и глубина интеллектуальных интересов и знаний А. И. Фета совершенно необычны для нашей эпохи. Среди естественных наук, кроме математики и физики, ему особенно близка была биология. Не менее широки и глубоки были его интересы и знания в гуманитарной сфере, включая не только историю, философию, социологию, психологию, но и художественную литературу, музыку, изобразительное искусство. А. И. свободно читал не менее чем на шести или семи языках. Через его руки проходили многие сотни книг, и он почти всегда безошибочно определял истинное значение каждой из них. О тех, что оказывали на него наиболее сильное воздействие, он непрестанно говорил, а иногда даже переводил их для друзей.

А. И. хорошо знал немецкую, французскую, английскую, польскую, украинскую литературу, помнил наизусть множество стихов на разных языках. При этом он был не просто “эрудитом”: мощный

интеллект позволял ему выстраивать в единую картину факты из разных областей, на первый взгляд никак между собой не связанные. И что, может быть, всего удивительнее — с мощным интеллектом соединялась в нем необыкновенная страстность. О судьбах рода человеческого А. И. размышлял не как созерцатель, который "спокойно зрит на правых и виновных, не ведая ни жалости, ни гнева". Он ощущал себя активным деятелем, одним из тех, кто в ответе за будущее человечества. Историю с самого её начала делали не только и не столько правители, политики и полководцы, сколько духовные вожди, проповедники, философы. Среди философов и писателей прежних времён, начиная с Древней Греции, у А. И. были союзники и противники, друзья и враги; с друзьями из разных эпох и стран он постоянно разговаривал. Но ближе всех стран для А. И. была Россия, а ближе всех общественных групп — бескорыстно служившая народу русская интеллигенция, достойным наследником которой был он сам. "Русская интеллигенция погибла, но в ней можно видеть пример явления, которому принадлежит будущее" — писал А. И. в заключительной главе книги "Инстинкт и социальное поведение", которая стала итогом его многолетних размышлений о судьбах человеческого общества.

На предыстории создания этой книги стоит остановиться отдельно. А. И. очень рано обратил внимание на то, что популярные социологические теории полностью или почти полностью игнорируют биологическую природу человека. И когда в 1963 г. в Вене вышла книга "Das sogennannte Böse" ("Так называемое зло") — главный труд крупнейшего биолога и крупнейшего мыслителя двадцатого века Конрада Лоренца, основоположника этологии, науки о поведении животных и человека, — Фет сразу её прочёл, и она оказала на него сильнейшее воздействие. В этой книге Лоренц исследует открытый им инстинкт внутривидовой агрессии и из взаимодействия этого инстинкта с половым инстинктом выводит "высшие" эмоции животных и человека — ограничение агрессии, узнавание индивида, дружбу и любовь. Изучив "Так называемое зло", Фет стал разыскивать и изучать другие сочинения Лоренца. Как истинный учёный, он сумел оценить оригинальность и глубину открытий Лоренца, значение новых путей, предложенных им в исследовании природы человека и человеческой культуры. Фет не просто восхищался его идеями: они будили его собственную мысль — одни идеи Лоренца он уже мысленно развивал, другие стали толчком для совершенно новых, самостоятельных идей.

Три главных книги Лоренца — "Так называемое зло", "Восемь

смертных грехов цивилизованного человечества" и "Оборотная сторона зеркала" — Фет перевёл, но в советское время издать эти книги было невозможно, т. к. в них встречаются непочтительные упоминания о правителях коммунистических стран, хотя главное острие критики Лоренца направлено против современного капитализма с его бессмысленной и губительной конкуренцией. Эти книги составили однотомник, первое издание которого вышло в 1998 г. в издательстве "Республика" под названием "Оборотная сторона зеркала", а второе — в 2008 году, в издательстве "Культурная революция" под названием "Так называемое зло". (Для переводов А. И. Фет пользовался псевдонимом "А. И. Фёдоров"). И только в середине девяностых годов, после многих лет размышлений, Фет приступил к работе над книгой, получившей название "Инстинкт и социальное поведение".

В этой книге он поставил цель "выяснить действие социального инстинкта в человеческом обществе, описать условия, фрустрирующие его проявления, и объяснить последствия всевозможных попыток подавить этот неустранимый инстинкт".

Равновесие человеческих сообществ Фет впервые рассмотрел в этой книге как динамическое равновесие двух противоположных инстинктов — открытого ещё Дарвином социального инстинкта, играющего роль притяжения, и открытого Лоренцем инстинкта внутривидовой агрессии, играющего роль отталкивания. Оба эти инстинкта проявляются у человека в специфических, только ему свойственных формах. Специфически человеческая форма инстинкта внутривидовой агрессии была подробно изучена Лоренцем. У животных этот инстинкт корректируется механизмом, предотвращающим убийство собрата по виду; чем сильнее вооружено животное, тем категоричнее выработанный эволюцией запрет убийства. Но человек изобрёл оружие, не являющееся частью его тела, и против него природный запрет оказался слишком слабым. Однако человек, по определению Лоренца, есть животное с двумя системами наследственности — генетической и культурной, и это позволило ему выработать новый механизм корректировки, передающийся традицией. Действие этого механизма распространяется только на небольшую группу "своих", в то время как в отношении "чужих" действие инстинкта внутривидовой агрессии резко усилилось. Различение "своих" и "чужих" тоже определяется культурной традицией.

Что же касается специфической для человека формы социального инстинкта, которую Фет называет инстинктом внутривидовой солидарности, то она была открыта им самим. Специфичность этого

инстинкта состоит в его способности распространяться с меньших групп на бо́льшие. По-видимому, произошла мутация первоначального социального инстинкта, которая создала возможность распространить сплочённость и взаимопомощь с первоначальных групп на бо́льшие сообщества. "Поскольку — пишет автор в 3-ей главе книги — состав племени вводился в открытую программу социального инстинкта как подпрограмма, выработанная культурной традицией — что возможно только у человека, — то социальный инстинкт приобрёл особый характер *человеческого* инстинкта. Это была *первая глобализация* социального инстинкта, состоявшая в перенесении его с первоначальных групп на племена". Это и есть обнаруженное Фетом начало социальной истории человечества — биологическая избыточность мозга оказалась востребованной для развития культуры, которая впервые выступила как самостоятельная творческая сила. Дальнейшая глобализация зависела только от культуры. С этого времени стали выигрывать те племена, которые раньше и быстрее переносили метку "свой" на бо́льшие коллективы. На обширном историческом материале Фет убедительно показал, каким образом вся наша мораль, вся наша любовь к ближним произошла от глобализации племенной солидарности, которая постепенно превращалась во внутривидовую солидарность, каким образом метка "свой" постепенно распространялась на всё бо́льшие сообщества, охватывая в конечном счёте всё человечество.

Главная тема книги — реакция на социальную несправедливость, проходящая через всю историю и получившая в девятнадцатом веке название "классовой борьбы".

Автор доказывает, что представления людей о справедливости сложились еще при племенном строе, когда все члены общества совместно владели природным участком (теперь это называется природной рентой) и всеми видами интеллектуальной ренты. Это совместное владение соответствовало инстинктивно обусловленным правилам племенной морали и поэтому во всех племенах считалось "справедливым". Появление государства, сословий и частной собственности было для человека страшной катастрофой, так как вело к появлению социального неравенства и воспринималось как социальная несправедливость.

Здесь Фет принимает основополагающую гипотезу: "Реакция на "социальную несправедливость" стимулируется социальным инстинктом человека, непосредственным образом вызывается всеми видимыми отклонениями от племенной морали, адресатом же её

является асоциальный паразит”.

Понятие “асоциальный паразитизм” ввёл Лоренц, но не успел его систематически исследовать и ограничился рассмотрением одной очень специальной формы асоциального поведения — преступлений против личности. Фет значительно расширил диапазон этого явления, причислив к асоциальным паразитам всех, кто стремится только к собственной выгоде — не только лентяев и трусов, но и людей, присваивающих себе чужой труд или природную и интеллектуальную ренту: рабовладельцев, жрецов, помещиков, капиталистов и т. д. Он полагает, что “любое явление асоциального паразитизма, о котором человек узнаёт, вызывает в нем инстинктивную реакцию протеста и стремление к устранению этого явления”. И обстоятельно прослеживает, как проявлялась реакция на социальную несправедливость в ходе человеческой истории, используя обширный хорошо известный материал, который до него никто еще не пытался истолковать в таком аспекте. Эти исторические главы убедительно демонстрируют неустранимость инстинктов, которые в зависимости от различных культурных традиций принимают бесконечно разнообразные формы. В спокойное время они находятся под контролем культуры, но всегда неизбежно и резко проявляются в периоды социальной неустойчивости (во время войн, революций, голода и т. д.) и упадка культуры. О резком усилении действия инстинктов в периоды социальной неустойчивости и об опасности выхода их из-под контроля культурных традиций Фет неоднократно говорил в устных беседах, подчёркивая жизненную необходимость заботы о сохранении культуры в эти периоды. Для анализа таких ситуаций он использовал математическую теорию катастроф.

Фет так свободно владеет историческим материалом и так умело выстраивает форму, что исторические главы книги превращаются в блестящий очерк истории человеческой культуры под совершенно новым углом зрения — этологическим.

Историю происхождения человека лишь недавно начали изучать, и нет никакой “общепринятой” концепции этой истории, есть лишь более или менее правдоподобные гипотезы. Рассматривая происхождение человека с точки зрения развития двух основных инстинктов — социального и внутривидовой агрессии, — Фет выдвигает ряд оригинальных и прекрасно аргументированных гипотез, которые позволяют построить весьма убедительную модель происхождения вида *Homo sapiens.* Из всех мыслителей гуманистического направления он едва ли не единственный объективно и смело сказал, что в создании нашего вида решающую роль сыграл груп-

повой отбор, результатом которого стала биологическая избыточность мозга и избыточная агрессивность. Основными инструментами отбора были при этом полное уничтожение соперничающих групп и каннибализм, что по скорости напоминает искусственный отбор, протекающий несравненно быстрее естественного. История возникновения нашего вида в реконструкции Фета вызывает содрогание. Но в процессе эволюции добро и зло часто переходят в свои противоположности. Не случайно Лоренц назвал книгу об инстинкте внутривидовой агрессии "Так называемое зло": из взаимодействия агрессии с половым инстинктом эволюция выработала все высшие эмоции человека, в том числе дружбу и любовь. А Фет проследил, как под давлением инстинкта внутривидовой агрессии и социального инстинкта групповой отбор с его бесконечными войнами, истреблением племён и каннибализмом создал человека.

Фет, можно сказать, принимает эстафету у Лоренца и во многих других вопросах. Лоренц впервые рассмотрел культуру как живую систему и описал аналогии и различия эволюции видов животных и эволюции человеческих культур. Фет продолжил это описание, что помогло ему найти условия, в зависимости от которых одни спонтанно возникающие культуры тут же гибнут, а другие развиваются в динамическом равновесии нового и старого, помогло выявить опасности, заводящие культуры в тупик и ведущие их к упадку.

Другой пример передачи эстафеты — использование кибернетического языка. Лоренц был, по-видимому, первым, кто применил этот язык для описания закономерностей живой природы. (Достаточно вспомнить его идеи, относящиеся к системам с обратной связью, которая может быть отрицательной или положительной.) Фет расширил сферу применения кибернетического языка, использовав в качестве модели для наглядного описания работы инстинктов компьютер. "Компьютерный язык" с его "встроенной" и "внешней" памятью, "программами условного перехода", "открытыми программами" и "подпрограммами" оказывается для этой цели удивительно подходящим.

У животных всё поведение задано врождёнными программами. Это и есть инстинкты. Некоторые программы у них остаются открытыми и путём обучения заполняются впоследствии подпрограммами. Существенное отличие человека от других животных — понятийное мышление, неразрывно связанное с символическим языком, что даёт ему возможность воспринимать целые пакеты подпрограмм, записанных на словесном языке. Поэтому человек способен

накапливать знание, образующее культурную традицию. “Генетическая программа нашего вида — пишет автор — может действовать лишь при условии, что её программы своевременно, в предусмотренном человеческим геномом порядке заполняются подпрограммами, созданными культурной наследственностью”.

Книга так щедро насыщена идеями и мыслями, относящимися к самым разным областям знаний и человеческой культуры, что порой хочется упрекнуть автора в неумеренности. Новые подходы, парадоксальные сопоставления, неожиданный взгляд на общепринятое — всё это будит мысль читателя, но и затрудняет восприятие книги. Так упрекали когда-то Моцарта в чрезмерной мелодической щедрости: “Не успеет слух привыкнуть к одной мелодии и насладиться ею, как вы предлагаете уже другую, еще более прекрасную”. Только универсальный ум, обладающий всеобъемлющим знанием и высокой культурой мышления, может так органично соединять в исследовании биологию и математику, историю и кибернетику, философию, психологию, физику, космологию... И только универсальный подход поможет понять механизмы развития и судьбу человеческого общества — этой самой сложной живой системы, какая известна в природе. Как только Фет начинает говорить о делах человеческих, его голос звучит взволнованно и страстно: “Вероятно, это всегда бывает, когда думают или пишут о человеческом обществе: исследование общества может стремиться к объективности, но не может быть бесстрастным. А страсти — это и есть человеческое выражение инстинктов”. (Это цитата из другой, неоконченной книги, которую А. И. начал писать, будучи уже смертельно больным.) Фет со страстью говорит об упадке культуры, потому что ясно видит опасность этого явления, и упорно возвращается к мысли о путях её возрождения.

Всем мыслящим и ответственным людям, независимо от их профессий, эта книга поможет понять природу кризиса, угрожающего сейчас дальнейшему существованию человеческой культуры и самого человечества, задуматься о возможных путях преодоления этого кризиса и стать активными участниками исторического процесса.

Альберт Швейцер, один из крупнейших мыслителей двадцатого столетия, к идеям которого Фет неоднократно обращается в этой книге, писал, что оптимизм и пессимизм — категории не разума, а воли. Оптимист — это человек, готовый несмотря ни на что трудиться ради лучшего будущего. Фет, как и Лоренц, был оптимистом, и его книга зовёт всех думающих людей к оптимизму.

Творческая деятельность А. И. Фета была чрезвычайно многообразна. Здесь и ряд эссе по истории русской культуры, и написанные во времена горбачёвской "перестройки" "Письма из России", в которых дан блестящий анализ тогдашней политической ситуации в нашей стране, и статьи о проблемах образования и воспитания, и книги на общественные темы. В советское время труды А. И. часто появлялись под разными псевдонимами на русском языке в самиздате и заграничных изданиях, а также в польских переводах в полулегально издававшемся в Польше журнале "Europa". Потом кое-что из написанного им было опубликовано в отечественных изданиях, в основном малоизвестных и труднодоступных, и очень многое осталось неопубликованным. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

Издание большинства его философских, социологических и культурологических трудов еще предстоит; это трудная, но очень важная задача.

Оглядываясь на творческий путь А. И. Фета, можно с уверенностью сказать, что он стоит в одном ряду с самыми выдающимися мыслителями двадцатого столетия. Но одни мыслители выдвигают идеи, созвучные "духу времени", то есть настроениям, господствующим в их эпоху. Эти люди быстро находят признание. Другие мыслители выдвигают идеи *против* господствующих представлений; такие люди крайне редко обретают славу при жизни. Однако для движения культуры вперёд важнее всего как раз идеи, идущие вразрез с "духом времени"; неисповедимыми путями они пробивают себе дорогу в будущем. Именно таковы идеи Абрама Ильича Фета, не умевшего и не желавшего "идти в ногу с временем". Мы уверены, что его идеям суждена долгая жизнь.

А. В. Гладкий, Л. П. Петрова, Р. Г. Хлебопрос

Введение

Так называемая “природа человека” была и остаётся предметом заблуждений. Старое заблуждение было в том, что человек по природе своей ангел, но падший ангел; новое заблуждение состоит в том, что человек по своей природе зверь, но зверь, поддающийся дрессировке. Вряд ли надо доказывать, что человек никогда не был и не может быть ангелом. Но философия Нового времени, поставившая земные интересы на место небесных, впала в другую, противоположную крайность. Она изобразила человека чудовищем эгоизма и жестокости, а человеческое общество — как “войну всех против всех” (bellum omnium contra omnes). Это понимание природы человека, с циничной прямотой высказанное Гоббсом, до сих пор остаётся основой государственной мудрости западного мира. Что бы ни говорили в торжественных случаях его представители, подсознательное мышление и вытекающие из него установки этих людей предполагают, что человек — опасный зверь, всегда преследующий корыстные интересы, а вся организация общества нужна для того, чтобы держать этого зверя в узде.

Нетрудно видеть, что строй, именуемый “демократией”, в сущности опирается на эти представления. Демократия началась с насильственных притязаний власти и насильственного сопротивления этим притязаниям; она держится на принципе равновесия властей (checks and balances), то есть предполагает едва сдерживаемый конфликт, часто принимающий резкие формы. Представление Гоббса о “природе человека” по-прежнему господствует в общественной жизни. Но это представление неверно.

Выражение “природа человека” — если оно имеет какой-нибудь смысл — относится не к ангелу и не к зверю. Аристотель определил человека как “общественное животное”, но более точное определение дал немецкий антрополог Арнольд Гелен: человек — это *культурное существо* (Arnold Gehlen, *Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt*). Конрад Лоренц объясняет это определение следующим образом: “Вся система врождённого поведения и реакций человека филогенетически устроена, то есть «рассчитана» эволюцией таким образом, что *нуждается* в дополнении культурной традицией”. Культура доставляет ему язык, без которого нет человека, и многое другое, чего не содержит человеческий геном. Для понимания человека надо принимать во внимание присущие ему — и только ему во

всем живом мире — *две* взаимодействующих системы наследственности, генетическую и культурную. Только новая наука о поведении животных и человека — этология — открывает путь к такому синтезу. Конрад Лоренц в своих работах, прокладывающих новые пути в науке, внёс неоценимый вклад в самопонимание человека, сравнимый лишь с открытиями Дарвина. Лоренц открыл *инстинкт внутривидовой агрессии*, присущий всем "территориальным" животным: этот инстинкт побуждает их охранять используемую ими территорию от животных своего вида. Лоренц показал, каким образом из инстинкта внутривидовой агрессии произошло узнавание индивида, а затем все высшие эмоции животных и человека, в том числе такие специфические эмоции человека, как дружба и любовь. По этой причине он назвал свою знаменитую книгу "Так называемое зло" (*Das sogenannte Böse*), подчеркнув этим положительные аспекты агрессии.

В мире животных инстинкт внутривидовой агрессии играет роль "отталкивания". Другой инстинкт, играющий роль "притяжения", был открыт Дарвином — это *социальный инстинкт*, определяющий условия общественной жизни стадных животных. Именно этот, ещё недостаточно изученный инстинкт определил образование первоначальных человеческих групп, а затем, вместе с культурными факторами, племён и государств. Равновесие животных сообществ, и в частности человеческих обществ, зависит от динамического равновесия этих двух великих инстинктов. В природе равновесие всегда достигается таким образом — как результат действия противоположных сил: простейшим примером является уже равновесие молекул кристалла, в конечном счёте возникающее за счёт наличия двух электрических зарядов.

Один из стереотипов философии — предполагаемая "неизменность человеческой природы". Философы считали этот тезис столь очевидным, что даже не затрудняли себя доказательствами, ограничиваясь пессимистическими замечаниями о человеке — с примерами, которые нетрудно подобрать. Но если можно сравнивать людей разных эпох и культур, это не значит, что надо сравнивать новорождённых. В таком случае "неизменность" можно в самом деле оправдать, поскольку анатомия и физиология человека вряд ли сильно изменилась с эпохи неолита. Сравнивать надо взрослых людей, сложившихся в их культуре; а тогда обнаруживается *изменчивость* "природы человека", как раз и делающая это понятие интересным. Культурная наследственность позволяет людям передавать потомству приобретённые ими знания и навыки. Наследование

приобретённых признаков, постулированное Ламарком и отсутствующее в биологии, парадоксальным образом обнаруживается в человеческой культуре. Вследствие этого необычайно ускорилась эволюция человека. Эта же причина обусловливает пластичность человеческой природы, способной к необычным в живой природе превращениям.

Однако, в человеческой природе есть древнейший слой, определяемый инстинктами, то есть генетической наследственностью. Этот слой не может быть изменён культурой, хотя формы проявления инстинктов зависят от культуры и определяют облик этой культуры. Биологическое в человеке всегда противилось формальному подходу и считалось "иррациональным". С ним связаны понятия "добра" и "зла": первое из них представляет в фантастической форме социальный инстинкт, а второе — инстинкт внутривидовой агрессии. В этом слое нашей психики содержатся и правила племенной морали, определённые социальным инстинктом и распространённые мутацией на больший коллектив — человеческое племя, а в наше время это общее достояние всех племён превращается, в ходе культурной эволюции, в этику будущего человечества. Эти правила племенной морали были нарушены в ходе развития общества, где возникли структуры и отношения, воспринятые человеком как "социальная несправедливость".

Предметом этой книги является реакция на "социальную несправедливость", проходящая через всю историю и получившая название "классовой борьбы". Классовая борьба возникает вследствие ряда причин, биологических и культурных, взаимодействие которых я пытаюсь описать. Моя главная цель — выяснить действие социального инстинкта в человеческом обществе, описать условия, фрустрирующие его проявления, и объяснить последствия всевозможных попыток подавить этот неустранимый инстинкт. Я начинаю с описания системы инстинктов человека с точки зрения этологии, отмечая специфически человеческие черты этих инстинктов, единственные в животном мире. Затем я рассматриваю биологическую составляющую истории на известном материале, который, по-видимому, никто ещё не пытался истолковать с этой стороны. Наконец, в конце книги я привожу некоторые удручающие факты, касающиеся нынешнего биологического и культурного положения человека — факты, уже отчасти указанные в книге Лоренца "Восемь смертных грехов цивилизованного человечества". Более подробное представление о содержании книги можно составить из оглавления.

Я не пытаюсь определить, что такое справедливость: это слово

означает обычно соблюдение принятых в обществе правил, но такие правила зависят от места и времени. Напротив, инстинктивная реакция, которая меня интересует, имеет биологическое происхождение: она обусловлена социальным инстинктом человека и потому не может быть изменена. Но можно изменить фрустрирующую человека культуру, определяющую условия действия наших инстинктов. Институт демократии несомненно нуждается в реформе. Этот институт образовался в Средние века и содержит в себе отчётливое отрицательное представление о человеке, заимствованное из христианской эсхатологии. Но демократия меняется. Она уже не нуждается в смертной казни и не привязывает человека к позорному столбу. Если сравнить наше нынешнее понимание демократии, например, с английскими законами начала девятнадцатого века, то изменение демократии оказывается очевидным фактом. Демократия всё ещё нуждается в силе — и не должна быть слабой — но она больше доверяет человеку. Меняется не только "человеческая природа", но и наше представление о ней.

Философы всегда были пессимистами — не только кабинетные мыслители вроде немецких идеалистов, но даже более знакомые с человеческим обществом, такие, как Юм, тоже веривший в неизменность "природы человека". Биологическая революция в философии, произведённая Лоренцем, может изменить эту укоренившуюся установку. Мы знаем теперь, что в человеческом обществе возникает обратная связь — самопонимание общества и сознательное изменение его усилиями человека. Нынешнее общество, с его механическими реакциями на случайные события, вообще нежизнеспособно. Если человечество выживет, то возникнет новое общество, где будет жить новый человек. Это далёкая цель, но ничто меньшее нас не спасёт.

Глава 1

Инстинкт

1. Понятие инстинкта

Поведение человека, как и всех животных, зависит от наследственных механизмов. Всегда было известно, что животное каждого вида имеет от рождения некоторый набор присущих ему способов поведения, характерный для этого вида.

Средневековые схоласты не сомневались, что живые организмы получают при рождении все свои способности от бога. Они полагали, что человек, их повелитель, наделяется от рождения сверхъестественной духовной силой — бессмертной душой. Более того, философы вплоть до Нового времени полагали, будто человек уже при рождении обладает некоторым “априорным знанием”, включающим основные понятия математики, логики, и даже представление о боге.

Последний удар этим представлениям нанесли философы-эмпиристы семнадцатого и восемнадцатого веков, в особенности Локк и Юм, по существу отрицавшие все “невидимые” факторы в поведении животных и человека. Они сводили все способности живых организмов к реакциям на полученные ощущения и к основанным на этом опыте процессам обучения, согласно афоризму: nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu (в разуме нет ничего, чего не было раньше в ощущении). Крайним выражением их доктрины было представление, будто психика новорождённого пуста, как “чистая доска” (tabula rasa). Таким образом, предполагалось, что при рождении животное (и человек) “ничего не знает”, но многому способно научиться. Однако, такая способность уже предполагает весьма сложное строение системы, усваивающей обучение — строение, вряд ли совместимое с представлением о “чистой доске”.

Биологи стали называть врождённые способы поведения словом “инстинкт”, от латинского instinctus, означающего “побуждение”. Неумение биологов объяснить, откуда берутся такие побуждения, породило в девятнадцатом веке построения так называемых “виталистов”, постулировавших для этой цели особую “жизненную силу”, присущую всему живому и не сводимую к другим, известным

из физики силам природы. В этой “жизненной силе” нетрудно было узнать возродившееся представление о душе, распространённое с человека на все живые организмы, и хотя такую силу нельзя было обнаружить на опыте, эта спекуляция перешла в модную философию того времени, так называемый “интуитивизм”.

С другой стороны, психологи-бихевиористы, последователи В. Вундта, Э. Л. Торндайка и И. П. Павлова, придерживаясь концепций эмпиризма, пытались свести всё поведение животного к реакциям на те или иные стимулы, наблюдаемым в лабораторных условиях. Поскольку бихевиористы не признавали врождённых механизмов поведения, они избегали самого понятия “инстинкт”. Это резко ограничивало понимание поведения: уже простейшие физиологические функции — такие, как дыхание и сокращение сердца — не являются реакциями на внешние условия, а стимулируются “эндогенными”, то есть врождёнными внутренними механизмами, хотя и находящимися под влиянием внешней среды; кроме того, поведение животного в природных условиях несравненно сложнее, чем в лабораторном опыте.

Между тем, к середине двадцатого века возникла новая наука о поведении — этология, главным создателем которой был Конрад Лоренц, величайший биолог нашего времени. Эта наука оказалась в полном согласии с современной экспериментальной физиологией и кибернетикой, и в свете её достижений заблуждения виталистов и бихевиористов стали уже достоянием истории. Инстинкты стали в этологии предметом глубокого изучения. Нет надобности отказываться и от самого термина “инстинкт”, принятого такими исследователями, как Дарвин, Лоренц и Тинберген. Я попытаюсь объяснить дальше в этой главе, что́ в настоящее время называется *инстинктом.*

Как уже было сказано, *инстинкты — это врождённые способы поведения животного.* Они вовсе не сводятся к реакциям на происходящее в окружающей среде. Животное часто проявляет инициативу, то есть начинает некоторую последовательность действий, приводящую к полезному для него результату. По аналогии с поведением человека, такое поведение животного называли *целенаправленным*, или *целесообразным.*

Биологи всегда поражались совершенной приспособленностью животных к условиям их жизни. В ряде случаев они могли видеть, “зачем” нужны животному те или иные формы строения или способы поведения. Например, кривые когти кошки служат ей, чтобы хватать мышей, и для поимки мышей у кошки есть сложные

приёмы охоты. Дарвин показал, каким образом возникли эти приспособления. В данных природных условиях животные одного вида вступают между собой в конкуренцию за использование имеющихся ресурсов, в которой более приспособленные особи имеют больше шансов выжить и оставить потомство, передавая ему свои свойства. В конечном счёте остаются лишь особи, обладающие полезным свойством, и вид таким образом меняется. Этот процесс Дарвин назвал *естественным отбором*.

Таким образом, совершенные приспособления живых организмов получили причинное объяснение, и все представления о "целях" развития, чуждые научному объяснению природы, были изгнаны из биологии. Когда биолог спрашивает, "зачем" нужна некоторая форма или некоторое поведение, этот вопрос надо понимать в следующем *условном* смысле: "какие природные условия вызвали естественный отбор, выработавший эти приспособления". Говорят, что эти условия производят *селекционное давление*, способствующее этим приспособлениям. Говорят также, что эти приспособления *способствуют сохранению вида*, поскольку виды, у которых не выработались такие приспособления, попросту не могли выжить.

Как видно из наблюдения животных, их поведение следует определённым правилам, напоминающим программы работы машин, но более сложным. Может показаться, что слово "программа" вряд ли подходит к бессознательному поведению животного, и потому должно быть поставлено в кавычки. Но существуют программы, не составленные человеком. В самом деле, в основе всех форм поведения животного лежит врождённая программа построения индивида, записанная в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), несущей в себе наследственную информацию о строении и функциях этого животного. Эта информация "закодирована" в виде строгой последовательности нуклеотидов — групп атомов, задающих производство аминокислот и, тем самым, составляющих организм белков. Нуклеотиды играют ту же роль, что буквы в написанном человеком сообщении; отсюда и пошло выражение "генетический код".

Расположение кодирующих символов в одну строку, или "линейное" расположение, есть простейший и самый естественный способ передачи сообщений, в котором, разумеется, порядок записи символов важен для "прочтения" заложенного в сообщении содержания. Этот способ "изобрела" эволюция миллиарды лет назад; поскольку он лежит в основе жизни, неудивительно, что им воспользовалось и человеческое мышление, которое выражается словесным языком и записывается в виде *текстов*. Изобретатели компьютера созна-

тельно воспроизвели его в кодировании компьютерных программ условными знаками. И когда через несколько лет — в пятидесятых годах — Крик и Уотсон открыли механизм молекулярной наследственности, общий для всех живых организмов, они с самого начала сопоставляли программы, записанные в ДНК, с компьютерными программами. Естественно, такой способ выражения стал неизбежным при рассмотрении инстинктивного поведения: оно уподобляется работе компьютера по заданной программе.

Иначе говоря, для понимания определённых закономерностей человеческого поведения полезной *моделью* человека оказывается компьютер. Конечно, это никоим образом не означает, что человек есть нечто вроде компьютера, как это провозглашали на заре кибернетики некоторые её энтузиасты. Напомним, что такое модель. Пусть изучается сложная система A; допустим, что мы нашли более простую систему A', воспроизводящую с достаточным приближением *некоторые* структуры и функции системы A. Тогда A' называется моделью A, и на такой модели можно изучать интересующие нас структуры и функции, отвлекаясь от других структур и функций, имеющихся в A. Когда, например, студент Базаров "резал лягушек", он делал это для изучения анатомии и физиологии человека, то есть структуры и функций человеческого тела. Человек был здесь системой A, а лягушка — системой A', и Базаров занимался моделированием человека, хотя он делал это задолго до научного употребления слова "модель". Точно так же, как лягушка может быть упрощённой, неизбежно искажённой, но полезной моделью человека, имитирующей его телесные функции, компьютер удобен для изучения некоторых *простейших* способов мотивации человеческого поведения. О более сложных явлениях жизни я буду говорить на другом языке.

Преувеличение роли компьютеров в современном обществе, и особенно в воспитании детей, я воспринимаю как большую опасность для культуры, ведущую к её дальнейшему упадку. Но при попытке изложить мысли, содержащиеся в этой книге, я не мог обойтись без компьютерной модели, знакомой теперь всем читателям. Конечно, не только человек, но и любое животное устроено и действует сложнее компьютера. Далее, животное, в отличие от компьютера, снабжено рецепторами, органами восприятия внешнего мира, и эффекторами, органами воздействия на внешний мир. Компьютер же, как и все машины, связан с внешним миром лишь очень специальным образом — посредством человека, задающего ему материал для работы и использующего результаты этой работы. Прямой

связи с окружающим миром у компьютера нет — если только человек не соединяет его с другими, посторонними ему устройствами. Есть основания думать, что животные, и тем более человек *принципиально* сложнее компьютеров, то есть не сводимы к принципам, заложенным в устройство компьютеров. Но для многих функций человеческой психики, которые нас интересуют, компьютерная модель полезна, и сравнение с компьютером не обидно. Когда мы поймём, как работают инстинкты, об этой модели можно будет забыть. Как читатель сможет убедиться, это книга о *человеческом обществе*, а вовсе не о компьютерах. То немногое, что читателю нашей книги нужно знать о компьютерах, сообщается в этой главе.

В геноме животного запрограммировано построение его тела и его возможное поведение. Разумеется, многие функции органов тела не нуждаются в подробном программировании, а сами собой получаются в результате химических процессов или в виде автоматических реакций уже построенных механизмов. Конечным же результатом является определяемое геномом *поведение животного*, то есть его будущая жизнь, начиная с работы внутренних органов тела до сложнейших форм обучения и воспитания потомства.

Заметим, что у живого организма, в отличие от компьютера или любой машины, нет "пользователя", приводящего его в действие и назначающего ему программу работы. Простейшие программы его включаются автоматически при его рождении, а более сложные формы поведения запускаются внешними воздействиями, стимулирующими тот или иной инстинкт. Понятно, какие виды поведения животного вызывает, например, внешняя опасность: в геноме запрограммирован для этих случаев запуск механизмов защиты или бегства. В случае голода химические стимулы, исходящие изнутри организма, включают механизмы поиска пищи, при отсутствии каких-либо внешних возбудителей. Аналогично, каждый инстинкт имеет свои включающие его стимулы, которые нам большей частью неизвестны и действуют даже при отсутствии каких-либо видимых мотивов. Дело происходит так, как будто в геноме животного запрограммировано стремление привести в действие *каждый* инстинкт, так что это стремление неудержимо проявляется через определённое время в соответствующем поведении. Такое поведение, выражающее потребность в выполнении инстинктивного действия, называется *аппетентным*[1].

[1] От латинского appetentia, означающего "сильное желание, стремление, страсть".

Мы укажем здесь только "большие" инстинкты, необходимые для выживания особи и вида. Более полные сведения об инстинктах и их взаимодействии можно найти в знаменитой книге Конрада Лоренца "Так называемое зло"[1]. Прежде всего это инстинкты, присущие всем без исключения животным: *инстинкт самосохранения*, *инстинкт питания* и *инстинкт размножения*. Целью этих инстинктов является, соответственно, спасение от смерти, спасение от голода и продолжение рода. Разумеется, понятие "цели" надо понимать здесь в указанном выше биологическом смысле: оно означает выработанные эволюцией программы, применение которых даёт тот или иной результат.

Далее, к "большим инстинктам" надо причислить ещё два инстинкта, присущих в той или иной степени многим высшим животным, во всяком случае, приматам и человеку: это *социальный инстинкт*, открытый Дарвином, и *инстинкт внутривидовой агрессии*, открытый Лоренцем. Книга Лоренца "Так называемое зло" сыграла в наше время столь же важную роль в самопонимании человека, как в девятнадцатом веке книга Дарвина "Происхождение видов".

Социальный инстинкт особенно важен для общественных, или стадных животных, типичными примерами которых являются муравьи, сельди, гуси, волки и обезьяны. Образ жизни таких животных был издавна известен, и еще Аристотель заметил, что и "человек — общественное животное". Но только Дарвин систематически изучил социальный инстинкт, особенно в применении к человеку, в своей книге "Происхождение человека и половой отбор".

Социальный инстинкт определяет для каждого вида возможный размер стада и правила поведения в стаде, то есть реакции на собратьев по стаду. Для всех видов приматов типичная численность стада составляет несколько десятков. Так же обстояло дело, несомненно, у наших предков-гоминид; нынешние сообщества людей, гораздо более многочисленные, зависят, как мы увидим, не только от генетической наследственности.

На первый взгляд, есть совсем не общественные животные, проводящие почти всю жизнь в одиночестве: таковы тигры, медведи и многие рыбы и птицы. Но Тинберген замечает, что поскольку и эти животные сходятся на время спаривания, они также являются в некоторой мере общественными. Более того, медведи, населяющие

[1]Konrad Lorenz. *Das sogenannte Böse.* Borotha — Schoeler Verlag, Wien, 1963. Русский перевод опубликован в 1998 г. издательством "Республика" в сборнике работ Лоренца под названием "Оборотная сторона зеркала".

некоторую территорию, редко видят друг друга, но сложным образом взаимодействуют, выбирая половых партнёров; совершенно необщественных животных, по-видимому, нет.

Социальному инстинкту очень не повезло: последователи Дарвина интересовались главным образом конкуренцией между особями одного вида, обусловливающей естественный отбор, но пренебрегали сотрудничеством собратьев по виду. Особенно пренебрегали действием социального инстинкта у человека так называемые "социал-дарвинисты", часто рассматривавшие историю человечества как "войну всех против всех", для чего у них было наготове соответствующее латинское изречение. В действительности высшие животные, как хорошо знал уже Дарвин, не убивают особей своего вида: конкуренция внутри вида сводится к соревнованию в использовании ресурсов, но не означает прямого уничтожения конкурентов. Социал-дарвинисты некритически перенесли на весь животный мир обычаи человеческого общества, а потом, для обоснования агрессивной политики своего государства, ссылались на полученный таким образом "всеобщий биологический закон". Ясно, что в этих условиях социальный инстинкт находился в пренебрежении[1].

Инстинкт внутривидовой агрессии, открытый Лоренцем и описанный им в уже упомянутой книге, свойствен всем "территориальным" животным, то есть получающим питание с определённого участка и охраняющим этот участок от особей своего вида. Такими животными являются многие хищники, то есть животные, питающиеся животной пищей, в том числе утиные и врановые птицы, псовые и кошачьи млекопитающие, а также приматы. Человек в высшей степени агрессивен — больше всех других животных.

Биологический смысл инстинкта внутривидовой агрессии состоит в изгнании со "своей" территории любой особи собственного вида, чем обеспечивается равномерное заселение его ареала — всей пригодной для этого вида области Земли. Если бы не этот инстинкт, животные одного вида стремились бы селиться только в самых благоприятных местах, что привело бы к перенаселению и бескормице. Инстинкт внутривидовой агрессии побуждает животное нападать на любого представителя своего вида, оказавшегося на его участке; но такое нападение на "чужого" обычно завершается лишь его изгнанием со "своей" территории, а вовсе не убийством. Убийство особей своего вида опасно для его сохранения; чтобы предотвратить

[1]Исключение составляет выдающийся натуралист П. А. Кропоткин, автор книги "Взаимная помощь как фактор эволюции" (*Mutual Aid: a Factor of Evolution.* London, 1902).

такое убийство, эволюция выработала утонченные механизмы. Владелец участка на своей территории оказывается “сильнее” чужого, но, перейдя невидимую (для нас) границу, сразу же “слабеет”. Таким образом, в большинстве случаев изгнание чужого достигается демонстративным “поединком”. Более того, эволюция скорректировала инстинкт внутривидовой агрессии добавочным инстинктом — механизмом “подчинения”: более слабый из соперников даёт сигнал, автоматически останавливающий дальнейшее нападение. Наконец, эволюция создала и другие корректирующие инстинкты, защищающие от агрессии самок и потомство.

Конрад Лоренц открыл методы, позволившие восстановить *эволюцию поведения* животных. Название его книги означает, что внутривидовая агрессия вовсе не является “злом”: напротив, как он показал, из взаимодействия инстинкта внутривидовой агрессии с половым инстинктом возникли все высшие эмоции животных и человека: узнавание индивида, дружба и любовь.

Узнавание индивида было биологически необходимо, чтобы “владелец” участка мог узнавать своих “соседей”, не принимая их за опасных агрессоров и не затрачивая энергию на бессмысленные нападения. Узнавание индивида было первым шагом к формированию того, что мы, люди, называем “личностью”, и к развитию высших эмоций, которое привело к возникновению человека. С другой стороны, произведение и воспитание потомства требовало сотрудничества особей разного пола, и поскольку инстинкт внутривидовой агрессии действует в отношении всех особей собственного вида, необходимы были способы безопасного сближения партнёров. Это привело к возникновению сложных механизмов, в которых “притяжение” полового инстинкта взаимодействует с “отталкиванием” инстинкта внутривидовой агрессии и инстинкта самосохранения. Эти механизмы известны нам, людям, под названием “любви”. Таким образом, эволюция выработала внутривидовую агрессию для равномерного расселения вида и создала у животных “высшие эмоции”, чтобы предотвратить вредные последствия этой агрессии. Разумеется, “цели” эволюции надо понимать в смысле Дарвина — как некоторые критерии отбора, заданные условиями существования вида.

Там, где нет агрессивности, не образуются ни личные связи, ни коллективы, способные к сложным взаимодействиям и к защите от внешних опасностей. Книга Лоренца об агрессии “Так называемое зло” сыграла в двадцатом веке столь же важную роль, как за сто лет до этого “Происхождение видов”: она открыла путь к лучшему самопониманию человека.

Значительно меньше описано взаимодействие социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии. В стаде животных эти два инстинкта действуют как сила притяжения и сила отталкивания, напряжение которых поддерживает равновесие социальной системы. Лоренц описал это равновесие на примере серых гусей. Джейн Гудолл[1] подробно изучила "системообразующее" напряжение этих инстинктов в своих многолетних наблюдениях над шимпанзе в их естественной среде.

Конечно, наибольший интерес представляет взаимодействие тех же инстинктов в случае человека. Это взаимодействие фантастическим образом отразилось в извечном противопоставлении "добра" и "зла", в древних метафорах "Эрос" и "Танатос", а в Новое время — в квазинаучных терминах "либидо " и "мортидо". Весьма вероятно, что Лоренц собирался заняться этим вопросом во втором томе своей последней книги "Оборотная сторона зеркала" [2], но смерть помешала ему завершить этот труд. Некоторые идеи, относящиеся к человеческому обществу, он опубликовал в лекциях под названием "Восемь смертных грехов цивилизованного человечества".[3]

2. Открытые программы

Самые простые инстинктивные программы предписывают животному единственную последовательность движений, выполняемых одно за другим в строго определённом порядке. У низших животных, например, у насекомых, наблюдаются врождённые, строго автоматические последовательности инстинктивных действий. Оса вида сфекс парализует сверчка, прокалывая жалом три его ганглия, а затем помещает его в норку для питания своей личинки. Все эти операции жёстко "запрограммированы": например, сфекс втаскивает сверчка в вырытую ямку за усики, но если обрезать парализованному сверчку его усики, то сфекс не умеет втащить его в норку; а если вытащить сверчка из норки, то сфекс возвращается к норке и снова замуровывает её песком, хотя вылупившаяся там личинка должна неминуемо погибнуть. Подобные

---

[1] Jane Goodall. *The Chimpanzees of Gombe. Patterns of Behavior.* The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London, 1986. Есть русский перевод: Джейн Гудолл. Шимпанзе в природе: поведение. "Мир", 1992.

[2] Konrad Lorenz. *Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens.* R. Piper & Co. Verlag, München, 1973. Русский перевод в цитированном выше сборнике работ Лоренца.

[3] Konrad Lorenz. *Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit.* R. Piper Verlag, München, 1973. Русский перевод в том же сборнике.

автоматические операции больше напоминают работу машины, чем сознательные действия человека; но слово “программа” давно уже было перенесено с действий человека на действия вычислительной машины. У высших животных, и в особенности у человека, таким образом программируются лишь простейшие инстинктивные реакции, как, например, отдёргивание пальца при уколе или опускание века при опасности для глаза, и составные элементы более сложных движений. Программы поведения, преобладающие у низших животных, сохранились у высших животных и человека лишь в виде коротких “автоматических” последовательностей. Аналогичные “жёсткие” программы встречались во многих машинах и до изобретения компьютера; примерами могут служить шарманка, торговый автомат или арифмометр.

Высшие животные способны делать выбор: в зависимости от обстоятельств, обнаруживаемых в ходе выполнения программы, они выбирают то или иное продолжение этой программы — также из запаса инстинктивно заданных программ. Подобный механизм выбора применяется в компьютере и составляет его принципиальное отличие от более простых машин; этот механизм называется *командой условного перехода* (conditional jump). Значение этой идеи, уже известной в математической теории, подчеркнул фон Нейман, которому принадлежит первое систематическое изложение концепции компьютера. Условные переходы — важная часть того, что надо знать о компьютерах при чтении этой книги. Мы поясним это понятие на простом примере.

Предположим, что дан перечень данных для выполнения некоторого проекта, и имеется программа вычисления стоимости проекта. Исходя из данных, программа вычисляет стоимость проекта. На каждом шаге вычисления сумма расходов возрастает. Если она достигает заданной предельной величины, команда условного перехода останавливает работу компьютера и выдаёт символ, означающий невозможность проекта. В противном случае вычисление продолжается, и после исчерпания программы выдаётся стоимость проекта.

Уже такой простейший условный переход выходит за пределы возможностей некоторых насекомых, неспособных остановить действие жёстко запрограммированной последовательности движений, даже если оно становится бессмысленным. Но высшие животные ведут себя так, как будто их инстинктивные программы содержат условные переходы.

В более общем случае “ветвление” команды может выглядеть следующим образом. Предположим, что целью программы A яв-

ляется нахождение некоторого числа, заключённого в "массиве памяти" M (внутри компьютера). Пусть, далее, массив M состоит из нескольких частей — например, из трёх отдельных массивов M_1, M_2, M_3. Поиск состоит в следующем: "основная" часть A_0 программы A вычисляет, по некоторым введённым в компьютер исходным данным, число q, заключённое между нулём и единицей; затем, если q меньше 0,3, команда условного перехода включает некоторую вспомогательную программу A_1, начинающую поиск в массиве M_1 и выдающую окончательный результат; если q не меньше 0,3, но меньше 0,7, включается другая программа A_2, находящая результат в массиве M_2; и если q не меньше 0,7, но не больше 1, включается третья программа A_3, находящая результат в массиве M_3; при этом программы поиска A_1, A_2, A_3 могут быть различны. Они находятся в компьютере в качестве встроенных в него программ и называются *подпрограммами* программы A.

Такой "поиск с вариантами" представляет простейший случай. Но чаще всего встроенные в компьютер подпрограммы и массивы памяти дополняются "внешними" подпрограммами и массивами памяти, следующим образом. В компьютере оставляются "пробелы" для подключения "внешних" подпрограмм и массивов, которые вводит в эти места пользователь, и к которым может обращаться основная программа A_0. Вместе с этими пробелами A_0 образует "открытую программу", возможности которой таким образом значительно расширяются: она способна вести поиск не только "внутри компьютера", но, в некотором смысле, и во "внешнем мире".

Устройства, аналогичные встроенным подпрограммам, несомненно имеются в геноме животных. Эти подпрограммы соответствуют наиболее обычным ситуациям, какие могут встретиться в жизни особи данного вида. Допустим, что геном содержит программу некоторой инстинктивной последовательности действий — например, поиска пищи. Тогда в этом геноме, выработанном эволюцией и отражающем исторический опыт вида, закодированы ситуации A_1, A_2, ..., обычно встречающиеся при поиске пищи.

Запас программ, заключённый в геноме животного, содержит все врождённые способы его инстинктивного поведения, от автоматических программ внутренних органов до сложнейших способов возможного для него обучения. Этот запас программ аналогичен набору встроенных в компьютер исходных программ, с которыми его продают[1].

[1] В распространённой серии компьютеров этот набор носит название BIOS.

В геноме программируются не только способы поведения, но и некоторые виды обучения. Способы обучения часто требуют участия других особей. Например, при рождении котёнок наделён инстинктивной программой, побуждающей его ловить движущиеся мелкие предметы; но поедание пойманных предметов не входит в эту программу — вероятно, потому, что распознавание их съедобности входит в другую программу. Если котёнок встретится с мышами, он будет их ловить, но не будет есть. У кошки-матери, в свою очередь, есть врождённая программа, побуждающая её учить котёнка есть пойманных мышей и других подобных животных. Обе эти программы сочетаются в поведение, нужное для питания; котёнок, выращенный без матери, или с матерью, но в отсутствие мышей, будет их ловить, но не будет есть. По-видимому, здесь ловля добычи отделена от распознавания съедобности. Вся эта последовательность действий, включая обучение детёнышей, "предусмотрена" геномом.

Но, как известно, животные — во всяком случае, высшие животные — способны также к *индивидуальному* обучению, "не предусмотренному" геномом и зависящему от условий жизни отдельной особи, хотя и ограниченному обычными условиями жизни вида. Индивидуальное обучение позволяет животному вырабатывать способы поведения, не закодированные заранее в геноме. Например, крысы способны обучаться распознаванию и употреблению (или неупотреблению) новых видов пищи, даже искусственно изготовленной человеком. Соответствующие подпрограммы поведения, конечно, не могут содержаться в геноме, поскольку речь идёт о ситуациях, заведомо не встречавшихся в истории вида. Дело происходит так, как будто в программу поведения животного вводится "внешняя" подпрограмма, наподобие того, как это делает пользователь компьютера. Для этого нужны свободные массивы памяти, заполняемые "извне" и при необходимости подключаемые к основной программе — в предыдущем примере к программе поиска пищи. Наследственные программы с возможностями подключения "внешних" подпрограмм несомненно лежат в основе всякого индивидуального обучения. Эрнст Майр [Ernst Mayr] назвал такие программы (в 1967 году) *открытыми программами.* Вряд ли надо объяснять важность таких открытых программ для всех видов высшей психической деятельности, особенно у человека.

С индивидуальным обучением связан естественный вопрос: каким образом хранится приобретённая этим путём информация? После открытия молекулярных носителей памяти — молекул ДНК —

сразу же возникло предположение, что в этих молекулах записываются вообще все виды имеющейся у живого организма информации. Но попытки обнаружить в ДНК "приобретённую" информацию не привели к цели. Как полагает Лоренц, основная генетическая информация, заключённая в геноме, должна быть, напротив, ограждена от всяких случайных "модификаций" — может быть, полезных для индивида, но не обязательно нужных для сохранения вида. Накопление такой информации "переполнило" бы даже весьма ёмкие молекулярные хранилища памяти, а ввод и вывод её из молекул ДНК представлял бы очень сложную задачу, вряд ли осуществимую в приемлемые для этого сроки. Лоренц предполагает, что массивы памяти, куда вводятся "внешние" подпрограммы поведения, находятся *в мозгу*, в виде стационарных замкнутых токов, протекающих по цепочкам нервных клеток — нейронов. Таким образом, у животных имеется "внешняя память", аналогичная так называемой внешней памяти компьютеров и находящаяся в том же организме, но вне генома.

Эта весьма правдоподобная гипотеза объясняет также, почему индивидуально приобретённая информация не передаётся по наследству: наследуется только геном, но видоизменения в структуре мозга гибнут вместе с индивидом. Точно так же, вы не можете обучить ваших детей генетическим путём тому, что хранится в вашей "еще более внешней" памяти — в книгах вашей библиотеки. Когда говорят, что способности в некоторой степени "наследуются", то имеют в виду лишь генетическую наследственность: детям передаётся только то, что уже было в геноме родителей.

Вопрос о "наследовании приобретённых признаков" играл важную роль в истории биологии. Ламарк построил всю свою теорию эволюции на предположении, что признаки, приобретённые в течение индивидуальной жизни животного, передаются по наследству, отчего и происходит изменение видов. Механизм естественного отбора, открытый Дарвином, сделал это предположение излишним; но всё же Дарвин пошёл на некоторые уступки "ламаркизму", признав (во втором издании "Происхождения видов") возможное значение также за "наследованием приобретённых признаков". Эти уступки объяснялись упорными утверждениями ряда авторов, якобы наблюдавших такие явления. В каждом отдельном случае эти утверждения со временем опровергались, но повторяются и по сей день.

Изредка случается, что "изобретение", сделанное отдельным животным, в течение некоторого времени становится предметом обучения в небольшом сообществе его собратьев по виду. Японские

этологи давали макакам картофель, испачканный землёй, и одна молодая самка догадалась мыть его в морской воде; затем она же стала очищать смешанное с песком зерно, бросая его в воду и вылавливая всплывавшие зерна. Эти навыки были усвоены другими наблюдавшими их макаками (всего 19 особями). Однако, для такого обучения необходимо наличие не только "изобретателя", но и подходящей ситуации, чего-то вроде учебного пособия, что случается редко и обычно не повторяется; а "сообщения" о происшедшем не могут сохраняться, поскольку у животных нет языка. Поэтому у животных не образуется *накапливающееся знание* — то, что мы называем *традицией*.

Единственным способом изменения видов животных являются случайные изменения генома — *мутации* — и естественный отбор, закрепляющий *крайне редкие* полезные для сохранения вида результаты мутаций. Отсюда ясно, почему эволюция видов происходит так медленно: образование нового вида может занимать миллионы лет.

3. Генетическая и культурная наследственность у человека

Человек — единственный вид, который не может существовать с одним только генетическим механизмом наследственности: для его воспроизводства необходим еще и другой механизм наследственности — *культурная традиция*. Существенное отличие человека от других животных — *понятийное мышление*; но отчётливое формулирование и закрепление понятий требует символического языка, то есть обозначения этих понятий определёнными символами, изобретёнными для этой цели. Язык человека с начала существования нашего вида выражал эти символы сочетаниями звуков — словами; поэтому наш язык называется словесным языком. Не следует думать, что язык — лишь одно из проявлений свойственного человеку понятийного мышления: это попросту необходимое условие мышления, возникшее вместе с ним. Без языка не было бы и человека. Впоследствии изобретение письменности позволило кодировать слова языка зрительными символами — буквами, другими условными знаками и даже знаками, воспринимаемыми осязанием, как это делают для слепых. Таким образом, язык можно понимать с помощью различных органов чувств.

Человек несомненно обладает врождёнными открытыми программами, способными воспринимать целые "пакеты" подпрограмм, записанных на словесном языке. Для обучения чему-нибудь новому человеку не требуется ни присутствие "изобретателя", ни

наличие в его собственном опыте “учебной ситуации”. Поэтому, в отличие от всех других животных, человек способен накапливать знание, образующее культурную традицию. Это знание передаётся от поколения к поколению путём словесного обучения; очень долго всё обучение было устным, но в последние несколько тысячелетий оно было также и письменным. В культурной традиции открытия и изобретения играют такую же роль, как мутации в генетической эволюции: они обеспечивают изменчивость. Изменения, полезные для сохранения вида, точно так же закрепляются и распространяются отбором.

Поразительным образом, постулированное Ламарком “наследование приобретённых признаков”, которого *нет* в генетической эволюции, в самом деле *происходит* в культурной эволюции человека. Открытия и изобретения, направляемые сознательным поиском, или по крайней мере острой наблюдательностью человека, происходят несравненно чаще случайных полезных мутаций генома, а культурная традиция распространяет их намного скорее. Неудивительно, что культурная эволюция несравненно быстрее генетической: образование новых видов продолжается миллионы лет, тогда как человеческие культуры могут возникать в течение нескольких столетий.

Специфически человеческий процесс обучения, который мы наглядно описали как заполнение открытых программ подпрограммами, записанными словесным языком, отнюдь не является простым добавлением или усовершенствованием системы инстинктов. Без этого процесса обучения человеческий вид просто не может существовать. *Генетическая программа нашего вида может действовать лишь при условии, что её открытые программы своевременно, в “предусмотренном” человеческим геномом порядке заполняются подпрограммами, созданными культурной наследственностью.*

Первая и важнейшая из них — это программа обучения языку и, вместе с ним, навыкам образования понятий. Если это обучение не приводится в действие, что происходит обычно до трехлетнего возраста, то ребёнок никогда не станет человеком, а навсегда останется нежизнеспособным уродом. Таким образом, само существование нашего вида зависит от взаимодействия *двух* механизмов наследственности — генетического и культурного, причём такое вполне определённое взаимодействие запрограммировано в геноме человека. Понятно, почему немецкий антрополог А. Гелен [A. Gehlen] определил человека как “культурное существо” [Kulturwesen].

Все люди несомненно произошли от общих предков и имеют один и тот же аппарат понятийного мышления, находящийся в мозгу. Но культурные традиции людей развивались по-разному. Поскольку человеческие племена расселились по обширному пространству Земли и долго жили отдельно друг от друга, у них возникли разные культуры, использующие разные языки. Одни и те же основные понятия, формирование которых "предусмотрено" геномом человека и устройством его аппарата понятийного мышления, на разных языках обозначаются разными словами или выражениями. Кроме того, каждая культура вырабатывает свои более специфические понятия; но самая возможность перевода с любого языка на любой другой свидетельствует о тождественности стоящей за всеми языками системы мышления. Человек усваивает культуру с момента своего рождения и, поскольку его учат определённому языку, это вполне определённая культура, одна из культур его времени, пользующаяся этим языком. Глубокое единство человеческого рода проявляется в том, что новорождённого ребёнка можно обучить любому языку и приобщить к *любой* культуре.

Дарвин привёл убедительные доказательства этого единства в своей книге "Выражение эмоций у человека и животных" (1872), сопоставив способы эмоционального общения различных племён; уже в двадцатом веке наблюдения Дарвина были подтверждены киносъёмками И. Эйбл-Эйбесфельдта и его сотрудников. Эти данные свидетельствуют о единой системе инстинктов, более древней, чем все культурные различия человеческих племён.

Программа пользования языком есть важнейшая культурная программа, вводимая в мозг человека при его воспитании; для обучения этой программе он снабжён *врождённой программой усвоения языка.* До всякого обучения новорождённый обладает инстинктивным стремлением и инстинктивной способностью к усвоению языка. При этом у него нет никакого врождённого знания языка и никакого врождённого знания, какому языку он должен учиться. Таким образом, врождённая программа усвоения языка приспособлена к любым, крайне разнообразным по лексике и грамматическому строю человеческим языкам, а также к всевозможным, крайне разнообразным формам поведения обучающих взрослых. Сложность этой программы, которую мы не в силах себе представить, не идёт ни в какое сравнение с тем, что мы научились делать на компьютерах. Поистине, это "программа построения человека".

До появления компьютеров с их программами об этой сложно-

сти даже не задумывались, а инстинктивно выполняемые действия человека не вызывали особенного удивления, потому что это самые обычные, повседневные явления жизни. Только попытки воспроизвести некоторые простейшие из этих действий заставили задуматься над тем, какие механизмы за ними стоят. Роль инстинктов в человеческой жизни недооценивали, обращая внимание главным образом на культурные различия. Например, изучали языки и способы обучения языкам, но не задумывались над тем, *как вообще возможно* учиться языку.

Продолжая аналогию человеческого мозга с компьютером — представляющим, как уже было сказано, лишь очень примитивную модель некоторых элементарных функций человеческого мозга — мы можем представить себе мозг новорождённого ребёнка как необычайно сложный компьютер со встроенными в него врождёнными программами. Эти программы и есть *инстинкты человека*. Они записаны в мозгу и приводятся в действие внутренними и внешними стимулами. Некоторые из них (“эндогенные” программы) стимулируются самим мозгом, как упомянутые выше программы кровообращения, дыхания и других “автоматических” функций, необходимых для жизни индивида. Эти программы действуют безостановочно в течение всей жизни, начиная с утробного состояния, но не сознаются человеком и не зависят от его сознания. Далее, мозг содержит программы многих других инстинктов, стимулируемых внутренними и внешними ощущениями. Это прежде всего “большие инстинкты”, о которых уже была речь: инстинкт самосохранения и инстинкт питания, действующие с самого рождения, инстинкт размножения, приводимый в действие позже, социальный инстинкт и инстинкт внутривидовой агрессии.

Всё это — открытые программы. Как мы уже видели, они есть у всех высших животных: животное рождается с набором таких программ, в котором “пробелы” могут заполняться внешними подпрограммами, усваиваемыми животным путем обучения. Его способность к обучению ограничена средой, в которой может жить его вид. У человека это не только природная, но и культурная среда: в геноме человека предусмотрено обращение к его культуре. При рождении человек “не знает” многих вещей, входящих в генетическую программу других млекопитающих; например, женщина “не знает”, что она должна перегрызть пуповину новорождённого, как это делают самки всех млекопитающих, и оба пола “не знают”, как начать половой акт. Обучение этим навыкам не предусмотрено человеческим геномом и выполняется *культурной* наследственностью.

Это примеры бесчисленных подпрограмм, вводимых культурой в открытые программы наших инстинктов. В отличие от всех других животных, способность человека к обучению ничем не ограничена, поскольку культура способна к неограниченному развитию!

Мы можем теперь вернуться к вопросу о врождённых способностях человека. Многие философы, от Платона до Канта, приписывали человеку врождённое, или "априорное знание": удивляясь лёгкости, с которой дети усваивают понятия геометрии — как будто они их уже знали — они приходили к выводу, что предрасположение ребёнка к обучению означает, будто человек рождается не только с элементами научных знаний — математики, логики, физики, но даже со знанием о "сверхъестественных" предметах, то есть предметах, недоступных его чувственному опыту, в особенности о боге.

С другой стороны, философы-эмпиристы, такие, как Локк и Юм, не веря в существование "априорного знания", вовсе отрицали какие-либо врождённые способности человека, рассматривая разум новорождённого как "чистую доску" и полагая, что всё поведение человека определяется обучением. Мы знаем теперь, что обе эти концепции ошибочны. Человек рождается без всякого "априорного знания", но не с "чистой доской" бесструктурного мозга, а с аппаратом инстинктивных программ, в более сложных случаях — открытых программ, приспособленных к приёму подпрограмм из культурной традиции. Только обучение в человеческой культуре, вводящее такие подпрограммы в открытые программы инстинктов, производит *знание.*

Мы переходим теперь к вопросу о *мотивации.* Компьютер не имеет никакой собственной мотивации — его "мотивирует" пользователь, ставящий перед ним задачи. Но живой организм — это мозг вместе с телом, неразрывно с ним связанным и выполняющим его команды. В течение всей жизни организм окружён внешней средой, с которой он взаимодействует, следуя своим инстинктивным программам, пополняемым обучением. При этом всё человеческое поведение мотивируется непрерывно действующими инстинктивными программами — понимаем мы эту мотивацию или нет. Разумеется, стимулы, исходящие от инстинктов, приводят к различному поведению в разных культурах. Но нельзя всерьёз заниматься поведением человека, игнорируя его инстинкты. В частности, его социальное поведение не может быть понято без этологии, бросающей новый свет на многие явления общественной жизни.

Несомненно, инстинктивное происхождение имеет важнейший принцип человеческой этики, так называемая "пятая заповедь":

“Не убий”. Как мы уже знаем, в нормальных условиях инстинкт внутривидовой агрессии не приводит к убийству собрата по виду, а ограничивается изгнанием вторгшегося индивида со “своей” территории. Но этот результат достигается с помощью других инстинктов, “корректирующих” первичную программу нападения на *любую* особь своего вида: например, более слабый из соперников совершает некоторое символическое действие, тормозящее агрессию — на человеческом языке “сдаётся”. Эволюция никогда не берет назад своих программ; она их корректирует, в случае надобности, другими программами. Но если почему-либо такой корректирующий инстинкт не приводится в действие, то происходит убийство, как это часто случается при содержании хищников в одной клетке, откуда слабейший не может удалиться.

Другие корректирующие инстинкты предотвращают нападение на самок и детёнышей в период размножения и воспитания потомства. Значение этого инстинкта для сохранения вида очевидно, а у некоторых видов (например, у псовых) нападение на самок запрещено во всех случаях, в чём можно видеть пример “рыцарственного” поведения, наблюдаемого и в некоторых человеческих культурах.

В естественных условиях корректирующие инстинкты запрещают убийство собрата по виду у всех высших животных, за исключением двух особенно “патологических” видов — человека и крысы. Только люди и крысы ведут войны против себе подобных.

Из всех инстинктов наиболее закрепились древнейшие, отобранные эволюцией в течение бесчисленных поколений и общие многим видам животных. Корректирующие инстинкты в эволюционном смысле более “молоды”, чем древний инстинкт внутривидовой агрессии, и их действие не столь “надёжно”. Когда эти сдерживающие механизмы отказывают, происходит внезапный прорыв основного инстинкта. Такие явления всегда приводили в замешательство философов прошлого, любивших рассуждать о “природе человека”. Не понимая биологических мотивов человеческого поведения, они пытались объяснить его “рациональными” мотивами, то есть сознательными решениями людей. Отсюда произошли все мудрствования об “иррациональном начале” в человеке. В действительности это “иррациональное” всегда расшифровывается как *биологическое*, то есть как не сознаваемое людьми действие инстинкта. Так же объясняются фантастические построения, возведённые вокруг понятий “добра” и “зла”, за которыми стоят искажённые изображения социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии. Инстинкт

— это явление природы и, как таковое, не может быть ни “хорошим”, ни “плохим”.

Само собой разумеется, эти замечания вовсе не означают пренебрежения к этическим принципам, лежащим в основе всех человеческих культур. Эти принципы регулируют проявление инстинктов и совершенно необходимы для выживания культур; а человек — “культурное существо” — вне культуры существовать не может. Как раз нарушение этих принципов — патология культурного развития — приводит, как известно, к тем явлениям, которые на языке культурной традиции должны в самом деле рассматриваться как “зло”, или как прискорбное забвение “добра”. Попытки обвинить в наших общественных бедствиях самую “природу человека” — то есть нашу биологическую природу — это бессмысленная клевета на величественное творение эволюции, наделившей нас разумом. Можно надеяться, что мы в конце концов научимся им пользоваться!

Философы затратили много усилий, пытаясь выработать “определение человека”, отличающее его от других животных. Например, предлагали определить человека как “животное, пользующееся орудиями”, или “животное, изготовляющее орудия”, и т. д. Все эти попытки не удались, поскольку такое же поведение обнаруживалось у разных высших животных.

Мы привели уже в этой главе определение человека с точки зрения современной биологии, отличающее его от всех других животных: *человек — это животное, способное к понятийному мышлению и связанному с ним употреблению символического (словесного) языка.* Основываясь на этом определении, можно понять многое в поведении человека. Впрочем, некоторые свойства инстинктов человека, перечисляемые ниже, всё ещё не поддаются объяснению.

Во-первых, человек “гиперагрессивен”. Как и у всех хищников, у человека инстинкт внутривидовой агрессии также ограничен “корректирующими” инстинктами, требующими лишь изгнания конкурента, но не его убийства, и охраняющими в период размножения самок и подрастающее потомство. Но у человека действие этих корректирующих инстинктов значительно ослаблено, так что агрессия нередко прорывается у нас в ситуациях, вполне безопасных для наших собратьев, высших животных. Возможно, происхождение повышенной агрессивности человека связано с тем, что человек, как и все приматы, — очень слабо вооружённый хищник. Известно, что механизмы торможения агрессии, охраняющие собратьев по виду, наиболее развиты у “сильных” хищников, способных убить крупное животное несколькими движениями, с помощью зубов и когтей.

Но у человека нет такого природного оружия, и когда он изобрёл оружие, намного превосходящее то, которым его наделила природа, торможение по отношению к особям своего вида оказалось недостаточным. Мы происходим от насекомоядных предков, размером и видом напоминающих крысу, хотя и не родственных грызунам; такие существа всё ещё живут в джунглях Мадагаскара. По-видимому, наши более близкие предки не были вполне растительноядными, как гориллы, а скорее поедали время от времени мелких животных, как шимпанзе — наиболее близкий нам по составу генома вид приматов. Впрочем, антропоиды — человекообразные обезьяны — мало агрессивны и, за редкими исключениями, не убивают своих собратьев по виду. Причину необычайной агрессивности человека следует искать в его социальной истории — в открытых Дарвином процессах *группового и полового отбора*.

Во-вторых, человек потребляет на килограмм веса в пять раз больше энергии, чем любое другое высшее животное. Можно сказать, что он "гиперэнергетичен". Такая *способность* поглощать энергию, несомненно, связана с преимуществами в добыче пищи, которые доставляет человеку его мышление. Чем объясняется *потребность* в таком количестве энергии, трудно сказать. Сам по себе мозг человека потребляет мало энергии; но человек, несомненно, деятельнее всех других крупных хищников, которые затрачивают много энергии лишь во время охоты, тогда как человек проявляет свою неуёмную деятельность чуть ли не всё время. Животные больше нас ценят покой и не расходуют энергию без серьёзной причины; поистине, к человеку применимо изречение Данте: bestia senza pace[1].

В-третьих, человек "гиперсексуален": он проявляет половую активность круглый год, тогда как другие высшие животные стимулируются к ней лишь в определённое время. Кажется, эта способность человека до сих пор не получила объяснения, но, вероятно, она связана с двумя предыдущими. Даже в биологическом смысле человека трудно понять!

---

[1] "Зверь, не знающий покоя" – у Данте это обозначение волка.

Глава 2

Групповой отбор, происхождение человека и происхождение семьи

1. Групповой отбор

Понятие группового отбора было введено в биологию Дарвином в его книге "Происхождение человека и половой отбор", хотя он и не дал этому процессу названия. Дарвин полагал, что группы общественных животных, соединённых социальным инстинктом, вступают между собой в соревнование, аналогичное соревнованию индивидов при естественном отборе, и те из групп, которые наделены каким-либо особым преимуществом, имеют бóльшие шансы на выживание. Можно думать, что групповой отбор, в сочетании с индивидуальным, ускоряет эволюцию; как мы увидим, это особенно вероятно для предков человека.

Вот решающее место из его книги (выводы из главы II):

"По отношению к строго общественным животным естественный отбор действует иногда на особь, сохраняя те уклонения, которые полезны сообществу. Сообщество, включающее много высоко одарённых особей, возрастает в численности и побеждает другие сообщества, находящиеся в менее благоприятном положении, даже в том случае, если каждый отдельный член сообщества не приобретает никаких преимуществ перед своими собратьями".

Как отчётливо объясняет Дарвин, "одарённость" членов такой группы состоит прежде всего в их "более социальном" поведении, способствующем не столько сохранению отдельной особи, сколько сохранению группы.

Индивидуальный отбор, рассмотренный в "Происхождении видов", — это отбор на некоторое свойство индивида, особенно важное в данных природных или социальных условиях; в таких случаях говорят, что эти условия производят на отбор "селекционное давление". Конечно, селекционное давление может относиться не только к физическому строению особи, но и к её поведению. В случае *группового* отбора преимущества в поведении оказываются решающими; по-видимому, сотрудничество и взаимопомощь как раз и

были биологическим преимуществом, выработавшим в ходе эволюции сами группы. Как замечает Дарвин, индивид, особенно склонный заботиться об интересах своей группы, часто приносит себя в жертву этим интересам и тем самым имеет меньше шансов оставить потомство; но если такое поведение, однажды появившееся вследствие случайного изменения (как мы теперь говорим, мутации), уже распространилось в группе, то его сородичи с этим поведением могут оставить потомство, обладающее тем же свойством. Кроме того, эволюции социального поведения в группах, как показал Дарвин, способствует *половой отбор.* В большинстве известных племён, как он заметил, женщины имеют право голоса при выборе партнёров и предпочитают более смелых и самоотверженных, оставляющих потомство с этими же свойствами. Есть все основания полагать, что эти черты группового отбора, изученные Дарвином на материале современных человеческих племён, относятся также к нашим дочеловеческим предкам и, более того, ко всем общественным высшим животным.

Если предположить, следуя Дарвину, что *групповой отбор действует, главным образом, не на строение тела, а на поведение, то можно привести сильный аргумент, свидетельствующий об особой роли группового отбора в социальной истории человека.* В самом деле, наш вид *homo sapiens* ("человек разумный"), как мы теперь знаем, существует около 200 тысяч лет, причём форма скелета и, в частности, объём черепа за это время почти не менялись: во всяком случае, недавние находки на Синайском полуострове, датируемые 120 тысячами лет, гарантируют эту неизменность в течение очень длительного времени. Когда говорят о древности *homo sapiens*, имеют в виду именно строение скелета: по закону соответствия Кювье, полное совпадение даже части скелета означает совпадение всего физического строения тела. Этот общий биологический закон и даёт основание для установления "возраста человека", так как антропологи находят только скелеты. Но если физическое строение человека не менялось, то не значит ли это, что всё это время на него не действовал естественный отбор? Сравнительно недавно такое утверждение и можно было прочесть в школьных учебниках. Нам говорили, что кроманьонцы — старейшие известные тогда сапиенсы, жившие 40 тысяч лет назад — были уже "настоящие люди", с таким же мозгом, как у нас, что они "могли бы учиться в университетах", и что наш вид был изъят с тех пор из действия естественного отбора, так что вся его эволюция была не генетической, а культурной. Лоренц решительно выступил против этой доктрины в своей

книге “Так называемое зло” (1963 г.). Он утверждает, что, напротив, действие отбора не прекращается и по сей день, ссылаясь на изменения *в поведении* у некоторых племён, например, у племени индейцев, изученного Сиднеем Марголиным [Sidney Margolin], где по историческим условиям развилась чрезмерная агрессивность. Поскольку такие изменения происходят в течение нескольких сот лет, Лоренц подчёркивает *быстроту* действия отбора, хотя и не создающего новые инстинкты, но способного усиливать действие прежних. Как ни относиться к этим наблюдениям (в которых трудно отделить культурную компоненту от генетической), *инстинктивное поведение* вида *homo sapiens* несомненно менялось, тогда как строение его тела оставалось неизменным. Заметим, что у сапиенсов объём мозга перестал меняться и не может уже служить мерой умственного развития. По-видимому, дальнейшие мутации уже не увеличивали количество мозговых тканей, а изменяли структуры и способы работы мозга. Качественный рубеж можно определить по резкому улучшению ископаемых орудий, но не по костным остаткам.

Этот кажущийся парадокс можно устранить, если допустить, что с момента возникновения нашего вида его генетическая эволюция происходила почти исключительно под действием *группового*, а не индивидуального отбора: как уже было сказано, групповой отбор действует преимущественно не на строение тела, а на поведение. Это означает, что анатомическое строение мозга не менялось, но мутировали и закреплялись отбором врождённые программы *поведения.* Несомненно, *вся проблема происхождения человека должна быть пересмотрена с точки зрения этологии.* Можно предположить, что прежде всего (особенно в ранний период существования нашего вида) менялись программы обучения языку и образования понятий, так что кроманьонцы, возможно, и не могли бы “учиться в университетах”. Итак, *групповой отбор позволяет объяснить поразительную эволюцию нашего вида, происшедшую без видимого изменения его физических признаков.*

Более того, можно предположить, что групповой отбор позволяет объяснить также необычайную быстроту эволюции нашего вида. Как мы увидим, первоначальные группы наших предков (ещё не людей!) постоянно вели между собой войны, обычно завершавшиеся истреблением побеждённых групп. Это явление, не имеющее аналогов в зоологическом мире, можно сравнить уже не с естественным, а с *искусственным* отбором, где производится “выбраковка” неудачливых конкурентов, не оставляющих, таким образом, *никакого* потомства. Как известно, благодаря этому искусственный отбор

несравненно быстрее естественного. Вполне возможно, что именно это позволило нашему виду развиться в течение необычайно короткого времени в 200 тысяч лет, тогда как "нормальные" процессы образования видов занимают миллионы лет.

Идея группового отбора была популярна в начале двадцатого века, но затем её разработка приостановилась, и вернулись к ней только в последние десятилетия. Причину столь медленного восприятия этой концепции следует искать в культурной истории человека, воздействовавшей на психологию учёных. Дело в том, что Дарвин развил своё представление о групповом отборе именно в книге о *происхождении человека*, угадав с гениальной интуицией решающую роль группового отбора в образовании нашего вида. Поэтому универсальное значение этого процесса, относящегося ко всем общественным животным, было упущено из виду, и внимание публики привлекали лишь попытки применить идею группового отбора к объяснению человеческой истории. Биологи, делавшие такие попытки, не всегда были так осторожны, как сам Дарвин. Так называемые "социал-дарвинисты" грубо биологизировали историю, недооценивая роль культурной эволюции. Они перенесли действие группового отбора с первоначальных групп и первобытных племён на более поздние сообщества людей и стали говорить (чего никогда не делал сам Дарвин) о "борьбе за существование" рас и наций, понимая эту борьбу как кровавые войны, напоминающие войны современных государств. Тем самым они пытались "биологически обосновать" практику воинствующего национализма, оправдывая её как неизбежное следствие предполагаемой "биологической природы человека". Первым идеологом этого направления был английский философ Герберт Спенсер, и к нему примкнул известный немецкий биолог Эрнст Геккель. В Германии широко распространившиеся брошюры социал-дарвинистов донесли эти вульгарные извращения биологии до малограмотной мелкобуржуазной публики, неспособной читать серьёзные научные книги; известно, что такие брошюры читал в начале своей карьеры Адольф Гитлер, и что они существенно повлияли на идеологию, изложенную им в книге "Моя борьба".

Как нетрудно понять, после двух мировых войн идея группового отбора оказалась "политически скомпрометированной". Между тем, у самого Дарвина термин "борьба за существование" (неудачно заимствованный им у Спенсера) имел совсем иной смысл. В книге "Происхождение видов", где естественный отбор рассматривался в применении к *индивидам*, вовсе не было речи о прямых физических

столкновениях и об истреблении в таких столкновениях "менее приспособленных" индивидов. Как мы уже знаем, *ничего подобного и не происходит*: животные вовсе не убивают своих собратьев по виду, а изгоняют их со "своей" территории после демонстративного поединка, выясняющего соотношение сил. Дарвин ещё не знал инстинкта внутривидовой агрессии, но знал, что убийство собратьев по виду в нормальных условиях не встречается и представляет собой редкую патологию.

"Борьба за существование" в понимании Дарвина, разделяемом всей современной биологией, состоит в том, что особь, наделённая вследствие случайности рождения (как мы теперь знаем, вследствие мутации в молекуле ДНК) некоторым преимуществом перед своими собратьями по виду, благодаря этому преимуществу имеет больше шансов выжить в данных условиях среды и дать потомство. В этом и состоит "соревнование" индивида с другими особями его вида: у него больше шансов спастись от хищников, поймать добычу, найти партнёра для размножения, и т. д. Он вовсе не истребляет своих "менее приспособленных" собратьев, но его более многочисленное потомство вытесняет потомство особей, не обладающих данным преимуществом. Это и есть, по Дарвину, *естественный отбор*.

Аналогичным образом происходит соревнование между *группами* у общественных животных, никогда не приводящее к их прямой физической борьбе — за редкими исключениями, о которых речь будет ниже. Стаи волков или стада обезьян не вступают между собой в "войны", а, как правило, игнорируют друг друга. Те из них, которые обладают некоторым преимуществом перед другими — благодаря полезным мутациям отдельных особей группы — лучше сохраняются и размножаются, и их потомство вытесняет потомство "менее приспособленных" групп. Несомненно, Дарвин так и представлял себе групповой отбор. Но самая концепция группового отбора, как известно, появилась в его книге о происхождении человека, что наложило свою печать на изложение этой концепции. Дело в том, что человек, в отношении группового отбора, как и во многих других отношениях — исключительный вид[1]. Поэтому Дарвин отмечает свойственный *только человеку* факт "беспрестанной войны между племенами, населяющими смежные местности". Только в этом случае, и притом в процессе группового, а не индивидуального отбора, он

[1]Мы уже упоминали о другом исключительном виде — крысах. Поскольку среди высших животных этот вид отличается рядом патологических особенностей, не представляющих прямого интереса для нашей темы, мы будем его в дальнейшем игнорировать, интересуясь только "патологией" человека.

находит столкновения, приводящие к убийству и к исчезновению целых групп: "Во все времена, на всем земном шаре, — говорит он, — одни племена вытесняли другие". Но, по-видимому, он не представлял себе это "вытеснение" как полное физическое истребление других племён, поскольку в его время войны между современными племенами служили ему единственным материалом для предположений о наших предках. Вот его точка зрения:

"Вымирание является, главным образом, следствием состязания между племенем и племенем, расой и расой[1]. Постоянно действуют различные задержки, служащие к ограничению численности любого дикого племени: таковы периодические голодовки, кочевой образ жизни и, как следствие его, смертность в детском возрасте, затем, продолжительное кормление грудью, войны, несчастные случаи, болезни, распущенность, похищение женщин, детоубийство и, в особенности, уменьшение плодовитости.

Если какая-либо из этих задержек хоть в малой степени усиливается, то подверженные ей племена стремятся к убыли; а когда из двух соседних племён одно уменьшается в численности или становится менее могущественным, чем другое, то оно обыкновенно продолжает и далее убывать, пока совсем не вымрет".

Как мы видим, позиция Дарвина в отношении группового отбора здесь соответствует его общему пониманию "борьбы за существование" как "вытеснения", а не истребления; по-видимому, для всех высших общественных животных, за исключением человека, такое представление верно. Но его непосредственной целью, ради которой он и ввёл понятие группового отбора, было как раз объяснение происхождения человека. Подавляющая масса приведённых им фактов убедительно доказывает, что человек произошёл от предков, подобных обезьянам; но *историю* происхождения человека Дарвин себе не представлял, поскольку ископаемые остатки промежуточных форм — гоминид — были в то время неизвестны. Первоначальные группы гоминид были во многом непохожи на примитивные племена, дожившие до наших дней: история "вымирания" этих групп была, по-видимому, гораздо более драматична, чем думал Дарвин. Это

[1]Разумеется, здесь имеются в виду отдельные популяции общего происхождения, то есть слово "раса" употребляется в его первоначальном смысле, до сих пор сохранившемся в английском и французском языках. Как видно из дальнейшего, Дарвин не говорит о "больших" расах в смысле антропологии ("белой", "чёрной" и "жёлтой"), которые вовсе не "вымирали", и "состязание" не означает у Дарвина их истребление победившей расой, как это понимали социал-дарвинисты. Но фатальное недоразумение начинается с этого слова.

был *внутривидовой* отбор, отбор под селекционным давлением прямой борьбы с представителями своего вида, с физическим истреблением побеждённых. Вот какими словами изображает её Лоренц:

“В символе Древа Познания заключена глубокая истина. Знание, выросшее из абстрактного мышления, изгнало человека из рая, в котором он, бездумно следуя своим инстинктам, мог делать всё, что хотел. Происшедшее из этого мышления вопрошающее экспериментирование с окружающим миром подарило человеку его первые орудия: огонь и камень, зажатый в руке. И он сразу же употребил их для того, чтобы убивать и жарить своих собратьев. Это доказывают находки на стоянках синантропа: возле самых первых слоев использования огня лежат раздробленные и отчётливо обожжённые человеческие кости. Абстрактное мышление дало человеку господство над всем вневидовым окружением и тем самым спустило с цепи внутривидовой отбор; а мы уже знаем, к чему это обычно приводит. В „послужной список“ такого отбора нужно, наверно, занести и ту гипертрофированную агрессивность, от которой мы страдаем и сегодня. Дав человеку словесный язык, абстрактное мышление одарило его возможностью передачи сверхличного опыта, возможностью культурного развития; это повлекло за собой настолько резкие изменения в условиях его жизни, что приспособительная система его инстинктов потерпела крах” (*Das sogenannte Böse*, гл.13).

Попытаемся представить себе, как всё это могло произойти.

2. Очерк происхождения человека

Следующий дальше очерк представляет общую картину происхождения человека, рассматриваемую с точки зрения развития двух основных инстинктов общественной жизни — социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии. Как и всякая попытка синтеза, эта картина состоит из разнородных элементов, различной достоверности. Не существует никакой “общепринятой”, “канонической” истории человека; не всё написанное ниже принадлежит бесспорно доказанным научным теориям. В большинстве случаев слова “предполагается” или “можно предположить” обозначают утверждения, приемлемые для большинства антропологов. Более смелые гипотезы, за которые несёт ответственность только автор этих строк, выделяются местоимением “я”: “я думаю”, “я предполагаю”, и т. п. Справедливость дальнейших построений этой книги зависит не от всех подробностей происхождения человека, а только от основных гипотез, выделенных в конце этого параграфа. Как мне кажется,

они с большой вероятностью следуют из предшествующего им изложения; но они могут быть справедливы и в том случае, если в будущем происхождение человека будет рассматриваться не совсем так, как мы видим его сейчас.

Родиной человека несомненно является Африка, как это предполагал Дарвин, и как мы это знаем теперь по огромному числу палеонтологических данных. По-видимому, в Африке жили приматы, особенно способные к мутациям, — в частности, к мутациям центральной нервной системы. Полагают, что предки человека и их ближайшие родственники произошли от примата, названного рамапитéком, жившего 10–15 миллионов лет назад в Азии, Европе и Африке. Этот вид, имевший, вероятно, общих предков с человекообразными обезьянами, выделялся среди приматов рядом анатомических характеристик, самой важной из которых считаются уменьшенные клыки. Затем в наших палеонтологических данных следует длительный пробел, и наконец около 4 миллионов лет назад в Африке — и только в Африке — обнаруживаются более похожие на человека существа, и притом сразу нескольких видов. Большинство из этих видов составляют найденные в Южной Африке австралопитеки; они передвигались на двух ногах, были плотоядны и, возможно, умели использовать в качестве оружия кости животных.

Долго предполагали, что человек произошёл от одного из видов австралопитеков. Но в 1961 году Луис и Мери Лики нашли в знаменитом Олдувайском ущелье в Танзании остатки необычайно человекоподобного существа, жившего около 1,75 миллиона лет назад и пользовавшегося каменными орудиями, а также, по-видимому, огнём; его назвали *homo habilis* — “человек умелый”. После этого поиски предков человека были перенесены в Восточную Африку, где были найдены гораздо более вероятные предки человека, чем австралопитеки, со значительно бóльшим объёмом черепа, близкие к *homo habilis*. Самые древние остатки этого типа относятся к тому же времени, что и старейшие австралопитеки, — около 4 миллионов лет назад, причём уже в это время различия между ними были столь значительны, что гипотезу о происхождении от австралопитеков пришлось отбросить. Предполагают, что 5–6 миллионов лет назад от неизвестного нам предка, который мог быть потомком рамапитека, произошло путём дивергенции (объяснённого Дарвином процесса расхождения признаков) сразу несколько видов австралопитеков и ещё один, самый человекообразный вид, особенно предрасположенный к мутациям нервной системы, который можно назвать словом *homo*. Известно, что как раз в это время усилились процес-

сы расщепления у многих видов — возможно, вследствие какой-то геологической катастрофы. Название *homo* (по-латыни "человек") не означает, конечно, что это был современный человек, вид которого обозначается термином "*homo sapiens*" ("человек разумный"). Но от этого вида *homo* произошли все более похожие на человека существа — так называемые *гоминиды*, такие, как *homo habilis*, питекантроп, гейдельбергский человек, синантроп, неандерталец и, наконец, *homo sapiens.* Гоминиды отличались от всех других приматов рядом признаков и, прежде всего, высоко развитым мозгом. Возникновение вида *homo sapiens* было единственным в своём роде событием; произошло оно в Африке и, как можно с уверенностью утверждать, только один раз и только в одном месте.

Так называемые "полицентристы" утверждали, что человек мог возникнуть независимо в разных местах и в разное время, а почти полное совпадение результатов эволюции объясняли рассуждениями в стиле детерминистской философии девятнадцатого века, по которой "одинаковые условия должны были привести к одинаковым следствиям". Но независимое образование одного и того же генома в разных местах предполагает такую тождественность условий, какую может допустить лишь мыслитель, никогда не встречавшийся с понятием вероятности. Современная генетика решительно высказывается за "моноцентризм".

Совсем уже вне науки стоят так называемые "креационисты", вовсе отрицающие изменчивость видов и пытающиеся вернуться к догме Линнея: "Видов существует столько, сколько их создало Бесконечное Существо". Эти люди подчёркивают, что в палеонтологической летописи часто отсутствуют переходные формы, соединяющие один вид с другим, и в особенности — переходные формы в истории человека. Но, прежде всего, мутационный процесс, создающий новые виды, вовсе не образует непрерывную последовательность ("континуум") переходных форм, которого требуют креационисты: мутации — это скачкообразные ("дискретные") изменения — как мы теперь знаем, эти изменения в ряде случаев не столь малы, как думал Дарвин. Даже самая полная последовательность промежуточных форм не удовлетворит креациониста, усматривающего отдельный "акт творения" в любом нарушении молекулярных реакций. Но полные последовательности промежуточных форм едва ли когда-нибудь сохранялись. Кости животных вообще сохраняются лишь в исключительных случаях, обычно благодаря какой-нибудь стихийной катастрофе или редкому стечению обстоятельств. Между тем известно, что периоды видообразования — интенсивных

мутаций, ведущих к образованию вида — коротки по сравнению с длительностью существования сложившегося вида. Поэтому общее число особей промежуточных форм относительно невелико, а в случае малочисленных видов, каковы были наши предки, вероятность их сохранения и вовсе ничтожна. Именно по этой причине антропологи находят обычно не наших прямых предков, а их более или менее близких "родственников". Несравненно более полна родословная лошадей, которых было очень много. Но креационистов никак нельзя удовлетворить. С таким же правом вам могут сказать, что в течение первых дней вашей жизни вы не существовали, потому что об этих днях нет документов, а свидетелей уже нет в живых.

Наиболее интересны для нас остатки гоминид. Хотя в природе, как уже было сказано, не бывает совершенно тождественных условий, но весьма вероятно, что потомки одного и того же первоначального вида *homo*, жившие в определённое время, были сходны между собой; и если мы находим останки наших "родственников", живших в некоторую эпоху, то по ним можно судить о современных им гоминидах — наших прямых предках. Важнейшая анатомическая особенность, отличающая гоминид от всех других животных, — это развитие головного мозга. О развитии мозга можно судить по объёму черепной коробки и её форме, позволяющим делать предположения о поверхности мозга. Объём мозга у гоминид последовательно возрастал. Уже 2,6 миллиона лет назад он достигал 800 см^3, по сравнению с 500 см^3 у австралопитеков (что мало отличается от объёма мозга шимпанзе), а у неандертальцев объём мозга достигал среднего у современного человека — 1400 см^3. Эти вымершие гоминиды трагически напоминают неудачные попытки природы создать человека!

Мозг был тем уникальным преимуществом, которое позволило нашим далеким предкам, вынужденным покинуть поредевшие тропические леса, выжить в африканской саванне. Мозг возместил им слабости всех приматов — отсутствие сильного вооружения и неумение быстро перемещаться по земле. "Выбрав" этот путь — преимущественную эволюцию мозга — наши предки уже никогда не сходили с него: вместо того, чтобы становиться сильнее и быстрее, они становились умнее. Очень скоро — в эволюционном масштабе времени — они достигли с помощью мозга полного господства над окружающей вневидовой средой, научившись справляться с опасностями природы, отпугивать хищников и добывать мясную пищу: для этого у них были каменные и деревянные орудия, хитрые приёмы коллективной охоты и, наконец, огонь.

Можно было бы подумать, что с этого времени дальнейшее развитие мозга должно было прекратиться, из-за прекращения селекционного давления в этом направлении. Уже у гоминид, от которых мы произошли, дальнейшее развитие мозга, отчётливо видное по объёму черепной коробки, нуждается в объяснении: казалось, у них уже не было "вневидовых" врагов! По сравнению с требованиями сохранения вида мозг человека поразительно "избыточен". Когда на Земле одновременно жили различные гоминиды, их внешняя среда ещё не была столь безопасна: были враги, наделённые тем же особенным оружием, и соревнование должно было идти под селекционным давлением этого условия. Когда же "внешнего врага" совсем не стало, то наши предки — ещё не сапиенсы — подверглись *групповому* отбору, принявшему, как мы увидим, крайне ожесточённый характер. Ясно, что дальнейшее развитие мозга было обусловлено этим фактором: это был *внутривидовой* отбор. Несомненно, что *групповой отбор стал главным двигателем эволюции в то время, когда прямое действие вневидового окружения перестало требовать дальнейших изменений генома.* Это оправдывает название главы, где мы соединили происхождение человека с явлением группового отбора, ещё недавно не вызывавшим доверия биологов[1].

Как убедительно доказал Лоренц, нормальный процесс естественного отбора заключается в *косвенном* соревновании между особями вида — соревновании в использовании окружающей вневидовой среды. *Прямое* соревнование между особями одного вида, если оно становится фактором отбора, всегда опасно для существования вида и с биологической точки зрения должно рассматриваться как патология. Излюбленный пример Лоренца, заимствованный им у Дарвина (из Заключения книги о происхождении человека) — это хвостовые перья фазана-аргуса, привлекающие самок при токовании: их неумеренное удлинение, бесполезное по отношению к вневидовой среде, почти лишает этих птиц способности летать. Если такой признак становится фактором отбора, то есть усиливается в ходе эволюции вида, это угрожает самому существованию вида, и ряд таких случаев известен. Например, рога у оленей, служащие главным образом орудием полового отбора, могут стать опасными для видов оленей, живущих в лесах, так как затрудняют передви-

[1]Заметим, что у сапиенсов объём мозга перестал меняться и не может уже служить мерой умственного развития. По-видимому, дальнейшие мутации уже не увеличивали количество мозговых тканей, а изменяли структуры и способы работы мозга. Этот качественный рубеж можно определить по резкому улучшению ископаемых орудий, но не по костным останкам.

жение среди деревьев.

У наших предков главную роль во внутривидовом соревновании, несомненно, играл головной мозг, дававший им преимущества не только в эксплуатации вневидовой среды, но и против собратьев по виду. Поскольку опасности природы были в основном "побеждены" (кроме периодов одновременного существования разных видов гоминид), селекционное давление в сторону развития мозга происходило преимущественно от истребительных войн с другими группами собственного вида. Таким образом, мозг был орудием войны с себе подобными, и в меньшей степени орудием полового отбора, наподобие перьев аргуса или рогов оленя. Так как мозг развивался одновременно у всех особей, с которыми приходится конкурировать индивиду, этот особый признак не мог стабилизироваться: чем больше он развивался, тем бóльшие требования предъявлял к нему отбор. Это было редкое в природе явление "положительной обратной связи", аналогичное таким катастрофическим явлениям, как раскачка сооружений при резонансе, снежный обвал или лесной пожар. По открытому Лоренцем общему закону природы, внутривидовой отбор ведёт к вымиранию вида. Все гоминиды вымерли, кроме человека. Что касается человека, то он вырвался за пределы биологического предопределения, развив *небиологический* механизм культурной эволюции — вырвался на уровень духовной жизни, и законы биологии не позволяют предсказать его судьбу. С биологической точки зрения мозг человека избыточен и представляет собой патологию. Но человека нельзя судить по одним только биологическим меркам. Это так же ошибочно, как недооценивать биологические стимулы человека[1].

---

[1]Сам Лоренц сказал бы, пользуясь выражением своего любимого философа Николая Гартмана: "Человек перешёл на более высокий уровень реального бытия" — вкладывая в это, впрочем, отчётливый естественнонаучный смысл.

Можно предположить, что "патологический" характер человеческого мозга вызовет удивление читателя; но здесь речь идёт о биологической (а не какой-либо другой) оценке этого механизма. С точки зрения биологии, патологическим следует считать любой механизм, ставящий под угрозу выживание вида. Развитие мозга под действием *внутривидового* отбора стимулировало повышение агрессивности и эффективности агрессии, что вполне могло быть причиной вымирания малочисленных видов гоминид, в бесконечных истребительных войнах между их группами. И в самом деле, все они вымерли, кроме сапиенсов — в полном согласии с законом Лоренца. Даже сейчас человеческий мозг поставил наш вид на грань гибели, придумав атомную войну. Таким образом, с *биологической* точки зрения — то есть с точки зрения сохранения вида — избыточное развитие мозга представляет сомнительный дар природы. К счастью, мы уже более чем животные.

Рассмотрим теперь более подробно единственную в живой природе эволюцию человека. Несомненно, гоминиды жили группами, как и все приматы: это подтверждается раскопками на их стоянках. Численность групп у приматов составляет несколько десятков особей, и естественно предположить, что социальный инстинкт, всегда определяющий численность групп общественных животных, задавал такую же численность у гоминид. Это подтверждается рядом фактов. У шимпанзе и горилл, наших ближайших родственников среди ныне живущих приматов, именно такие стада. На стоянках гоминид, погибших при обвалах пещер, находят несколько скелетов, но, конечно, не вся группа бывала в сборе в момент катастрофы. Размеры озёрных поселений эпохи неолита, где жили уже сапиенсы, были рассчитаны также на несколько десятков особей. Такую же численность имели первоначальные деревни земледельцев, возникавшие в лесах. Наконец, есть ещё независимое доказательство: психологи обнаружили, что современный человек способен поддерживать тесные эмоциональные связи с ограниченным числом людей — не более нескольких десятков, что, вероятно, определяется первоначальным социальным инстинктом человека. Условия жизни в современных городах, где наша способность к общению постоянно перенапрягается, доказывают, как опасно пренебрегать требованиями инстинкта.

Первоначальные группы наших предков-сапиенсов, подвергавшихся групповому отбору, несомненно насчитывали несколько десятков человек. Дарвин, основываясь только на материале первобытных племён его времени, открыл явление группового отбора, но он говорил не о “группах”, а о “сообществах” и “племенах”. Его предположение, что “сообщество, включающее много высоко одарённых особей, возрастает в численности”, не может быть верно для наших дочеловеческих предков: так могла возрастать численность индейского племени, но не первоначальной группы. Первоначальные группы нигде не сохранились; малочисленные племена амазонского леса или пустыни Калахари представляют собой, несомненно, продукт вырождения более развитых племён, что можно в ряде случаев доказать пережитками более высокой культуры. О *племенах*, образовавшихся на более поздней стадии развития нашего вида, чем первоначальные группы, будет речь в дальнейшем. Чтобы предотвратить смешение первоначальных групп с племенами, мы объяснили со всей возможной отчётливостью, как доказывается существование и оценивается численность этих групп.

Теперь мы рассмотрим подробнее недостаточно оценённый факт,

сыгравший важнейшую, вероятно, решающую роль в возникновении нашего вида. Между группами гоминид, в том числе между первоначальными группами сапиенсов, шла "беспрестанная междоусобная война", ещё более ожесточённая, чем война между более поздними племенами. По-видимому, Дарвин считал этот факт очевидным, распространяя представление о "беспрестанной войне" между *человеческими* племенами на сообщества их ещё *не человеческих* предков; вся Дарвинова концепция происхождения человека основана на смелой экстраполяции наблюдений над первобытными людьми на их предков-гоминид. Можно спросить себя, подтверждают ли имеющиеся у нас данные такую экстраполяцию: действительно ли группы гоминид вели между собой войны? К чему эти войны должны были привести? И каким образом согласовать этот факт с общим для всех высших животных инстинктом, запрещающим убийство собратьев по виду? Важность этого вопроса не ограничивается происхождением человека и его древнейшей историей, поскольку люди, как известно, ведут войны и до сих пор.

Наши более далёкие предки — ещё не гоминиды — несомненно, вели себя как "нормальные" обезьяны и соблюдали запрет на убийство. Этот запрет обусловлен *инстинктом*, а именно, инстинктом, корректирующим инстинкт внутривидовой агрессии; а инстинкт может быть изменён только мутацией генома, поскольку это наследственный признак вида. Когда же произошла эта мутация, потребовавшая *культурной* коррекции — в виде запрета "не убий"? Конечно, очень давно, потому что в прошлом не только *homo sapiens*, но все виды гоминид — и наши предки, и "родственники" — уже избавились от запрета убивать себе подобных. Доказательством является *каннибализм*: на стоянках всех видов гоминид находят обожжённые кости и пробитые черепа, не оставляющие в этом сомнения. Этот факт никогда не подчёркивается в учебниках, точно так же, как не принято останавливаться на каннибализме у некоторых первобытных племён, сохранившемся до наших дней. Пережитки его, в виде культового каннибализма, присутствовали даже в религиях высокоразвитых культур, например, у ацтеков. Безусловно, предки всех нынешних народов были каннибалами, о чём остались воспоминания в древнейших мифах и в "таинствах" многих религий.

Таким образом, наши предки — как и все гоминиды, потомки вида *homo* — убивали и пожирали своих собратьев по виду, несомненно принадлежавших к побеждённым группам. Частота свидетельству-

ющих об этом находок подтверждает правоту Дарвина, экстраполировавшего “беспрестанные междоусобные войны” нынешних племён на наших дочеловеческих предков, и то же можно распространить на всех гоминид.

Конечно, неприятно думать, что все мы происходим от предков, группы которых в самом деле вели друг с другом ту самую “войну всех против всех”, которая прежде считалась общим законом природы, но оказалась присущей единственно нашему виду — и ещё только крысам, нравы которых нас не могут так сильно волновать! Впрочем, до каннибализма не дошли и крысы. Ужас, внушаемый теперь происхождением от *таких* предков, можно сравнить с реакцией на идею “происхождения человека от обезьяны” в девятнадцатом веке. С этой идеей кое-как примирились, но шимпанзе и гориллы кажутся образцом благонравия и приличия по сравнению с теми настоящими предками человека, чьи изображения (впрочем, идеализируемые художниками!) смотрят на нас со страниц всех книг о происхождении человека. И точно так же, как многие современники Дарвина пытались приписать человеку более благородную родословную, теперь пытаются улучшить его прошлое так называемые “культурные релятивисты”.

“Культурные релятивисты” отказываются видеть качественные различия между человеческими культурами, считая все культуры “равными друг другу”; для них нет, следовательно, высших и низших культур, и тем самым не существует культурного развития. Культурные релятивисты отказываются признать, что культуры некоторых ныне живущих племён находятся на стадии, давно уже пройденной другими племенами; следовательно, для них антропология ничего не говорит о культурной истории человека. Эта позиция, прикрывающаяся лозунгами антирасизма, в действительности удобна для лицемерной идеологии “многорасового общества”, пытающегося уклониться от практического осуществления равноправия граждан с помощью псевдонаучных рассуждений. Кто был в Соединённых Штатах, не мог не заметить “многорасовой” рекламы: если, например, рекламируется детская одежда, то в этой одежде непременно изображаются два белых ребёнка, один чёрный и один жёлтый. Такое же коммерческое назначение имеет “культурный релятивизм”, поддерживающий иллюзию расового равноправия. “Культурные релятивисты”, а среди них немало благонамеренных, но далёких от объективной науки американских “левых”, пытаются возродить миф восемнадцатого века о “благородном дикаре”, живущем в “гармоническом равновесии с природой”; на практике же это должно

было бы означать консервирование отсталых племён в чем-то вроде индейских "резерваций".

Тот же "культурный релятивизм", обращённый в прошлое, пытается сделать родословную человека возможно более респектабельной. Поскольку невозможно утверждать, что все культуры наших предков были одинаково высоки, украшатели истории пытаются скрыть её самые ужасные страницы: художников поощряют "очеловечивать" лица гоминид; стараются не упоминать о каннибализме; не замечают группового отбора и войн между группами; более того, преуменьшают охотничье искусство и плотоядность наших предков: если верить некоторым авторам, они были мирные собиратели семян и личинок, время от времени лакомившиеся падалью. Ясно, что при таком подходе некоторые периоды истории человека лучше совсем опустить, прямо перейдя от *habilis* к началу земледелия[1].

Частота, с которой находят свидетельства каннибализма, не оставляет сомнения в том, что все гоминиды вели те "беспрестанные войны", о которых говорил Дарвин, положивший в основу своей концепции происхождения человека групповой отбор с прямыми конфликтами соперничающих групп. Таким образом, время решающей мутации, снявшей "запрет убийства", отодвигается к периоду возникновению вида *homo*, не менее чем за 4 миллиона лет от нас. Исключительный характер этой мутации сразу бросается в глаза, поскольку виды, не охраняемые "запретом убийства", должны были вымирать, о чём говорит их отсутствие в окружающем нас мире. Так как гоминиды все же существовали, хотя и в течение коротких периодов времени — сотен тысяч лет — а один из их видов существует и до сих пор, мы должны, как и подобает добрым дарвинистам, спросить себя, какое же преимущество дало им это "разрешение убийства"? Я полагаю, что с биологической стороны — никакого[2]. Если бы могло быть такое преимущество, то странно, почему эволюция в других случаях ни разу за него не "ухватилась" — не считая крыс. Известно, что любое удачное "изобретение" эволюции повторяется много раз, на самом разном материале, — а между тем,

[1] К сожалению, упомянутые тенденции проникли даже в популярную книгу Ричарда Лики о происхождении человека [Richard Leakey and Roger Levin. *Origins*. Macdonald and Jane's Pbls, London, 1977]. Конечно, это замечание никоим образом не затрагивает конкретных палеонтологических исследований д-ра Р. Лики.

[2] Наших предков оно, *может быть*, сделало людьми — но *биологического* преимущества здесь нет!

напомним ещё раз, высшие животные не убивают себе подобных, и группы общественных животных не ведут между собой войн. Можно было бы подумать, что искомым преимуществом является как раз каннибализм, доставлявший нашим предкам мясное питание; но гоминиды до самых исторических времён были малочисленны, и собрат по виду был, несомненно, редкой и опасной добычей. На стоянках, где находят много костей съеденных животных, кости гоминид составляют малую долю. Причина, по которой гоминиды, не охраняемые корректирующим инстинктом от внутривидовой агрессии, всё-таки существовали, должна быть уникальной, более не встречавшейся в эволюции видов, а это однозначно указывает на исключительное преимущество гоминид перед всеми другими животными — их необычайно развитый мозг. Я думаю, что мозг доставил им власть над окружающей средой, перевесившую уничтожительные последствия убийства. Впрочем, мутация корректирующего инстинкта, по-видимому, и сама была коррекцией: она не полностью сняла этот инстинкт, что никогда не случается в эволюции, а ограничила запрещение убийства членами собственной группы, о чём ещё будет речь. Я предполагаю, что мутация, "разрешающая убийство", произошла при самом образовании вида *homo*, вместе с мутациями, обусловившими особое развитие мозга; в самом деле, это "разрешение", по-видимому, сказалось на поведении всех гоминид[1]. Более того, я предполагаю, что специфической причиной, ускоряющей отбор, могло быть то особое обстоятельство, что отбор происходил в этом случае под давлением единственного фактора — усиленного развития мозга, при относительной маловажности остальных. Эти качественные соображения надо ещё проверить. Во всяком случае, выпадение инстинкта никак нельзя сравнить с его патологическим нарушением в необычных условиях — например, при клеточном содержании животных. Такое поведение случается и в естественной жизни животных, но обычно не продолжается и никогда не передаётся по наследству, как и все приобретённые признаки. Выпадение инстинкта может быть только результатом мутации.

Почему же гоминиды, получившие "разрешение убийства", сразу же им воспользовались и принялись нападать на другие группы сво-

---

[1] При обсуждении этого вопроса В. А. Охонин заметил, что между этими мутациями могла быть связь. Основными явлениями могли быть мутации, обусловившие быстрое развитие мозга, а выпадение инстинкта, запрещающего убийство, было, скорее всего, сопутствующим: в самом деле, как показывает математическое исследование эволюции, при быстрых мутационных процессах проявляется общая тенденция к выпадению инстинктов.

его вида? И почему они не воспользовались этим "разрешением" для нападения на членов собственной группы? На второй вопрос я попытаюсь ответить позже, а первый решается без труда. В самом деле, наши отдалённые предки — уже задолго до вида *homo*, от которого произошли все гоминиды — были крайне агрессивны. Они питались мясной пищей и выработали, несомненно, искусные навыки охоты, восполнившие природную слабость их вооружения. Мы не умеем, в самом деле, объяснить эту повышенную агрессивность, вовсе не свойственную более обычным обезьянам. Но у всех гоминид она может быть доказана, и можно предположить, что так же агрессивны были и предки вида *homo*. При образовании этого вида произошла мутация, ослабившая инстинкт, корректирующий инстинкт внутривидовой агрессии и препятствующий у всех приматов убийству особей своего вида. *Действие этого инстинкта было ограничено членами своей группы.* Но в отношении всех других особей своего вида инстинкт внутривидовой агрессии остался неограниченным и побуждал каждую особь *нападать на всех других, не защищённых корректирующим инстинктом.* Это и был тот "крах приспособительных инстинктов", о котором говорит Лоренц; впрочем, человеческое (или ещё дочеловеческое) мышление вряд ли было прямой причиной этого краха: скорее всего, как уже было сказано, выпадение инстинкта было побочным следствием быстрого мутационного развития мозга.

Как уже было сказано, групповой отбор, при некотором важном дополнительном предположении, может объяснить поразительную быстроту эволюции гоминид. Эта быстрота нуждается в объяснении: в самом деле, "нормальные" виды существуют миллионы лет, между тем как вся гамма видов гоминид (и австралопитеков) занимает удивительно короткий промежуток времени в 4 миллиона лет. Для этого объяснения я должен предположить, что группы гоминид одного и того же вида не просто воевали друг с другом, а как правило *уничтожали* всю побеждённую группу. Позиция Дарвина, изложенная выше, не заходила так далеко: как мы видели, Дарвин экстраполировал на наших предков наблюдения над современными племенами и полагал, что вымирание побеждённых "сообществ" происходило вследствие их вытеснения в неудобные для жизни места. Но Дарвин не знал ещё стоянок гоминид. Позиция антропологов в этом вопросе постепенно становится "радикальной", как можно видеть из приведённого выше высказывания Лоренца. Об этом свидетельствует также утверждение Джейн Гудолл в её книге о шимпанзе (*The Chimpanzees of Gombe*), которое она припи-

сывает Дарвину: “поскольку война предполагает конфликт между группами людей, а не между отдельными индивидами, благодаря геноциду она играет большую роль в групповом отборе”. Несомненно, это модернизация точки зрения Дарвина, не только не знавшего (в 1871 году) термина “геноцид”, но и не предполагавшего войн истребительного характера, обозначаемых этим словом. В последние десятилетия многие авторы высказывали гипотезы того же рода, что Джейн Гудолл.

Если понимать групповой отбор у гоминид в только что указанном смысле, то он аналогичен не естественному, а скорее искусственному отбору, в котором селекционер производит “выбраковку” не обладающих желательным признаком экземпляров. Искусственный отбор действует несравненно быстрее естественного: новые породы домашних животных с признаками, похожими на отличительные признаки нового вида, могут быть выведены в течение нескольких десятилетий, нередко при жизни одного селекционера. Понятно, почему выбраковка содействует быстроте искусственного отбора: при естественном отборе “менее приспособленные” экземпляры дают меньшее потомство, которое лишь медленно вытесняется потомством “более приспособленных”, тогда как при искусственном отборе носители нежелательных признаков вовсе не дают потомства. При групповом отборе уничтожение более слабых групп аналогично выбраковке при искусственном отборе, чем и объясняется его быстрота — промежуточная между быстротой естественного и искусственного отбора.

Разумеется, эта аналогия относится лишь к механизмам отбора, и этим исчерпывается. Искусственный отбор — это индивидуальный, а не групповой отбор, и никто, конечно, не “отбирал” гоминид. Но “метод отбора”, состоящий в истреблении более слабых групп, оказался необычайно эффективным и, вполне возможно, менее эффективные способы отбора и не привели бы к возникновению человека. Нет смысла говорить, “хорошо” или “плохо” это прошлое.

В применении к *homo sapiens* такие методы отбора не только этически недопустимы, но и *неосуществимы.* Как мы уже знаем, человек — “культурное существо”: он может воспроизводиться лишь при взаимодействии генетической и культурной наследственности. Но, как известно, культурная наследственность несёт в себе “запрет убийства”, приводимый в действие иным способом, чем у наших обезьяноподобных предков. Это и есть тот выход из биологического предопределения, который нашёл человек.

Попытка применить к людям “искусственный отбор” даже не

вернула бы людей в жуткий мир гоминид: очень скоро некому было бы проводить отбор. Групповой отбор, создавший человека, был "нечаянным" экспериментом природы. В рамках человеческой культуры такой отбор невозможен, а вне культуры нет человека.

Вернёмся теперь к истории нашего вида *homo sapiens.* Как уже говорилось, он возник в Африке — скорее всего в Северо-восточной Африке (нынешние Кения, Танзания, Эфиопия) около 200 тысяч лет назад. К нему привела последовательность видов, входивших в род *homo erectus* ("человек прямоходящий"), появившийся в каком-то месте Африки 600 или 700 тысяч лет назад. По уже указанным причинам мы не знаем наших *прямых* предков, но знаем некоторые близкие им виды, жившие одновременно с ними: это были питекантропы, синантропы, "гейдельбергские люди", неандертальцы. Благодаря этим находкам мы можем составить приблизительное представление о последнем этапе нашего происхождения. Как указывает самое название *erectus*, признаком всех видов этого рода было всё более уверенное хождение в выпрямленном положении, с освобождением рук для более искусного манипулирования вещами. Но самым важным признаком развития рода *erectus* был рост головного мозга, о чём свидетельствует возрастающий объём черепа.

Нет надёжных доказательств, что предшественники эректуса когда-либо покидали Африку; но эректусы распространились на три континента, перейдя из Африки в Азию и Европу. Сравнительное обилие переходных форм в Африке и отсутствие их на других континентах означает, по-видимому, что все гоминиды возникали только в Африке; если, предположим, неандерталец произошёл от гейдельбергского человека, то это не произошло в Европе: тот и другой пришли в Европу из Африки уже сложившимися видами.

Древнейшие остатки *homo sapiens* в Африке пока не найдены; но 120 тысяч лет назад, как показывают находки скелетов на Синайском полуострове, сапиенсы уже приступили к завоеванию мира. В отличие от предыдущих гоминид, они заселили также Австралию и Америку — вероятно, 30–40 тысяч лет назад.

Последовательность мутаций, создавшая наш вид, была, по-видимому, очень быстрой; поэтому, как полагает Лоренц, найти промежуточные формы этого процесса было бы трудно, но всё же Лоренц надеется, что со временем проблема возникновения человека будет решена — как и проблема возникновения жизни! Если верны недавно опубликованные расчёты генетиков, то уже сейчас можно внести удивительный вклад в историю происхождения нашего ви-

да. Согласно этим расчётам, все ныне живущие люди имеют *одного общего предка*, жившего примерно 200 тысяч лет назад, что хорошо согласуется с палеонтологическими данными о возрасте нашего вида. Это означало бы, что решающая мутация головного мозга, определившая наследственность человека, произошла у *единственного* индивида; что вновь возникший признак, передавшийся всем потомкам этого индивида (мужчины или женщины), оказался доминирующим и проявился у всех унаследовавших эту мутацию; и что унаследовавшие эту мутацию особи исходного вида стали людьми, а остальные вымерли.

Если эта гипотеза верна, то возникновение нашего вида зависело от счастливой случайности — например, от квантового скачка в какой-то молекуле мозга, замкнувшего цепочку последовательно связанных генетических программ в регулирующий контур. Такая случайность, открывшая путь к формированию человеческого мозга, кажется крайне маловероятной, но чтобы *оценить* её вероятность, надо было бы знать, какие связанные между собой программы уже были в достаточно развитом мозгу предшествовавшего нам вида. Само по себе удивление не является аргументом, точно так же, как неведение, но, конечно, даже по сравнению со всеми явлениями жизни эта мутация удивительна. Создатели мифа об Адаме и Еве точно так же удивлялись чуду творения, и здравый смысл сделал их "моноцентристами": они не могли допустить, что акт творения повторялся.

Другой вклад в историю происхождения человека внесли лингвисты, исследовавшие историю языков. Главный признак, отличающий человека от других животных, — это *понятийное мышление*, давшее человеку огромные преимущества в его вневидовом и внутривидовом окружении. Именно развитие понятийного мышления создало селекционное давление в сторону увеличения размеров мозга, а поскольку мозг весьма увеличился уже у предшествовавших человеку гоминид, то можно думать, что и они обладали некоторыми зачатками понятийного мышления и, *следовательно*, языка. В применении к гоминидам проблема "человек или животное" никоим образом не выглядит тривиальной. Если вид *homo sapiens* возник в одном месте (или даже пошёл от одного предка), то надо допустить, что около 200 тысяч лет назад где-то в Африке образовалось первое человеческое племя, от которого мы все произошли, — племя, успешно конкурировавшее со своими предшественниками-гоминидами и, безусловно, имевшее свой язык. Это допущение не связано даже с "гипотезой Адама или Евы", то есть с предположени-

ем об общем предке всех людей; оно хорошо согласуется с данными генетики[1] и лингвистики[2] о происхождении человеческих рас, полученными в последние годы. Русский лингвист Иллич-Свитыч доказал общее происхождение языков “белой” расы — индоевропейских, семитических, тюркских и угро-финских. Некоторые представители “исторической лингвистики” заходят так далеко, что пытаются восстановить отдельные слова “праязыка” — языка первоначального племени людей. Пока лучше воздержаться от оценки этих попыток, но можно заметить, что ещё совсем недавно даже родство между индоевропейскими и семитическими языками вызывало сомнения. Интереснее всего, что “объединительные” достижения лингвистов параллельны результатам генетиков, полученным на совсем другом материале.

Географическое распространение вида *homo sapiens* вызывает ряд вопросов. Известно, что по меньшей мере 30 тысяч лет назад сапиенсы добрались уже до Австралии и Америки, а через 15 тысяч лет достигли Патагонии. Поскольку 120 тысяч лет назад они прошли через Суэцкий перешеек, возникает вопрос, почему старейшим сапиенсам Западной Европы — найденным во Франции кроманьонцам — всего 40 тысяч лет? Почему сапиенсам понадобилось 80 тысяч лет, чтобы пройти Европу? Как мне кажется, потому, что им мешали неандертальцы.

Неандертальцы тоже возникли в Африке. Вероятно, их вид, немногим старше нашего, развивался параллельно ему и, возможно, имел с ним общих предков. Неандертальцы также распространились по Африке, Азии и Европе и были, вероятно, последними конкурентами сапиенсов в борьбе за власть над Землей. По-видимому, неандертальцы были несколько ниже нас ростом, но имели более массивное телосложение и, несомненно, бóльшую физическую силу. По сравнению с ними сапиенсы представляют то, что палеонтологи называют “грацильной”, т. е. “изящной”[3] формой. Мозг неандертальцев достигал 1400 см^3, что равно среднему объёму человеческого мозга. Как и другие гоминиды, они умели изготовлять каменные орудия и пользовались огнём. Раскопки их могил свидетельствуют о погребальных церемониях и, вероятно, у них были зачатки религии.

[1] Cavalli-Sforza L. L., Piazza A., Menozzo P., Mountain J. *Reconstruction of Human Evolution: Bringing Together Genetic, Archaeological, and Linguistic Data.* Proc.Acad.Sci.USA, 1988 Aug. 85(16) 6002-6006.

[2] M. Ruhlen. *The Origin of Language: Tracing the Evolution of the Mother Tongue.* J.Wiley & Sons, 1994.

[3] Gracilis — тонкий, стройный (лат.).

Неандертальцы заселили Европу раньше сапиенсов. Во время их наибольшего процветания — 150 или 160 тысяч лет назад — они были хозяевами Европы: им не страшны были никакие звери, и они умели справляться со всеми опасностями природы. Находки 1995 года в Испании, как и предшествующие находки в Хорватии, доказывают, что 30 тысяч лет назад неандертальцы и сапиенсы были современниками, и несомненно конкурентами: иначе неандертальцы дожили бы до наших дней. В лесах и болотах первозданной Европы неандертальцы подстерегали наших предков, и не было врага страшнее их: больше всех зверей мы боимся своего собственного образа в выродившемся и озверевшем человеке, но таким и должен был казаться нашим предкам неандерталец. Можно предполагать, что сапиенсам понадобилось 80 тысяч лет, чтобы истребить неандертальцев и отбить у них Европу. Возможно, эта борьба стимулировала отбор, усиливший человеческую агрессивность.

Неандертальцы проиграли, потому что наши предки были умнее. Их орудия улучшались, а орудия неандертальцев оставались неизменными. В Палестине, в пещерах горы Кармел, находили скелеты, которые относили к помесям неандертальца и сапиенса (в таком случае вряд ли можно было бы говорить о разных видах!). Теперь в этом сомневаются — неизвестно, смешивались они или нет.

Гипотезы о происхождении человека. Как уже было сказано, для дальнейшего изложения важны будут лишь *некоторые* гипотезы о происхождении человека. Приведём эти гипотезы. Мы предполагаем, что предки людей — гоминиды — жили группами в несколько десятков особей, связанных социальным инстинктом; что у этих гоминид, а также у их потомков-сапиенсов, был сильно развит инстинкт внутривидовой агрессии; и что инстинкт, сдерживающий агрессию и предотвращающий убийство собратьев по виду, был у них ослаблен, так что действие его ограничивалось лишь членами собственной группы. Далее, мы предполагаем, что они вели между собой постоянные войны, приводившие к истреблению побеждённых групп. При этом главным селекционным фактором развития мозга была внутривидовая борьба.

3. Образование племён

Как мы уже видели, у всех приматов численность групп составляет несколько десятков, и эта численность, определяемая социальным инстинктом, несомненно сохранялась у дочеловеческих гоминид и у первых людей. У всех общественных животных величина

группы поддерживается примерно одной и той же, и, несомненно, именно такая величина, выработанная отбором, наилучшим образом способствует сохранению вида. Размеры группы определяются областью, где она должна кормиться, и возможностью узнавания всех индивидов группы, необходимой для установления иерархии и поддержания отношений; впрочем, этот вопрос мало изучен. Если — в благоприятных условиях — группа становится слишком большой, то она делится на две части, что без сомнения предусмотрено механизмом социального инстинкта; при этом социальные связи скоро забываются, и обе группы становятся "чужими" друг другу: в отношениях между ними социальный инстинкт теряет силу. Точно так же теряет силу материнский инстинкт, когда потомство достигает определённого возраста: животные не помнят родства дольше, чем это предусмотрено их инстинктивной программой.

На этом примере мы проиллюстрируем важную особенность работы инстинктов. Материнский инстинкт — открытая программа, не врождённая, а запускаемая материнским обучением, которое у обезьян генетически запрограммировано. Их подпрограмма обучения потомства вводится в раннем возрасте: опытами на обезьянах доказано, что самка, не получившая нормального для её вида материнского ухода, не способна воспитывать детёныша. Генетически запрограммирован также возраст детёныша, в котором материнский инстинкт "выключается": этот возраст, определённый для каждого вида, задаётся особым механизмом. Например, у шимпанзе семилетний индивид — уже самостоятельный, хотя и невысокий по рангу член группы, и мать не проявляет к нему никакого интереса. Разумеется, все эти механизмы "предусмотрены" геномом вида.

У человека материнский инстинкт устроен сложнее. Как мы уже знаем, "врождённое знание" у человека сплошь и рядом меньше, чем у животных: для "запуска" материнского инстинкта недостаточно даже нормального материнского ухода за девочкой в раннем детстве. Навыки материнства составляют часть *культурной* традиции и "вводятся" в открытую программу материнского инстинкта путём культурного обучения. Как установили психологи, у человека, как и у всех приматов, генетически запрограммировано "прекращение материнской любви", когда ребёнок достигает определённого возраста, составляющего для нашего вида 5–6 лет. До этого возраста ребёнок вызывает у матери реакции, нормальные для приматов, и мать ухаживает за ним правильным образом, если её этому научили. Инстинкт даёт необходимое побуждение ("любовь к ребёнку"), а культурная подпрограмма — необходимую информацию. Но для че-

ловека прекращение материнской любви совершенно неприемлемо, потому что его воспитание очень растянуто, вследствие сложного развития мозга. Она и не прекращается: эволюция "изобрела" другую программу, специфически человеческую и, несомненно, наследственную, которая вводится в действие как раз в то время, когда "исчерпывается" предыдущая, и "продлевает" действие материнской любви. Более молодые (в эволюционном смысле) инстинкты срабатывают не столь надёжно, как более старые, так что переключение программ происходит не всегда. Если оно не происходит, то мать и в самом деле *не любит* своего ребёнка после 5–6 лет, хотя и выполняет обычно требуемые культурой внешние процедуры, подражая принятым образцам. Но материнский инстинкт у неё больше не действует, как это и наблюдается в значительном числе случаев. Я заимствую этот факт из книги Э. Фромма "Искусство любить", где ему даётся по существу то же объяснение.

В нормальных случаях, однако, не заметно никакого изменения поведения матери при переходе через этот критический возраст ребёнка. Можно предположить, что у большинства матерей продолжает действовать *тот же* инстинкт, что и раньше: дело происходит так, как будто предыдущий инстинкт, свойственный всем приматам, не заменяется каким-то новым инстинктом, а видоизменяется — снимается "выключатель", срабатывавший через 5–6 лет после рождения ребёнка. Таким образом, как это всегда бывает в эволюции, предыдущая программа не просто отменяется, а дополняется новой, блокирующей действие "выключателя". Тогда *прежний* инстинкт может действовать неограниченно, до конца жизни матери. На этом примере я хочу проиллюстрировать явление, имеющее, как я полагаю, общее биологическое значение. Можно представить себе, что материнский инстинкт приматов — это механизм, работающий или не работающий в зависимости от возраста ребёнка. Ему некоторым образом "предъявляется" этот возраст, и если он не больше 6 лет, то материнская любовь включается, а если больше, то нет. На возрасте 7 лет стоит "метка", прекращающая действие материнской любви. Это происходит так, как будто при предъявлении чисел $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ механизм инстинкта выдаёт реакцию, описываемую словом "свой", а при предъявлении бóльших чисел — словом "чужой". Новая, человеческая программа — тоже наследственная — убирает метку, и тогда *тот же* инстинкт начинает выдавать реакцию "свой" на любое число[1].

---

[1]Термин "метка" был предложен Р. Г. Хлебопросом, когда я изложил ему

До сих пор речь шла о *наследственных* программах, реагирующих на биологически заданные ситуации, поскольку отношение матери к ребёнку, во всяком случае в раннем возрасте, не зависит от культурной традиции. Но вообще отношения родства выражаются абстрактными понятиями и описываются (у человека) словесным языком; я не строю гипотез, понимают ли эти отношения животные. Во всяком случае, у всех общественных животных есть наследственная программа ознакомления и узнавания членов собственной группы, выдающая метку "свой" при встрече с членом группы. Предъявление этой метки специфическому для вида механизму социального инстинкта включает особо интимные отношения к данному индивиду. Эта наследственная программа выработки и предъявления метки ограничивает действие социального инстинкта "своей" группой.

У человека дело обстоит сложнее. Как мы уже знаем, человек — "культурное существо": он может существовать лишь при наличии двух взаимодействующих систем наследственности — генетической и культурной. Среда, к которой должен приспосабливаться человек и в которой работают его инстинкты, это не только природная, но и *культурная* среда, продукт культурной наследственности. В открытые программы человеческих инстинктов вводятся путём обучения подпрограммы, происходящие из культурной традиции и "написанные" на символическом, чаще всего словесном языке. Вместе с этими программами могут вводиться и метки, определяющие *объём действия инстинктов.* В отличие от животных, у которых метка в конечном счёте задаётся геномом (даже если для этого требуется *предусмотренное геномом* обучение), у человека метки вырабатываются *культурным* обучением. В частности, культурное обучение определяет у человека *объём коллектива, в котором действует социальный инстинкт.* Человек, воспитанный в определённой культуре, считает "своими" членов коллектива, выделенного некоторыми культурными признаками, такими, как язык, татуировка, одежда, священные ритуалы и т. д. Коллективы этого рода, известные с начала писаной истории и несомненно существовавшие намного

ту же идею в применении к другому случаю. Для знакомых с логикой приведу её общую формулировку. Некоторый механизм срабатывает при предъявлении любого объекта множества M, то есть содержит квантор общности, распространённый *на это множество.* Последнее ограничение и есть то, что выше было названо "меткой". Добавочный механизм блокирует метку и устанавливает вместо неё другую, то есть распространяет квантор общности на большее множество, или сужает его до меньшего. В предыдущем примере множество M состоит из целых чисел, меньших семи, а большее множество из всех целых чисел.

раньше, называются *племенами*.

Конечно, всегда предполагалось, что сплочённость племени создавалась принятым в его культуре воспитанием, и можно спросить, при чём тут инстинкт? Культуры и системы воспитания столь разнообразны, что можно подумать, будто в человеке можно воспитать любое поведение — откуда и происходит латинская метафора tabula rasa и основанный на ней бихевиоризм. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что этические понятия и правовые системы всех племён, ныне живущих на Земле или известных из истории, в основных принципах сходны между собой — в гораздо большей мере, чем это можно объяснить заимствованиями из других культур. Мы ещё займёмся дальше этим удивительным совпадением, которое, впрочем, нисколько не удивляет антропологов — поскольку самая возможность *взаимопонимания* людей всех культур предполагает их общую основу. Этой основой, несомненно, является общая система инстинктов, определяющая наш вид. Культурные программы, столь различные на первый взгляд, во всех случаях вводятся в открытые программы инстинктов, *одних и тех же у всех людей.* Но, конечно, у каждой культуры своя метка, задающая коллектив "своих".

Первоначальные группы у человека давно исчезли. Те группы близких родственников и друзей, с которыми человек поддерживает тесные личные отношения, не имеют ничего общего с группами, бродившими по первобытным лесам. Метка, выделявшая такую первоначальную группу в качестве коллектива "своих" и *исключавшая из действия социального инстинкта всех других собратьев по виду*, давно не действует: несомненно, она блокирована некоторой мутацией генома, поскольку иначе инстинкт не может быть изменён. Наши отношения с людьми, определяемые культурным воспитанием, зависят, конечно, от "успешности" этого воспитания — всегда уступающего в эффективности инстинктивно запрограммированному воспитанию. Люди могут быть для нас более или менее "своими"; но *численность* коллектива, на который у нас хватает сильных эмоций, по-видимому, всё-таки задаётся геномом и соответствует численности первоначальных групп.

Блокирование метки, ограничивавшей действие социального инстинкта, несомненно было *видообразующей* мутацией, то есть одной из последовательности мутаций, создавших наш вид. Но это вовсе не значит, что поведение наших предков тут же изменилось: поначалу они продолжали жить жизнью гоминид, поскольку им недоставало культурного развития, и начавшаяся у них культурная традиция ещё не выработала новых меток для программы узнавания

“своих”. Продолжались войны между группами, но теперь численность групп, уже не ограничиваемая “меткой стада приматов”, могла возрастать, что составляло преимущество во внутривидовой борьбе. Как мы помним, Дарвин видел это преимущество многочисленных сообществ, но распространял его на наших *дочеловеческих* предков, у которых его не могло быть. Сапиенсы уже могли использовать это преимущество: у них был *словесный* язык, несомненно лучший, чем способы общения их предшественников, что позволило им узнавать друг друга по языковой метке; благодаря этому они могли жить бо́льшими племенами и, возможно, это обеспечило им победу над неандертальцами. Таким образом была устранена последняя внешняя опасность, угрожавшая нашему виду.

Когда выработались культурные символы — метки, объединяющие племя — численность человеческой группы могла расти до сотен и даже тысяч особей. Благодаря языку у людей выработалось и закрепилось знание родства, далеко выходящее за пределы возникших у них семей. Племена, образовавшиеся путём деления из одного племени, помнили своё родство; так возникли племенные союзы, какие мы знаем у американских индейцев, у древних греков и италийцев, и т. д. В новых условиях групповой отбор превратился в *племенной* отбор, постепенно утративший свой истребительный характер. Расширение действия социального инстинкта зависело теперь от культурных программ, вводимых воспитанием, а такие программы, в отличие от жёстких генетических программ, могли расширяться. В таких расширенных программах можно было уже считать “своими” женщин побеждённого племени, а затем дозволялось не всегда убивать мужчин. Со временем отсюда возникло рабовладение, и постепенно исчез каннибализм, на который в более развитых племенах был наложен культурный запрет. Все эти процессы, отчётливо отразившиеся в истории и литературе культурных народов, до сих пор почти не изучены. Отметим только, что запрет убийства, распространяющийся у высших животных на всех собратьев по виду и имеющий *инстинктивный* характер, во всех человеческих культурах был “восстановлен” в виде *культурного* запрета “не убий”, но только в отношении членов своего племени. Как известно, даже у высоко цивилизованных древних греков законы карали только за убийство сограждан; “иностранцев” не запрещалось убивать (и грабить), если их не защищал “международный” договор. Эти иностранцы могли быть тоже греки, из соседнего города или племени; впрочем, их жизнь охранялась соглашениями во время Олимпиад.

Изменения инстинкта, означающие блокирование или установку метки, уже встречались нам выше — например, как было сказано, *у человека* инстинкт, корректирующий внутривидовую агрессию, был ограничен пределами собственной группы. Такое сужение коллектива, в котором действует инстинкт, мы назовём *локализацией* инстинкта. Важно подчеркнуть, что инстинкт никогда не может быть полностью устранён. Культурное воспитание может его ослабить, но не может уничтожить. Наш набор инстинктов представляет собой генетически обусловленную характеристику нашего вида.

Расширение действия инстинкта на больший коллектив мы назовём *глобализацией* инстинкта. Несомненно, на некотором этапе истории человека произошла глобализация социального инстинкта с группы на племя. А поскольку социальный инстинкт связан с ограничением агрессии, то одновременно расширилось и действие инстинкта, корректирующего внутривидовую агрессию. Дальнейшая глобализация социального инстинкта зависела уже не от генетически заданной "групповой" метки, навсегда блокированной происшедшей мутацией, а от *культурной эволюции*, вырабатывающей и вводящей в программы поведения новые метки. Как мы увидим, это было началом всё большей глобализации, постепенно охватывающей весь человеческий род.

4. Происхождение семьи

Одним из важнейших результатов культурной наследственности было, как мы уже видели, накопление культурной традиции, свойственное только человеку; оно привело к необычайному удлинению детства — так называемой *неотении*. Это удлинение необходимо для усвоения огромного объёма информации, причём передатчиками традиции чаще всего служат родители (а иногда заменяющие их лица). Неотения — исключительное явление, свойственное только человеку. У всех видов приматов детство продолжается до 5–6 лет, после чего молодая особь теряет всякую связь с матерью; с отцом же никаких связей и не возникает, потому что обезьяны не знают своего отца. Парный брак, производящий — на весьма различных ступенях развития общественных животных — явления, столь напоминающие человеческую семью, примечательным образом отсутствует у наших ближайших родственников, шимпанзе и горилл. В этом отношении серые гуси, любимый объект наблюдений Лоренца, гораздо лучше демонстрируют семейные добродетели: парный брак заключается у них в два года и длится в течение всей жизни, иногда до 50 лет.

У человека передача культурной традиции — очень сложный процесс, продолжающийся и после полового созревания. Обряды “инициации”, после которых мальчик считается мужчиной, в разных племенах совершались в 13–17 лет, но в современном обществе зависимость детей от заботы старших значительно дольше. Как мы уже видели, эволюция позаботилась о продлении материнского инстинкта, причём, как это часто бывало у человека, новый инстинктивный механизм оказался “избыточным”: мать любит своих детей и заботится о них в течение всей их жизни. Но очевидно, что столь продолжительное воспитание потомства (более чем вдвое долгое, чем у других приматов) превосходило бы возможности матери. Эволюция воспользовалась здесь “изобретением”, уже много раз испытанным на разных видах: она доставила человеку парный брак, разделив труд воспитания между родителями. Но если у других животных парный брак может программироваться только инстинктом, то в случае человека потребовался бы генетический механизм, вовсе отсутствующий у приматов. Кроме того, даже у вполне здоровых мужчин интерес к потомству, да и к самому браку сплошь и рядом не возникает, так что, скорее всего, у мужчины генетически программируется лишь более продолжительная привязанность к другому полу, а всё остальное — парный брак и забота о потомстве — приходится на долю культурной наследственности. Это позволяет понять крайнее разнообразие сексуального поведения и брачных обычаев у разных племён[1].

Итак, парный брак следует, по-видимому, приписать *культурной* наследственности. В пользу такого предположения говорит ещё и то обстоятельство, что в условиях парного брака привязанность к детям сохраняется у отца и у матери *в течение всей жизни.* Ничего подобного нет у животных, воспитывающих детей в парном браке: после определённого, предусмотренного инстинктом времени родители забывают своих детей, а дети — родителей. Можно сомневаться, что парный брак был уже у наших дочеловеческих предков, живших первоначальными группами. Расширение действия материнского инстинкта, о котором была речь в этой главе, потребовалось для более продолжительного воспитания потомства, и по той же причине и в тот же период времени — может быть, на каком-то этапе образования племён — понадобилось привлечь к воспитанию

[1] У австралийских аборигенов выпало даже представление об отцовстве: они не связывают беременность с половым актом и не знают своего отца. Скорее всего, это патологическое выпадение культурной традиции у немногочисленного первоначального племени, изолированного на своём континенте.

отца. Но если для продления материнского инстинкта достаточно было снять блокирующую метку с уже наличного инстинкта, то в случае отца никакого инстинкта заботы о потомстве у приматов не было вообще. По-видимому, эволюция и не создала такого инстинкта, и равным образом не создала у человека "брачного" инстинкта, а только усилила половую активность человека, что уже было отмечено в конце первой главы. Это позволило бы объяснить круглогодичную половую активность человека, не свойственную другим высшим животным (которую мы обозначили выше словом "гиперсексуальность"). Эволюция вообще предпочитает не создавать заново совсем отсутствующие механизмы, а корректировать действие уже наличных. После этого *культурная* эволюция, пользуясь более прочной привязанностью сексуальных партнёров, создала из таких связей парный брак. Возникновение сходных механизмов различными путями представляет известную закономерность эволюции, именуемую "конвергенцией"; она относится не только к физическим признакам, но и к поведению. Таким образом, парный брак у человека, при всем его сходстве с аналогичными механизмами у других высших животных, возник необычным путём, с участием культурной наследственности.

Если сделанные выше гипотезы справедливы, то можно понять, почему у человека брак гораздо менее надёжен и гораздо более разнообразен в своих формах, чем у животных, у которых он полностью построен на действии инстинктов. Более того, выясняется различная природа материнской и отцовской любви. Материнская любовь инстинктивно запрограммирована, но включение этой программы предполагает нормальное воспитания матери в её детстве: по наблюдениям обезьян известно, что в отсутствие такого нормального воспитания материнский инстинкт у них не срабатывает, и то же видно в поведении матерей, выросших в детском доме. Если включение этого общего всем приматам инстинкта материнской любви происходит исправно, то до 5–6 лет этот инстинкт действует безотказно. Далее, если исправно происходит снятие блокирующей метки, о чем была речь выше, то *материнская любовь продолжается всю жизнь и всегда инстинктивна.* Если же происходит сбой в переключении инстинкта и метка не снимается, то женщина больше не любит своего ребёнка, хотя обычно этого не сознаёт, и как правило продолжает заботиться о ребёнке по принятой в её культуре программе. Психологическое исследование в ряде случаев подтвердило это предположение, о чём говорил ещё Фромм.

Что касается отца, то *у него нет инстинктивной любви к ребён-*

ку. Но в нормальных случаях он усваивает выработанную культурой программу отцовской любви, чаще всего связанную с программой парного брака. При этом даже при разрыве брака не происходит перебоев в действии этой программы, поскольку она не зависит от специальных родительских инстинктов. Надо иметь в виду, что неполноценность материнского чувства в описанных выше случаях подсознательно травмирует и мать, и ребёнка, как всякое расстройство наследственного механизма. Ничего подобного не происходит у мужчины, поскольку у него и не должно быть такого механизма: в нормальных случаях культурные механизмы имеют такую же внутреннюю убедительность и такое же внешнее действие, как генетические. Но, конечно, ненормальные случаи, зависящие от воспитания, для обоих полов одинаково опасны.

Механизм парного брака, при всём разнообразии его форм, является основным для нашего вида, и его нарушения — в прошлом или в наше время — надо рассматривать как патологию. В самом деле, биологическая цель брака состоит в воспитании полноценного потомства, и наивно было бы думать, что этот выработанный культурной эволюцией механизм можно безнаказанно разрушить. Но семья принимала в известных нам культурах весьма различные формы, а в современной западной культуре находится на грани распада.

Это уже не биологическая проблема, а проблема культуры. Биология может лишь указать условия, при которых только и может быть воспитано здоровое потомство. По-видимому, таким условием является добровольный и длительный союз мужчины и женщины, то есть парный брак. Культурная эволюция может, конечно, изменить этот механизм, который она же и создала. Но в таком случае ей лучше следовать примеру генетической эволюции, с её осторожным консерватизмом: когда дело касается воспитания потомства и психического равновесия обоих полов, “культурные революции” могут быть особенно опасны. Несомненно, парный брак сохранится, но, возможно, во многом изменит свой характер.

При этом надо выяснить, что означает роль женщины в современной семье. Женщины не хотят и не могут больше довольствоваться воспитанием детей и кругом семейной жизни, как этого хотели бы многие мужчины. Ни мужчина, ни женщина не существуют для простого воспроизводства нашего вида. Здесь уже кончается биология и начинается история человечества. Вожди племён, как правило, были мужчины — это было естественно в те времена, когда непрестанные войны придавали наибольшую ценность физи-

ческой силе. Женщина не может сравниться с мужчиной в этом отношении, поскольку деторождение несовместимо с таким же развитием мышечного аппарата. Но уже в древности такое ограничение роли женщин не было абсолютным. Мифы об амазонках имели, несомненно, свою причину. Римляне были удивлены, увидев, что у галлов женщины сражаются вместе с мужьями. Более важны пережитки в обычаях многих племён — например, системы родства по матери. Эти обычаи, а также другие, свидетельствуют, что некогда женщины играли в этих племенах руководящую роль. В середине 19 века немецкий этнограф Бахофен выдвинул даже гипотезу, что в истории человечества был целый период "матриархата", когда все племена возглавлялись женщинами. Теперь эта гипотеза оспаривается. Но хотя в историческое время можно везде видеть господство мужчин, вполне возможно, что эта их "всемирная победа" уже исчерпала себя.

Физическая сила давно уже не играет решающей роли и, несомненно, человечество отказывается от войн. Во всём остальном женщина не уступает мужчине: механизмы и результаты мышления тождественны, и их генетическая основа могла быть создана только совместно для обоих полов. Преимущества мужчин имеют очевидное культурное происхождение; но всё созданное культурой может быть — и довольно быстро — устранено тем же путём. Можно сказать, что особое преимущество мужчин исчезает у нас на глазах.

Глава 3

Социальная справедливость

1. Наука и общественная жизнь

Выражение “социальная справедливость”, стоящее в названии этой главы, не связывается в этой книге ни с каким реальным или желательным для автора общественным строем, а означает лишь исторически сложившийся, менявшийся со временем общественный идеал. Существование таких идеалов невозможно отрицать. В древности люди верили, что справедливое общество было в начале истории, о чём рассказывалось в мифах. В Средние века люди полагали, что на Земле справедливое общество невозможно, и надеялись обрести справедливость в загробном мире. В Новое время люди перенесли свои упования на справедливость в будущее, рассчитывая достигнуть её со временем на этом свете. Изучение всех этих идеалов, породивших столько мифов и утопий, — не моя задача. Меня интересует вполне реальное общественное явление, обычно называемое *протестом против социальной несправедливости, или классовой борьбой.*

Любопытно, впрочем, отметить, что́ можно сказать о “справедливости” с чисто биологической стороны. Лоренц говорит об открытом им инстинкте внутривидовой агрессии: “Этот совсем простой физиологический механизм борьбы за территорию прямо-таки идеально решает задачу «справедливого», т. е. выгодного *для всего вида в его совокупности*, распределения особей по ареалу, в котором данный вид может жить” (“Так называемое зло”, гл. 3). Конечно, к человеку этот критерий имеет лишь косвенное отношение, поскольку он говорит лишь о *биологических* условиях сохранения нашего вида. Понятие о “справедливом обществе” зависит от места и времени, то есть от *культуры*, причём ни одну культуру её современники не признавали вполне справедливой.

Напротив, понятие о “социальной несправедливости”, как мы увидим, имеет глубокие биологические основания и проходит через всю историю. Оно всегда вызывало однородные социальные явления, потому что в основе его лежало *нарушение социального инстинкта.* Эти явления отнюдь не сводятся к экономическим причинам, как думали марксисты, и как думают до сих пор мыслители,

не умеющие выйти за пределы рыночного хозяйства с его системой наёмного труда и стимулируемого потребления. Все эти построения далеки от научного реализма.

Представление о том, что окружающая нас действительность допускает объективное исследование, возникло недавно. Если не считать некоторых зачатков науки в древности, современная наука, опирающаяся на экспериментальное исследование и теоретическое описание природы, начинается с семнадцатого века. Начало её связано с именами Галилея и Ньютона. Галилей впервые в Новой истории начал сознательно ставить опыты для выяснения, как на самом деле происходят явления природы. Но рождение науки обычно связывают с появлением труда Ньютона "Математические начала натуральной философии" (1687), который применил открытые им методы математического анализа к объяснению законов движения планет. Таким образом, первой из естественных наук была "небесная механика". Но законы движения Ньютона распространялись на все механические движения, а затем из них развилась вся физика.

Очень скоро возникла надежда, что человеческое общество тоже допускает научное описание. Естественно, среди общественных явлений стали искать простейшие, к которым можно было применить математический подход, столь оправдавший себя в механике Ньютона. Такой простейшей областью казалась экономическая деятельность людей: Тюрго, начавший с проповеди "ньютонианства", стал экономистом и пытался провести реформы, которые, возможно, спасли бы Францию от революции, а Европу — от наполеоновских войн. Экономисты могли применить тогда к своему предмету лишь простую арифметику, но они были верные последователи Ньютона. Величайшим из них был Адам Смит, открывший законы рынка. Его книга "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776) положила начало экономической науке. Это был первый период в развитии общественных наук, который можно назвать механистическим.

К этому периоду несомненно принадлежал и Карл Маркс. Он считал себя учёным, и его научной специальностью была экономика. "Теория стоимости", развитая им вслед за Д. Рикардо, явно несёт на себе отпечаток "энергетической" идеологии, заимствованной из механики. Маркс думал, что открыл экономическое объяснение истории, но его понимание опиралось на частную модель капиталистической экономики, и он экстраполировал эту модель с помощью диалектики Гегеля. С нашей точки зрения построение Маркса было попыткой угадать будущую науку, но философия оказалась для это-

го ненадёжным средством. Как известно, попытка Маркса не удалась, хотя и весьма стимулировала общественное мышление.

Мыслители, пытающиеся понять человеческое общество как "экономическую машину", встречаются и до сих пор. Одной из причин, побудивших меня написать эту книгу, было стремление противодействовать их идеологии, намного более примитивной в наши дни, чем идеология Маркса, потому что эти современные механицисты вообще принимают во внимание лишь то, что Маркс называл "базисом" общественной жизни, полностью игнорируя "надстройку".

Поскольку прямое сведение изучения общества к механическим моделям не удавалось, возникло представление, что существуют разные уровни познания мира, учитывающие специфические особенности изучаемого предмета. Вероятно, первым, кто отчётливо выделил уровни человеческого познания, с соответствующей классификацией наук, принадлежащих каждому уровню, был Огюст Конт. В тридцатых годах девятнадцатого века он придумал термин "социология" для обозначения будущей науки о человеческом обществе. Между физикой и социологией Конт поставил в своей иерархии наук биологию, считая предмет её "более сложным", чем предмет физики, но "менее сложным", чем предмет социологии[1].

Второй период развития общественных наук можно назвать биологическим. Корни этого подхода уходят в древность: задолго до "ньютонианства" люди пытались строить не механические, а живые модели общества, сравнивая "общественный организм" с человеческим организмом. Сравнение, к которому прибегнул Менений Агриппа для успокоения римского плебса, было, по-видимому, в ходу в его время: он сравнил патрициев с головой человека, собственников и торговцев — с его брюхом, а простой народ — с руками и ногами. Но настоящей моделью человеческого общества сделался, после Дарвина, вид животных, эволюционирующий в "борьбе за существование". Влияние дарвинизма было важно в том отношении, что общество стали сравнивать с *живыми* системами, более подходящими для его моделирования, и что усилилось внимание к *инстинктивной мотивации* человеческого поведения.

Чарльз Дарвин пришёл к своей концепции естественного отбора, сопоставив наблюдения над разнообразием видов животных и растений, сделанные во время кругосветного плавания, с идеей Томаса Мальтуса об избыточном размножении и конкуренции в использовании ограниченных ресурсов. Мальтус, в свою очередь, писал свой

[1]Самое слово "биология" было введено в употребление Ламарком в 1802 году.

"Опыт о народонаселении" под влиянием теории рыночного хозяйства Адама Смита, и имея в виду прежде всего человеческие популяции. Это, наряду с древним сравнением Агриппы, пример взаимодействия естественных наук с "гуманитарными", с которым мы не раз встретимся в дальнейшем. Теория эволюции Дарвина оказала огромное влияние на самопонимание человека и на развитие общественных наук. Однако, самый смысл идей Дарвина при этом искажался: так называемые социал-дарвинисты стали усматривать в истории человечества борьбу "высших" и "низших" рас.

Третий период, психоаналитический, начался с работ Зигмунда Фрейда, то есть с 90-ых годов 19-го века. Открытие "подсознания", определяющего "нерациональное" поведение человека, оказало огромное влияние на человеческое мышление вообще; но фантастические построения Фрейда и его учеников, пытавшихся основать на психоанализе всё объяснение общества и истории, скоро скомпрометировали это направление. Наиболее интересным его достижением была книга Эриха Фромма "Бегство от свободы". Фромм рассматривал общество как систему, элементами которой являются отдельные индивиды, реагирующие на стимулы окружающей среды так, как предполагает психоанализ. Это понимание психических реакций человека, хотя и несовершенное, составляет преимущество схемы Фромма перед обычными построениями социологов. Он сумел объяснить важные особенности массового поведения людей в двадцатом столетии. Но дальнейшее развитие проекта Фромма требовало — как он сам видел — изучения подсистем, промежуточных между индивидом и всем обществом, а также взаимодействия этих подсистем. Важнейшие из таких подсистем — это *культуры*, исследование которых тогда едва начиналось.

Главной слабостью психоаналитического подхода к обществу было незнание биологической природы человека. Фрейд признавал основную роль инстинктивных побуждений, носителем которых он считал гипотетический механизм подсознания под названием "Ид" (по-латыни "Оно"). Но психоаналитики не понимали, как действуют инстинкты в психике индивида и в жизни сообщества.

Четвёртый период в развитии общественных наук, который можно назвать "кибернетическим", начался работами Норберта Винера в 1948 году и продолжается по сей день. Винер и его сотрудники, параллельно изучая саморегулирующиеся системы в технике и в живых организмах, разработали идеи обратной связи и замкнутого цикла процессов, в который включена обратная связь. Винер с самого начала предполагал, что нашёл руководящие принципы для

понимания механизмов жизни. Но оправдание этой надежды пришло не сразу, так как биологи медленно усваивали кибернетику. Инженеры быстрее освоили её на своём более простом материале, и кибернетика надолго стала "технической наукой". К её понятиям прибавилась теория информации, созданная в работах Винера и К. Шеннона.

Тогда же, с конца сороковых годов, начались преждевременные попытки перенесения методов "технической кибернетики" в социальные науки. Для этих попыток характерно было стремление *прямо* перейти от систем автоматического регулирования, применяемых в технике, к общественным механизмам. Исследователи этого рода пользовались идеологией, называемой "общей теорией систем", пытаясь выделить в изучаемой системе её подсистемы и составить схему отношений между ними. В итоге получались "блок-схемы", состоящие из прямоугольников с надписями в них и стрелок, соединяющих эти прямоугольники. Такая "кибернетическая социология" оставалась бесплодной, но вовсе не потому, что идеи кибернетики не имеют значения для социальных наук. Их значение было недостаточно понято, потому что социологи, пренебрегая указанием Конта, "пропускали" биологический уровень интеграции[1], лежащий между физическим и социальным. Только биология может доставить модели, достаточно сложные для изучения ещё более сложных социальных систем. Но это не просто возобновление второго периода в исследовании общества, описанного выше, поскольку при этом используется кибернетический подход. Кибернетика не только сравнивает общественные механизмы с механизмами животных или человека, но *рассматривает все живые системы с единой точки зрения и пытается выяснить общие законы деятельности таких систем.*

До семидесятых годов могло казаться, что пророчество Винера не оправдалось, и что кибернетика стала лишь "грамматикой" современной техники регулирования, но не биологии. Но в последнее время выяснилось, что предвидение Винера было верно. Решающая роль обратных связей и регулирующих контуров в объяснении биологических явлений была доказана рядом биологов и резюмирована в уже упоминавшейся книге "Оборотная сторона зеркала" Конрада Лоренца, составившей эпоху в развитии научного мышления, и в блестящих работах Грегори Бейтсона[2]. Роль биологии в понимании

[1]Интеграцией здесь называется соединение более простых систем в единую систему, в которой они играют роль взаимодействующих подсистем.

[2]G. Bateson. *Steps to an Ecology of Mind* ("Этапы экологии психики"), 1972; *Mind and Nature* ("Психика и природа"), 1979.

человеческого общества должна резко возрасти.

Для нашей работы прежде всего важны данные современной биологии, изложенные в первых двух главах. Применение этих данных к человеку требует некоторых существенных дополнений.

2. Инстинктивные основы социального поведения

Мы будем пользоваться в дальнейшем представлениями об инстинктах, изложенными в предыдущих главах. Подчеркнём ещё раз, что термин "инстинкт" мы понимаем в смысле, определённом в первой главе: инстинкты — это наследственные программы поведения, в случае высших животных и особенно человека — преимущественно открытые программы. Сравнение с компьютером, использованное в первой главе, служит лишь для объяснения, как вообще работают программы; оно вовсе не означает, что человеческий мозг и в самом деле нечто вроде компьютера. Но *кибернетический подход*, принятый нами для объяснения инстинктов, следует принимать всерьёз: это наилучший язык, на котором такие идеи можно обсуждать. Поскольку понятию инстинкта придавались различные истолкования, подчеркнём, что наше понимание инстинктов образует некоторую модель этого явления. Всё сказанное дальше об инстинктах относится к этой модели.

Наши представления об инстинктах *человека* можно резюмировать следующим образом:

1. Наследственность человека, определяющая его важнейшее отличие от всех других видов животных, является результатом взаимодействия двух систем: системы генетической наследственности и системы культурной наследственности. Инстинкты — это врождённые программы поведения, записанные в геноме вида. Открытые программы инстинктов человека заполняются подпрограммами, выработанными не только его личным опытом, но и его культурой.

2. Каждый человек принадлежит некоторой культуре, первым признаком которой является его родной язык. Культурная традиция определяет своими подпрограммами *реализацию* инстинктов, мотивирующих его поведение.

3. Система инстинктов, стимулирующих поведение человека, сложилась в доисторические времена, не позже, чем в эпоху неолита. Изменения в наследственном материале этих инстинктов, происшедшие с тех пор, можно считать незначительными по сравнению с культурными изменениями, определяющими их реализацию. Никакие культурные влияния не могут подавить действие инстинкта, но

могут в той или иной степени определять форму его проявления.

Конечно, "большие" инстинкты, общие всем животным — в особенности инстинкт самосохранения — присутствуют и во всех формах поведения человека, взаимодействуя со специфически человеческими формами инстинктов, о которых дальше будет речь.

4. Инстинктами, специфически человеческими в их проявлении, можно считать следующие:

(а) *Инстинкт внутривидовой агрессии.*

У человека значительно ослаблены инстинкты, корректирующие агрессию — охраняющие собратьев по виду и предотвращающие их убийство. Ослаблены также инстинкты, охраняющие женщин и детей. Функции этих инстинктов в значительной степени приняли на себя механизмы культурной наследственности, действие которых определяется традицией.

У человека резко усилилось действие инстинкта внутривидовой агрессии по отношению к членам "чужих" групп, но осталось на прежнем уровне по отношению к собственной группе. Различение "своих" и "чужих" определяется культурной традицией.

Причиной этих специфических для человека изменений инстинкта внутривидовой агрессии был, по-видимому, групповой отбор.

(б) *Социальный инстинкт.*

У человека социальный инстинкт принял особый характер, не наблюдаемый у других животных. Лоренц не говорит об этом в решительной форме, но многие места в его работах свидетельствуют о том, что он допускал у людей инстинктивный характер солидарности. Он приводит ряд фактов взаимной поддержки и совместной деятельности у многих видов, в том числе у приматов. Было бы странно, если бы подобный инстинкт отсутствовал у человека. Далее, Лоренц много раз подчёркивает специфически человеческие, не встречающиеся у других животных реакции на поведение "асоциальных паразитов", несомненно связанные с "солидарностью" членов группы. Нет сомнения, что он не только допускал инстинктивный характер этих реакций, но и предполагал систематическую культурную мотивацию такого поведения: культура вырабатывает нормы, заменяющие, в качестве открытых подпрограмм, ненадёжное действие корректирующих инстинктов. Ниже мы приведём сочувственно цитируемые им слова Гёте "о праве, что родится с нами", и его комментарии к представлению старых правоведов о "естественном праве".

Самый термин "социальный инстинкт" у Лоренца встречается редко, потому что он детально изучал *агрессивное* поведение, другие же инстинкты интересовали его преимущественно в их взаимо-

действии с агрессией. В течение всей жизни он размышлял о биологических основах человеческого поведения, а в последние годы особенно задумывался над "патологическими явлениями в жизни современного общества" и собирался посвятить им второй том "Зеркала". Некоторые идеи этого второго тома, популярно изложенные в книге о "Восьми смертных грехах", не оставляют сомнения в том, что Лоренц намерен был подробно разобрать поведение "асоциальных паразитов". При этом социальный инстинкт у человека выступил бы гораздо более отчётливо, чем, например, в случае нападения стадных животных на угрожающего им хищника, известном под названием "моббинг" (mobbing). Конечно, связная картина человеческого общества, задуманная Лоренцом, должна была содержать "системообразующее" напряжение между инстинктом внутривидовой агрессии и социальным инстинктом.

Я предлагаю некоторую гипотезу о специфическом проявлении социального инстинкта у человека — никоим образом не претендуя на приоритет, но принимая на себя ответственность за её применения. Специфический для человека социальный инстинкт я называю *инстинктом внутривидовой солидарности.* Я предполагаю, что этот инстинкт образовался путём мутации из первоначального социального инстинкта приматов, стимулировавшего сплочённость и взаимопомощь членов обезьяньего стада. Как было сказано выше, эта мутация сделала возможным распространение такого поведения с первоначальных групп на бо́льшие группы, состав которых определяется культурной традицией и вводится в открытую программу действующего таким образом *человеческого* инстинкта. Первое расширение этого инстинкта состояло в перенесении его на членов "своего" племени. Как только индивид узнавался как "свой", по отношению к нему проявлялся *тот же* социальный инстинкт. Благодаря этой мутации могли возникнуть более многочисленные сообщества — племена. Как мы помним, уже в первом описании группового отбора Дарвин подчёркивал преимущества численности, которые могли быть достигнуты лишь на уровне *племён.*

Поскольку состав племени вводился в открытую программу социального инстинкта как подпрограмма, выработанная культурной традицией — что возможно только у человека, — то социальный инстинкт приобрёл особый характер *человеческого* инстинкта. Это была *первая глобализация* социального инстинкта, состоявшая в перенесении его с первоначальных групп на племена. Предположение об инстинктивном характере племенной солидарности подтверждается универсальностью этого явления и его продолжительностью,

занявшей подавляющую часть истории нашего вида.

Но дальнейшее расширение действия социального инстинкта — его *вторая глобализация* — зависит уже только от культурной, а не от генетической наследственности! В самом деле, такое расширение не требует дальнейшего изменения генома: культурная традиция говорит индивиду, в каких случаях надо относиться к другому человеку, "как если бы тот был одного племени с ним" [1]. Мутация, первоначальной "целью" которой было обеспечить солидарность своего племени, оказалась "избыточной" в том смысле, что сделала потенциально возможным восприятие всех людей, как "своих". Надо ли удивляться этой избыточности? Ведь человек по самой своей природе — *избыточное существо*, как мы уже видели на примере положительной обратной связи, создавшей человеческий мозг.

Одно из важнейших проявлений социального инстинкта, всё ещё мало изученное и во многих отношениях загадочное, — это *эмпатия*, способность "сопереживания": человек способен мысленно ставить себя на место своего собрата по виду и переживать происходящее, как будто отождествляя себя с ним. При этом важную роль играет восприятие выражений лица и телесных движений, изученное Дарвином и описанное им в отдельной книге. Несомненно, эмпатия как форма взаимопонимания существует у многих высших животных; об этом свидетельствуют наблюдения над животными, поведение которых человек расшифровывает с помощью того же механизма, соединяющего нас, например, с шимпанзе, как это проницательно описал Г. Бейтсон. Естественно предположить, что эмпатия, первоначально относившаяся к членам собственной группы, была перенесена, вместе со всем социальным поведением, на более широкие группы людей — племя, нацию и, наконец, теперь глобализуется на всё человечество. Лоренц подчёркивает, что всевозможные поджигатели войны, пропагандирующие ненависть к другим народам, прежде всего стараются заглушить эмпатию, изображающую нам каждого отдельного представителя "чужого" народа как человеческое существо, родственное нам самим, — то есть, в нашей терминологии, они стараются "локализовать" нашу способность к эмпатии.

Вся наша мораль, вся наша "любовь к ближним" произошла от глобализации внутриплеменной солидарности, которая постепенно превращается во внутривидовую солидарность. Путь ко всеобщему

[1] По этому поводу трудно не вспомнить памятное с детства заклинание Маугли: "Мы одной крови — ты и я". Конечно, Киплинг вовсе не стремился расширить человеческую солидарность на чужие племена, но правильно понимал смысл этого расширения.

братству людей шёл через *групповой* отбор — через бесконечные войны, истребление племён и каннибализм. Надо ли этому удивляться после всего, что мы знаем об инстинкте внутривидовой агрессии и о том, что выработал из этого инстинкта *индивидуальный* отбор, то есть *обычный* естественный отбор? Ведь от агрессии произошли все высшие эмоции человека — узнавание индивида, то есть человеческая личность, а затем дружба и любовь.

Таковы пути эволюции, очень далёкие от назидательных мифов наших предков!

3. Коллективистская и индивидуалистическая мораль

Племенная мораль, выработанная групповым отбором, была прежде всего подчинена интересам племени, и в этом смысле была коллективистской. Развитие и самостоятельность личности отнюдь не были целью первобытного общества: выделение личности из племенного сообщества произошло гораздо позже. Современному человеку было бы почти невозможно подчиняться ограничениям племенной жизни: об этом свидетельствуют не только воспоминания европейцев, попавших в плен к индейцам или африканцам, но и то, что мы знаем о жизни греческих городов-государств. После исторического опыта двадцатого века, когда пережитки племенного коллективизма использовались в политических целях, всякий "коллективизм" вызывает опасения; теперь моден крайний индивидуализм: почти забыто определение Аристотеля, назвавшего человека "общественным животным".

Между тем, человек и в самом деле — общественное животное, неспособное жить вне общества своих собратьев по виду. Как и у всех общественных животных, его связь с сообществом не ограничивается материальными интересами, а носит глубокий биологический характер: необходимость общения с людьми *инстинктивна.* Лишение такого общения вызывает у человека психические расстройства и физическую деградацию.

Обращение индивида с окружающими его людьми подчиняется определённым правилам поведения, усваиваемым в детстве из его культурной традиции. Несомненно, существование человеческого общества невозможно без соблюдения таких правил, но их природа и происхождение до сих пор вызывают споры. Антропологи, изучающие человеческие культуры, интересуются наблюдаемым поведением членов того или иного племени, регулируемым "племенной моралью", и "ценностями", лежащими в основе этой морали. Как уже

говорилось в предыдущей главе, важнейший результат их исследований состоит в том, что, несмотря на всё видимое разнообразие условий и обычаев, *племенная мораль в существенных чертах всегда одна и та же*. О ней говорит самая возможность взаимопонимания людей разных культур, впервые встретившихся друг с другом. Дальше мы попытаемся изложить принципы этой морали. Совпадение этих принципов у всех племён, доживших до нашего времени и уже вымерших, известных нам из истории, без сомнения свидетельствует об *инстинктивном* происхождении племенной морали — и самого племенного строя. И если мы обнаруживаем те же правила, с незначительными изменениями, у "цивилизованных" людей нашего времени, причём можно проследить их на протяжении всей писаной истории человечества, то их инстинктивное происхождение можно считать доказанным фактом.

С нашей точки зрения племенная мораль представляет собой проявление инстинкта внутриплеменной солидарности, которая — как мы уже знаем — постепенно расширяется на весь человеческий род и становится *внутривидовой*. Можно было бы возразить, что мы встречаемся здесь не с одним инстинктом, а с целым набором инстинктов, но так обстоит дело со всеми "большими" инстинктами: их можно рассматривать как "пакеты программ", связанных общей целью. В данном случае целью является сохранение племени, а в наши дни — *сохранение культуры*.

Инстинкт солидарности — это биологическая основа, на которой держится общественная жизнь. Как и все инстинкты, он *неустраним*; неустранимо и связанное с ним стремление к устранению *асоциальных паразитов*, о чём речь будет дальше. Надёжнее всего инстинктивное поведение, в форме, закреплённой воспитанием. Подсчёты и соображения, касающиеся общего блага, действуют на людей гораздо слабее, чем инстинкт. Без поддержки инстинкта солидарности современному обществу грозит распад, и последствия такого распада в нашем столетии достаточно очевидны.

Соблюдение "моральных правил" зависит от воспитания, а воспитание — от культуры, сохранение которой отнюдь не гарантируется высоким уровнем потребления. Скорее наоборот, если вспомнить уроки истории, то как раз материальное изобилие, чрезмерное и слишком изощрённое потребление приводит к распаду культуры и разложению морали. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что в нашем столетии катастрофически разрушается семейное воспитание, прежде всегда опиравшееся на унаследованную мораль и санкционировавшую её религию. Предположение, что без всего этого мож-

но обойтись, имея эффективную полицию, не оправдывается — и не только в нашей злополучной стране.

Коллективистскую мораль, самым прямым образом выражающую инстинкт внутриплеменной солидарности, можно восстановить по наблюдениям сохранившихся до недавнего времени охотничьих племён. Мы попытаемся сейчас формулировать, в чём состояли моральные правила члена племени:

Член племени должен был участвовать в коллективной защите и коллективной агрессии своего племени.

Член племени должен был участвовать в коллективных трудовых усилиях своего племени.

Член племени должен был делиться со своими соплеменниками охотничьей и военной добычей, по установленным правилам. При этом он не должен был скрывать от соплеменников свои способы промысла, охотничьи угодья или военные трофеи.

Член племени не должен был скрывать от соплеменников свои запасы и обязан был делиться ими в случае общего бедствия. Особые преимущества предоставлялись только за очевидные заслуги перед племенем, проявляемые на глазах у всех: доблесть в бою, мудрость и предусмотрительность вождей, святость и магическую силу жрецов. Член племени не должен был пользоваться преимуществами, если его заслуги перед племенем не были очевидны.

Нарушения этих правил наказывались общим презрением, а в более серьёзных случаях — смертью.

Как легко заметить, описанная выше "коллективистская мораль" сохранилась не только в ценностях нашей культуры, передаваемых воспитанием, но и в *формальных* правилах поведения — "законах". Конечно, законы не могут заменить "племенную мораль", хотя бы потому, что носят чисто негативный характер, перечисляя то, чего *не следует* делать, но никак не внушая индивиду, что ему следует делать. Запреты, содержащиеся в законах, по сей день воспроизводят некоторые запреты племенной морали, например, запрет убивать, увечить или оскорблять своих соплеменников. Другие законы, не столь древнего происхождения, охраняют *собственность*, которой ещё не знала племенная мораль; но и эти законы несут на себе её отпечаток, поскольку они пытаются ограничить человеческую хитрость и жадность. Наконец, многие современные законы регулируют отношения, не имеющие аналогов в племенной жизни, но можно полагать, что первоначальной, или хотя бы номинальной целью всех законов остаётся сохранение племени — а в нынешних условиях сохранение культуры.

Конечно, законы содержат лишь небольшую часть того, что нужно для сохранения и воспроизводства культуры. Например, образование и сохранение семьи, воспитание детей или отношение к больным и престарелым согражданам лишь в небольшой степени зависят от законов. Даже в наши дни человек на практике редко сталкивается с законом, но ежеминутно должен соблюдать “племенную мораль” — неписаные правила общежития.

Между тем, в экономической жизни и в деловых отношениях люди современного общества придерживаются совсем иных правил, разительно противоречащих описанной выше племенной морали. Они хорошо знают, что́ нужно делать в этом обществе, чтобы преуспеть, и на практике следуют для этого совсем другой, индивидуалистической морали. Поразительно, что, сохраняя для общественных ритуалов и газетной риторики изречения племенной морали, обычно в форме, унаследованной от христианства, люди современного западного общества цинично и не без некоторого вызова признают *подлинные* мотивы своего поведения — то, что американцы называют rugged individualism[1].

Экономисты и социологи, претендующие на реалистическое описание современного общества, не могут уклониться от признания принятых в нем правил, но избегают отчётливо формулировать эти правила. Я собрал их из описания образа действий предпринимателя, которое даёт влиятельный экономист и социолог Ф. А. Хайек в своей книге “Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма” [2]. Не знаю, окажу ли я услугу профессору Хайеку, сведя вместе отдельные штрихи картины, которую он пытался нарисовать. Может быть, полная ясность этой картины как раз и не входила в его намерения.

Замечу, что этот автор не любит обычной терминологии и, в частности, почему-то избегает термина “капитализм”. Тот экономический и социальный строй, который теперь господствует в западном мире, он называет “расширенным порядком”, противопоставляя его “узкому порядку” — племенному образу жизни. Я не мог уяснить себе, почему профессор Хайек заменяет термин “капитализм” другим термином (по его собственным словам, равнозначным). Но я отдаю себе отчёт в преимуществах “расширенного порядка” перед племенным строем, в чём читатель убедится из дальнейшего изложения, и принимаю на некоторое время термины почтенного автора.

[1]Грубый индивидуализм (англ.).

[2]F. A. Hayek. *The Fatal Conceit. The Errors of Socialism.* The University of Chicago Press, 1989.

Современные правила поведения, о которых пойдёт речь, профессор Хайек называет "моральными правилами" (moral rules), и я буду пользоваться этим термином, ставя его в кавычки — чтобы избежать смешения с приведёнными выше моральными правилами первобытных племён. Профессор Хайек, по-видимому, не решается определить гносеологический статус своих "моральных правил", помещая их, несколько неопределённо, "где-то между инстинктом и разумом". Полагаю, что их можно рассматривать как простые наблюдения над реальным поведением людей, то есть как социальные факты, и никоим образом не оспариваю их достоверности. Это и в самом деле ряд характерных *фактов*, которые можно объяснить только *интересами* людей, действующих так, как им выгодно в данных условиях. Каждый из них попросту соблюдает свой интерес.

Итак, вот на чём основана нынешняя *индивидуалистическая мораль*:

Член "расширенного общества" уклоняется от участия в коллективной защите и коллективной агрессии своего общества, по возможности используя для этого наёмных солдат.

Член "расширенного общества" уклоняется от коллективных трудовых усилий своего общества, по возможности используя для этого наёмных рабочих.

Член "расширенного общества" не делится со своими согражданами доходами и удобствами, стараясь сохранить их для себя. При этом он скрывает от возможных конкурентов свои источники сырья, свою техническую информацию и своё знание рынка.

Член "расширенного общества" скрывает от сограждан своё имущество и свои запасы, а если они становятся дефицитными, старается извлечь из них наибольшую выгоду.

Особые преимущества достаются людям, жизнь и деятельность которых протекают, как правило, втайне от общества. Заслуги таких людей перед обществом не очевидны, так что их сограждане полагают, что они преследуют лишь собственные выгоды. Мудрость и святость не имеют к ним отношения, а их предусмотрительность полезна только им самим.

Нарушение этих правил обычно наказывается бедностью и низким общественным положением.

Профессор Хайек описывает образ действий преуспевающего дельца почти с той же откровенностью, как его описал Бальзак, признанный в своё время неприличным писателем и исключённый поэтому из школьных библиотек. Он не оставляет сомнения, что в современном обществе главное условие обогащения описывается

словом “хитрость”. Хитрость, позволяющая обогатиться, состоит в том, чтобы вовремя занять удобное место, отталкивая от него конкурентов, а затем извлекать преимущества из занятого положения. Это не что иное как “искусство карьеры”, применённое к экономической жизни.

Видели ли вы, как толпа некультурных людей врывается в подошедший автобус? Это обычная картина нашей российской жизни, но теперь, по мере разложения культуры на Западе, то же можно увидеть и там. Более совестливые люди не решаются отталкивать женщин, детей и стариков — даже войдя в автобус, они стесняются сесть на место, которое приготовился занять кто-то другой. Тем временем беззастенчивые типы проталкиваются вперёд, не обращая внимания на недовольство публики, и бесцеремонно занимают лучшие места, чтобы затем их никому не уступать. Это и есть секрет успеха при капитализме — не единственный, но самый важный секрет.

Этот секрет никак нельзя назвать изобретательностью: он связан не с изучением природы, позволяющим умножить общую сумму потребляемых благ, а с ловким манипулированием людьми, чтобы присвоить бóльшую часть этой суммы. Настоящий изобретатель получает ничтожную долю от эксплуатации своего изобретения: в нынешних Соединённых Штатах, в среднем, около 6%, если он достаточно осторожен, чтобы не дать себя обокрасть.

Часто можно услышать, что капиталист вознаграждается за его “труд по организации производства”. Но даже в прошлые времена, когда капиталист зачастую сам был собственным менеджером, его “вознаграждение” не шло ни в какое сравнение с жалованьем наёмного управляющего. Он “вознаграждался” попросту за *владение собственностью.* Теперь же, когда собственники крупных предприятий уже неспособны ими управлять и передали всю “организацию производства” менеджерам, инженерам и экономистам, такое оправдание их “дивидендов” просто смешно.

Собственник не должен особенно трудиться, чтобы сохранить своё положение среди таких же, как он. В этом ему помогают *законы* — те самые “абстрактные моральные правила”, которые восхваляют профессор Хайек и другие апологеты капитализма. Как бы он ни приобрёл свою собственность, её охраняет закон. Точно так же, наглец, захвативший удобное место в автобусе, расталкивая своих собратьев, потом сохраняет его, потому что “не принято” стаскивать с места того, кто уже сидит: теперь его не может вытолкнуть кто-нибудь посильнее. Это “моральное правило”, обозначаемое

выражением “не принято”, может быть невыгодно кому-нибудь, кто остался без места; но можно не без основания утверждать, что нарушение такого правила привело бы к общей свалке, *невыгодной для всех*. В сущности, это всё, что могут сказать защитники капитализма в оправдание преуспевшего дельца. Что́ они говорят в оправдание всей капиталистической системы, мы увидим дальше.

Секрет житейского успеха в современном обществе — это, по старому выражению, секрет Полишинеля. Как только установился “расширенный порядок”, даже раньше, чем он окончательно утвердился, его исчерпывающим образом описал Бальзак, этот поистине великий социолог. Историк материальной культуры Фернан Бродель лишь намекнул на него в начале второго тома своей истории капитализма, не впадая в морализаторский тон, но в самом тексте подробно изложил всю фактическую сторону дела. Впрочем, ещё раньше, в восемнадцатом веке, эту нехитрую тайну хитрых людей выдал бесстыдный насмешник Бомарше. Комедия об изворотливом Фигаро оканчивается водевилем, где на латинскую пошлость gaudeant bene nati (да возрадуются благородные) отвечают псевдолатинским каламбуром gaudeat bene nanti (да возрадуется ловкач).

Историки давно уже знают, что “в основе больших состояний всегда заложено преступление”, даже если преступление было всего лишь мошенничеством. Теперь, когда американские университеты столь сильно зависят от щедрости богатых людей, эти невинные шалости, обнаруженные в архивах, стараются обратить в шутку. Достаточно прочесть, как профессор Бурстин обыгрывает в своей истории американцев манипуляции с тарифами, положившие начало состоянию Рокфеллеров. Но подозрения бедных людей по поводу богатых начались не с этих разоблачений. Они возникли из прямых наблюдений, потому что хозяева были тогда всем известны и не стеснялись выставлять свой образ жизни напоказ. Бедные люди начали подозревать, что образ жизни богатых не оправдывается их трудом. Это предполагаемое несоответствие всегда было мотивом “классовой борьбы”, а в девятнадцатом веке породило “социализм”.

Я хорошо знаю, что возражают этим людям сторонники капитализма. Они говорят примерно следующее:

“Вы можете как угодно оценивать моральную сторону того, что делает богатый человек, но труд следует измерять не затраченным временем, а его социальными последствиями. Опыт, интуиция богатого человека, его умение понимать людей и обращаться с людьми — всё, что вы называете «хитростью» — может понадобиться в важ-

нейшие моменты для принятия финансовых и административных решений; без его опыта и интуиции предприятие не сможет выдержать конкуренцию. Общество справедливо оплачивает эти особые способности, без которых невозможно приращение общего богатства".

Я не заимствовал эти слова ни у кого из друзей профессора Хайека, но они писали это много раз. Мне надо было привести их аргументацию, чтобы на неё ответить. Начну с некоторой уступки — объясню, в чём они правы; а потом выяснится, почему это не может убедить их менее учёных оппонентов.

Несомненно, при рыночном хозяйстве неразрывно связанная с ним конкуренция способствует развитию производства, тогда как в любой известной нерыночной экономике недостаток конкуренции вызывает застой. Это знал ещё Адам Смит, и в дальнейшем мы ещё вернёмся к тезису о полезности конкуренции. Предположим, что приведённое выше возражение сторонников капитализма справедливо, и что при капитализме в самом деле необходимы неприятные формы "борьбы за существование", создающей описанных выше дельцов. Предположим даже, что их полезную функцию — манипулировать людьми в ходе конкуренции — никто не стал бы выполнять за меньшее вознаграждение, чем они. Может ли эта аргументация удовлетворить тружеников, направляющих свои усилия не на хитроумный обман конкурентов, а на прямую созидательную работу над материалом, доставляемым нам природой? Можно ли их убедить, что их инстинктивное отвращение к богатым людям, получающим особые привилегии только за своё "право собственности" и умение её защитить, представляет собой бессмысленный архаизм, не выдерживающий разумной критики?

Нет, убедить их в этом нельзя — именно потому, что это их отвращение *инстинктивно*. Инстинкты не опровергаются рациональными аргументами — если даже допустить, что приведённые выше аргументы в самом деле справедливы. Как мы увидим дальше, они всё-таки ошибочны, но не в этом состоит главная идея нашей работы. Идея эта состоит в том, что никакие аргументы, оперирующие средними величинами и "благосостоянием общества в целом", не могут преодолеть действие инстинкта, всегда *локальное*, потому что инстинкт действует *здесь и сейчас. Инстинкт нельзя опровергнуть рассуждениями.*

Инстинкт, о котором здесь идёт речь, — это инстинкт внутривидовой солидарности. Из него вытекает "племенная мораль", дошедшая до нас не только в виде пережиточных и докучливых законов,

мешающих “грубому индивидуализму” наших дельцов, но и в виде генетической наследственности человека. В частности, мы унаследовали от наших предков *отвращение к асоциальным паразитам.* Это отвращение носит несомненно инстинктивный характер, а потому неустранимо. Оно и лежит в основе *ощущения социальной несправедливости.* В периоды благополучия и спокойного развития это ощущение кажется исчезнувшим или сильно ослабевшим, но во время общественных бедствий, в переходных, неустойчивых ситуациях оно выходит наружу, стимулируемое инстинктом самосохранения — с неодолимой силой подавленного, но самостоятельного и неустранимого инстинкта. Пренебрежение этим инстинктивным побуждением, предположение, будто от него можно отделаться выкладками и рассуждениями, представляет пагубную научную ошибку, потому что социология имеет дело не с потребляющими автоматами. Социология имеет дело с людьми.

Отвращение к асоциальным паразитам столь же законно и неизбежно, как все наши инстинкты, а недостаточное развитие его — опасный симптом. Но, как всякий инстинкт, оно имеет и свою патологию.

4. Асоциальные паразиты

Как мы уже видели, у человека инстинкты приняли очень специфический характер; но в большинстве случаев человеческие инстинкты можно обнаружить уже у животных. Это позволяет понять, каким образом они проявлялись у наших животных предков, и различить изменения в инстинктивном поведении, происшедшие у людей. Так обстоит дело с инстинктом внутривидовой агрессии и социальным инстинктом, которыми мы до сих пор занимались. Если сравнить описанную выше “племенную мораль” с поведением высших общественных животных, то специфически *человеческими* в этой морали оказываются два аспекта. Во-первых, её действие распространяется не только на первоначальную группу особей, лично знакомых друг с другом, но на большее сообщество, члены которого распознаются по *культурным* признакам — таким, как язык, татуировка, священные ритуалы и т. п. Во-вторых, отступление от “правил” племенной морали *наказывается* членами племени. О первом аспекте уже была речь: как мы знаем, открытые программы человеческих инстинктов заполняются подпрограммами, выработанными культурной традицией, и, в частности, такие подпрограммы “учат” человека, кого из собратьев по виду он должен считать “своими”. Те-

перь мы займёмся вторым аспектом, который не сводится к изменению “объёма” действия инстинкта, а представляет собой совершенно новое явление, не встречающееся в животном мире.

Явление *асоциального паразитизма*, специфическое для человека, описал Конрад Лоренц. Он открыл особый, присущий только человеку *инстинкт устранения асоциального паразитизма*, но не успел его систематически исследовать. Как уже было сказано, Лоренц не успел написать второй том “Оборотной стороны зеркала”, который он предполагал посвятить патологическим явлениям современного человеческого общества. Некоторые идеи этого тома он изложил в своих лекциях под названием “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества”. Чтобы сделать все логически неизбежные выводы из этих идей, мне придётся собрать их вместе и привести обширные выписки из Лоренца. Они столь выразительны, что не имеет смысла заменять их пересказом; кроме того, читатель сможет проверить, правильны ли следующие дальше выводы из этих идей.

Шестая глава книги “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества” начинается следующим размышлением, подчёркивающим одно загадочное свойство группового отбора:

“Некоторые способы социального поведения приносят пользу сообществу, но вредны для индивида. Объяснение возникновения и тем более сохранения таких способов поведения из принципов мутации и отбора представляет, как недавно показал Норберт Бишоф, трудную проблему. Если бы даже возникновение «альтруистических» способов поведения могло быть объяснено не очень понятными процессами группового отбора, в которые я не буду здесь углубляться[1], то всё же возникшая таким образом социальная система неизбежно оказалась бы *неустойчивой.* Если, например, у галок, *Coloeus monedula L.*, возникает защитная реакция, при которой каждый индивид в высшей степени храбро вступается за схваченного хищником собрата по виду, то легко понять и объяснить, почему группа, члены которой ведут себя таким образом, имеет лучшие шансы на выживание, чем группа, где такого поведения нет. Что, однако, препятствует появлению *внутри* группы таких индивидов, у которых реакция защиты товарищей отсутствует? Мутации вы-

[1]Это замечание вовсе не означает сомнения в значении группового отбора, поскольку Лоренц начинает как раз с того же, что Дарвин в своём приведённом выше определении этого процесса. Речь идёт о трудности в применении принципов отбора к конкретной проблеме. В последнее время биологи всё больше подчёркивают роль группового отбора, в частности, в происхождении человека.

падения функций вполне вероятны и рано или поздно непременно происходят. И если они относятся к альтруистическому поведению, о котором шла речь, то для затронутого ими индивида они должны означать селекционное преимущество, если допустить, что защищать собратьев по виду опасно. Но тогда подобные «асоциальные элементы», паразитируя на социальном поведении своих ещё нормальных собратьев, рано или поздно должны были бы составить в таком сообществе большинство".

И дальше, после замечания о "государственных насекомых", Лоренц говорит:

"Мы не знаем, что препятствует разложению сообщества общественными паразитами у позвоночных. Трудно себе, в самом деле, представить, чтобы галка возмутилась «трусостью» асоциального субъекта, не принимающего участия в реакции защиты товарища. «Возмущение» асоциальным поведением известно лишь на относительно низком и на самом высоком уровне интеграции живых систем, а именно в «государствах» клеток и в человеческом обществе. Иммунологи обнаружили тесную и весьма знаменательную связь между способностью к образованию антител и опасностью появления злокачественных опухолей. Можно даже утверждать, что образование специфических защитных веществ вообще было впервые «изобретено» под селекционным давлением, какое могло быть лишь у долгоживущих и, прежде всего, долго растущих организмов, которым всегда угрожает опасность возникновения при бесчисленных делениях клеток опасных «асоциальных» клеточных форм, вследствие так называемых соматических мутаций. У беспозвоночных нет ни злокачественных опухолей, ни антител, но оба эти явления сразу же возникают в ряду живых организмов уже у самых низших позвоночных, к которым относится, например, речная минога. Вероятно, все мы уже в молодости умирали бы от злокачественных опухолей, если бы наше тело не выработало, в виде реакций иммунитета, своеобразную «клеточную полицию», своевременно устраняющую асоциальных паразитов".

Таким образом, "асоциальные элементы", в частности, в человеческом обществе сравниваются здесь с *раковыми клетками.* Во второй главе той же книги Лоренц объясняет:

"Клетка злокачественной опухоли отличается от нормальной прежде всего тем, что она лишена генетической информации, необходимой для того, чтобы быть полезным членом сообщества клеток организма. Она ведёт себя поэтому как одноклеточное животное или, точнее, как молодая эмбриональная клетка. Она не облада-

ет никакой специальной структурой и размножается безудержно и бесцеремонно, так что опухолевая ткань, проникая в соседние, ещё здоровые ткани, врастает в них и разрушает их".

Как мы видим, главным отличием раковой клетки от здоровой является её *неучастие* в общей работе организма, её исключительная направленность на "эгоистическую" цель собственного размножения, при полном пренебрежении интересами других клеток и организма в целом. То же безразличие к интересам группы приписывается выше (гипотетической) галке, которая уклонялась бы от участия в коллективной защите от хищника. По-видимому, в этих примерах Лоренц понимает "асоциальное" поведение в точном смысле этого слова — как неучастие в коллективной деятельности, сосредоточенность на собственных интересах. Можно было бы ожидать, что он рассмотрит проблему *человеческого* паразитизма в той же общности, с точки зрения участия или неучастия индивида в коллективных задачах его культуры — живой системы, элементом которой он является. Если держаться классического дарвинизма, такой коллективной задачей представляется, прежде всего, *сохранение культуры.*

Но Лоренц ограничивается дальше очень специальной формой асоциального поведения — преступлениями против личности. Разумеется, эта форма поведения означает выпадение социального инстинкта, но вовсе не в том смысле, как в его предыдущих примерах. Этим примерам скорее соответствовало бы простое безразличие к интересам общества и к чувствам окружающих, характерное для дельца. Мы вернёмся ещё к такому пониманию "асоциальности", а теперь проследим дальше, каким образом Лоренц ограничивает это понятие:

"У нас, людей, нормальный член общества наделён весьма специфическими формами реакций, которыми он отвечает на асоциальное поведение. Оно «возмущает» нас, и самый кроткий из людей реагирует прямым нападением, увидев, что обижают ребёнка или насилуют женщину. Сравнительное исследование правовых структур в различных культурах свидетельствует о совпадении, доходящем до подробностей и не объяснимом из культурно-исторических связей. Как говорит Гёте, «никто уже не вспоминает о праве, что родится с нами». Но, конечно, вера в существование естественного права, независимого от законодательства той или иной культуры, с древнейших времён связывалась с представлением о сверхъестественном, непосредственно божественном происхождении этого права".

Дальше Лоренц цитирует отрывок из письма правоведа

П. Г. Занда, где говорится: “в этом таинственном «правовом чувстве» (а надо сказать, что эти слова широко употреблялись в старой теории права, хотя и без объяснения) следует видеть типичные врождённые формы поведения”.

Автор письма ссылается на собрание сочинений Лоренца, откуда он почерпнул эти идеи, и Лоренц их подтверждает:

“Я вполне разделяю этот взгляд, отдавая себе, конечно, отчёт в том, что его убедительное доказательство связано с большими трудностями; на них также указывает профессор Занд в своём письме. Но что бы ни выявило будущее исследование о филогенетических и культурно-исторических источниках человеческого правового чувства, можно считать твёрдо установленным научным фактом, что вид *homo sapiens* обладает высоко дифференцированной системой форм поведения, служащей для искоренения угрожающих обществу паразитов и действующей вполне аналогично системе образования антител в государстве клеток”.

“Естественное право”, о котором здесь идёт речь, — и которое подразумевает Гёте в своих знаменитых стихах — имеет старую и почтенную историю. По-видимому, сходство “моральных правил” у всех племён было замечено ещё в глубокой древности; во всяком случае, римские юристы уже исходили из него при конструировании международного права. В Новое время первым, кто вернулся к этим представлениям, был датский теолог Николаус Хемминг (Nicolaus Hemming). В своей книге “Законы природы” (1562) он утверждает, что право произошло из инстинкта, с помощью разума — правда, с оговоркой: “если этот разум не омрачён грехом”. В начале семнадцатого века Гуго Гроций, основоположник правоведения Нового времени, полагал, что сходство всех правовых систем вытекает из инстинктивного стремления всех людей к общению и сотрудничеству, которое он называл appetitus socialis, и в котором нетрудно узнать то, что мы именуем социальным инстинктом. На этой отчётливо биологической основе Гроций строил систему “естественного права”, предшествующего, по его мнению, всем существующим правовым системам и выражающего “природу человека” вообще. Он опубликовал свои мысли в 1625 году в Париже, в книге “Право войны и мира”. В восемнадцатом веке теория естественного права господствовала в мышлении правоведов; в девятнадцатом веке, в эпоху “гиперкритицизма”, она была отброшена как “ненаучная”; и только этология, по-видимому, может её возродить. С другой стороны, проект Корнельского университета “Ядро правовых систем”, на который ссылается профессор Занд в своём письме Ло-

ренцу, подтвердил, что сходство правовых представлений во всех культурах, замеченное римскими юристами и Гроцием, есть доказуемый факт.

Ясно, что "естественное право" — не что иное как правовая надстройка над системой племенной морали, из которой Лоренц выбрал лишь *один вид* асоциального поведения — преступления против личности. Его суждения по поводу обращения с преступниками в западной культуре вполне справедливы (и напрасно снискали ему репутацию "консерватора"): Лоренц видит биологические мотивы преступности, тогда как современные "либералы", повторяя заблуждения бихевиористов, хотели бы видеть во всем поведении человека только результат воспитания. Но меня интересует здесь другая сторона дела. Если у нас есть инстинктивный механизм, "служащий для искоренения асоциальных паразитов", то каков *объём* "паразитического" поведения, стимулирующего этот механизм? Относится ли действие этого механизма *только* к преступлениям против личности?

В качестве биолога Лоренц хочет говорить только о *биологическом* положении человечества, но чувство ответственности перед людьми — заставившее его прочесть свои лекции по венскому радио, а потом, по настоянию друзей, опубликовать их — не позволяет ему оставаться на этой позиции: недаром уже в заглавии книги идёт речь о "грехах". Виновно ли в перечисленных грехах всё "цивилизованное человечество"? В некотором смысле виновно, если позволяет этим грехам совершаться. Но в четвёртой главе — "Бег наперегонки с самим собой" — Лоренц рассматривает биологические последствия *конкуренции*, в том виде, какой она приняла в западных странах в двадцатом веке. Эта глава представляет исключительный интерес, поскольку все согласны, что конкуренция составляет главный признак капитализма, и преимущества "свободного рынка" принимаются как догма даже там, где его ещё нет.

Адам Смит, открывший законы рыночного хозяйства, понял регулирующую функцию рынка, обеспечивающую с помощью механизма цен равновесие между производством и потреблением. Мы ещё вернёмся к этому *экономическому* вопросу. Теперь нам достаточно заметить, что Адам Смит, как почти все великие первооткрыватели, "переоценил область применимости открытого им принципа объяснения". Эта формулировка Лоренца (из восьмой главы "Смертных грехов") не относится у него, правда, к Адаму Смиту, но ведь сам Лоренц говорит, что такая переоценка — "прерогатива гения", и теперь уже ясно, каким образом Смит переоценил благодеяния рынка. Он верил в свободную конкуренцию, ещё не зная,

какие проблемы она может создать.

Это очень хорошо знает Лоренц. Четвертая глава “Восьми грехов” представляет непревзойдённый анализ капиталистической конкуренции с *чисто биологической точки зрения*, не зависящей от философии и политических доктрин. *Вывод из этого анализа состоит в том, что законы капиталистической конкуренции ставят под угрозу существование нашего вида, и что эта угроза всё время растёт.*

Лоренц избегает термина “капиталист” и производных от этого слова. Но читатель, помнящий, что *конкуренция* лежит в основе капитализма, без труда поймёт, к чему относятся следующие дальше отрывки из четвёртой главы.

Лоренц начинает с общего принципа биологии, который он настойчиво повторяет и в других своих работах:

“Как я уже говорил в начале первой главы, для поддержания равновесия (steady state)[1] живых систем необходимы циклы регулирования, или циклы с отрицательной обратной связью; что касается циклических процессов с положительной обратной связью, то они всегда несут с собой опасность лавинообразного нарастания любого отклонения от равновесия. Специальный случай положительной обратной связи встречается, когда индивиды одного и того же вида вступают между собой в соревнование, влияющее на развитие вида посредством *отбора.* Этот *внутривидовой* отбор действует совсем иначе, чем отбор, происходящий от факторов окружающей среды; вызываемые им изменения наследственного материала не только не повышают перспективы выживания соответствующего вида, но в большинстве случаев заметно их снижают”.

Дальше Лоренц приводит уже известный нам пример гипертрофированных маховых перьев фазана-аргуса, служащих лишь для сексуальной конкуренции, но почти не позволяющих ему летать. “И если он (аргус) не разучился летать совсем, то, конечно, благодаря отбору в противоположном направлении, осуществляемому наземными хищниками, которые берут на себя, таким образом, необходимую регулирующую роль”. Иначе обстоит дело с человеком:

“Эти благотворные регулирующие силы не действуют в культурном развитии человечества: оно сумело, на горе себе, подчинить своей власти всю окружающую среду, но знает о самом себе так мало, что стало беспомощной жертвой дьявольских сил внутривидового отбора”.

---

[1]Равновесное состояние (написано у Лоренца по-английски).

И дальше следует потрясающая характеристика общества, построенного на конкуренции и власти денег:

“Человек, ставший единственным фактором отбора, определяющим дальнейшее развитие своего вида, увы, далеко не так безобиден, как хищник, даже самый опасный. Соревнование человека с человеком действует, как ни один биологический фактор до него, против «предвечной силы благотворной», и разрушает едва ли не все созданные ею ценности холодным дьявольским кулаком, которым управляют одни лишь слепые к ценностям коммерческие расчёты[1].

Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто всё, что хорошо и полезно для человечества в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большинство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого средство обманчивым образом представляется ценностью само по себе. Гибельное заблуждение утилитаризма можно определить как смешение средства с целью[2]. Деньги в своём первоначальном значении были средством; это знает ещё повседневный язык, и до сих пор говорят: «у него ведь есть средства». Много ли осталось в наши дни людей, вообще способных понять вас, если вы попытаетесь им объяснить, что деньги сами по себе не имеют никакой цены?”

Дальше Лоренц объясняет, к каким нелепым последствиям — очень похожим на соревнование самцов аргуса — приводит конкуренция, навязывающая людям “изматывающую спешку”, и приходит к следующему заключению:

“Возникает вопрос, что́ больше вредит душе современного человека: ослепляющая жажда денег или изматывающая спешка. Во всяком случае, власть имущие всех политических направлений за-

---

[1]Слова Фауста Мефистофелю (буквальный перевод):

“Итак, ты противопоставляешь вечно деятельной,
Благотворно созидающей силе
Холодный дьявольский кулак,
Сжимающийся в тщетной злобе”.

[2]Термин “утилитаризм” употребляется обычно в другом смысле. По энциклопедическому словарю Вебстера, “утилитаризм — это этическое учение, согласно которому добродетель основана на полезности (utility), и поведение должно быть направлено к наибольшему благу наибольшего числа людей”. Последняя формулировка принадлежит И. Бентаму, реформатору-гуманисту, никак не ответственному за описываемые здесь явления.

интересованы в той и другой, доводя до гипертрофии мотивы, толкающие людей к соревнованию. Насколько мне известно, эти мотивы ещё не изучались с позиций глубинной психологии[1], но я считаю весьма вероятным, что наряду с жаждой обладания и более высокого популяционного ранга, или с тем и другим, важнейшую роль здесь играет *страх* — страх отстать в беге наперегонки, страх разориться и обеднеть. Страх во всех видах является, безусловно, важнейшим фактором, подрывающим здоровье современного человека, вызывающим у него повышенное артериальное давление, сморщенные почки, ранние инфаркты и другие столь же прекрасные переживания. Человек спешит, конечно, не только из алчности, никакая приманка не могла бы побудить его столь жестоко вредить самому себе; спешит он потому, что его что-то *подгоняет*, а подгонять его может только страх".

Люди, причиняющие эти бедствия человеческому обществу, полагают, конечно, что делают это в собственных интересах. Даже если сами они оказываются жертвами этих бедствий — как это видно из только что приведённого описания, касающегося и "власть имущих" — эти люди заслуживают названия *асоциальных паразитов* не меньше, чем злополучные убийцы, которыми Лоренц занимается в шестой главе. В самом деле, они стремятся только к собственному обогащению без всякого внимания к своим собратьям, к интересам человеческого сообщества в целом. После того, что мы знаем о поведении раковых клеток, сравнение с ними становится неизбежным и, конечно, это сравнение подсказывает нам сам Лоренц.

Подчеркнём, что речь идёт не только о "социальной справедливости", в каком бы смысле её ни понимать, а просто о существовании общественного организма, до такой степени поражённого процессом безудержного и бессмысленного "роста". Что из этого может выйти, Лоренц изображает с безжалостной ясностью учёного:

"Итак, люди страдают от нервных и психических нагрузок, которые им навязывает бег наперегонки со своими собратьями. И хотя их дрессируют с самого раннего детства, приучая видеть прогресс во всех безумных уродствах соревнования, как раз самые прогрессивные из них яснее всех выдают своим взглядом подгоняющий их страх, и как раз самые деловые, старательнее всех «идущие в ногу со временем», особенно рано умирают от инфаркта.

Если даже сделать неоправданно оптимистическое допущение, что перенаселение Земли не будет дальше возрастать с нынешней

[1] Синоним психоанализа.

угрожающей быстротой, то, как надо полагать, экономический бег человечества наперегонки с самим собой и без того достаточен, чтобы его погубить. Каждый циклический процесс с положительной обратной связью рано или поздно ведёт к катастрофе, а между тем в описываемом здесь ходе событий содержится несколько таких процессов. Кроме коммерческого внутривидового отбора на всё ускоряющийся темп работы, здесь действует и другой опасный циклический процесс, описанный в нескольких книгах Вэнсом Паккардом, — процесс, ведущий к постоянному возрастанию человеческих *потребностей.* Понятно, что каждый производитель всячески стремится повысить потребность покупателей в своём товаре. Ряд «научных» институтов только и занимаются вопросом, какими средствами лучше достигнуть этой негодной цели. Методы, выработанные путём изучения общественного мнения и рекламной техники, применяются к потребителям, которые в большинстве своём оказываются достаточно глупыми, чтобы с удовольствием повиноваться такому руководству; почему это происходит, объясняется прежде всего явлениями, описанными в главах первой[1] и седьмой[2]. Например, никто не возмущается, если вместе с каждым тюбиком зубной пасты или бритвенным лезвием приходится покупать рекламную упаковку, стоящую нередко столько же или больше, чем товар.

Дьявольский круг, в котором сцеплены друг с другом непрерывно возрастающие производство и потребление, вызывает явления роскоши, а это рано или поздно приведёт к пагубным последствиям все западные страны, и прежде всего Соединённые Штаты; в самом деле, население их не выдержит конкуренции с менее изнеженным и более здоровым населением стран Востока. Поэтому капиталистические господа поступают крайне близоруко, продолжая придерживаться привычного образа действий, т. е. вознаграждая потребителя повышением «уровня жизни» за участие в этом процессе и «кондиционируя» его этим для дальнейшего, повышающего кровяное давление и изматывающего нервы бега наперегонки с ближним".

Здесь, наконец, прямо названы асоциальные элементы, ответственные за такой "привычный образ действий": это "*капиталистические господа*".

В восьмой главе Лоренц возвращается к этой теме:

"Мы, якобы свободные люди западной культуры, уже не сознаем, в какой мере нами манипулируют крупные фирмы посредством

[1]"Структурные свойства и нарушения функций живых систем".
[2]"Разрыв с традицией".

своих коммерческих решений... По мере того, как ремесло вытесняется конкуренцией промышленности и мелкий предприниматель, в том числе крестьянин, не может больше существовать, все мы оказываемся просто вынужденными подчинять наш образ жизни желаниям крупных фирм, пожирать такие съестные припасы, какие, по их мнению, для нас хороши и, что хуже всего, из-за кондиционирования, которому нас уже подвергли, мы не замечаем всего этого".

Таким образом, оказывается, что "свободного рынка" в действительности *нет*, поскольку потребителя обманывают и навязывают ему ненужные товары. Конкуренция есть, а свободного рынка нет! Между тем, профессор Хайек и его друзья продолжают благословлять "невидимую руку рынка", не давая себе труда прибавить что-нибудь к тому, что сказал Адам Смит.

Как мы видели, Лоренц не говорит, откуда произошёл человеческий инстинкт искоренения асоциальных паразитов. Он усматривает трудность в объяснении солидарного поведения животных при "моббинге", поскольку неизбежное выпадение этой функции у отдельных особей увеличивает шансы на их выживание. Правда, он тут же ссылается на "не очень понятные процессы группового отбора". Конечно, это указание не случайно.

Я уже предположил выше, что групповой отбор мог сыграть основную роль в чрезвычайно быстрой эволюции человека. Можно думать, что именно групповой отбор устраняет группы, где разрушается механизм социального инстинкта. Во всяком случае, "ненормальное" поведение по отношению к членам группы *должно* вызывать реакции со стороны её "нормальных" членов. Ранговая структура группы требует от каждого индивида вполне определённого поведения. Индивид, не соблюдающий правил поведения, предусмотренных социальным инстинктом своего вида, не может занять в этой структуре надлежащего места, отвечающего его полу, возрасту и силе. По-видимому, он имеет низкий популяционный ранг[1], или вовсе изгоняется, что объясняет наличие "маргинальных" особей, отбившихся от стада. Группы, где разрушаются механизмы отторжения асоциальных элементов, вряд ли имеют шансы на выживание. Описанные этнографами племена, где повседневные отношения между семьями и индивидами подозрительны и враждебны, сохранились только на изолированных островах.

Социальный инстинкт человека, как и другие его инстинкты,

[1]По-поводу лоренцевой гипотетической галки, не желающей участвовать в нападении на хищника, Р. Г. Хлебопрос заметил, что "трусливый" индивид, вероятно, имеет мало шансов на размножение.

проявляется так же, как у других высших животных. Различие состоит в том, что у человека социальное поведение намного сложнее, и оценка поведения индивида стала функцией культурной традиции. Но сигнал о нарушении социального инстинкта вызывает у человека точно такие же инстинктивные реакции, как и у всех высших животных. И, как все инстинкты, эта реакция действует непосредственно — здесь и сейчас.

Как я уже сказал в начале этой главы, моим предметом вовсе не является "социальная справедливость" в позитивном смысле этого выражения: меня интересует, что́ представляет собой поведение людей, обычно описываемое как "реакция на социальную несправедливость". С моей точки зрения, эта реакция объясняется вовсе не утопическими представлениями о том, каким должно быть "хорошее общество", даже если у людей, протестующих против "социальной несправедливости", есть такие представления. Она объясняется также не экономическими теориями о труде и заработной плате, из которых якобы следует, что́ в общественной жизни справедливо, и что́ нет. Я полагаю, что все эти построения — не что иное как рационализации инстинктивного поведения — *стремления к устранению асоциальных паразитов*. Это инстинктивное поведение стимулируется социальным инстинктом человека, общим выражением которого является *племенная мораль*. Как мы уже знаем, в процессе глобализации этой морали — который следует рассматривать как культурный, а не генетический процесс — люди постепенно приучаются относить эту мораль ко всем людям вообще, так что она оказывается *общечеловеческой*. В частности, любое явление асоциального паразитизма, о котором человек узнаёт, вызывает в нем реакцию протеста и стремление к устранению этого явления.

Итак, я принимаю следующую гипотезу:

Реакция на "социальную несправедливость" стимулируется социальным инстинктом человека, непосредственным образом вызывается всеми видимыми отклонениями от племенной морали, адресатом же её является асоциальный паразит.

Дальше мы проследим, каким образом эта реакция проявлялась в ходе человеческой истории. Карл Маркс, не понимавший её биологической причины, подчеркнул её значение и назвал её "классовой борьбой".

Глава 4

Культура и поведение

1. Значение культуры

В повседневном языке “культурой” называется развитое, сложное состояние человека, в отличие от неразвитого и простого. Самое слово cultura первоначально означало “возделывание почвы”, “земледелие”, но уже в латинском языке оно приобрело добавочные значения: “воспитание”, “образование” и “почитание”, “поклонение”. Во всех этих значениях оно противопоставляется простому, “естественному” состоянию, описываемому словом natura (природа).

“Культурным человеком” называют человека, мышление и чувства которого развиты воспитанием, общением с людьми и собственным размышлением; “культурным обществом” называют общество, где развились и действуют сложные, утонченные способы воспитания, общения и мышления. В этом смысле отдельные люди одного и того же общества могут быть более или менее культурны, и отдельный человек может развиться, став более культурным, но может и растерять свою культуру, вернувшись к более простым интересам и формам поведения. О таком человеке говорят, что он “опустился”. Точно так же, человеческое сообщество может развиваться, становиться более культурным, но возможен и обратный процесс. Это последнее явление называется “упадком культуры”, что означает упрощение форм воспитания и поведения, вырождение более сложных и утонченных интересов и возвращение к более простым отношениям между людьми.

Таким образом, слово “культура” в его повседневном значении (не имеющее в этом смысле множественного числа) обозначает фазу в развитии одного и того же индивида или сообщества. Но есть и другое значение слова “культура”, научное, в котором мы употребляли его в предыдущих главах. В этом другом смысле “культура” относится не к индивиду, а только к некоторому сообществу людей и означает особый образ жизни этого сообщества, установившиеся в нем навыки и способы поведения, понятия и способы мышления, передаваемые по традиции из поколения в поколение. Напомним определение, отчётливо отделяющее человека от всех других животных:

человек — животное с двумя системами наследственности — генетической и культурной. Для выживания любого другого вида животных достаточно генетической информации, получаемой животным при рождении. В геноме животного запрограммировано всё, что оно может делать в течение своей жизни, в том числе необходимые ему способы воспитания потомства и возможные для него способы усвоения индивидуального опыта, вводимого в открытые программы его инстинктов в виде "выученных" подпрограмм. Между тем, как мы уже видели, геном человека не содержит информации, достаточной для его выживания. Инстинктивные последовательности поведения, автоматически выполняемые другими животными, у человека обычно расчленены на куски, соединяемые "сознательным" поведением. В ряде важных случаев такое поведение может быть усвоено только из культурной традиции.

Все такие способы поведения, без которых человек не может выжить и дать потомство, он должен получать в виде программ, выработанных его культурой, и прежде всего, как уже было сказано, важнейшую из них — программу пользования языком. Культура — непременное условие существования человека, но культурные традиции, выработанные разными племенами, весьма различны. Язык, которому учат ребёнка — это язык *его* культуры; другие виды обучения, жизненно важные для его будущего, также зависят от этой культуры. Человек вырастает принадлежащим некоторой культуре, в значительной мере определяющей его *поведение.* В раннем возрасте ребёнок усваивает *этические принципы* культуры, в которой он воспитан. Поэтому Альберт Швейцер с полным основанием выделил этическую проблему как главную проблему современной жизни, назвав свою книгу "Культура и этика": в эпоху распада культуры прежде всего оказывается в опасности её этическая традиция[1].

Только что описанное значение слова "культура", утвердившееся в научной литературе, может употребляться во множественном числе. Ещё в девятнадцатом веке говорили о "национальных культурах", например, французской, русской или китайской, отличительным признаком которых считался язык. В более общем смысле, уже не обязательно связанном с языком, термин "культура" стали применять к более крупным сообществам, объединяемым образом жизни, религией или исторической эпохой: говорили о европейской, мусульманской или средневековой культуре. Наконец, уже в двадцатом веке этнографы, исследовав образ жизни сохранившихся "прими-

[1]Мы употребляем слова "этика" и "мораль" в одном и том же смысле.

тивных" племён, обнаружили, что каждое из них живёт по вполне определённым обычаям, передаваемым из поколения в поколение и образующим определённый общественный порядок; с тех пор стали говорить о культуре острова Таити, индейцев пуэбло или эскимосов. Само собой разумеется, все эти культуры развивались со временем, усложняясь или упрощаясь, процветая или приходя в упадок.

Более развитые культуры несомненно образовались в племенных союзах, разросшихся в благоприятных условиях и ассимилировавших соседние, не обязательно родственные племена, причём такие сообщества вырабатывали общий язык, общие обычаи и общую религию (или только некоторые из этих признаков). Для этого потребовалась глобализация социального инстинкта на бóльшие, иногда многомиллионные коллективы, в каждом из которых развивался однотипный образ жизни или — на языке нашей "компьютерной" модели — однотипный способ культурного *заполнения* программ инстинктивного поведения. Напомним, что при всем разнообразии этих культур самые программы человеческих инстинктов, определяемые геномом нашего вида, всегда одни и те же!

Легче всего проследить образование древнейших культур, сложившихся в долинах больших рек, в относительной безопасности от внешних вторжений: таковы были шумерская культура, влияние которой до сих пор заметно в Двуречье, египетская, язык которой оставался живым до семнадцатого века, и китайская, сохранившая свой язык и до недавнего времени сохранявшая свой образ жизни. В других случаях культура, возникшая в одном месте, впоследствии разбивалась на различные формы у групп, долго кочевавших до обретения оседлости, но сохранивших общие черты. Таковы были культура германцев, возникшая в Скандинавии, и греческая культура, место рождения которой нам неизвестно.

Основное значение культуры для понимания человека и человеческого общества было осознано сравнительно недавно. В центре внимания историков и философов всегда были внешние формы организации культуры — государства и войны между государствами, считавшиеся едва ли не единственным содержанием человеческой истории. По существу научное изучение культуры только началось. С середины двадцатого века этнографы начали рассматривать первобытные культуры с точки зрения кибернетики — как иерархически устроенные системы с обратными связями. Но подлинное понимание культур потребовало исторического подхода, использующего в качестве модели эволюцию биологического вида. Конечно, в этой модели надо было знать не только эволюцию строения животных,

но в особенности эволюцию их *поведения*, раскрытую лишь работами Лоренца и его сотрудников: в самом деле, история культуры, протекавшая при почти неизменном физическом строении человека, была именно эволюцией человеческого поведения. Поэтому возникновение этологии стало мощным стимулом исследования культур.

С биологической точки зрения культура есть *живая система*, так что эволюция вида животных — не просто модель, полезная для изучения истории культуры: все живые системы проявляют общие закономерности, которые можно проследить на множестве различных видов и подвидов, а потом обнаружить в истории человеческих сообществ. Эти общие закономерности проявляются с поразительной отчётливостью.

Подобно виду животных, культура формируется в определённом ареале, географически ограждающем её от смешения с другими популяциями. Более того, культура создаёт, уже в рамках своей традиции, искусственные отличительные признаки, выполняющие ту же функцию "ограждения"; эти признаки совершенно аналогичны "демонстративной" окраске и формам поведения многих видов, служащим для узнавания "своих" и отпугивания "чужих". Сюда относятся, например, раскраска, татуировка и, на более поздних этапах, национальные костюмы. Можно проследить, как в ходе развития культуры происходят отбор и закрепление её обычаев и символов, поразительно напоминающие процессы естественного отбора в эволюции видов.

Те же явления формирования и столкновения культур, какие проявляются в истории, можно заметить в менее устойчивых образованиях, складывающихся в наши дни, например, в так называемых "молодёжных субкультурах". Психоаналитик Эрик Эриксон, исследовавший такие сообщества, назвал их "псевдовидами", и Лоренц перенёс это название на культуры в обычном смысле слова. Далее, те же закономерности — устойчивость традиции, повторение принятых обычаев, механическое перенесение в новую ситуацию унаследованных способов поведения — видны в истории техники, в проектировании машин и изделий массового производства. Нет сомнения, что при более глубоком изучении культур станут понятными и другие шаблоны общественного поведения и мышления, вызывавшие удивление философов и социологов, но объясняемые общими свойствами живых систем, а вовсе не сознательной деятельностью людей. В уже упомянутой книге Лоренца "Оборотная сторона зеркала" можно найти много примеров и ссылки на литературу — к сожалению, всё ещё неизвестную "гуманитарным" учёным.

Продолжая биологическую аналогию, можно было бы подумать, что образование таких “псевдовидов” — человеческих культур — должно привести к их всё большему обособлению, наподобие того, как в дарвиновой схеме естественного отбора подвиды одного вида, путём постепенного расхождения признаков, превращаются в разные виды, уже неспособные — по самому определению вида — смешиваться между собой. Но это не происходит: хотя более слабые или малочисленные культуры погибли, выжившие культуры *сохранили способность к взаимодействию и смешению*, так же, как это раньше происходило с первоначальными группами и племенами. В этом месте модель, которой мы пользовались — аналогия между культурой и видом животных — отказывается дальше служить! Конечно, любая модель лишь отчасти отображает сравниваемый с ней объект, но в нашем случае можно объяснить, в чём дело.

Культурная эволюция весьма напоминает генетическую, но нельзя забывать, что человеку свойственны *два* вида наследственности. Культуры меняются со временем, обособляясь друг от друга, как все живые системы, в ходе *культурной* эволюции. Но они состоят из индивидов, принадлежащих *одному и тому же виду homo sapiens*, геном которого почти не меняется. Время генетических изменений, способных “изолировать” новые виды, — так называемое характерное время видообразования — составляет миллионы лет, между тем как характерное время образования культур — несколько сот лет. К тому же, человек в своём приспособлении к окружающим условиям не ждёт, как другие животные, благоприятной мутации: он использует свои культурные возможности, а тем временем человеческие племена неизбежно смешиваются, поскольку у них общий геном. Обособление культур, на фоне несравненно более медленного генетического изменения, представляет собой кратковременное явление, не способное вызвать обособление видов.

Мы имеем здесь дело с тремя уровнями живых систем: на “нижнем” уровне это отдельные особи человеческого вида, на “среднем” — культуры, и на “высшем” — всё человечество, также составляющее живую систему. Поэтому культуры не могут окончательно разойтись: можно думать, что они, напротив, сливаются теперь в единую общечеловеческую культуру. Не будем обольщаться этим достижением. Культурный распад, угрожающий современному человечеству, связан с *первым*, повседневным значением слова “культура” — это качественная деградация *всех* существующих культур, угрожающая произвести их нежизнеспособный гибрид.

Но вернёмся к существующим, всё ещё очень различным куль-

турам. По определению, культура достаточно устойчива, чтобы выработать *традицию*: это значит, что способы воспитания, принятые в этой культуре, мало меняются в течение ряда поколений и, тем более, на протяжении человеческой жизни. Естественно, сходные способы воспитания производят сходные черты личности: культура вырабатывает определённый *тип человека* — то общее, что свойственно людям одной культуры, при всём их индивидуальном различии[1]. Конечно, речь идёт не о генетическом типе человека, проявляющемся в его физических признаках, а о психическом типе, созданном воспитанием. Как ни трудно определить этот тип, вряд ли можно сомневаться в существовании некоторых общих признаков у людей, воспитанных в одной и той же культуре. Во всяком случае, это почти не изученное понятие заслуживает внимания, и полезно иметь по крайней мере название, обозначающее предмет обсуждения. В дальнейшем мне придётся заниматься этим предметом; впрочем, меня будет интересовать не столько человеческий тип, возникший в какой-нибудь из "старых" культур, сколько тип, вырабатываемый в наше время "западной" культурой.

2. Дихотомическое устройство человека

Как мы видели, строение культуры определяется свойственными этой культуре формами проявления человеческих инстинктов. Инстинкт, которым организм реагирует на явления окружающего мира, это программа, выделяющая некоторые ситуации, важные для данного вида, и отвечающая на них определёнными действиями. Животное распознаёт важные для него ситуации с помощью врождённого аппарата познания — рецепторов, и реагирует на них с помощью врождённого аппарата действия — эффекторов.

В основе всякой познавательной деятельности лежит "сравнение признаков": это приблизительный перевод английского термина pattern matching, столь важного, что Лоренц даёт ему подробное объяснение (поскольку у него нет и удовлетворительного немецкого перевода). Matching, в интересующем нас смысле, означает "сравнение" или "сопоставление", от глагола to match, от которого происходит также название спортивных состязаний. В гносеологии matching означает сравнение восприятия некоторого объекта с имеющимся в памяти индивида признаком, который и обозначается

[1]Выражение "тип человека" я заимствую у Экзюпери. Кажется, он нашёл его у Ницше, но, разумеется, использование этого термина не означает согласия с их мнениями.

словом pattern. Это слово может обозначать “образец”, по которому изготовляют изделия, но такое значение нас здесь не интересует, так как мы занимаемся теперь работой органов восприятия, а не органов действия. Pattern означает также повторяющийся характер предметов определённого рода, например, рисунка на одежде или символа на плакате, и как раз это значение для нас важно: мы пытаемся передать его словом “признак”, хотя в русской кибернетической литературе оно уже превратилось в слово “паттерн”. “Сравнение признаков” — это проверка, обладает ли данный предмет признаком, по которому его узнаю́т.

Процессы распознавания признаков очень сложны уже у животных, а тем более у человека. Во всех случаях, когда они поддаются подробному анализу, это осуществляется серией ответов на вопросы простейшего типа: есть ли предъявляемый предмет A, или не A? Например, при всякой сигнализации последовательно предъявляются знаки, сравниваемые с имеющимся у индивида списком символов — “алфавитом”. Индивид сравнивает полученный знак с буквами алфавита и останавливается, когда замечает совпадение. В более сложных случаях приходится отвечать на вопросы: “Тигр это или не тигр?”, “Фашизм это или не фашизм?”, и т. п., но уже пример с сигнализацией показывает, что для передачи *всевозможных* сообщений достаточно уметь отвечать на *простейший* вопрос, допускающий всего *два* ответа — “да” или “нет”. Алфавит, буквы которого надо узнавать, может быть при этом предельно упрощён — до двух символов. Азбука Морзе, долго использовавшаяся в телеграфии, была избыточной, поскольку содержала не только точку и тире, но ещё и пробел (отсутствие знака, или интервал в сигнализации). Для передачи любого сообщения достаточно выдавать на каждом шаге один из двух сигналов или, что то же, выдавать или не выдавать единственный знак. Таким образом, простейший возможный алфавит *двузначен*, и эволюция воспользовалась именно этим алфавитом, чтобы выработать у живых организмов аппарат восприятия и обработки информации.

Амёба, столкнувшись с препятствием, поворачивает назад, свидетельствуя о том, что она распознала признак: “дальше пути нет”. Может быть, даже эта её реакция не столь элементарна; рецепторы амёбы могли воспринять более простой признак: “реакция воды на движение вперёд стала больше критического значения q”. Во всяком случае, поведение низших животных отчётливо обнаруживает двоичную структуру их восприятия мира. У высших животных, у которых система получения и обработки информации чрезвычайно

сложна, элементарные сигналы нервных окончаний всегда двоичны: информация передаётся по нервам испусканием (или неиспусканием) электрических импульсов стандартной силы и продолжительности, то есть сигналами типа "да" и "нет". В эпоху возникновения кибернетики предполагали даже, что вся работа человеческого мозга сводится к таким двоичным элементам, наподобие того, как это происходит в компьютере. Теперь в этом сомневаются: мы не знаем, каким образом человеческий мозг распознаёт общий характер, или "гештальт" сложного объекта, но, конечно, он это делает не так, как компьютер. Когда мы рассматриваем изображение в газете, составленное из типографских точек, то вряд ли мы узнаём его, просматривая точки одну за другой.

Во всяком случае, двоичное строение нашей нервной системы наложило свой отпечаток на человеческое мышление и чувствование. Мышление оформляется в виде логических рассуждений, всегда построенных на дуализме "*истины*" и "*лжи*". Попытки строить "многозначные" логики, в которых утверждения могли бы быть не только истинны или ложны, но также "возможны", "вероятны", "желательны" и т. п., не привели к сколько-нибудь интересным результатам. Складывается впечатление, что высказывания, которые не могут быть просто "истинны" или "ложны", принципиально отличаются от утверждений, называемых *знанием*. По-видимому, "готовая" мысль всегда допускает вопрос, "истинна" она или "ложна", так что конечной целью всякого мышления может быть только *достоверное* знание.

Принудительная сила научного мышления основывается как раз на том, что все построения науки могут быть представлены как последовательности утверждений, каждое из которых может быть только верно или неверно, причём способ проверки предлагается вместе с утверждением, таким образом, что проверка в принципе доступна всем желающим. Конечно, построения религии и философии не таковы; поэтому есть только одна физика, но множество философских и религиозных мнений. И всё же, эти причудливые произведения человеческой психики тоже претендуют на истину и обличают ложь, хотя и не предлагают способов проверки своих высказываний: люди попросту настаивают, что их мнения "истинны", а мнения их противников "ложны", ссылаясь на традицию своей культуры, на высказывания предшественников или на пережитые ими эмоции.

Потребность в двоичном выражении мыслей столь сильна, что нередко превращается в серьёзное препятствие для мышления: Ло-

ренц назвал эту тенденцию “мышлением в противоположных понятиях”. Дело в том, что не только философы, но и учёные часто задают себе вопросы, имеющие ту же грамматическую форму, что и “законные” вопросы человеческого исследования, но по самой своей природе не допускающие ответа “да” или “нет”. Пример плохо поставленного вопроса — “Является ли человек животным?” При обсуждении этого вопроса можно пользоваться различными критериями и прийти к разным ответам, потому что он не сопровождается никакой процедурой проверки, позволяющей ответить на него “да” или “нет”. Можно ставить более разумные вопросы, уточняющие его в том или ином направлении, например, “Питается ли человек так же, как шимпанзе?”, или “Обладает ли человек такой же памятью, как попугай?”; на первый из них можно дать утвердительный ответ, а на второй отрицательный, указав, какие проверочные опыты имеются в виду. Другой пример — это классический вопрос философии “Добр человек или зол?”, тоже допускающий какие угодно ответы, поскольку оба прилагательных, “добрый” и “злой”, можно понимать в самом разном смысле. Уточняя его, можно поставить более разумные вопросы, например: “Есть ли у человека потребность нападать на своих собратьев по виду?” (на что можно ответить утвердительно, имея в виду инстинкт внутривидовой агрессии), или: “Есть ли у человека потребность убивать других людей?” (с отрицательным ответом, поскольку у нормального человека такая потребность отсутствует). Вопросы, допускающие однозначный ответ в форме “да” или “нет”, я буду называть дихотомическими, от греческого слова, означающего “деление надвое” ; этот термин уже применяется в аналогичном смысле в логике и лингвистике. Другие вопросы, не допускающие такого ответа, могут, конечно, выражать нашу законную любознательность, и учёный может уточнять постановку таких вопросов. К сожалению, многие учёные торопятся решать вопросы, не имеющие твёрдо установленного смысла, а некоторые философы пытаются даже извлечь некую мудрость из неточностей нашего повседневного языка. Вот ещё несколько примеров плохо поставленных вопросов, не допускающих ответа в форме “да” или “нет”:

> “Верно ли, что все люди равны?”
> “Хорошая ли вещь частная собственность?”
> “Существует ли эксплуатация трудящихся?

Сами по себе эти вопросы не имеют разумного смысла, но с каждым из них связаны психические установки и реакции, заслуживающие изучения. Такие вопросы предшествуют “разумным” вопросам,

рассматриваемым в науке; обычно их относят к философии.

Дихотомично не только познание, но и действие. Реакции живого организма на его восприятия осуществляются той же нервной системой, где действует двоичное кодирование сообщений. Всё поведение животного состоит из элементарных движений, которые лишь в редких случаях проявляются отдельно — например, при реакции на укол или ожог; каждое из таких движений запускается единственным сигналом, который может поступить или не поступить, то есть двоичен. Выдача гормонов, стимулирующих поведение, включается и выключается командами того же рода.

Даже психические переживания, при всей их сложности и разнообразии, проявляют отчётливую дихотомию. Почти каждому человеческому чувству (даже равнодушию!) соответствует противоположное чувство, каждой "добродетели" — "порок". По-видимому, структуры мозга, вырабатывающие наши эмоции, "не умеют" остановиться в промежуточном состоянии, а неудержимо стремятся к одному из двух полюсов, рассматриваемых как противоположные, исключающие друг друга, и даже рационализируемых в этом качестве какой-нибудь философией. Самые важные из таких полярных конструкций нашей психики — это дихотомия "добра" и "зла" и связанная с ней — как её рационализация — дихотомия "истины" и "лжи". Предполагается, что последние две категории могут быть "познаны" человеческим разумом, тогда как две предыдущих, хотя и возникающие спонтанно, некоторым образом вытекают из последних. Гюго выразил эту философию наивными стихами:

> ...le vrai
> C'est le juste, vois-tu:
> Bien voir la vérité, c'est trouver la vertu.[1]

Между тем, это одно из самых опасных предположений — как раз потому, что оно *часто* оправдывается, но далеко не всегда. Культура, в которой воспитан индивид, говорит ему, чтó "хорошо" и чтó "плохо", и учит его любить то, что она считает "добром", и ненавидеть то, что она считает "злом". Как мы знаем, в основе всех культур лежат инстинктивные мотивы поведения, созданные эволюцией для сохранения нашего вида и обычно способствующие сохранению и благополучию индивида. В этом все культуры сходны между собой. Но культурная глобализация социального инстинкта в разных культурах шла разными путями, и многие черты сло-

[1] "Видишь ли, истинно то, что справедливо: кто хорошо видит истину, тот обретает добродетель".

жившейся культуры отражают уже не функцию сохранения вида, а функцию сохранения самой культуры, нередко обособляя её от других культур и даже стимулируя враждебность к людям других культур. Таким образом общечеловеческое смешивается с частным, исторически случайным.

Впрочем, не следует упускать из виду, что эта же историческая случайность культур обусловила их своеобразие и доставила тем самым материал для их плодотворного соревнования. Мы можем радоваться тому, что на наших глазах, по-видимому, складывается единая мировая культура; но если она остановится на уровне общих "стандартов обслуживания" и общих "средств массовой информации", то, может быть, придётся пожалеть о более богатой содержанием жизни наших предков.

3. Древнейшие механизмы культуры

Дихотомия добра и зла. Каждая культура основывается на дихотомии добра и зла. Поведение человека мотивируется его инстинктами, образующими сложную систему. Напомним, что у высших животных инстинкт внутривидовой агрессии, охраняющий охотничий участок, корректируется таким образом, чтобы он не приводил к истреблению собратьев по виду: возникает инстинктивный механизм демонстративных поединков, при которых более слабый конкурент изгоняется, но, как правило, остаётся в живых. Жизнь обезьяньего стада управляется системой тщательно "сконструированных" эволюцией ритуалов, охраняющих более слабых членов сообщества, при условии выполнения "предусмотренных" для этого жестов. Благодаря этим ритуалам, встроенным в генетическую программу вида, агрессивные взрослые самцы не причиняют ущерба друг другу, а самки и детёныши пользуются особой защитой.

Человеческие культуры, выполняющие аналогичные функции в более сложных сообществах, развились из ритуалов обезьяньего стада, и потому сохранили основные черты "культуры обезьян". Обезьяна не размышляет о правах и обязанностях своего собрата, а придерживается генетически унаследованных правил, говорящих ей в каждой ситуации, выполнить или не выполнить такое-то инстинктивно запрограммированное движение. Все эти унаследованные инструкции имеют, как всегда у животных, дихотомический характер: движения запускаются сигналом, который может поступить или не поступить. Более сложно, но также дихотомически устроены ритуалы человеческого общества, определяемые совместно генетической

и культурной наследственностью.

Как мы уже знаем, у человека действие инстинктивных механизмов во многих отношениях нарушено. Мы уже видели, каким образом запрет убивать собратьев по виду, имеющийся у всех приматов, сузился у человека до членов собственной группы, а затем расширился на более многочисленный коллектив — племя. По-видимому, эти изменения в поведении были обусловлены генетически; но чем сложнее и чем "новее" инстинкты, тем труднее их осуществление, и тем чаще при этом происходят "сбои". Это тем более относится к культурным подпрограммам, заполняющим открытые программы инстинктов, например, к "запрету убийства". Глобализация этого правила, постепенно возвращающая нам "мораль" всех высших животных, до сих пор не завершена.

Точно так же, у человека нарушено действие полового инстинкта, предписывающего всем другим высшим животным строго определённые для каждого вида формы сексуального поведения. У человека способы образования пар крайне разнообразны, даже у родственных племён: по-видимому, от полового инстинкта у нас осталось лишь элементарное влечение, а всё остальное поведение определяется культурной традицией — в этом случае крайне разнообразной. В меньшей степени то же относится к культурным программам воспитания потомства.

Напомним общую причину такого разнообразия: длинные цепочки инстинктивных действий, запрограммированные для определённых ситуаций и запускаемые у животных в виде непрерывных последовательностей, у человека разделились на короткие отрезки, соединяемые его сознательными решениями или выработанными привычками. Эти специфически человеческие изменения инстинктов делают поведение человека более гибким, но такое преимущество сопровождается опасностью: действие инстинкта, утратившего свою жёсткость, может оказаться ненадёжным.

Так было, несомненно, уже в первоначальных человеческих группах. Самые важные решения, от которых зависело выживание группы, не могли быть предоставлены зачаточным мыслительным способностям первобытного человека, и культурная эволюция выработала твёрдые правила, прежде всего устанавливавшие, что можно делать, и чего делать нельзя. Отсюда, по-видимому, и произошла дихотомия "добра" и "зла": добром считалось всё способствующее выживанию "своей" группы, а "злом" — всё вредное для группы, то есть уменьшающее её шансы на выживание. Мы уже встретились с категориями добра и зла, рассматривая в предыдущей главе

“племенную мораль”, дихотомический характер которой не вызывает сомнения. Как уже было сказано, эта мораль в своих основных чертах универсальна, поскольку происходит от действия одного и того же генома. Этим и объясняется тот удивительный, до сих пор недостаточно оценённый факт, что при встрече различных, никогда не видевших друг друга племён возможно было некоторое взаимопонимание, основанное на сходных представлениях о добре и зле.

Рассматривая племенную мораль, мы сосредоточили внимание на экономических и социальных сторонах жизни, важных для предмета этой книги. Древнейший слой этой морали, восходящий к первоначальным человеческим группам, составляют основные “запреты”, осуждающие и наказывающие поведение, признанное безусловно “плохим”. Они перечисляют неправильные действия инстинкта внутривидовой агрессии и полового инстинкта, то есть действия, противоречащие социальному инстинкту.

На стадии образования племенных союзов и государств эти запреты превратились в этические предписания или “заповеди”, древнюю форму которых мы находим, например, в Ветхом Завете. Мы выбрали этот кодекс морали из многих других, очень на него похожих, потому что он составил основу христианской культуры, в дальнейшем — европейской или западной, в наше время господствующей на Земле. Глава 20 Книги Исхода содержит “десять заповедей”. Опуская обязанности по отношению к богу и обязанность любить родителей, мы находим в них следующие пять запретов. Вот они, в синодальном переводе:

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Библия излагает эти запреты в кратком виде, подразумевающем ситуации, к которым их относит законодатель. Первый из них, конечно, первоначально относился только к соплеменникам — вначале только они назывались “ближними” — и лишь в позднейшие исторические эпохи превратился в запрет убивать *любого* человека, за исключением “дозволенных” случаев убийства — войны и смертной казни. Второй запрет предполагает уже существующий институт брака: прелюбодеянием называется нарушение брачных правил. Как известно, ограничения полового общения были у всех извест-

ных племён, но это были различные ограничения, так что вторая заповедь носит ещё более условный характер, чем первая. И всё же, эти две заповеди составляют древнейший слой библейской морали, гораздо более древней, чем сама Библия. Они слишком тесно связаны с инстинктами человека, чтобы ими можно было пренебречь. Смысл этих заповедей по-разному раскрывается в разных культурах, но содержащиеся в них ограничения безусловно необходимы для существования нашего вида.

Остальные приведённые запреты предполагают также существование более поздних механизмов культуры: пятый — существование брака, третий и пятый — существование частной собственности, причём перечисляются даже виды собственности, наконец, четвёртый предполагает существование суда. Библия — памятник эпохи, когда возникало государство и когда кодифицировалась религия; религиозные представления и этические нормы образуют в ней смесь, отражающую понятия составивших её жрецов.

Система ценностей. Первичный механизм культуры, присутствующий уже в самых примитивных культурах, — это система представлений о желательных и нежелательных ситуациях, описываемых *ценностями* культуры[1]. *Положительными ценностями* культуры называются ситуации, к которым человек этой культуры должен стремиться; *отрицательными ценностями* — ситуации, которых он должен избегать. Первые из них означают для данной культуры "добро", вторые — "зло" ; вместе они определяют обычное поведение человека этой культуры. Необычное поведение воспринимается как плохое и осуждается, а в "серьёзных" случаях наказывается. Здесь неизменно действует дихотомия: что не "добро", то "зло", "третьего не дано".

Дихотомия "добра" и "зла", содержащаяся в системе ценностей, носит "идеальный" характер, в том смысле, что поступки людей редко соответствуют идеалу добра или идеалу зла, а чаще всего лишь сопоставляются с этими идеалами и получают некоторую общественную оценку. Эта оценка и есть "мораль" данной культуры. Значение морали видно из того, что человек сталкивается с ней на каждом шагу (тогда как встреча с "законом" относительно редка;

[1] Термин "ценность", придуманный немецкими социологами около 1905 года, заменил прежнее выражение "идеал". Несомненно, в этой новой терминологии отразились специфические "ценности" общества, где уже господствовали рыночные отношения. Мы намеренно разделяем эти два термина, придавая идеалам более широкое значение.

закон представляет собой, в некотором смысле, крайний случай морали). Предусмотренное культурой обучение морали производится в детстве, самая важная часть его — в раннем детстве, до 5–6 лет. Обучающие лица — чаще всего родители — обычно выполняют эту функцию бессознательно, как часть культурной наследственности. При этом они — бессознательно, но в некоторых случаях и сознательно — стараются сделать детей похожими на самих себя, что и требуется для воспроизводства культуры[1]. Главный результат этого обучения — та бессознательная мотивация поведения, которую Фрейд обозначил термином "бессознательная совесть". Выпадение или неполноценность морального воспитания, получаемого в раннем детстве, производит "ненадёжную" личность, плохо приспособленную к своей культуре; массовое же нарушение этого процесса означает распад культуры.

Как уже было сказано, все существующие культуры имеют близкие представления о "добре" и "зле", то есть их системы ценностей имеют существенную общую часть. Можно предположить, что эта общая часть относится именно к "бессознательной совести", вырабатываемой в раннем детстве и самым непосредственным образом связанной с общими для всех людей инстинктами. Во всяком случае, эта общая часть содержит, как мы уже видели, "племенную мораль". Напротив, к "сознательному" воспитанию, происходящему в более позднем возрасте, относятся те черты, которые отличают одну культуру от другой. В одних культурах больше ценится агрессивность, в других — кротость; в одних — воинственность, в других — трудолюбие, и т. п.

Религия. Этот древнейший культурный механизм развился, вероятно, вместе с системой ценностей. Религия всегда имела две функции, которые можно условно назвать "научной" и "технической". "Научная" сторона религии состояла в объяснении мира, каким его воспринимал первобытный человек. Поскольку он лучше всего знал самого себя и важных для его существования животных, он моделировал непонятные ему силы природы в виде воображаемых существ, напоминающих людей или зверей, более сильных, чем он, но обладающих человекообразными свойствами. Предполагалось, что с ними

---

[1]Нынешние учителя часто сомневаются, вправе ли они воспитывать в детях свои качества. Эти сомнения означают неуверенность в ценности собственной личности и делают невозможной важнейшую, бессознательную часть воспитания, лежащую в основе культурной традиции. Такие учителя негодны для своей функции — передачи традиции.

можно общаться, добиваясь их расположения: для этого уже очень рано появились специалисты — жрецы. Религия исполняла функции “примитивной науки” и, естественно, эта “наука” была главным образом “прикладной”.

Сверх того, религия доставляла своей культуре важную санкцию её ценностей: человек был всегда на виду у могущественных сверхъестественных сил, от которых не могли укрыться не только его поступки, но и его намерения. Вначале эти силы казались необъяснимыми и капризными, как это и сейчас можно видеть у самых примитивных племён; но постепенно религиозное мышление включило их во всеохватывающую схему добра и зла: боги стали награждать хорошее поведение и наказывать плохое. При этом к человеческому поведению, подлежавшему моральной оценке, прибавилось поведение по отношению к богам. В Библии это поведение уже подробно разработано, поскольку в ней излагается поздняя форма религии — монотеизм. Итак, религия стала средством контроля над человеческим поведением, и в этом качестве входила в традицию воспитания. Она сплачивала культуру и обеспечивала соблюдение её ценностей, получавших санкцию сверхъестественных сил. Эту функцию религии можно назвать “технической”.

Техническая сторона религии включала также достижение особых состояний экстаза и экзальтации, в виде индивидуального “мистического опыта” или коллективных переживаний — молитвенных церемоний и оргиастических празднеств. Переживания этого рода, удовлетворяющие одни и те же инстинктивные потребности и стимулируемые одними и теми же физиологическими механизмами, в разных культурах запускаются разными способами, которым придаётся сакральное значение.

Семья. В отличие от запрета убивать собратьев по виду, запрет прелюбодеяния не имеет опоры в инстинктах приматов, у которых половое общение, как правило (то есть почти у всех видов) не приводит к прочным и длительным связям. Парный брак, то есть постоянное сожительство одного мужчины с одной женщиной, есть сравнительно новое изобретение эволюции — ничего подобного нет у ныне живущих антропоидов, шимпанзе и горилл. Но вообще парный брак часто встречается у тех высших животных, у которых воспитание потомства продолжительно и требует участия не только матери, но и отца. Как уже было сказано, причиной возникновения парного брака у человека была, вероятно, неотения — затяжное развитие человеческого ребёнка, связанное с трудностью усвоения культурной

традиции. Во всяком случае, при всём разнообразии брачных обычаев у человека преобладает парный брак, и под прелюбодеянием Библия понимает его нарушение.

От парного брака происходит семья, то есть вся система родственных связей, сохранивших своё значение до наших дней. Отношения супругов друг к другу и к детям, во всех формах семьи, определяются не только общим для всего вида инстинктом, но и культурной традицией.

Равенство в племенной культуре. Как нетрудно заметить, племенная мораль в принципе считает всех членов племени равноправными. Это первобытное равенство означает, что рождение не даёт человеку никаких особенных преимуществ. Конечно, человек может приобрести такие преимущества личными достоинствами: самый храбрый может стать вождём, самый мудрый — жрецом. И, конечно, всегда выгодно иметь выдающихся родителей, хотя бы потому, что от них наследуются хорошие способности. Но всё это — случайное везение, а не жёсткая сословная привилегия. Поскольку первобытное равенство соответствовало инстинктивно обусловленным правилам племенной морали, оно во всех племенах считалось “справедливым”.

Нам трудно судить, были ли люди первобытного племени “счастливее” нас, потому что трудно установить общие для всех людей критерии “счастья”. В первобытных племенах, многие из которых сохранились до наших дней, господствует жёсткий коллективизм, оставляющий мало места для самостоятельности индивида. В некотором смысле там ещё и не выработался индивид. Поэтому люди нашей (западной) культуры, попавшие в плен к первобытным племенам и прожившие с ними много лет, никогда не привыкали к их жизни и не были там счастливы. Но в исторической памяти человечества племенная культура сохранилась как “золотой век”. Явление государства, с институтами сословий и частной собственности, было для человека страшной катастрофой.

Племенную культуру наделяли всеми благами, которых люди не находили в собственной жизни, в “железном веке” реальности. Библейская история объясняет, каким образом первые люди лишились райского блаженства: они нарушили божественный запрет, совершив “первородный грех”. Замечательно, что этот запрет относился к познанию “добра” и “зла”. Гесиод, с присущим грекам фатализмом, не объясняет, почему кончился золотой век: он видит в этом некий космический закон, по которому всё в этом мире неизменно

становится хуже. Так думали все греческие мыслители, и не только греческие. Можно подумать, будто закон возрастания энтропии подводит под их интуицию некий научный фундамент — наподобие того, как атомная физика подвела фундамент под представления Демокрита. Но всё это — лишь ностальгия по утраченной племенной жизни.

Мы вовсе не исходим из подобных представлений в нашем изложении племенной морали, не восхищаемся первобытным образом жизни и не предлагаем к нему вернуться. Дело совсем в другом. Нравится нам племенная мораль или нет, она входит в механизм наших инстинктов, и от неё нельзя избавиться до тех пор, пока какие-нибудь мутации не превратят нас в другой вид. Нельзя пренебрегать биологической природой человека, как мы это делаем, и удивляться, почему мы недовольны обществом, где нам приходится жить.

4. Идеалы культуры

Культура ставит перед человеком определённые *цели.* Понятие цели не относится к научному объяснению природы: наука занимается *причинами* явлений, всегда предшествующими им во времени, между тем как цели человеческого поведения относятся к будущему, которое может наступить в результате этого поведения. Мы не находим целей в природе, мы сами их создаём, следуя сложившимся в нашей культуре *ценностям* — представлениям о том, что *должно быть.* Наука же исследует *то, что есть.* Ценности, как и другие понятия культуры, не создаются наукой, но могут быть предметом научного исследования. Цели появились в природе вместе с человеком. И поскольку сам человек — часть природы, то можно сказать, что в человеке "природа впервые стала ставить себе цели" — разумеется, в метафорическом смысле, потому что "природа" вовсе не действует наподобие людей.

Такое понимание целей свойственно *современному* человеку. В древности считали, что все явления природы объясняются целями, подобно поступкам человека — в том числе движения небесных тел. Под влиянием Аристотеля так думали и средневековые схоласты. Такой способ объяснения природы назывался "телеологическим", от греческого слова "телос", означающего цель. Телеология не была наукой: научное объяснение мира появилось лишь в Новое время, в мышлении таких людей, как Галилей и Ньютон. Итак, если можно говорить об "изобретениях" эволюции, то она изобрела цели и целе-

устремлённое поведение, лишь создав человека. Как мы уже говорили, кажущееся целеустремлённое поведение животных сводится к инстинктивным стимулам, непосредственно связанным с удовлетворением их потребностей.

Но человек не может жить без целей, и его цели зависят от его культуры. Даже высокая оценка научной истины является продуктом культуры: наука создаёт эту истину, а оценивает её культура. Если культура ещё не созрела до такой оценки, то она *осуждает* научное знание: в 1600-ом году, на заре Нового времени, Джордано Бруно был сожжён в Риме, на Площади Цветов.

Возникает вопрос: если цели человека определяются его культурой, то имеет ли смысл представление о *целях самой культуры*? Иначе говоря, могут ли люди ставить себе, в качестве индивидуальной цели, определённое изменение культуры, к которой они принадлежат? Каждая культура реагирует на все внешние и внутренние явления способами, направленными к её самосохранению. Это свойство культурной эволюции аналогично свойству генетической эволюции, где весь медленный процесс изменения имеет целью сохранение вида: в этом, несколько парадоксальном смысле природа "консервативна". Сохранение культуры становится важнейшей ценностью этой культуры и, тем самым, целью поведения индивидов, воспитанных в её традиции. Здесь заложена мотивация любого "консерватизма", присущего уже древнейшим культурам, таким, как египетская и китайская. Китайца учили думать, что в центре Вселенной находится "Срединная империя" — средоточие всей возможной мудрости и красоты, что в этой стране живут настоящие люди, способные к упорядоченной, цивилизованной жизни, и только на её периферии влачат своё существование уродливые варвары, ещё не знающие, что они должны платить дань Сыну Неба. Приблизительно так же заботилась о своём сохранении европейская культура, прежде называвшаяся "христианской", а теперь именуемая "западной". Эти две культуры — единственные, выработавшие письменность — в Новое время столкнулись между собой, и результаты этой культурной катастрофы ещё трудно предвидеть.

Следуя нашему кибернетическому подходу, мы рассматриваем культуру как *систему* и пытаемся выяснить, как устроена и как работает эта система. Пользуясь древней аналогией Менения Агриппы, можно сказать, что мы занимаемся анатомией и физиологией культуры. В его модели система, составленная из людей, сравнивается с отдельным человеком. Конечно, эта модель статична, поскольку в ней нельзя проследить развитие системы: человек разви-

вается по заранее заданному “плану”, заключённому в его геноме, между тем как культура не имеет ни плана, ни заранее определённого способа развития. Для изучения культуры гораздо полезнее “эволюционная” модель, сравнивающая развитие культуры с эволюцией вида животных. Впрочем, эта модель — не простая аналогия: в ней проявляются общие свойства всех *живых* систем, и прежде всего их стремление к *самосохранению*. Культуры, как и виды, наделены механизмами самозащиты. Но эволюция видов *бесцельна*: с точки зрения этой модели, культура не может иметь целей, точно так же, как не имеет их вид животных. И в самом деле, так думают в наше время многие философы и историки, отвечая на извечный вопрос о “смысле жизни” успокоительной доктриной, что “жизнь есть самоцель” — то есть имеет “целью” простое воспроизводство, при неизменном ассортименте “радостей бытия”.

Но ещё в древности у людей сложились антропоморфные представления о поведении сил природы, имитирующем *спонтанное* поведение человека. “Своеволие” человека отражалось в своеволии богов. Человек способен был ставить себе цели, выходящие за пределы требований и обычаев его культуры: он не только стремился выполнить эти требования и соблюсти эти обычаи, но иногда придумывал нечто, чего никогда не было, и ориентировал своё поведение на эту выдумку. Конечно, здесь нет нарушения “закона причинности”, потому что мысли человека — в том числе мысли о возможном будущем — берутся из его прошлого опыта. Но сочетание этих мыслей, случайное, как фигуры в калейдоскопе, способно производить множество неожиданных комбинаций; человек, сравнивая их со своими “стандартами”, способен выделить какую-нибудь более интересную из них и принять её за новый “стандарт” поведения. Так спонтанно возникают новые цели. Спонтанное поведение человека уникально: оно основано на особых свойствах его мозга. Это поведение играет в культурной эволюции нашего вида роль, аналогичную мутациям в генетической эволюции.

Именно эти спонтанно возникающие личные цели человека определяют “культурную изменчивость” и дают материал для “культурного отбора”. Очень часто такие личные цели осознаются самим индивидом и его окружением как *новые* цели, не вытекающие из требований традиции. Возникает вопрос: может ли *сама культура* ставить себе такие цели? Конечно, самосохранение не является *новой* целью — как и в случае вида, оно всегда присутствует с начала существования культуры. Не ставили себе новых целей и древние традиционные культуры, такие, как египетская и китайская:

напротив, они были сосредоточены на сохранении своего совершенства. Не ставили себе новых целей и культуры, ориентированные на завоевания: ассирийцы, римляне и монголы всегда действовали по неизменным шаблонам. Их цели оставались в рамках традиции и не менялись.

На более развитых стадиях культура может ставить себе (то есть своим людям) и новые для неё цели, *расширяющие* её традицию. Такой целью может быть совершенствование человека. Представление о том, что *человек и отношения между людьми могут совершенствоваться сознательными усилиями людей*, впервые возникло, по-видимому, в буддийской культуре. У буддистов был великий реформатор, индийский царь Ашока, правивший в третьем веке до нашей эры. Этот необыкновенный царь хотел воспитать из своих подданных совершенных людей, следующих учению Будды, и добивался этого мирными средствами просвещения. Более того, он хотел распространить блага этого учения на другие народы и посылал своих миссионеров в отдалённые страны, в том числе в греческие государства. Эта попытка оказалась преждевременной, да и само учение Будды было мало приспособлено к общественной жизни: оно не развивалось и скоро погрузилось в догматизм и идолопоклонство.

Представление о сознательном изменении культуры усилиями людей утвердилось в истории только один раз: это была *идея прогресса*, возникшая в Западной культуре. Можно считать это явление редкой — даже уникальной — *мутацией культуры*!

Идея прогресса, привившись в европейской культуре, придала ей беспримерный в истории динамический характер. В дальнейшем мы рассмотрим это явление. Теперь же отметим, что эта идея предполагает совершенствование общества — в некотором смысле, подлежащем определению. И при любом таком определении должны стать более совершенными отношения между людьми. Но тогда должна стать более совершенной, прежде всего, отдельная человеческая личность. Следовательно, важнейший вопрос, касающийся культуры, состоит в том, *какой тип человека создаёт эта культура*.

В рамках данной культуры, с точки зрения её ценностей в рассматриваемую эпоху, создаваемый ею человек может быть более или менее совершенным. В средние века христианская культура имела определённый идеал человека, и даже представление о совершенствовании человека, путём "подражания Христу". Идеальным типом христианина считался монах, уклоняющийся от соблазнов этого мира и стремящийся к "спасению души". Поскольку от всех людей нельзя было требовать такого совершенства, церковь — зако-

нодательница христианской культуры — допускала и другие, тоже идеальные, но “светские” типы человека, например, “христианского воина”, на которого должен был походить образцовый рыцарь. В девятнадцатом столетии европейская культура, далеко развившаяся и уже вряд ли “христианская”, больше не интересовалась такими идеалами, но создала вместо них новые: высшими типами человека считались художник, учёный и общественный деятель — реформатор или революционер. В двадцатом веке европейская культура не сумела создать *никакого* идеального типа и ориентировалась на посредственность и покладистость индивида, то есть на *массового* человека. Это не сулит ей ничего хорошего. Чтобы выжить, наша культура должна измениться.

Сравнение человеческих типов — точнее, оценка высоты человеческого типа — производится обычно *внутри* данной культуры и с точки зрения ценностей этой культуры. Можно спросить, имеет ли смысл сравнивать типы человека, возникающие в разных культурах, и можно ли сравнивать разные культуры? Для этого понадобилась бы “внекультурная” система ценностей. Я полагаю, что такая система ценностей уже существует, под названием “гуманизм”. Это название происходит от латинского слова humanum (“человеческое”).

С точки зрения гуманистической системы ценностей, *целью культуры является создаваемый ею человек.* Этот взгляд впервые высказал греческий философ Протагор в пятом веке до нашей эры: он сказал, что “человек — мера всех вещей”. За такую ересь он был изгнан даже из Афин — самого просвещённого государства того времени.

Подчеркнём, что с этой точки зрения культура существует для человека, а не наоборот. Тем самым отвергаются все “коллективистские” идеологии недавнего прошлого, оценивавшие культуру некоторыми “глобальными” показателями, такими, как уровень производства или военная мощь, и равнодушные к отдельному человеку. Эти идеологии ссылались иногда на биологию, где развитие вида направляется селекционным давлением в сторону размножения, и где качество отдельной особи “оценивается” лишь её способностью дать возможно большее потомство. Государственные системы, построенные на таких идеях, провалились, поскольку человек, в отличие от муравьёв и пчёл, не может быть простой деталью коллективного механизма. Этих экспериментов можно было и не ставить, потому что уже в начале двадцатого века известно было, что́ из этого выйдет. К сожалению, более серьёзное знание всегда было достоянием

немногих. Это отдавало массы простых людей в руки фанатиков и шарлатанов.

Гуманистический взгляд на культуру пробивает себе путь в истории нашего времени. Системы, пренебрегающие отдельным человеком и не дающие ему достаточной свободы, теперь существуют недолго. Их могут поддерживать только люди, не заинтересованные в самом существовании нашего вида — подсознательно ориентированные на личную власть. Этот опыт современного человечества свидетельствует о том, что людей нельзя уже вернуть к бездумному повиновению древних деспотий.

Относительность идеальных понятий. В Западной культуре идея прогресса выражается некоторыми общими понятиями. Самое широкое из них описывается словом "справедливость"; более частные — формулой Французской Революции: "свобода", "равенство", "братство". В мои задачи не входит обсуждение всех значений, которые люди придавали и придают этим словам.

Читатель мог удивиться настойчивости, с которой я подчёркиваю, что занимаюсь только "реакцией на социальную несправедливость", оставляя в стороне "социальную справедливость". Можно было бы думать, что "социальная несправедливость" есть попросту отсутствие или недостаток "социальной справедливости", так что одно понятие определяется через другое. Однако, такое представление было бы семантической ошибкой, поскольку эти термины, как можно заметить, применяются в различных ситуациях и не находятся в простом логическом отношении.

Это замечание относится не только к слову "справедливость", но и ко всем другим словам, обозначающим так называемые "общественные идеалы", — прежде всего, к словам "свобода" и "равенство". (О "братстве", означающем идеал иного рода, будет сказано отдельно.) Можно было бы думать, что эти слова описывают некоторые наличные состояния человеческого общества, но в этом позитивном смысле их применяют только политические пропагандисты, пытающиеся выдать желаемое за действительное. Обычный язык приписывает им лишь "идеальное", то есть желательное значение, и употребление их в некоторой общественной ситуации уже означает определённый уровень недовольства и протеста против наличного состояния такого общества. В "благополучных" обществах, с прочной и бесспорной традицией, этих слов не услышишь. Никто не хвалится обладанием идеала: жалуются на его утрату, или надеются его обрести.

В этих случаях употребление одного и того же слова может иметь разный смысл, и смысл этот во всех случаях зависит от социального контекста. В “благополучном” обществе все группы населения привыкли к своему положению и считают свой образ жизни — пользуясь термином нашего времени — “нормальным”, то есть естественным и не вызывающим сомнений. Крепостные крестьяне России *обычно* не задумывались, справедливо или нет их положение, точно так же, как крестьяне и ремесленники средневековой Европы. Ощущение “несправедливости” возникало у них в случаях *необычных* повинностей или ограничений, от чего и происходили, как правило, все формы социального протеста. Например, в случае крестьянской войны в Германии (1525) социальное равновесие было нарушено феодалами, перелагавшими на крестьян свои новые потребности, выросшие вследствие изменения экономических условий в эпоху Великих открытий. Парижская Коммуна и большинство революций двадцатого века были спровоцированы войнами.

Таким образом, “протест против социальной несправедливости” — это реакция некоторой общественной группы на неблагоприятные для неё изменения её *привычного* положения. Смысл этого протеста зависит от местного фона до происшедшего изменения — от “локальной системы отсчёта”, и в этом смысле относителен. Самое представление людей о “социальной несправедливости” зависит от условий места и времени, определяющих мышление индивида, но всевозможные формы протеста однородны, поскольку имеют одно и то же инстинктивное происхождение.

Специфическим видом “социальной несправедливости” является “эксплуатация человека человеком”. Этот термин означает “несправедливую оплату труда”. Непонимание его относительного смысла привело к бесплодным дискуссиям. Например, Поппер без всякого определения этого понятия сразу признаёт эксплуатацию рабочих в Англии во времена Маркса, но затем критикует Маркса за неудачную попытку её определить. Попытка определить “эксплуатацию” вне её контекста равносильна изучению движения без системы отсчёта!

Точно так же обстоит дело со “свободой” и “равенством”. При определённом изменении привычных условий люди жалуются на “несвободу” или “неволю”, даже если речь идёт о каких-нибудь обязательных прививках, но не замечают трудовых отношений, по существу равносильных рабству. Некоторые люди понимают под “равенством” одно только равенство юридических прав и отказываются видеть “неравенство” в чем-то другом.

Однако, наряду с “локальным” фоном, на котором воспринимаются общественные идеалы, существует ещё важнейший и по существу неизменный “глобальный” фон, заданный набором человеческих инстинктов. Люди бессознательно оценивают своё положение не только по принятым в их обществе нормам, зависящим от места и времени, но и по моральным правилам всех человеческих племён, о которых уже была речь. “Право, что родится с нами” неустранимо, как наши инстинкты. Его опасно нарушать. В случаях, когда им слишком пренебрегают, оно напоминает о себе нарастанием патологических явлений и катастрофическим крахом культуры. Очень вероятно, что наша западная культура приближается теперь к такому краху.

До сих пор речь шла о “реакциях на нарушение идеалов” — на несправедливость, несвободу, неравенство. Остаётся вопрос, какой смысл надо приписать *самим* идеалам, без их семантического преобразования. Преобразованные в “отрицания”, эти слова означают определённые *изменения* общественных ситуаций. Но что означают эти слова сами по себе? Они означают идеалы в первоначальном смысле слова, то есть отдалённые, но важные цели общества, зависящие от воспитания и подготовки человеческих групп. Забвение этих целей — достижимых лишь в относительном смысле, но всегда заложенных в наших инстинктах — делает человеческое общество нежизнеспособным, как и отдельного человека.

Мы оставили в стороне третий лозунг Французской Революции — “братство”. Дело в том, что это идеал, “не имеющий отрицания”: нет слова “небратство”, и против недостаточного братства никто никогда не протестовал. Это слово означает *просто* идеал, без семантического двойника. Но идеал этот восходит к тем временам, когда наши предки только учились быть людьми! В действительности он означает социальный инстинкт.

Общие закономерности развития культур. В книге “Оборотная сторона зеркала”, в разделе “Длительная открытость миру и любознательность”, Лоренц формулирует общие закономерности роста культур:

“Функциям, сохраняющим культуру, противостоят другие функции, обеспечивающие необходимое для любого дальнейшего развития культуры *разрушение.*

Насколько сильно жизнеспособность любой культуры зависит от равновесия этих двух факторов, лучше всего можно понять из нарушений, происходящих от преобладания одной из них. Увязание

культуры в жёстких, строго ритуализированных обычаях может быть столь же гибельно, как и потеря всей традиции с хранящимся в ней знанием. Функции, разрушающие постоянство культуры, которые мы теперь рассмотрим, носят столь же специфически человеческий характер, как и функции, сохраняющие её постоянство.

...Одна из характерных особенностей человека состоит в том, что у него аппетенция к исследованию и игре, в отличие от других высших организмов, не исчезает с достижением половой зрелости. Это свойство, вместе со склонностью к самоисследованию, делает человека конституционно неспособным безусловно подчиниться принуждению старой традиции. В каждом из нас существует напряжение между господством освящённых традицией ценностей и мятежной любознательностью, влечением к новизне. У римлян политическим термином для революционера было выражение «Novarum rerum cupidus»[1]".

Дальше, в разделе "Стремление к новшествам в юности", Лоренц объясняет биологические мотивы этого стремления:

"Все мы считаем само собой разумеющимся, что старшие обычно консервативны, а младшие стремятся к новшествам, так что у нас не возникает повода задуматься, не кроется ли за этим антагонизмом некая глубокая гармония...

У шимпанзе и вообще у обезьян половая зрелость наступает ещё до того, как животное достигает своего окончательного веса, а именно, сразу же после смены зубов, то есть примерно на седьмом году жизни. С этого момента проходит ещё пять-шесть лет, прежде чем молодой самец начинает играть роль взрослого в свойственной виду социальной структуре. Как известно, у человека юношеское развитие ещё более растянуто во времени. Естественно предположить, что селекционное давление, вызвавшее это удлинение времени развития, произошло от необходимости усвоения традиционного знания. В естественно образовавшемся языке слова «детство» и «юность» были созданы для двух качественно различных фаз развития. Можно выдвинуть некоторые гипотезы о смысле и цели этих периодов жизни.

Долгое детство человека служит для обучения, для заполнения резервуара его памяти всеми благами кумулирующей традиции, в том числе языком. Долгий период между наступлением половой зрелости и принятием роли взрослого, называемый «юностью», также

[1]Буквально: "жаждущий нового" (лат.) В политическом контексте это означало "стремящийся к переменам".

служит вполне определённой цели. Когда юноша во время полового созревания начинает критически подходить ко всем традиционным ценностям родительской культуры и искать новых идеалов, это, безусловно, нормальное явление, предусмотренное филогенетическим программированием человеческого социального поведения. Так ведут себя и «хорошие» дети, у которых при внешнем наблюдении их отношений с родителями вначале не заметно никаких перемен. Но втайне, несомненно, происходит некоторое охлаждение чувств к родителям и другим уважаемым лицам. И это касается, как показал Н. Бишоф, не только эмоциональной установки в отношении родителей, семьи и самых уважаемых людей, но, что весьма важно, также позиции юноши по отношению *ко всему, что принимается на веру*...

Сразу же после того, как юноша начинает критически и несколько враждебно относиться к отеческой личности и сообщаемым ею нормам социального поведения, он начинает также высматривать других людей, передающих традицию, но стоящих дальше от узкой традиции его семьи. За годами учения следуют вошедшие в пословицу годы странствий. Часто они и в самом деле состоят в перемене мест, но часто и в чисто духовных поисках. То, что влечёт молодого человека вдаль, — это стремление к чему-то высокому и безымянному, совершенно отличному от повседневных происшествий семейной жизни. Нетрудно ответить на вопрос, в чём заключается подлинная цель такого поведения, служащая сохранению вида: она состоит в отыскании культурной группы, традиционные культурные нормы которой *отличны* от норм родительского общества, но при этом всё же достаточно похожи на них, чтобы возможно было отождествление с ними... В критической стадии развития юноша воспринимает родительские формы поведения как пошлые, устарелые и скучные. Внезапно он проявляет готовность принять чужие, отклоняющиеся от родительских нравы, обычаи и взгляды. Для выбора этой новой традиции важно, чтобы она содержала идеалы, *за которые можно бороться*. ... Я выдвигаю гипотезу, согласно которой только что описанные процессы, в их закономерной временнóй последовательности, имеют выработанную эволюцией программу, а функция их для сохранения культуры и вида состоит в том, что они, разрушая устаревшие элементы традиционного поведения и строя вместо них новые, осуществляют текущее приспособление культуры к непрерывно меняющимся условиям окружающего мира.

Чем выше культура, тем более необходимы для её выживания эти функции, поскольку чем выше уровень культуры, тем сильнее,

естественно, её социальное воздействие, изменяющее окружающий мир. Можно полагать, что пластичность культуры, обусловленная разрушением традиционных норм, не отстаёт от этих изменений. Есть основания считать, что в старых и примитивных культурах традиция соблюдалась более жёстко, что сын более верно следовал в них по стопам своего отца и других людей, передающих традицию, чем в высоких культурах. Трудно сказать, случалось ли уже в прошлом, что высокие культуры погибали от расстройства описанных выше процессов, прежде всего от преобладания процессов разрушения культуры. Но нашей культуре, без всякого сомнения, угрожает опасность гибели из-за слишком быстрого разрушения и даже полного обрыва всей её традиции".

Группы, где рождаются новые идеалы, Лоренц называет "молодыми группами старой культуры". Он описывает образование таких групп по наблюдениям нашей современной культуры, но нет сомнения, что это явление, с характерными для него психологическими чертами, универсально и восходит к глубокой древности. В самом деле, его физиологическая основа — противостояние между новым поколением и поколением родителей, закономерно возникающее в юности и принимающее у человека характер культурного расхождения. Это расхождение может относиться к основам принятого в данном обществе образа жизни, но не должно слишком радикально от него удаляться, чтобы могли возникать жизнеспособные "молодые группы" той же старой культуры, порождающие её изменчивость. По аналогии с эволюцией вида, такие отклонения можно назвать *мутациями культуры*.

Мутации бывают полезными и вредными для сохранения вида. Точно так же, естественно возникающие в культуре новые группы могут иметь, по отношению к этой культуре, конструктивный или деструктивный характер. Для эволюции культуры, обеспечивающей её сохранение, группы первого рода полезны, а группы второго рода вредны. Но в отличие от эволюции вида, где вредные мутации обычно устраняются отбором, в эволюции культуры они могут сохраняться, поскольку правила племенной морали не допускают прямого устранения деструктивных групп.

Историки, как правило, обращали внимание на *внешние* причины изменения культур, которые достаточно очевидны: это изменения физических условий и столкновения с другими культурами. Как известно, германские племена, сформировавшиеся в Скандинавии, начали мигрировать на юг в середине первого тысячелетия до нашей эры, вследствие резкого похолодания, сократившего ресур-

сы их ареала. Весьма вероятно, что изменение климата было также причиной миграционного движения монголов, положившего начало их завоеваниям. Столкновения с другими культурами вызывали войны, а завоевания приводили к гибридизации культур, которую Лоренц сравнивает с прививкой растений. Вероятно, самой замечательной из гибридных культур является английская.

Внутренние причины изменчивости культур в Новое Время, а в некоторой степени уже в Средние века, были связаны с техническими изобретениями, приносившими новые способы производства. Эти экономические причины культурной изменчивости привлекли внимание историков сравнительно поздно. Но они почти отсутствовали в традиционных обществах Древнего Востока и были очень медленны в средневековой Европе. В основе самопонимания таких культур лежала *религия*, и все осознанные изменения культурной традиции неизменно принимали в них религиозную форму. Всякое отклонение от правоверия рассматривалось в них как "ересь" (хотя это название возникло лишь в христианской культуре). Можно предположить, что в этих старых культурах "новыми группами" были религиозные секты. В таком случае ереси оказываются главной движущей силой эволюции культур, в то время как правоверие обусловливает культурный застой. Застойная культура, не умеющая меняться и чуждая представлению о сознательном изменении, безоружна перед внутренними и внешними опасностями и перед вторжением идей, происходящих из других культур. Этим обычно объясняется гибель Римской империи и бессилие Индии и Китая перед кочевыми племенами более низкой культуры.

Таким образом, ереси, обеспечивавшие разрушение устаревших и окаменевших культурных механизмов и стимулировавшие создание новых, представляются важнейшим творческим элементом истории, доставлявшим материал для культурного отбора. В те исторические эпохи, когда неизменность общественного строя освящалась религией, а другие культуры воспринимались как безусловно чуждые и враждебные, "молодые группы культуры" — мы назовём их *прогрессивными* субкультурами — принимали характер ересей или приводили к созданию новых религий, сначала предназначавшихся для "своего" племени.

Древнейшим известным нам примером такой ереси была религиозная реформа фараона Эхнатона, правившего в 14 веке до нашей эры. Эта реформа, стремившаяся к монотеизму, несомненно имела последователей и привела к возникновению нового стиля египетского искусства и новой литературы, послужившей, в частности, образ-

цом для библейских псалмов. Эхнатону не удалось создать новую религию: его ересь растворилась в старой египетской культуре. Но можно предположить, что такие ереси были движущей силой, стимулировавшей развитие даже самых консервативных культур. Другим примером было учение Будды (6 век до н. э.), поразительное по своей радикальности: в первоначальном виде оно было скорее не религией, а этической философией. Религия, сохранившаяся в странах Востока под именем буддизма, вернулась к грубому идолопоклонству, но влияние учения Будды на всю историю человеческого мышления трудно переоценить. Величайшей еретической сектой Запада была школа Пифагора, имевшая все черты интересующих нас субкультур и определившая главные пути развития греческой науки и философии. В то же время возникла этическая система Конфуция, далёкая от какой-либо мистической религиозности и определявшая официальную мораль Китая до двадцатого века.

Первой монотеистической религией, принятой целым племенем, была еврейская. Мы не знаем ничего достоверного о её происхождении, но пророки, возглавлявшие её ереси, сообщили этой религии необычный для древности динамический характер. Общины кумранских отшельников, оставившие свои рукописи в пещерах у Мёртвого моря, стремились не только к религиозной, но и к социальной реформе. Последней из еврейских еретических сект было христианство, не ставшее племенной религией, но превратившееся в первую универсальную религию, распространившуюся на все европейские народы.

История христианских ересей в течение почти двух тысяч лет совпадала с медленной эволюцией европейского мышления. Наконец, в Новое Время “молодые группы” европейской культуры развивались уже в обществе, по существу свободном от религии и принявшем научную картину мира. Первыми “ересями” Нового Времени как раз и были научные открытия, создавшие эту картину — прежде всего гелиоцентрическая система Коперника. Как общее правило, принципиально новые достижения человеческого мышления не укладываются в рамки ортодоксального мировоззрения — религиозного или нет. Поэтому такие серьёзные новшества всегда воспринимались как “ереси” и вызывали такие же неприязненные реакции “специалистов” соответствующего предмета и широкой публики, хотя еретиков уже не полагалось сжигать. Новые моральные и социальные учения уже не были религиозными сектами, как это неизбежно происходило в прошлом, но сохранили свой “еретический” характер и свою притягательную силу для молодёжи, проницательно

описанную Лоренцем. Важнейшими примерами этих учений были *либерализм* и *социализм*.

Идеалы, *за которые стоит бороться*, необходимы для здорового развития культуры. Если группы, создающие новые культурные идеалы, не возникают, то молодые люди, под действием биологически неизбежного расхождения с поколением своих родителей, образуют *деструктивные* “субкультуры”, лишь способствующие разложению культурной традиции. Создание новых идеалов — главная проблема наших дней. Мы вернёмся к этой теме в конце нашей книги.

Глава 5

Возникновение неравенства

1. Родовая знать

Глобализация социального инстинкта, создавшая из первоначальных групп племена, положила начало нашему виду. Перенесение на больший коллектив метки “свой” означало, что общественные отношения зависели уже не от генетически обусловленных связей, а от культурной традиции, и вследствие этого стали способны к быстрому развитию. Но, как уже было сказано, старый социальный инстинкт, связанный с первоначальной группой, был сильнее и прочнее нового, распространившегося на сотни, или даже тысячи людей. Способность к личному знакомству и личным отношениям осталась ограниченной, поскольку она была обусловлена инстинктивным механизмом, “рассчитанным” на несколько десятков особей. Можно предположить, что новые отношения к массе лично не знакомых членов племени не могли вполне удовлетворить социальный инстинкт. У людей оставалась потребность в более тесном общении с коллективом, который мог бы заменить в этом первоначальную группу. Таким коллективом стала семья, превратившаяся затем в род. Возникновение *родовой структуры* общества было второй великой революцией в истории человека — культурно обусловленной *локализацией социального инстинкта*[1].

За членами племени осталось признание в качестве “своих”, по отношению к ним сохранялась инстинктивная коррекция внутривидовой агрессии: членов своего племени нельзя было убивать и грабить, и солидарность со своим племенем стала постоянным элементом психики индивида. Но более близкие связи с людьми локализовались на родовой группе, и тем самым, вдобавок к племенной розни, возникло неравенство внутри племён.

Можно представить себе, каким образом культурная наследственность привела к возникновению *неравенства между людьми*. Как мы уже видели, накопление культурной традиции привело к значительному удлинению детства — неотении. Следствием этого

[1] Мотивация этого явления была указана Р. Г. Хлебопросом.

был парный брак — совместное воспитание потомства — а также эмоциональная связь между родителями и детьми, обычно длящаяся *всю жизнь*. В отличие от всех других животных, у человека забота о детях не прекращается никогда: родители стремятся передать им не только свои знания и навыки, но также и своё социальное положение, приобретённое личными усилиями или уже полученное "по наследству". Эта забота сказывается и после смерти родителей: они "завещают" детям свою одежду, жилище, а впоследствии также иное имущество семьи. С другой стороны, дети учатся у своих родителей — не только трудовым навыкам и военным хитростям, но и "мудрости" в обращении с людьми; дети заботятся о родителях, а в большинстве племён их глубоко почитают. Таким образом возникает родовая связь между людьми, не вызывающая у нас удивления, поскольку у людей она повсеместна, но единственная в своём роде среди живых организмов и несомненно связанная с культурной традицией. При разделе добычи или распределении съедобных растений человек начинает заботиться прежде всего о своих родичах. Род возглавляется обычно его старейшей особью, общим предком. В большинстве известных нам племён это мужчина — патриарх, но в некоторых из самых примитивных это женщина. Римляне, завоевавшие Британию, подавили отчаянное сопротивление кельтов, уже не очень примитивных дикарей, во главе с королевой Боадицеей.

В начале истории мы повсюду встречаем знатные роды, возглавляемые старейшинами. Родоначальником считался обычно какой-нибудь знаменитый воин, поскольку война была важнейшим из всех занятий; самые древние роды возводили своё происхождение к богам. Например, Перикл был из рода Алкмеонидов, а Цезарь — из рода Юлиев, и оба этих рода имели божественных предков. В более поздние времена знатные роды могли возникнуть из разделения труда: особенно способный или удачливый представитель какой-нибудь профессии передавал её своим потомкам. Медичи долго были купцами, но название рода говорит о происхождении от врачей. Более сложные навыки лучше усваивались у занимающихся этим трудом родителей. Некоторую роль здесь могло играть и наследование способностей: хотя приобретённые способности не наследуются, врождённые, как мы знаем, могут передаваться потомству. Таким образом в некоторых семьях могло утвердиться определённое занятие, а вместе с тем в неразвитом уме первобытного человека утверждалось представление, что это занятие составляет неотъемлемый признак того или иного семейного клана. И в самом деле, вера в "наследственность" человеческих качеств была одной из первых

доктрин первобытного мышления. Доктрина эта была не лишена оснований, поскольку многие свойства человека в самом деле наследуются, но, как и все "донаучные" доктрины, она преувеличивала содержавшуюся в ней истину, доводя её до крайней догматической жёсткости. Так, несомненно, возникли некоторые *сословия.* Другим источником сословного деления было завоевание, когда победители становились высшим сословием, а побежденные — низшим, о чём ещё будет речь. Таким образом в древности появились рабы, а в средние века крепостные.

Чем была сословная система в её полном развитии, можно видеть по сохранившимся до наших дней индийским кастам, отчасти происходящим от завоеваний, а отчасти от жёсткого выделения профессий. Традиционно воспитанный индиец считает кастовые различия столь же реальными, как различия между разными видами животных. Точно так же, для средневекового европейца сословная принадлежность была чем-то вроде физического признака человека: крестьянин искренне считал себя существом иного рода, чем дворянин, который тем более придерживался такого мнения. В более поздние времена отсюда возникло уже ироническое выражение "голубая кровь".

В Индии, неоднократно подвергавшейся нашествиям завоевателей, наибольшие последствия имело вторжение индоевропейцев. Эти племена получили такое название уже в научной литературе, поскольку они заселили значительную часть Индии и почти всю Европу. Сами они называли себя "арья", что значит "благородные". Завоеватели составили господствующий класс населения, во всяком случае на севере Индии. Они были белокожи, в отличие от темнокожего коренного населения, и до сих пор "высшие" касты Индии, ведущие свой род от "арийских" завоевателей, отличаются от "низших" более светлой кожей. Со временем память о происхождении забывалась, и теперь различие между сотнями индийских каст представляет собой просто юридическую фикцию: *они различаются тем, что их считают различными.* Индиец не знает, откуда произошли его предки: он знает лишь, что они принадлежали такой-то касте. Если эти касты не смешиваются, то кастовая принадлежность принимает, в некотором смысле, "объективный" характер: она становится высказыванием о предках. Кастовая принадлежность до сих пор определяет в Индии доступные человеку занятия, которые до недавнего времени считались естественным следствием происхождения. Стремление выйти из этих границ редко возникает у самих членов касты, а попытки законодательного вмешательства вызыва-

ют сопротивление во всей традиционной среде.

Индийские касты — яркий пример сословного неравенства, сохранившийся до наших дней. Конечно, в Индии сословные различия существовали задолго до арийского завоевания. Точно так же, в Европе сословия были уже до нашествия германцев, давших европейским странам их средневековую аристократию и их нынешние названия, такие, как Франция, Англия и Россия. Была уже высоко развитая Римская империя, и даже у независимых от неё кельтов и славян была своя племенная знать. Но в Европе "кастовая система" никогда не достигала индийской жёсткости, возможно, потому, что европейские племена были ближе друг к другу по происхождению и физическому типу, и ещё по той причине, что христианская религия признавала всех людей хотя бы в принципе равными "перед богом". Сословия не были так строго замкнуты: случались смешанные браки, а иногда короли жаловали дворянство простолюдинам. Но всё же феодальное неравенство сословий было главной формой неравенства между людьми — вплоть до восемнадцатого века. С ним покончила лишь Великая Французская Революция, выдвинувшая на передний план другую форму неравенства — неравенство богатых и бедных.

Сословия образуют иерархическую структуру, без которой не обходится ни одно государство. Некоторые философы любят ссылаться на биологию, усматривая иерархическую структуру во всех живых системах. Только иерархически устроенная система, — говорят они, — может достаточно эффективно реагировать на внутренние и внешние условия, обеспечивая выживание системы. И в самом деле, живые системы управляются программами, предполагающими взаимную зависимость всех составляющих подсистем, а управление требует координации функций. Можно думать, что чем сложнее система, тем более необходима координация её работы из "единого центра", распоряжения которого передаются и выполняются подчинёнными ему, иерархически упорядоченными инстанциями.

Но в действительности вся эта картина, принимаемая за общий биологический закон, попросту имитирует развитое человеческое общество: это не просто "антропоморфизм", а "социоморфизм". Живые системы очень разнообразны и обладают различной иерархичностью. Растение вообще не имеет "единого центра", вроде головного мозга или правительства. Сложные процессы жизни дерева, с их детальным программированием и тонким приспособлением к среде, по-видимому, не нуждаются в централизации и жёстком упорядочении, без которых мы не мыслим себе "иерархию". В дереве всё

происходит “естественным образом”, “по законам природы”: никакая часть дерева, по-видимому, не доминирует над другими, извлекая из этого “несправедливые” выгоды. Любители растительного образа жизни часто приводят это в пример, считая жизнь дерева особенно благородной. Точно так же, в лесу, где все растения взаимодействуют, образуя сложную систему, нет главных и подчинённых деревьев, хотя есть более сильные и более слабые, и есть конкуренция между соседями.

Иерархическое устройство отчётливо выступает в строении животных: уже у червей есть зачаток центральной нервной системы, а у высших животных есть мозг с подчинёнными ему нервными путями. Первой предложенной моделью человеческого общества, как мы видели, и было устройство человеческого тела: когда римский плебс возмутился против патрициев, Агриппа успокаивал его этим сравнением. Но объяснительные возможности такой модели невелики: в самом деле, части тела никогда не восстают друг против друга, но и не требуют себе больше, чем нужно для работы всего тела. Уже самое присутствие плебеев на Священной горе демонстрировало недостаточность этой модели.

Как мы уже знаем, гораздо лучшей моделью человеческой культуры служит вид животных. Но у животных иерархия устроена иначе, чем у людей: она существует лишь внутри отдельного стада, то есть группы, определённой социальным инстинктом вида, но никак не связывает между собой разные стада. У человека же процесс глобализации социального инстинкта привёл к возникновению племенных культур, а затем и более сложных культур, охватывающих значительные части вида и теперь, по-видимому, сливающихся в единую мировую культуру. Даже в самой простой племенной культуре иерархия несравненно сложнее, чем в стаде приматов. При анализе культур мы не должны забывать лежащие в их основе инстинктивные механизмы; но мы не можем надеяться понять всё строение культуры из биологических аналогий.

Как мы видим, рассуждения философов об “иерархическом устройстве всего живого” мало помогают нам понять строение человеческих культур: эти философы, не зная биологии, попросту переносят на всю “живую природу” свои наблюдения над человеческим обществом, а затем возвращают нам ту же мудрость как “общий биологический закон”. Люди и в самом деле составляют некоторую систему, но эта система может быть не сословной монархией, а, например, свободной федерацией; ни того, ни другого нет в мире животных.

Сословия до недавнего времени не только фактически, но и формально определяли строение всех культур, вышедших из племенной стадии развития. Это было неравенство между людьми, основанное на *юридической фикции*. Конечно, положение вождя или жреца в его племени было тоже закреплено обычаем, но это была *должность*, требовавшая реальных *личных* достоинств и предполагавшая постоянную проверку этих достоинств на деле. Если сын вождя занимал вслед за отцом его положение, то это происходило не "по праву", не "в установленном порядке", а по решению племени, которое могло быть иным. Мышлению первобытного человека чуждо было представление, будто некоторые люди уже по своему происхождению "лучше", "значительнее" других членов племени, а потому обладают другими правами.

Естественное неравенство людей, обусловленное их врождёнными способностями, не вызывало у членов племени морального негодования: геном человека не предусматривал такой реакции. Ощущение "несправедливости" возникло лишь вместе с *особыми привилегиями, вытекающими из одного только положения в общественной иерархии*. Такие привилегии, чуждые племенному строю, в сословном обществе превращаются в наследственные права и настолько входят в систему воспитания "благородных", что не вызывают у них никаких нравственных сомнений. Иначе говоря, сословные привилегии становятся частью их культурной наследственности. Это относится также и к тем, чьё происхождение не доставляет никаких привилегий: их воспитывают в покорности и смирении, так что они тоже приучаются смотреть на общественные классы как на неизбежные явления природы. И это в самом деле явления природы — эффект свойственной человеку второй, культурной системы наследственности. Но у нас есть ещё *первая*, генетическая система наследственности, в которой заложена инстинктивная племенная мораль. В спокойном, благополучном обществе она проявляется лишь как подсознательная неприязнь к асоциальным паразитам. У мыслящих людей — а они неизбежно появляются в любом классе, где есть досуг и образование — эта неприязнь превращается в сознательную враждебность к тем, кто "незаслуженно" занимает в этом мире лучшие места.

Господа, занимавшие лучшие места, столетиями твердили, что сословное устройство общества — единственно возможное, потому что такова воля божья. Сословные привилегии были отменены, и оказалось, что без них можно обойтись. Трудно сказать, что делают теперь потомки графов и баронов. Но их места заняли дру-

гие господа, не столь назойливо выставляющие напоказ свои привилегии, и даже предпочитающие оставаться в тени. Эти господа — буржуа.

В течение семи столетий европейская буржуазия боролась против системы сословных привилегий. Токвиль увидел в этой борьбе главное содержание европейской истории. Вот как он резюмирует эту историю во введении к своей знаменитой книге “О демократии в Америке” [1]:

“Среди нас свершается великая демократическая революция; все её видят, но не все одинаково о ней судят. Одни видят в ней нечто новое и, рассматривая её как случайность, надеются, что ещё смогут её остановить; другие же считают её неодолимой, потому что она кажется им самым непрерывным, самым древним и самым постоянным явлением в истории.

Я переношусь мыслью во Францию, какой она была семьсот лет назад; я нахожу её разделённой между небольшим числом семейств, владеющих землёй и управляющих населением; право на власть переходит в ней по наследству из поколения в поколение; у людей есть единственное средство воздействовать друг на друга — сила; и единственным источником могущества оказывается землевладение.

Но вот утверждается и быстро расширяется политическая власть духовенства. Духовенство открывает свои ряды всем, бедному и богатому, простолюдину и сеньору; через церковь равенство проникает в правящую среду, и тот, кто прежде прозябал бы, как крепостной, в вечном рабстве, восседает как священник среди благородных, и часто поднимается выше королей.

Со временем общество становится более цивилизованным и устойчивым, различные отношения между людьми усложняются и умножаются. Чувствуется насущная потребность в гражданских законах. Появляются юристы; они выходят из своих сумрачных судов и пыльных канцелярий, чтобы заседать при дворе государя, рядом с феодальными баронами, в их горностаевых мантиях и латах.

Короли разоряются в великих предприятиях; аристократы истощают свои силы в частных войнах; простолюдины обогащаются торговлей. Влияние денег начинает ощущаться в государственных делах. Коммерция становится новым источником могущества, и финансисты становятся политической силой, которую презирают и которой льстят.

---

[1] Alexis de Tocqueville. *De la démocratie en Amérique.* Я перевожу по изданию Éditions M.-Th. Génin, Paris.

Постепенно распространяется просвещение; пробуждается вкус к литературе и искусству; ум становится элементом успеха; наука превращается в орудие управления, умственные способности — в общественную силу; образованные люди начинают участвовать в делах.

И по мере того, как открываются новые пути к власти, снижается значение рождения. В XI-ом веке знатность не имела цены; в XIII-ом веке её уже покупают; первое возведение в дворянство произошло в 1270-ом году, и, наконец, равенство приходит в правящую среду через самую аристократию.

Можно заметить, что, пробегая страницы нашей истории, мы не встречаем за семьсот лет ни одного великого события, которое не шло бы на пользу равенству.

Крестовые походы и войны с англичанами истребляют аристократию и раздробляют её земельные владения; учреждение общин вводит демократическую свободу в недра феодальной монархии; изобретение огнестрельного оружия уравнивает простолюдина и аристократа на поле сражения; книгопечатание даёт равные возможности их способностям, и почта доставляет просвещение к порогу бедной хижины, так же, как к порогу дворца; протестантизм утверждает, что все люди равным образом способны найти свой путь к небу. Только что открытая Америка доставляет тысячи новых путей, ведущих тёмного искателя приключений к богатству и власти.

И если, начиная с XI-го века, вы посмотрите, что меняется во Франции через каждые пятьдесят лет, то вы не сможете не заметить, какая двойная революция происходит в состоянии общества. Аристократ опускается всё ниже, простолюдин поднимается всё выше. Каждые пятьдесят лет их сближают, и скоро они коснутся друг друга.

Всё это относится не только к Франции. Куда ни бросим взгляд, повсюду видим ту же революцию, непрерывную во всем христианском мире".

В этой картине европейской истории Токвиль сосредоточивает внимание на буржуазии: для него "простолюдин" (roturier), борющийся против сословного неравенства, — это буржуа. Но Токвиль не был бы великим историком, если бы не видел под этим социальным конфликтом другой, не угасающий в течение всех этих столетий и выходящий на поверхность как раз в то время, когда были написаны эти строки. И вот что он прибавляет к нарисованной им картине:

“Разумно ли предполагать[1], что общественное движение, идущее из таких далёких времён, может быть задержано усилиями одного поколения? Можно ли думать, что демократия, разрушив феодальный порядок и победив королей, отступит перед буржуа и богатыми? Остановится ли она теперь, когда она стала столь сильной, а её противники столь слабыми?”

Токвилю пришлось убедиться в правильности этого предсказания: он пережил 1848 год, когда на арену истории вышло “четвёртое сословие”. И он признается в своём бессилии предвидеть дальнейшее будущее:

“Куда же мы идём? Этого никто не знает; нам недостаёт для этого даже материала для сравнения: в наши дни равенство положений среди христиан превосходит всё, что было в прошлые времена, и что было в любой другой части света: таким образом, величие уже свершившегося препятствует увидеть то, что ещё может быть”.

Как мы увидим, *стремление людей к социальному равенству* составляет не только содержание новой истории Европы, которой намеренно ограничился Токвиль. Это стремление проходит через всю историю человечества, и было бы неразумно предполагать, что в наше время этот процесс завершился. Мы должны уяснить себе, что́ могут добавить к нашему ви́дению научные знания и исторический опыт полутора прошедших столетий.

2. Государство

Как мы видели, первоначальное устройство племени основывалось на принципиальном равенстве всех его членов. Конечно, в племени — как и в первоначальной группе — была уже естественная иерархия, определяемая полом, возрастом и относительной силой индивидов. Поскольку это была инстинктивная иерархия, она не вызывала недовольства. Когда в племени возникло разделение труда и начали выдвигаться более искусные и опытные исполнители отдельных полезных для племени функций, вытекавшие отсюда преимущества были непосредственно связаны с личностью человека; поскольку они были всем видны, такое неравенство тоже не вызывало протеста. Наконец, вожди и жрецы выбирались за личные качества, которые должны были подтверждаться на деле, и в небольшом племени эти качества были столь очевидны, что “выборы” не вызывали особых споров.

[1]В подлиннике написано “Serait-il sage de croire”, “мудро ли допустить”.

С численным ростом племён прямая “племенная демократия” становилась практически неосуществимой, поскольку члены племени лично не знали друг друга, дела усложнялись, и племя нуждалось в руководстве, особенно во время войны. При этом усилилась роль вождей и значение процедуры их выбора. Несомненно, стали возникать спорные ситуации, когда, например, на положение вождя могли притязать несколько примерно “равноценных” кандидатов. Соперничество и борьба за власть должны были весьма ослаблять те племена, где эти явления принимали острый и затяжной характер. Поскольку племена вели между собой войны, групповой отбор, несомненно, отдавал предпочтение тем из них, где вырабатывался закономерный механизм выбора вождей (а в некоторой степени и жрецов). Простейшим механизмом такого выбора была *наследственность*; это кажется нам естественным, потому что так было всегда, во всех известных нам племенах, а потом и во всех монархических государствах. Но надо заметить, что это *культурный* механизм, лишь использующий биологическую связь: животные не знают или быстро забывают своих родителей и не наследуют их положение в стаде. Культурная традиция нашего вида породила не только парный брак, необходимый для длительного воспитания потомства, но и прочную связь между детьми и родителями, сохраняющуюся на всю жизнь. Забота о детях естественным образом превратилась в помощь и покровительство, а подражание родителям — в усвоение их навыков и преимуществ. Таким образом, в основе “наследования власти” также лежит неотения.

Однако, преимущества рождения весьма неполны, поскольку генетическая наследственность воспроизводит дарования родителей лишь в среднем: сын может и вовсе не унаследовать качества своего отца, а культурная наследственность ненадёжна, потому что воспитание не всегда достигает цели. Таким образом, механизм наследования власти, устраняя конфликты, часто приводит к другим невыгодным для племени результатам, что всегда было сильным доводом против монархии.

Между тем, этот механизм вступает в противоречие с моральными правилами всех племён, всегда осуждающими незаслуженные преимущества. Отдельные роды, пользуясь особыми способностями их родоначальника или случайными условиями, с помощью того же механизма наследственности стремятся получить, в ущерб остальным членам племени, как можно бóльшую долю власти и материальных благ. Но это противоречит инстинктивным стремлениям человека. *“Простой человек” начинает ощущать развитие своего об-*

щества как неоправданное стеснение его свободы, а условия своей жизни как несправедливость.

Простейшим способом организации государства была монархия, и по этому пути пошли крупные племена, соединявшиеся в союзы. Первые государства сложились в IV тысячелетии до нашей эры в Двуречье (долинах Тигра и Евфрата) и в Египте (долине Нила). Об их возникновении мы мало знаем, потому что письменность была изобретена на тысячу лет позже. В этих долинах, удобных для земледелия, требовались большие ирригационные работы, которые можно было выполнить лишь совместными организованными усилиями многих племён. Историки предполагают, что именно эта потребность стимулировала образование первых государств. Это были государства оседлых земледельцев. Древнейшие известные нам государства возникли в Шумере около 3500 лет до нашей эры. По-видимому, власть племенных вождей превратилась там в наследственную; во всяком случае, в это время шумерская письменность — древнейшая из всех — свидетельствует о существовании городов-государств, возглавляемых царями, часто выполнявшими также функции верховного жреца местной религии. Царь командовал армией с помощью своих офицеров и распоряжался сельским хозяйством и ремёслами с помощью своих чиновников. В числе чиновников были писцы, первые работники умственного труда. Власть царя передавалась обычно от отца к сыну, или к другому члену царской семьи; без сомнения, привилегированное положение офицеров и чиновников тоже сделалось наследственным. Такие же небольшие царства возникли на Крите, примерно на пятьсот лет позже; о них мы знаем из более поздних источников, так как древнейшая критская письменность ещё не расшифрована. В Египте до установления власти фараонов тоже существовали малые государства, называемые по-гречески “номами”. Вероятно, так же обстояло дело в Китае.

Из небольших независимых царств образовались первые великие державы, централизованные монархии с бюрократической иерархией — египетская, вавилонская и китайская. Это были восточные деспотии с неподвижной традицией, мало способные к культурному развитию.

Иначе обстояло дело у подвижных воинственных племён. Лучше всего мы знаем историю Греции и Рима, в начале которой тоже были небольшие города-государства. Это были государства завоевателей, возникшие из племенных союзов; их возглавляли военные вожди, а стимулом их возникновения несомненно была война. Поэмы Гомера изображают их на более поздней стадии, поскольку гре-

ческая письменность появилась значительно позже шумерской; мы можем только строить предположения, каковы были греческие государства, когда эллины пришли на Балканский полуостров, то есть около 2000 лет до н. э. Во всяком случае, в начале истории у греков были цари, точно так же, как у римлян, и цари были окружены аристократией. В греческих государствах, самым архаическим образцом которых была Спарта, сохранились ещё народные собрания, но все дела в действительности решала заранее племенная знать, а собрание могло только выразить общее настроение нечленораздельным способом — звуками, извлекаемыми из щитов. Аналогичные явления описаны в "Илиаде", где народное собрание просто слушает речи предводителей или препирательства между ними. Республики возникли позже, вследствие классовой борьбы, начавшейся вместе с историей.

Происхождение государства, с его иерархической структурой и неравенством между людьми, ещё в древности привлекало внимание историков и философов. Племена, с которыми обычно сталкивались греки, были уже достаточно развиты, то есть имели уже иерархическую структуру, сравнимую с их собственной. О более примитивных племенах, где не было такой структуры, греки были низкого мнения. Киклопы не знали никакой власти, не знали обычаев гостеприимства, но это были не настоящие люди, а одноглазые чудовища, да к тому же ещё людоеды. Греки понимали преимущества организованного общества, но дорожили тем относительным равенством, какое они унаследовали от предков, и противопоставляли свои "свободные" государства монархиям вроде Персии и Египта, где все люди были рабами царя, а царь считался богоподобным, или просто божеством. По-видимому, греческие мыслители не считали такие монархии настоящими государствами: иначе трудно объяснить, почему Аристотель представлял себе государство столь малым, чтобы в нем можно было повсюду слышать голос глашатая! Это было невозможно уже в Афинах, а тем более в государстве, созданном его учеником Александром.

Во всяком случае, пока греческие государства были свободны от власти чужестранцев, они оставались малыми и, как правило, не умели объединять свои усилия даже перед лицом врага, ревниво охраняя свою независимость. Так же обстояло дело с государствами Италии до римского завоевания, а Рим, превратившийся в мировую державу, уже не мог сохранять республиканский строй. Можно понять, почему Монтескьё настаивал в своём "Духе законов", что республиканское правление подходит лишь для небольших государств,

а большие могут быть только монархиями. Это наблюдение вызвало серьёзные опасения у отцов американской республики, высоко ценивших мудрость этого автора. По существу, Монтескьё, анализируя исторический опыт, пришёл к пониманию “кибернетического” закона, по которому сложные общественные системы не могут быть эффективны без иерархического устройства. Но он толковал этот закон в весьма специальном смысле, полагая, что для управления большими государствами нужна жёсткая централизованная власть, находящаяся в руках одного человека, то есть монархия. Впрочем, у Монтескьё было важное исключение (в книге 9 “Духа законов”): он объяснял, что большие республики могут успешно существовать при федеративном устройстве. Эту идею развил Медисон, главный автор американской конституции, и она выдержала испытание временем.

Племена, у которых только начали складываться государства, не оставили об этом свидетельств, поскольку у них не было письменности. Но эти племена или племенные союзы попали в поле зрения древних цивилизованных народов и были описаны историками. Это относится прежде всего к галлам и германцам. Значительно позже люди западной цивилизации познакомились с племенами, вовсе не знавшими государства, жившими в Африке и Америке. Это произошло в эпоху великих географических открытий, в 15–17 веках. Вначале первооткрыватели новых стран, сами ещё средневековые люди по своим психическим установкам, были заняты только ограблением “дикарей” или обращением их в христианство. Но уже к началу 18-го века европейцы заметили, что эти “дикари” — например, индейцы Северной Америки — не знают ни государства, ни частной собственности, но в своей морали зачастую превосходят “бледнолицых”, принёсших с собой все пороки Старого мира. В эпоху Просвещения “благородный дикарь” становится популярной фигурой возникшей тогда прогрессивной утопии: достаточно вспомнить философские повести Вольтера. И уже в наше время так называемые “левые радикалы”, “хиппи” и “зеленные”, обличая западную культуру, снова пытаются возродить образ дикаря, жившего в гармоническом единстве с природой.

Всё это воспринимается как поэтическая фантазия, поскольку для здравого смысла среднего человека государство со всеми его атрибутами давно уже стало такой же частью неизбежной реальности, как земное тяготение или времена года. Не так обстояло дело, когда государство начиналось, и не так оно выглядело в глазах мыслителей всех времён.

До нас дошёл потрясающий документ о появлении государства у евреев, долго не решавшихся ввести у себя это новшество. До тех пор они полагали, что непосредственно повинуются богу: ими управляли “судьи”, то есть жрецы и в то же время вожди. Мы назвали бы это “теократией”, то есть “боговластием”. Но затем, — рассказывает Библия, — они позавидовали другим народам и пришли просить пророка Самуила, чтобы он поставил им царя. Вот что говорится об этом в главе 8 первой Книги Царств:

“И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму.

И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.

И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.

И сказал Господь Самуилу: послушай гóлоса народа во всём, что гóлоса они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними.

Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам: так поступают они с тобою.

Итак послушай гóлоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,

И сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмёт, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;

И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его.

И дочерей ваших возьмёт, чтобы они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы.

И поля ваши и масличные сады ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам своим.

И от посевов ваших и из виноградников ваших возьмёт десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим.

И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмёт, и употребит на свои дела.

От мелкого скота вашего возьмёт десятую часть, и сами вы будете ему рабами.

И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.

Но народ не согласился послушать го́лоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами;

И мы будем, как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши".

По-видимому, полезность монархии, возникшей у евреев в одиннадцатом веке до нашей эры, не была очевидна и много столетий спустя, когда были написаны библейские тексты. С точки зрения авторов библейской истории, мрачное предсказание господне вполне оправдалось: чаще всего цари судили неправедно, а войны вели неудачно. Согласно Библии, государственная власть, навязанная Самуилу евреями, была нарушением древнего порядка — справедливой власти божьей.

Мифы и древний эпос сохранили яркие свидетельства ностальгии по племенному строю. Эта ностальгия и была, по-видимому, источником преданий о Золотом Веке, повторявшихся у всех народов. Первая из утопий — описанное в "Одиссее" царство феаков — изображает народ, не знающий войны и не умеющий обращаться с оружием. Двенадцать племён феаков мирно живут под предводительством своих басилеев, а главный начальник, царь Алкиной, скромно называет себя "тринадцатым"; дочь его Навзикая стирает одежду вместе со своими служанками. Это необычное царство находится под прямым покровительством бога Посейдона, чудесным образом ведущего по морям корабли феаков.

Римляне верили, что в начале времён было общество, где не было ни общественных различий, ни частной собственности, и где ещё не знали войны. Это время римляне называли "веком Сатурна". Храм Сатурна служил хранилищем государственной казны (aerarium), потому что во время Сатурна всё было общим, и то, что осталось от идеальной общности имуществ — государственная сокровищница — находилось под покровительством этого бога. Праздник Сатурна — сатурналии — имел своим образцом греческие праздники в честь Крона, якобы праздновавшиеся в Афинах. Сатурналии воплощали сатурнийский общественный идеал, по крайней мере в узких пределах праздника — с 17 до 21 (или 24) декабря. В это время не начинали никакой войны, не приводили в исполнение никаких наказаний, и в память Золотого Века господа и слуги сидели вместе за праздничным столом, более того — господа исполняли даже обязанности

слуг. Поразительно, что это предание говорит не только о равенстве прав и имуществ, но также о незнании войны, что уже вряд ли было воспоминанием о реальном прошлом. Как мы видим, Золотой Век воплощал и стремление к миру: римляне, должно быть, не всегда были так воинственны, как мы их себе представляем.

В утопической ностальгии по племенному строю особое место занимают фантазии славянофилов. В них отражается отвращение к власти и войне, которое казались им особым свойством русского народа. Славянофилы верили, что древние славяне были мирные земледельцы, жившие в согласии друг с другом и природой. По-видимому, в этом представлении отразился исторический опыт русских, заселивших почти неосвоенную людьми лесную страну и, вероятно, ассимилировавших первоначальное финское население.

Германцы в Исландии были первым населением этой суровой и бедной страны, не вызывавшей интереса завоевателей. Они жили там племенным строем до Нового Времени, собираясь раз в год на общее собрание и не зная никакого государства. Так как в этой стране невозможно было земледелие, они кормились рыбной ловлей и скотоводством. Дания присоединила их без сопротивления, и только в двадцатом веке эта самая архаическая ветвь германцев устроила своё государство. Исландские саги остались несравненным памятником народа, сохранившего свободу ценой бедности.

Особенное отвращение вызывала крайняя форма неравенства — тирания, то есть произвольный захват власти одним человеком. Уже выйдя из племенного строя, греки никогда не могли забыть прежнего порядка, когда все граждане были в принципе равны. Даже Александр Македонский, принимавший божеские почести от своих восточных подданных, для греков был всего лишь человеком, и Цезарь вынужден был отказаться от предложенной ему короны, опасаясь негодования римлян. Даже в поздние времена, когда гражданское равенство стало лишь историческим воспоминанием, излюбленным мотивом скульптуры были тираноубийцы — Гармодий и Аристогитон. Ораторы древности любили обсуждать, почему целые народы повинуются власти одного человека — столь же слабого телом, и часто уступающего в добродетели скромнейшим из людей; а владыки того времени вынуждены были это терпеть, не смея узнать себя в образе тирана.

Эти владыки нуждались в санкции свыше, и христианская церковь пошла им навстречу. Апостол Павел, не удостоенный прямого общения с господом, как пророк Самуил, придумал софизм, оправдывающий *любую* власть: “нет власти не от Бога”. Этим доводом

можно оправдать всё, что происходит на свете, поскольку ничто не может произойти без воли божьей; и этой жалкой выдумки хватило на полторы тысячи лет.

Возрождение снова раскрыло перед людьми всё безобразие государственной власти. Первым, кто осмелился напомнить о древних риторах, был Ла Боэси, в своём "Рассуждении о добровольном рабстве". Вот что он писал в 1548 году, юношей восемнадцати лет:

"Бедные, несчастные люди, неразумные народы, нации, упрямые в своём несчастье и слепые к своему благу, вы, позволяющие отнимать у вас на глазах лучшую, прекраснейшую часть вашего добра, опустошать ваши поля, грабить ваши жилища, уносить из них старинную утварь ваших отцов! Вы живёте таким образом, что, можно сказать, не владеете ничем. Можно подумать, что отныне вы будете счастливы сохранить хоть половину вашего достояния, ваших семей и ваших жизней; и всё это бедствие, несчастье и разорение причиняют вам не враги, но воистину ваш единый враг, тот, кого вы сами сделали столь великим, за кого вы столь храбро идёте на войну, за чьё величие вы готовы жертвовать собой. У того, кто так властвует над вами, всего два глаза, две руки, одно тело, как у самых скромных людей, населяющих ваши города; и если есть у него преимущества перед вами, то лишь те, какими вы сами его наделили, чтобы он мог вам вредить. Откуда у него столько глаз, чтобы он мог за вами следить? Вы сами снабдили его этими глазами. Откуда у него столько рук, чтобы вас бить? Он заимствует их у вас самих. Ноги, которыми он топчет ваши города, разве это не ваши ноги? Какую власть имеет он над вами, кроме исходящей от вас? Как посмел бы он войти к вам, если не в сговоре с вами? Что смог бы сделать, не будь вы пособниками своего грабителя? сообщниками своего убийцы, изменниками самим себе? Вы сеете, чтобы он разорял посевы; наполняете ваши дома, чтобы он их опустошал; воспитываете дочерей, чтобы утолить его похоть; воспитываете сыновей, чтобы он повел их на войну, на убой, или, что хуже, сделал бы слугами своей жадности и исполнителями своей мести; вы сокрушаете себя трудом, чтобы он мог нежиться в удовольствиях, предаваться грязным наслаждениям; вы себя ослабляете, чтобы его укрепить, чтобы сократить поводок, на котором он вас водит; и от всех этих унижений, каких не стерпели бы и скоты, вы могли бы освободиться, если бы только попытались — не то, чтобы освободиться, а всего лишь этого захотеть. Решитесь не служить больше, и вы свободны. Я не требую, чтобы вы его согнали или свергли; перестаньте только его поддерживать, и вы увидите, как этот Гигант, потеряв опору, свалится под

собственным весом и разобьётся"[1].

Конечно, у государственной власти — даже у монархической власти — не было недостатка в защитниках. Философ Гоббс защищал её как неизбежное зло, предотвращающее худшее зло — анархию. Мы ещё встретимся с этим аргументом. В первом издании главного сочинения Гоббса, книги под названием "Левиафан", можно видеть картинку, изображающую государство в виде великана, тело которого составлено из крошечных человеческих тел. Левиафан всё ещё выполняет свои функции, но потерял уже всякое уважение. Другой популярный образ государства — это муравейник, тоже большая машина, составленная из маленьких живых существ. Но муравьи, должно быть, хорошо себя чувствуют в своей машине; во всяком случае, они никогда не бунтуют против неё и проявляют свойственную им резвость. А Левиафан на картинке кажется склеенным из трупов.

3. Частная собственность

Важнейшей сословной привилегией была *частная собственность*, возникшая во всех достаточно развитых культурах. Частная собственность — это фиктивная (или, как обычно говорят, "юридическая") связь между человеком и вещью, которая считается "принадлежащей" ему, то есть которой он может распоряжаться по своему желанию — в пределах, установленных его культурой. Важные механизмы культуры, усваиваемые в детстве и определяющие поведение человека в течение всей жизни, рационализируются объясняющей и оправдывающей их мифологией. Мифы о "благородном" происхождении феодальных господ придавали респектабельность их притязаниям на власть и их правам на собственность. В действительности они обычно происходили от варваров-завоевателей: средневековые документы откровенно основывают феодальные права на захвате, а потом на "давности владения". "Благородное происхождение", ещё в девятнадцатом столетии принимавшееся всерьёз, теперь никого не интересует. Но институт собственности по-прежнему считается священным и пользуется уважением, потому что буржуазия одержала верх над аристократией, и поскольку буржуазия основывает свою власть не на происхождении, а на собственности.

Нам говорят, что собственность существовала вечно, но это

[1] Замечательно, что этот трактат был издан у нас в 1952 году в серии "Литературные памятники" — в последний год жизни нашего безумного тирана! Отдавая должное мужеству издателей, я привожу мой собственный перевод.

неправда; верно, что она существовала долго, примерно так же долго, как другое священное установление — сословное неравенство, *которого больше нет, и никто даже не замечает, что его нет.* Нам говорят, что собственность священна, потому что приобретается трудом. Этот довод прямо противоположен предыдущему, потому что труд меньше всего уважали господа прошлых исторических эпох: они презирали все виды труда и гордились тем, что им не приходится трудиться. Те, кто ссылается на древность института собственности, забывают, что источником такой собственности был не труд, а грабёж.

С точки зрения философии гуманизма, собственность, *в самом деле* приобретённая личным трудом, действительно заслуживает уважения. Вопрос состоит в том, *какие формы собственности преобладают в нынешнем мире, и всегда ли она происходит от собственного труда.* Этот важный вопрос мы рассмотрим дальше.

Наконец, в защиту собственности выдвигается ещё "биологическая" аргументация, претендующая на некоторую научность. Нам говорят, что привязанность человека к собственности инстинктивна, то есть составляет неотъемлемое свойство нашего вида, и что стремление к собственности — единственный мотив, заставляющий людей работать. Поэтому, — говорят нам, — уничтожение связи между трудом и частной собственностью убивает заинтересованность в труде и ведёт к развалу нашей экономической системы.

Так как мы занимаемся в этой главе *происхождением* собственности, отложим на некоторое время мрачные предсказания, которыми нас запугивают апологеты "рыночной экономики", и займёмся прошлым. Привязанность человека к своей собственности чаще всего демонстрируется отношением крестьянина к собственной земле, столь красноречиво описанным в замечательной книге Мишле "Народ". Теперь эта привязанность к собственному участку земли иногда выводят из инстинкта внутривидовой агрессии, причём этот участок отождествляют с "охотничьими участками" хищников, как их понимает Лоренц. Но, прежде всего, приматы, от которых мы происходим, были территориальными животными не в том смысле, как человек, владеющий земельным участком. Из наблюдений над шимпанзе, на которые мы уже ссылались, видно, что их стадо "владеет" довольно обширной территорией, где они бродят в поисках пищи, но владеет ею коллективно, так что отдельная обезьяна не имеет постоянного логова или укрытия. То же справедливо в отношении других приматов, у которых нет, к тому же, постоянного брака, в отличие от большинства территориальных хищников. Ис-

торики показали, что старейшая собственность — собственность на землю — вначале была везде *общинной.* Индивидуальная собственность на землю — довольно позднее культурное явление, а привязанность крестьянина к его земле лишний раз доказывает силу культурной мотивации человеческого поведения, часто не уступающую инстинктивной.

Несомненно, вначале земля принадлежала не отдельным лицам, а племени, и обрабатывалась коллективным трудом. Наиболее известный пример такой древнейшей формы общинного землепользования представляют индейцы пуэбло, до сих пор многочисленные в Мексике и в юго-западной части Соединённых Штатов. В течение тысячелетий они жили племенными общинами, не зная частной собственности и денег: такими их застали испанские завоеватели. Они не заинтересованы в товарном производстве и выращивают столько зерна (кукурузы), сколько им нужно для пропитания. Образ жизни этих племён (испанское название которых означает "народ") привлекал внимание не только этнографов, но и социалистов; их изучал, например, известный психолог и социолог Эрих Фромм. В таком общественном строе социалистов привлекали отсутствие корыстных мотивов и коллективизм психических установок. Но в таких племенах нет побуждений к развитию: индеец пуэбло лишён честолюбия и духа соревнования, у него нет личных целей, а у племени — общественных целей. Это общество статично: оно сохраняет в течение тысячелетий свою племенную культуру, свой религиозный культ и примитивную технику производства.

Такое общинное хозяйство могло сохраниться в чистом виде лишь в пустынях, на обочине мировой истории. В более цивилизованных местах на общинный образ жизни наложилось помещичье землевладение, под покровом которого он сохранял свои особенности до наших дней. Так было в Индии, где после вторжения завоевателей землю разделили между собой феодалы, наложившие на крестьян оброк, но оставившие неизменным весь строй их жизни и хозяйства. В таком виде индийская община оказалась чрезвычайно стойкой: её разрушает лишь современный капитализм. Ещё в девятнадцатом веке Генри Мейн мог изучать в Индии правовые нормы и обычаи индоевропейцев, описанные им в его книге "Древнее право" (H. J. S. Maine. *The Ancient Law*).

В России общинное землевладение сохранялось до самой революции. История крестьянской общины в России долго вызывала споры. По-видимому, сельские общины славян не успели ещё разложиться, когда их взяли под свою власть князья, раздававшие земли

вместе с крестьянами своим дружинникам. Это была феодальная система, в принципе та же, что в Европе и в Индии. В России эта система, возлагавшая на деревню все повинности и предоставлявшая крестьянам самим делить их между собой, надолго закрепила крестьянскую общину. Некоторые историки полагали, что общину у нас искусственно создали фискальные меры Ивана Грозного, но это мнение оказалось ошибочным. Не выдержали критики также домыслы русских народников, видевших в крестьянской общине исключительную черту русского народа, делающую его будто бы особенно пригодным для социализма. В действительности таковы были крестьянские общины у всех индоевропейцев; например, немецкие историки обнаружили их в средневековой Германии[1]. Мы уже говорили об индийской общине, и если вспомнить ещё индейцев пуэбло, то можно полагать, что мы имеем здесь дело с универсальным явлением мировой истории.

Следующим этапом развития собственности была *государственная, или царская собственность.* Древнейшие документы писаной истории — глиняные таблички шумеров — изображают первые известные нам города-государства второй половины четвёртого тысячелетия до нашей эры. Как мы уже видели, в этих государствах власть была сосредоточена в руках царя, из дворца которого чиновники управляли всем сельским хозяйством и ремёслами. То же было позже на Крите. В Египте мы находим уже более позднюю фазу царского землевладения: фараон считался владельцем всей земли, которой распоряжалась от его имени целая иерархия чиновников. По-видимому, государственное землевладение сменило общинное во всех странах, развивавшихся в относительной безопасности от внешних вторжений, при неизменном племенном составе населения. Несомненно, так было и в Китае, где власть "императора" всегда понималась как право собственности на всю страну, а бюрократическое управление было доведено до мельчайших подробностей.

"Коллективизация" сельского хозяйства в бывшем Советском Союзе вовсе не была восстановлением первобытного племенного коллективизма: это было нечто вроде возвращения к "протомонархическому" землевладению, с резким падением производительности труда и неэффективным "центральным" управлением, как можно предполагать, гораздо худшим, чем в Шумере или на Крите.

Частная собственность на землю появлялась при возникновении

[1]Сравнение германской и русской общины, с подробным сопоставлением обихода и обычаев, провёл в начале двадцатого века Н. П. Павлов-Сильванский (см. сборник его работ "Феодализм в России", 1988).

монархий и при нашествиях завоевателей. Первый способ её образования можно видеть на примере Египта. Формально фараон всегда считался там собственником всей земли, даже после греческого завоевания, при Птолемеях. Но через некоторое время должности управителей стали наследственными, и возник класс *помещиков*, связанных определёнными обязательствами перед фараоном. Таким образом, чиновники-управители, хозяйничавшие от имени царя, превратились в наследственных собственников вверенной их управлению земли. Вначале связь между таким помещиком и "его" землёй была лишь государственной службой, причём царь мог сменить любого чиновника; но через несколько столетий положение помещика "упрочилось" — не вследствие какого-нибудь юридического акта, а попросту по закону "давности".

Другой способ образования частной собственности на землю был связан с завоеванием; такая собственность обычно называется "феодальной". Когда страны Европы были завоёваны германскими племенами, находившимися в то время на стадии племенных союзов и образования государств, вожди германцев разделили захваченные земли между своими приближенными. Эти земли и раньше имели владельцев: многие из них входили в высоко развитые области Римской империи. Каковы бы ни были права прежних владельцев, феодальное право без стеснения опиралось на захват, то есть на грабёж.

Наконец, в случаях, когда завоеватели были более многочисленны, чем прежнее население, они делили между собой захваченную землю и становились не помещиками, а крестьянами. Так возникло, по-видимому, мелкое крестьянское землевладение в Греции и Италии, куда пришли уже достаточно развитые племена, знавшие частную собственность ещё до переселения. Во всяком случае, в этих "классических" странах древности уже в самом начале истории мы не застаём государственной собственности на землю, хотя можно заметить некоторые пережитки общинного строя. Поэмы Гомера, как полагает Р. Ю. Виппер, относятся уже к периоду упадка царской власти: Агамемнон и Одиссей не имели власти восточных царей, их положение — лишь тень того, чем цари были прежде. Наши данные не позволяют нам проследить историю собственности на одном народе, но сопоставление разных стран в разное время даёт нам убедительную картину этой истории.

История Европы, гораздо лучше известная нам по письменным источникам, рассказывает, как помещичье землевладение за несколько столетий превратилось в крестьянское. В Англии и Франции этот процесс завершился в девятнадцатом веке, а в более отсталых

странах продолжался и в двадцатом. Таким образом, крестьянский участок земли, обрабатываемый собственным трудом, представляет вовсе не первичное, биологически заданное явление, а результат тысячелетнего культурного развития. Стремление крестьянина обзавестись собственной землёй объясняется вовсе не его "биологической" связью с землёй, а непреодолимым влечением к *свободе* — потому что в обществе, основанном на частной собственности, только собственность могла доставить ему независимое положение. Мы ещё вернёмся к этой связи между независимостью и собственностью, почти аксиоматической для современного буржуа.

На примере древнейшей собственности — собственности на землю — мы видели, что одним и тем же словом "собственность" назывались в разное время и в разных местах *различные* явления. Из всех этих форм землевладения можно выделить фермерское хозяйство, в котором участок земли принадлежит одному собственнику и обрабатывается силами его семьи. Такая форма собственности, прямо связанная с человеком как орудие его труда, встречается во всех земледельческих культурах, и в сельском хозяйстве до сих пор остаётся самой выгодной.

Но прямая и независимая собственность на землю, которую мы называем "фермерской", встречается в истории относительно редко. В древней Греции и Риме такая собственность, воспетая Гесиодом, существовала в течение нескольких столетий после распада общинного землевладения. Впрочем, уже в эпоху Аристофана — защищавшего крестьянскую собственность с консервативных позиций, против преобладания промышленной и торговой собственности — самый характер сельского хозяйства изменился, вследствие применения рабского труда. Напомним, что на каждую семью афинского гражданина приходилось в среднем два раба. Конечно, это совсем не то, что временное использование наёмных рабочих на современной ферме. В Риме "фермерское" хозяйство уступает место латифундиям, а к началу средневековья мы находим и в бывшей Римской, и в Византийской империи только феодальное землевладение.

Нынешнее фермерское землевладение на Западе, результат тысячелетних усилий крестьянства, во многом зависит от банковского и торгового капитала, и его независимость находится под угрозой. Мы часто встречаемся с этим явлением — неустойчивостью непосредственной собственности на землю. И всё же, она сыграла важную историческую роль: надо отметить особое значение этой *конкретной* собственности, прямо связывающей человека с орудиями его труда и создающей условия для его экономической независимо-

сти. Европейская философия Нового Времени признала это особое значение трудовой собственности на землю. Локк полагал, что каждый должен иметь столько земли, сколько может обработать, и молчаливо проходил мимо фактического положения вещей, когда почти вся земля принадлежала помещикам. Таким образом, священный характер собственности доказывался крестьянским трудом, а затем распространялся на собственность совсем иного рода.

Другой основной вид собственности — это промышленно-торговая собственность. Она началась с различных видов мастерства, постепенно развившихся в племенном строе, и с обмена между племенами, о чём свидетельствуют уже очень древние археологические находки. В доисторических слоях Европы находят не только янтарь, добывавшийся на берегах Балтийского моря, но также изделия из нефрита, происходившие из Китая и подвергнутые там обработке. Эти драгоценные предметы имели собственников — вероятно, вождей или жрецов — но нас интересует здесь частная собственность на средства производства, начавшаяся гораздо позже. В малых государствах, где всё хозяйство управлялось из царского дворца, ремесленники и художники трудились в мастерских при этом же дворце и нередко в нем проживали, как это известно в случаях Шумера и Крита. Без сомнения, обменная торговля с “внешним миром” была делом царских чиновников. В такой экономике не было частной собственности на орудия труда и частной торговли, а была государственная собственность и государственная торговля. Те же методы управления экономикой и торговлей долго сохранялись в Египте и Китае.

Возникновение частной собственности — вместо племенной или общинной — означало новую форму проявления социального инстинкта, не устранившую его действие в отношении членов племени или общины, но усилившую его в отношении членов рода или патриархальной семьи. Как уже было сказано, такая *локализация* социального инстинкта, обусловленная культурой, означала приближение непосредственного окружения человека к численности первоначальных групп, что соответствовало его инстинктивной способности к общению. Таким образом, частная собственность означала, в психологическом смысле, *освобождение* социального поведения от чрезмерной нагрузки. Разумеется, это положительное значение частной собственности относится лишь к *конкретной* частной собственности, о которой была речь[1].

[1]Этим замечанием я обязан Р. Г. Хлебопросу.

Частную промышленность и торговлю мы находим в странах, где не сложилась централизованная монархия — в Греции и Римской республике. В греческих городах-государствах (“полисах”), где не хватало пахотной земли, рано развились ремесла, не только обслуживавшие население своего города, но и работавшие на вывоз. Ремесленники, не имевшие земельной собственности, вначале владели только орудиями труда и продавали свои изделия на городских рынках. Затем возникли мастерские, где использовались наёмные рабочие, и в особенности рабы. Рабы были особым видом собственности, чрезвычайно важным для древней промышленности. Обработка материалов, добыча полезных ископаемых, вся грубая часть промышленной деятельности требует энергии, а в древности не было машин, производящих и использующих энергию. Источником энергии были тягловые животные — вначале быки, потому что лошади обходились дороже и применялись главным образом в военном деле. Животных удобно было использовать в сельском хозяйстве, но в мастерских, а особенно в шахтах и на кораблях, в качестве гребцов, их заменяли рабы.

Более утонченные виды работы, требовавшие особой квалификации, оставались в руках свободных граждан и достигли в Греции необычайного мастерства. Богатство Афин основывалось именно на экспорте продуктов непревзойдённого в древнем мире художественного ремесла, переходившего в подлинное искусство: вывозили керамические изделия, оружие, металлическую посуду, статуи, а также продукты высоко развитого, трудоёмкого земледелия: оливковое масло и вино. Греция была богата металлическими рудами и гончарной глиной. Недоставало ей дерева, потому что леса, покрывавшие горы, были здесь сведены ещё в архаическую эпоху, до расцвета цивилизации. Скорее всего, это была экологическая катастрофа, произведённая одичавшими домашними козами: они и создали “классический” греческий пейзаж из оголённых скал.

Таким образом, древняя Греция, не способная обеспечить себя хлебом и другими видами продовольствия и сырья, развила промышленность и жила за счёт вывоза промышленных изделий. Так возникла собственность на средства производства и торговли: на мастерские, шахты, корабли, и в особенности на обращённых в имущество людей — рабов. Предприятия античного мира насчитывали в некоторых случаях сотни рабочих, а в Риме — даже тысячи. И хотя они отчасти использовали наёмный труд — что является главным признаком капитализма — *в основе древней промышленности лежало рабство.*

Отсутствовал и другой признак капитализма — применение машин и технический прогресс. В течение тысячи лет — с пятисотого года до нашей эры, когда возникли первые предприятия, до пятисотого года после нашей эры, когда угасла всякая промышленная активность — не было сделано никаких принципиальных нововведений. В Римской империи, охватывавшей весь цивилизованный западный мир, производили много товаров, но всегда одними и теми же способами, мускульной энергией человека и животных. Римляне не умели даже выдумать новые виды оружия, а заимствовали их у варваров: мечи — у галлов, дротики — у испанцев. Древний мир, при всех его достижениях, был поразительно *статичен.* Очень вероятно, что причиной этой технической инертности было именно рабовладение: дешёвая рабочая сила, всё время пополнявшаяся войнами за счёт "варварских" народов, избавляла греков и римлян от необходимости что-нибудь изобретать. Между тем, они были вполне способны ко всякому творчеству, в том числе техническому, которым не пренебрегал Архимед. Историки полагают, что ручной труд считался тогда занятием, недостойным свободного человека; но никакой прогресс не возможен без кропотливой работы в лабораториях и мастерских.

Средние века были возвращением к варварству. То же было и на заре цивилизации, когда крито-микенская культура была уничтожена нашествием примитивных завоевателей; и то же грозит в наши дни остаткам европейской культуры, воспитывающей варваров внутри себя.

Феодальный строй надолго парализовал промышленность и торговлю. Ремесла и торговля сохранились вне Европы — в Византийской империи, где они процветали ещё тысячу лет в том же статическом изобилии, как прежде в Римской, и в арабском Халифате, во многом унаследовавшем навыки греков и римлян. Лишь в позднем средневековье ремесла и торговля стали вновь развиваться — вначале всё ещё на основе ручного труда. Но эта культура зрелого средневековья отличалась от античной культуры преобладанием *свободного труда.* Рабство в его античной форме начало исчезать уже в позднем Риме: с отказом от завоевательных войн прекратился приток дешёвых рабов, которых постепенно заменили колоны — закрепощённые крестьяне. В европейских странах крепостные были из собственного народа. Освобождаясь от крепостной зависимости с помощью выкупа или бегства, они шли в растущие промышленные города, где развились ремесла и мануфактуры — фабрики с разделением труда, но ещё без машин. Первыми центрами промыш-

ленности и торговли были города Северной Италии и Нидерландов. Возникшая таким образом собственность на предприятия и торговые фирмы называется "буржуазной", от французского слова "буржуа", означающего "горожанин".

Юридическое положение буржуазной собственности, из которой впоследствии развилась капиталистическая собственность, укрепилось благодаря союзу промышленных городов с монархами. Феодальный порядок в Европе был очень долго длившимся беспорядком. Складывавшиеся нации были расколоты на части вечно воевавшими между собой княжествами, не подчинявшимися формальной власти короля или императора. Для развития промышленности и торговли буржуазии нужен был мир и твёрдый законный порядок, а для этого нужна была сильная государственная власть. Такой властью могла быть тогда только королевская власть, в раннем средневековье ещё очень слабая и зависимая от своих крупных вассалов. Конфликт между монархией и феодальной аристократией, обострившийся в конце средних веков, разрешился при участии промышленных городов, ставших естественными союзниками королей. Рассчитывая на поддержку буржуазии, короли признавали права городов, выдавали им привилегии, защищали их от хищников-феодалов. Таким образом буржуазная собственность, стихийно возникшая и укрепившаяся в городах, получала легальную санкцию королевской власти. Складывавшаяся "абсолютная монархия" охраняла права промышленников, купцов и банкиров.

Наконец, буржуазии удалось одержать верх над феодальной знатью и стать господствующим классом в Европе. Прежде всего она одержала победу в самой передовой стране — Англии — где революция и гражданская война завершились в 1688 году компромиссом, так называемой "Славной революцией", обеспечившей английской буржуазии свободу экономической деятельности и тем самым положившей конец безраздельному господству аристократии. Установление в Англии парламентского правления и было, по существу, началом Новой истории. Дальнейшее развитие капитализма на континенте Европы, после трёх революций во Франции и двух мировых войн, привело к нынешней форме собственности, которой мы займёмся в конце книги. Эта собственность стала, как мы увидим, крайне *абстрактной*.

Личная крестьянская собственность на землю была вполне *конкретной*: крестьянин сам обрабатывал свою землю с помощью своей семьи, сам сооружал своё жилище, или рождался в жилище своего отца. Передача этой собственности по наследству представляла то-

же очень конкретный, легко обозримый процесс, так что одна семья могла владеть своей землёй и обрабатывать её в течение столетий. В такой ситуации, где не используется наёмный труд, не возникает самый вопрос об "эксплуатации", как бы ни понимать этот термин. Разве что кто-нибудь эксплуатировал *крестьянина* — налогами или просто грабежом. Возвращаясь к главной теме нашей книги, можно быть уверенным, что крестьянин, обрабатывающий своё поле, никогда не воспринимался как асоциальный паразит. Враждебное отношение к крестьянскому землевладению у "коммунистов" было следствием их враждебности ко *всякой* собственности вообще, и мы в дальнейшем попытаемся выяснить, что стоит за такой психической установкой.

Феодальная и помещичья собственность на землю уже была абстрактной — в том смысле этого слова, что собственником *считался* человек, не работавший на этой земле, даже зачастую не видевший её, но связанный с нею "документами на владение", то есть свидетельствами, что уже его предки *считались* собственниками этой земли. Если же проследить происхождение феодальной собственности, то мы всегда видим в начале её прямой грабёж — захват земли грубой силой. Так было при завоевании Галлии германскими племенами, при завоевании Англии норманнами. Так же было в России, где князья — первоначально шведского происхождения — захватывали земли к востоку от Днепра, где находили освоивших эти дикие места вольных крестьян и превращали их в своих данников.

Связь феодала с его собственностью закреплялась "хартией" на владение землёй, которую выдавал ему король. В раннем средневековье это было просто юридическое оформление грабежа, но со временем аристократы почувствовали, что надо чем-то доказать свою полезность. Они стали уверять, что "защищают" население своей земли, и иногда в самом деле защищали его от таких же грабителей, чтобы затем его обирать. В наши дни занятие этих благородных господ называется американским словом "рэкет". Феодализм и был системой рэкета, закреплённой латинскими хартиями. Слово "рэкет" по-русски переводится как "вымогательство", и Бертран Рассел, сам потомок феодалов, так и называет их практику "джентльменским вымогательством". Девиз феодала мог звучать благородно: Dieu et mon droit[1]. Но это была гордость насильника, и ограбленные крестьяне не раз напоминали об этом своим господам. Если мне возразят, что я слишком модернизирую историю, я напомню, как они

[1] Бог и мое право (фр.).

время от времени, при всей своей средневековой темноте, жгли замки своих господ. Дело в том, что у них было всё-таки представление о том, что справедливо, и что нет. Иначе говоря, в них жила "племенная мораль". И до нас дошло, что они говорили в таких случаях.

Капиталистическая собственность ещё гораздо абстрактнее. Капиталист владеет, в сущности, лишь *бумагами* на владение "своим" предприятием, без "права давности", придающего собственнику некоторую респектабельность — хотя бы в его собственных глазах. Он никого не обязан защищать, не обязан доказывать свою полезность или доблесть. Он владеет обычно не всем предприятием, а какой-то его частью, по числу имеющихся у него акций; часто ему принадлежат акции нескольких или многих предприятий, или даже акции компаний, некоторым образом контролирующих эти предприятия и потому извлекающих из них доход. Чаще всего он и сам толком не знает, что производят "его" предприятия, потому что их техника слишком сложна и поручена инженерам, а продажа изделий — менеджерам. В общем, его положение "собственника" означает, что у него есть бумаги, юридически за ним закреплённые и приносящие ему доход. Не ясно, какова его действительная роль в экономике, и почему считается, что он необходим.

Я постарался отчётливо определить различие между "конкретной" и "абстрактной" собственностью, примечательным образом смазываемое некритическим употреблением этого слова. Почтенный статус крестьянской или ремесленной собственности, объектом которой являются средства личного труда, незаметно распространяется на юридические фикции, позволяющие извлекать деньги из однажды приобретённых бумаг. Как мы видели, Джон Локк, основоположник философского эмпиризма, сам прибегал к такому злоупотреблению словом, да и не мог поступить иначе, так как придавал собственности (всякой собственности!) священный характер и основывал на собственности свою политическую доктрину. Но Алексис де Токвиль, величайший из историков, испытав в конце своей жизни страшные уроки революции 1848 года, усомнился в святости собственности и готов был допустить, что её единственное оправдание — неумение без неё обойтись.

Чаще всего собственность обосновывают присущим человеку "личным интересом", понимая под этим интересом денежную выгоду. Но деньги — всего лишь *средство* для удовлетворения реальных человеческих потребностей, что неизменно подчёркивали мыслители всех направлений, и в частности Лоренц. Здесь мы ещё

раз встречаемся с вечным заблуждением — подстановкой средства вместо цели. Подлинные интересы человеческой личности, настоящие цели человеческой жизни задаются в общих чертах его инстинктами и формулируются его культурой. Личный интерес человека не сводится к деньгам. Даже современная "западная" цивилизация не смеет сознаться, что у неё нет других целей, кроме наживы.

После безумных экспериментов двадцатого века в России, Китае и других странах, где пытались заменить мотивы личного интереса "чистым энтузиазмом" и тем самым отделить поведение человека от его биологической природы, частная собственность стала у западных экономистов, и даже у некоторых философов, чем-то вроде священной коровы. Но *собственность — продукт культурной наследственности, а не генетической.* Напомним ещё раз, что характерное время генетической наследственности — миллионы лет, а характерное время культурной наследственности — сотни лет. Физическое строение человека вряд ли сколько-нибудь изменилось за двести тысяч лет существования нашего вида; между тем, культура может существенно измениться за двести лет, и мы уже привели разительные примеры таких изменений. *Отношение человека к вещам, именуемое "собственностью", уже несколько раз изменило свой характер, при одном и том же, вводящем в заблуждение названии.* Магическое мышление всегда цепляется за названия. Двести лет назад главным видом собственности была феодальная собственность. Тогда понятие "дворянин" имело важное культурное значение. Теперь никому нет дела до дворян: собственность от них ушла. Родословные требуются теперь только от собак. Между тем, институты европейской аристократии считались священными в течение полутора тысяч лет, а до этого знатные роды были у всех известных народов. И вот, этого древнейшего учреждения больше нет — до такой степени нет, что *никто этому не удивляется*!

В наше время господствующий тип собственника — это уже достаточно выродившийся тип буржуа, озабоченный главным образом своей материальной безопасностью и накапливающий "ценные бумаги" с упорством, напоминающим патологию невротического обжорства. Через двести лет "собственник" с его "акциями" будет так же смешон, как в наши дни "дворянин", цепляющийся за феодальные хартии.

Изменится и понятие "государства", даже если сохранится его название. Двести лет назад — или чуть раньше — было очень важ-

ное лицо — король Франции. Теперь выражение “нынешний король Франции” встречается только в учебниках логики, как определение, объём которого пуст.

Глава 6

Начало классовой борьбы

1. Общественные конфликты

В племенном обществе насилие проявлялось обычно в войнах между племенами. Отношения между членами одного племени управлялись племенной моралью, механизмы которой, как можно предполагать, носили в основном инстинктивный характер. Повидимому, с помощью этих механизмов улаживались конфликты между индивидами и группами внутри племени, как это можно видеть в уцелевших до нашего времени племенах.

Положение изменилось, когда возникли государства. Глобализация племенной морали на бóльшие сообщества, уже не всегда связанные общим происхождением, а возникшие из союзов племён при ассимиляции иноплеменных элементов, осуществлялась *культурной* наследственностью, далеко не столь надёжной, как генетическая, поскольку она зависит от наличного состояния культуры. Если культура ещё не расширила объём применения социального инстинкта на большее сообщество, в нем возникают конфликты. С тех пор история — уже история государств — представляет непрерывную последовательность конфликтов двоякого рода: столкновений между государствами и столкновений между группами внутри государства. Внутренние конфликты отразились уже в древнейших дошедших до нас документах. Но, как правило, цари и жрецы, по воле которых составлялись эти документы, склонны были подчёркивать свою власть и свой авторитет: они охотнее описывали победоносные войны, чем подавленные мятежи. Вслед за царями и жрецами, историки больше всего занимались “внешней политикой”, а во внутренней интересовались главным образом отношениями власть имущих. Темой их повествований была преимущественно драматическая борьба государств и наций, что и стало традицией историографии. История внутренних конфликтов занимала в ней относительно меньшее место.

Однако, уже очень рано некоторые историки поставили себе целью объективное описание событий, то есть установление и упорядочение фактов. Уже “отец истории” Геродот, и особенно Фукидид,

дали примеры такой объективности: они умели стать выше предрассудков своего отечества и политических страстей своего времени. Историки всегда стремились также к “объяснению” истории, но объяснить историю в том смысле, как учёные объясняли явления природы, они не могли: человеческое общество слишком сложно. Как всегда в таких случаях, мышление об этом сложном предмете, пытавшееся ответить на неотчётливо поставленные вопросы, оставалось на донаучном уровне и относилось к “философии”. Первоначально этим словом назывались все учёные занятия вообще, из которых постепенно выделялись конкретные науки. В этой книге, опирающейся в основном на научные данные, мне приходится иногда выходить за пределы научно доказуемого, то есть заниматься философией. Я вовсе не склонен отрицать значение “философии истории”, всегда искавшей принципы, объясняющие исторический процесс[1].

Греческие историки описывали конфликты между полисами — небольшими городами-государствами греков, а также конфликты с государствами иного рода, населёнными племенами другого происхождения. Эти племена греки называли “варварами”, противопоставляя их “эллинам”, с их общим языком и общей культурой. Эллины не были гражданами одного государства, но составляли единый “этнос”, что в переводе означает “народ” или “нацию”. Таким образом, греки различали нацию и государство, хотя государства часто формировались вокруг господствующей нации. Более того, у греков было уже по существу представление о культурах: они отличали свою собственную культуру от “варварских”, а среди последних различали, конечно, египетскую культуру от персидской.

В начале Нового времени европейское мышление выработало представление о последовательности исторических эпох, в каждой из которых преобладала одна культура. Достижения этой культуры имели, как предполагалось, определяющее значение для истории человечества в соответствующую эпоху, и носителем её считался определённый этнос. Первым мыслителем, увидевшим в истории развитие, был Жан Боден (1529–1596). Для него история не была ни вечным повторением, как для философов древности, ни ожиданием Страшного Суда, как для средневековых схоластов, а продуктом человеческой деятельности, и этот философ, ещё разделявший тёмные средневековые суеверия, был предтечей динамического взгляда на культуру, который мы обозначаем словом “прогресс”. Обычная

[1]Термин “философия истории” ввёл Вольтер.

схема, описывавшая перемещение “культурной гегемонии” из одной страны в другую и от одного этноса к другому, имела вид:

$$\text{Древний Восток} \longrightarrow \text{Греция} \longrightarrow \text{Рим} \longrightarrow \text{Галлия.}$$

А. Н. Уайтхед, современный философ, принимающий эту схему, склонен её продолжить, присоединив в виде следующего этапа Британию. Никоим образом не отрицая исключительного культурного значения Британских островов, мы остережёмся такого упрощённого понимания истории. Его крайним представителем был Гегель, превративший это традиционное изложение исторической драмы в “театр одного актёра”, где в каждом действии выступает единственная “избранная нация”, а в качестве режиссёра, сменяющего действующих лиц, фигурирует Абсолютный дух — Господь Бог. Можно оставить в стороне схоластическое обоснование этой философии; ей недостаёт не только научного, но и человеческого достоинства, поскольку Гегель ухитрился вывести из общих метафизических построений неизбежное завершение истории, конечным продуктом которой оказывалось Прусское королевство. Впрочем, Гегель считал, точно так же, свою собственную систему увенчанием всей философии, так что кафедра в Берлине была очевидным образом предназначена для него.

Более интересную философию истории развил Маркс, предложивший два новых принципа объяснения истории: первый из них подчёркивает роль экономической деятельности, а второй — роль “классовой борьбы”. Маркс вышел из школы Гегеля и никогда не мог освободиться от гегелевской схоластики; но он считал себя не философом, а учёным, и считал свои объяснения “научными”. Конечно, он был преимущественно философ, и заслуги Маркса перед философией относятся к *гносеологии истории.* Подобно большинству первооткрывателей, Маркс преувеличил значение открытых им принципов объяснения, полагая, что может объяснить с их помощью *всю* историю (мы ссылались уже на Лоренца, проницательно изобразившего это психологическое явление). Маркс претендовал на “научное” объяснение истории и уверенно предсказывал, исходя из этого объяснения, будущие события; это заблуждение имело важные последствия. Впрочем, трудно возложить на Маркса ответственность за то, что делали русские (и тем более китайские) “марксисты”: сам он не мыслил себе приложения своих идей вне круга европейской цивилизации, а к России относился враждебно. Конечно, можно согласиться с Бердяевым, что в советской России Маркса и Энгельса несомненно сочли бы “меньшевиками”.

Как мы увидим, Маркс вовсе не открыл ни классов, ни борьбы между ними; но, по-видимому, он впервые употребил термин "классовая борьба" (Klassenkampf) и дал тем самым имя уже давно известному историческому явлению. Дальше мы исследуем, в каком смысле и насколько основательно применяется понятие "общественных классов". Было бы неразумно начинать изучение классовой борьбы с формальных определений. Как известно, в начале изложения химии не определяют, что такое вещество, а в начале изложения биологии — что такое жизнь: основные понятия сначала выясняются на примерах, и лишь в дальнейшем, индуктивным путём, приходят к их определению.

Простейшее общественное явление, нуждающееся в объяснении — это "вражда бедных и богатых", столь резко проявившаяся во Французской Революции и оказавшая решающее влияние на взгляды Маркса. Самый термин "класс" возник ещё в древности, в связи с делением граждан по имущественному положению. В Греции и Риме граждане делились вначале на сословия — "благородных" и "простых". В Афинах "благородные" назывались именно этим словом (эвпатриды), а "неблагородные" назывались демосом, что означало просто "народ"; в Риме "благородные" назывались патрициями, а "неблагородные" — плебеями. "Благородные" вели своё происхождение от предполагаемых основателей государства; только они могли занимать главные государственные должности и выполнять функции жрецов. "Неблагородные" считались потомками более поздних пришельцев и были "гражданами второго сорта". Подобное же деление граждан было в древней Индии, с её кастами (где, впрочем, пришельцами были как раз "благородные"), и в средневековой Европе, где люди также делились на сословия. Но в Греции и Риме, в отличие от Индии, между сословиями не было расовых различий, и со временем они начали смешиваться. Значение происхождения уменьшалось, и возрастало значение имущества. Ещё в эпоху разложения общинного землевладения эвпатриды и патриции захватили лучшие земли, а затем пользовались своим положением в государстве для их расширения. Но к шестому веку до н. э. роль собственности возросла настолько, что для определения гражданских обязанностей — налогов и воинской повинности — пришлось уже разделить граждан по этому признаку. В Афинах такое разделение (на четыре категории) провёл в 594 году реформатор Солон; в Риме аналогичную реформу произвёл, как предполагают, царь Сервий Туллий (578–534). Этот царь разделил римских граждан на шесть классов (classes) в порядке убывания их имущества; здесь это сло-

во и было впервые использовано в интересующем нас смысле. Как видно из этой истории, “классы” с самого начала были связаны с богатством и бедностью.

Само слово происходит от латинского classis, означавшего в архаической латыни “войско” или “армию”; в классической латыни оно всё ещё означало “флот”, а classicum означало сигнал военной трубы. Шестой класс Сервия Туллия — из самых неимущих — освобождался не только от налогов, но и от военной службы, поскольку эти люди не могли приобрести оружие. И хотя они были юридически полноправные граждане, их полезность для государства сводилась к тому, что они давали потомство; поэтому их называли proletarii, что означало “производящие потомство”, от proles — воспитанник, выкормыш. В поздней латыни “классами” назывались различные категории населения. В Новое время это слово употреблялось в разных “классификациях” (например, в зоологии). В применении к группам населения, определяемым общественным положением, занятиями и интересами, слово la classe впервые появилось во Франции в 1792 году, а затем перешло во все европейские языки. В современном обществе, где стёрлись уже все сословные и, в значительной степени, даже племенные различия, осталось одно решающее различие между людьми — различие между “классами” *богатых и бедных.* Конечно, может показаться невозможным разделить людей на две категории, не прибегая к произвольным критериям вроде размеров дохода, какими пользовался Сервий Туллий. Можно ожидать возражений, напоминающих известный парадокс кучи зерна: как много зёрен надо взять, чтобы они составили “кучу”? Простейший способ избавиться от этих трудностей состоит в отказе от понятия классов: так и поступают многие современные социологи, по-видимому, заботясь о строгости своего научного подхода. С таким же успехом можно не отличать “тяжёлое” от “лёгкого”, “длинное” от “короткого”, и так далее. Но если мы обнаружим, что некоторый уровень дохода составляет границу в образе жизни людей, в их понятиях и предпочтениях, то различие между богатыми и бедными не покажется нам схоластической тонкостью.

В сравнительно благополучных (пока ещё благополучных!) странах Европы и Северной Америки можно не заметить чувства, разделяющие бедных и богатых. Но в ряде стран Азии, Африки и Южной Америки “классовая борьба” отнюдь не воспринимается как искусственная конструкция, даже если там удаётся на какое-то время подавить партизанские движения и заставить людей безропотно переносить нищету. Развитие “дикого капитализма” в бывших ком-

мунистических странах, с чудовищным ростом нищеты и отчаяния наёмных работников, тоже не сулит этим странам классового мира. А затем наступит “час правды” и для тех стран, где пока потребляется непомерная доля мирового производства. По словам поэта, “покой нам только снится”!

Если уж искать человека, впервые *сознательно* выразившего идею “классовой борьбы”, то этим человеком был, пожалуй, Платон. Вот что он говорит в четвёртой главе “Государства”:

“Всякий город, как бы он мал ни был, всегда имеет в себе два враждебных города: один город бедных, другой город богатых”.

А в восьмой главе он говорит о бедняках:

“Одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то и другое; они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим, и замышляют переворот”.

И эти замыслы иногда удаются. Тогда страх и ненависть охватывают богатых. В Аргосе, где победили бедные, тайно собравшиеся молодые аристократы выражают свои чувства с удивительной прямотой:

“Клянёмся всегда быть врагами народа и причинять ему столько зла, сколько возможно”.

Эти слова передаёт нам умеренный, всегда консервативный Аристотель, и дело происходит в самый цветущий век греческой культуры. Впрочем, ни Аристотель, ни Платон не восхищались “классовой борьбой” и не ценили её, как движущую силу истории. Их нельзя обвинить в марксизме, а Маркса — в изобретении классовой борьбы. Что касается зловещего термина “враг народа”, то он был подхвачен французскими якобинцами, а потом использован Сталиным, натравливавшим народ на неудобных ему людей.

Присмотревшись к извечной вражде бедных и богатых, мы неизменно встречаем и её объяснение со стороны бедных: они утверждают, что богатые несправедливо присваивают плоды их труда. Подобно “классовой борьбе”, это обвинение долго не имело названия. В 1834 году впервые появилось выражение “эксплуатация человека человеком” (exploitation de l’homme par l’homme); словарь Робера определяет понятие эксплуатации как “ извлечение выгод (некоторым классом) из работы других людей”. Это совсем не новое занятие до сих пор ставит в тупик некоторых мыслителей; например, в середине двадцатого века Карл Поппер всё ещё не решался объяснить, что такое “эксплуатация”. И в самом деле, определение в словаре звучит странно, поскольку *все* мы “извлекаем выгоды из работы

других людей". Впрочем, в этом месте в словаре стоит отсылка: См. *прибавочную стоимость*, так что изобретателем эксплуатации может показаться тот же Маркс.

Декарт когда-то настаивал на точном определении значения слов: он полагал, что таким образом люди избавились бы от половины своих заблуждений. Но, в отличие от естественных наук, где определения понятий представляют собой просто принятые учёными соглашения, в гуманитарных науках уже самые названия понятий вызывают эмоции. Представители этих наук без конца спорят о словах, чему не перестают удивляться исследователи природы. Чтобы занятия гуманитарными предметами могли претендовать на некоторую объективность, гуманитарным учёным следовало бы договориться, в каком смысле они применяют свои термины. *Определения* не могут быть "правильны" или "неправильны"; они могут быть более или менее полезны. Я надеюсь найти определения, полезные для описания истории и общественной жизни, и в то же время достаточно гибкие, чтобы оставить место для дальнейших уточнений. Само собой разумеется, я не претендую при этом на оригинальность: литература по этим вопросам необозрима и может содержать много интересных вещей, которых я не знаю.

2. Пути порабощения человека

Субъективное ощущение *лишения свободы* возникает обычно в виде реакции на изменение положения индивида, ограничивающее привычный для него образ жизни, так что некоторые прежде возможные способы поведения становятся для него невозможными. Как мы уже видели, человек примечательным образом ощущает не "состояние свободы", а "лишение свободы" или избавление от этого лишения.

В действительности это не парадокс, а частный случай общего закона природы. Лишь изменение воспринимается как информация, поскольку информация и есть, по определению, сигнал об изменении состояния системы; поэтому неизменное состояние равновесия вовсе не воспринимается, если оно физиологически выносимо, то есть не производит болезненных ощущений. Лишь получив информацию, живая система на неё реагирует. В этом смысле природа "консервативна", но только в этом. Когда человек получает информацию, он на неё реагирует.

В разных исторических условиях "свободой" назывались самые различные положения человека, воспринимавшиеся им как "нор-

мальные". Когда историки рассказывают нам о "свободных членах общин" в каком-нибудь древнем обществе — например, в Шумере — то речь идёт о положении людей, мало чем отличавшемся от хорошо известной нам крепостной зависимости русских крестьян. И "свободные" общинники-шумеры, и русские крепостные не ощущали своей "несвободы", если их не угнетали какими-нибудь *необычными* для них повинностями. Таким образом, можно дать удовлетворительное определение *несвободы*: это наложение ограничений на поведение человека, необычных в той культуре, где он воспитан.

Заметим, что это определение не зависит от культуры. Между тем, определение "свободы" — если бы мы попытались его дать — зависело бы от культуры, в которой люди привыкли жить; ощущение "свободы" совпадало бы с "нормальным" для них состоянием. Таким образом, наше определение "несвободы" не является прямым отрицанием "свободы"! Точно то же относится к понятию "социальной несправедливости", об относительности которого уже была речь.

Возникновение частной собственности и государства было для подавляющего большинства людей тяжким переживанием — лишением свободы. До этого люди жили в племенном обществе, существовавшем несравненно дольше, чем пришедшее ему на смену "классовое" общество — общество, не признающее равноправия своих членов. Жизнь в племенном обществе была суровой: обязанности по отношению к племени показались бы современному "западному" человеку невыносимым бременем. Как мы уже говорили, европейцы, попавшие в плен к индейцам или африканцам, находили эту жизнь крайне "несвободной" и никогда не могли к ней привыкнуть. *Для них* эта жизнь была полна ограничений, воспринимавшихся членами племени как естественный образ жизни. Точно так же чувствовал себя человек племенного общества в обществе "белых". Традиция, передающая племенной образ жизни, упорно противится новшествам "цивилизации" и долго хранит память о прежней "свободе".

Древнейшей формой порабощения, от которой происходит и самое это слово, было *рабство.* Вначале в войнах между племенами не было пленных: вся польза от побеждённых состояла в том, что их съедали. Но уже на племенной стадии иногда оставляли в живых женщин, которых брали в жены, и в некоторых случаях детей, принимая их в племя победителей. Отсюда могло впоследствии развиться "домашнее" рабство, описанное у Гомера. Иногда можно встретить представление, будто рабство пришло на смену каннибализму, когда оказалось выгоднее использовать рабочую силу че-

ловека, чем съесть его. Это объяснение не выдерживает критики. Хотя в некоторых племенах пережитки каннибализма сохранились до наших дней (обычно в виде культового обряда), в более развитых племенах это поведение исчезло задолго до встречи с европейцами, и безусловно до появления частной собственности и государства. Каннибализм осуждается уже в древнейших греческих мифах: Кронос, пожиравший своих детей, потерял власть над миром.

Распространение рабства было связано с появлением частной собственности и государства. Собственность на землю создаёт потребность в дешёвой рабочей силе, а государство, ведущее войны, поставляет военнопленных, превратившихся в ценный товар. У шумеров иероглиф для слова "раб" первоначально означал "человек с гор": они вели войны с горцами, жившими на восток от Двуречья. Другое шумерское обозначение раба имело также значение "штука"; этим очевидно подчёркивалось превращение человека в "вещь", в предмет хозяйственного обихода вроде скота. Как мы знаем из греческой и римской истории, эта психологическая операция стала неотъемлемым элементом древних культур, точно так же, как это было в Новое время в европейских колониях. Несостоятельных должников продавали в рабство; спасаясь от него, они продавали своих жён и детей. Рабы из собственного народа — иногда бывшие знакомые и соседи — вызывали некоторое неудобство; такую ситуацию пытались рационализировать. В аккадском языке раб назывался словом "арду", первоначально означавшим "опустившийся". Эвмей, образцовый раб Одиссея, объясняет своё положение знаменитыми словами:

> Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
> Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.

Поэтому он и остаётся свинопасом, хотя и с похвальным эпитетом: "свинопас богоравный". Греки не любили обращать в рабство своих соотечественников: в Афинах это запретил Солон. Впрочем, рабы из другого полиса, тоже греки, кажется, не вызывали особенных эмоций. Римляне считали, что отец вправе продавать в рабство своих детей. Злоупотребление этим правом иногда вызывало возмущение; отсюда, по-видимому, произошёл замечательный закон, запрещавший отцу продавать одного и того же сына более трёх раз.

Другая форма порабощения людей, столь же древняя, как рабство, но характерная для стран Древнего Востока — это крепостная зависимость. Члены племенной общины, попавшие в такую зависимость, были прикреплены к определённому участку земли, обычно

к тому же участку, где прежде свободно жили их предки. Они должны были работать под присмотром поставленных над ними начальников, выполняя назначенные нормы и сдавая урожай на склады храма или царя, а впоследствии — помещика. Это было похоже на барщину времён феодализма, сохранявшуюся в России до недавних времён. Сходство столь велико, что кажется естественным использовать тот же термин и назвать таких крестьян “крепостными”. Впрочем, этих древних крепостных нельзя было продавать и переселять с бывшей общинной земли, и за ними признавались некоторые личные права, чем они и отличались от рабов, положение которых скорее было похоже на жизнь чернокожих рабов в Соединённых Штатах. Во всех случаях переход от племенной жизни к подневольному труду был трагическим переживанием, которое мы описываем общим термином “порабощение”. Коллективная память не забывала прошлую жизнь в течение столетий.

Чтобы составить себе общее представление о древней истории, надо уточнить важное культурное различие, выражаемое словами “Восток” и “Запад”. Культуры, называемые “восточными”, развились к югу и юго-востоку от Средиземного моря, в долинах великих рек — Тигра и Евфрата, образовавших плодородную землю Двуречья, и Нила, создавшего Египет. Я не говорю здесь об истории Индии и Китая, во многом напоминающей историю Двуречья и Египта, но не столь древней и оказавшей меньшее влияние на развитие современной культуры. Таким образом, общепринятый у историков термин “Древний Восток” будет дальше относиться лишь к “Ближнему Востоку”. История Древнего Востока, в общепринятом смысле этого термина, охватывает промежуток времени примерно с 3000 лет до н. э., когда возникли первые государства шумеров и египтян, до шестого века до н. э., когда персы завоевали Вавилон (538) и Египет (525). Мы не будем рассматривать в этом смысле более поздние явления, например, дальнейшую историю персов, на которую уже влияли “западные” культуры. Таким образом, Древний Восток существовал около 2500 лет. Народы, населявшие эту часть Земли, принадлежали различным расам, но в большинстве не были индоевропейцами. Шумеры загадочны по своему происхождению и языку, не похожему ни на какой известный язык. Более поздние обитатели Двуречья, аккадцы, вавилоняне и ассирийцы, были семиты. Египтяне были, по-видимому, смешанного происхождения и имели общих предков с берберами и семитами. Общность культур Древнего Востока обусловлена не расовым происхождением, а условиями жизни, определившими их экономический и социальный строй.

Страны к северу от Средиземного моря развились позднее. Эти культуры, из которых нас будут интересовать главным образом греческая и римская, обычно называют "западными", хотя Греция лежит на долготе Египта; к ним применяется чаще всего обозначение "Античный мир". Но мы будем называть культуры Балканского и Апеннинского полуостровов, охватывающие период примерно с 800 года до н. э. до 500 года н. э., термином "Древний Запад", сознательно противопоставляя их восточным культурам. Эти культуры заимствовали важные элементы своей цивилизации у более старых культур Древнего Востока, но, как мы увидим, на них совсем не похожи. Заметим, что греки и римляне принадлежали к индоевропейской расе.

Вопреки представлениям историков девятнадцатого века, долины великих рек не были "колыбелью цивилизации". На заре истории эти долины были заболочены, покрыты джунглями и кишели зверями и насекомыми; их могли освоить лишь люди с развитыми орудиями и навыками труда. То и другое принесли с собой племена, спустившиеся в речные долины с горных склонов, где и возникли первые очаги культуры. Это были спадающие к морю склоны хребта Тавр (на юго-востоке нынешней Турции), хребта Загрос (на юго-западе Ирана) и склоны параллельных хребтов Ливан и Антиливан в Палестине. Первые два из них, вогнутые к югу, называются "Плодородным Полумесяцем". На этих склонах, поросших лесом и орошаемых горными ручьями, впервые возникли животноводство, земледелие и выплавка металлов; отсюда они распространились по всему Восточному полушарию — во всяком случае, по всему Ближнему Востоку и Европе. Примечательно, что культуры индейцев Западного полушария, изолированные от этого центра, так и не научились использовать металлы, не знали колеса и не имели тяглового скота. Мы не знаем, кто были изобретатели цивилизации: их останки нельзя отождествить ни с одной из нынешних рас. Но несомненно их открытия, сделанные 7–10 тысяч лет назад, широко распространились задолго до начала письменной истории. Письменность изобрели шумеры за 3500 лет до н. э., или несколько позже. Египетские иероглифы, появившиеся за 3000 лет до н. э., как и вся необычно скороспелая египетская культура, могли развиться под влиянием шумеров. Во всяком случае, за 3000 лет до н. э. начинается история, засвидетельствованная письменными документами: с этого времени мы знаем, с кем имеем дело. Это и принимается за начало Древнего Востока.

Осушению речных долин, несомненно, способствовало изменение

климата: Ближний Восток становился всё более засушливым. Племенные общины, обрабатывавшие поля, могли получать воду только из реки и должны были рыть каналы. На плодородных землях, удобренных илом, получались высокие урожаи. Население быстро росло; в начале писаной истории мы застаём уже большие посевные площади с развитой системой искусственного орошения. Поддержание и расширение ирригационных сооружений требовало совместных усилий многих общин. По-видимому, координация этих усилий и была первоначальной задачей, стимулировавшей возникновение первых государств: древнейшие документы Двуречья и Египта показывают, что эти государства образовались на берегах рек и с самого начала имели такие функции. Сначала это были небольшие государства; в Шумере, благодаря обильным находкам глиняных табличек с хозяйственными записями, мы можем проследить их жизнь с большой подробностью. В центре такого государства возникал город, где находились храм и царский дворец: это были первые в истории города — Эреду, Урук, Ларса, Лагаш, Ур и другие. Вначале царь был также верховным жрецом; потом эти функции разошлись, и власть царей одержала верх над властью жрецов. Города-государства, не разделённые географическими препятствиями, часто воевали между собой. За тысячу лет шумерской истории лишь два или три раза удачливый царь одного из городов сумел объединить всю страну под своей властью, но эти большие государства держались недолго; кончилось тем, что Шумер был завоёван аккадцами. Впрочем, к тому времени уже сложилась социальная система, которая продержалась без изменений при всех завоевателях — аккадцах, вавилонянах и ассирийцах.

Общинное земледелие постепенно сменилось "государственным". Считалось, что земля принадлежит богу, главным жрецом которого вначале был царь. Крестьяне выходили на работу группами под руководством назначенных храмом надсмотрщиков. Орудия труда и рабочий скот находились при храме, в так называемом "доме плугов", и выдавались работникам под их ответственность. Весь урожай доставлялся в храмовый склад, откуда по установленным нормам отпускались продукты питания и одежда. Часто крестьянам выделяли небольшие куски земли для собственного хозяйства — как мы сказали бы, "приусадебные участки". В некотором смысле это была идеальная "колхозная система" — идеальная в том отношении, что она освящалась религией. Чиновники, управлявшие от имени царя или храма всем хозяйством, вначале были под строгим контролем, о чём говорят документы отчётности и меры взыскания. Но когда

возникли крупные государства, царь не мог уже лично наблюдать за чиновниками, и возникла бюрократическая система, где каждый заботился о себе. Чиновники стремились передать власть своим сыновьям, и постепенно их функции стали наследственными: возникло помещичье землевладение. При вавилонском царе Хаммурапи (около 1750 г.) это фактическое положение вещей уже признаётся законом.

Несомненно, так же обстояло дело и в Египте, хотя египтяне оставили меньше хозяйственных документов: вместо глиняных табличек они писали на деревянных дощечках и других плохо сохранявшихся материалах. Лишь важные сообщения они высекали на камне, так что египетскую историю мы знаем больше с политической стороны, а хозяйственную — по более поздним источникам. В отличие от Двуречья, малые государства вдоль Нила (называемые по-гречески "номами") очень рано подчинились власти единого царя — фараона, который считался живым богом и хозяином всей земли. Крестьянину трудно было восстать против божественного порядка, в котором он вырос. Впрочем, он видел только чиновников, из которых потом вышли помещики. Все завоеватели — гиксосы, эфиопы, ассирийцы, персы — сменяли друг друга высоко над его головой: порабощённый человек жил "вне истории".

Рабство в прямом смысле играло на Востоке меньшую роль. Оно существовало уже у шумеров. Вавилонские и ассирийские цари переселяли целые народы и сажали их на землю в других местах, чтобы сломить их сопротивление. Но крестьянский образ жизни воспроизводился без изменений. Рабство развивалось в городах; долговое рабство сохранялось повсюду. Свободный слой населения, состоявший из чиновников, ремесленников и купцов, составлял небольшое меньшинство населения. *В странах Древнего Востока подавляющая часть населения была всегда порабощена.* Крепостная зависимость создавала традицию, в которой принадлежность общине, неизменное место жительства и религия делали почти невозможным сопротивление такому порядку вещей. Древнейшие народы — шумеры и египтяне — имели детально разработанные представления о загробной жизни, где, по их понятиям, сохранялось сословное деление. Социальный статус на Востоке воспринимался как божественное установление, продолжающееся и после смерти. Меняющиеся завоеватели почти не влияли на положение порабощённой крестьянской общины, которая платила налоги и выполняла повинности для *любой* власти. Отсюда глубоко восточная заповедь христиан: "нет власти не от Бога".

Напомним наше определение несвободы. “Восточный человек”, образ жизни которого мало менялся, не ощущал несвободы; но с *нашей* точки зрения *он никогда не был свободен.* Такая точка зрения имеет смысл в гуманистической системе ценностей, где главной ценностью является растущая человеческая личность. Мы будем всегда отчётливо отделять субъективное ощущение несвободы, зависящее от культурной традиции, от общего представления о несвободе, возникающего из “внекультурной”, гуманистической системы. Конечно, можно возразить, что и эта система ценностей присуща определённой разновидности европейской культуры. Но можно с большой вероятностью предполагать, что мы имеем в ней основу будущей общечеловеческой культуры — о чём ещё будет речь. Люди всех народов, движимые социальным инстинктом, подсознательно стремятся к этой цели. Дальше мы расскажем, что у шумеров была попытка учредить представительное правление — за 2800 лет до нашей эры. Но Восток так и не добился свободы, а привык к своему рабству.

Обратимся теперь к Древнему Западу. Его преимущество перед Древним Востоком состояло прежде всего в том, что он был не столь древним. По-видимому, шумеры и египтяне пришли в долины своих рек ещё первобытными племенами, так что сословная иерархия и государства развились у них уже при оседлой земледельческой жизни, в почти неизменных внешних условиях. Это определило статический характер их цивилизации, а хозяйственные потребности (невозможность земледелия без сложных систем ирригации) задали тенденцию к образованию крупных государств, очень раннюю у египтян, но заметную также у шумеров (где этот процесс был прерван, но в то же время завершён аккадским завоеванием). Иначе обстояло дело на Западе. Эллины пришли на Балканский полуостров, а италийцы на Апеннинский уже на стадии племенных союзов, предшествовавших образованию государств: за 2000 лет до н. э. они были, вероятно, похожи на германцев, изображенных Тацитом. Они не сидели на одном месте, как сидели шумеры и египтяне на плодородных берегах своих рек; как и все индоевропейцы, они долго скитались — может быть, две тысячи лет. Первоначальная родина индоевропейцев была, скорее всего, к югу от Каспийского моря, на плоскогорьях нынешнего Ирана и Восточной Турции. Покинув эту суровую страну, они рассеялись в разные стороны и долго блуждали, сталкиваясь с другими племенами. Это сделало их *воинственными*: у германцев война составляла важнейшее занятие на этом свете и продолжалась за гробом; предки греков и римлян тоже бы-

ли намного воинственнее, чем шумеры и египтяне. Это отразилось и на их религии, хотя мы и не в состоянии проследить этот процесс. Во всяком случае, у индоевропейцев, пришедших в Европу, никогда не было постоянного сословия жрецов, хотя их цари, после образования государств, исполняли также жреческие функции. Складывается впечатление, что у этих кочевых племён *религия и загробная жизнь не играли столь важной роли*, как у древних народов Востока.

Эллины и италийцы шли отдельными волнами, с промежутками в сотни лет. Ахейцы — греки Микенской культуры — пришли на Балканы почти на тысячу лет раньше дорян. Ясно, что эти племена развивались независимо друг от друга, хотя и сохраняли свой язык и обычаи. Они селились в гористых странах, где (особенно в Греции) природные условия привели к изоляции племён. Всё это способствовало *разнообразию* западных культур, в отличие от удручающего однообразия восточных. Крайним проявлением такого однообразия был, конечно, централизованный и не знавший соперников Китай.

Наконец, эллины и италийцы завоевали страны, где застали редкое и отсталое население. В отличие от завоевания Римской империи германцами, завоевателей было здесь намного больше, чем аборигенов; они не могли все стать господами, и большинству пришлось обрабатывать землю. Несомненно, они принесли с собой навыки сельского хозяйства. Страны, где они поселились, не были засушливы, и земледелие не требовало ирригации. Поэтому у них не было столь сильного стимула к созданию крупных государств. Греки просто не были к этому способны и яростно охраняли независимость своих полисов. Прежде чем эта независимость была подавлена завоевателями, у них развился целый спектр государственных механизмов: монархия, аристократия, олигархия, тирания и, наконец, демократия. В некоторых полисах, особенно в Афинах, они пришли к представительному правлению с чем-то вроде конституционного порядка. Афиняне пытались создать общегреческую федерацию демократических государств, но потерпели неудачу. Столь же разнообразны были мелкие государства Италии, до завоевания римлянами; наконец, Рим превратился в мировую империю, объединившую весь Западный мир того времени. Таким образом, Древний Запад создал *весь диапазон политических учреждений*, существующий и до сих пор.

Но важнее всего была родившаяся на Западе *политическая свобода*, какой никогда не знал Восток. После разложения земледельче-

ских общин (оставивших след в исторических источниках) у греков и италийцев возникла частная собственность на землю в виде *прямого крестьянского землевладения.* В течение нескольких столетий основная масса населения Греции и Италии состояла из *свободных людей.* Жизнь свободного крестьянина подробно описана Гесиодом в седьмом веке. Свободные крестьяне составляли главную воинскую силу греков и римлян. Затем, как мы увидим, рабство вытеснило бо́льшую часть свободного труда: дешёвые рабы, захваченные в завоевательных войнах, отучили свободных людей работать, а потом и воевать. Когда уже нельзя было завоёвывать другие страны, поток рабов прекратился. Около 300 года н. э. помещичьи имения — латифундии — обрабатывались уже "свободными" людьми, впавшими в долговую зависимость; наконец, император Диоклетиан закрепил этих "колонов" за имениями, и большинство прежде свободного населения окончательно обратилось в крепостных. Империя была окружена свободными племенами, и её участь не вызывала сомнений:

"Свободой Рим возрос, а рабством погублен".

Восточная Римская империя, влачившая своё существование ещё тысячу лет и обычно именуемая Византийской, также закрепостила крестьян, приписав их к помещичьим имениям. Это были уже "Средние века", или "феодализм". Германцы, завоевав Западную империю, стали там феодалами, но крепостные остались в прежнем положении. Эта крепостная зависимость напоминала скорее не Древний Запад, а Древний Восток.

Граждане Греции и Рима почти тысячу лет были свободны от личной зависимости и большей частью зарабатывали себе на жизнь собственным трудом, на своей земле или в своих мастерских. Но рабство подорвало их трудовую мораль и гражданскую доблесть, а затем христианская религия, среди прочих восточных идей, привила им сомнительную добродетель смирения. И всё же, цивилизация Древнего Запада оставила человечеству незабываемое воспоминание свободы: его никогда уже не удалось изгнать из человеческого ума.

Как мы видели, история Древнего Востока отразила главным образом тенденцию к порабощению, а история Древнего Запада — тенденцию к свободе. Этому различию между Востоком и Западом придают иногда "расовый" характер, абсолютизируя два разных человеческих типа. Киплинг выразил это ощущение популярными в своё время стихами:

Oh, East is East, and West is West,
and never the twain shall meet[1].

В действительности здесь не расовое, а временно́е различие: государства Востока возникли на 2000 лет раньше, чем государства Запада. Последней монархией Древнего Востока — типично восточной империей — была Персидская, столкнувшаяся с греками в начале пятого века. Персы, много заимствовавшие у вавилонян и ассирийцев, ходили в длинных одеждах, в тяжёлых головных уборах, и приветствовали своих царей и вельмож унизительными церемониями. Но при всех этих "восточных" нравах персы были индоевропейцы. С другой стороны, около 2800 года до н. э. шумерский царь города Урук созвал для решения вопроса о войне и мире "двухпалатный парламент": в верхней палате заседали старейшины, а в нижней — представители народа. Старейшины предпочли унизительный мир, но нижняя палата высказалась за освободительную войну; и была война. Мы не знаем, какой расы были шумеры, но уж точно они не были сродни европейцам. Другим необычным народом были евреи — семиты, как вавилоняне и ассирийцы. Но евреи очень долго не хотели иметь никакого государства, они веровали в единого бога и возлагали надежды на *будущее*, когда придёт Мессия. До этого, как известно, люди представляли себе золотой век в прошлом.

3. Начало классового общества

Как мы уже видели, в древнейших обществах социальное положение человека воспринималось с непостижимым для нас смирением. Европейцы, встречаясь с этой психологией на Востоке, называют её фатализмом: ещё и в наши дни предполагается, что "восточный человек" принимает свою судьбу с каким-нибудь смиренномудрым изречением, "да исполнится воля Аллаха", или что-нибудь в этом роде. Но уже в древнейших государствах не только возникает противостояние бедных и богатых: бедные начинают осознавать своё положение. Жалобы бедняка, запечатлённые на шумерских табличках, будут без конца повторяться в истории всех народов:

"Богатство далеко — нужда близко".
"Бедняку нигде не рады".
"Бедняку лучше умереть, чем жить!
Если у него есть хлеб, то нет соли;
если есть соль, то нет хлеба;

[1]Восток — это Восток, а Запад — это Запад, и им никогда не сойтись.

если есть мясо, то нет ягнёнка;
если есть ягнёнок, то нет мяса".

Причины бедности — на этой неизменно плодородной земле Двуречья — тоже достаточно ясны; бедный человек видит всю иерархию государственной власти, но, по обыкновению всех угнетённых, сосредоточивает свои чувства на её самых знакомых агентах:

"Можешь иметь господина, можешь иметь царя,
но больше всего бойся сборщика налогов".

По-видимому, шумеры удивлялись собственной покорности: поговорка гласит: "Бедняки — самые тихие люди в стране". Но другая поговорка выдаёт чувства, далёкие от восточного фатализма: "Не все семьи бедняков одинаково покорны". Были уже и утешительные пошлости, повторяемые до наших дней:

Тот, у кого много серебра, может быть и счастлив,
Тот, у кого много ячменя, может быть и счастлив,
Но тот, у кого нет совсем ничего, спит спокойно.

Конечно, бедняки были неграмотны: обучение письму было сложным и дорогостоящим делом. Поэтому тексты редко передают чувства бедных, а если передают, то лишь в косвенной форме. В "диспуте меди и серебра" медь бросает серебру "язвительные слова":

Серебро, если бы не было дворцов,
Тебе негде было бы находиться, негде жить;
Одна лишь могила, "место ухода", была бы твоим пристанищем.
...Подобно богу, ты не прикоснёшься ни к какой полезной работе.
Как же смеешь ты нападать на меня, словно волк?!
Ступай в тёмные сундуки дворцов, укладывайся в свои гробницы!

Уподобление людей разным металлам стало, через тысячи лет, мотивом классической древности; в отличие от Гесиода и Платона, шумерский автор неизменно восхваляет медь. Но мышление этого народа было очень далеко от девиза Нового времени: "Человек, помоги себе сам!" Как объясняет шумеролог С. Н. Крамер, "в основе всех этических представлений шумеров лежало твёрдое убеждение, что человек был создан из глины для служения богам". Защита бедняков — дело богини Нанше:

Сироту она знает, вдову она знает,
Как человек человека притесняет, она знает...
Дабы к дому должника найти пути,
Госпожа беглеца возвращает в родимое лоно,

Бедняку она отыскивает место...
Дабы сирот утешить, вдов обеспечить,
Дабы власти сильного дать предел,
Дабы сильного отдать слабому,
Взоры Нанше проникают в сердца людей.

Впрочем, когда дела шли совсем плохо, случалось и другое. До нас дошло сообщение о реформе, проведённой в царстве Лагаш четыре с половиной тысячи лет назад. Об этом рассказывает глиняный документ, найденный в нескольких экземплярах, на трёх глиняных конусах и одной овальной пластинке. Вот что говорит древний историк. Цари Лагаша, одержимые честолюбием, развязывали войны с другими государствами. Один из них сумел даже распространить власть Лагаша на весь Шумер. Но победы были недолговечны: завоевания были потеряны, и Лагаш был разгромлен соседним государством Уммой. Во время войны дворцовая клика усилила свой контроль над населением, а потом не захотела вернуться к прежним порядкам: резко возросли налоги и повинности. "Лучшие земли бога", то есть бывшие общинные земли, теперь обрабатывались для энси (царя); "быки бога", то есть принадлежавшие общинам, должны были их пахать. Чиновники — смотрители, поставленные энси — захватывали скот, рыбные угодья, взимали непомерные сборы даже по поводу свадеб и похорон: "всюду были сборщики налогов". "Дома энси и поля энси, дома дворцового гарема и поля дворцового гарема, дома дворцовой семьи и поля дворцовой семьи простирались из конца в конец". В это время, в условиях общего недовольства бедных, к власти пришёл новый энси Урукагина (по другому чтению, Уруинимгина), не принадлежавший к прежней династии и, следовательно, "незаконный". Историк не говорит нам, каким образом этот новый царь пришёл к власти — мирным путём или насильственным; говорится только, что ему "повелел властвовать" бог Нингирсу, и что у него было 36000 подданных. Урукагина провёл первую социальную реформу в истории — во всяком случае, первую, о которой мы знаем; эта реформа описывается как возвращение к старым, справедливым порядкам:

"Божественные решения прежние ... он к людям приложил, слово, которое царь его Нингирсу ему сказал, он установил. Сборщики налогов исчезли с кораблей, не стало их на берегах прудов. На землях бога до самого моря не осталось ни одного сборщика налогов".

В действительности царь не отменил налоги, а снизил их и ограничил произвол чиновников: теперь никто уже не смел "врываться

в сад матери бедняка". Такие заверения в соблюдении законов перешли к потомству и сохранились в позднейших шумерских актах. Но правление царя-реформатора длилось всего шесть лет. На седьмой год на Лагаш напал царь соседнего государства Уммы, Лугальзаггиси, который разгромил и другие государства, подчинив себе весь Шумер, — впрочем, ненадолго: вскоре Шумером завладел аккадский царь Саргон, и история восточных деспотий пошла своим чередом.

В этом документе впервые в истории встречается слово "свобода" — по-шумерски "амарги". Не могу забыть, с каким чувством я смотрел на эти глиняные конусы в Лувре.

Мы находим у шумеров те же чувства, которые волнуют нас сегодня, те же моральные понятия. Это доказывает, что при всех культурных различиях между людьми *исходный материал человеческой морали коренится в наших инстинктах.* Изложение этой инстинктивной основы поведения в главе 3 — не простое повторение романтических представлений о благородных дикарях, навеянное знакомством с бесклассовым обществом индейцев. Это тема, *повторяющаяся во всех культурах* и, следовательно, зависящая не от культурной, а от *генетической* наследственности человека.

Но, конечно, мышление шумеров было примитивно: не забудем, что это был первый народ, научившийся сохранять свои мысли с помощью письма. Все знания, содержащиеся в их табличках, сводятся к бесконечным рядам примеров, как выполнять те или иные действия: по-видимому, они неспособны были формулировать общие правила и учили прямой демонстрацией, как это и теперь делают ремесленники. Никому из них не приходило в голову написать общую историю своего народа, или хотя бы своего города; они изображали лишь отдельные события, как мы только что видели в случае реформатора Урукагины. Конечно, их понятия о жизни были статичны и выражали зависимость от богов, которых у шумеров было больше трёх тысяч. Естественно, эти стереотипы зависимости переносились и на земных владык, неизменно опиравшихся на божественную санкцию своей власти; в столь древние времена они и сами могли в это верить.

Но и в древнем мире было развитие. Сменявшие друг друга иноплеменные завоеватели приносили с собой новых богов и новые обычаи. И хотя закрепощённые крестьянские общины, сохранявшие свои традиции, мало чувствовали эти изменения, со временем ослабевала даже вера в божественную справедливость. В вавилонской литературе мы находим уже пессимистические мотивы, мучитель-

ные сомнения, пришедшие оттуда на страницы Библии:

> “Я призывал моего бога, но он не показал мне своего лица,
> Я молился своей богине, но она даже не подняла головы”.

Невольно вспоминается первое предчувствие атеизма:

> “И сказал неразумный в сердце своём: нет бога”.

В той же вавилонской литературе пессимизм соединяется уже с гневным раздражением против общественного порядка. В так называемом “Разговоре господина с рабом” разочарованный в жизни господин докучает рабу своими требованиями, на что раб отвечает стереотипной угодливостью. Но в конце концов на вопрос господина “Теперь, что же хорошо?” раб говорит с дерзкой насмешкой: “Сломать шею мою и твою и кинуть в реку, это хорошо. Кто столь высок, чтобы взойти на небо, и кто столь велик, чтобы заполнить землю?”

Это та самая “реакция на социальную несправедливость”, которую мы ищем в истории — и находим повсюду. В Библии эта реакция пробивается через все заповеди религии: вспомним, как пророк Самуил объяснял евреям, что такое царская власть.

Самым внушительным воплощением восточного деспотизма было, конечно, царство фараонов в Египте. Эта страна, защищённая от внешнего мира пустынями и морем, очень мало меняла свой образ жизни в течение почти трёх тысяч лет. Неподвижность и эгоцентрическую замкнутость этой цивилизации можно сопоставить только с историей Китая, далеко не столь древней. Древнее царство (3000–2400 годы до н. э.), время сооружения пирамид, стало символом абсолютной власти одного человека над покорным народом. В то время Египет не опасался внешних врагов и не очень интересовался внешним миром. Ежегодные разливы Нила, регулярные, как часовой механизм, удобряли его землю плодородным илом, а щедрое солнце, при почти безоблачном небе, доставляло богатый урожай. Всё это приписывалось воле богов и заслугам фараона, который считался живым богом. Фараоны и жрецы решали, какие события заслуживают увековечения, и составленные ими сообщения гравировались на камне “священными” иероглифами, сохранявшими свою “рисуночную” форму. Чтобы вычеканить полный титул фараона, бригада опытных мастеров должна была работать в течение недели.

Главным строительным материалом в Египте был камень. Из камня были построены “великие пирамиды” IV династии (2600–2500 гг. до н. э.). Каждая их них предназначалась для погребения определённого фараона. Строили их целые армии мобилизованных

на некоторый срок крепостных крестьян. По-видимому, прочность пирамид и целый ряд хитростей, преграждавших доступ к мумии фараона, должны были обеспечить сохранение их тела, что имело в египетской религии важное значение. Все эти заботы были напрасны: за редчайшими исключениями, гробницы фараонов ещё в древности были ограблены, причём грабители, как теперь известно, нередко получали информацию от жрецов и охраны. Такова оборотная сторона земного величия. В частности, не найдены мумии фараонов Древнего царства, затративших бо́льшую часть жизни на подготовку своих гробниц: вообще, египтяне едва ли не больше думали о своей загробной жизни, чем о земной. Греческие историки Геродот и Диодор Сицилийский сообщают нам египетское предание: угнетённый народ, ненавидевший этих фараонов, восстал и выбросил из пирамид мумии своих мучителей. Эти историки вряд ли опирались — через две тысячи лет — на достоверную информацию, но у народа долгая память, и само сообщение вполне правдоподобно. Во всяком случае, Древнее царство рухнуло в конце VI династии в условиях, которые впоследствии описывались как "смута". Власть фараонов стала эфемерной; усилилось значение "номархов", вельмож, управлявших бывшими независимыми царствами, номами. Эти царьки, сделавшие свою власть наследственной, стали теперь заботиться о своей "социальной репутации". Один из них, Нехабу, пишет о себе: "Я всегда давал одежду, хлеб и пиво бедняку и голодному человеку. Я был любим всеми людьми". Другой, Теф-иби, восхваляет себя следующим образом: "У меня были прекрасные намерения, я был полезен своему городу ... моё лицо было обращено к вдове ... я был Нилом для своего народа". Как известно, всякая власть, уже не внушающая прежнего страха, пытается быть популярной. До тех пор владыки Востока полагались на страх.

Можно предполагать, что "смута", положившая конец Древнему царству, была связана с восстаниями крепостных и рабов. Лучше известна другая "смута", между Средним и Новым царством, настолько ослабившая египетское государство, что Египет, впервые в его истории, подвергся завоеванию. Около 1700 года до н. э. его покорили гиксосы, степные кочевники, владевшие большей частью страны полтора столетия. Это "смутное время" ярко описано в двух литературных памятниках: в лейденском папирусе "Поучение Ипувера" и в "Поучении Ноферреху", хранящемся в петербургском Эрмитаже. Оба текста, написанные в более позднее время, несомненно изображают реальные события, хотя и трактуют их с позиций господствующего класса. Мудрец Ипувер "поучает" некоего царя, перечисляя

беспорядки, происходившие в Египте:

“Воистину: лица свирепы... Лучшая земля в руках банд... Нет нигде человека вчерашнего дня... Грабители повсюду. Каждый человек говорит: «мы не понимаем, что происходит в стране»... Простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот, кто не мог изготовить себе даже сандалий, стал теперь собственником богатств. Надсмотрщики рабов — сердца их скорбны... Благородные — в горе, простолюдины же — в радости. Каждый город говорит: «Да будем бить мы знатных среди нас»... Сын мужа сделался человеком, которого не знают. Сын жены, бывшей госпожой его, сделался сыном его рабыни... Пустыней стала страна, номы разграблены, варвары извне пришли в Египет... Нет больше нигде египтян. Золото, ляпис-лазурь, малахит, сердолик, камень Ибхет висят на шее рабынь. Благородные женщины скитаются по стране. Владычицы дома говорят: «О, если бы мы имели, что поесть»... Благородные женщины — тела их страдают от лохмотьев, сердца их разрываются, когда они спрашивают о здоровье тех, кто их сам прежде спрашивал о здоровье... Весь юг не платит подати из-за смуты. Для чего казначейство без податей своих... Сердце же царя только тогда радостно, когда к нему приходят приношения... Азиаты стали подобны знатным, а египтяне — чужеземцам, выкинутым на дорогу... Не прекращается шум и годы шума. Нет конца шуму... Тайны бальзамировщиков раскрыты... Свободные поставлены к работе над ручными мельницами. Те, которые были одеты в тонкое полотно, они избиваются палками. Те, кто не видел сияния дня, они выходят беспрепятственно. Те, которые лежали на ложах мужей своих, пусть спят они на баржах... Воистину, все рабыни стали владеть устами своими. Если говорят их госпожи, это тяжело рабыням... Вельможи голодны и в отчаянии”.

В общем, “кто был ничем, тот станет всем”, как обещано в Интернационале. Как видите, обещание это исполнялось уже очень давно, и примерно в тех же формах, как у нас в России в годы гражданской войны. По-видимому, автор этих жалоб — чиновник, так что его особенно огорчают нарушения бюрократического порядка:

“Я подавлен совсем. О, если бы был услышан мой голос в этот час, чтобы он спас меня от несчастья! Прекрасная судебная палата, расхищены её акты, извлечены из хранилищ её тайны. Магические формулы стали общеизвестны. Заклинания шем и сехен стали опасны, ибо их запоминают все... Вскрыты архивы. Похищены их податные декларации... Рабы стали владельцами рабов... Бедные люди достигли положения богов, ибо судопроизводство дома

Тридцати лишилось своей замкнутости... Бедные люди выходят и входят в великие дворцы".

Затем автор, опасаясь, что "невежде всё это покажется прекрасным", пытается сделать некоторые обобщения:

"Смотрите: огонь поднялся высоко. Пламя его исходит от врагов страны. Свершились дела, которые, казалось, никогда не могли свершиться. Царь захвачен бедными людьми. Погребённый соколом (т. е. царь), лежит он на простых носилках. То, что скрывала пирамида, то стало пустым...".

Здесь можно увидеть не только предание, рассказанное Геродотом и Диодором, но и вечно повторяющееся обвинение мятежников с позиций патриотизма. Оказывается, во всём виновата небольшая группа заговорщиков:

"Было приступлено к устранению в стране царской власти немногими людьми, не знающими закона. Приступили люди к мятежу против урея (глаза) Ра, умиротворяющего обе земли (Верхний и Нижний Египет). Сокровенное страны, границы которой не знали, стало известно... Все стремятся разжечь гражданскую войну".

Можно подумать, что это и в самом деле жалоба на революцию какого-нибудь монархиста. В этом же документе мы встречаем характерную для того времени формулу отчаяния:

"Человек ожесточённый говорит: если бы я знал, где бог, я принёс бы ему жертву".

Конечно, эти "поучения" не следует модернизировать. Египтяне не обладали ни историческим мышлением, ни политическими теориями: они были просто порабощены своей традицией и приходили в ужас, когда эта традиция нарушалась. "Устранение царской власти" могло означать только заговор против такого-то фараона, но никак не учреждение республики. Египтяне не были "консерваторы" в нашем смысле слова: они были просто "законсервированы". Идеология Ипувера сводится к тому, что мятежи вредны для всех египтян и полезны для их врагов. Но вряд ли эти декламации могли убедить "тех, кто не видел сияния дня". Они предназначались тем, кого не надо было убеждать — как и все "поучения" дальнейших времён.

То, что произошло в Египте между Средним и Новым царством, вовсе не было "революцией", как пытались доказать некоторые историки. Революция — это сознательное изменение общественного строя. Между тем египтяне и их иноплеменные рабы знали только деспотическую систему восточного типа и сохраняли некоторые представления о племенной жизни. Ностальгия по племенной жиз-

ни, с которой мы ещё встретимся в истории, не могла принять радикального характера: никто не мыслил себе сознательное изменение строя жизни по человеческой воле. В древности мы встречаемся лишь со стремлением установить "более справедливый" порядок, какой был когда-то у предков. При этом порядке был бы более справедливый фараон, более терпимые налоги, и те же боги, установившие такой образ жизни. Но, конечно, отдельный человек мог надеяться на лучшее место в обществе: ведь даже в Египте была некоторая "социальная подвижность". Люди, в отличие от муравьёв и пчёл, не рождаются пригодными только для одной функции, и в конце Среднего царства египтянин мог уже представить себя на месте своего господина.

Поэтому восстания рабов всегда сводились к мести своим угнетателям и стремлению занять их место, а это могло привести только к анархии и развалу экономической и социальной машины. Угнетённые рабы вызывают симпатию, но восстания рабов, не ставящие себе никакой цели и не достигающие никакой цели, демонстрируют малоприятные стороны человеческой природы — ярость и отчаяние. Как мы увидим, революции могут быть чем-то бóльшим: это явление недавнего происхождения. В древности восстания могли, в лучшем случае, привести к организованной войне, возглавляемой каким-нибудь вождём, причём такие войны всегда терпели поражение — во всяком случае, в тех странах, о которых мы говорим. В Китае повстанцы иногда одерживали верх, и это всегда кончалось тем, что их вождь начинал новую династию; то же мог бы сделать в допетровской Руси какой-нибудь самозванец. В Египте мы не слышим о "рабских войнах", там была только анархия. Даже в самых древних теократических государствах выносливость людей имела предел; но неразвитость их мышления приводила лишь к бессмысленной резне.

4. Рабство и свобода

Хотя чрезмерное угнетение и приводило иногда к стихийным мятежам, Древний Восток породил самое полное порабощение человека. Как можно думать, действие социального инстинкта было уравновешено в то время культурной традицией, глубоко внедрившей в подсознание человека сословную иерархию и навыки пассивного повиновения. Люди в самом деле верили в то время, что общественный порядок установлен богами: в это верили не только закрепощённые труженики, но и сами асоциальные паразиты, копошившиеся

на верхних этажах общественного здания. Неподвижность самопонимания и понимания мира объяснялись, главным образом, медленностью и непрерывностью перехода от племенного образа жизни к сословному государству, при котором труженик не переставал чувствовать себя членом общины. Связь его с другими членами общины уходила корнями в племенное прошлое, и он не покидал родной деревни, где жили его предки. В древневосточном обществе не было теоретического мышления, способного исследовать и поставить под сомнение существующий общественный строй. Мышление людей неизбежно вращалось в фантастическом мире религиозных идей. Эту безвыходность мышления мы находим и на Западе, где древние философы не умели представить себе ничего, кроме циклического повторения известных им политических форм.

Такое общество никогда не возрождалось и не возродится. Даже в Средние века, во многом напоминавшие неподвижность Древнего Востока, были уже новые элементы культуры, делавшие возвращение к такому прошлому невозможным. История никогда не возвращается к пройденному, хотя люди часто пытаются это делать. Повторение означало бы *забвение* пройденного пути, то есть патологический регресс, выбрасывающий племя на обочину исторического пути. Антропологи думают, что так обстоит дело у некоторых выродившихся племён, но нашей современной культуре это ещё не грозит.

Напомним ещё раз, что наше исследование основывается на единственно возможной для историка точке зрения его собственной культуры и его собственного времени. Мы не пытаемся понять древнего человека “изнутри” его культуры, как это сделал бы “культурный релятивист”, который попросту отказывается от части наличных средств своего мышления. Научное мышление нельзя упрощать, имитируя привычки массовой культуры.

Коренное отличие Древнего Запада от предшествовавшего ему Древнего Востока состоит в возникновении *свободы*, которой сопутствовало, однако, развитие *рабства*. Мы уже видели, каким образом из завоевания малонаселённых стран возникло свободное крестьянское землевладение, а затем свободное ремесло. Свободные крестьяне могли сохранить свою независимость лишь в ожесточённой борьбе с крупными собственниками, стремившимися присвоить их землю. Эти крупные собственники, большей частью выходцы из родовой аристократии, использовали в своих интересах привилегии своего положения. Отсюда возникла борьба “бедных” с “богатыми” за юридическое равноправие — сначала за равенство перед зако-

ном, а потом за равенство в управлении государством. Это стремление к *равенству*, замеченное Токвилем в истории Европы, вовсе не ограничивается этой частью света и борьбой буржуазии с феодальным строем: Токвиль мог бы столь же убедительно проследить его, например, в истории Афин. Речь идёт об универсальном мотиве человеческого поведения. Но с нашей точки зрения этот мотив не первичен: стремление к равенству есть, как мы полагаем, лишь средство достижения *свободы*.

Как уже было сказано, в каждой культуре ощущение "несвободы" возникает при нарушении выработанного этой культурой равновесия между инстинктивными побуждениями человека и привычными условиями жизни. Если некоторое явление, препятствующее проявлению инстинктивных побуждений, начинает восприниматься в данной культуре как "социальная несправедливость", то человек этой культуры ощущает себя несвободным и начинает бороться за свободу. Иначе говоря: если человеку мешают делать то, что он хочет делать, причём эти помехи уже не могут быть "оправданы" его культурной традицией, то он стремится освободиться от этих помех. Тогда социальный инстинкт, лежащий в основе ценностей любой культуры, освобождается от благоговения перед привычным общественным строем и неизменно направляет человека против асоциальных паразитов.

Может случиться, что этот инстинкт "ошибается", что, например, ограничения свободы происходят от объективных причин, не зависящих от "паразитизма". Конечно, наш социальный инстинкт выработался в условиях небольшой первобытной группы, как и другие наши инстинкты. В современном сложном обществе такие ошибки особенно возможны: в таком обществе уже труднее "любить своего ближнего" — как выражается социальный инстинкт на языке западной культуры. Но дело не в том, *хотим ли мы сохранить эту заповедь, а в том, возможна ли вообще культура, не принимающая во внимание человеческие инстинкты.* И если нам укажут на культуры Древнего Востока, то можно спросить, какова цена такого "умиротворения" нашей биологической природы, и готовы ли мы уплатить эту цену? По-видимому, любое "умиротворение" социального инстинкта предполагает его локализацию на определённой популяции — например, на членах сельской общины, как это было на Древнем Востоке, или на "свободных гражданах", как это было в Греции и Риме. Более того, культурная традиция Древнего Запада жёстко выделяла особый тип людей, "выключавший" социальный инстинкт. Это были *рабы*.

Дорийские завоеватели Греции (12–11 века до н. э.) положили начало массовому применению рабского труда, заставив побеждённые племена работать вместо себя. Особенно известна история спартанцев, вовсе отвыкших от труда и живших на казарменном положении в страхе перед илотами, более многочисленными и всегда готовыми к восстанию. Этот паразитический образ жизни сделал Спарту самым отсталым из греческих государств: спартанцы не оставили после себя почти никаких памятников культуры, так что мы знаем их только по рассказам более цивилизованных греков. Нехитрую психологию, которая довела их государство до полного вырождения, описал критский поэт Габрий, тоже дорянин:

“Вот в чём богатство моё: меч и копье,
К ним прекрасный мой щит — телу защита;
Им я пашу, им я сею,
Им выжимаю вино из винограда,
Им я толпою рабов владыкой зовусь”.

Илоты были мессенцы, такие же греки, как и спартанцы, обращённые в рабство после военного поражения. Потом рабов стали покупать, как об этом рассказывается в уцелевшем отрывке историка Феопомпа:

“Хиосцы первыми из эллинов (после фессалийцев и лакедемонян) начали пользоваться рабами. Однако способ приобретения рабов был у них не тот, что у тех... Ибо лакедемоняне и фессалийцы обратили в рабство эллинов, раньше населявших страну, которой они теперь обладают, — лакедемоняне ахейцев, фессалийцы перребов и магнетов, — и назвали их: первые — илотами, вторые — пенестами. Хиосцы же приобретали себе рабов за плату...”.

По-видимому, покупка рабов за деньги вначале вызывала некоторое неодобрение; во всяком случае, сохранивший этот отрывок Афиней, живший на 500 лет позже автора, комментирует его следующим образом: “Я думаю, что из-за этого на хиосцев разгневалось божество, ибо позднее они вели между собой войны из-за рабов”. Но уже Гесиод, живший в конце 8-го века до н. э., описывает в своей поэме “Дела и дни”, как ему помогают в труде не только батраки, но и “юный невольник”. Брат его, по имени Перс, был не столь благоразумен и впал в нищету. За это его могли продать в рабство, как это делалось в то время во всех греческих государствах. Впрочем, греки в конце концов возмутились против обращения в рабство своих сограждан.

В отличие от цивилизаций Древнего Востока, греческая циви-

лизация обладала уже теоретическим мышлением, в значительной степени свободным от религиозных и племенных предубеждений. У них были, в нашем смысле слова, настоящие историки и социологи, хотя до нас дошла лишь небольшая, и может быть не самая важная часть их трудов. Поразительно, однако, как плохо они понимали значение рабства, и как легко принимали его за неизбежную сторону человеческой жизни. Правда, Фукидид считал своей задачей лишь описание исторических событий с объяснением их мотивов, но не входил в рассмотрение первичных основ общественной жизни; возможно, он принимал человеческую природу такой, как она есть, и не заботился об её улучшении. Платон и Аристотель, сочинения которых дошли до нас почти полностью, были уже, по-видимому, мыслители греческого декаданса. Платон был утопический консерватор и поклонник спартанских порядков; он хотел бы только, чтобы идеальным государством-казармой руководили "философы", которым, впрочем, запрещалось бы думать о чем-нибудь новом. Аристотель, с его более трезвым мышлением, имел научные интересы, но положение главы "афинской школы" вынуждало его писать на всевозможные темы. В человеческих делах он не был самостоятельным мыслителем и всегда держался общепринятых мнений. Вот образец его рассуждений на общественные темы:

"В целях взаимного самосохранения, необходимо объединяться попарно существу, в силу своей природы властвующему, и существу, в силу своей природы подвластному. Первое, благодаря своим интеллектуальным свойствам, способно к предвидению, и потому оно, уже по природе своей, существо властвующее и господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, по природе своей существо подвластное и рабствующее. В этом отношении и господином, и рабом, в их взаимном объединении, руководит общность интересов".

В другом месте Аристотель, очень странным образом для изобретателя силлогизмов, пытается вывести неизбежность рабства из первичного строения семьи: элементы семьи, по его мнению, это "родители, дети и *рабы*". Представляю себе, как смеялись бы над таким глубокомыслием в доме Перикла, где делали афинскую политику задолго до того, как Аристотель её описал. Впрочем, он и сам знает, что есть другие мнения: в той же "Политике" он сообщает:

"Есть люди, которые смотрят на власть хозяина, как на противоестественную. Это закон, говорят они, а не природа, разделил людей на свободных и на рабов. Таким образом, рабство несправедливо, так как оно насильственно".

До нас не дошли сочинения этих более глубоких философов, но мы знаем суждения великих греческих писателей. Уже Эсхил говорит о Кассандре (“Агамемнон”):

> В душе её дыханье видно божества;
> Оно её объемлет, хоть она раба.

Софокл, по цитате Стобея, говорит:

> Пусть тело рабское, но ум свободного.

А Еврипид, по-видимому, видит в рабе просто человека:

> Раба позорное название носить —
> Такая участь многих; духом же они
> Свободней тех, кого рабами не зовут.

Несомненно, официальная доктрина рабовладельческого государства, высказанная Аристотелем, никоим образом не выражает всей гаммы человеческих отношений в “классической древности”. Отношение к рабам было *амбивалентным*: в обращении с рабом-чужеземцем дозволялись крайние проявления агрессивности, часто переходившие в садизм, но это не могло остановить постепенное распространение социального инстинкта на все человеческие существа. В Афинах было примерно столько же рабов, сколько свободных, так что средняя семья владела двумя или тремя рабами; в четвёртом веке герой комедии Менандра мог ещё сказать: “Побеждать на войне присуще свободным людям; возделывать землю — дело рабов”. Но бедные люди не имели рабов и должны были работать сами. В Афинах закон запрещал убивать раба, и свидетельства того же Менандра и Герода говорят о том, что греки признавали в своих рабах все человеческие свойства. Столкновение инстинкта и традиции вызывало ощущение нечистой совести. Но законы по-прежнему делали вид, будто нет никаких проблем. В Риме был древний закон, наказывавший рабов за убийство их господина: все рабы, находившиеся во время убийства в том же доме, подлежали казни. Сенат, напуганный восстаниями рабов, возобновил действие этого закона. Когда после убийства Падания повели на казнь четыреста его рабов, это вызвало сопротивление народа: понадобилось применить военную силу.

Сами рабы, в отличие от крестьян Древнего Востока, не признавали за господами никакого права на свой труд. Спартанские илоты восставали при любой возможности, и нередко ставили государство своих господ на край гибели; в конечном счёте они добились независимости и пережили своих выродившихся хозяев. Римляне сгоняли рабов из всех покорённых стран, но те находили общий язык и

восставали. Сицилия, превращённая римлянами в страну рабского труда, была охвачена восстанием ещё в начале второго века до н. э., и все способы подавления не мешали разноплеменным рабам этого острова восставать снова и снова. Восстание Спартака, начавшееся в 74 году до н. э. в школе гладиаторов, превратилось в подлинную войну рабов против Рима, охватившую всю Италию. Страх перед рабами во многом определил грубость и жестокость римских обычаев, напоминавших скорее Спарту, чем Афины.

Восстания рабов были безнадёжны, потому что они были бесцельны. Обычно рабы хотели вернуться к себе на родину, но их родные страны были уже, большей частью, под властью Рима. Они хотели сокрушить римское государство, но это было им не под силу без поддержки извне. В конечном счёте германские племена уничтожили Римскую империю, но тогда уже и сами римляне не были свободны. Наконец, рабы хотели отомстить своим хозяевам и хотя бы ненадолго воспользоваться их богатством; это им иногда удавалось.

Более осмысленной была борьба свободных бедных против богатых, у которых им удалось вырвать некоторые привилегии. Но эта классовая борьба была, как правило, отделена от борьбы рабов со своими господами. Свободные бедняки не только не защищали интересы рабов, но обычно отказывали в гражданских правах свободным людям другого происхождения. Только один раз — в Афинах — и только на несколько десятилетий им удалось добиться гражданского равноправия. Богатства, впрочем, остались в руках богатых.

5. Изобретение денег и его последствия

Как уже было сказано, эллины пришли на Балканский полуостров на той стадии развития, когда племенные союзы превращались в государства. Земля была населена малочисленными и слабыми племенами, и пришельцы разделили её между собой. Лучшие участки захватили знатные, обрабатывавшие их руками наёмных батраков, а также рабов разного происхождения. Остальную землю превратили в общинную, и по мере разложения общины она была разделена между свободными крестьянами, "геоморами". Главной формой хозяйства везде, даже на бедной почве Аттики, оставалось земледелие. Естественно, только крупные землевладельцы — вначале одни аристократы — были богатыми людьми, так что слово "эвпатриды" ("благородные") означало одновременно и "знатных", и "богатых". До седьмого века до н. э. экономика оставалась почти замкнутой: за исключением металлов и предметов роскоши, ничего

не ввозили, и очень мало вывозили. Потребности бедных были по необходимости ограничены, но и богатые жили сравнительно простой жизнью[1]. Ремесленники обслуживали лишь местные нужды, и чаще всего их труд оплачивался натурой. Радикальным изменением, намного ускорившим процессы общественного развития, было *изобретение денег.*

Конечно, *торговля* существовала задолго до этого. Как показывают раскопки, уже в доисторические времена в обширных областях Европы и Азии появлялись редкие камни: янтарь с берегов Балтийского моря, лазурит с Памира, нефрит из Китая; они могли прийти в эти места только путём многократного обмена. Позже предметом дальней торговли стало олово, нужное для выплавки бронзы. Уже в исторические времена египтяне и критяне ввозили недостававшие им породы дерева, сосуды и предметы роскоши; торговля была у них обычно монополией царей. В Ассирии были, как известно, и частные купцы, а финикияне вели уже обширную торговлю по берегам Средиземного моря. При этом товары не только обменивались, но в качестве платёжных средств применялись металлы — серебро и золото, а вначале также медь и железо. Это было неудобно, так как требовало каждый раз взвешивания металла, при отсутствии общепринятых мер веса, и при недостоверном качестве металла. Предметами торговли были только редкие, особенные товары, так что объём её был относительно невелик. В основном же хозяйство было "автаркическим", то есть всё необходимое производилось на месте потребления и потреблялось либо самим производителем, либо, посредством обмена, соседним населением. Торговля расширилась, когда появился *избыточный продукт.* Например, афиняне научились выращивать больше оливок и винограда, чем требовалось им самим, но не могли произвести достаточно зерна; а "скифы-пахари" в устье Днепра выращивали на своей плодородной земле избыток пшеницы, но нуждались в оливковом масле и вине. Как известно, Афины уже в шестом веке перешли на "украинский" хлеб. Расширение производства приводило к росту торговли, а рост торговли требовал стандартного и надёжного платёжного средства: это и были деньги.

Естественно, древним внушали доверие лишь такие деньги, которые содержали свою ценность в самом своём материале, то есть

[1] Описания роскоши ахейских царей у Гомера относятся к другой, более развитой культуре, известной ему по преданию. Дорийцы уничтожили эту культуру и жили примитивной жизнью, как и сам Гомер, жизнь которого относят к 8 веку.

металлические монеты. Такие монеты, с гарантированным составом металла и символическим изображением, а потом и с надписью, стали чеканить некоторые государства, а затем все другие последовали их примеру. Первые монеты появились в седьмом веке в Лидии, малоазиатском (не греческом) царстве, богатом драгоценными металлами. Их делали сначала из "электрона" — сплава золота и серебра — а затем лидийский царь Крез стал чеканить их из золота. В Греции первые деньги выпустили на острове Эгине, недалеко от Афин: там было совсем мало земли, и приходилось жить торговлей. Эгинцы, не имевшие "избыточных продуктов", стали "посредниками".

Деньги вызвали в Греции широкое развитие *ремесла.* Искусные мастера могли теперь производить намного больше товаров, чем нужно было их городу: они стали делать их на вывоз и жили на вырученные деньги. Таким образом возникло производство для рынка, или *рыночное хозяйство.* Мы уже отметили исключительное искусство афинских мастеров. Однако, главным занятием, кормившим большинство греков, оставалось сельское хозяйство, и деньги способствовали быстрому разорению крестьян. Вот как описывает этот процесс специалист по истории греческой экономики Ю. Белох:

"В областях, примыкающих к Эгейскому морю, которые достигли высокой степени экономического развития, уже в VII веке обрабатывалась, без сомнения, вся годная для земледелия почва. Уже в то время народонаселение здесь было так густо, что Солон был принуждён запретить вывоз из Аттики всех земледельческих продуктов, за исключением лишь оливкового масла... А так как в большинстве греческих государств господствовал закон, в силу которого наследство после смерти отца делилось поровну между сыновьями — безразлично, как земля, так и движимое имущество — то дробление земельной собственности должно было постоянно возрастать. Если в обыкновенное время владельцы таких мелких хозяйств коекак перебивались, то при каждом неурожае бледная нужда стучалась в дверь. А времена были уже не те, когда богатый помещик охотно делился с нуждающимся соседом своим избытком, которым он, притом, вероятно и не мог бы воспользоваться. Теперь и сельские хозяева отправляли свои продукты на рынок; поэтому за подобные ссуды стали взимать вознаграждение. Таким образом, в экономическую жизнь греков вступил новый фактор: процент. Обеспечением служил земельный участок, на котором кредитор ставил камень с высеченным на нем закладным актом ("орос"); если ценность участка была ниже долговой суммы, то должник и его семья отвечали своим телом. При этом размер процентов был высок, как всегда бы-

вает при первобытном экономическом строе; 18% считались в Афинах во времена Солона умеренной платой. При таких условиях заем должен был в большинстве случаев разорять крестьянина, тем более, что после падения царской власти всё управление и судопроизводство находились в руках знати, *которая тогда, как во все времена, пользовалась своим положением для извлечения экономических выгод*".

Обратите внимание на последние слова, выражающие как раз одну из главных идей нашей книги! Их сказал около 1900 года немецкий консервативный историк Юлиус Белох — я только выделил их курсивом. А вот закладная запись на долговом столбе; их найдено много, и они похожи друг на друга:

"При Теофрасте архонте. Долговой камень на землю за неуплату Фанострату Пэанию цены в... (следуют цифры)".

Если должник не возвращал в срок указанную сумму, продавали в рабство членов его семьи или его самого. Читатель может найти такую процедуру несправедливой, поскольку заимодавец очевидным образом использовал здесь трудное положение должника, навязав ему высокий процент, а потом с холодной жестокостью распоряжался "его телом". Это очень раннее проявление того, что называется "эксплуатацией человека человеком". Я не настаиваю на том, что здесь в самом деле имеется такая эксплуатация, отдавая себе отчёт в трудности определения этого понятия. Предмет моей книги — исследование общественного явления, реакции на "так называемую эксплуатацию". Посмотрим, как реагировал на неё консервативный Аристотель, сторонник умеренного олигархического правления. Его "Афинская полития", найденная в песках Египта в конце девятнадцатого века, служит драгоценным источником по этому вопросу.

"Долгое время знать и народ вели между собой борьбу. Ведь в то время у нас и у всех других [греков] государственный строй был олигархический, и бедные были в порабощении у богатых, как сами, так и дети их и жены; назывались они пелатами и гектоморами (шестидольниками), потому что на таких именно арендных условиях обрабатывали они поля богачей; ведь вся земля была в руках немногих. Если же они не вносили условленной платы, они становились кабальными, как сами, так и их дети. До Солона все предоставляли деньги взаймы под залог личной свободы. Солон был первым заступником народа. Тяжело и горько было большинству граждан быть в порабощении. Да и не только это, народ тяготился и всем остальным, так как, можно сказать, ни в чём не имел участия... При таком-то положении государства, когда большинство было в

порабощении у немногих, народ восстал против знати. Когда восстание после продолжительной борьбы приняло острый характер, противники сообща избрали посредником и архонтом Солона и поручили ему управление государством".

Это была первая социальная реформа, о которой мы имеем достаточно подробные сведения (594 г. до н. э.). Солон был из знатного, но небогатого рода; он приобрёл популярность, настояв на войне с Мегарой, отнявшей у афинян остров Саламин, и выиграв эту войну. Кроме того, он был талантливым поэтом: его "элегии", повествующие о предложенных и проведённых им реформах, играли тогда роль политической публицистики; некоторые из них до нас дошли. Солон был избран первым архонтом — главой правления — с полномочиями провести общую реформу государства. Таких посредников называли "айсимнетами". Солона поддерживала не только масса бедного населения, но и часть эвпатридов, понимавшая опасность начинавшейся революции. Прежде всего, Солон отменил все долговые обязательства: по его словам, он

С земли повсюду снял воздвигнутые грани,
И в рабстве бывшая досель земля свободна стала.

Это не значит, что долги не могли возникать в дальнейшем, но Солон запретил долговое рабство и выкупил рабов, проданных на чужбину, а "бывших в рабстве на месте" освободил. Этим он, без сомнения, предотвратил гражданскую войну; но он не согласился на передел земли, как требовали бедные. Вместо этого он, по-видимому, восстановил древнее ограничение земельной собственности, какое было, как нам известно, и у римлян. Таким образом, этот "закон о земельном максимуме", вызывающий сомнения у некоторых историков, был не совсем радикальным новшеством; вот что говорит о нем Аристотель: "Что уравнение собственности имеет своё значение в государственном общежитии, это, по-видимому, ясно сознавали и некоторые из древних законодателей. Так, например, Солон установил закон, действующий также и в других государствах, по которому запрещается приобретение земли в каком угодно количестве". Впрочем, Аристотель не сообщает, в чём именно состоит этот закон, а распространяется дальше о пользе умеренности и о воспитании граждан в этом духе. Закон о максимуме вряд ли имел практическое применение. Но отмена долгового рабства привела к увеличению числа средних земельных собственников, ставших впоследствии опорой афинской демократии.

Солон реформировал также политическую систему Афин.

Прежние цензовые категории, определявшие права и обязанности граждан, основывались на происхождении; Солон сохранил это деление, но сделал его *имущественным*. Тем самым *частная собственность* была официально признана новой основой государственного строя. Богатые пользовались преимуществом при занятии должностей; но и бедные играли некоторую роль, поскольку Солон предоставил им бóльшие права в народном собрании и суде. Это было умеренное олигархическое правление, какое предпочитал Аристотель. Иначе думали афинские ремесленники, мало выигравшие от реформы Солона: их значение в государстве становилось всё больше, между тем как цензовое деление было построено на продукции земледелия, измеряемой количеством зерна и оливок. Таким образом, реформа Солона оказалась лишь началом революционного процесса, как это неизменно случалось после всех реформ.

Солон не хотел власти для себя, но вскоре нашёлся не столь совестливый человек, Писистрат, взявшийся провести дальнейшие реформы насильственно; он захватил единоличную власть и стал, по выражению греков, "тираном". Убедившись, что тирания имеет нежелательные стороны, афиняне вернулись к представительному правлению. Как мы видим, они воспринимали конфликт в своём государстве как борьбу бедных и богатых, то есть — в нашей терминологии — как классовую борьбу. Они понимали, что надо както разрешить "социальный вопрос", и хотели сделать это мирными средствами, "парламентским путем". Правящая верхушка, состоявшая обычно из богатых, откупалась от бедных, устраивая для них общественные работы: таким образом — хотя и не только с этой целью — был построен Парфенон. Но бедные в конце концов добились равноправия всех граждан — "изономии": на это Афинам понадобилось полтораста лет.

Военные поражения погубили афинскую демократию. В древности она была, конечно, необычным и "преждевременным" явлением. Рабство делало её неспособной к развитию, а уровень общественного сознания не мог преодолеть это препятствие. Она достигла высшего развития при Перикле, которого избирали стратегом с 444 до 430 года.

В 431 году вождь афинского демоса произнёс знаменитую речь на похоронах воинов, павших в Пелопоннесской войне. Эта речь, рассказанная Фукидидом, изображает идеал демократии — подлинное завещание Древнего мира Новому миру.

"Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служили образцом для некоторых, чем подра-

жали другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши представляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другими не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или ином деле; равным образом, скромность знания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живём свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в своё удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но всё же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и повинуемся лицам, облечённым властью в данное время, в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи не писаными, влекут общепризнанный позор. Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как благопристойностью домашней обстановки, повседневное наслаждение которой прогоняет уныние. Сверх того, благодаря обширности нашего города, к нам со всей земли стекается всё, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли. В заботах о военном деле мы отличаемся от противников следующим: государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иноземцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город, так как нас нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-нибудь не сокрытое, воспользуется им для себя; мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях. Что касается воспитания, то противники наши ещё с детства закаляются в мужестве тяжёлыми упражнениями, мы же ведём непринуждённый образ жизни и, тем не менее, с не меньшей отвагой идём на борьбу с равносильным противником. И вот доказательство этому: лакедемоняне идут войною на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли и там, на чужбине, без труда побеждаем большею частью тех, кто

защищает своё достояние. Никто из врагов не встречался ещё со всеми нашими силами во всей их совокупности, потому что в одно и то же время мы заботимся и о нашем флоте, и на суше высылаем наших граждан на многие предприятия. Когда в стычке с какоюлибо частью наших войск враги одерживают победу над нею, они кичатся, будто отразили всех нас, а потерпев поражение, говорят, что побеждены нашими совокупными силами. Хотя мы и охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним, чем из привычки к тяжёлым упражнениям, скорее по храбрости, свойственной нашему характеру, нежели предписываемой законами, всё же преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими лишениями, а, подвергшись им, оказываемся мужественными не меньше наших противников, проводящих время в постоянных трудах. И по этой и по другим ещё причинам государство наше достойно удивления. Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас не постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из неё трудом. Одним и тем же лицам можно у нас заботиться о своих домашних делах и заниматься делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо понимание дел государственных. Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить их, не считая речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по нашему мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без предварительного уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное предприятие; у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу, размышление же — нерешительность. Самыми сильными натурами должны, по справедливости, считаться те люди, которые вполне отчётливо знают и ужасы и сладости жизни, и когда это не заставляет их отступать перед опасностями. Равным образом, в отношении человека к человеку мы поступаем противоположно большинству: друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их оказываем. Оказавший услугу — более надёжный друг, так как он своим расположением к получившему услугу сохраняет в нем чувство признательности; напротив, человек облагодетельствованный менее чувствителен: он знает, что ему

предстоит возвратить услугу, как лежащий на нем долг, а не из чувства благодарности. Мы одни оказываем благодеяния безбоязненно, не столько из расчёта на выгоды, сколько из доверия, покоящегося на свободе. Говоря коротко, я утверждаю, что всё наше государство — центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности и, выполняя своё дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния. Что всё сказанное не громкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина, доказывает самое значение нашего государства, приобретённое нами именно благодаря этим свойствам... Мы нашею отвагою заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него".

Попытка освобождения человека, предпринятая древними греками, не удалась. Европа погрузилась во тьму средневековья на тысячу лет. Но переживание свободы не было забыто. В "классической древности" люди искали образцы знания и мудрости. Монахи переписывали малопонятные книги древних: это считалось богоугодным делом. Ожидает ли нашу культуру та же судьба?

Глава 7

Христианство и Средние века

1. Гибель древней цивилизации

Древняя цивилизация достигла в Греции высочайшего развития. Мы знаем её по немногим уцелевшим образцам. Варвары уничтожили александрийскую библиотеку: это были не арабы, а христианские фанатики; христианские рыцари уничтожили в Византии остатки греческой письменности. Немногие дошедшие до нас книги переписывали монахи, единственно грамотные люди Тёмных Веков. Дошли до нас самые популярные авторы, которых переписывали чаще всего. Среди них были некоторые из лучших писателей, но мы слишком хорошо знаем, что другие, не менее важные авторы никогда не бывают популярны; чаще всего мы знаем лишь их имена, или случайные цитаты из их сочинений. Поэмы Гомера и Гесиода, пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана остаются непревзойдёнными творениями мировой литературы. До нас дошли книги Геродота и Фукидида, но почти все труды других историков утрачены — приходится довольствоваться компиляциями, из которых также уцелели отдельные куски.

Вероятно, мы знаем главные работы греческих математиков и астрономов. "Начала" Евклида в течение двух тысяч лет служили единственным источником подлинной науки, вместе с "Альмагестом" Птолемея, резюмировавшим греческую астрономию. Работы величайших греческих учёных, Архимеда и Аполлония из Перги, сохранились лишь частично; с них и началась наука Нового времени. Работа Аристарха Самосского, утверждавшего, что Земля вращается вокруг Солнца, утрачена: мы знаем о ней лишь со слов Архимеда. Утрачены труды Левкиппа и Демокрита, развивавших атомную теорию вещества. Из всех греческих философов до нас дошли, по существу, только Платон и Аристотель; остальные известны лишь по отрывкам и цитатам. Христиане уважали Платона, потому что многие "отцы церкви" получили образование у его эпигонов, а сочинения Аристотеля, по исторической случайности, приобрели у христианских богословов особый авторитет, поскольку их уважали мусульманские богословы в Испании, откуда они получили эти

книги в арабском переводе. Мусульмане же почитали Аристотеля не столько за его философию, сколько в качестве учителя Искандера, Александра Македонского, оставшегося на Востоке сказочным героем до наших дней. Философия Платона — его пресловутая "теория идей" — была сильнейшим препятствием для научного исследования природы, а компилятор и систематик Аристотель заслонил от европейцев всех оригинальных мыслителей древности. В 1204 году христианские рыцари, взяв штурмом Византию, бросали в огонь греческие книги, написанные непонятными буквами и содержавшие, по их мнению, православную ересь. В этот день мы лишились почти всего, что осталось от древней культуры. Всё, что мы о ней знаем, сохранили беглецы.

В пятом веке император Феодосий приказал уничтожить все скульптуры, поскольку они изображали, как он думал, языческих идолов. То, что до нас дошло, ускользнуло от внимания христианских фанатиков. Из всей греческой скульптуры осталось несколько повреждённых образцов; всё остальное — ремесленные копии. Труднее было уничтожить архитектуру: Парфенон сохранился до 17 века. В 1687 году турки, владевшие в то время Грецией, устроили в нем пороховой склад, а венецианцы, осаждавшие Афины, взорвали его артиллерийской бомбой; теперь мы видим лишь его руины. Это было уже после эпохи Возрождения, когда художественное значение Парфенона было хорошо известно, особенно в Италии.

В сущности, культура Древнего Запада — или "Античного мира" — была создана греками. Римская культура была подражательной: при большом объёме деятельности, римляне проявили мало творческих способностей. Они усваивали греческие идеи и применяли их на практике: можно сказать, что это была нация инженеров. Впрочем, нельзя утверждать, что римляне сами проектировали свои знаменитые здания (обычно дурных пропорций, с безвкусными украшениями), что они сами изобрели арочный свод и сферический купол. Ведь у них были греческие рабы и наёмные специалисты, имена которых не назывались. Витрувий был автор учебника и не претендовал ни на какие новшества. Во всяком случае, почти все римские скульптуры были копиями или подражаниями греческим образцам, и делали их греки. Римская литература, по-видимому, всегда может быть возведена к греческим прообразам; если это не удаётся, то можно подозревать, что мы просто не знаем этих образцов. Трудно найти что-нибудь оригинальное у Марка Аврелия, писавшего по-гречески; вряд ли его мысли сохранились бы, не будь он император. Лукреций изложил по-латыни философию Эпикура;

Цицерон и Сенека были компиляторы греческих философов, Плавт и Теренций — компиляторы греческих драматургов. Боэций, считающийся римским философом, через семьсот лет после Архимеда не умел вычислить площадь треугольника! По-видимому, практичных римлян интересовало только приобретение и удержание собственности: они были солдаты и юристы, политики и администраторы. Конечно, они распространили свою культуру на всю территорию завоёванных стран, оказав этим огромное влияние на всё дальнейшее развитие Европы, и не только Европы. Но сама эта культура была эклектическим сооружением из грубого латинского материала и приспособленных к нему греческих деталей. Оно было построено с большим запасом прочности, но без той гибкости и подвижности, которые даются только свободой.

Римские плебеи так и не добились гражданского равноправия. Рим был и остался после всех реформ олигархической республикой. Граждане голосовали по центуриям, так что каждая центурия имела один голос. При этом "центурии" были определены таким образом, что всадники и первый имущественный класс имели вместе 98 центурий, а остальные четыре класса, общим числом, 95. Таким образом, результат голосования зависел лишь от двух самых богатых классов. Обсуждения вопросов не было: народ мог только одобрить или нет предложения должностных лиц. Местом обсуждения был сенат, где заседали сначала только патриции, а потом также самые богатые из плебеев. Римская республика никогда не была демократией, а сменившая её империя была военной диктатурой, в конечном счёте закрепостившей всё население. Римский плебс боролся за свободу, но ни разу её не достиг.

Если не говорить о жалком продолжении Римской империи, об исторически бездарной империи со столицей в Византии, то конец Римского государства наступил в 476 году, когда германский вождь Одоакр упразднил фиктивную должность императора и принял на себя власть над Римом. К этому времени вся западная часть Римской империи была захвачена германскими племенами. Это и считается концом Древнего мира. Но причину его гибели надо искать в более ранних явлениях, обессиливших греко-римскую культуру. Силу её составляли свободные граждане греческих полисов и Римской республики, и эта *сила исчезла, когда не стало свободных граждан.* Символом её был старый воин Цинциннат: когда сенаторы пришли к нему со знаками диктатуры, они нашли его в поле за плугом, и он дважды сложил с себя звание диктатора, выполнив свой долг. Это было в пятом веке до н.э., и вряд ли это выдумано: такое выдумать

нельзя. Когда не стало свободных граждан, государство перестало быть "общим делом" (res publica), и защита его больше не интересовала простого человека, привыкшего полагаться на попечение власть имущих. Солдат пришлось нанимать: в Греции это началось уже в 4 веке до н. э., а в Риме в 1 веке н. э. При серьёзной военной опасности наёмная армия ненадёжна, особенно если ей нечем платить; и, независимо от внешней опасности, она сама становится главной опасностью для государства, устраивая военные перевороты и приводя к власти своих предводителей. Это означает конец гражданского общества.

Рабство погубило Римскую империю прямым и очевидным способом: *воинская доблесть была утрачена вместе с привычкой к труду.* Уже и раньше тяжёлые виды труда выполняли рабы, а затем и плуг, и меч стали тяжелы для "свободного" человека. Римляне презирали покорённых ими греков, называя их уменьшительной кличкой graeculus, "гречик": они видели в греке ненадёжного, продажного человека, слово которого ничего не стоит. Через триста лет такими же стали они сами, и по той же причине. Презрение к личному труду означало, что без него можно было обойтись, то есть можно было заменить его рабским трудом. А поскольку уже господствовало денежное хозяйство, это, в свою очередь, означало, что рабский труд был *дешевле* свободного труда. Почти непрерывные войны доставляли всё новые партии живого товара; были постоянные рынки, где рабов продавали, а затем доставляли во все места, где на них был спрос. В Греции, где были мастера высокой квалификации, рабы всё же не могли полностью заменить свободный труд. Но в Риме, в период завоеваний, целые армии дешёвых рабов совсем вытеснили свободного производителя. Бо́льшая часть Италии и вся Сицилия превратились в латифундии и пастбища, обслуживаемые рабами. Римские "пролетарии" стали паразитами государства; чтобы удержать их в спокойствии, им бесплатно раздавали продовольствие и билеты в цирк, откуда и произошло известное требование черни: "хлеба и зрелищ". Итак, с экономической стороны *свободный гражданин стал лишним.* Он мог быть только надсмотрщиком над рабами, чиновником или офицером, а вся государственная машина, прежде спаянная общим интересом, держалась теперь только насилием. Но оказалось, что одним принуждением государство жить не может. Государство с умирающей культурой должно погибнуть: мы живём как раз в такую эпоху, когда это нетрудно понять.

Рабство проще всего объяснить, рассматривая раба как "живую машину". Древние часто прибегали к такой терминологии, называя

раба “говорящим орудием”. В наши дни писатели-фантасты любят изображать общество, обслуживаемое роботами, и неизменно наталкиваются на те же конфликты, которые погубили древний мир. Вероятно, дешёвый рабский труд и был причиной угасания греческого гения. Конечно, учёный или художник имеет неэкономические стимулы деятельности. Но если личный труд считается недостойным свободного человека, то учёный не станет возиться с приборами в лаборатории, а направит свой ум по благородному пути интроспекции, пытаясь извлечь всё знание из наблюдения собственных мыслительных процессов. Соблазн оказался опасным, потому что самое надёжное знание явилось и самым первым — это была математика; можно было думать, что в этом случае знание получается без всякого опыта, усилием чистого разума. Этот путь и указал божественный Платон, самым серьёзным образом настаивавший, чтобы астрономы не наблюдали небо. Художники тоже потеряли стимулы к творчеству, потому что их публика утратила интерес ко всему серьёзному — у нас в России такая публика называется “мещанской”. Комедии Менандра изображают нам греческих мещан, устраивающих свои нехитрые дела и далёких от каких-нибудь неличных интересов. Уже тогда они полагали, что всё остальное надо предоставить начальству.

И всё же, потеря научной и технической изобретательности представляет величайшую загадку древнего мира. У греков эти способности угасли ещё до принятия христианства, в 1–2 веках н. э. Складывается впечатление, будто они превратились в другой этнос; и в самом деле, они даже придумали себе другое название: в Восточной империи, которую мы называем Византийской, греки, продолжавшие говорить по-гречески и всегда остававшиеся господствующей нацией, называли себя “ромеями”, то есть римлянами. Я уже назвал эту империю жалкой, и сейчас объясню, почему. Она существовала более тысячи лет, с пятого века до 1453 года, когда турки прекратили её бессмысленное существование. Территория её постепенно сокращалась, но Константинополь — как называли прежний Византий — оставался самым большим городом на свете, кроме, может быть, городов Китая. В этой империи процветали ремесла, производились великолепные ткани, металлические и гончарные изделия, предметы роскоши; жители столицы увлекались политикой и спортом, но политика сводилась к дворцовым переворотам, а спорт — к обычному в наше время культу чемпионов. И за тысячу лет греки не совершили ничего нового ни в науке, ни в литературе, ни в искусстве — ни даже в религии. Они только хранили и почитали своё

прошлое, насколько это дозволяла церковь, и насколько они способны были понять своих предков: они цеплялись за славные имена, за установленные репутации. По языку и обычаям это были те же греки, но утратившие всякую любознательность, всякую живость ума. Христианская религия превратилась у них в догматическую систему суеверий, без следа милосердия: император Василий, прозванный Болгаробойцей, ослепил десять тысяч пленных болгар и велел отвести их на родину, в назидание сородичам. Церковь поощряла умственную апатию: одна из христианских добродетелей носила в Византии название, в буквальном переводе означающее "тупоумие".

Что же случилось с греками? Простейшее объяснение было бы в том, что их сделала такими христианская религия. В самом деле, эта религия была совсем непохожа на прежнюю. Прежде, во времена "язычества", не было особого сословия жрецов, и все сакральные церемонии выполняли в течение определённого времени люди из "благородных" семей. Не было никакой "теологии", и все сведения о богах приходилось получать от поэтов; каждый волен был рассуждать о религии, как хотел, и от гражданина требовали только формального выполнения некоторых обрядов. Христианская церковь, пришедшая с Востока, была создана еврейскими сектантами и несла на себе отпечаток еврейской культуры, впитавшей в себя к тому времени фантастические суеверия египтян и сирийцев. В частности, в христианской церкви, наподобие еврейской, возникло сословие жрецов, установивших жёсткую систему догм, именуемую "теологией". В борьбе с "ересями" у этой церкви выработалась нетерпимость ко всякой самостоятельной мысли: даже если эта мысль и не относилась к религии, самостоятельно мыслящий человек был опасен, поскольку *любое* новшество могло превратиться в ересь. Мы знаем по собственному опыту, что́ означает "идеологическая цензура", и может показаться, будто мы нашли объяснение духовной кастрации греков. Эту сторону дела ясно видел Гиббон, исследовавший упадок Римской империи. Но, по-видимому, здесь был сложный процесс, в котором новая религия взаимодействовала с новым складом мышления и чувствования, зародившимся до неё и независимо от неё, искавшим "спасения" в различных суевериях, не только заимствованных, но и местных. Ведь у греков, наряду с официальным культом олимпийских богов, были "элевсинские мистерии", пифагорейство и другие, более вульгарные секты, которые изобразил Лукиан. Об этой духовной потребности ещё будет речь.

Почти невероятно, что греки и римляне *не применяли машин.* В древности производство почти не было связано с наукой. Техно-

логия изготовления вещей выработалась в начале античности, и по существу уже не менялась. В Римском государстве, существовавшем 1200 лет, производили, перевозили и продавали всевозможные вещи, но всегда применяли одни и те же убогие технические приёмы, требовавшие огромных затрат физического труда. Об этой инерции технического мышления много писали. Её объясняли, как уже говорилось выше, дешевизной рабов и предрассудками, унижавшими ручной труд. Древние вовсе не были бездарны в техническом отношении. Герон Александрийский придумал множество машин, в том числе прообраз паровой турбины, но все эти вещи были известны лишь как салонные игрушки. Кажется, некоторое применение получил только архимедов винт для подъёма воды. В древности не умели даже как следует запрягать лошадей: пользовались хомутом, сдавливавшим лошади горло и мешавшим ей везти груз. Разумную упряжь изобрели только в средние века.

Техническая инертность древних особенно удивительна в военном деле. Римляне, не знавшие ничего важнее войны, никогда не выдумали никакого нового оружия. Они заимствовали новую форму меча у галлов, новый тип дротика у испанцев. Даже их военная организация, по-видимому, столетиями не менялась: знаменитый римский лагерь оставался таким, как его описал Полибий. В течение трёх лет, с 215 до 212 года до н. э., римская армия не могла взять Сиракузы, несмотря на подавляющее численное превосходство. Мешала им изобретательность одного человека: Архимед придумал множество военных машин. Полководец Марцелл якобы приказал сохранить ему жизнь, но римский солдат раскроил голову учёному, занятому решением задачи.

Может быть и верно, что римский вельможа, несомненно получивший греческое образование, хотел сохранить жизнь знаменитого мудреца. Но понимал ли он значение его изобретений? Как это ни странно, римляне ничего не пытались узнать у его учеников и никогда не применяли этих удивительных изобретений. Всё это напоминает ацтеков, у которых были игрушечные тележки, но все грузы перевозились вьюками: считается, что они “не знали колеса”. Мы смотрим на этих индейцев с насмешкой, но ведь у них мог быть свой Герон.

Я думаю, что главной причиной застоя в Древнем мире была психическая установка человека, не верившего в возможность что-нибудь изменить в ходе человеческих дел. Древний человек стоял на коленях перед историей. Греческий эксперимент свободы не удался, а римская система порабощения пришла к жалкому концу.

Крепостные-колоны, сменившие свободных граждан, предпочитали власть варваров, ненавидя бюрократическую систему выродившейся империи. Отчаявшись в земном спасении, люди искали утешения в новой религии.

2. Сущность христианства

Важнейшим событием древней истории, завершающим эту эпоху и начинающим Средние века, было возникновение *христианской религии.* В отличие от племенных религий древности, эта религия была универсальной: она обращалась к каждому человеку — бедному или богатому, свободному или рабу, независимо от его происхождения. Тем самым христианская религия начала радикальную *глобализацию социального инстинкта*, в чём и состоит её главное значение. Как признаю́т все христиане, основным этическим принципом этой религии является "любовь к ближнему", не ограниченная ни происхождением, ни социальным положением человека. Это было коренное изменение культурной традиции, и поскольку в то время никакое изменение традиции не могло осуществиться без санкции свыше, это означало создание новой религии. Греки, римляне и многие другие народы Римской империи бессознательно искали уже такую религию: это стремление воспринималось как "жажда спасения". Конечно, исходные мотивы религиозного движения лишь косвенно относились к его историческому результату — так всегда бывало в истории.

В конце Древнего мира возникло множество сект, происходивших преимущественно с Востока, где ещё со времени Александра Македонского вследствие смешения культур усилилось религиозное брожение. Одна из религий, возникшая ещё раньше, была универсальна в этническом смысле и предлагала принцип безграничной любви: это было учение Будды. Но это учение было адресовано скорее одиноким отшельникам, чем простым людям, и в своём чистом виде не могло стать массовой религией; вероятно, индийские идеи повлияли через Пифагора на греческую философию. Христианство конкурировало с другими религиями, особенно с персидским культом Митры, и одержало над ними верх благодаря своим психологическим преимуществам.

На языке психологии "спасение" означает психическое равновесие, которого уже не могли дать в то время старые религии. Города-государства Греции и Италии имели своих "общинных" богов-покровителей, принесённых предками с далёкой родины индоевро-

пейцев. Но в эллинистическую эпоху греки расселились по всем странам Ближнего Востока, где выросли большие города с разноплемённым населением и развилось рыночное хозяйство. В Александрии, Антиохии, Иерусалиме, а потом и в самом Риме было множество бедных людей — ремесленников и торговцев, рабов и слуг, солдат и чиновников, наконец, как всегда в больших городах, просто бедняков, перебивавшихся случайными заработками. В столице Египта Александрии примерно равные доли населения составляли греки, евреи и коренные египтяне, с заметной прибавкой римлян, так что в этом космополитическом городе звучали четыре языка, и вдобавок языки рабов, матросов и купцов со всех концов Средиземного моря. Греки из разных частей Эллады смешались, их прежние диалекты слились в общегреческий простонародный язык "койнѐ"; вместо покровительства местных богов им пришлось довольствоваться общей "олимпийской" религией, уже испытавшей египетское влияние. Даже евреи, фанатически преданные своему единому богу, уже перестали понимать язык Библии и говорили по-гречески, так что для них пришлось перевести их священное писание на чужой язык. Таким образом, Римское государство, облегчившее миграцию населения и торговлю, создало космополитическую среду, в значительной мере потерявшую прежние религии, но, конечно, суеверную и нуждавшуюся в новой культурной традиции, которую могла дать лишь новая религия.

Эта новая религия рождалась в больших городах, среди бедных людей разного происхождения. Напротив, в сельских местностях язычество держалось дольше всего, откуда и возникло латинское название язычника paganus, что первоначально означало "сельский житель". В Риме христианство привилось не сразу: там было однородное большинство латинского населения, и власти препятствовали введению чужих культов. В Иерусалиме, где была первая христианская община, новая секта быстро угасла: у евреев была единственная в своём роде теология и каста жрецов, следивших за правоверием. Возглавлявший эту общину евреев-христиан Яков, считающийся братом Христа, был побит камнями. И хотя Иудея была в то время местом интенсивного религиозного движения, ереси еврейской религии всегда угасали, и эта религия не раскалывалась. Только одна секта христиан (которых евреи называли "миним") уцелела, перейдя к язычникам. Её успех нуждается в объяснении.

Мы уже знаем, что дуализм "любви" и "ненависти" на биологическом языке расшифровывается как взаимодействие инстинктов — социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии —

при участии других человеческих инстинктов. Это объяснение отнюдь не является тавтологией, то есть не сводится к перемене названий. Оно позволяет, например, понять, что и "любовь", и "ненависть" принципиально неустранимы, потому что неустранимы порождающие их отдельные инстинкты. Нельзя толковать "ненависть" как "недостаток любви", наподобие того как "холод" объясняется в физике недостатком тепла. Поэтому нельзя рассчитывать на будущее "царство любви", то есть на общество, где вовсе не будет "ненависти". Приходится примириться с биологической неизбежностью обеих эмоций и научиться ими владеть. Конечно, понимание этого древним было недоступно, что и сделало возможной христианскую религию с её утопическим толкованием "любви к ближним".

Мы описали выше, как было нарушено равновесие между двумя великими инстинктами, сложившееся на Востоке в статическом сословном порядке. В обществе Древнего Запада это привело к непрерывной многовековой классовой борьбе, в которой богатые неизменно имели преимущество над бедными, поскольку они издавна контролировали государственные механизмы, владели материальными средствами и, наконец, могли получить дорогостоящее образование. Последняя причина объясняет, почему все лидеры бедных, от Солона до Маркса, были выходцы из другого класса. Сословное общество рушилось под действием денег, и во всех государствах разгорелась яростная классовая борьба: примеры предыдущей главы нетрудно было бы умножить. Те, кто считает классовую борьбу выдумкой социалистов, не читали ни Фукидида, ни Тита Ливия, а заимствуют свои представления у журналистов. Чтобы избежать гражданских конфликтов, правящие классы древности — то есть богатые — прибегали к двум средствам: либо пытались избавиться от излишка бедного населения с помощью вывода колоний, либо направляли внимание народа на какого-нибудь "внешнего врага" и провоцировали войну. Вряд ли надо объяснять, что эта политика не всегда была сознательной, даже в Новой истории. Но в ряде случаев можно отчётливо проследить связь между внутренним напряжением и внешними предприятиями, особенно в хорошо известной нам истории Афин. Возможности колонизации были ограничены, а борьба за колонии и выгодные пути к ним, опять-таки, приводила к войне. В истории Греции междоусобные войны выглядят как патологическое явление, в конечном счёте сгубившее греческую культуру.

Римские патриции сумели перевести классовое недовольство на путь завоевательных войн, создав мировую империю, где римляне стали "расой господ". Эти люди обладали необычайным искусством

управления, которое можно считать особым дарованием римлян; их подражатели, претендовавшие впоследствии на мировое господство, никогда не могли с ними сравняться. Но в интересующую нас эпоху завоевательный потенциал Рима был исчерпан, поставки рабов прекратились, и оба указанных выше средства не могли уже помочь. Бедные были разрознены: свободные презирали рабов, и племенные раздоры не позволяли им объединиться. Они были бессильны перед Римским государством, но ненавидели его и не хотели его защищать. Завоевателей они скорее приветствовали, что было важной причиной распада империи. Но вернёмся к эпохе зарождения христианства.

Представим себе психическое состояние бедного человека в древнем мире. В социальном смысле он был бесправен и слаб: сила и право были тогда на стороне богатства, ещё больше, чем сейчас. Его не защищала даже юридическая фикция "равенства перед законом", которая ещё не была изобретена. В больших городах Ближнего Востока, где возникло христианство, неравенство было слишком очевидно. Это было смешанное общество из людей разного происхождения и положения, уже непохожее на патриархальное общество с его сакральным, освящённым веками строем жизни. Богатый и сильный, противостоявший здесь бедному и слабому, был ему *чужой*, не вызывал у него традиционного почтения. Подсознательное, а часто и сознательное негодование против асоциальных паразитов, бесстыдно демонстрировавших свои преимущества, вызывало у него *агрессивность*, сдерживаемую только страхом наказания. Вынужденное сдерживание этого инстинкта воспринималось как *унижение*, а подавленная агрессивность, усиленная скученностью городской жизни, переходила в ненависть — ту самую, которая называется *классовой ненавистью.*

Гражданское общество того времени было построено на принципе вражды — как и то общество, в котором мы живём. В этом обществе человек мог любить только "близких" (откуда и происходит слово "ближний", получившее впоследствии более широкое значение; ср. английское neighbour). "Близкими" же могли быть только люди своего племени или своей общины, как это было с древнейших времён, и только люди сходного социального положения. На "близких" распространялись положительные эмоции; все остальные люди вызывали настороженность и подозрительность, нередко переходившие даже в мирных условиях в безудержную ярость, создавшую выражение "война всех против всех" (bellum omnium contra omnes).

Ненависть составляла основной фон жизни бедного человека. В таких городах, как Иерусалим, Антиохия, Александрия, было слишком много "чужих", и бремя ненависти было тяжко. К тому же, эта ненависть слишком часто была пропитана завистью: униженный мог внутренне предпочитать положение унижающего, подсознательно считая его *лучше* себя. Вообще, ценности классового общества чаще всего формируются как ценности его господ, распространяясь затем на подсознательные установки всех его членов. В столкновении бедного и слабого с богатым и сильным обе стороны могли держаться одного и того же подсознательного представления, кто из них "лучше". У бедного не было психической установки, с которой он мог бы положительно оценить самого себя. Христос дал ему такую установку, предписав ему любить всех ближних, в том числе и своих врагов[1].

На пятьсот лет раньше перед той же проблемой стоял Будда, но он пришёл к другому решению. Поняв, что любовь и ненависть неразрывно связаны друг с другом, как полюсы магнита, Будда решил отключить весь этот "магнит желания". Тогда исчезнет ненависть и вообще всякое страдание: ничего не желая, человек обретёт душевный покой. Но тем самым буддийский святой перестаёт быть "нормальным человеком". Решение Будды — это уход от мира, акт отчаяния, признающий безысходное рабство этого мира. Поэтому "чистый" буддизм и не стал массовой религией. Для простых людей его превратили в грубое идолопоклонство под названием "махаяна".

К другому решению пришёл Христос: он "осудил" полюс ненависти и "оправдал" полюс любви. Он изобрёл *фикцию всеобщей любви* — в чём и состояло главное психологическое открытие Иисуса Христа. Как мы знаем, человек не способен любить — в прямом смысле этого слова — всех своих собратьев по виду. Социальный инстинкт требует от него лишь признания прав и достоинства других людей, но даже в первоначальной человеческой группе связь между индивидами не всегда можно было назвать "любовью". Человек не способен даже "прощать" своих ближних — если только он не особенный мудрец, отвечающий жалостью на поступки своего обидчика. Может быть, этого и хотел Христос. Но мудрецов мало, а требовалось решение для всех.

---

[1] Христом я называю человека, описанного в Евангелии, не занимаясь вопросом о его историческом существовании. Как часто бывает, мысли, приписываемые Христу, отвечали назревшим потребностям и встречаются во многих текстах того времени. Большинство историков допускает, что человек, послуживший прообразом евангельского Христа, в самом деле существовал.

Для “простого” человека предложение Христа сводилось к тому, что ненависть “вытеснялась” в подсознание, в смысле Фрейда, а в сознании утверждалась фикция любви. В действительности христианин мог любить не больше людей, чем язычник, но радикально менялась его *сознательная* установка по отношению к людям, влиявшая в некоторой мере и на его подсознание. Поскольку “любовь к ближним” предписывалась религией, он должен был соблюдать некоторые правила обращения с этими ближними, или делать вид, что их соблюдает — перед другими и перед самим собой. Это не только облегчало бремя ненависти, угнетавшее бедного, но и давало ему ощущение превосходства: христианин мог считать себя праведником — каким должен быть человек, а своего угнетателя грешником — каким человек быть не должен. *Отныне лучшим человеком был он.* Мечта о лучшем мире, где “последние станут первыми, а первые — последними”, переместилась в призрачный мир религиозных фантазий и оставалась там две тысячи лет.

Для немногих людей, пытавшихся следовать заповедям Христа, церковь устроила монастыри, а для простых людей разработала упрощённый вариант его учения, нечто вроде христианской махаяны. И в самом деле, генетические различия в силе человеческих инстинктов почти однозначно подсказывали такой компромисс.

Глобализация социального инстинкта, совершенная христианской религией, была важнейшим историческим событием. Конечно, она выражала настроение, сложившееся в многонациональных сообществах Римской империи, и могла в то время принять только религиозную форму. Единство человеческого рода и принципиальное равноправие всех людей не могли быть выражены ни одной из старых племенных религий, потому что у каждого племени были свои боги. Единому человечеству нужен был единый бог, не связанный с исключительными обычаями одного из племён. Тенденция к монотеизму давно уже проявлялась в различных языческих религиях. В них был обычно “верховный бог”, уже объединивший в доисторические времена культы родственных племён, так что Амон-Ра почитался уже всеми египтянами, Зевс — всеми греками и Юпитер — всеми римлянами. Далее, римские боги давно уже были отождествлены с греческими, а греческие цари Египта искусственно создали культ Сераписа, чтобы сблизить своих греческих подданных с коренным населением. В некотором смысле еврейская религия была самой развитой: в ней уже было установлено строгое единобожие, а бог был достаточно “абстрактен”, так что запрещалось даже его изображать и произносить его имя. Бог без имени и без видимого

образа давно уже почитался и у греков в народном культе "элевсинских мистерий"; к нему приходили, с другой стороны, философы и учившиеся у них аристократы. Павел из Тарса приспособил христианскую религию к обычаям индоевропейских народов и тем самым стал "апостолом язычников". Несомненно, к идее общечеловеческой религии подошёл уже сам Христос, как это видно из эпизода с хананеянкой. Но Павел, объявивший, что для бога нет "ни эллина, ни иудея", выразил величайший переворот в человеческой психике: возникло понятие человека вообще, с общими для всех людей правами и обязанностями — сначала перед богом, а потом перед людьми и самим собой[1]. Из христианской этики возникла этика гуманизма.

Другая сторона христианского вероучения, описанная выше и особенно важная для нашего исследования, это принятый им *фиктивный способ удовлетворения человеческих нужд.* Реальные потребности человека — не только материальные и эмоциональные, но больше всего *потребность в развитии* — на этом пути не могли быть удовлетворены. Об этом не умели даже думать: в античном мире, где было много выдающихся мыслителей, отсутствовало всякое представление об изменении общества сознательными усилиями людей. Более того, преобладало стремление укрепить и навсегда сохранить унаследованный от предков порядок. Поэтому греко-римская цивилизация была обречена на гибель, а человечество — на тысячелетнюю тьму.

3. Происхождение христианства

Христианство произошло из еврейской религии. Священное писание евреев — "Ветхий Завет" — было полностью включено в канон христианских священных книг, и авторы Евангелий всячески старались представить события "земной жизни" Христа как исполнение ветхозаветных пророчеств. Да и сам Христос всегда ссылался на писание, хотя был, по-видимому, неграмотен: он был верующий еврей, пытавшийся реформировать еврейскую религию. Эта религия вначале была религией небольшого племени кочевников-скотоводов, ещё не успевших осесть на землю и выстроить города; племя это было "отсталым" по сравнению с семитами Аккада и Вавилона, уже создавшими деспотические государства. Но именно эта "отсталость", подобно "отсталости" кочевых племён, населивших Грецию и Ита-

[1]Конечно, завершающее Евангелия поучение Христа, посылающего апостолов проповедовать всем народам — позднейшая интерполяция церковников, введённая уже после того, как христианство превратилось в "религию для всех".

лию, сопровождалась большей личной свободой: вспомните, что говорил о царях пророк Самуил. Не случайно ссылались на это пророчество отцы-основатели американской республики, когда они решили покончить с королевской властью. Ещё и в наши дни тот же дух независимости сохранили бедуины — кочующие арабы пустыни. Но у евреев — небольшого и политически слабого племени — этот дух соединялся с особой способностью к религиозному творчеству и пристальным вниманием к этическим вопросам. Еврейская религия, впоследствии застывшая в церковной традиции, в древности испытала удивительную эволюцию.

Сначала еврейский бог Ягве мало чем отличался от богов других семитических племён: это был строго племенной бог, потому что у каждого племени были свои боги, причём вначале "чужие" боги воспринимались как вполне реальные, но враждебные существа. Как и другие боги древних семитов, Ягве долго сохранял черты восточного деспота: он был жесток, мелочно придирчив и мстителен, о чём свидетельствуют многие места Ветхого Завета. Но уже во время Давида и Соломона, то есть около тысячного года до н. э., когда начала складываться библейская традиция, еврейский бог начал обнаруживать необычные свойства, отличавшие его от всех других богов. Прежде всего, он стал крайне нетерпим ко всем другим культам и захотел быть единственным "истинным" богом своего племени; вскоре он стал претендовать на ещё бóльшую исключительность, настаивая на том, что он вообще создатель и владыка всего мира, а другие боги не просто "чужие", а "ложные" боги, не настоящие, а поддельные. Идея монотеизма несомненно означала более высокий уровень религии, чем "языческие" представления о множестве по-человечески суетных и драчливых богов. Эта идея возникала и раньше у мыслителей Индии, но никогда не усваивалась целым племенем, то есть не становилась народной религией.

Далее, еврейский бог запретил себя изображать (и для большей надёжности — изображать всё живое). Это был тоже важный шаг в развитии религии, после того как люди перестали изображать своих богов в виде животных: теперь осуждалось любое идолопоклонство. Впоследствии христиане не удержались на этом уровне и стали всё-таки поклоняться изображениям — иконам и статуям. Наконец, Ягве запретил произносить своё имя; во всяком случае, на некоторой стадии развития его культа стали заменять его имя при чтении Библии другими словами — "господь", "повелитель" и т. д. Это было логическим следствием единобожия: ведь имя даётся тому, кого надо отличать от других. Теперь мы переживаем следующий этап

духовного развития: подобно тому, как евреи отказались от *имени* божества, мы учимся строить наши переживания без *понятия* бога.

Дальнейшее развитие еврейской религии связано с великими мыслителями, получившими название "пророков израильских". Первым из них был Исаия, а последним — Иисус Христос. Хотя мы не можем очистить библейские тексты от жреческих искажений, величие пророков проявляется в поразительных прозрениях, часто производящих впечатление анахронизмов. Исаия был, по-видимому, не меньшим пророком, чем Иисус, но слишком рано родился. Если бы не было пророков, не было бы и Христа.

Как мы уже видели, Синайские заповеди отражают племенную мораль, свойственную всем человеческим племенам; поскольку они были записаны относительно поздно, в период формирования государства, истолкование их носило уже не столь узкий характер. Заметно, что расширилось понятие "ближнего". Общая формулировка заповедей не означает ещё, что они одинаково относились ко всем людям: по этому поводу ещё не было ясного понимания. В 19 главе книги Левит значение слова "ближний" как будто ограничивается собственным племенем: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя". Но в той же главе, среди всех ужасных угроз и наставлений карающего бога, мы читаем удивительные вещи: "Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш". И в главе 24: "Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо я Господь ваш". Это повеление следует почти сразу же за ужасным правилом: "око за око, зуб за зуб": вспомните, что Библии три тысячи лет.

Идею равного правосудия для всех людей развивает дальше пророк Исаия, за семьсот лет до Христа и за двести лет до Будды. Исаия хочет разделить со всеми людьми своё величайшее сокровище — своего Бога: "И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить Господа, быть рабами его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем; ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов" (гл. 56). А в самом начале, в главе 2, Исаия предвидит прекращение войн — правда, в "последние дни" и с помощью божьей: "И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют

мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать".

В отличие от древней традиции всех народов, помещавшей Золотой век в прошлом, Исаия переносит его в *будущее*; вот первая из всех утопий, где торжествует "социальная справедливость":

"Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний старец будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на го́ре; ибо будут семенем, благословенным от господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут — Я отвечу, они ещё будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягнёнок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею; они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь" (гл. 65).

В последней части пророчества прямо слышатся фантазии Фурье.

Это подлинное начало "утопического социализма", с прямым осуждением "социальной несправедливости": "не будут строить чтобы другой жил, не будут сеять, чтоб другой ел". Мы не знаем, сколько других обличений этого рода скрыли от нас жрецы. Они не смогли скрыть их все. В ожидании "последних дней" Исаия хочет реформировать религию. По-видимому, его пророчества были слишком хорошо известны, и жрецы не решились тронуть выпад против них:

"Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, — день, в который томит человек душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, раздели с голодным хлеб свой, и от единокровного своего не укрывайся" (гл. 58).

Через два века пророк Иезекииль подтверждает эти учения, по-видимому, уже широко известные в Израиле: "Если кто праведен и творит суд и правду ... никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдаёт и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он — праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог" (гл. 18). И в той же главе мы видим, как бог смягчает свои угрозы: "Вы говорите: «почему же сын не несёт вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив... И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрёт... Разве я хочу смерти беззаконника? — говорит Господь Бог. — Не того ли, чтобы обратился от путей своих и был жив?"

За пятьсот лет до Христа раввин Гиллель изложил новую для своей эпохи мораль в краткой заповеди: "*Не делай ближнему того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе*".

Несомненно, еврейские пророки выражали отчаяние и протест угнетённых. Мы знаем о них лишь то, что включили в Ветхий Завет осторожные жрецы, всегда державшие сторону богатых и сильных и не столь чувствительные к страданиям ближних, как раввин Гиллель. До нас дошли, главным образом, призывы к милосердию, но, по-видимому, социальные мотивы пророков были смягчены. Вероятно, самые откровенные из пророчеств касались и самих жрецов. То, что мы знаем из египетской и вавилонской литературы, содержит такие же проповеди милосердия, хотя и без утопических предсказаний. И, конечно, во всех случаях мы можем прочесть об этом лишь то, что передали нам люди, умевшие писать.

4. Учение Христа

Иисус, вероятно, не умел писать: во всяком случае, от него не осталось ни слова, написанного им самим. Утрачены и все еврейские тексты о Христе, что не так уж удивительно, поскольку первые христианские общины были истреблены или рассеяны после подавления восстаний; впрочем, ученики Иисуса были люди не книжные. Из церковных писателей даже Павел никогда не видел Христа. Евангелия были составлены по христианскому фольклору во второй половине первого века. Остатки этого фольклора, на греческом языке,

свидетельствуют о большом разнообразии бывших в обращении историй из жизни Иисуса и его изречений. Окончательный текст четырёх сохранённых Евангелий был отредактирован в четвёртом веке, а множество других Евангелий уничтожалось. Канонические Евангелия представляют церковную фальсификацию преданий о жизни и учении Христа.

Есть, однако, причина, по которой церковникам трудно было скрыть самые известные высказывания Иисуса: они были настолько популярны среди верующих, что исключение их из "писания" означало бы прямой скандал. Их повторение в параллельных местах Евангелий свидетельствует об их подлинности — во всяком случае, о подлинности переданной в них традиции. Мы будем ссылаться на эти высказывания, пользуясь новым переводом[1]. Сравнение с "кумранскими рукописями" показывает, что Иисус имел прямых предшественников в его время, и поддерживает истолкование, которое мы даём его словам.

С Христа начинается новая религия, обращённая не только к евреям, но и к "язычникам", хотя сам Иисус, как видно из евангельской истории, ещё колебался им проповедовать; ведь он сказал апостолам: "Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и в самарянский город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля" (Матфей, гл. 10). Но жребий был брошен, и новое учение быстро распространилось среди бедных и униженных всех народов.

Нет сомнения, что Иисус был на стороне бедных. Вот решающее место, которое я выписываю из Евангелия по Марку, послужившего, по мнению учёных, источником остальных:

"Когда Иисус отправлялся в путь, к Нему подбежал человек и, упав перед ним на колени, спросил:

— Добрый Учитель, что мне делать, чтобы получить вечную жизнь?

— Почему ты называешь меня добрым? — сказал Иисус. — Один Бог добр. Ты знаешь его заповеди: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца и мать.

---

[1]Цитаты приводятся по переводу с греческого В. Н. Кузнецовой, опубликованному уже после советской власти ("Канонические Евангелия", Москва, "Наука", 1993). Одобренный церковью так называемый синодальный перевод был выполнен с оглядкой на традиционный старославянский текст Кирилла и Мефодия и с использованием множества архаических или искусственных слов, непонятных современному читателю. Во многих отношениях этот церковный перевод ненадёжен.

— Учитель, я с юных лет соблюдаю всё это, — ответил тот Иисусу.

Иисус взглянул на него, и он сразу ему полюбился. Иисус сказал:

— Одного тебе не хватает. Иди, всё продай, что у тебя есть, и раздай бедным. Тогда твоё богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной.

Но тот помрачнел от этих слов и ушёл печальный: он был очень богат. Иисус, оглядевшись, сказал ученикам:

— Как трудно богатым войти в царство Бога!

Учеников изумили его слова. Но Иисус повторил:

— Дети, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу" (гл. 10).

По Евангелию, сам Иисус был сын плотника, и все его ученики были бедные люди. Мы не знаем ничего достоверного об Иисусе и апостолах, но люди, писавшие Евангелие, несомненно отразили настроения первых христиан. Важнейшей частью учения Христа считается Нагорная проповедь, содержащаяся в Евангелиях от Матфея и от Луки. Начало проповеди было, по всей вероятности, фальсифицировано церковниками, несомненно желавшими сделать свою религию приемлемой для богатых и знатных. Они превратили "бедных" в "нищих духом", то есть необразованных или неумных, извратив смысл всего поучения[1]. Вот это место в нецерковном переводе; мы берём его из более полного в этом случае Евангелия от Луки (гл. 6, ст. 20–26):

> "Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил:
> — Радуйтесь, бедные!
> Царство Бога ваше.
> Радуйтесь, кто голоден теперь!
> Бог вас насытит.
> Радуйтесь, кто плачет теперь!
> Вы будете смеяться.
> Радуйтесь, когда люди вас ненавидят
> и когда изгоняют, оскорбляют и чернят ваше имя —
> и всё это из-за Сына человеческого.
> Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости!

[1]Эта фальсификация, по-видимому, была произведена уже в греческом оригинале Евангелия от Матфея и не отразилась на современных переводах (английском, немецком, французском) Евангелия от Луки, но в переводе Кирилла и Мефодия, а также зависящем от него "синодальном" русском переводе те же "нищие духом" удивительным образом являются и в тексте Луки, где греческий оригинал не даёт для этого никакого повода!

Вас ждёт на небесах великая награда!
Ведь точно так же поступали с пророками
отцы этих людей.

И напротив, горе вам, богатые!
Вы уже натешились вдоволь.
Горе вам, кто сыт теперь!
Вы будете голодать.
Горе вам, кто смеётся теперь!
Вы будете рыдать и плакать.
Горе вам, когда хвалят вас все люди:
точно так же хвалили лжепророков
отцы этих людей".

В оригинале эти стихи имеют отчётливую ритмическую структуру, как и во многих местах Евангелий; она выделена в переводе расположением текста. Всё поучение делится на две половины, противопоставленные друг другу с помощью формальных сравнений: первая говорит о бедных, вторая о богатых, и всё сказанное о первых противоположно сказанному о вторых. Первым обещана на небесах награда, вторым — рыдания и плач; первые следуют за Иисусом и подвергаются за это гонениям и унижениям, вторые же "хвалят лжепророков" и не приемлют учения Христа. Ясно, что "богатые" во второй половине поучения (в церковном переводе просто богатые, а не "богатые духом"!) — это богатые в обычном смысле: они "сыты теперь" в смысле телесной, а не духовной пищи. Но тогда в антитезе — в том, что говорится о бедных — никак не могло быть "нищих духом": если истолковать их "голод" и "насыщение" как "духовный голод" и "духовное насыщение", то выходит, что Иисус противопоставляет *материально* богатым и *телесно* сытым "*нищих духом*", то есть необразованных и неумных. Теряется всё намеренное построение антитез: ведь в каждой из половин, в свою очередь, есть две части, первая из которых говорит о социальном положении учеников Иисуса и их противников, вторая же — об их духовной установке по отношению к его учению. Автор проповеди (выступающий под именем Луки) очень тщательно всё это построил, а редактор-церковник всё неуклюже разрушил. Далее, если сравнить Евангелия от Луки и Матфея, то бросается в глаза ещё одно расхождение. В церковном переводе Луки, вслед за изречением "Блаженны нищие *духом*, ибо ваше есть царствие небесное", внезапно речь идёт о *материальной* нужде: "Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь". Между тем, в том же церковном переводе Матфея дважды говорится о нужде *ду-*

ховной: “Блаженны нищие *духом*, ибо их есть Царство Небесное”, а затем: “Блаженны алчущие и жаждущие *правды*, ибо они насытятся”. Очевидно, “Матфей” обращался к не столь бедной общине и должен был произвести отнюдь не случайную корректировку дошедшей до него проповеди.

Подлинное настроение, выраженное или искажённое Евангелиями, не вызывает сомнений: Нагорная проповедь обращена к *бедным*, а *богатые* над ней смеются. Она очень похожа на другие дошедшие до нас проповеди того времени, не связанные с Христом. Церковь, ставшая организованной иерархией и стремившаяся занять господствующее положение в империи, добивалась поддержки богатых и знатных и тяготилась уже своей репутацией религии бедняков. Поэтому она подвергла христианскую литературу строгой цензуре, сохранив (в отредактированном виде) лишь четыре “канонических” Евангелия и истребив все другие. Эти другие Евангелия принято называть “апокрифическими”, то есть “скрытыми” или “тайными”, и мы знаем из них лишь случайно уцелевшие отрывки. Впрочем, по этим отрывкам можно судить, чтó содержалось в отверженных Евангелиях. Например, некоторые сектанты составляли троицу из Отца, Матери и Сына, как это было во многих троицах восточных религий; известно, что “дух”, из которого сделали “Святого Духа”, по-еврейски *женского* рода (“руах”). Апокрифическое “евангелие от Филиппа” называет Марию Магдалину женой Иисуса, а многие из первых христиан считали “братьев” и “сестер” Иисуса, упоминаемых и в канонических Евангелиях, детьми Марии от Иосифа. Ясно, что церкви пришлось основательно потрудиться, цензуруя и “гармонизируя” евангельскую литературу. Чрезмерное почтение к букве канонических текстов было бы наивностью.

В официальном тексте Нового Завета, в Послании апостола Иакова говорится:

“Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха господа Саваофа” (гл. 5, ст. 1–6).

Эти “вопли жнецов” не удалось устранить из народной традиции, обработанной “Священным Писанием”. И даже после всей этой работы трудно истолковать Христа как кроткого проповедника “в белом венчике из роз”, во главе двенадцати смиренных. Во многих местах

из-за этого образа вырисовывается другой Христос, распятый как мятежник. Конечно, *эти* черты Иисуса были особенно тщательно вымараны из Евангелий. Трудно, например, воспринять как урок смирения следующий призыв к ученикам (Марк, гл. 10):

— Вы знаете, что у всех народов
первые люди правят ими
и великие люди владеют.
Но у вас пусть будет не так!

Пусть тот, кто хочет быть у вас главным,
будет вам слугой,
а кто хочет быть первым среди вас,
пусть будет вашим рабом.

Это знакомый мотив: мы встретились с ним ещё у восставших рабов Египта; он повторяется у Матфея (гл. 19): "Многие, кто были первыми, станут последними, а последние — первыми". Невозможно сомневаться, откуда взялась строка "Интернационала": "Кто был ничем, тот станет всем".

Многое другое, что уже нельзя было устранить из писания, не идёт к образу кроткого проповедника из Галилеи:

— Не думайте, что Я пришел установить мир на земле.
Не мир пришёл Я установить,
Но войну развязать. (Матфей, гл. 10).

Огонь пришёл Я принести на землю
И как Я жажду, чтобы он уже разгорелся! (Лука, гл. 12).

Вы думаете, Я пришёл дать земле мир?
Нет! — говорю Я. —
Разделение! (Лука, гл. 12).

А вот совсем странное место, ускользнувшее от внимания цензоров: "Пусть тот, у кого есть деньги, возьмёт их, пусть возьмёт и суму, а у кого нет, пусть продаст свою одежду и купит меч" (Лука, гл. 22). И в самом деле, апостол Пётр, воспользовавшись мечом, отрубил ухо одному из чиновников, присланных арестовать Иисуса. Возможно, апостолы носили под одеждой оружие. Галилея считалась у евреев мятежной страной, во многих местах Евангелий видно, что в Иудее галилеян попросту считали разбойниками. Прежде чем разрушить храм, римлянам пришлось подавить яростное восстание Галилеи.

Вся история Иисуса и его изречения были подвергнуты такой же обработке, как история нашей революции после истребления рево-

люционеров. В стране, год за годом видевшей, как изменяется её прошлое, это нетрудно понять.

К началу “новой эры” в Древнем мире исчезли последние остатки свободы. В Римской империи, где народы были намеренно разрознены по принципу divide et impera — “разделяй и властвуй” — даже восставшие рабы, как показала история Спартака, не могли сохранять единство, а “свободные” бедняки презирали рабов и помогали удерживать их в повиновении. В этих условиях бедный человек был беспомощен и не думал, что может что-нибудь сделать для улучшения своей судьбы. Поскольку он не был уже в статическом равновесии патриархального общества, он страдал от конфликта с окружающим миром, не находя выхода из эмоциональных противоречий. Единственно доступным ему объяснением мира была религия: только на путях религии он искал “спасения”, то есть психического равновесия. Все его надежды связывались с действием сверхъестественных сил.

Но “официальные” религии того времени мало обещали человеку, как отдельной личности: они возникли как племенные культы, служившие племени, потом полису — городу-государству, и, наконец, огромной, чуждой отдельному человеку военно-бюрократической империи. В недрах этих религий или вне их созревали более чувствительные к человеческим нуждам мистические верования. Мы мало знаем о народных культах поздних египтян и сирийцев, об элевсинских мистериях Аттики, но в них, несомненно, были элементы, которых недоставало официальным религиям Иудеи, Греции и Рима. В особенности это относится к представлениям о потустороннем мире, чуждым классическим традициям этих религий. Учение о загробном вознаграждении праведников и наказании грешников было важной частью религии египтян, весьма отвлекавшей их от дел этого мира к заботам о будущем мире — о чём свидетельствуют пирамиды и найденные в них заклинания. У евреев, греков и римлян вначале, по-видимому, не было таких доктрин, и вообще о “бессмертии души” были очень смутные представления, не влиявшие на их повседневное поведение. Но во время Христа “эсхатологические” учения о загробном воздаянии широко распространились по всей империи, и сами Евангелия свидетельствуют, что ими были проникнуты также евреи, хотя ни Ветхий Завет, ни “олимпийская” религия греков и римлян ничего о них не знают, а обращают внимание лишь на “земную” жизнь человека в его религиозной общине.

К этому времени загробное вознаграждение и наказание стало общим местом всех народных верований. Еврейский бог мстил своим ослушникам в их земной жизни, но Христос угрожает грешникам геенной огненной на том свете, и его слушатели боятся этих угроз. Воображение людей создаёт ад и рай, и не сможет освободиться от этих призраков две тысячи лет. Ад гораздо реальнее рая, поскольку у людей больше материала для его представления, а картины рая бледны и безжизненны. Страх был сильнее надежды.

Неудивительно, что наряду с загробным воздаянием люди мечтали о земном. Потребность в хлебе насущном была слишком сильна, чтобы её можно было отложить: Иисус проповедовал *голодным.* И Христос обещал им Второе Пришествие очень скоро: в царство Бога, говорил он, войдут не отдалённые потомки слушателей, а некоторые из них самих. В Евангелии от Марка Иисус заверяет их: “ — Верно вам говорю: есть среди тех, кто стоит здесь, люди, которые не успеют узнать смерть, как увидят, что Царство Бога явилось в полной силе” (гл. 9). Поэтому первые христиане были не столько заняты делами этого мира, сколько ожиданием грядущего. Но Второе Пришествие задерживалось, и христиане возложили свои надежды на земной вариант царства справедливости — Тысячелетнее царство; это представление, именуемое “хилиазмом”, создало немало затруднений для богословов, пытавшихся соединить его с обещанием загробного блаженства. Восточная легенда о тысячелетнем царстве пришла, вероятно, из Персии, где она была известна задолго до Христа. По её христианской версии, описанной в Откровении Иоанна, праведники будут жить в этом царстве тысячу лет под властью самого Христа, а затем проследуют в рай. Несомненно, Тысячелетнее Царство — продукт народной фантазии. Как его представляли себе ранние христиане, рассказывает Папий, епископ Гиерапольский, живший в конце второго века в Малой Азии. Святой Ириней сохранил для нас следующий отрывок из его сочинения:

“Придут дни, и уродятся виноградники с десятью тысячами лоз в каждом, и на каждом побеге — десять тысяч усиков, на всех них — по десять тысяч гроздей, по десять тысяч виноградин каждая, и каждая даст двадцать пять мер вина.

И когда кто-либо из святых сорвёт гроздь, другая закричит: «Я лучше её, сорви меня и возблагодари мною Господа».

Точно так же каждое зерно родит десять тысяч колосьев, всякий колос — десять тысяч зёрен, а все зёрна дадут по пять двойных фунтов муки. И прочие фрукты, семена, травы будут множиться в соответствии с их пользой.

И все животные, которые кормятся исключительно пищей от плодов земли, будут жить в мире и согласии между собой и будут целиком послушны и покорны человекам".

Ириней говорит: "Таково свидетельство Папия, ученика Иоанна, сотоварища Поликарпа, древнего мужа, в четвёртой из пяти его книг". И он добавляет к сказанному: "Всё это кажется вполне правдоподобным тому, кто верует. А поскольку Иуда — предатель и не верил и спрашивал, как это подобное плодородие возможно на деле, Господь отвечал: «Увидят это те, кто войдёт в Царство»". (Ириней, Против ересей).

Таковы источники социализма, хорошо известные историкам и давшие начало бесчисленным ересям, вплоть до последней ереси христианства — марксизма. Один из друзей молодого Маркса, поэт Генрих Гейне изображает идеал социализма, рождавшийся у него на глазах, в котором трудно не узнать то же Тысячелетнее царство:

"О друзья, я спою вам новую, лучшую песню! Мы хотим устроить Царство Небесное здесь на земле. Мы хотим быть счастливы на земле, и не хотим больше терпеть нужду; пусть ленивое брюхо не поглощает то, что производят трудящиеся руки. Повсюду растёт довольно хлеба для всех детей человеческих. Есть розы и мирты, красота и радость, и вдоволь — сладкого горошка. Да, сладкого горошка для всех, как только созреют стручки! А небо мы оставим ангелам и воробьям".

И дальше поэт, по свойственной ему непочтительности к авторитетам, прибавляет:

"А если после смерти у нас вырастут крылья, то мы посетим вас там, наверху, и попробуем с вами блаженнейших тортов и пирожных.

Новая песня, лучшая песня! Она звучит музыкой флейт и скрипок! Позади «Господи, помилуй», и умолк погребальный звон.

Юная Европа обручена с прекрасным гением свободы, они обнялись и вкушают свой первый поцелуй.

И если нет у них поповского благословения, брак их будет не менее законным — да здравствуют жених, невеста и их будущие дети!"

Эта поэма — "Германия, зимняя сказка" — написана в 1844 году, на самой заре социализма; слово "социалист" впервые появилось в печати в 1827 году, а слово "социализм" — в 1843. Перед нами свидетельство о рождении, выданное очевидцем.

5. Церковь и Тёмные века

Наследие древности. Евангелия представляют собой фольклор ранних христиан, записанный малообразованными людьми, — это было движение, шедшее снизу, из угнетённых, отчаявшихся масс. Но навстречу ему шло, повинуясь логике своего мышления, движение сверху, из самых просвещённых общественных групп.

Политеизм, мало дававший уму и сердцу простого человека, изжил себя и в психической жизни образованных людей, и случилось это уже давно. Ф. Маутнер говорит об этом в своей "Истории атеизма" [1]: "На исходе древности, в эпоху возникновения христианства религиозные представления образованных людей состояли примерно в том, что легче верить в единого сверхчеловеческого правителя мира, чем во многих богов; а этого единого правителя мира было уже легче устранить. Это общее настроение поздней греческой философии имело два аспекта: было позитивное, в сущности более поэтическое, чем догматическое представление о едином божестве, попросту принятое христианством, как только оно обзавелось системой понятий; и была негативная сторона, для которой безжизненная схема уже ненужного бога превратилась в словесную игрушку почти лишённых религии атеистов".

За четыреста лет до Христа изображённый Платоном Сократ говорил уже о боге в единственном числе и склонен был верить в загробную жизнь, хотя и не без сомнений. Конечно, в то время такие понятия были уже обычны среди образованных греков. С ними согласны были главные философские школы, особенно школа стоиков. Стоическая философия господствовала в греко-римском мире почти триста лет, с первого века до н. э. Стоики разделяли также многие этические убеждения христиан: признавали принципиальное равноправие всех людей, обязанности по отношению к "ближним", и руководствовались внутренним нравственным чувством, оправдывающим или осуждающим человеческие поступки. Почти все образованные люди того времени, в том числе государственные деятели, были стоики. Эпиктет был раб, но Сенека был вельможа, а Марк Аврелий — редкий случай в истории — был император-философ. Ни один из них не был христианином. Император Марк не видел в христианах родственных ему мыслителей и позволял их преследовать, когда их обвиняли в нарушении законов, а Плиний младший, тоже стоик, ещё раньше сомневался, что делать с этим новым суеверием. Вряд ли стоики подозревали, как близко они подошли к христиан-

[1] F. Mauthner, *Geschichte des Atheismus im Abendlande*, Bd 1, s. 72.

ству, и хотя Сенека ни разу не упомянул о Христе, христиане впоследствии прямо считали его "своим" и сочинили его поддельную переписку с апостолом Павлом.

После эпохи Антонинов популярной философией стал неоплатонизм. "Отцы церкви", давшие направление христианскому богословию, получили образование у платоников; Платон и определил весь облик богословия. Рассел исследовал роковое влияние философии Платона на человеческое мышление, тысячу лет возившееся с бесплодными абстракциями. Можно заметить, что платонизм, с его идеей абстрактного божества, источника всех других идей, легко мог быть приспособлен к единому богу христиан. Была и другая сторона дела: у Платона отцы церкви заимствовали его пристрастие к коллективизму, созвучному христианской "соборности". Платону принадлежит пародия на социализм, возникшая намного раньше самого социализма. Это очень характерно для утопий, поскольку люди часто ставят себе преждевременные цели и придумывают для них нелепые средства; когда же цель приближается, эти средства производят комическое впечатление. Платон хотел устроить "здоровое общество" (как сказал бы Фромм, the sane society) и придумал для этого "казарменный коммунизм". Он заимствовал у спартанцев простоту нравов и послушание начальству, но хотел поставить во главе государства "философов" с охранительными функциями. Богословы-платоники усвоили эту идею, приспособив её к потребностям церкви: "пастыри" должны были заменить "философов" в роли хранителей традиции. Этим пристрастием к Платону и объясняется тот удивительный факт, что византийские монахи переписывали все мерзости платонова "Государства": они думали, что Платон был каким-то образом "свой". Консервативная установка Платона несомненно была прообразом иерархической системы, сложившейся под названием "церкви" и не имевшей аналогов во всей предыдущей истории. Конечно, новые структуры возникают в истории путём их "естественного" развития, но при этом форма и даже функции этих структур могут зависеть от теоретических доктрин. В некотором смысле изобретателем христианской церкви был Платон[1].

[1] Даже в наше время трудно посягнуть на авторитет Платона и Аристотеля. Впрочем, Поппер написал проницательную книгу о Платоне (первый том его "Открытого общества"), и Крейн Бринтон заметил в своей замечательной истории культуры: "Возможно, что такие писатели, как Платон и Аристотель, были в действительности разочарованными интеллектуалами (intellectuals), свидетелями краха великой культуры, и что они были, в некотором смысле, писателями, уводившими от основных проблем жизни (wrote as political escapists)" (Crane Brinton. *Ideas and Men. The Story of Western Thought.* Prentice-Hall, 1965).

Христианская церковь. Средние века отличались от эпохи "первичного порабощения", какое было на Древнем Востоке, существенно новым элементом жизни: религией нового типа. У этой религии был только один бог, не терпевший никаких соперников; у неё была церковь — организация жрецов, не имевшая аналога ни в какой другой религии; и у неё была детально разработанная доктрина, изложенная в письменном виде. Конечно, христиане несколько отступили от еврейского монотеизма, прибавив к своему культу бога-сына, богоматерь, а потом ещё множество святых. Но при этом верующие должны были знать, что бог всё-таки един, хотя и в трёх лицах. Единый бог должен был иметь единообразный культ, не зависящий от местных традиций и вкусов; этим христианская церковь отличается от египетской, самой могущественной религиозной организации древности. Прообразом христианского культа был, конечно, еврейский, где был единственный храм, а жрецов возглавлял первосвященник. Христиане заимствовали у евреев их священную книгу — библию, искусственно связав её с "Новым Заветом". Наконец, они взяли у евреев и развили дальше совершенно чуждое другим народам учение о боге — "богословие", претендующее на знание свойств и намерений божества.

Но это развитие опиралось на технические навыки греческой философии, принявшей в поздней античности схоластический характер. Христианская теология была причудливым сооружением из еврейского материала, с цементом из декадентской греческой философии. Мышление, оторванное от действительности, оперировало пустыми абстракциями — утвердившимися в философской традиции ключевыми словами. Эта традиция, исходившая из "идей" Платона, обогатилась христианской лексикой: можно было рассуждать не только о мудрости и красоте, о добре и высшем благе, но и о боге, с его тройственной природой, о бессмертии души, о свободе воли и о множестве столь же важных, но неизбежно спорных предметов. Эти споры могли быть эмоционально окрашены, поскольку обсуждаемые предметы имели всё же человеческое происхождение, но эмоции разных мыслителей были различны и подсказывали им разные рассуждения. В позднем средневековье учителем схоластов оказался полученный через арабов Аристотель: они уверовали, что всё знание может быть получено с помощью силлогизмов, применяемых к ключевым словам философии. Рассуждения о словах поработили человеческое мышление на тысячу лет. Это страшное словесное рабство можно уподобить знаменитой метафоре Платона, где люди видят только тени предметов на стене пещеры, но не могут

повернуть головы к свету, чтобы увидеть стоящую за ними действительность. Средние века были сном человеческого разума, и нужно специальное изучение этого явления, чтобы в него поверить.

Роль церкви в истории разума была двойственной. Поскольку церкви надо было хранить и передавать новым поколениям "священное писание", она была заинтересована в обучении грамоте священнослужителей; кроме того, грамотность давала клирикам значительные преимущества при дворах варварских королей, где требовались дипломаты и юристы. В течение ряда столетий священники — а точнее немногие из монахов — были единственными грамотными людьми в Европе; монахи, обязанные переписывать священные книги и сочинения отцов церкви, иногда переписывали также каких-нибудь других латинских писателей. Таким образом церковь сохранила, большей частью невольно, то немногое, что мы знаем о классической древности.

Но церковники боялись образования, особенно образования мирян, потому что само священное писание было источником всех ересей. Библию намеренно не переводили на новые языки, и всё богослужение велось на непонятной людям латыни, что, впрочем, только усиливало благоговение верующих. Чтение библии мирянами не поощрялось, а толкование разрешено было только докторам богословия. Один из пап дошёл до того, что запрещал священникам изучение грамматики. Но самым страшным продуктом церковного обскурантизма было создание "религии дьявола".

Древние были суеверны: даже образованные люди, не веровавшие в официальных богов, прибегали к гаданиям и боялись примет, а простые люди жили в постоянном страхе перед нечистой силой, так как все народы имели своих злых духов, приносивших всевозможные бедствия. Сам Христос, если верить евангельским рассказам, опасался злых духов и предостерегал от них своих слушателей. Церковь, всегда применявшаяся к представлениям своей паствы, впитала в себя эти суеверия, впрочем, нисколько не чуждые её пастырям, тоже детям своего времени. Более того, церковь сохранила и веру в языческих богов, превратив их в дьяволов: неверие в этих новых дьяволов очень скоро стало считаться ересью. Постепенно церковь построила из всех народных суеверий систематическое учение о "нечистой силе" — демонологию, или религию дьявола. Во главе всех злых духов был поставлен Сатана, почти равносильный христианскому богу, и даже внушавший средневековому человеку больший страх: о боге вспоминали в торжественных случаях, а дьявол всегда "ходил кругом, выискивая, кого бы пожрать". Злые духи

— демоны — вербовали себе сообщников среди смертных: колдуны и ведьмы, всегда беспокоившие народное воображение, стали предметом богословского исследования и привлекались к суду по церковным законам. Конечно, все попытки самостоятельного мышления рассматривались как ереси, а все ереси относились за счёт дьявольского соблазна.

По существу, в те века, когда христианская религия была сильна, когда во всей Европе не было неверующих, это была религия с *двумя* богами, добрым и злым. Прообразом такой религии была персидская, в которой вся мировая драма описывалась как борьба между Ормуздом, носителем света, и Ариманом, возглавляющим силы тьмы. Эта концепция жизни была подхвачена сектой манихейцев. Церковь жестоко подавила манихейскую ересь, но сама впала в неё и не могла от неё избавиться, пока Просвещение не устранило с исторической сцены сначала её дьявола, а потом её бога. "Здоровая", то есть не подточенная сомнением христианская религия *была манихейской* религией.

Нам трудно представить себе психическую жизнь средневекового человека, воспринимавшего в раннем детстве фантастические представления христианской религии и — в отличие от нынешних "верующих" — принимавшего эти представления *всерьёз*. Этот человек видел в окружающем мире прямое действие сверхъестественных сил — божественного Провидения, и ещё больше Дьявола. В его сознании вредоносному влиянию Дьявола и его приспешников, ведьм и колдунов, противостояла магическая сила молитв и заклинаний, подтверждаемая чудесами. Чудеса, как он верил, творит сам бог, или более доступная человеку богоматерь, или посредники между богом и человеком — святые. Твёрдая вера в чудеса, продолжавшаяся больше тысячи лет и постепенно исчезнувшая в Новое время, нуждается в объяснении: может быть, это самая непонятная для нас особенность средневекового человека.

Чудеса стали теперь камнем преткновения для христианских церквей. Церковь не может отрицать чудеса, описанные в Библии, и признает чудотворные способности апостолов и святых первых веков христианства; но в более близкие к нам времена даже святые, по-видимому, утратили эти способности, и претензии на чудо не вызывают у церковного начальства никакого энтузиазма. В чём же тут дело? Конечно, и в Средние века законы природы не нарушались, то есть не было никаких чудес, но люди воспринимали как чудо любое необычное стечение обстоятельств, любую неожиданность. Человеку свойственна глубокая потребность понимать и объяснять всё

происходящее: это функция его мозга, важная для сохранения вида и приводимая в действие даже в случаях, не имеющих практического значения. Для объяснения всевозможных явлений человек строит "теории", то есть правдоподобные гипотезы, соответствующие его знаниям и логическим способностям. Вплоть до Нового времени эти "теории" были антропоморфны, то есть в качестве объяснительной модели использовали действие некоторой человекообразной силы; это естественно, поскольку самой понятной человеку силой была его собственная сила, зависящая от его сознательной воли. Отсюда и возникла "примитивная наука", то есть религия. Конечно, "теории", предлагаемые религией, так же как теории современной науки, сравнивались с опытом. Но человек был крайне беспомощен в своём мышлении и не умел осмыслить наблюдаемые факты. У него не развилось ещё причинное мышление — привычка выделять повторяющиеся последовательности явлений и систематически проверять необычные утверждения. Средневековый человек сравнивал с опытом свои "теории", пользуясь *своими* мыслительными способностями, и находил подтверждение этих "теорий": он охотно принимал желаемое за действительное. Он верил и тому, что говорили сведущие и почтенные люди, даже если сам не был свидетелем чуда; точно так же мы верим научным теориям, принимая их готовые выводы от специалистов-учёных.

Культура, которую раньше называли христианской, а теперь часто называют средневековой, кажется примитивной и статичной: мышление людей подчинялось в ней застывшим догмам религии, а материальные потребности удовлетворялись традиционным ручным трудом. И всё же, эта культура, глубоко отличная от античной греко-римской культуры, несла в себе потенциал будущего развития, породивший после "промышленной революции" современную "Западную культуру". Средневековая культура не была простым результатом завоевания Римской империи германскими племенами. Ещё до этого к античной культуре индоевропейских народов было "привито"[1], посредством христианской религии, культурное влияние семитического происхождения, содержавшее в себе, по-видимому, новые психические элементы. Эти элементы, вероятно, усилили "внутреннюю", интроспективную ориентацию человека, вначале направленную на моральные предметы — ощущение греха и потребность в искуплении — но потом содействовавшую развитию

[1]Процесс образования новой культуры посредством "прививки" был рассмотрен Лоренцем, обозначившим его, следуя П. Валери, французским словом la greffe.

абстрактного мышления. Мышление богословов-схоластов, беспредметное по своему содержанию, в формальном отношении подготовило не только философию Декарта, но и теорию множеств.

С этим обострением внутренней жизни человека было связано и важнейшее изменение человеческой психики — вера в загробное существование или, как говорили верующие, в "бессмертие души". "Классическая" древность очень мало беспокоилась о загробной жизни. У греков, римлян, а также у евреев в их ветхозаветное время всё внимание было устремлено к "земной" жизни человека. Как видно из одного места "Одиссеи", греки представляли себе загробный мир как мрачное царство бога Аида, где тени умерших ведут призрачное существование. Важное значение придавали загробной жизни египтяне и, несомненно, другие ближневосточные народы. Ко времени Христа, как мы видели, вера в "бессмертие души" была уже широко распространена в Древнем мире, а христианская религия детально разработала эту веру и привила её европейским народам настолько прочно, что для средневекового человека ад был почти так же реален, как земная жизнь, и страх загробного воздаяния был серьёзным мотивом человеческого поведения. Этой "потусторонней" установки не было у "язычников", и её нет у нынешнего, по существу арелигиозного человека. Поэтому нам очень трудно представить себе психическую жизнь средневековья. Личное бессмертие принималось тогда *всерьёз*: во всей Европе не было неверующих в христианскую мифологию. Это верование настолько меняет поведение человека, что можно было бы говорить о "видовом" признаке: тогда был, в метафорическом смысле, "человек бессмертный". Ностальгия по этому бессмертию лежит в основе патологической любви к средневековью некоторых современных философов. Эти люди не смогли бы прожить в средневековье и одного дня.

Конечно, страх смерти и раньше приводил к фантастическим надеждам её избежать. Но особая сосредоточенность на "загробной жизни", какая была в древнем Египте или в средневековой Европе, должна рассматриваться как невротическая эпидемия: Фрейд рассматривал религию вообще как коллективный невроз человечества, и эта точка зрения, при её очевидной недостаточности, заслуживает внимания как эвристический подход к пониманию человека.

Возникает вопрос, каким образом "отцы церкви" — несомненно, самые способные и образованные люди своего времени — могли соорудить это тысячелетнее царство тьмы. Интересы церкви, как мы видели, определили хитроумную политику её "отцов", но не следует думать, что сами они были циничные комбинаторы, сознательно

обманывавшие публику. Даже сознательные фальсификации, к которым они прибегали, не вызывали у них ощущения вины, потому что они не отделяли интересы церкви от своего религиозного долга. По сравнению с нашими нынешними политиками они были невинны, потому что сами верили в то, что говорили. Чтó здесь в самом деле нуждается в объяснении — это человеческий тип, способный производить такую умственную продукцию и принимать её всерьёз. Мы не можем подойти к нему с позиций психологии, поскольку историческая психология не вышла ещё из стадии благих намерений. Но мы можем присмотреться, в какой культурной традиции воспитывались эти люди.

По сравнению с классической греческой культурой это была эпоха глубокого упадка. Ко времени "отцов церкви" от неё осталось несколько почитаемых, но почти не читаемых книг, а образование свелось к банальным абстракциям и риторическим упражнениям позднего платонизма: резко снизился технический уровень мышления. Но это снижение началось задолго до начала "христианской эры". В действительности уже пятый век до нашей эры, век расцвета афинской демократии, был временем упадка греческой мысли. У греков оригинальное развитие науки началось очень рано, и вовсе не в Афинах, а в Ионии — в греческих городах Малой Азии. Первый учёный, имя которого до нас дошло, был иониец — Фалес из Милета; отец медицины Гиппократ был из Коса, тоже в Малой Азии; Демокрит из Абдер, Архимед из Сиракуз, Аполлоний из Перги — все они жили на периферии греческого мира, центром которого стали Афины. Первые "философы", строившие системы мироздания, — Анаксимандр, Пифагор, Зенон — тоже не были афиняне. Ирония истории была в том, что век Перикла был веком расцвета искусства и политической жизни, но в то же время веком упадка объективного мышления. Уровень, достигнутый в то время греческим мышлением, можно видеть в дошедших до нас работах математика Евклида, историка Фукидида, врача Гиппократа — строго логичных, объективных, свободных от фантастических построений. Платон и Аристотель, символизировавшие древнюю мудрость в течение Средних веков, представляли уже реакцию *против* научного мышления. В Афинах четвёртого века пытались применить наукообразные подходы к тому, что мы назвали бы психологией и социологией, путём не подходящих к этим предметам умозрительных построений. "Идеи" Платона и "сущности" Аристотеля были отступлением от объективного изучения природы: в них и коренится великое заблуждение средневековья, именуемое "схоластикой". Платон не внёс ничего ори-

гинального в науку. Кто-то из его школы назвал правильные многогранники “платоновыми телами”, но они были, как известно, открыты до него. Он ненавидел научный подход, и вряд ли случайно возник рассказ, как он скупал и уничтожал произведения Демокрита. О стиле его мышления говорит якобы найденное им “платоново число” — математический секрет, как сочетать родителей, чтобы получить наилучшее потомство. Платон был изобретатель мифов и политический прожектёр. И, конечно, он был философ — не в смысле учёности вообще, как понимали это слово греки, а в специфическом смысле умозрительной философии, до наших дней процветающей на одноимённых факультетах.

“Отцы церкви” изучали философию Платона у его эпигонов, когда этой философии было уже пятьсот лет. Это значит, что мышление древнего мира пятьсот лет пережёвывало одно и то же. Представьте себе, что в наше время молодых людей просвещали бы схоластикой, занимавшей умы полтысячи лет назад, — спорами о предопределении, благодати и таинстве причастия. Кто знает, если наша культура будет деградировать дальше, наши потомки будут, может быть, заучивать сочинения Хайдеггера и Сартра! Но скорее всего они просто разучатся читать.

Выражение “Тёмные Века” вызовет возражения у современных историков. Эти историки, не различающие порядки величин, будут настаивать, что и в Средние века не всё было темно. С таким же успехом можно отрицать, что ночью бывает темно, а днем светло; этому банальному суждению можно противопоставить много случаев, когда днем бывает не так уж светло, а ночью не очень темно. Но нельзя не видеть, что на месте погибшей древней цивилизации возникло примитивное общество, сплошь неграмотное, где почти прекратились промышленность и торговля, и где подавляющая масса населения находилась в крепостном рабстве. В 800 году нашей эры Карл Великий был неграмотен, и через тысячу лет после Архимеда простая арифметика была трудным делом — так и говорилось: “Трудное дело — деление”. В Европе было очень мало грамотных людей, и почти все они принадлежали к духовенству. Быть грамотным означало понимать латынь. Древних авторов читало лишь несколько монахов, если их читали вообще, потому что такое занятие считалось опасным для спасения души. Лишь около тысячного года начали ездить в завоёванную арабами Испанию, где можно было прочесть Аристотеля в арабских переводах. Это были поистине “Тёмные Века”. Всё, что рассказывают о “цветущей средневековой культуре”, относится уже к “Осени средневековья”, то есть к заре

Возрождения. Идеализация Средних веков, даже в этом их позднем развитии, выражает лишь отчаяние наших нынешних мудрецов. Достаточно сказать, что к началу эпохи Возрождения уже перестали переписывать древние рукописи, а уцелевшие не умели хранить. И если мы теперь входим в “новое средневековье”, как думают некоторые философы, то мы по крайней мере знаем, что это значит.

Церковъ и частная собственность. Частная собственность всегда была камнем преткновения для церкви. Спор между “капитализмом” и “социализмом” есть современная форма конфликта богатых и бедных; как мы видели, этот конфликт отчётливо прослеживается уже в первых документах, оставленных Шумером и Египтом. Но представления о “справедливом обществе” и протест против “социальной несправедливости”, выраженные в доктрине социалистов, непосредственно коренятся в христианстве. Удалить из христианской религии эти её составные элементы было невозможно.

Церковь и не пыталась это делать. Она должна была считаться с частной собственностью, как с основным фактом общественной жизни — и церковь её приняла. Церковная иерархия стала частью государственной власти, а власть принадлежала собственникам; да и сама церковь превратилась в крупнейшего собственника. Но, с другой стороны, церковь не могла порвать со своим источником — с первоначальным христианством, решительно осуждавшим частную собственность. Отказ от собственности был условием вступления в апостольскую общину, и все общины первых христиан имели *общее имущество.* Это был не просто “социализм” в понимании его критиков, а его наихудшая форма — “коммунизм”. Церковники вынуждены были сохранить в отредактированных ими Евангелиях резкие обличения собственности, приписываемые Христу: как мы видели, они пытались смягчить их, но, конечно, верующие уже знали их на память, так что их никак нельзя было опустить. Более того, хотя церковь стала церковью господ, она не могла порвать со своей нищей и униженной “паствой”: иначе эта народная масса перешла бы на сторону сектантов и еретиков. Поэтому церковь *никогда* — вплоть до наших дней — не одобряла собственности и всегда подчёркивала опасность стремления к богатству.

Крайности Нагорной Проповеди надо было примирить с действительностью, и церковь пошла на уступки человеческой слабости, сохранив свой высокий идеал для праведников. Праведники давно уже образовали общины, отрёкшиеся от мира и посвятившие

себя делам спасения. Церковь упорядочила эти общины, превратив их в монастыри. Монахи демонстрируют обыкновенным верующим, в чём состоит христианский идеал: у них нет ни собственности, ни семьи. Нестяжание и целомудрие — важнейшие добродетели христианина. Католическая церковь хотела бы даже навязать монашеский образ жизни всему духовенству, опасаясь, что священники, наряду с соблазнами плоти, привяжутся к собственности. Церковь может иметь собственность, поскольку это "достояние бедных", но отдельный священник должен быть неимущ. Другие христианские церкви близки к этой доктрине, по крайней мере в теории, но безбрачия священников не требуют.

Что касается мирян, то христианская церковь взяла на себя функцию "умиротворения" социального конфликта: она выразила принципиальное осуждение богатства и власти, поддержав человеческое достоинство бедных тружеников, и в то же время направила их надежды на потустороннее воздаяние, предписывая "воздавать кесарево кесарю, а божье богу". Эта общественная роль церкви, содержавшая очевидное противоречие, соответствовала роли, которую ей предстояло выполнять в новом классовом обществе Средних веков. Церковь освятила новое порабощение человека варварами-завоевателями, внушив угнетённым извращённую, но логичную в контексте христианского смирения доктрину Павла из Тарса: "Нет власти не от Бога". Она дала им силу переносить унижение, но ценой их достоинства и свободы *в этом мире*.

Величайшей заботой каждого христианина, особенно в трудные дни жизни и перед смертью, было спасение души, что зависело от церкви, державшей в своих руках отпущение грехов. Наконец, в Средние века, когда религия была неизменной спутницей человека от колыбели до гроба, сложились те "моральные правила", на которых до сих пор основывается человеческое поведение. *Моральный кодекс поведения, внушаемый человеку в детстве, всё ещё остаётся христианским*, даже если родители отроду не были верующими: такова сила культурной традиции. Консерваторы всех времён хорошо понимали важность старых правил. О них заботился ещё божественный Платон: "Если мы потеряем эти правила, — сокрушался он, — то где и у кого возьмём мы другие?"

Мы все знаем эти правила, в основном воспроизводящие уже известные нам правила племенной морали. Их *христианский* характер, по сравнению с описанным в главе 3, состоит в глобализации этой морали, которая у христиан относится — или должна относиться — ко всем людям. Как мы уже сказали, в этом заключает-

ся важная историческая заслуга этой религии. В действительности глобализация в Средние века ограничивалась "братьями во Христе" и не применялась к "неверным", но в новое время понятие "ближнего" значительно расширяется. В то же время сила этих "моральных правил" постепенно ослабевает, по мере того как религия, бывшая опорой воспитания, перестаёт приниматься всерьёз. Это очень важное явление, потому что без *"моральных правил", унаследованных от христианства, не может существовать рыночная система, именуемая "капитализмом"*.

Средневековый феодальный строй был гораздо дальше от рыночного хозяйства, чем торгово-промышленный уклад Римской империи, не говоря уже о нынешнем капитализме. Таким образом, "моральные правила" современного человека сложились в условиях, разительно непохожих на современную жизнь.

Чему же учила религия в то время, когда она в самом деле владела мыслями и чувствами людей? Эрих Фромм напоминает об этом в своей книге "Бегство от свободы" [1]: "Для понимания позиции индивида в средневековом обществе важны *этические взгляды на экономическую деятельность*, выраженные не только в учениях католической церкви, но и в светских законах". И дальше Фромм цитирует книгу историка Тони "Религия и развитие капитализма" [2]. В основе экономической жизни, — говорит Тони, — лежали два основных принципа:

"Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души; и экономическое поведение — всего лишь одна из сторон поведения человека, над которой, как и над другими её сторонами, стоят связывающие её моральные правила".

Затем Тони описывает, каковы были эти "моральные правила", то есть как смотрели в Средние века на экономическую деятельность:

"Материальные блага необходимы; они имеют служебное значение, поскольку без них люди не могут существовать и помогать друг другу... Но экономические мотивы подозрительны. Люди боятся их, поскольку они вызывают жадность; но они и не настолько дурны, чтобы не вызывать одобрения... В средневековой теории не было места для экономической деятельности, не связанной с моральной целью; если бы кто-нибудь предложил средневековому мысли-

[1] Fromm, Erich. *Escape from Freedom*, 1941; русский перевод, Москва, издательство "Прогресс", 1990.

[2] R. H. Tawney. *Religion and the Rise of Capitalism*, Harcourt, Brace & Co, New York, 1926.

телю основать науку об обществе на допущении, что стремление к экономической выгоде есть постоянная, измеримая сила, принимаемая, подобно другим силам природы, за неизбежный и самоочевидный исходный факт, то подобная точка зрения показалась бы ему столь же неразумной и безнравственной, как если бы пытались основать социальную философию на неограниченном действии таких человеческих свойств, как драчливость и половой инстинкт... Святой Антоний говорит, что богатства существуют для человека, а не человек для богатства... Поэтому на каждом шагу мы встречаем пределы, ограничения, предостережения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьёзные дела. Человеку дозволено стремиться к такому благосостоянию, какое необходимо для жизни в его общественном положении. Стремиться к большему — это не предприимчивость, а жадность; жадность же — это смертный грех. Торговля законна: различные произведения разных стран свидетельствуют о том, что она была предусмотрена Провидением. Но это опасное занятие. Человек должен быть уверен, что делает это для общего блага, и что получаемая им прибыль — не более чем плата за его труд. Частная собственность — необходимое учреждение, в этом падшем мире; люди больше работают и меньше ссорятся, если блага находятся в частном владении, чем если они принадлежат им совместно. Но это можно лишь терпеть как уступку человеческой слабости, а не приветствовать, как нечто желательное само по себе. Идеал же — если только человек может до него возвыситься — это коммунизм. "Communis enim, — писал Грациан в своём "Декрете" — usus omnium quae sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit".[1] И в самом деле, владеть имуществом было по меньшей мере хлопотно. Оно должно было быть приобретено законным путём. Оно должно было иметь как можно больше владельцев. Оно должно было доставлять помощь бедным. Оно должно было, по возможности, быть в общем пользовании. Его собственники должны были быть готовы разделить его с нуждающимися, даже если те не находятся в бедственном состоянии".

К этому Фромм добавляет: "Хотя здесь выражаются лишь нормы, не дающие точной картины экономической жизни, они в некоторой степени передают подлинный дух средневекового общества".

В средневековой Европе почти не было рыночного хозяйства. За редкими исключениями, хозяйство было замкнутым: нужные про-

[1]"Ибо пользование всем, что есть в этом мире, должно было быть общим для всех людей". Грациан — юрист 12-го века; "Декретом" называется его сочинение по каноническому праву.

дукты и изделия производились в пределах того же имения или того же города, где они потреблялись. Ремесленники были объединены в цехи, имевшие исключительное право заниматься в данной местности некоторым видом труда. Цех устанавливал "справедливые" цены на изделия, обязывая своих членов сообщать, где и почём они покупают сырье; цех контролировал количество и качество продукции, регулировал взаимные отношения и претензии. Надзор над всем производством осуществляла королевская власть, часто вводившая предельные цены. Крестьяне вели натуральное хозяйство, отбывали барщину или платили сеньору оброк; они почти не участвовали в денежном обращении. Подвижность населения была невелика, и города не имели такого значения, как в древности, или, тем более, в наши дни. Париж и Лондон насчитывали в Средние века 20–30 тысяч жителей.

В эту жестокую, бесконечно долгую в своей умственной неподвижности эпоху воспитывались идеи гуманизма — в фантастической оболочке христианской "любви к ближнему". В действительности эти идеи были вполне привычны уже греческим и римским философам, последователям Зенона и Эпикура. Бессмысленно спрашивать, нужна ли была еврейская религия, нужно ли было переселение германских племён. История была случайным процессом, и оставалась им до наших дней. Конечно, весь конкретный ход событий вообще объяснить нельзя, потому что для этого понадобилось бы утраченное знание о прошлом. Но многое в этом прошлом мы можем понять.

Как и в древности, в Средние века поведение человека определялось его инстинктами, и в основе его лежали те же правила племенной морали. Форма их проявления зависела от культуры. "Социальная справедливость" была по-прежнему предоставлена попечению сверхъестественных сил, но вместо шумерской богини Нанше призывали на помощь христианскую богоматерь.

Неподвижность средневековой жизни делала весь её строй глубоко чуждым нашей современной культуре. Можно было бы подумать, что средневековый человек смирился со своим порабощением. Но всё же, протест против социальной несправедливости не угасал и в средние века. Время от времени социальное равновесие всё же нарушалось, и чрезмерное угнетение вызывало взрывы восстаний. Французские крестьяне не могли примириться с привилегиями дворян — по их представлениям, захватчиков, "пришедших с королём Фран-

ком”. Они были глубоко проникнуты идеей врождённого равноправия всех людей. Крестьяне, восставшие во время “Жакерии”, пели:

“Мы такие же люди, как они,
Мы так же храбры
И так же можем страдать”.

Такие же представления были у английских крестьян, восставших под предводительством Уота Тайлера. Вот что говорил им мятежный священник Джон Болл:

“Добрые люди, — Плохо идут дела в Англии, и так всегда будет, пока все блага не станут общими, пока не станет ни крепостного, ни джентльмена, пока все мы не станем равны. По какому праву эти люди, которых мы называем лордами, отнимают у нас всё лучшее? Чем они это заслужили? Почему они держат нас в рабстве? Раз все мы произошли от одного отца и одной матери, от Адама и Евы, как могут они говорить и доказывать, что они бóльшие господа, чем мы? Разве что тем, что они заставили нас работать на них и делать всё им на потребу. Они одеваются в бархат и одежды, украшенные горностаем и мехом, а мы носим грубые ткани. У них вина, пряности и хороший хлеб, а нам достаются ржаной хлеб, отруби, солома и вода. У них дворцы, красивые поместья, а на нашу долю приходятся заботы и труд, мы должны выносить на полях дождь и ветер. И вся их роскошь происходит от нас, от нашего труда”.

В начале шестнадцатого века — заключительным аккордом средних веков — прогремела потрясшая Германию крестьянская война. Восставшие крестьяне выступали под знаменем евангельского христианства.

Наследие Средних веков для нас всё ещё важно. Культура, прежде называвшаяся “христианской”, теперь именуется “европейской”, или “западной”. Люди давно утратили веру, не принимают всерьёз ни бога, ни дьявола и не беспокоятся о загробном воздаянии. Но “моральные правила”, сохранившиеся в законах и обычаях, попрежнему носят отпечаток христианства. Люди не знают никаких других. В частности, рыночное хозяйство предполагает соблюдение тех же моральных правил — правил, возникших в глубоко чуждом нам обществе Средних веков. Иначе говоря, от дельца требуется некоторый минимум “честного поведения”, но не слишком много такого поведения, если он хочет остаться дельцом. В самом деле, главным мотивом бизнеса является жадность, порождённая нищетой. Христианство осуждает жадность, но мирится с нищетой. На-

ши предки думали, что “честное поведение” невозможно без религии. Но честность древнее религии: в основе её — *социальный инстинкт*, который возник задолго до рынка и, конечно, переживёт его, в более высокой культуре будущего.

Глава 8

Прогресс и его изнанка

1. Происхождение идеи прогресса

Возникновение неравенства между людьми, частной собственности и государства было тяжёлым потрясением для человеческой психики — это был разрыв с племенным укладом жизни, непосредственно сложившимся на основе инстинктов нашего вида. Человечество, вступившее на трудный путь культурного развития, должно было выработать сложные способы направления и ограничения своих инстинктивных побуждений, но его "коллективная память" сохранила мифы о "золотом веке", об утраченной счастливой и гармонической жизни первых людей. Последовавшая за этим печальная история обычно объяснялась "грехопадением", непослушанием людей сотворившему их божеству.

Наиболее известна еврейская версия "золотого века" и "грехопадения", изложенная в Библии. В этом мифе, дошедшем до нас в довольно поздней жреческой обработке, говорится, что наши предки, Адам и Ева, были совершенны и, по-видимому, бессмертны; они жили в раю, описанном лишь в самых общих чертах. Бог запретил им есть плоды с "древа познания добра и зла": таким образом, он хотел сохранить за собой привилегию знания. "Первородный грех", создавший "человека разумного" — как мы его называем — состоял как раз в нарушении этого запрета. Глубокая метафора библейского рассказа, несомненно возникшего в бессознательном народном творчестве, примечательным образом связывает конец "золотого века" с развитием человеческого разума. Дальнейшая история крайне пессимистична: люди ничего не могут без помощи свыше, но даже постоянное вмешательство всемогущего бога не может избавить их от жесточайших бедствий. Они опорочены "первородным грехом", всё время нарушают заповеди, а всеведущий бог, зная всё это наперёд, гневается на них и наказывает их, как это всегда делали азиатские деспоты, история которых служила для жрецов образцом.

Греки тоже верили, что в начале истории был "золотой век", но их мифология ещё более печальна. В течение всей языческой древности у них не было никакого "священного писания". Их представ-

ления о богах и о происхождении людей удивительным образом зависели от фантазии поэтов; главными из этих поэтов-боготворцев были Гомер, живший, вероятнее всего, в 8 веке до н. э., и Гесиод, живший на сто лет позже. Вот что рассказывает Гесиод в своей поэме “Дела и дни”:[1]

Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Был ещё Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чём не известен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебородные земли. Они же,
Сколько хотели, трудились, спокойно сбирая богатства, —
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.

Конец “золотого века” не связывается у Гесиода с какими-либо провинностями этих людей; пожалуй, причиной его была перемена власти на Олимпе, когда Кроноса низвергнул его сын:

В благостных демонов все превратились они надземельных
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.

Таким образом, правление Зевса означало уже появление “неправых дел”; это был “серебряный век”:

После того поколенье другое, уж много похуже,
Из серебра сотворили великие боги Олимпа.
Было несхоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью.
Сотню годов возрастал человек неразумным ребёнком,
Дома близ матери доброй забавами детскими тешась.
А, наконец возмужавши и зрелости полной достигнув,
Жили лишь малое время, на беды себя обрекая
Собственной глупостью: ибо от гордости дикой не в силах
Были они воздержаться, бессмертным служить не желали,
Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам,
Как по обычаю людям положено. Их под землёю
Зевс-громовержец сокрыл. . .

---

[1] Перевод В. В. Вересаева.

Следующий дальше “медный век” отражает, по-видимому, воспоминание о микенской культуре, к которой принадлежали герои Гомера. Это была эпоха бронзового оружия:

Третье родитель-Кронид поколенье людей говорящих
Медное создал, ни в чём с поколеньем несхожее с прежним.
С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили
Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели.
Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться
К ним не решался: великою силой они обладали,
И необорные руки росли на плечах многомощных.
Были из меди доспехи у них и из меди жилища,
Медью работы свершали: о чёрном железе не знали.

Затем в Грецию вторглись дорийцы, тоже греки, но перенявшие где-то на Востоке железное оружие. После четвёртого поколения “героев”, вставленного здесь для надлежащего прославления уже утвердившихся в традиции эпических “полубогов”, Гесиод переходит к своему “железному веку”:

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы телесные боги дадут им.
(Всё же ко всем этим бедам примешаны будут и блага.
Зевс поколенье людей говорящих погубит и это,
После того как на свет они станут рождаться седыми).

Далее изображается падение нравов, ожидаемое в будущем:

Дети с отцами, с детьми их отцы сговориться не смогут
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то,
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанье родителям старым.
Правду заменит кулак. Города друг у друга разграбят
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почёт воздаваться. Где сила, там будет и право. . .
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.

Жалобы на моральную деградацию, выражающие консервативную установку мышления, никогда не умолкали; но здесь мы имеем крайнюю форму такого пессимизма, убеждённого в фатальной неизбежности происходящего упадка. Представления о "золотом веке" в далёком прошлом, повторяющиеся у всех народов, несомненно отражают воспоминание о первобытном племенном строе и глубокое потрясение от его утраты. В этом процессе прямолинейное мышление древних не находило ничего хорошего: оно было крайне дихотомично и склонно было видеть во всем происходящем только "добро" или только "зло".

По этой концепции "непрерывного регресса", вся история человечества была историей падения с недосягаемой высоты, которую искали в мифическом прошлом. Как это ни странно, такая философия истории, с некоторыми вариациями, господствовала у греков в течение всей их цивилизации. Очевидно, она усилилась в "тёмные века" после дорийского нашествия, и вновь укрепилась в четвёртом веке, в эпоху распада афинской демократии. Её самый известный сторонник, философ Платон, видел единственное спасение в теократическом закреплении всех ещё уцелевших остатков прошлого. "Государство" Платона навсегда осталось памятником отчаяния человеческого разума, остановившегося в недоумении перед непостижимым ходом истории. Грекам никогда не приходила на ум идея, что человек может внести в этот процесс свою сознательную составляющую. Незадолго до полного крушения греческих полисов Платон хочет создать свой идеальный, правильно устроенный полис из нескольких тысяч человек, противопоставив его всему миру.

Между тем, наряду с мифами о "золотом веке" и "грехопадении", у многих племён были также мифы о боге или "культурном герое", научившем людей спасительному знанию, или попросту сотворившем людей для разумной жизни. У греков это был Прометей, подаривший людям священный огонь. До этого люди были жалкими дикарями, беспомощными перед холодом и нападением зверей. По другим версиям этого мифа, Прометей научил людей всем искусствам, или даже сотворил их из земли и воды. Примечательно, что он всё это сделал против воли Зевса, и был за это жестоко наказан. Но подвиги Прометея, как и других "культурных героев", были в мифическом прошлом.

Евреи, создавшие религию более высокого типа — монотеизм — ещё больше греков страдали от случайностей истории, обрушившей на их малочисленное племя удары соседних империй. Они возложили всю надежду на своего единого бога. Первоначально этот бог

немногим отличался от богов других кочевых племён, но затем явились пророки, ожидавшие от бога небывалых чудес: ибо только чудо могло избавить евреев от порабощения. Пророк Исаия, живший в 8 веке до н. э., был, насколько нам известно, *первым человеком, переместившим "золотой век" из прошлого в будущее.* Как мы помним, этот удивительный провидец ожидал от своего бога не только спасения евреев, но и спасения всех народов! Возможно, ещё до этого пророчества была мессианская идея: ожидали, что бог пошлёт своему народу героя, который освободит его от угнетателей и станет его священным царём. Другое предсказание будущего блаженства, вероятно, персидского происхождения, впоследствии воплотилось в христианское учение о Тысячелетнем царстве — в универсальный, не знающий "ни эллина, ни иудея" христианский хилиазм. Мы уже видели, как христиане представляли себе *будущий* "золотой век".

Но христианство, обещая верующим все эти будущие чудеса, не отводило человеку никакой активной роли в их осуществлении. От человека требовалась только покорность неисповедимой воле божьей, уже предусмотревшей весь ход и завершение истории. Христианская религия ценила человека ещё ниже еврейской: согласно церковной метафоре, обременённый грехами человек был не более чем жалкий червь в глазах своего бога, да и в собственных глазах — когда он всерьёз размышлял о своей судьбе. Земной мир был "падший мир", и он должен был оставаться, в сущности, неизменным в этом состоянии до Страшного Суда; церковь сурово карала еретиков, пытавшихся собственными усилиями его спасти. Впрочем, эти еретики были пламенно верующие люди, и вся их активность сводилась, как правило, к лучшему выполнению христианских заповедей: они полагали, что, увидев их праведную жизнь, господь сам позаботится об устроении мира сего, или даже о его скорейшем прекращении, как этого желал последний христианский еретик, Лев Толстой[1].

Эта пассивная психическая установка могла измениться лишь тогда, когда религия потеряла свою абсолютную власть над человеческим мышлением. Эпоха Возрождения начала с того, что переставила акцент в христианской концепции человека. Оставаясь верующими, люди осознали, что значение человека видно из самого акта творения и из искупительной жертвы Христа. Это сознание выражало новое самопонимание человечества, по существу несовместимое с ролью, отведённой человеку средневековым мышлени-

[1]Послесловие к "Крейцеровой сонате".

ем. Вот что говорит, от имени бога, молодой гуманист Пико делла Мирандола в своей “Речи о достоинстве человека”:

“Не сотворил я тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным: ты можешь быть свободен по своей воле и совести, и будешь сам себе творец и создатель. Лишь тебе даровал я расти и меняться по собственной воле. Ты несёшь в себе семя вселенской жизни”.

Расцвет искусства в эпоху Возрождения и развитие литературы на новых языках поставили под вопрос превосходство древних, безусловно признанное в средние века. Микеланджело ещё в юности понял, что может ваять статуи не хуже известных ему древних образцов. В семнадцатом веке новые европейские литературы стали уже сравнивать себя с древними. Но, конечно, в области эстетики трудно было установить отчётливые критерии сравнения, и если можно было отрицать упадок поэзии и искусства по сравнению с древностью, то трудно было и претендовать на превосходство, поскольку в этой области вряд ли видно было прогрессивное развитие. Гораздо очевиднее было развитие объективного человеческого знания — того знания, которое Крейн Бринтон удачно назвал “кумулятивным”. Леонардо да Винчи вовсе не думал о древних и, по-видимому, едва знал латынь, но делал самостоятельные наблюдения и открытия, далеко выходившие за пределы всего, что знали в древности. Он знал уже, что “Солнце не движется”, независимо от Коперника, работавшего в то же время. Коперник знал об Аристархе Самосском, но сам наблюдал небо и делал вычисления. Возрождение освободило человеческую мысль и создало предпосылки для знания: человек стал полагаться на себя.

Это было величайшим историческим событием, пошатнувшим установившиеся представления. Человек потерял свои этические понятия, опиравшиеся на религиозную санкцию его поведения. Отсюда произошёл распад частной и общественной морали, описанный, например, Буркхардтом на примере итальянской культуры. Аналогичные явления присущи всем резким поворотам истории. Таким образом, в смысле “прогресса” уже эпоха Возрождения была далеко не однозначна: это понятие не следует понимать слишком прямолинейно. И всё же, Новая история началась с жажды знания. Библейская легенда указала отличительное свойство человека — познание добра и зла.

Первым, кто высказал отчётливое представление о развитии и приращении знаний, был Жан Боден, опубликовавший в 1566 году книгу “Метод лёгкого познания истории”. Боден решительно отбро-

сил теорию вырождения человека. Этот писатель, во многом ещё не освободившийся от средневековых суеверий, понял важность открытий своего времени. Он особенно восхвалял изобретение компаса и связанные с ним успехи мореплавания, изобретение огнестрельного оружия и искусства книгопечатания; это последнее, по его словам, само по себе сравнимо с любым достижением древних. В начале 17 века Френсис Бэкон наметил уже целый план экспериментальных исследований, подчёркивая их *полезность* для удовлетворения человеческих потребностей. К несчастью, сам Бэкон не был учёным и не понял, что наука его времени опиралась на математику, которой он не знал. Человек, отвергавший систему Коперника и открытия Галилея, вряд ли понимал, чтó он пропагандировал как научное знание.

Важную роль сыграла философия Декарта, который и сам был одним из величайших учёных. Впервые в истории науки Декарт полностью отбросил принцип авторитета и, в частности, авторитет древних. Он утвердил первенство человеческого разума, способного постигнуть неизменные, не зависящие от воли Провидения законы природы. Его "Рассуждение о методе" первоначально должно было носить многозначительное название: "Проект универсальной науки, способной возвысить нашу природу до высочайшего совершенства".

Но подлинное самоутверждение человека могло опереться лишь на новое знание о Вселенной. Новую историю часто начинают с Колумба, но Америку открыли люди вполне средневекового склада. Подлинными творцами Новой истории были Галилей и Ньютон. Галилей положил начало научному эксперименту, а Ньютон — теоретическому описанию природы. Значение науки в истории человечества, как правило, недооценивается. Между тем, как только людей перестало удовлетворять объяснение мира, предлагаемое религией, *главным источником их мировоззрения стало естествознание*; и очень скоро естественные науки произвели революцию в методах производства, нацело *переменившую весь образ жизни человеческого общества.* Наука действует на мышление людей иначе, чем религия, но столь же решающим образом, потому что она стала для них достоверным знанием и внушает им доверие. При этом способы получения научных результатов так же неизвестны простому человеку, как источники религиозной веры, а еретические извращения науки в народном сознании ещё больше отклоняются от её учений, чем ереси Средних веков от учений религии.

В течение тысячи лет "наукой" называлась схоластическая философия, ancilla theologiae ("служанка богословия"). Средневековая

наука никогда не пыталась непосредственно изучать явления окружающего мира, а полностью полагалась на авторитет, и сводилась главным образом к сочетанию подобранных мест из заранее заданных непогрешимых источников. Такими источниками были, прежде всего, Библия, затем писания "отцов церкви" — особо уважаемых богословов раннего христианства, и, наконец, переведённые с арабского сочинения Аристотеля — язычника, удивительным образом допущенного в круг непререкаемых авторитетов. Фома Аквинский называл его просто Философом, с большой буквы; и когда Галилей направил свой телескоп на Солнце и обнаружил на нем пятна, то один из схоластов высмеял это открытие, поскольку Философ о нем не упомянул.

Схоластическая философия занималась самыми возвышенными предметами — Человеком, его отношением к богу и к сотворённой для него природе. О боге известно было очень много, о природе же — только то, что сказал Аристотель, но предполагалось, что он уже знал о ней всё. С точки зрения схоластов, новая наука Галилея и его последователей была отступлением от этих высоких задач: в самом деле, новые учёные, не касаясь столь сложного явления, как Человек, занялись низменными предметами — изучением *вещей*. Нельзя отрицать, что с абстрактной, "внеисторической" точки зрения в этом мнении была некая правда: люди оставили важные, но недоступные задачи и занялись менее важными, но сулившими успех. Как мы теперь понимаем, без этих более простых задач нельзя было и подступиться к более сложным; но схоласты, уверенные в своём знании самого сложного, не видели надобности начинать с чего-то простого. Впрочем, профанация высокой науки не ограничилась опытами Галилея, скатывавшего бочки с кораблей на венецианские пристани и бросавшего (будто бы) тяжёлые шары с падающей башни в Пизе. Ньютон занялся объяснением движения планет, а это был уже предмет, заслуживавший внимания образованной публики. Это были вещи небесные, если можно было называть их вещами: ведь даже Кеплер полагал, что планеты приводятся в движение ангелами.

Надо уяснить себе, почему движению планет придавали столь важное значение. С глубокой древности люди наблюдали небесные светила. Их связывали с религией, так что первыми астрономами были жрецы; но звезды имели и практическое значение для ориентировки на местности, а особенно для мореплавания. Видимое "вращение небосвода" легко было описать, поскольку в определённое время суток, в определённом месте Земли все звезды — за исклю-

чением нескольких особенных — всегда оказывались в определённом месте неба. Такие звезды назывались “неподвижными”. Но было несколько звёзд, положение которых, при таком же наблюдении, менялось по отношению к “неподвижным” очень неправильным, запутанным образом; их назвали “планетами”, что означает по-гречески “блуждающие” звезды. Это непонятное перемещение планет уже в древности породило астрологические суеверия, дожившие до наших дней. Сто лет назад Верлен выразил эти представления стихами, достойными любой эпохи декаданса:

Les Sages d’autrefois, qui valaient bien ceux-ci,
Crurent, et c’est un point encore mal éclairci,
Lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres,
Et que chaque âme était liée à l’un des astres.

[Мудрецы прошлого, которые, право же, стоили нынешних,
Полагали — и это всё ещё малоизученный вопрос —
Что можно прочесть в небесах счастье и несчастье,
И что каждая душа связана с одним из светил.]

В прошлом в астрологию верили даже умные люди, такие, как безжалостный реалист Макиавелли, или философ-эмпирик Бэкон. Ко времени появления книги Ньютона (1687 год) эта вера ослабела, но в широких кругах образованной европейской публики упорно держалось представление средневековой философии, связывавшей “микрокосм” — человека и человеческое общество — с “макрокосмом”, тем самым “звёздным небом над нами”, с которым Кант не случайно сопоставил “нравственный закон внутри нас”.

Движение планет было загадочно, и людям — бессознательно связывавшим это движение с человеческой судьбой — казалось, что это величайшая тайна мироздания. И вот, эту тайну *объяснил* Ньютон. Древние астрономы никогда не пытались объяснить, почему планеты движутся по своим непонятным путям. Они всего лишь описывали это движение, и Птолемей разработал сложные, искусственные приёмы, позволявшие его приближённо предсказывать. Но за полторы тысячи лет планеты вышли за пределы этих предсказаний. Система Коперника гораздо лучше описывала движение планет, а законы Кеплера устанавливали удивительную регулярность этого движения; но только Ньютон сумел объяснить эти законы, обнаружив причину движения всех небесных тел: он открыл *силу всемирного тяготения.* Ньютон открыл общие законы движения тел и применил их к силам тяготения, управляющим Солнечной системой; тем самым он создал первую научную систему мира, на-

званную "небесной механикой". Эта теория поразила учёных непревзойдённой точностью своих предсказаний, строгостью математических выводов и ясностью принципов, положенных в основу этих выводов. Она стала образцом для всех дальнейших научных теорий. Без сомнения, 1687 год можно считать началом современной *теоретической науки*, составляющей главное отличие Новой истории от всей предшествующей ей истории человечества.

Нам трудно представить себе впечатление, произведённое работами Ньютона на его современников и на ближайшее потомство. Мы привыкли ко всё новым, всё время возникающим научным теориям, непрерывно воздействующим на технику, а затем и на повседневную жизнь. Но механика Ньютона была *первой* научной теорией, объяснившей широкое многообразие явлений природы, и многим казалось, что Ньютон открыл уже *основные* законы природы, позволяющие объяснить вообще всё происходящее в мире, если только применить эти законы к разным областям явлений. В самом деле, сила тяготения, открытая и исследованная Ньютоном, универсальна: любые две частицы любого вещества притягиваются друг к другу по одному и тому же закону; а законы движения Ньютона позволяют рассчитать, как движутся все частицы под действием силы тяготения. Более сложные движения массивных тел Ньютон сумел свести к *тем же* законам притяжения и движения частиц. Возникла надежда, что к этим законам сводятся все движения вообще, то есть все явления природы! В таком случае притяжение тел было бы главным объяснительным принципом, и применение этого принципа казалось надёжным путём к разгадке *всех* тайн мироздания. Ощущение всемогущества человеческого разума, вызванное этой надеждой, передал английский поэт Поуп в своём знаменитом двустишии:

> Nature and nature's laws lay hid in night.
> God said: "Let Newton be!" And all was light.
>
> [Природа и законы природы были погружены во тьму.
> Бог сказал: "Да будет Ньютон!" И воссиял свет.]

Надо сказать, к чести англичан, что они достойно оценили труды своего соотечественника — ещё при его жизни. Эпитафия на его памятнике гласит:

"Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов.

Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при

этом свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и Св. Писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого.

Родился 25 декабря 1642, скончался 20 марта 1727 г."

Мы знаем теперь, сколь долгий путь отделяет это начало достоверного научного знания от подлинного понимания природы, и в особенности — природы человека. "Задача двух тел", решённая в небесной механике, была гораздо проще задач, стоящих перед нашей цивилизацией; но надежды современников Ньютона не были напрасны. "Ньютонианство" очень скоро было усвоено во Франции, где и развилась под его влиянием *идея прогресса.*

Новое научное мировоззрение встретило во Франции сопротивление, поскольку у французов ещё господствовала не только декартова философия и математика, но и декартова физика — не согласная с опытом "теория вихрей"[1]. Первый, кто изложил последовательную теорию прогресса, под этим названием, был аббат де Сен-Пьер, еще сторонник картезианской философии[2]. В своей книге "*Observations sur le progrès continu de la raison universelle*" ["Замечания о непрерывном прогрессе всеобщего разума"] (1737) он изложил концепцию, противоположную древнему представлению о постоянной деградации человечества. Напротив, он видел в истории процесс совершенствования человечества, приращения знаний и искусств, а также улучшения нравов и обычаев — процесс, лишь временно прерванный в средние века "вторжением варваров". Аббат де Сен-Пьер не согласен был со старой аналогией, уподоблявшей историю человечества жизни отдельного человека и видевшей в её разных фазах нечто вроде детства, юности или старости индивида. Бэкон и Паскаль, принимавшие всерьёз эту метафору, полагали, что их время было уже старостью человеческого рода, а поскольку христианское учение о Страшном Суде предвещало конец истории, они приходили к выводу, что этот конец уже близок. Таким образом, даже те, кто признавал совершенствование человечества в прошлом, не сулили ему долгого будущего: они рассматривали своё время как эпоху наивысшего совершенства!

---

[1] Заметим, что эта теория, не выдержавшая опытной проверки, всё же содержала интересные идеи, напоминающие позднейшие теории поля. Так обычно бывает с заблуждениями великих людей!

[2] То есть последователь философии Декарта. Он был один из тех французских аббатов, которые мало занимались религией.

Иначе думал аббат де Сен-Пьер: во всех своих построениях он был убеждённый оптимист[1]. Он считал, что природа всегда сохраняет неизменную способность производить гениальных людей, так что не происходит никакого вырождения. А поскольку открытия и изобретения накапливаются, то при благоприятных условиях — например, при отсутствии войн или тиранических правительств — человечеству предстоит неограниченное развитие. Аббат был уверен, что все эти условия, во всяком случае в Европе, вскоре можно будет обеспечить.

Де Сен-Пьер был оптимист в духе своего времени, когда люди — во всяком случае, просвещённые люди Европы — избавились от влияния средневековых авторитетов и начали доверять своему разуму. Конечно, он был не правоверный католик, а еретик: по определению епископа Боссюэ, "еретик — тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением". Его религия, уже почти не преследуемая в начале 18 века, называлась деизмом. Деисты полагали, что бог, сотворивший этот прекрасный мир, не имеет больше надобности вмешиваться в его дела. Большинство деятелей "века Просвещения" верило в такого не слишком обременительного бога. Кроме того, аббат был ещё картезианец, только слышавший о "ньютонианстве", но не понимавший его значения. Оптимизм его сводился к вере во всемогущество науки. Но самой важной наукой была для него будущая наука о человеке и обществе: он досадовал, что Ньютон и его последователи вместо этой главной науки занялись движением светил, и советовал открыть во всех академиях отделения политики и этики. Как видите, аббат был не учёный, а реформатор и прожектёр.

Более серьёзные люди тоже были полны энтузиазма, но пытались разобраться, что же в самом деле произошло. Вольтер, побывавший в Англии, старался усвоить теории Ньютона с помощью своей возлюбленной маркизы дю Шатле, умевшей справляться с нужной для этого математикой. Чтобы объяснить новую науку французам, он опубликовал в 1738 году популярную книгу "Элементы философии Ньютона". Вольтер считал Ньютона величайшим из когда-либо живших людей, что свидетельствует о настроении публики по обе стороны Ламанша. К середине века ньютонианство одержало полную победу, и французы, как часто бывало, довели эту англий-

---

[1]В одном из своих проектов он предлагал установить в Европе вечный мир, создав международную организацию для разрешения конфликтов. По его мнению, правительства того времени были способны к такому образу действий. Как видно, только оптимисты могут предвидеть *отдалённое* будущее!

скую доктрину до логического завершения.

11 декабря 1750 года молодой человек двадцати трёх лет, Анн Робер Тюрго, произнёс в Сорбонне речь "О последовательных успехах человеческого разума". Тюрго был не литератор, а глубокий учёный — экономист, историк и философ. В дальнейшем он стал министром финансов, то есть главным министром Франции, и начал проводить реформы, которые могли бы спасти экономику этой страны и, может быть, предотвратили бы революцию. Придворная клика добилась его отставки. Но в двадцать три года Тюрго, хорошо знакомый с наукой своего времени, был полон энтузиазма. Конечно, он не думал, что проблемы человека и общества могут быть решены прямым применением методов первой, только что возникшей науки — которую мы теперь называем механикой. Но он правильно оценил величие достигнутого успеха и ожидал применения строгих методов, подобных методам Ньютона, к вопросам общественной жизни. Как мы сказали бы теперь, Тюрго недооценил трудности исследования сложных систем. Мечта его до сих пор остаётся мечтой, но, как теперь можно предполагать, достижимой мечтой — даже в случае человеческого общества. Как я уже сказал, он был не просто мечтатель, а глубокий учёный, опередивший своё время.

Речь Тюрго представляет собой подлинный манифест так называемой "религии прогресса", до сих пор владеющей умами людей. Конечно, это вовсе не "религия", как её иронически называют нынешние скептики: это *убеждение*, которое можно разделять или нет. Приведём некоторые места из этой речи. В начале он говорит:

"Явления природы, подчинённые неизменным законам, заключены в круге всегда одинаковых превращений. Всё возрождается, всё погибает; и в последовательных поколениях, через которые растения и животные воспроизводятся, время в каждый момент только воссоздаёт образ того, что оно само разрушило.

Последовательное движение людей, напротив, представляет из века в век всегда меняющееся зрелище. Разум, страсти, свобода беспрестанно порождают новые события. Все эпохи сплетены цепью причин и следствий, связывающих данное состояние мира со всеми предшествовавшими состояниями.

Знание языка и письменности, давая людям средство обеспечить себе обладание своими идеями и сообщать их другим, образовали из всех частных знаний общую сокровищницу, переходящую как наследство от одного поколения к другому и всё увеличивающуюся открытиями каждого века. И человеческий род, рассматриваемый

с момента своего зарождения, представляется взорам философа в виде бесконечного целого, которое само, как всякий индивидуум, имеет своё состояние младенчества и свой прогресс.

Мы видим как зарождаются общества, как образуются нации, которые поочерёдно господствуют и подчиняются другим. Империи возникают и падают, законы, формы правления следуют друг за другом; искусства и науки изобретаются и совершенствуются. Попеременно то задерживаемые, то ускоряемые в своём поступательном движении, они переходят из одной страны в другую. Интерес, честолюбие, тщеславие обусловливают беспрерывную смену событий на мировой сцене и обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вызванных ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнения, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует, хотя и медленными шагами, ко всё большему совершенству".

А вот что Тюрго говорит в конце своей речи, после очерка истории по только что приведённому плану:

"Наконец, все тучи рассеяны. Какой яркий свет загорелся со всех сторон! Какая масса великих людей во всех областях! Какое совершенство человеческого разума! Человек (Ньютон) подверг исчислению бесконечное; открыл свойства света, который, освещая всё, как бы скрывается; привёл в равновесие светила, Землю и все силы природы. Этот человек встретил соперника. Лейбниц обнимает своим обширным умом все предметы человеческого разума. Различные науки, ограниченные сначала небольшим числом доступных всем понятий, став благодаря общему прогрессу более обширными и более трудными, теперь рассматриваются только отдельно. Но дальнейшие научные успехи сближают их и открывают взаимную зависимость между всеми истинами, которая связывает их, освещая одну истину посредством другой. Ибо если каждый день добавляет новое к бесконечности наук, то с каждым днем они становятся также более понятными: ибо методы умножаются вместе с открытиями, ибо леса воздвигаются вместе со зданием".

Атмосфера оптимизма, сложившаяся в начале 18 века, во многом определила ход дальнейших событий. Тюрго и его собратья-учёные, знавшие, как трудно даётся познание, надеялись на медленную, но верную поступь прогресса. Но широкие круги интеллигентной публики, и тем более полуинтеллигентной публики, которой суждено

было сыграть столь важную роль в будущих революциях, усвоили этот оптимизм, соединив его с гораздо меньшим терпением. Условия общественной жизни настоятельно требовали перемен — особенно во Франции, где доживала свой век насквозь прогнившая абсолютная монархия, не способная провести самые необходимые реформы, где не было навыков самоуправления, во Франции, видевшей перед собой пример более развитого общества по ту сторону Ламанша. Естественно, нетерпеливые люди ожидали, что скоро явится новый Ньютон, который осветит факелом науки все пороки этого дряхлого общества и укажет, как его исправить. На рынке идей спрос тоже рождает предложение: Ньютоны стали являться.

2. Понятие прогресса

“Вера в прогресс”, заменявшая людям религию на протяжении всей Новой истории, испытывает в наши дни серьёзный кризис. Я имею в виду не прямых врагов прогресса, время от времени призывающих нас вернуться в какое-нибудь приятное для них прошлое, например, в Средние века. Прошлое не возвращается. Само средневековье не было возвращением прошлого, а было *новым* явлением. Когда нас соблазняют “новым средневековьем”, то речь идёт не о прежней форме варварства, а о новой, которую трудно предвидеть.

Когда я говорю о кризисе “веры в прогресс”, я имею в виду неуверенных друзей прогресса, испуганных двадцатым веком. В этом веке людям пришлось расплачиваться за быстрый, но крайне односторонний прогресс: развитие естествознания и техники не сопровождалось развитием общих психических способностей человека. В самом деле, история представляет непрерывный процесс изменений в материальной и духовной культуре, но философы часто настаивали, что при этом не меняется “природа человека”. Если под “природой человека” понимать его *биологическую* природу, в смысле первичных инстинктивных побуждений, то в этом смысле они были правы, поскольку *генетическая наследственность* человека вряд ли существенно изменилась за последние 40–50 тысяч лет. Но у человека есть ещё *культурная наследственность*, заполняющая открытые программы его инстинктов. Вместе с генетической наследственностью она и составляет нашу *человеческую* природу, вовсе не сводимую к биологии. Если вообще имеет смысл говорить о природе человека, имея в виду наследственные характеристики *homo sapiens*, то надо принимать во внимание *оба* вида наследственности, потому что именно это отличает человека от всех других животных. Но изу-

чение культурной наследственности происходит на другом уровне познания, потому что закономерности жизни человека и человеческого общества хотя и включают законы биологии, но сложнее их: по любимому выражению Лоренца, эти явления находятся на "более высоком уровне реального бытия". Поэтому мы не ограничиваемся анализом инстинктов, а *сопоставляем их с историей.*

Человеческая природа меняется в ходе истории. Основные биологические стимулы современного человека, вероятно, те же, какие были у пещерного человека эпохи неолита, но это не значит, что им можно приписать одинаковую "природу". *Сравнивать надо не новорождённых, а взрослых*, воспринявших свою культурную наследственность: не забудем, что "вне культуры" человек попросту не существует. Но тогда миф о неизменной природе человека рассеивается, как и множество других созданных философами мифов.

Чтобы судить, наблюдается ли в истории прогресс, надо сравнивать известные из истории человеческие культуры. Никто не сомневается, что они менялись со временем и отличались друг от друга, но дальше мнения расходятся. "Культурные релятивисты" отрицают даже *усложнение* культур, обнаруживая в культурах самых "отсталых" племён множество утонченных понятий и ритуалов; и, конечно, многие утверждают, что с древнейших времён человеческое общество не стало "лучше". Можно ли в таком случае говорить о прогрессе? Ведь это слово означает "продвижение вперёд"!

Сравнение культур. Разумеется, для сравнения культур надо иметь *критерий.* Этот критерий может быть "объективным", то есть в некотором смысле поддающимся "измерению", или "субъективным" — например, зависящим от принятой системы ценностей. Самым очевидным объективным критерием сравнения систем является "сложность". Понятие *сложности* относится к теории информации: сложность системы оценивается содержащейся в ней *информацией*, допускающей количественную меру. Мы не можем здесь точно определить это понятие и ограничимся самым приблизительным объяснением.

Предположим, что мы хотим описать некоторую систему словесным сообщением. Потребуем, чтобы это описание было в определённом смысле *полным*: например, если система — машина, то описание должно давать возможность её изготовить. Далее, потребуем, чтобы описание было самым "экономным", то есть содержало как можно меньше слов. Ясно, что чем "сложнее" система, тем труднее её описать. Это приводит к следующему определению: информация, со-

держащаяся в системе, измеряется длиной кратчайшего сообщения, полностью описывающего эту систему. Сравнивая паровоз с телегой, нетрудно понять, что полное описание паровоза должно быть значительно длиннее полного описания телеги; в этом смысле паровоз сложнее телеги. Можно понять, что в том же смысле компьютер сложнее паровоза. Таким образом можно упорядочить всевозможные машины в порядке возрастания их сложности. Конечно, при этом возникнут трудности, поскольку машины могут быть примерно одинаковой сложности, но всё же можно наметить некоторую иерархию сложности, которая не вызовет сомнений у инженеров.

В некоторых важных случаях сравнение машин по их сложности можно сделать и без полного описания — например, когда сравниваются машины с одинаковыми функциями, как телега и паровоз, служащие для передвижения (в отличие от сравнения паровоза с компьютером). Если сравниваются различные двигатели, то инженер сопоставит их механизмы, имеющие сходные функции, пользуясь при этом их приближенным описанием, и отметит механизмы, имеющиеся в одной машине и отсутствующие в другой.

Аналогичным образом поступают биологи, сравнивая по сложности виды животных или растений. Вид живых организмов не допускает “полного описания”, его невозможно изготовить, и даже точное определение вида затруднительно. Но все животные имеют сходные функции — выживание, питание, продолжение рода и т. д. — и биологи применяют к ним только что указанный “упрощённый” приём, сравнивая у двух видов механизмы со сходными функциями и отмечая механизмы, имеющиеся у одного вида и отсутствующие у другого. Сначала разрабатываются критерии сложности отдельных органов и их функций. На сравнении органов и их действия основываются критерии, по которым биологи делят животных на “высших” и “низших”: бактерии и черви — низшие животные, но черви выше бактерий; насекомоядные и приматы — высшие животные, но приматы выше насекомоядных (от которых они, по-видимому, произошли). Вообще, эволюция приводит, как правило, к усложнению видов, хотя в некоторых случаях и к упрощению, когда вид оказывается в более простой среде.

Моделирование культуры видом животных, уже неоднократно использованное выше, позволяет перенести это же сравнение на культуры. Человеческие культуры, как и виды животных, имеют сходные функции, главная из которых — выживание. Другая важная функция, связанная с выживанием — это передача культурной наследственности. Во всех культурах обнаруживаются сходные

механизмы, например, системы брака, системы воспитания потомства, способы питания, способы защиты и нападения, и т. д. Историки культуры сравнивают эти механизмы, выполняющие сходные функции, по их сложности и эффективности, отмечая механизмы, имеющиеся в одной культуре и отсутствующие в другой. Например, сравнивая культуру австралийских аборигенов с европейской ("западной") культурой, можно сопоставить их способы изготовления орудий. При этом у австралийцев обнаруживается бумеранг — изобретение, отсутствующее в европейской культуре, но в европейской культуре можно найти множество технических методов, отсутствующих у австралийцев. Продолжая подобные сравнения, исследователь может прийти к выводу, что европейская культура сложнее австралийской. И если, по определению, сложность принимается за критерий высоты культуры, то тем самым европейская культура оказывается выше австралийской.

Сравнение культур по сложности, безоговорочно принятое Лоренцем, вызывает критику некоторых социологов и философов, не понимающих смысла этого сравнения. Эти критики допускают две ошибки. Во-первых, они плохо понимают, что такое сложность, и пытаются заменить её сравнительное изучение описанием каких-нибудь утонченных сторон племенной жизни. Нельзя отрицать, что любая, даже невысокая по сравнительной оценке культура может быть изощрённой в некоторых частных явлениях. Во-вторых, критики понятия сложности подозревают, что всякое представление о "превосходстве" одних культур над другими — это попытка обосновать расизм. Но в концепции, которую они критикуют, ничего не говорится о расах и нациях, создавших эти культуры. Культура — историческое явление, связанное не только с расой и нацией, но и с определённой эпохой. Одна и та же раса может создать в разные эпохи различные культуры, и прежде всего — в отличие от генетически различных видов животных — все культуры создаются особями *одного и того же вида homo sapiens*, с почти одинаковой генетической программой и с одинаковой потенциальной способностью к созданию культурных программ. Когда Лоренц и другие исследователи говорят о "высоких культурах", они имеют в виду культуры особенно высокой сложности, созданные людьми разных рас.

Таковы были культуры шумеров, египтян, китайцев, греков, принадлежавших к разным расам. Важным признаком высокой культуры является письменность, изобретённая, по-видимому, народом исчезнувшей шумерской расы. Письменность является необходимым средством самосознания и самооценки культуры, создающим важ-

ную для её развития обратную связь. Поэтому культуры, использующие письменность, следует считать более сложными и, тем самым, более высокими культурами. Нынешнюю европейскую культуру создали не только разные группы индоевропейских племён — греки, италийцы, кельты, германцы, славяне. В основе её лежат также культуры их предшественников, ассимилированных при переселении народов; наконец, эта культура, прежде называвшаяся "христианской", получила свою религию от еврейских сектантов. Сравнение культур по критерию сложности *объективно* и, конечно, не имеет ничего общего с "расизмом".

Оценка сложности культур представляет большие трудности. Но можно указать признак, отличающий более высокие культуры: это их "культурная сила". При длительном взаимодействии культур часто оказывается, что одна из них преимущественно влияет на другую, перенимающую её трудовые навыки, обычаи и законы, а в некоторых случаях даже её язык, в то время как другая культура не оказывает особенного действия на первую. Этот процесс ассимиляции культуры формально аналогичен теплообмену, при котором "более нагретое" тело передаёт тепловую энергию "менее нагретому"; направление перехода энергии может быть объективно установлено методами калориметрии. Физики условились считать, что тело, передающее энергию, имеет более высокую температуру, чем тело, принимающее энергию. Это первоначальное определение не даёт, правда, количественного значения температуры, но с него начинается построение классической термодинамики.

Можно условиться, точно так же, определять сравнительную силу культур по тому, какая из них передаёт свои свойства другой. История изобилует примерами таких явлений. Древние греки в архаическую эпоху многое переняли у египтян и вавилонян, которые при этом мало что заимствовали у греков. Естественно считать, что в то время греческая культура была слабее египетской и вавилонской. В эллинистическую эпоху, напротив, влияние греков на всём Ближнем Востоке свидетельствует о том, что греческая культура стала сильнее. Римская культура, испытавшая с древнейших времён греческое влияние, всегда оставалась слабее греческой, но была сильнее кельтских культур Галлии и Иберии; племена этих стран переняли даже латинский язык, откуда и пошла современная культура Франции и Испании. Китайцы всегда ассимилировали вторгавшиеся в их страну кочевые племена. Русская культура оказала сильнейшее влияние на финские и тюркские племена России.

Культурную силу не следует смешивать с военной силой и по-

литическим господством, хотя отношения между культурами часто принимали характер завоевания. Греки никогда не побеждали римлян, а китайцы не раз подчинялись кочевникам. Сила культуры столь же реальна, как только что описанные исторические явления. Если мы хотим понять историю, нельзя пренебрегать фактами. Культуры, сильные в прошлом, погибли — нередко став жертвами своего самодовольства.

Можно выдвинуть гипотезу, что *сила культуры тем больше, чем она сложнее.* Поскольку мы измеряем высоту культуры её сложностью, можно ожидать, что более сложные культуры бывают сильнее. Это правило подтверждается примерами, что позволяет в ряде случаев сравнивать высоту культур по результатам их взаимодействия. Конечно, временные преимущества могут иногда доставить преобладание менее сложной культуре. Но в конечном счёте более простые культуры исчезают, а более сложные сохраняются. Греческая культура одержала верх над римской, несмотря на военное превосходство римлян; китайцы ассимилировали всех вторгавшихся к ним завоевателей.

Различные стадии одной культуры нельзя сравнивать таким образом, так как они не сталкиваются между собой. Но критерий сложности остаётся: культура сначала усложняется, а затем, с некоторого времени, начинает упрощаться. Высшая точка развития культуры — по-гречески её называют "акме" — разделяет эти эпохи. Историки часто относили высшее развитие европейской культуры к середине девятнадцатого века; но многие аспекты этой культуры продолжали развиваться, так что вопрос неясен.

Другие критерии сравнения культур "субъективны" в том смысле, что зависят от принятой системы ценностей: по этим критериям судят, какая культура "лучше". В литературе мы чаще всего встречаемся с авторами, принадлежащими западной культуре, и у них "лучшей" считается обычно та культура, где индивиды "более счастливы". Заметим тут же, что в такой оценке проявляется не только западный "эвдемонизм", но и западный "индивидуализм": есть культуры, где мало заботятся о счастье отдельного человека, расценивая состояние общества по его военной силе, или по его "производственным показателям". Совсем недавно такие критерии предпочитались даже в некоторых странах Европы. Но они несовместимы с ценностями европейской культуры и должны рассматриваться как её патологическое извращение. Тем более несовместимы они с той рождающейся всемирной системой ценностей, которую мы называем *гуманистической.*

Гуманистическая система ценностей ставит выше всего *человеческую личность*, понимая её счастье как удовлетворение всех физических и духовных потребностей человека и создание условий для его всестороннего развития. Сущность этой формулировки составляет *свобода*, в двух её аспектах, статическом и динамическом. В первом смысле это *свобода быть*, обеспечиваемая так называемыми правами человека и условиями его существования; во втором смысле это *свобода становиться*, то есть наличие в обществе динамизма, направляющего и побуждающего человека стремиться к целям своей культуры, меняясь при этом и изменяя самую культуру. Мыслители двадцатого века неоднократно пытались выразить эту систему ценностей, к которой мы ещё вернёмся в конце книги. Её выражает также Хартия Объединённых Наций, принятая почти всеми государствами мира. Этот факт не случаен: он означает, что принципы гуманизма имеют широкую поддержку в современном мире, даже если многие правительства, подписавшие Хартию, не принимали её всерьёз и не собирались её выполнять. Таким образом, та система ценностей, которую мы называем гуманистической, получила уже некоторое, хотя и несовершенное правовое выражение.

Итак, культуры можно сравнивать с точки зрения гуманистической системы ценностей. При этом более высокой считается культура, создающая *более высокий тип человека.* Это значит, что мы судим о культуре по её высшим достижениям и людям, создавшим и воспринявшим эти достижения: человек более высокого типа — это человек с более развитым интеллектом, более утонченными эстетическими чувствами, более ответственным и человечным отношением к своим собратьям. Это никоим образом не “статистическое” суждение: речь идёт не о средних по всей популяции, хотя средние и отражают уровень каждой культуры. Высота греческой культуры определяется тем, что было достигнуто в нескольких городах-государствах в определённый период их истории, но вовсе не средними значениями по всему греческому племени и по всем периодам его истории. Точно так же мы судим о культуре Италии эпохи Возрождения, или о европейской культуре девятнадцатого века. Целью культуры является создаваемый ею человек, и судить о ней надо по человеку, которого она способна создать. Этот подход, по существу принятый всеми серьёзными историками и философами, может показаться “не демократическим” или “элитарным”; но мы слишком хорошо знаем, к чему приводили идеологии, основанные на “средних показателях”. К тому же, в более высоких культурах — в смысле описанного “вершинного” подхода — жизнь простого человека тоже

была более свободной и содержательной. Афины и Флоренция в эпоху их расцвета представляют поучительную иллюстрацию этого утверждения.

Моя гипотеза состоит в том, что *культуры, создающие более высокий тип человека, — это всегда более сложные культуры.* Эта гипотеза позволяет свести трудные и во многом субъективные суждения о культурах к более объективному критерию сложности, имеющему очевидную аналогию в истории видов. В самом деле, усложнение вида означает обычно его лучшее приспособление к условиям среды, способствующее его выживанию; точно так же, усложнение культуры не происходит без причины: оно способствует выживанию этой культуры. Примитивные культуры могут оставаться неизменными в течение тысячелетий, если ничто не стимулирует их развитие. Напротив, высокие культуры возникают в условиях, требующих приспособления к меняющейся среде, хотя и стабилизируются, если эта среда постоянна. Но все люди составляют один вид и в благоприятных условиях одинаково способны к культурному развитию. Как известно, во многих местах люди были лишены этих условий.

Я думаю, что оценка культур, основанная на типе человека, согласуется с критерием сложности культуры, и буду в дальнейшем придерживаться этого критерия. Можно предвидеть возражение против прогресса с точки зрения “человеческого счастья”. Счастье человека, — могут мне сказать, — измеряется его собственным суждением о своей жизни, основанном на ценностях его культуры, а не нашими суждениями, основанными на ценностях *нашей* культуры. Люди жили и умирали в условиях своей простой культуры, не воспринимая это как лишение, и, напротив, процессы усложнения культуры переживались крайне болезненно и всегда оставляли ностальгическое стремление вернуться в прошлое. Мы ещё встретимся с этим возражением, сыгравшим важную историческую роль и упорно повторяемым в наши дни.

В сущности, это возражение против всякого развития, потому что развиваться всегда больно. Больно уже родиться на свет, и младенец, покинувший безопасную материнскую утробу, свидетельствует криком о своём страдании. Каждый шаг в развитии человечества давался дорогой ценой. В конечном счёте, тому, кто не хочет усложнения жизни, ничего нельзя возразить; если человек предпочитает первобытное племя современному обществу, то ведь, в самом деле, племенная мораль по-прежнему живёт в наших инстинктах. Ещё более последователен будет философ, полагающий,

что по-настоящему счастливы были наши более отдалённые предки, вроде шимпанзе и горилл. Такие философы и в самом деле были, но их представление о счастье совсем уже нельзя назвать гуманизмом: они ведь не хотят, чтобы мы были людьми. Представления, будто жизнь тем лучше, чем она проще, я решительно не разделяю. Человечество в его нынешнем положении — и при его нынешней численности — не может быть спасено толстовским опрощением. Нам нужны, напротив, действенные средства против одичания и упрощения человека.

Можно заметить, что с точки зрения гуманизма главным признаком высокой культуры является *свобода личности* в этой культуре. Конечно, субъективное ощущение свободы зависит от воспитания и, тем самым, от культуры, а потому не может быть использовано при сравнении культур. Но вполне объективным свидетельством о культуре является допускаемый в ней уровень личной независимости, то есть возможность индивидуального отклонения от принятых в этой культуре норм и обычаев. В первобытных племенах такое отклонение наказывается и почти не встречается, причём члены племени не воспринимают это как ограничение свободы. В более сложных обществах личная независимость в некоторой степени возможна и приводит к образованию отклоняющихся групп, в которых и происходит развитие культуры. В переходные эпохи такие группы образуют особые субкультуры, играющие решающую роль в изменении общественного строя. Поэтому свобода — необходимое условие всякого развития.

Культура, допускающая бóльшую независимость человека, более гуманна. Это значит, что она создаёт более высокий тип человека, способный к повышению уровня своей культуры. Этот процесс взаимного совершенствования человека и его культуры и есть *прогресс*.

Конечно, прогресс требует усилий. Трудно побудить людей выйти из варварских обычаев какой угодно культуры и, разумеется, при этом нельзя прибегать к насилию. И всё же, если при виде женщины в чадре меня спросят: “Не думаете ли вы, что знаете лучше неё, хорошо ли ей носить чадру?”, то я отвечу: “Да, я уверен, что знаю лучше, хотя и не умею ей объяснить, чтó значит быть свободной”.

Авторы, писавшие о прогрессе, не давали этому понятию отчётливого определения, хотя и связывали прогресс с увеличением человеческого счастья. Главный вопрос, интересовавший этих авторов,

состоял в том, наблюдается ли прогресс в истории, и если наблюдается, то есть ли шансы на его неограниченное продолжение. Так ставит вопрос Дж. Б. Бьюри в своей известной книге "Идея прогресса"[1]. В предисловии к этой книге знаменитый американский историк Чарлз Бирд [Charles A. Beard] подчеркивает, что наличие или отсутствие прогресса в истории — это "вопрос факта" (a question of fact), но в то же время сравнивает этот вопрос с другими вопросами, "неразрешимыми в настоящее время" — с вопросами о Провидении и о личном бессмертии. Это странное сравнение, потому что последние два вопроса явно не могут быть решены рассмотрением фактов, между тем как история предлагает нам обширный выбор фактов, имеющих отношение к прогрессу. Заключение Бирда пессимистично: "Убеждение в нем (прогрессе) — это акт веры", и складывается впечатление, что автор книги Бьюри стоит на той же позиции. Мне не вполне ясно, чтó Ч. Бирд называет здесь "верой", но, как видно из контекста, это нечто вроде религиозной веры, не входящей в мою компетенцию. Что же касается исторических фактов, то их можно использовать для сравнения, как это описано выше, и спросить себя, действительно ли в истории наблюдается повышение уровня культур?

Как говорит Лоренц в главе 1 "Оборотной стороны зеркала", "Атрибуты «низший» и «высший» поразительно единообразно применимы и к живым существам, и к культурам, причём эта оправданная оценка непосредственно относится к содержащемуся в этих живых системах бессознательному или сознательному знанию — независимо от того, создано ли это знание отбором, обучением или исследованием, хранится ли оно в геноме индивида или в традиции культуры".

Как мы видели, бывают более простые и более сложные культуры, причём уровень их сложности допускает достаточно объективную оценку. Была высказана даже правдоподобная гипотеза, что более высокое развитие культуры, в смысле гуманистической системы ценностей, в общих чертах соответствует её большей сложности. Если это верно, то критерий сложности даёт нам возможность выявить в истории некоторый общий закон. При всей неравномерности и случайности развития культур, на месте каждой погибшей культуры со временем вырастает другая, более высокая культура, так что история представляет нам, среди прочих, очень нерегулярных явле-

[1] J. B. Bury, *The Idea of Progress. An Inquiry into its Origin and Growth.* Dover Publications, New York.

ний, *ряд культур последовательно нарастающей высоты.*[1] Можно предполагать даже, что *нынешняя западная культура, несмотря на переживаемые ею трудности, представляет самую высокую из всех когда-либо существовавших культур.*

Само собой разумеется, такая точка зрения никоим образом не означает пренебрежения к другим культурам. Изучение этих культур — и особенно высоких культур — может внести много важного и полезного также и в нашу культуру. Но при этом часто оказывается, что западная культура уже содержит в себе, в виде включённых в неё концепций и исторических фрагментов, мотивы, характерные для других культур и заслуживающие в этих культурах особого внимания. Этот критерий "потенциального содержания" говорит об особой сложности нашей культуры. Он означает также, что мы должны изучать малоизвестные и нередко заброшенные аспекты нашей собственной культуры, наряду с другими, независимо развившимися культурами.

В нашем предыдущем анализе мы рассматривали прогресс как объективный процесс или, если угодно, как явление природы, не зависящее от человеческой воли. До недавнего времени такая точка зрения казалась правильной. В самом деле, в ходе истории люди, конечно, пытались воздействовать на существующее положение вещей в желательном для них направлении, но это их поведение можно было считать определённым ходом предыдущей истории, природными условиями или простой случайностью, так что сознательное влияние людей на историю можно было не принимать в расчёт. Так думал величайший историк древности Фукидид, объяснявший происходившие события с беспристрастием естествоиспытателя, делающим ему честь. Более обыкновенные люди объясняли исторические события волей богов. Во всяком случае, древние смотрели на историю с крайним фатализмом. В Средние века этот фатализм ещё усилился, поскольку христианское вероучение рассматривало всю драму человеческого бытия, вплоть до её завершения Страшным Судом, как осуществление предвечного плана Провидения.

Впрочем, уже в древности были проекты реформ. Платон, разделявший общую веру в деградацию человеческого рода, хотел закрепить оставшиеся от предков обычаи в идеальном государственном строе, который он описывал во всех деталях в своей последней книге "Законы", и даже пытался осуществить в греческих коло-

[1]Это представление, конечно, не ново, но в нашем понимании оно приобретает теперь объективный смысл, поскольку мы считаем высоту культуры *измеримой*, в смысле её сложности.

ниях Сицилии. Христианские сектанты — например, мюнстерские анабаптисты шестнадцатого века — пытались устроить идеальное государство, следуя своему пониманию религии. В том же веке Томас Мор изобразил идеальное государство Утопию в романе, послужившем образцом ряду других фантастических произведений, где создание такого строя приписывалось какому-нибудь мифическому мудрецу. Эти "утопии" были уже сообществами светского характера, устроенными на псевдорациональных началах и обычно статичными, потому что в них запрещалось изменять однажды достигнутый идеал. Однако, "Новая Атлантида" Бэкона уже управлялась чем-то вроде академии наук, где мудрецы работали над полезными изобретениями. Но все эти утопии не предлагались для радикального переустройства существующего общества: это были сюжеты для размышления или философские трактаты в беллетризованной форме.

В восемнадцатом веке, вместе с концепцией прогресса, появились, наконец, проекты общественных реформ, предназначенные для реально существующего общества и принимаемые всерьёз. Один из первых таких проектов выдвинул уже известный нам аббат де Сен-Пьер. Аббат полагал, что его планы могут быть выполнены существующими государствами Европы, при тех же способах управления. Даже в эпоху увлечения прогрессом это представлялось неосновательным оптимизмом. Гораздо более радикальный проект переустройства общества предложил Жан-Жак Руссо, рассматривавший прогресс без всякого энтузиазма. Мы займёмся его проектом в следующем разделе.

Первые проповедники прогресса — французские философы эпохи Просвещения — преодолели исторический фатализм. Они поняли, что история в значительной мере создаётся не только природными условиями и унаследованными общественными структурами, но и сознательными усилиями людей. Первой удавшейся попыткой построить государство "из головы", руководствуясь разумными принципами, была Американская революция. В наше время, когда возможности человека намного возросли, сознательное участие людей в ходе истории стало повседневной действительностью, и если возникающее таким образом общество нам не нравится, то в этом виноваты мы сами.

Идея прогресса. Переход от средневековья к Новой истории занял несколько столетий — те самые семьсот лет, о которых говорил Токвиль. Наивно было бы пытаться определить, когда имен-

но завершились Средние века и начались новые, когда началось Возрождение, и т. п. Появление книги Ньютона, как нам кажется, лучше отделяет Новое время от предшествующей ему истории, чем другие события, но надо всегда помнить, что такие переходные даты принимаются лишь для удобства историков. Точно так же, не имеет смысла спрашивать, что́ в этом ходе событий было “первично” — экономические явления или перемены в человеческой психике. Этот вопрос, вызвавший столько споров, подобен анекдотическому вопросу о курице и яйце. Конечно, некоторое экономическое благополучие является предпосылкой развития культуры: строительство “готических” соборов в 11 веке началось лишь тогда, когда для этого появились необходимые средства. Но, с другой стороны, ещё раньше, в раннем средневековье бенедиктинские монахи принялись усердно обрабатывать землю среди всех опасностей разбойничьего феодализма, побуждаемые вовсе не стремлением к наживе, а христианским долгом. И экономическое, и духовное развитие человечества составляют единую систему взаимодействующих факторов. Теперь мы продолжим описание психических явлений этого периода, оставив пока в стороне их “материальную” сторону.

Средневековый человек принимал с доверием всю “науку” своего времени, то есть христианскую религию в виде католического вероучения, лишь в редких случаях сомневаясь в отдельных деталях; в таких случаях он становился “еретиком”, но всегда оставался верующим. В его веру входили представления о “бессмертии души” и о “загробном воздаянии”, в то время постоянно действовавшие в качестве мотивов поведения: церковные богатства составились преимущественно из даров, которыми грешники пытались улучшить свою загробную участь. В “личном бессмертии” никто не сомневался; мы уже выразили это в метафорическом виде, назвав средневекового человека “человеком бессмертным”. После разрушения религиозных представлений человек должен был “стать смертным”, то есть отказаться от самой утешительной из своих иллюзий. Ему пришлось отказаться также от покровительства “небесного отца” и больше полагаться на самого себя; впрочем, он ещё раньше перестал бояться “нечистой силы”. Общей теорией, в которую можно было верить, стала для него “религия прогресса”, обещавшая лучшую жизнь на Земле его потомкам и побуждавшая его улучшать человеческое общество, где ему только и оставалось жить.

Как мы уже говорили, “религия прогресса” сложилась вследствие возникновения *науки* в современном смысле этого слова —

экспериментальной науки Галилея и теоретической науки Ньютона. Психологическое воздействие этих научных открытий намного опередило их прямое воздействие на технику, и тем самым на повседневную жизнь. Но даже сам Ньютон во многом оставался ещё средневековым человеком; он занимался богословием и включил в свои "Математические начала" забавную аксиому, по которой "вездесущие Божие не препятствует движению тел"[1].

Мы излагаем "историю прогресса" на материале европейской истории, потому что именно в Европе произошли решающие события, породившие первую *динамическую* культуру, — не только быстро развивающуюся, но и *признающую развитие своей сознательной целью* — в отличие от всех предшествующих культур, стремившихся лишь сохранить и увековечить свой образ жизни. Новая история зародилась в очень небольшой части света, откуда она начала распространяться на все другие части Земли. Более того, и в самой Европе зарождение Новой истории связано с определёнными местами и нациями — это были прежде всего Северная Италия, Нидерланды, Англия и Франция.

Научное и философское влияние открытий Ньютона — как тогда говорили, "ньютонианства" — было особенно сильно во Франции. В начале 18 века Англия несомненно была самой передовой страной Европы, с самым свободным общественным строем, созданным революцией 1688 года. Англия была образцом для всех европейцев, способных оценить английские законы и учреждения, а к этому были прежде всего способны французы, столь же просвещённая нация, хотя и лишённая английской свободы.

Объяснение английской свободы состоит в том, что англичане сумели сохранить свои средневековые сословные учреждения, главным из которых был парламент. Такие учреждения были и на континенте Европы, но там угроза со стороны соседей вынуждала держать постоянные армии; короли использовали эти армии для подавления своих подданных, создав абсолютные монархии. Образцом такой монархии была Франция, где завершителем этого процесса был Людовик XIV. В Англии тоже были попытки устроить такую систему правления, но они не удались. Как полагает Маколей, главной причиной английской свободы было отсутствие постоянной армии; поскольку Англия — остров, достаточно защищённый своим флотом, короли не могли добиться средств на содержание

[1]Эта аксиома нужна была Ньютону, чтобы объяснить, почему небесные тела могут так долго вращаться в пустом пространстве, где отсутствует сопротивление среды.

армии, и до сих пор в англоязычных странах нет воинской повинности. Когда короли — даже самые могущественные, как Генрих VIII и Елизавета I — пытались навязать англичанам незаконные налоги, то есть налоги, не одобренные парламентом, те сразу же восставали, и эти восстания нечем было подавить. Точно так же, средневековые сословные учреждения сохранились в Нидерландах, до нового времени сохранивших структуру федеральной республики. Во Франции же, где Генеральные Штаты — сословное собрание, вотировавшее налоги — не созывалось с 1614 года, и где были все основания содержать постоянную армию, король мог подавлять все попытки неповиновения. В отличие от Англии, во Франции сохранились лишь бессильные остатки местного самоуправления.

Неудивительно, что английские учёные и философы всегда чувствовали конкретные условия практической жизни и необходимые компромиссы, тогда как французские, оторванные от практики и обречённые на чисто теоретическое мышление, часто демонстрировали слишком абстрактный, прямолинейный подход к человеку и обществу. Тэн называет это умонастроение "классическим духом", esprit classique, и связывает его с традицией французской литературы. Впрочем, этот дух, ярко выраженный, например, в философии Гельвеция и Гольбаха, не был свойствен самым сильным мыслителям Франции. Знаменитая книга Монтескьё "Дух законов" (1750), наряду с "Опытами" англичанина Юма (1743), была написана под влиянием эмпирической философии Локка, современника и друга Ньютона. Эти три мыслителя оказали наибольшее влияние на идеи отцов Американской революции. Не был прямолинейным рационалистом также глубокий философ и гениальный писатель Дидро. Даже Вольтер, не философ, а главным образом поэт и публицист, в своих исторических трудах использовал обширный документальный материал и считается пионером критической историографии. Мыслители французского Просвещения, как назвали эту эпоху, вовсе не были плоскими популяризаторами модных доктрин, какими их изображала консервативная критика девятнадцатого века. Напротив, люди, объединившиеся вокруг знаменитой "Энциклопедии", были подлинными героями своего времени, правильно понявшими насущные нужды общества и его будущие задачи. "Энциклопедисты" были штабом борьбы за прогресс. Сила их была в том, что они несли людям действенные идеи, выполняя свой общественный долг. Современники называли их "философами", и они заслужили это имя. Лучше всех понял это Альберт Швейцер, сказавший суровую правду о долге философии перед *нашим* временем!

3. Оборотная сторона прогресса

Вторая половина 18 века прошла под знаком “идеи прогресса”, определившей настроение лучших умов Европы перед Французской Революцией. К несчастью, эта идея намного опередила социальную действительность своего времени, и особенно во Франции. Там, где на вершине общественной жизни страстно обсуждали новую философию, повсюду кругом господствовали пережитки феодализма. *Оборотной стороной прогресса была народная нищета.*

За сто лет до революции, в 1689 году, Лабрюйер писал:

“Мы видим в деревнях каких-то диких животных, самцов и самок, обожжённых солнцем, почерневших или мертвенно-бледных; привязанные к земле, они взрывают и ворочают её с непобедимым упрямством. По-видимому, они владеют членораздельной речью, и когда они встают на ноги, у них видно человеческое лицо; и в самом деле, это люди. На ночь они забираются в берлоги, где питаются чёрным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и собирать урожай, доставляя им средства к жизни, и тем самым заслуживают иметь посеянный ими хлеб”.

Это — французские крестьяне в царствование Людовика XIV, прозванного “королем-солнцем”, того самого, который любил говорить: “государство — это я”. Такова оборотная сторона этого блестящего царствования, прозванного “веком Людовика XIV”; это был, в самом деле, век расцвета французской классической литературы, но в то же время век непрерывных завоевательных войн, истощивших Францию и завершившихся её полным поражением. Король, стремившийся стать повелителем Европы, выжимал все соки из своего народа. В год его смерти, в 1715 году, от голода погибла треть населения страны — шесть миллионов. Историки сообщают такие вещи много позже, когда уже нет надобности восхвалять таких королей.

В это царствование было окончательно подавлено сопротивление знати, и королевская власть стала “абсолютной”. Эта власть опиралась на поддержку буржуазии, богатевшей и часто не уступавшей дворянам воспитанием и образованием. Но сословные барьеры поддерживались: государственные и в особенности офицерские должности оставались привилегией дворян. Это ранило самолюбие буржуа, давно понявших своё униженное положение; они знали из популярной философии, что сословные ограничения противоречат “правам человека”. Буржуазия стремилась к гражданскому равенству и ждала своего часа.

Во многом изменилось и положение крестьян. Уже в семнадцатом веке осталось мало крепостных. Крестьяне были свободны от личной зависимости, но земля принадлежала господам — дворянам или духовенству. Аристократия, потеряв власть на местах, шла на службу к королю и превращалась в придворных. Господа жили в Париже, тратили больше денег и постепенно продавали свою землю, чтобы тратить ещё больше. Крестьяне же копили деньги, стараясь купить хоть маленький клочок земли: это был единственный способ обрести некоторую независимость. Ко времени революции им принадлежало уже около половины пахотной земли. Но это не сделало их богаче. Во Франции была высокая рождаемость и большая плотность населения. Поэтому крестьянские участки были очень малы и едва могли прокормить своих хозяев. Разорение крестьян довершали всевозможные налоги и сборы. Кроме королевских налогов и церковной десятины, крестьяне несли ещё бесчисленные феодальные повинности, сохранившиеся от Средних веков: они обязаны были печь хлеб в печи сеньора, молоть зерно на его мельнице, и т. п.; им запрещалось даже держать собак и кошек, чтобы не пострадала принадлежащая сеньору дичь. Налоги собирали компании откупщиков, прибавлявших к обложению свою долю, а интересы сеньоров, обычно проживавших в Париже, были вверены управляющим, не упускавшим из виду собственный интерес.

Таким образом, у крестьянина отнимали почти все плоды его труда; если ему удавалось улучшить своё положение, то сборщики налогов тотчас же увеличивали обложение, так что он оставался на грани голода, и при любом бедствии — недороде, засухе, заморозках — покидал свою деревню, превращаясь в нищего, бродягу или разбойника. Франция кишела бездомными, и все попытки властей справиться с этим бедствием ни к чему не вели. В Париже перед революцией было 200 тысяч людей без определённых занятий, живших в нищете. Ко всему этому надо прибавить рекрутские наборы, касавшиеся только бедных.

Средние века тоже полны были всевозможных бедствий, но тогда сеньоры сидели ещё в своих владениях и были заинтересованы в том, чтобы их земли не обезлюдели и приносили доход. Управляющие и королевские интенданты не могли передать свои должности по наследству и не думали о будущем, стараясь извлечь как можно больше выгод из своего положения. При Людовике XIV уровень жизни крестьян, составлявших подавляющее большинство французского народа, резко снизился, а наплыв безработных в города удерживал заработную плату мастеровых на грани выживания. При

цене на хлеб 3–4 су за фунт, рабочий зарабатывал 10 су в день — если у него была работа.

Голодные бунты потрясают Францию: в Нормандии в 1725, 1737, 1750, 1752 годах, дальше пять лет подряд; в Реймсе в 1770 году, в Дижоне, Версале, Сен-Жермене и Париже в 1775, в 1782 в Пуатье, в 1788 и 1789 — в Париже и во всей Франции. Как пишет консервативный историк Тэн, "нужда превышает то, что может перенести человеческая природа", общий крик нужды — "Хлеба, отмены податей и налогов!"

Такова была оборотная сторона прогресса, о котором писали философы в своих трактатах и толковали в салонах дамы и господа. Но в отличие от Средних веков, когда люди физического труда были доступны только действию религиозных проповедей и чаще всего бунтовали под предводительством какого-нибудь священника-еретика, теперь до простых людей стали доходить отзвуки новых идей, подрывавших уважение к высшим классам общества и ко всему общественному строю. Посредниками в пропаганде этих идей, в упрощённом и вульгарном виде, стал многочисленный слой людей, которых можно назвать *полуинтеллигенцией*.

Этот слой возник из бюрократии, неизбежно сопровождающей всякое централизованное управление. Во Франции развелось множество чиновников и юристов, выполнявших подчинённые функции в государственном аппарате или обслуживавших истцов в бесконечных судебных делах, вызываемых неуклюжим действием этого аппарата. Робеспьер, как и Ленин, вначале был провинциальным адвокатом. Этим людям суждено было сыграть важную роль в революции, они во многом определили её характер и её окончательное поражение. Полуинтеллигенты, получившие лишь поверхностное образование, тянулись к новым идеям, но не могли одолеть настоящую философию; они нуждались в упрощённой системе взглядов, в общедоступных рецептах исправления общественных зол. Такую основу поведения доставила им *идеология*, впервые возникшая в то время. Первым идеологом был Руссо.

В отличие от философов, происходивших из зажиточной буржуазии или даже из аристократии, Жан-Жак Руссо был человек из народа. Лишь он один, из всех известных писателей того времени, на собственном опыте узнал, что такое нужда. Он был самоучка, усвоивший самые простые приёмы мышления и видевший во всех явлениях только одну сторону — что прямо противоположно всякой серьёзной философии. Но у него был литературный талант и чутье, позволявшее ему угадывать потребности читающей публи-

ки — впрочем, талант его был лишён вкуса и чувства меры. Он способен был действовать на читателей умнее себя, видевших в нем непосредственность "человека из народа". Как писатель и человек он напоминал Максима Горького — своей неуклюжестью, своим прямолинейным догматизмом, и даже своей сентиментальностью. Он стал модным писателем, но, к несчастью, у него были и другие претензии: он писал политические трактаты, сыгравшие фатальную роль после его смерти.

Руссо выступил как враг прогресса. Неясно, были ли у него вначале какие-нибудь определённые взгляды: он был малозаметный журналист, писавший музыкальные рецензии и зарабатывавший себе на жизнь переписыванием нот. "Просветители" относились к нему покровительственно, потому что он был человек из народа. В 1750 году (том же году, когда Тюрго произнёс свою речь, а Монтескьё издал "Дух законов"!) Дижонская академия объявила конкурс на тему: "Способствовало ли развитие наук и искусств порче или очищению нравов?" По-видимому, Руссо собирался ответить на этот вопрос в прогрессивном духе, но Дидро, к которому он обратился за советом, цинично — может быть, в шутку — объяснил ему, что для его карьеры будет полезнее обратная точка зрения. Руссо последовал этому совету и стал знаменит. С тех пор он всегда утверждал, что прогресс, усложнив условия жизни и общественные учреждения, сделал человека несчастным, и что надо вернуться к природе и первобытной простоте нравов. Но тема "благородного дикаря" была уже использована Вольтером, и Руссо вступил на путь безудержного прожектерства: в 1762 году он выпустил "Общественный договор" (*Contrat social*), небольшой трактат, содержавший полное объяснение общественных бедствий и наилучший способ общественного устройства.

Эта удивительная книжечка начинается словами: "Человек рождается свободным, но он повсюду в оковах". Можно было бы подумать, что автор призывает к свободе, но вскоре оказывается, что он понимает свободу в некотором метафизическом смысле — как безусловное подчинение и слияние с "общей волей" своей нации:

"Каждый из нас, вместе со всеми, ставит свою личность и все свои силы под верховное управление общей воли, и каждый становится чем-то вроде невидимой части этого целого".

Оказывается, при таком безусловном подчинении свобода личности нисколько не страдает. Задача состоит в том, чтобы "найти форму ассоциации, которая всей своей силой защитит личность и интересы каждого своего члена". Обычно люди соединяются в неко-

торые “классы”, противостоящие друг другу, и в этом вся беда; надо, чтобы все они составляли *единственную* ассоциацию, входили в нее каждый *отдельно* и, в некотором смысле, *сливались в один организм.* Вот доказательство, что в этом случае исчезнут все виды притеснения:

“Все эти обширные классы сведутся к одному единственному; это значит, что каждый член ассоциации полностью отдаёт сообществу самого себя и все свои права. И поскольку, прежде всего, каждый отдаёт себя полностью, то все оказываются в одинаковых условиях, а поскольку условия для всех одинаковы, то никто не находит интереса делать их тягостными для других”.

Вся аргументация Руссо сводится к таким пустым силлогизмам. Он ничего не знает о практической политике; в отличие от Монтескьё, глубокого знатока истории и государственных систем, он выводит свои рекомендации “из головы”, без всякого понимания жизни. Дальше мы видим, что в идеальном обществе Руссо все решения принимаются большинством голосов, то есть чем-то вроде плебисцита. Гражданин, оказавшийся в меньшинстве, сразу же понимает, что был неправ, потому что “общая воля” непогрешима; более того, он сознает, что в своей прежней позиции *не был свободен*, поскольку *свобода его состоит в единении с “общей волей”.* Никакие партии не допускаются: единственным “классом” должна быть вся нация. “Общая воля” лучше всего проявляется, если все граждане голосуют отдельно друг от друга, не совещаясь и не сговариваясь. Представительное правление недопустимо. Все вопросы решаются “общей волей”. Всякая власть считается просто слугой народа и может быть в любой момент сменена.

Давно замечено, что “Единая воля” Руссо, наделённая абсолютной властью, попросту заменяет личность монарха, перенося королевскую власть на фантастическую личность, называемую “народом”. Таким образом, Руссо бессознательно продолжает монархическую традицию; он не понимает сущности республиканского строя, предполагающего столкновение интересов и мнений в закономерной процедуре принятия решений. Представление о “единой воле” народа принесло неизмеримый вред Французской Революции и всему дальнейшему развитию демократических учреждений, особенно в России.

Руссо сознает, что для многочисленной нации голосование представляет затруднительную процедуру, и пытается выйти из затруднения с помощью своего любительского чтения. Он ссылается на римские комиции, где вовсе не было желательного для него способа

принятия решений, и жалким образом запутывается: у римлян как раз было представительное правление, причём с резким сословным неравенством.

Радикализм Руссо заходит дальше политики. В сущности, он враг собственности; он хотел бы, чтобы каждый владел лишь тем, что необходимо для его пропитания, и опасается всякого богатства. Конечно, *полное* равенство граждан означало бы и равенство имуществ, но здесь Руссо непоследователен — равенства имуществ у него нет. Тогда вся догма "невидимого слияния с общей волей" рассыпается, как карточный домик.

Как мыслитель, Руссо просто не заслуживает критики. Это можно сказать и о многих умственно несостоятельных писателях, оказавших влияние на человеческое общество — а влияние Руссо было огромно. В таких случаях надо спросить себя, чего такой писатель в самом деле *хочет*, какие *чувства* он выражает. Господствующее чувство Руссо — это *чувство унижения, вызванное сословным неравенством*, от которого он пытается освободиться своими фантазиями. Вряд ли сам Руссо — крайне необщительный и вздорный человек — мог бы выжить в своём идеальном обществе, но замысел этого общества ясен. Руссо предлагает осуществить полное равноправие, уничтожив человеческую личность, сделав всех людей клеточками единого организма или, если прибегнуть к известному сравнению, превратив человеческое общество в "муравейник". Подчинение "общей воле", извращённое понимание свободы как абсолютного повиновения — всё это нашло убеждённых сторонников. Сначала это были якобинцы. Затем явился Гегель, тоже превративший "нацию" в предмет культа, а за ним немецкие нацисты. Наконец, коммунисты тоже знали, в чём состоит "общая воля", и немало потрудились, чтобы не было никакой другой. Если искать в истории виновных, то сколько раз придётся повторить припев французской песенки: "...и в этом виноват Руссо"!

4. Французская Революция

Причины Французской Революции глубоко волновали историков и философов. Тэн, посвятивший этому вопросу первые два тома своей истории, описывает условия, сделавшие революцию неизбежной, а затем возмущается, что она всё-таки произошла. Он сравнивает Францию перед революцией со зданием, построенным на погребе с порохом, но сваливает вину за всё, что произошло, на неосторожное обращение с огнём. Тэн очень не любил революцию. Он не был

глубоким мыслителем, а всего лишь талантливым писателем. Его объяснение революции сводится к тому, что перед революцией подавляющая масса французского народа жила в нищете и была доведена до отчаяния непосильным бременем налогов и повинностей.

Более глубокий мыслитель, Токвиль, не довольствуется таким объяснением. Все эти бедствия, — говорит Токвиль, — народ переносил в течение всего восемнадцатого века. Перед революцией, напротив, положение стало улучшаться. В последние десятилетия отмечается заметный подъем французской промышленности, и даже улучшение в сельском хозяйстве. Если верить Токвилю, чуть ли не все королевские чиновники, да и сам король, были проникнуты человечностью и, усвоив новые идеи, пытались помочь положению народа. Токвиль полагает, что революции вообще происходят не в те времена, когда народ доведён до крайней нищеты и бесправия, а в эпохи прогресса и реформ, когда люди, охваченные надеждой на лучшее будущее, не хотят больше терпеть даже более мягкие формы притеснения. Вероятно, он прав, потому что для революции необходимо *сознание* несправедливости существующего порядка, а такое сознание предполагает некоторую возможность отвлечься от забот, и более того — некоторое распространение новых идей. Так было и в России, где перед мировой войной был период быстрого развития.

Но в таких случаях новые идеи приходят в народ *сверху*, из более благополучных и более развитых слоев общества. Во Франции в этих слоях только и говорили о страданиях народа и необходимости серьёзных реформ; хотя, конечно, те, кто об этом говорил, вовсе не торопились отказаться от своих привилегий, мало задумываясь о завтрашнем дне. Токвиль, аристократ по происхождению, понимал борьбу за равенство как борьбу за гражданское равноправие и сочувствовал этому движению. Но он плохо понимал, что люди физического труда — те, кого называли “четвёртым сословием” — тоже способны бороться за свои права, и был потрясён, увидев это в 1848 году. Он понял, что этим открывается новая эпоха, но понял это поздно. В своей книге “Старый порядок и революция” Токвиль мало говорит о простом народе. Более того, он относится к нему с барским презрением. От простых людей, — говорит он, — надо было *скрывать* новые идеи. Он прямо винит в ужасах революции “привилегированных”, обсуждавших все проблемы в присутствии простолюдинов, “как будто те говорили на другом языке”. Вряд ли этот великий историк сознавал, какое разительное свидетельство человеческой ограниченности выражает его упрёк.

Когда дело касается простого народа, Токвилю изменяет даже

его объективность. Из его книги можно заключить, будто общий подъем французской экономики и попытки реформ в самом деле существенно улучшили положение французских крестьян и мастеровых. Между тем, он слишком много знал, чтобы так думать: например, он хорошо знал записки Артура Юнга, объездившего Францию перед самой революцией, знал о природных бедствиях 1788 и 1789 года, вызвавших, как всегда, голодные бунты. Знал, но как будто не хотел этого знать: деятелем истории был для него буржуа. Как мы увидим, в конце жизни граф Токвиль задумался об этом своём упущении.

Гораздо человечнее была мадам де Сталь. Её записки о революции вышли раньше других исторических трудов, уже в 1819 году. Она была свидетельницей великих и страшных событий. Отец её, барон Неккер, привёл её на открытие Генеральных Штатов; а потом она чудом спаслась от сентябрьских убийств, потому что была к тому времени женой шведского посла. Вот что она пишет о движущих силах революции:

“Кто не знает, что действие вызывает равное противодействие, тот не в состоянии наблюдать как мыслитель гражданские волнения. Ярость мятежников соразмерна порокам учреждений; за моральное состояние нации надо возложить ответственность не на то правление, которое хотят установить, а на то, которое существовало прежде. Но откуда же взялись эти склонности к беспорядку, столь безудержно развившиеся в первые годы революции, если не от столетия суеверий и произвола? И если ни с каким периодом в истории нельзя сравнить четырнадцать месяцев террора, то что же отсюда следует? Что никакой народ не был столь несчастен в течение ста лет, как французский народ”.

Слово “революция”, означающее по-латыни просто “круговорот”, приобрело своё современное значение после английской революции 1641–49 года. В современных языках оно означает “насильственное свержение государственного строя”, и в этом смысле объединяет ряд непохожих явлений, как, например, Американскую и Французскую революции. Революции редко начинаются с намеренного применения насилия, то есть с военного заговора — какова была Октябрьская революция. Чаще всего люди, желающие переменить общественный строй, не хотят насильственных мер, которые принимаются потом против их воли. О том, чего хотели эти люди перед Французской Революцией, можно судить по мнениям членов Генеральных Штатов и по наказам их избирателей. Требования их были умеренны. Они хотели, в общем, устроить конституционную монар-

хию вроде английской, где король “царствует, но не управляет”, и при этом устранить пережитки феодализма, закрепив письменной конституцией юридическое равноправие граждан; они хотели справедливо распределить налоги, облегчив бремя самых бедных. Но они вовсе не хотели передела собственности, то есть *социального* переворота. Французская Революция очень скоро приняла насильственный характер — после взятия Бастилии — и стала *не только политической революцией, но и социальной.*

Главной целью людей, начавших Французскую Революцию, была *гражданская свобода*, которую они представляли себе по образцу английской или американской. Другие цели были в значительной мере средствами для этой главной цели. Но цель эта не была достигнута: революция завершилась военным деспотизмом.

Очень скоро обнаружилось, что французский народ, привыкший повиноваться своим господам или бунтовать против них и не имевший никакого опыта самоуправления, не способен был соблюдать законы. Тщательно разработанная конституция 1791 года, предоставлявшая широкие права местным выборным органам, не была осуществлена; Франция погрузилась в анархию. Между тем, против неё начала войну коалиция европейских монархов, и для отпора им нужна была сильная центральная власть. В этих условиях защитники конституционных свобод — “жирондисты” — оказались в меньшинстве, и верх взяла партия “якобинцев”, крайних республиканцев, вдохновлявшихся взглядами Руссо. Якобинцы не придавали значения отдельной человеческой личности и приносили права человека в жертву предполагаемым интересам “отечества”. Так же поступали впоследствии русские большевики, обожествлявшие свою “партию”. Власть якобинцев выродилась в “террор”, в бессудные расправы, бессмысленные с точки зрения военных усилий Франции и запятнавшие самый образ революции. Следуя Руссо, якобинцы добивались “равенства” за счёт свободы, но установили диктатуру “комитета общественного спасения”, которым заправлял бездарный резонёр, бывший адвокат Робеспьер. Жирондисты были казнены.

Пока “революционный трибунал” хватал по доносам “подозрительных” и посылал их на гильотину, армия республики одержала верх над коалицией монархов и изгнала из Франции их войска. Террор потерял смысл, и в 1794 году террористы, в свою очередь, были отправлены на гильотину. Так революция, “подобно Сатурну, пожирала своих детей”.

Крайне вредной стороной революции было вмешательство “улицы” в государственные дела. Демагоги приводили к Конвенту толпы

городской публики, и эти случайные люди, изображая “волю народа”, запугивали “народных представителей”. Анархия, правление террористов и власть “улицы” убили у французов веру в свободу. Усталость от революции и неверие в её обещания облегчили военный переворот, положивший конец республике.

Главной политической целью, поставленной в начале революции, было конституционное правление, и эта цель не была достигнута. В этом смысле Французская Революция потерпела поражение. Политические результаты её были скромнее: “кодекс Наполеона” устранил бо́льшую часть феодальных привилегий и установил “равенство граждан перед законом”, то есть формальное равенство юридических прав.

Главным социальным результатом революции, не предвиденным её инициаторами, был частичный передел земли: приобретённые крестьянами во время революции церковные земли и земли эмигрантов остались за ними. Этим воспользовались главным образом зажиточные крестьяне, но положение крестьянства в целом несомненно улучшилось, уже вследствие отмены феодальных привилегий. Рабочие не получили ничего. В целом революция означала переход власти от аристократии к буржуазии.

Но значение Французской Революции было важнее, чем всё происшедшее во Франции. Вспомним её девиз, всколыхнувший весь мир: “*Свобода, Равенство, Братство*”. Эти слова означают *условия развития человека*, наконец, осознанные в общем виде. Французская Революция принесла слишком мало свободы, мало равенства, и только провозгласила человеческое братство. Но и в этом её великая заслуга.

Глава 9

Рынок и современная цивилизация

1. Предпосылки первой цивилизации

Население. Простейшей биологической характеристикой вида, свидетельствующей о его жизнеспособности, является численность: эволюция способствует сохранению видов, хотя и не всегда этого достигает. Если применить этот критерий к человеку, пренебрегая его специфическими особенностями, то возникает впечатление, что это преуспевающий вид. В течение всей истории численность населения Земли почти непрерывно возрастала, как видно из следующих дальше таблиц и графиков. Вид *homo sapiens* населяет теперь все удобные для жизни области Земли, а развитие его технических средств делает удобными и такие места, где прежде жить было невозможно. Только технические изобретения человека позволяют понять чрезвычайную экспансию нашего вида, поскольку люди размножаются очень медленно: число детей одной пары невелико, а воспитание потомства, как мы уже видели, намного продолжительнее, чем у всех других видов. Зависимость численности человечества от его техники ещё раз иллюстрирует основную роль культурной наследственности, без которой не было бы человека.

Исторические оценки населения Земли. Данные таблицы 1 предположительны и следуют в основном Макивди и Джонсу[1]. Таблица 2 основана на статистических данных, опубликованных в 1997 году[2], и содержит также демографические предсказания на будущее, к которым мы вернёмся в конце книги. Заметим, что в самое последнее время наметилась тенденция к стабилизации населения Земли.

Эти данные иллюстрируются графиками (см. рис. 1 и рис. 2).

В приведённых данных легко заметить отчётливые закономерности, оправдывающие традиционное подразделение истории на "доисторический" период, древность, Средние века и Новое время. До

[1] McEvedy B., Johnes R. *Atlas of World Population History. Facts on File*, New York, 1978.

[2] U.S. Bureau of Census, International Data Base, 1997.

Год	Население	Год	Население	Год	Население
−10000	4	200	190	1100	320
− 5000	5	400	190	1200	360
− 4000	7	500	190	1300	350
− 3000	14	600	200	1400	425
− 2000	27	700	210	1500	545
− 1000	50	800	220	1600	610
− 500	100	900	240	1700	900
− 200	150	1000	265	1800	1625
1	170			1900	

Таблица 1. Исторические оценки населения Земли (годы до н. э. приведены с минусом, население указано в миллионах человек).

Год	Население (в млн)	Среднегодовой прирост (в %)
1950	2256	1,44
1960	3039	1,35
1970	3706	2,08
1980	4458	1,7
1990	5282	1,57
2000	6090	1,28
2010	6858	1,11
2020	7593	0,94
2030	8265	0,77
2040	8865	0,61
2050	8865	

Таблица 2. Население Земли в середине соответствующего года: 1950–2050.

распространения земледелия численность человечества, по оценкам, не претендующим на точность, вряд ли менялась в течение целых тысячелетий, и население было очень редким. В древности, с 5000-го года до н. э. до 1 года н. э., население росло в геометрической прогрессии — примерно удваивалось каждую тысячу лет. Очевидно, это было связано с освоением почти неограниченного в то время ресурса — пахотной земли; вообще, геометрические прогрессии означают "положительную обратную связь", то есть процессы, при которых развитие системы не сталкивается с торможением. Заметим, однако, что древняя "техническая революция" — переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству — вызвала лишь очень

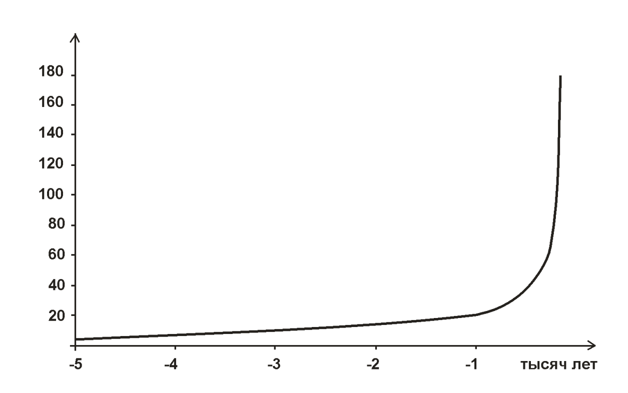


Рис. 1

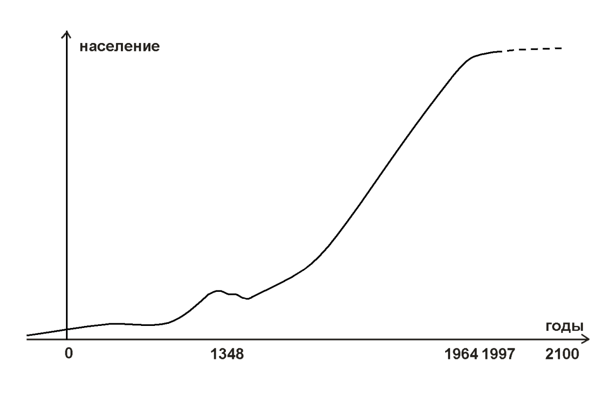


Рис. 2

медленную прогрессию народонаселения, по сравнению с "популяционными вспышками" других видов. Такова популяционная характеристика древности. Средние века отличаются от неё тем, что население почти не меняется до 1000-го года, а затем медленно растёт (с единственным в истории убыванием из-за эпидемии чумы 1348 года). Но после 1400 года население опять начинает расти в геометрической прогрессии, и даже быстрее, так что "характерное время" (время заметного роста) составляет уже не тысячу, а сто лет: наступает Новое время. Таким образом, традиционная периодизация истории оправдывается уже популяционной статистикой.

Конечно, рост населения в каждом случае нуждается в объяснении. С биологической точки зрения он означает, что люди начали использовать некоторый новый ресурс, увеличивший производство

необходимых для жизни вещей. Можно предположить, что в Новое время таким ресурсом было *рыночное хозяйство.* Быстрое развитие рынка в Европе началось уже в пятнадцатом веке и предшествовало введению машин. Вероятно, аналогичные явления происходили и в других частях Земли, о которых мы меньше знаем. Было бы важно выяснить, как изменялось население Китая и Индии, и какие хозяйственные явления сопровождали эти изменения. Динамику населения Земли нельзя объяснить простой аналогией с Европой, хотя бы уже потому, что население Европы всегда составляло небольшую часть человечества. Как мы знаем из описаний Марко Поло и других путешественников, уже в тринадцатом веке в Китае процветали сельское хозяйство, ремесла и торговля. В восемнадцатом веке, почти одновременно с европейской "промышленной революцией", китайцы, первоначально развившие свою цивилизацию на востоке, в долинах рек Хуанхэ и Янцзы, перешли к освоению западных районов страны, что привело к массовой миграции населения, сравнимой с освоением Дальнего Запада в Соединённых Штатах. В Индии европейские мореплаватели обнаружили в конце пятнадцатого века высоко развитое хозяйство и утонченные ремесла, намного превосходившие уровень европейских. Плотность населения в Китае и в Индии всегда была выше, чем в Европе.

По-видимому, рост населения начал ускоряться — не только в Европе, но и на всей нашей планете — примерно в одно время, с пятнадцатого века: иначе нельзя было бы понять изменение населения в целом. Это явление было связано с развитием рыночной экономики, но вряд ли было её простым следствием; скорее всего, оба процесса воздействовали друг на друга. Мы не знаем, что́ привело к этой экспансии. Может быть, достижение некоторой критической плотности населения нарушило популяционное равновесие во многих местах Земли примерно в одно время. В Средние века население почти не менялось, во всяком случае, росло очень медленно, и это можно связать с постепенным расширением сельскохозяйственного производства и более полным освоением земли. Великая Чума 1348 года унесла, по-видимому, больше трети населения Европы, а вслед за тем население стало расти гораздо быстрее, чем раньше; биологическое объяснение — не только для человека, но и для всех видов — состоит в том, что после популяционных катастроф приводятся в действие весьма загадочные, но отчётливо действующие механизмы эволюции, компенсирующие потери и способствующие сохранению вида. Дальнейшая экспансия европейских народов, колонизировавших Новый Свет, могла быть следствием возникшего таким обра-

зом популяционного давления, хотя скорее всего объясняется культурными процессами. Поскольку при этом население стало расти ещё быстрее, высказывалось даже весьма странное предположение, будто появление новых, ввезённых из Америки продуктов питания стимулировало половую потенцию европейцев. Но, конечно, подавляющее большинство их были крестьяне, никогда не пробовавшие заморских блюд: даже чай и сахар очень не скоро вошли в обиход простого народа.

Заметим, что развитие рыночного хозяйства вначале не сопровождалось появлением новой техники. Когда в середине восемнадцатого века возникло машинное производство, рост населения Земли снова резко ускорился. Трудно избежать впечатления, что именно новая техника была причиной этого явления, но и здесь приходится повторить то же возражение: новая техника не могла так быстро повлиять на всю Землю, а ростом населения Европы нельзя объяснить *общий* популяционный взрыв.

Поэтому разумно будет ограничиться Европой, предоставив решение мировых популяционных проблем будущим историкам. К тому же, тема нашего исследования связана прежде всего с уникальными процессами, происходившими только в Европе.

Рынок. До Нового времени хозяйство было замкнутым: за небольшими исключениями, производили только то, что нужно было на месте, вполне определённым лицам, так что между земледельцем и едоком, между ремесленником и заказчиком была прямая связь. Замкнутое хозяйство не способствовало росту производства, поскольку искусный ремесленник, способный производить больше и лучше других, не находил сбыта своим изделиям и не имел стимулов для увеличения продукции и совершенствования производства.

Как мы уже видели, в древности таким стимулом, вызвавшим рост специализированного производства и торговли, было изобретение денег. В Средиземноморском бассейне международная торговля началась ещё раньше: её инициаторами были островные и прибрежные племена, сначала жители Крита — колыбели европейской цивилизации, затем финикияне, и, наконец, греки. В Римской империи были условия для безопасной торговли, поскольку это огромное государство охватило своей властью весь бассейн Средиземного моря и все более развитые страны Европы; к тому же, в империи была единая денежная система и были установлены стандарты мер и весов. Несмотря на грабительские налоги римлян, в империи был уже развитый рынок, выходивший также за её пределы. Немецкое

слово kaufen (покупать) происходит от латинского caupo, “виноторговец”, поскольку вино было первым продуктом, который покупали германцы. Но всё же подавляющая масса производимых вещей предназначалась в древности для местного потребления: крестьянин потреблял, как правило, производимые им продукты питания, а ремесленник работал по заказам известных ему людей. Конечно, в больших городах дело обстояло иначе, но в целом производство для рынка не было общим правилом, и простые люди мало зависели от рынка.

Гибель Римской империи и крушение всей древней цивилизации почти уничтожили рыночное хозяйство. В Европе, разделённой на варварские королевства и княжества, сохранились лишь примитивные формы сельского хозяйства и ремесла в замкнутых общинах, более или менее защищённых каким-нибудь обиравшим их феодалом. Сообщение между государствами, и даже между местностями одного государства было крайне рискованным; торговля требовала вооружённой охраны и доставляла лишь немногие дефицитные товары, например, металл для орудий, служивший долго и используемый очень экономно, а также оружие и предметы роскоши для господ. Деньги были редки и играли в общественной жизни небольшую роль: крестьяне рассчитывались с сеньорами натурой или барщиной. Главная арена рыночного обмена — Средиземное море — почти закрылась для мореплавания; южный берег его попал под власть арабского халифата. Арабы (“сарацины”) были агрессивны и, на первых порах, одержимы религиозным фанатизмом. Они захватили Испанию и собирались завоевать Галлию; лишь в 732 году их разбил в битве при Пуатье франкский полководец Карл Мартелл. Но и после этого сарацины опустошали южное побережье Европы и заходили вглубь Италии и Франции. С севера же в Европу вторгались по морям скандинавы — норманны или викинги, в то время ещё язычники и варвары, грабившие прибрежные земли, но иногда заходившие по рекам вглубь континента, вплоть до Парижа. С востока совершали набеги кочевники — сначала гунны, потом венгры. Наконец, уцелевшая восточная половина империи, Византия, приняла другую разновидность христианского культа — “православие”, так что западные и восточные христиане чуждались друг друга, как “еретиков”, и византийцы не стали европейской нацией. Все эти политические условия, вместе с почти непрерывными войнами феодалов, в том числе “частными” войнами внутри неустойчивых государств, были крайне неблагоприятны для хозяйственного развития и для культуры вообще. То немногое, что уцелело от торговли

с Востоком, держали в своих руках две купеческих республики — Венеция и Генуя.

В десятом веке европейские государства окрепли, и набеги “неверных” ослабели. Сарацины, закрепив за собой свои завоевания, отказались от дальнейших; халифат распался. Норманны обратились в христианство, захватили французскую провинцию, прозванную Нормандией, и превратились из пиратов в феодалов. Венгры перестали кочевать, осели в нынешней Венгрии и тоже приняли христианство. Около тысячного года в “Тёмных веках” забрезжил первый свет. Население Европы возросло; в самых благоприятных для жизни местах заметно выросла плотность населения, и там возникло некоторое благосостояние, а затем и его плоды — литература и искусство. Первым литературным языком новой Европы стал старофранцузский язык, а первым очагом просвещения стал Прованс, где развилась рыцарская культура. Здесь из культа “прекрасной дамы” возникла романтическая концепция любви и поэзия менестрелей, воспевавших идеалы своих благородных господ. Может показаться, что всё это мало связано с рыночным хозяйством, но купец Марко Поло, ещё неграмотный, продиктовал свою книгу на том же старофранцузском языке — это был уже язык международного общения, заменивший латынь. Когда после тысячного года, вопреки предсказаниям, не наступил конец света, люди вздохнули с облегчением. Началось, сначала в Северной Франции, строительство “готических” соборов: это было не только явление нового искусства, но и признак общественного богатства. В 1095 году христианский мир перешёл в контрнаступление против Востока — начался первый Крестовый поход. Купеческие республики, Венеция и Генуя, рассматривали это химерическое предприятие как выгодную торговую операцию, и только они не понесли в нем потерь.

Крестовые походы привели к быстрому расширению кругозора средневековых европейцев и к заимствованию ряда технических навыков, сохранившихся в Византийской империи и на Ближнем Востоке. Рыцари вернулись из этих походов не только с новыми понятиями, но и с новыми вкусами и потребностями.

Культура расцвела раньше всего в тех областях Европы, где развились ремёсла и торговля, в городах Северной Италии и Нидерландов: там производили тонкие сукна, шёлк, оружие и предметы роскоши. Это была *буржуазная городская культура*, на почве которой выросла современная нам “западная” культура.

При феодализме производство было сковано средневековой цеховой системой, в которой изготовление каждого товара было при-

вилегией особой корпорации — цеха (или гильдии), кооптировавшей своих членов, контролировавшей источники сырья, качество изделий и назначавшей, с участием государственной власти, "справедливые цены". Торговые предприятия также объединялись в компании, имевшие утверждённые монархом уставы и привилегии; в ряде важных отраслей им принадлежало монопольное право ввозить и продавать определённые товары. Эта система производства и распределения была статична и не способствовала экономическому росту: производители и торговцы, раз навсегда ограждённые установленными правилами, могли не опасаться за свои доходы, и у них не было стимулов развивать свои предприятия. Аналогичные явления застоя вызвала в двадцатом веке государственная экономика в так называемых "социалистических" странах.

Сравнивая современный образ жизни со средневековым, мы прежде всего замечаем, что в наше время трудовая деятельность людей редко направлена на непосредственное удовлетворение потребностей индивида, а связь между производителем и потребителем редко имеет характер прямого заказа. Такие формы экономики, преобладавшие в Средние века, стали теперь "маргинальными": почти всё, что производится в наше время, производится *для рынка*, то есть для анонимных потребителей, нередко живущих в другой стране и знающих, да и то не всегда, лишь марку производящей фирмы. Доставка и продажа продукции отделены от производства и выполняются другими фирмами, а денежные операции, особенно кредит, осуществляют банки. Такое разделение функций, а также разделение труда в самом производстве, весьма способствовало увеличению и улучшению продукции, а кредит давал возможность начинать предприятия, не дожидаясь накопления собственного капитала. Даже в самом начале рыночного хозяйства, на исходе Средних веков, эти преимущества вели к ускорению и расширению производства. Массовое производство товаров на рынок вызвало появление *мануфактур* — фабрик, где в одном помещении нередко работало несколько сот рабочих. Даже при ручном труде, как это было до восемнадцатого века, такое коллективное производство позволяло разделить функции людей внутри самой фабрики, так что каждый из них выполнял лишь одну или несколько операций и мог достигнуть в этих операциях особого навыка. Кроме того, хозяин предприятия, который был в то же время и организатором производства, освобождал рабочих от всех посторонних дел, связанных с поставкой сырья, сбытом продукции и т. д., или поручал эти дела своим приказчикам. Вследствие этих преимуществ рыночного хозяйства,

товары становились дешевле и доступнее потребителям, а общество в целом становилось “богаче” — в определённом смысле, который нам ещё предстоит уточнить.

Эти блага давались, однако, дорогой ценой. Превращение ремесленника в наёмного рабочего означало *новую форму порабощения труда*, удручающе однообразную и несовместимую с инстинктивными предрасположениями человека.

Все эти свойства рыночного хозяйства проявлялись уже в древности, но тогда, как мы видели, подавляющая часть хозяйственной деятельности происходила вне рынка, в пределах натурального хозяйства. Возрождение рынка в Новое время сопровождалось решающей переменой, переделавшей весь облик человеческого мира: началось *применение машин.* В древности были выдающиеся изобретатели машин, например, Архимед и Герон Александрийский, но их изобретения не применялись; если бы греки и римляне сумели заменить рабов машинами, то судьба древнего мира была бы иной. Вероятно, применение машин в древности казалось ненужным, так как человеческий труд был дёшев. Но в Англии восемнадцатого века уже не было крепостных, а рабский труд применялся только в колониях, так что машины могли существенно увеличить продуктивность и удешевить производство. Таким образом, существенным условием прогресса был свободный труд.

Может быть, лучше было бы сказать: “отсутствие рабского труда”, потому что “свобода” наёмных рабочих, как мы увидим, очень мало отвечала смыслу этого слова. Дело в том, что в Европе по ряду причин нельзя было использовать покупных рабов. И очень скоро выяснилось, что машины могут производить больше и лучше, чем рабы.

Разорение крестьян. В восемнадцатом веке большие города Западной Европы, особенно Англии и Франции, были в значительной степени населены наёмными рабочими мануфактур и более мелких мастерских. В Англии и Франции — наиболее развитых странах Европы в то время — было много крестьян, потерявших связь с землёй. В обеих странах образовался “избыток” крестьянского населения, которое впало в крайнюю бедность и превращалось в наёмных рабочих. При этом дальнейший рост населения объясняется достоверной биологической зависимостью: как мы уже говорили, голод всегда стимулирует повышение рождаемости. Это ухищрение эволюции, компенсирующее численные потери, доказано опытами на крысах и других животных, но достаточно взглянуть на рожда-

емость у нынешних народов: самые нищие из них размножаются быстрее всех. Таким образом возникает положительная обратная связь: бедность воспроизводит и расширяет самоё себя.

Во Франции, где ещё в семнадцатом веке утвердилась абсолютная монархия, феодальная знать потеряла самостоятельное значение и превратилась в придворных. Сеньоры селились в Париже и проводили время в Версале, поручая свои имения управляющим, обычно буржуазного происхождения. При таком образе жизни господам требовалось всё больше денег, а их управляющие не были заинтересованы в сохранении господской земли, и тем более в благополучии крестьян. Короли, давно уже (с 1614 года) не созывавшие Генеральные Штаты, собирали налоги по собственному усмотрению и тратили их на войны и безумную роскошь своего двора; они содержали постоянную армию и могли не бояться крестьянских восстаний. Вспомним, что с 1643 года на престоле был Людовик XIV, "король-солнце", изрекавший свои принципы в виде афоризмов, например, "государство — это я". Дворянство и духовенство были практически свободны от налогов; буржуазия была, по крайней мере, способна их платить; но крестьяне, как мы уже видели в главе о "прогрессе", были доведены до последней крайности. Они попросту голодали, и у них рождалось всё больше детей (не следует забывать, что в те времена не знали противозачаточных мер!). Для возраставшего населения не было земли, и это ещё больше усиливало нищету. Крестьяне уходили из своих деревень. Многие шли в батраки, если могли найти работу; всю северную часть Испании, заброшенную и пустынную, наводнили французские эмигранты. Но ещё больше людей шло в города, особенно в Париж, и бралось там за любую работу, на какую только можно было прожить. Так образовался, ещё до революции и капитализма, французский пролетариат.

Несколько иначе шли дела в Англии. Там феодальная знать сохранила своё значение, а у королей не было постоянной армии для подавления восстаний. Английская аристократия жила в своих замках и управляла своими имениями, лишь время от времени посещая столицу. Лорды не брезговали жениться на дочерях купцов, чтобы поправить свои дела, а разбогатевшие купцы покупали землю и превращались в помещиков — сквайров. Английские землевладельцы умели считать деньги и заботились о повышении своих доходов. Они находили более выгодные способы эксплуатации земли. Прежде всего они сделали ставку на овцеводство, поскольку главным предметом английского экспорта была в то время шерсть. Чтобы расширить пастбища, господа захватывали оставшиеся общин-

ные земли с помощью так называемого "огораживания": этот грабёж крестьянских общин прикрывался актами парламента, регулировавшими раздел "бесхозяйных" угодий. Далее, господа предпочитали сдавать свою землю в аренду крупным фермерам, способным вести доходное хозяйство, и сгоняли с неё мелких арендаторов, которым оставалось только идти в батраки к зажиточным фермерам, или искать заработок в городах. Общество, сложившееся к 1700 году во Франции и в Англии — в двух самых передовых странах Европы — было всё ещё во власти феодальной аристократии, а главным занятием населения в этом обществе было всё ещё сельское хозяйство. Но, в отличие от Средних веков, в этом обществе было два новых класса, которым предстояло сыграть решающую роль в будущем — буржуазия и пролетариат. Оба они ещё не сознавали этой роли, пока не явилось материальное средство, породившее новое общество. Этим средством была машинная индустрия, возникшая во второй половине восемнадцатого века.

Роль Европы. Естественно, возникает вопрос: почему новая цивилизация, которую называют "машинной", и которая изменила весь образ жизни человечества, возникла только в Европе, но не возникла в других местах, где тоже был рынок, и где тоже росло население? Почему *самостоятельное развитие всех культур, кроме европейской, остановилось* — задолго до восемнадцатого века?

Напрашивается ответ: потому что европейцы, колонизировав все другие народы, лишили их возможности свободно развиваться и привили им начатки своей, гораздо более развитой культуры, оборвав тем самым медленную эволюцию всех "отставших" культур. Это объяснение неубедительно. Отнюдь не очевидно, что эти культуры вообще *могли бы* развиться столь же высоко, как европейская — и не потому, что их носители были недостаточно способны, а потому что пути культурной эволюции ещё более разнообразны, чем пути генетической эволюции, и есть основания думать, что культурная эволюция, подобно генетической, не допускает "обратного хода" и не может переменить однажды выбранное "неудачное" направление — во всяком случае, до тех пор, пока человек не стал активным творцом своей истории. Например, культура ацтеков, не применявшая металлов и не придумавшая колеса, сосредоточила внимание на человеческих жертвоприношениях, как главном средстве предотвращения катастроф, и развила для высших классов утонченные обычаи культового людоедства. Вполне возможно, что такая культура зашла в тупик ещё до появления испанцев и должна была по-

гибнуть, как погибли все гоминиды, кроме сапиенсов.

Что касается высоких культур Индии и Китая, то они заведомо прошли уже своё "акме"[1] до прибытия европейских кораблей. Поразительные технические изобретения китайцев, часто опережавшие европейскую технику, не получили *научного* основания. Например, в пятнадцатом веке китайские корабли были больше европейских, но китайские морские карты изображали плоские куски Земли: по-видимому, китайцы не знали формы Земли, или не связывали её с мореплаванием. Возможно, неразвитость китайской науки была обусловлена иероглифической письменностью, так и не превратившейся в алфавит. Общее несчастье китайской культуры составляла её изоляция: у китайцев не было сколько-нибудь цивилизованных соседей и, вследствие этого, они не имели конкурентов. Ранняя централизация власти привела к унификации культуры и бюрократическому вырождению государственного строя. Во всяком случае, с пятнадцатого века в Китае начался медленный и, очевидно, необратимый культурный упадок. Второй возможный зародыш мировой цивилизации увял. В дальнейшем все культуры Земли оказались под преобладающим влиянием европейской.

Итак, достаточно проследить развитие цивилизации в Европе, где только и возникла машинная цивилизация, работающая на рынок.

Явление машины. "Промышленная революция" сравнима по своему историческому значению только с возникновением земледелия и животноводства и последовавшей за ними выплавкой металлов. Нам трудно представить себе мир без машин, где каждое движение требует применения мускульной силы человека или животного. Конечно, не меньшее значение имели революции в духовной жизни человечества — прежде всего возникновение письменности, объективной науки и гуманистической этики. Но во время промышленной революции коренное изменение практических условий человеческой жизни произошло на протяжении одного поколения. Оно потрясло всех, кто его пережил. И если Маркс, увидев это, пришёл к выводу, что экономика объясняет весь ход истории, то его заблуждение можно понять. Как и многие другие исследователи, он преувеличил возможности открытого им принципа объяснения. Но он и в самом деле открыл важный, не понятый до него принцип объяснения человеческого общества. До него философы полагали, что "сознание

[1] Это греческое слово означает высшую точку развития (например, в жизни человека древние считали такой вершиной возраст в 30 или 40 лет).

определяет бытие"; Маркс прибавил к этому, что "бытие определяет сознание". Между этими принципами нет противоречия: *бытие и сознание человека взаимодействуют, составляя единую систему.* Конечно, термин "бытие" мы понимаем здесь как внешние условия человеческой жизни, оставляя в стороне всю многозначность этого слова в жаргоне школьной философии.

Мы не будем задаваться вопросом, было ли неизбежно пришествие машины. Конечно, рост населения увеличил потребность в разных товарах, а свобода промышленности и торговли — насколько её могла добиться буржуазия — неизбежно привела к конкуренции. Конечно, конкуренция хватается за любое изобретение и, впервые в истории, это приводит к сознательному поиску изобретений. Но все это ещё не значит, что изобретения должны были появиться все сразу, одно за другим — тогда как в прошлом их разделяли столетия. Мы не умеем этого объяснить, точно так же, как не умеем объяснить появление "свободного рынка". При нынешнем состоянии наших знаний мы можем лишь указать на важнейшие условия, способствовавшие этим историческим переменам, возможно, упуская некоторые из них. Вероятно, история не может быть "точной наукой", но, несомненно, может стать наукой в большей степени, чем мы теперь готовы допустить, — хотя мы никогда не узнаем, кто изобрёл колесо, и почему паровую машину изобрёл Джеймс Уатт.

Во всяком случае, можно объяснить, почему машинная индустрия — и вместе с ней вся современная цивилизация — возникла в Англии, а не во Франции или в какой-нибудь другой европейской стране. Причина была в том, что Англия была более свободна. Островное положение Англии содействовало развитию в ней свободных учреждений, поскольку оно позволяло обходиться без постоянной армии, всегда ограждавшей королей от сопротивления их подданных. Поэтому английская знать уже в 1215 году смогла ограничить королевский произвол "Великой Хартией Вольностей", что привело к возникновению представительного правления — парламента, муниципальных учреждений и суда присяжных. Знати пришлось, в свою очередь, поделиться властью со "средним классом" — городской буржуазией.

В Англии было гораздо больше возможностей для развития промышленности и торговли. Англичане привыкли соблюдать закон, и парламент, при всех недостатках этого пережившего средневековье сословного учреждения, доставлял им средство мирно изменять устаревшие законы. Такие учреждения были и в других странах Европы, но погибли под властью абсолютной монархии. Англий-

ский же парламент уцелел, и он постепенно ограничил королевскую власть. В отличие от континентальных стран, где установилась абсолютная монархия, английская революция, завершившаяся в 1688 году, привела к компромиссу, оставившему земельную собственность в руках прежних владельцев, но освободившему промышленность и торговлю от феодальных ограничений.

Англия раньше всех великих держав Европы пережила период внешней экспансии: во время Столетней войны четырнадцатого и пятнадцатого века английские короли, претендовавшие на французский престол и тем самым на гегемонию в Европе, потерпели сокрушительное поражение. Это заставило англичан сосредоточиться на внутреннем развитии своей страны — как думает Маколей, с большой выгодой для этой нации. Напротив, Франция, достигшая государственного единства лишь в семнадцатом веке, заявила свою претензию на европейскую гегемонию очень поздно, при Людовике XIV, и истощила силы как раз в то время, когда Англия, завершив революцию, укрепила свой государственный строй. Наконец, религиозная реформация в Англии удалась, а во Франции нет, в значительной мере потому, что французские короли не очень в ней нуждались: в этом случае они опередили англичан — одно время даже держали пап в "авиньонском плену". Англичане проявили, по тем временам, бóльшую терпимость и гибкость: английский король, считавшийся главой англиканской церкви, был в то же время, в качестве короля Шотландии, главой шотландской пресвитерианской церкви. В этих условиях королевская власть вынуждена была "терпеть" различных диссидентов, среди которых было множество искусных ремесленников и удачливых торговцев. Французское правительство, напротив, должно было держаться строгого католического правоверия: можно было держать папу в плену, но нельзя было ни на йоту отойти от церковной догмы. Французские протестанты — гугеноты — были как раз самые способные ремесленники и купцы; Людовик XIV вынудил их эмигрировать, и они унесли свои способности в протестантские страны — Англию, Голландию и Германию.

Таким образом, колыбелью машинной цивилизации стала Англия, где уже раньше возникла парламентская система правления, и где Ньютон заложил основы современной науки. Англия открыла Новую историю, показав пример всем другим народам Земли.

Особым преимуществом Англии было наличие каменного угля, который стал главным источником энергии, и железной руды, из которой англичане научились выплавлять железо с помощью уг-

ля. Самым убедительным свидетельством “технического прогресса” является мировое *потребление энергии*, изображённое на следующем графике. До 1750 года, когда энергия получалась сжиганием дров и использовалась для отопления и приготовления пищи, общее энергопотребление человечества почти не менялось; но затем стали применять для производства железа, для паровых машин и других технических целей каменный уголь, и потребление энергии стало расти, как и население, в геометрической прогрессии. В последние десятилетия, при использовании новых источников энергии, оно удваивалось каждые 10 лет[1].

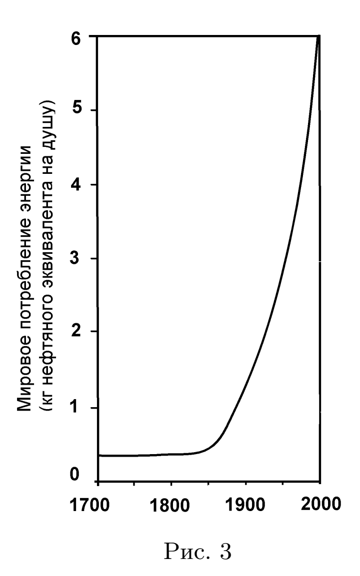


Рис. 3

Подчеркнём ещё раз, что применение машин представляет величайшую революцию в истории, сравнимую только с введением земледелия и животноводства. С этих пор человек освобождается от изнурительного мускульного труда, который он разделял с животными; с этих пор человек, получивший безграничный источник энергии, становится подлинным хозяином Земли. Производительность ручного труда ограничена устройством человеческого тела; между тем, производительность машин зависит лишь от изобретательности человеческого мозга, создающего всё новые формы машин для всевозможных целей, а сама изобретательность мозга безгранично усиливается развитием точных наук.

[1] Smil V. *Energy in World History.* Westview Press,1994.

Первые изобретения восемнадцатого века были сделаны искусными механиками, людьми без научного образования; но уже в девятнадцатом веке "технический прогресс" стимулируется теориями, созревшими в теоретической физике; их переносят в практическую жизнь люди, знающие эти теории. Уатт и Стефенсон применяли свою изобретательность к механическим устройствам, действие которых было наглядно представимо, и добились успеха благодаря постепенному усовершенствованию металлообрабатывающих станков, позволившему изготовлять машины с достаточной точностью; а эти станки уже существовали и применялись, например, для изготовления часов или оружейных стволов. Но применения электрического тока, столь изменившие человеческую жизнь, были уже следствием опытов и теории Фарадея, так что динамомашины и электромоторы возникли из теории электромагнитного поля, до которой не додумался бы ни один механик. Максвелл придал этой теории абстрактную математическую форму, из которой вывел существование электромагнитных волн, недоступных человеческим ощущениям. Было очень мало людей, способных понять уравнения Максвелла, но опыты Герца и Попова, исходивших из этих уравнений, привели к изобретению радио. Приборы, воспринимающие радиоволны, были построены по указаниям теории, чуждой нашим наглядным представлениям и нашему историческому опыту. Мы окружены теперь техникой, действие которой понятно небольшому числу специалистов, но и они обычно не знают теорий, из которых эта техника пришла. Компьютеры, стоящие теперь в каждом доме, сочетают в себе математическую логику с электроникой, но люди, искусно работающие с компьютерами и даже изготовляющие эти машины, не знают, каким образом был открыт электрон, и уж наверное не задумывались о парадоксах теории множеств, побудивших некоторых математиков заняться основаниями логики. Наконец, люди научились использовать атомную энергию — первый вид энергии, не зависящий от энергии Солнца и воспроизводящий процессы, происходящие в недрах самого Солнца, но самая идея этого открытия произошла из теории относительности, которую нельзя понять без особой подготовки. Простая изобретательность не могла бы подсказать человеку, что если соединить два куска тяжёлого металла, с виду похожего на железо, то от этого произойдет атомный взрыв. Энрико Ферми, запустивший первый атомный котёл в Чикаго — то есть первую атомную электростанцию — был не просто изобретательный инженер, а физик-теоретик. *Мы живём в мире, созданном наукой,* — понимаем мы это или нет.

Если наука оплодотворила технику неожиданными идеями, то техника, в свою очередь, доставила учёным приборы и машины, необходимые для их утонченных экспериментов. В итоге взаимодействия науки и техники могущество человека дошло до пределов, позволяющих ему приступить к завоеванию Вселенной. Но человек, овладевший космическими силами природы, не умеет совладать с конфликтами в человеческом обществе: он не владеет самим собой и может погубить необычайную живую систему — разумную жизнь на Земле. Возможно, что это единственная разумная жизнь во Вселенной, что мы держим в своих руках судьбу неповторимого эксперимента, поставленного природой.

Вторжение *машины* положило конец всем метафизическим построениям, объяснявшим человека и общество "актом творения", капризом человекообразного божества. Эти построения были продуктом архаической стадии человеческой культуры: иудеохристианская религия отражает понятия примитивных скотоводов и земледельцев, и все изощрения богословов и философов не могут вывести из такой эмпирической базы *необходимость машины* — назойливо стучащей и жужжащей машины, вторгшейся в человеческий мир. Ничего нет смешнее попыток Бердяева втиснуть *машину* в свою версию христианства. Еврейский бог обещал праведникам овец и ослов: это была религия людей, ещё не приручивших лошадь.

2. Свободный рынок

Экономическая система, основанная на свободной конкуренции и обычно именуемая капитализмом, впервые заняла господствующее положение в Англии в восемнадцатом веке. Её первым исследователем был шотландец Адам Смит (1723–1790), основавший новую науку под названием "политическая экономия". Как мы увидим, его идеи оказали глубокое влияние на человеческое мышление, далеко вышедшее за пределы экономики. Мы начнём с краткого изложения мыслей Адама Смита, а затем попытаемся понять их с современной точки зрения.

Адам Смит увидел, что в основе рыночного хозяйства лежит игра спроса и предложения, ведущая к установлению цен: как это бывает в некоторых самых великих открытиях, он сумел присмотреться к обычному, повседневно происходящему явлению и осознал, насколько оно удивительно. Он был поражён картиной правильного функционирования рынка, не нуждавшегося ни в каком руковод-

стве, и в особенности устойчивостью рыночных механизмов. С незапамятных времён считалось, что для поддержания порядка в человеческих делах необходима *власть*, принимающая решения и надзирающая за их выполнением. Но *рынок*, по-видимому, не нуждался в “управлении”, он *сам* исправлял все отклонения и возвращался к некоторому “нормальному” состоянию. Адам Смит с восторгом говорил о “невидимой руке” рынка, поддерживающей его устойчивость, несмотря на все колебания спроса, предложения и цен.

Адам Смит подчёркивал, что этим свойством обладает лишь *свободный* рынок, и описал признаки, при которых рынок можно считать свободным. Прежде всего, самое понятие рынка предполагает производство товаров не для определённых заказчиков и не для потребления в собственной общине, а для анонимной массы возможных покупателей, потребности и вкусы которых заранее не известны, а должны выясниться на рынке, в ходе торговли. Далее, рынок должен быть свободен от всякого вмешательства извне, особенно со стороны государственной власти: не должно быть никакого регулирования цен, объёма производства и потребления. Каждый приходящий на рынок продавец назначает цену на свой товар по собственному усмотрению и может её изменять. Каждый покупатель вправе покупать товар у любого продавца. При этом продавцы и покупатели действуют на свой страх и риск: никто не гарантирует их выгоды, и никто не гарантирует их от потерь.

Дальнейшее условие свободного рынка запрещает сговор продавцов с целью повышения цен и сговор покупателей с целью снижения цен. В первом случае может возникнуть *монополия*, вынуждающая покупателя платить искусственно завышенную цену; во втором случае может возникнуть *бойкот*, вынуждающий продавца продавать свой товар по искусственно заниженной цене. Не должно быть ни того, ни другого: никакая групповая сделка не должна ограничивать свободу индивида, делающего свой выбор.

Наконец, свобода рынка предполагает, что продавец сообщает покупателю добросовестную информацию о *качестве* своего товара. Тем самым свободный рынок не допускает фальсификации товаров и нечестной рекламы, скрывающей недостатки товаров или приписывающей им ложные преимущества.

Конечно, Адам Смит хорошо знал, что понятие свободного рынка представляет собой идеализацию реально существующих рынков. Государство в той или иной степени вмешивается в рыночное хозяйство, взимая налоги, налагая пошлины и контролируя денежную систему; меры против монополий и бойкота тоже вряд ли возможны

без вмешательства государства; и, разумеется, честная информация о качестве товаров и правдивая реклама представляют трудно достижимый идеал. Но в течение целого столетия, с начала девятнадцатого века, когда были отменены оставшиеся от Средних веков государственные ограничения, до начала двадцатого века английское правительство не контролировало цены и заработную плату, и так же обстояло дело в других развитых странах. Таким образом, свободный рынок, в некотором приближении, в самом деле существовал.

Каждая наука начинается с "идеальных" понятий, и в этом смысле "политическая экономия" не составляет исключения. В математике такими идеальными понятиями являются понятия точки, линии, поверхности или действительного числа; в физике — понятия материальной точки, математического маятника, однородной и изотропной среды. Основные закономерности устанавливаются для "идеальных" условий, а затем их применяют к реальным ситуациям, где эти условия соблюдаются с некоторым приближением. Например, в "западных" странах рынок до сих пор сохранил ещё некоторые черты свободного рынка девятнадцатого века, стимулирующие активность производства и способствующие устойчивости экономики; но, конечно, рынок Советского Союза, полностью управляемый государственными чиновниками, вовсе не был свободным рынком и был лишён всех этих преимуществ.

Адам Смит изучил механизм образования цен. Цена, по которой продаётся на свободном рынке любой товар, зависит от имеющегося спроса на этот товар и от его предложения. Если товар предлагается в недостаточном количестве, то потребители готовы платить за него дорого, и продавцы этим пользуются, повышая цену. Но чем выше цена, тем меньше желающих или способных купить товар по такой цене, пока, наконец, спрос на него не становится ниже предложения; тогда продавцы, чтобы сбыть свой товар, снижают цену. Это опять повышает спрос, и так далее, пока, наконец, колебания цены прекращаются, и устанавливается цена, при которой спрос примерно равен предложению. Аналогичный механизм определяет размеры производства, поскольку низкий спрос побуждает производителей уменьшить выработку товара, и обратно; таким образом производство устанавливается на уровне, приблизительно соответствующем потреблению. Все эти явления наблюдали много раз, но Адам Смит впервые понял, каким образом игра спроса и предложения определяет и поддерживает производство и потребление всевозможных товаров, и тем самым весь ритм хозяйственной деятельности.

Можно было бы подумать, что для общества в целом наилучшие результаты получатся в том случае, если производители будут сотрудничать между собой, помогая друг другу и стараясь удовлетворить все поддающиеся учёту потребности. Примерно так обстояло дело в первобытном племени, и к этому стремилась средневековая цеховая организация производства; не так давно этот простейший способ хозяйствования пытались воспроизвести в "социалистических" странах. Но такое "планирование" экономики приводит к застою, а в современных условиях к развалу экономики и нищете. Напротив, свободный рынок оказывается чрезвычайно эффективным стимулятором экономического роста. Дело в том, что свободный рынок мобилизует психическую энергию людей посредством *конкуренции.* Даже в условиях стабильного рынка конкуренция управляет движением цен. В самом деле, что заставляет продавцов снижать цены при недостаточном спросе? Если бы на рынке был единственный продавец данного товара, то он мог бы и не снижать цену, если товар в самом деле необходим. Но такой монополии на свободном рынке не может быть, и другие продавцы, не связанные никаким соглашением, могут снизить цену, чтобы привлечь к себе покупателей. А тогда каждый продавец вынужден держать свою цену на уровне наинизшей из цен его конкурентов. Аналогично, при недостаточном предложении он повышает цену, чтобы не понести потери.

Те же стимулы конкуренции действуют и при расширении производства, а в особенности при введении новых товаров. Рассмотрев ряд конкретных экономических явлений, Адам Смит пришёл к своему главному открытию:

Свободный рынок, с движущей им неограниченной конкуренцией, приводит в данных физических условиях к наибольшему возможному росту национального дохода.

Мы будем называть это утверждение "принципом Адама Смита". В дальнейшем мы уточним эту формулировку и выясним ограничения этого принципа: любой закон природы имеет свои пределы применимости, вне которых он уже не точен, или теряет силу.

Свободный рынок, изученный Адамом Смитом и описанный им в книге "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776), был первым примером научного объяснения *саморегулирующейся* системы, то есть системы с "обратными связями", возвращающими её к положению равновесия. Примерно в то же время появились простые *технические* системы этого рода: Уатт сконструировал свой регулятор для изобретённой им паровой машины, а в дальнейшем саморегулирующиеся устройства вошли в общее употребле-

ние — примером может служить автопилот, или комнатный регулятор температуры. Но технические системы допускают исчерпывающее описание, позволяющее воспроизвести их во всех деталях. Напротив, экономическая система, рассмотренная Адамом Смитом, такого описания не допускает — это одна из так называемых "сложных систем". Сложными системами являются всевозможные живые организмы и их сообщества, а также самая сложная система, какую мы знаем во Вселенной, — человеческое общество с его культурой. Замечательно, что первое исследование саморегулирующейся сложной системы возникло в экономической науке, причислявшейся в то время к "гуманитарным" наукам. Это было первое применение к явлениям природы того подхода, который в наше время называется кибернетическим. Сущность этого подхода — исследование *обратных связей* в системе, обеспечивающих её устойчивость и развитие.

После Адама Смита, но задолго до появления кибернетики Чарльз Дарвин совершил революцию в биологии, объяснив происхождение видов "выживанием наиболее приспособленных", то есть процессом естественного отбора, аналогичным рыночной конкуренции. Он показал, что движущей силой эволюции является соревнование в использовании природных ресурсов. Это соревнование — неизбежное следствие избыточной рождаемости, аналогичной перепроизводству товара. Представление об избыточном размножении животных было высказано Мальтусом, который интересовался главным образом человеческим обществом и, несомненно, испытал влияние Адама Смита; книга Мальтуса послужила для Дарвина непосредственным стимулом его великого открытия.

Аналогия между естественным отбором и рыночной конкуренцией проявляется ещё и в том, что животные, соревнуясь в поиске пищи и в избежании опасностей, не вступают в прямую борьбу со своими собратьями по виду, точно так же, как этого не делают рыночные торговцы. Непониманию этого соревнования весьма способствовал термин "борьба за существование", использованный "социал-дарвинистами" для оправдания расовой ненависти и милитаризма. С бóльшим основанием можно было бы предположить, что "принцип Адама Смита" имеет свой аналог в эволюции — что эволюция путём естественного отбора выгоднее всякой другой[1].

---

[1] Конечно, здесь имеется в виду выгода для того же вида, а не для другого, как в случае искусственного отбора. "Плановое хозяйство" в так называемых "социалистических" странах можно как раз уподобить искусственному отбору. Такое хозяйство может быстро решать отдельные задачи, но ставит себе неосуществимые цели: пытается вывести породу людей, какой не может быть.

Вряд ли можно преувеличить значение идей Адама Смита для науки и для самопонимания человека: люди давно уже оценили творческую роль конкуренции, а в последнее время осваивают представление о самоорганизации сложных систем. Но следует отметить моральную сторону рыночной экономики, которую хорошо понимал и сам Адам Смит: ведь он был не только экономист, но и философ, он написал не только "Исследование о природе и причинах богатства народов", но и "Теорию нравственных чувств". Я позволю себе сформулировать возникающие здесь трудности в виде *моральных парадоксов рынка.*

Первый парадокс относится к мотивам рыночного поведения. Эти мотивы — стремление продать подороже и купить подешевле — каждому непривычному человеку кажутся неблагородными, и даже низменными. От таких интуитивных оценок отнюдь не следует отмахиваться, поскольку они *инстинктивны*, как и вся племенная мораль, которую мы бессознательно носим в себе. Конечно, наша культура предполагает ограничение инстинктивных побуждений, но было бы наивно рассчитывать, что нам удастся от них избавиться, и было бы неразумно пренебрегать сигналами нашего подсознания, свидетельствующими об их присутствии.

Наше нравственное чувство говорит нам, что в рыночной деятельности люди стараются перехитрить друг друга, скрыть друг от друга свои ресурсы и свои намерения. Конечно, точное соблюдение правил свободного рынка предотвращает прямой обман; но ведь умолчание есть тоже форма обмана, а умолчание трудно запретить какими-нибудь правилами. Впрочем, все знают, что правила сплошь и рядом нарушаются, особенно в критических ситуациях, и что особенно преуспевают не те дельцы, которые к этому неспособны. Реакция "дикаря" на это рыночное поведение заслуживает внимания: ведь она совпадает с реакцией всех религий и всех философов прошлого. Можно терпеть торгующих возле Храма, но в рыночном поведении есть нечто противное нашей природе. Особенно опасно приучать к рыночной деятельности детей и подростков.

С древних времён право собственности — как и всякое право — было чаще всего *правом сильного*; юристы лишь закрепляли давность владения, придавая видимость законности последствиям грабежа. Конечно, это традиционное понимание права, отражающее прямое силовое столкновение с изгнанием более слабого, имело своим источником извращённый инстинкт внутривидовой агрессии, перенесённый на небиологическое отношение собственности. Такое понимание собственности характерно было для феодалов. Рынок тре-

бует от человека совсем других качеств: право, которое он создаёт, это *право хитрого.* Что же лучше — право сильного или право хитрого? Первое создаёт социальный порядок, подобный иерархии стадных животных; второе разительно асоциально. Другой парадокс свободного рынка заключён в самом его определении. От продавцов и покупателей требуется соблюдение некоторых *моральных правил.* Они не только не должны обкрадывать и грабить своих партнёров, но и не должны их прямо обманывать; в особенности это касается продавцов, декларирующих качество своих товаров, что накладывает строгие ограничения на рекламу. Далее, запрещаются монополия и бойкот, что также предполагает готовность ограничить свои выгоды. В общем, правила свободного рынка означают "честную игру", в смысле английского выражения fair play. Что же заставляет продавцов и покупателей соблюдать — хотя бы приблизительно — этот кодекс приличного поведения? Было бы наивно полагать, что они делают это ради "общего блага", чтобы сохранить свободный рынок с его общественно полезными функциями. *Рыночное* поведение преследует только личные цели и само по себе воспитывает только хитрость и эгоизм. И если люди всё же соблюдают некоторые моральные правила, необходимые для самого существования свободного рынка, то за этим стоят, как хорошо понимал сам Адам Смит, *неэкономические мотивы.*

В самом деле, первые капиталисты Нового времени были верующие протестанты, чаще всего кальвинисты, обычно безжалостные в делах, но честно выполнявшие свои обязательства. Мораль торгующих на рынке всегда была попросту *общей моралью своего времени*, коренившейся в культурной традиции и укреплённой религиозным воспитанием. Разрушение традиции и религии подрывает эту мораль, а вместе с ней и свободный рынок. Давно уже замечено, что при всей безжалостности рынка весь деловой мир держится на *доверии.* Когда это доверие исчезает, мир Адама Смита подходит к концу.

3. Игры и экономическое поведение

Когда появилась теория Адама Смита, гуманитарные науки — к которым ещё долго причисляли "политическую экономию" — попросту отождествлялись с книжной учёностью, как в Средние века; но точные науки уже сделали первый решительный шаг. В 1687 году вышла книга Ньютона "Математические начала натуральной философии", содержавшая основы механики и объяснение движения пла-

нет. "Натуральной философией" Ньютон называл возникшую таким образом физику, до сих пор составляющую основание научного понимания мира. Значение этой книги было столь велико, что можно считать её появление подлинным началом Новой истории.

Механические системы, описанные Ньютоном, были предсказуемы, в том смысле, что знание начального состояния такой системы, то есть состояния в произвольный заданный момент времени, позволяло предсказать всё будущее этой системы. Например, зная из наблюдений положения и скорости планет Солнечной системы в некоторый момент, можно в принципе предсказать их положения и скорости в любой последующий момент. Системы, допускающие такие предсказания, называются *детерминированными*.

Экономические системы не допускают ни детального описания, ни точных предсказаний. Если попытаться, например, описать состояние рынка в некоторый данный момент, то оказывается, что невозможно получить точные данные о спросе и предложении товаров в этот момент, а следовательно, даже точное знание рыночного механизма не позволило бы предсказать будущее рассматриваемого рынка. Впрочем, этот механизм и не имеет детального описания, а известны лишь *вероятности* того или иного состояния рынка, того или иного исхода операций отдельного покупателя или продавца. Системы, допускающие только вероятностные предсказания, называются *стохастическими*.

На языке современной науки рыночное хозяйство — это *стохастический процесс*, как и другие общественные явления, например, выборы или войны. Изучение таких процессов начинается с простейших примеров: моделями их служат *игры*, такие, как бросание монеты или костей, шашки, шахматы и всевозможные карточные игры. Каждый участник рыночного хозяйства вступает в игру со своими партнёрами, имея весьма неполную информацию об их ресурсах и намерениях. Конечно, результаты такой игры нельзя точно предвидеть — можно только предсказать их вероятность.

Математическая теория игр была построена в тридцатых и сороковых годах Джоном фон Нейманом. Как всякая математическая теория, она содержит идеализацию рассматриваемого предмета: предполагается, что точно определены *правила игры* и *цель игры*, то есть ситуация, когда игра прекращается, а также *выигрыш* — численная оценка результата игры для каждого игрока. Предполагается, что каждый игрок стремится к наибольшему выигрышу, что соответствует классическому постулату всех экономистов, начиная с Адама Смита, считавших главным мотивом поведения чело-

века личную выгоду. Для каждого игрока существует оптимальная стратегия, которую он выбирает, предполагая поведение всех других игроков столь же рациональным, то есть считая, что они выберут, в свою очередь, самые выгодные для себя ходы. Для самых простых игр оптимальная стратегия обеспечивает победу определённого игрока (например, начинающего игру) независимо от поведения противника. Но в общем случае можно оптимизировать лишь "математическое ожидание" выигрыша, то есть средний выигрыш в достаточно длинной серии партий; при этом результат одной партии можно предсказать лишь с некоторой вероятностью. В определённых случаях оптимальная стратегия предусматривает "случайные ходы", что приближает теорию игр к реальным, например, политическим играм, всегда происходящим в условиях некоторой неопределённости. В игре в "орла и решётку" все ходы случайны; но и в более "разумных" играх, где игрок разгадывает намерения противника по его ходам, может оказаться более выгодным делать время от времени случайные ходы, лишающие противника такой возможности[1].

Фон Нейман (которому принадлежит также важная роль в изобретении компьютера) имел в виду именно объяснение механизмов экономической жизни, и его книга[2] поначалу была воспринята как некое откровение в области общественных наук — нечто вроде ньютоновых "Начал" в естествознании. Панацеи для решения общественных вопросов у нас всё ещё нет, но теория игр позволила лучше понять целый ряд явлений.

С точки зрения теории игр надо различать "локальную" игру, в которой каждый экономический индивид играет против всех возможных на рынке противников, от "глобальной" игры, в которой все индивиды участвуют *вместе*, как партнёры или члены одной команды. В *локальной* игре противники каждого индивида не сотрудничают между собой, поскольку правила свободного рынка запрещают коалиции; это игра "всех против всех", в которой каждый игрок борется только за себя, добиваясь наибольшего личного выигрыша и вовсе не принимая во внимание результаты такого поведения для общества в целом[3]. В соответствии с этим, классическая "поли-

[1] Я не берусь судить о таких играх, как шахматы, где оптимальные стратегии очень сложны. Но Фридрих Великий говорил, что из всех полководцев Европы боится только Салтыкова, "потому что невозможно предвидеть его следующий манёвр". Салтыкову Россия обязана славной победой при Кунерсдорфе.

[2] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, 1943.

[3] В этой ситуации вполне применимо уже цитированное изречение: bellum

тическая экономия" считала главным мотивом личного поведения стремление к наибольшему обогащению и принимала во внимание только этот мотив.

Правила локальной игры — это правила свободного рынка, имеющие в данной стране определённое юридическое выражение. Завершение игры, когда подводятся итоги, зависит от экономического цикла, в котором участвует индивид; например, можно считать концом игры конец года. Тогда выигрыш каждого игрока — это его годовой доход в денежном выражении. Экономика, основанная на только что описанной локальной игре, то есть на конкуренции всех против всех, ограниченной лишь правилами свободного рынка, называется *капитализмом.* Точнее говоря, это "чистый капитализм", в таком виде никогда не существовавший, потому что никогда не было совершенно свободного рынка. Но в течение примерно полутора столетий (с 1750 до 1900 года) существовало некоторое приближение к такому типу хозяйства, которое мы будем называть *классическим капитализмом.*

В *глобальной* экономической игре экономические индивиды — например, все индивиды некоторого государства — образуют коалицию и, следовательно, правила такой игры не имеют ничего общего со свободным рынком. В крайнем случае противников в этой игре нет: в таких случаях говорят, что игра идёт "против природы". Завершением игры является, опять-таки, некоторый условный срок, а выигрышем считается "национальный доход", то есть суммарный доход народного хозяйства за это время, выраженный в деньгах. Содержание глобальной игры в том, что все индивиды данной страны, сотрудничая между собой, стремятся добиться максимального национального дохода. При этом индивид нисколько не заботится о собственных интересах, имея в виду только "общее благо". Такую мотивацию индивида, впрочем, ещё никогда не наблюдавшуюся в истории, можно было бы назвать "абсолютным альтруизмом"[1]. Заметим, впрочем, что племенная мораль, описанная в главе 3, была некоторым приближением к альтруизму: племя в известной мере играло в "глобальную игру".

Экономика, основанная на этой игре, называется *коммунизмом.* Точнее, это "утопический коммунизм", нигде и никогда не существовавший. К нему пытались приблизиться в 20 веке в России, Китае и некоторых других странах, где захватили власть коммунистические

omnium contra omnes (война всех против всех).

[1]Слово "альтруизм", от латинского alter ("другой человек", "ближний"), придумал в середине девятнадцатого века французский философ Огюст Конт.

партии, но их власть очень скоро превратилась в бюрократическую диктатуру. Во всех случаях попытки навязать индивидам "самоотверженное" поведение не приводили к наилучшим общественным результатам.

В действительности в развитых странах всегда существовали промежуточные экономические системы, постепенно эволюционировавшие от "классического капитализма" к смешанным системам, соединявшим уже не очень свободный рынок со всё бо́льшим государственным вмешательством. Такое вмешательство консерваторы неодобрительно называли "социализмом".

"Принцип Адама Смита", представляющий его главное открытие, парадоксальным образом связывает локальную игру с глобальной: когда каждый индивид ведёт свою *локальную* игру, побуждаемый эгоизмом, в результате получается наилучший выигрыш *глобальной* игры, как будто осуществляющий идеал альтруизма! Сам Адам Смит объяснял это тем, что собственный интерес, хотя и действующий в узких пределах личного понимания, сильнее всего мобилизует человеческую энергию. Отсюда, по его мнению, и происходит наибольшее общее благо: это и есть пресловутый "оптимизм" Адама Смита. Никоим образом не оспаривая значение "принципа Адама Смита" — это было великое открытие, положившее начало экономической науке — я попытаюсь теперь выяснить его гносеологический статус.

Чтобы понять отношения между локальным и глобальным подходом, рассмотрим сначала, как они складываются в более простых ситуациях — в физике. Представим себе тонкую упругую мембрану, вроде употребляемых в телефонных трубках, край которой заделан в жёсткий зажим. Пусть вначале мембрана M находится в плоскости чертежа (рис. 4а) в ненапряженном состоянии, с краем K. Теперь изогнём зажим, подняв его на разную высоту над плоскостью, так что кривая K уже не укладывается в одну плоскость; при этом мембрана M тоже изгибается и приходит в равновесие, принимая вид кривой поверхности, висящей над горизонтальной плоскостью (см. вид сбоку на рис. 4б). При заданной форме граничной кривой эта поверхность имеет вполне определённый вид. Чтобы найти этот вид, можно прибегнуть к двум различным способам. Первый способ состоит в том, что из всех кривых поверхностей с заданной граничной кривой K ищут ту поверхность, для которой некоторая величина — потенциальная энергия напряжения — имеет наименьшее значение. Оказывается, что мембрана всегда устанавливается

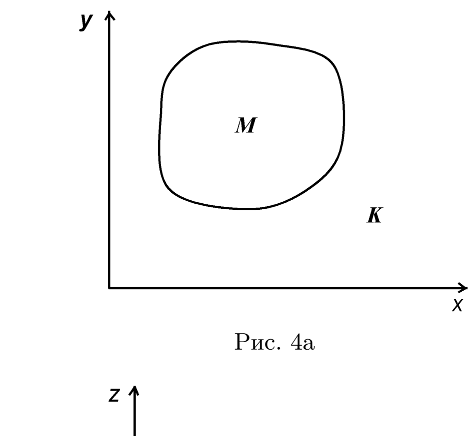


Рис. 4а

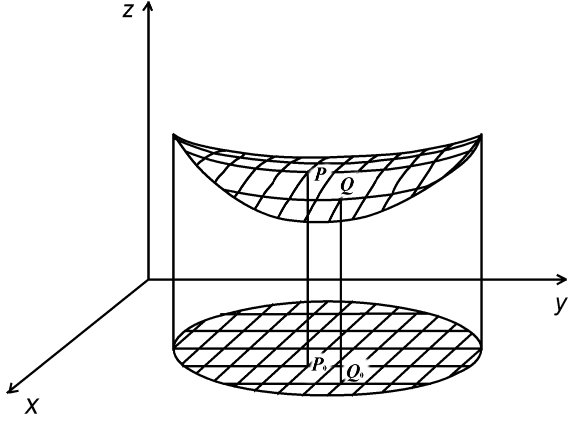


Рис. 4б

таким образом, чтобы это значение было наименьшим, но в природе это получается само собой, а нам для решения задачи пришлось бы рассмотреть множество поверхностей с заданной границей K, вычислить для каждой из них потенциальную энергию (что отнюдь не просто!), а затем сравнить полученные числа и найти наименьшее из них. При этом каждый раз надо было бы рассматривать всю поверхность в целом, так что этот подход можно назвать глобальным.

Но есть и другой, локальный подход, изображённый на рис. 5. Заменим мембрану сеткой с узлами, связанными между собой пружинами, как это делается в пружинных матрацах, и натянутой на ту же границу K. Для каждого узла можно найти его высоту над горизонтальной плоскостью (отрезки P_0P, Q_0Q). Тогда оказывается, что в положении равновесия сетки высота каждого узла P приближён-

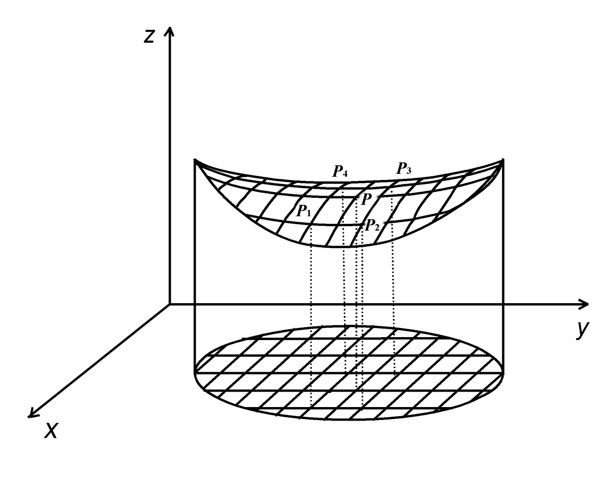


Рис. 5

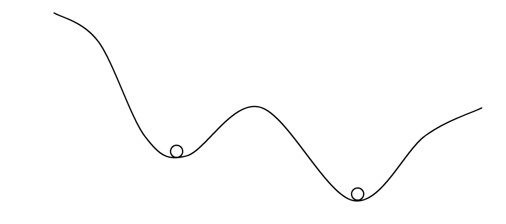


Рис. 6

но равна среднему арифметическому высот четырёх соседних узлов P_1, P_2, P_3, P_4 (рис. 5). Тогда оказывается, что в положении равновесия сетки высота каждого узла приближённо равна среднему арифметическому высот четырёх соседних узлов P_1, P_2, P_3, P_4. Это локальный метод, поскольку надо брать лишь высоты нескольких соседних точек, но в физике доказывается, что он вполне равносилен глобальному. Каждая точка упругого тела ведёт себя так, как будто "знает" лишь положения соседних точек и приспосабливается к ним; в процессе установления равновесия каждый узел перемещается лишь под действием примыкающих к нему пружин, но всё тело принимает форму с минимальной энергией.

Принцип минимума потенциальной энергии проще всего проиллюстрировать примером равновесия шарика на кривой поверхности (рис. 6). Под влиянием силы тяжести шарик займёт самое низкое положение на поверхности — на дне одного из её углублений, поскольку потенциальная энергия шарика пропорциональна его высо-

те над землёй. Иначе говоря, *в состоянии равновесия потенциальная энергия минимальна.*

"Оптимизация" потенциальной энергии аналогична оптимизации национального дохода, а соотношение между ближайшими узлами — игре экономического индивида, учитывающей лишь его ближайшее окружение. Подобно тому, как каждый узел сетки реагирует лишь на положение соседних, занимая "среднее" положение между ними, каждый индивид реагирует лишь определённым образом на поведение его соседей, и *этого достаточно для оптимизации всего национального дохода.*

В физике всё описанное выше может быть строго доказано, и принцип минимума потенциальной энергии имеет статус *теоремы.* В экономической теории (развитой Адамом Смитом ещё до возникновения теории упругости и без математического аппарата!) ситуация значительно сложнее. Если сузить рассмотрение рынка, ограничиваясь случаем, когда известны все выходящие на рынок товары, все производители этих товаров с их объёмом производства и себестоимостью и все потребители с их потребностями и покупательной способностью, то для такого детально описанного свободного рынка можно в принципе рассчитать рыночное равновесие цены; при этом "принцип Адама Смита" становится доказуемой теоремой[1]. Это значит, что *если бы мы в самом деле знали все указанные данные и умели бы провести все нужные вычисления, то мы могли бы предсказать состояние равновесия рынка с наибольшим общим доходом.* В таком случае можно было бы планировать экономическую жизнь общества, заранее назначив каждому индивиду его роль в качестве производителя и потребителя и устранив всякую конкуренцию — причём получились бы в точности те же оптимальные результаты, что и в условиях свободного рынка с неограниченной конкуренцией!

Казалось бы, этим устанавливается экономическая "равноценность" систем, описанных выше под именем "капитализма" и "коммунизма". Более того, вне области материального обеспечения все преимущества оказались бы, как можно подумать, на стороне коммунизма, поскольку индивид, освобождённый от "борьбы за существование" и от страха разорения и безработицы, мог бы посвятить свою жизнь творчеству, наслаждению искусством и общению с людьми, столь же свободными от всех низменных забот. Это и

---

[1] Простейшие примеры этого можно найти, например, в книге Р. Г. Хлебопроса и А. И. Фета "Природа и общество. Математическая теория катастроф", 1999.

обещали коммунисты своим последователям. А поскольку их система, по-видимому, не предусматривала паразитизма, связанного с частной собственностью, то можно было уверовать в её превосходство. Более того, “глобальные” обещания коммунистов апеллировали к высоким человеческим идеалам, тогда как “локальные” расчёты индивида, погруженного в своё рыночное окружение, отнюдь не вдохновляются этими идеалами и воспринимаются как “мещанское” себялюбие.

Но в действительности *детальный расчёт рыночного хозяйства невозможен.* Можно показать, что сбор всей необходимой для этого информации и выполнение всех нужных вычислений потребовали бы большего труда, чем всё народное хозяйство в целом; а этот труд, в свою очередь, кто-то должен был бы учитывать и планировать, и так далее до бесконечности. Конечно, можно было бы попытаться оперировать с сокращённой информацией, пренебрегая некоторыми данными и заменяя другие данные “средними значениями”. Такой деятельностью и занимались всевозможные плановые органы так называемых “социалистических” стран — и полностью провалились. Не помогли и компьютеры, заимствованные у капиталистов, потому что нельзя было получить надёжных данных, и потому что нельзя было учесть, как повлияют на результаты все пренебрежения и усреднения. Комедия “госпланов” обернулась трагедией для разорённых народов.

Значение “принципа Адама Смита” не в этом. Он даёт уверенность в том, что *свободный рынок, предоставленный самому себе и без общего планирования, ведёт к оптимальным глобальным результатам.* Теоремы математической экономики служат именно для объяснения этого принципа, а вовсе не для химерических расчётов с недоступными данными. Если же перейти от искусственно упрощённых рыночных процессов к тем, которые происходят в действительности, то “принцип Адама Смита” приобретает статус *закона природы*: законы природы подтверждаются на опыте в большом числе случаев, доказываются как теоремы в специальных условиях, а в общем случае постулируются как правдоподобные гипотезы. Разумеется, всегда есть границы, вне которых эти гипотезы теряют силу. К таким ограничениям мы сейчас перейдём.

4. Ограничения свободного рынка

Как и любой закон природы, “принцип Адама Смита” может рассматриваться не только с чисто научной стороны, но и в его “при-

кладном" значении, то есть в его отношении к человеческому обществу. С этим оптимальным принципом с самого начала связывали так называемый "оптимизм Адама Смита". Хотя консерваторы восемнадцатого века отнюдь не приветствовали триумф рыночного хозяйства, люди, называющие себя консерваторами в *наши дни*, воображают, что "совершенно свободный рынок", или по крайней мере такой рынок, каким он был сто лет назад, может исцелить все пороки нынешнего общественного организма. Мы отложим пока обсуждение этого вопроса и обсудим в этом разделе научные аспекты "принципа Адама Смита".

Экстремальные принципы в естествознании. Как мы уже видели, открытия Ньютона, объяснившего строение солнечной системы, породили надежду, что со дня на день явится другой Ньютон, который объяснит человеческое общество и укажет наилучший способ его устройства. Адам Смит, при всей популярности его книги, этой надежды не оправдал: он объяснил не то общество, какое было до него, а то, которое едва начало складываться при его жизни, и из его объяснения можно было сделать лишь тот вывод, что новое общество будет, в некотором смысле, давать наилучшие *экономические* результаты — в смысле наивысшего "национального дохода". Об идеальном обществе не было речи, потому что рыночное хозяйство отнюдь не обеспечивало "справедливого" распределения этого дохода и счастья отдельного человека.

Научный контекст, в котором возникла теория Адама Смита, был, конечно, создан распространением физики Ньютона. Законы механики Ньютона были глубоко изучены математиками восемнадцатого века; при этом обнаружилось, что все движения тел — и, по-видимому, все вообще явления природы — подчиняются некоторым экстремальным принципам[1]. А именно, во всех случаях явления происходят таким образом, что некоторая величина, при данных условиях процесса, принимает наименьшее или наибольшее значение: может сложиться впечатление, будто природа выбирает "наилучшие" способы, ведущие к окончательному результату. Мы уже видели, что мембрана устанавливается в положении равновесия таким образом, что её потенциальная энергия оказывается минимальной. Ещё более простой пример — равновесие шарика на кривой поверхности: шарик останавливается в "ямке" на наинизшем возможном уровне по сравнению с окружающей частью поверхности.

[1] Эти принципы чаще всего называются "вариационными", поскольку они выводятся методами вариационного исчисления.

Общий характер таких закономерностей выяснили великие математики — Эйлер и Лагранж. Поскольку Эйлер, в отличие от большинства учёных того времени, был верующий, он полагал, что в таких "экстремальных принципах" проявляется мудрость творца, достигающего самыми экономными путями своих неисповедимых целей. Так он и объяснил это в письме одной немецкой принцессе, которая вряд ли поняла бы его математические аргументы.

Другие учёные прямо распространили "экстремальные принципы" на человеческое общество. Президент Прусской академии наук Мопертюи (который сам вывел важный минимальный принцип механики) уверял, следуя Лейбницу, что господь создал наилучший из *возможных* миров — то есть наилучший из всех, дозволяемых законами природы. Другой фаворит Фридриха Великого, французский писатель Вольтер, рассорился с Мопертюи и высмеял его оптимизм в повести "Кандид", где наставник злополучного героя, философ Панглосс, поучает его, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров". Не все читатели Вольтера знали, что имеется в виду фантазия математика Мопертюи.

Читатели Адама Смита могли сравнить благодеяния "невидимой руки рынка" с действительностью, порождённой безудержной конкуренцией. Но Адам Смит не был так наивен, как Панглосс. Он понимал, что рост национального продукта обогащает не всех, но надеялся, что со временем общее благосостояние распространится и на тружеников. Эта надежда оправдалась, хотя и не скоро — уже в то время, когда рынок был не столь свободен, а рабочие не столь беззащитны.

Локальность равновесия. Прежде всего, даже если выполнены все условия свободного рынка, утверждение "принципа Адама Смита" нуждается в уточнении. Как и все "экстремальные принципы" в естествознании, оно не всегда носит абсолютный характер, что может иметь важное практическое значение. Начнём с механической аналогии: задачи о равновесии шарика на кривой поверхности. Шарик скатывается вниз под действием тяготения, и равновесие его достигается, как доказывается в физике, в наинизшей точке некоторой "ямки" в поверхности. Но таких ямок может быть много, и притом разной глубины, так что положение равновесия шарика определяется неоднозначно: оно зависит от начального положения, с которого начинается движение, и шарик может оказаться не в самой глубокой ямке. Это будет не "абсолютный", а "локальный" минимум высоты, то есть минимум по сравнению с достаточно близкими точками по-

верхности, но не со всеми её точками. Достигнутое положение равновесия локально устойчиво, то есть при небольшом отклонении от этого положения шарик в него вернётся; но при достаточно большом отклонении он может перейти в другое положение равновесия, на другой высоте.

Рассмотрим, далее, задачу о *максимуме* высоты на кривой поверхности, например, на поверхности земли. Предположим, что человек, находящийся на этой поверхности, стремится достичь наибольшей высоты и для этого идёт всё время "по градиенту высоты", то есть в направлении наибольшего подъёма. Тогда через некоторое время он окажется на вершине некоторого холма, хотя, может быть, и не самого высокого из всех: это локальный максимум высоты. Можно представить себе, что мотив поведения такого человека — спасение от наводнения, что аналогично силе, направленной *вверх*. Положением равновесия будет для него вершина холма (в отличие от предыдущего примера, где сила тяготения была направлена *вниз*, и потому шарик стремился к минимуму!) Но при этом, находясь на вершине холма, он не обязательно спасётся: уровень воды может оказаться выше "его" холма, так что локальный максимум превратится для него в ловушку. Между тем, из другой исходной точки он мог бы прийти на вершину более высокого холма, которая останется над водой.

Так же обстоит дело с естественным отбором и с рыночной конкуренцией[1]. Можно предположить, что на каждом небольшом шаге эволюции рассматриваемый вид изменяется в направлении наилучшего приспособления к среде, наподобие человека из предыдущего примера, хотя это происходит и без сознательного "планирования". Но в конечном счёте вид может оказаться в "эволюционной ловушке", и при изменении природных условий вымрет. Несомненно, таким образом вымерли бесчисленные виды, избравшие, с локальной точки зрения, самый выгодный путь развития: при другом исходном состоянии они могли бы выжить, достигнув равновесия на более безопасном уровне. Это соображение вносит поправку в популярные рассуждения о совершенном приспособлении живых организмов к окружающей среде: их "совершенство" означает лишь оптимальность по отношению к *малым* изменениям вида, но не по отношению к большим изменениям, которые могут уничтожить данный вид, заменив его в новых условиях другими видами.

[1] Следующее дальше замечание принадлежит Р. Г. Хлебопросу, применившему математическую идею локальности к биологии (устное сообщение).

Как уже говорилось, конкуренция на свободном рынке во многом аналогична конкуренции особей в использовании ресурсов, образующей естественный отбор. Рыночное равновесие аналогично равновесному состоянию вида, достигнутому в ходе эволюции. Видимое совершенство изделий и рыночного механизма соответствует *локальному* максимуму, зависящему от исходного состояния рынка, но не обязательно самому высокому из равновесных состояний. Локальное равновесие устойчиво относительно небольших колебаний, но может нарушиться при значительном изменении внешних условий. Так погибли многие высоко развитые цивилизации, уверенные в своём превосходстве. Отсюда видно также, что "завершённое" состояние цивилизации вовсе не однозначно определяется её приспособленностью к условиям среды: оно может оказаться совсем другим даже при небольшом изменении начальных условий развития этой цивилизации.

Границы применимости принципа Адама Смита. Каждая научная теория имеет свою область применимости, вне которой она теряет смысл или перестаёт соответствовать экспериментальным фактам. Это выражение мы заменим более коротким: теория перестаёт быть верной[1]. Для большинства научных теорий границы их применимости уже известны, или их можно с некоторой вероятностью предполагать. Пожалуй, лишь в случае арифметики имеющаяся формальная теория считается применимой ко всем явлениям природы. Даже планиметрия Евклида, правильно описывающая небольшие куски земной поверхности и применяемая при составлении планов инженерных сооружений, для составления географических карт уже непригодна, вследствие сферической формы Земли. Стереометрия Евклида достаточно точно описывает геометрические соотношения в не слишком больших областях пространства, при не слишком большой концентрации тяжёлых масс; но в космологических вопросах эта теория должна быть заменена более общей "римановой геометрией". Таким образом, даже математические теории не "универсальны": они применимы лишь в определённых условиях, а вне этих условий теряют силу.

[1]Заметим, что если такая теория имеет формальное математическое построение, то она может оставаться логически точной, но — вне некоторой области явлений — становится уже неприменимой к описанию эмпирической действительности. Так, механика Ньютона логически безупречна и может быть изложена в математической форме, но при очень больших скоростях (сравнимых со скоростью света) перестаёт правильно описывать движение тел.

Обратим внимание ещё на то обстоятельство, что никакая теория (кроме, может быть, арифметики) не может считаться абсолютно точной даже в той области явлений, где она применима: все теории справедливы лишь приближённо. Далее, "граница" применимости теории не может быть проведена столь отчётливо, как этого требует заключённое в кавычки слово: для каждого приложения теории надо решить, достаточна ли её точность в этом случае.

Классические примеры применимости или неприменимости теорий доставляет физика. Механика Ньютона достаточно точна, если все рассматриваемые тела движутся со скоростями, намного меньшими скорости света; если это условие не выполнено, надо пользоваться специальной теорией относительности, что и делают в ряде областей физики, и даже в технике, при проектировании ускорителей элементарных частиц. Но специальная теория относительности становится неприменимой при высокой плотности вещества или в очень больших областях Вселенной; в этих вопросах она заменяется общей теорией относительности, способной описывать с большой точностью такие космические объекты, как нейтронные звезды и "чёрные дыры". По-видимому, и эта теория недостаточна, когда нельзя пренебречь квантовыми эффектами; последовательной теории этих эффектов в сильных полях тяготения пока не существует.

Конрад Лоренц проницательно изображает, каким образом даже великие исследователи выходили за пределы применимости своих теорий, впадая в заблуждения. Он приводит три поучительных примера. Первый из них — "теория тропизмов" французского биолога Жака Леба, изучавшего простейшие инстинктивные движения насекомых, такие, как влечение бабочек к свету. Эти "автоматические" реакции, которые Леб назвал "тропизмами", он пытался положить в основу объяснения *всего* поведения животных. Второй пример — "теория условных рефлексов" И. П. Павлова. Это важное открытие, сделанное в специальных условиях лабораторного наблюдения, Павлов считал достаточным для объяснения поведения животных в естественных условиях, а из наблюдения рефлексов развилась псевдонаука, именуемая "бихевиористской психологией". Наконец, Зигмунд Фрейд, исследовавший человеческое подсознание методами психоанализа, допустил ряд ошибок, переоценив объяснительную силу своей теории — в частности, в неосновательных попытках применить её к социальным и историческим явлениям.

К этим примерам, приведённым Лоренцем, можно прибавить известные заблуждения Маркса, переоценившего объяснительную силу разработанной им модели капиталистического производства. Эта

модель, изложенная им на запутанном гегельянском языке в его книге “Капитал”, уже в наши дни была разъяснена на математическом языке фон Нейманом (и в этом виде уместилась на нескольких страницах!). В современной математической экономике она называется “моделью Маркса — фон Неймана” и занимает место среди других реалистических моделей, описывающих частные аспекты капиталистического производства[1]. Маркс, не видя границ применимости своей модели, экстраполировал её в будущее и положил в основу предсказаний уже не научного, а “пророческого” характера. Это ещё один пример, иллюстрирующий опасность распространения научных теорий за пределы той действительности, где они возникли.

Понятие свободного рынка и принцип Адама Смита поддаются научной формулировке и, конечно, тоже имеют свои границы применимости, в отличие от религиозных доктрин, в которые люди веруют без всяких ограничений. Есть верующие в “чистый капитализм”, для которых нет бога, кроме капитализма, и Адам Смит — его пророк. Но теория Адама Смита — не религия, а всего лишь научная теория, имеющая свои ограничения. Вне определённых условий она неприменима, и современная цивилизация, как мы увидим, давно уже вышла за пределы этих условий. “Возвращение” к свободному рынку так же невозможно, как и любая попытка повернуть историю вспять.

Ограничения свободного рынка. Как уже было сказано, свободный рынок, описанный Адамом Смитом, существовал с достаточным приближением примерно сто пятьдесят лет — с 1750 до 1900 года. Он сделал возможным необычайный в истории рост производительности труда и породил то общество, в котором мы живём. Но в двадцатом веке свободный рынок был в значительной степени разрушен, и в наше время превратился в деградирующий экономический механизм, не способный к развитию и не способствующий развитию человечества. Причины разрушения свободного рынка подробно рассматриваются дальше, в главе 14. Здесь мы ограничимся кратким перечислением этих причин:

А. Свободный рынок разрушается вследствие государственной регламентации промышленности и торговли.

Б. Свободный рынок приводит к неограниченному росту производства, не считаясь с ограниченностью ресурсов Земли и её насе-

[1] Современное изложение этой модели см., например, в книге М. Моришима “Равновесие, устойчивость, рост”, русск. пер., стр. 174–178.

ления.

В. “Моральные правила”, лежащие в основе рыночной экономики, сами имеют *неэкономическое происхождение и восходят к племенной морали.* Психические установки, обозначаемые в повседневном языке как “честность”, “добросовестность” и “надёжность”, представляют теперь пережитки прошлого и перестают действовать в условиях распада культуры.

Ограничения типа Б и В, социального характера, мы рассмотрим в главе 14. В заключение этой главы мы займёмся ограничениями типа А, то есть проведём краткий анализ регламентации рынка, с чисто научной стороны.

Кибернетический смысл регламентации рынка. Детальное описание рынка (теоретически возможное, хотя и не позволяющее получить точные предсказания) включает такие первичные величины, как производительность и себестоимость на всех предприятиях, качество всех изделий, полная потребность во всех товарах, и такие производные величины, как цены. Ограничения рынка означают внешние условия, налагаемые на эти величины, независимо от причин возникновения этих условий. Можно разделить эти ограничения на два типа. *Ограничения типа равенств* означают, что величины, характеризующие рынок, связываются уравнениями; *ограничения типа неравенств* означают, что они связываются неравенствами. Ограничениями типа равенств являются налоги, субсидии, обязательные поставки и государственные монополии. Если, например, производительность предприятия в денежном выражении составляет p единиц, а налог на его продукцию составляет m процентов, то реальная величина дохода p' от продажи этой продукции выражается равенством $p' = (1 - m/100)\,p$. В случае субсидии в $n\%$ соответствующее равенство имеет вид $p' = (1 + n/100)\,p$. Обязательные поставки, составлявшие неизменный способ обложения сельского хозяйства в “социалистических” странах, выражаются аналогичными равенствами. Государственная монополия означает, что некоторый продукт вообще не поступает на рынок, а распределяется внерыночным путём; это выражается равенством $p = 0$. Установление цены государством тоже записывается равенством; поскольку цены в принципе выражаются через первичные характеристики рынка, то получаются *уравнения*, связывающие эти характеристики.

При таких ограничениях рынок работает с тем, что ему остаётся, т. е. с p' вместо p, и т. д., с исключением монопольных товаров, и с навязанными ценами на отдельные товары. Даже весьма жёсткие

ограничения такого рода не могут полностью уничтожить преимущества рыночного хозяйства, пока основная масса потребляемых продуктов всё ещё поставляется рынком. В бывшей Оттоманской империи основная часть производства и торговли находилась в руках её христианских подданных, греков и армян; турецкие власти облагали этих подданных второго сорта двойным налогом по отношению к правоверным. И всё же, эта империя смогла существовать в течение нескольких столетий, поскольку это были ограничения типа равенств. Если, однако, эти ограничения настолько возрастают, что основная масса продукции уже не попадает на рынок, а распределяется чиновниками, то свободному рынку приходит конец.

До тех пор, пока рынок ещё существует, наиболее опасны для него, по-видимому, ограничения типа неравенств, например, ограничения размеров зарплаты, величины частных состояний или цен. Это эмпирическое утверждение вряд ли имеет строгое обоснование, но можно заметить, что неравенства особенно сковывают инициативу производителя и торговца, не знающих, сто́ит ли им прилагать усилия, и что из этого выйдет. Можно учесть наперёд равенства и предвидеть результаты, что даёт некоторые гарантии на будущее. Ограничения типа неравенств учесть гораздо труднее, и они могут привести к весьма неожиданным результатам. Они возникли почти одновременно с частной собственностью: во всяком случае, уже в древнем Риме были законы, ограничивавшие участки общественной земли, предоставлявшиеся в пользование одного владельца. Около 300-го года римский император Диоклетиан, заметив, что его подданные страдают от дороговизны товаров, решил их осчастливить, установив свой знаменитый "максимум": на всех рынках империи были выставлены таблицы с предельными ценами на всё, что там продавалось. В ответ на это тотчас же возник "чёрный рынок", где цены были выше прежних.

"Максимум" этого императора нашёл подражание в государственной регламентации "социалистической" экономики. Ограничение приусадебных участков предотвращало чрезмерное выращивание овощей, а запрещение держать больше одной коровы — чрезмерное обилие молока.

В наше время наиболее заметны ограничения типа неравенств на рынке рабочей силы: это минимальные ставки заработной платы, утвердившиеся теперь даже в Соединённых Штатах. Такие меры, продиктованные гуманными намерениями или вынужденные требованиями избирателей, нарушают свободу рынка и, тем самым, способствуют экономическому застою.

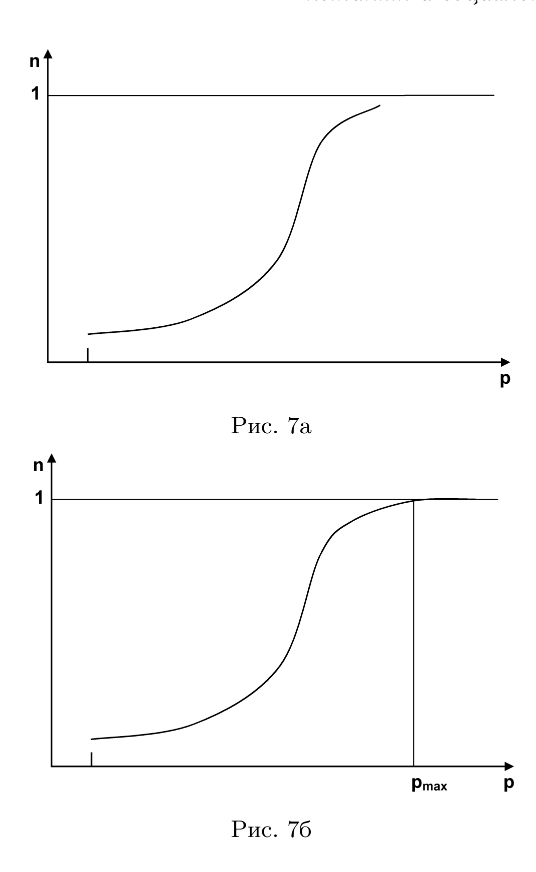


Рис. 7а

Рис. 7б

Впрочем, в некоторых случаях ограничения типа равенств почти неотличимы от ограничений типа неравенств. Так обстоит дело с популярным и, как будто, демократическим "прогрессивным" налогообложением. На рис. 7а изображён график "прогрессивного" подоходного налога, при котором возрастание дохода p вызывает не пропорциональную, а растущую долю налогообложения n. При малых значениях p налог не взимается, а при достаточно больших взимается почти весь доход, как это и происходит в некоторых странах. При достаточной крутизне кривой, изображающей зависимость n от p (зависимость типа равенства!), эта кривая почти совпадает со "ступенчатым" графиком рис. 7б, где p_{max} представляет максимально допустимый доход, а более высокий подлежит конфискации.

Конечно, крайний случай "прогрессивного" налога, изображённый на этом рисунке, не имеет практического значения, поскольку очень богатые люди умеют уклоняться от налогов. Но такие способы

налогообложения кое-где применяются в демагогических целях — правительствами, пытающимися повысить свою популярность среди бедных. Менее карикатурные формы "прогрессивных" налогов в самом деле искажают работу рынка, затрагивая не очень богатых плательщиков — недостаточно богатых, чтобы устроить свои деньги на каких-нибудь Каймановых островах.

Предыдущее обсуждение регламентации рынка может создать впечатление, что все ограничения рынка нежелательны. Это было бы верно, если бы *вполне* свободный рынок можно было сохранить, и если бы социальные последствия свободного рынка были *всегда* благотворны. Но, как мы увидим, оба этих предположения неверны: человечество, так много получившее от "невидимой руки" рынка, должно внимательно следить за этой рукой.

Глава 10

Начало капитализма

1. Современный капитализм

Массовое производство с преобладанием наёмного труда называется *капитализмом.* В этом смысле зачатки капитализма можно обнаружить уже в древности, и тем более в мануфактурном производстве позднего средневековья. Но *современный* капитализм начинается лишь с изобретения машин, намного увеличившего производство однородных изделий и превратившего наёмный труд в регулярную работу у станка, в фабричном цеху. Чтобы возник такой способ производства, должны были совпасть три исторических факта — разумеется, связанных друг с другом и взаимодействовавших между собой, но имевших независимое происхождение и лишь отчасти объяснимых этим взаимодействием. Первым из них был длительный и расширявшийся спрос на промышленные изделия, связанный с приобретением колоний. Вторым фактом был избыток неимущего населения, образовавшийся вследствие резкого увеличения рождаемости и разорения малоземельных крестьян. Третьим фактом был беспримерный в истории рост научной и технической изобретательности — научный и технический прогресс. Все три факта — сами по себе нуждающиеся в объяснении — соединились в Англии в 18 веке, и в этой стране впервые возник современный капитализм, начавший затем своё победоносное шествие по всему миру.

Как и другие радикальные изменения в жизни общества, капитализм не допускает однозначной моральной оценки. Каждое такое изменение мучительно трудно, потому что требует изменения сложившихся привычек, то есть ломки культурной традиции. И, естественно, первая реакция на такие изменения была чаще всего отрицательна, поскольку люди до самого последнего времени не догадывались смягчать эти внезапные новшества. Но потом оказывалось, что революционные изменения культуры могут иметь благотворные последствия для человечества: несомненно, таковы были, в конце концов, введение земледелия и животноводства, а затем изобретение металлургии. Напротив, очень трудно найти положительную сторону в рабовладении, хотя марксисты не остановились

и перед этой трудностью. Можно, пожалуй, сказать, что до введения рабства военнопленных убивали и съедали, так что судьба отдельного человека, участвовавшего в войне, после этого смягчилась. Но, как мы видели, рабство возникло много позже исчезновения каннибализма, и за него человечеству пришлось поплатиться культурным застоем, в конечном счёте погубившим античный мир.

Конечно, можно придерживаться "строго объективной" позиции, игнорируя все моральные оценки; при таком подходе целью историка остаётся изложение событий в их причинной связи, столь же свободное от эмоций, как описание эволюции какого-нибудь вида животных. Очень сомнительно, возможен ли такой подход, если сам историк принадлежит тому же виду, но для нас такой лицемерный "объективизм" заведомо невозможен. В самом деле, мы считаем мораль важной частью человеческого поведения, подлежащей изучению наряду с другими мотивами этого поведения; мы полагаем даже, что "моральные правила" древних племён коренятся в *инстинктах* человека, как это было подробно описано в третьей главе. Как гласит известное изречение, "мораль находится в природе вещей"[1], и пренебрежение моральными оценками у историка или философа — несомненный признак деградации человеческого типа исследователя, а вместе с тем и самой науки.

Капитализм, то есть массовое производство с преимущественным использованием наёмного труда, *через двести лет* после своего появления в самом деле доставил населению некоторых передовых стран невиданное материальное благополучие (при нищете, и даже в значительной степени — ценой нищеты подавляющего большинства людей в остальных странах). Но нас интересуют теперь не эти отдалённые результаты капитализма, которые мы исследуем в дальнейшем, а его непосредственные социальные *последствия*, к которым часто применяется термин "классический капитализм" (или, не столь вежливо, "дикий капитализм").

Мы уже настолько привыкли к современной форме наёмного труда, что не отдаём себе отчёта в разительном изменении образа жизни, которое он принёс. Каждый день бесчисленные миллионы людей к определённому часу "идут на работу", и остаются там до другого определённого часа. Стóит только спросить, хотят ли они идти на работу, и вы получите в подавляющем числе случаев отрицательный ответ! Они *не хотят* идти на работу, но *вынуждены*

[1] La morale est dans la nature des choses (фр.).

идти. Могут сказать, что сама жизнь вынуждает нас совершать поступки, без которых мы бы охотно обошлись, и что так было во все времена: людям приходилось идти на охоту, приходилось обрабатывать землю. Но в этих случаях необходимость труда, его прямая связь с требованиями жизни была очевидна. Для заводского рабочего или конторского служащего такой связи нет. Они выполняют работу, им лично ненужную, смысла которой они в большинстве случаев не понимают. Могут возразить, что это неизбежное следствие сложности современного производства и разделения труда. Так говорили о конвейерной системе Форда, почитателем которой всегда оставался Сталин; но в конечном счёте сами американцы поняли, что эта система не только бесчеловечна, но и *невыгодна*. Впрочем, дело не в этом. Мы имеем в виду самую цель всякого производства. Если производство устроено таким образом, что оно фрустрирует биологические потребности подавляющего большинства людей и вызывает у них ощущение бессмысленности жизни, то это производство *вредно*, и никакая эффективность его не оправдывает. Никакие рассуждения не могут оправдать ежедневное несчастье наёмного труда!

В начале капитализма его биологическая противоестественность проявилась в ряде почти невероятных фактов. Впоследствии эти факты, засвидетельствованные парламентскими расследованиями, печатью и независимыми наблюдателями, пытались отрицать или опорочить с помощью статистики. Дело в том, что первым систематическим трудом о положении английских рабочих была книга Фридриха Энгельса, вышедшая в Германии в 1845 году и сразу ставшая классической — по единодушному мнению историков, знавших изображённую в ней действительность. Ни один приведённый Энгельсом факт не был опровергнут — он цитировал самые почтенные официальные источники, а также ссылался на собственные наблюдения во время своей жизни в Англии, где он управлял текстильной фабрикой в Манчестере. Но, конечно, Энгельс был тенденциозный историк, и в 1920-ых годах возникла школа "ревизионистов", пытавшаяся доказать, что всё это было не так уж страшно. Эти историки противопоставляли отдельным фактам "статистику", то есть по существу оправдывали массовое убийство рабочих и их детей тем фактом, что большинство их всё же оставалось в живых.

Девятнадцатый век был веком высшего расцвета человеческой цивилизации. Слово "цивилизация" означает то же, что "культура" в её универсальном смысле, то есть богатое духовное содержание об-

щественной жизни, проявляющееся в сложности социальной структуры и высоком развитии технических возможностей общества. К 1800 году высшее развитие цивилизации сосредоточилось в западном культурном круге, то есть в Западной Европе и её колониях. Поэтому можно ограничиться здесь историей *европейской* культуры, которую в той или иной мере воспроизводят теперь все другие народы, имитирующие методы европейского капитализма.

Итак, достаточно проследить развитие цивилизации в Европе. Почти очевидно, что двадцатый век был уже веком разложения европейской культуры. В девятнадцатом веке наивысшая точка развития — время наибольшего оптимизма и самой утончённой индивидуальной культуры — приходится на середину столетия. Около 1850 года проницательный историк Маколей мог ещё петь гимны прогрессу, а в 1851 году Всемирная выставка в лондонском Хрустальном Дворце продемонстрировала техническое могущество Европы, уже навязанное всему остальному миру. Но в это же время Джон Стюарт Милль уже видел, что Англия прошла "акме" своей цивилизации и вступает на путь застоя, превращаясь в нечто вроде Китая, Герцен осознал "буржуазное" самодовольство Европы, а Томас Карлейль, принципиальный враг прогресса, предсказывал возвращение к средневековью, то есть фашизм. И в самом деле, несмотря на огромные достижения естествознания (как это было и в конце Возрождения), во второй половине века литература и искусство зашли в тупик, получивший в конечном счёте название "декаданс", а в общественной жизни развился примитивный "экономический социализм", ставивший себе чисто материальные цели. По существу, девятнадцатый век окончился в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Таким образом, "золотой век" прогресса и в самом деле длился около ста лет — от вдохновенной речи Тюрго до открытия пошлейшего Хрустального Дворца.

Подлинная причина последовавшего затем культурного упадка — тот мощный социальный процесс, который Ортега впоследствии назвал "восстанием масс". В начале этого процесса было мятежное движение низших классов Европы под утопическим знаменем "социализма". Движущей силой этого мятежа была та же классовая борьба, с которой мы встречались в каждой эпохе истории. Как мы увидим, это была реакция масс на современный капитализм. Капитализм в его "диком" виде был невозможен, и до сих пор не найден компромисс, позволяющий сохранить его технические достижения, и в то же время достигнутый человечеством высокий уровень культуры.

2. Промышленная революция

Мы опишем "промышленную революцию" на материале Англии, где она привела также к новым, исторически важным социальным последствиям. В середине восемнадцатого века в Англии резко повысился спрос на многие промышленные изделия, лишь отчасти вызванный ростом населения страны, но главным образом — появлением обширного, как будто беспредельного внешнего рынка. Прежде всего это был рынок хлопчатобумажных тканей, экспортируемых в только что захваченную англичанами Индию, и металлических изделий, потребляемых в американских колониях Англии. В Индии были сотни тысяч ткачей, ручной труд которых не мог выдержать конкуренции нарождавшейся английской промышленности; эти люди большей частью умерли с голоду, что было побочным результатом колонизации и также относится к социальным последствиям промышленной революции, но почти не привлекло внимания в Европе. Индия, постепенно осваиваемая английской торговлей, представляла собой огромный субконтинент с населением во много раз больше Англии; в течение ряда десятилетий индийский рынок казался безграничным и, несмотря на периодически возникавшие кризисы сбыта, был как будто готов поглотить сколько угодно тканей. Что касается американских колоний, то они расположились на побережье необъятного, богатого всеми ресурсами и почти неизученного континента, где вначале не было никакой промышленности. Все потребности колонистов (и в некоторой мере торговавших с ними индейцев) удовлетворялись ввозом европейских изделий: там нужны были всевозможные металлические орудия и оружие, а также более высокие сорта тканей и предметы роскоши. Англичане, конечно, заботились о том, чтобы сохранить монополию на торговлю со своими колониями, заселение и развитие которых только начиналось; как можно было предвидеть, Америка — в то время почти исключительно сельскохозяйственная страна — должна была стать неограниченным рынком для английских товаров, особенно для металлических изделий. Созданные завоеваниями и колонизацией внешние рынки обеспечили английской промышленности особые условия сбыта, вряд ли имевшие аналоги в истории. Казалось, что о сбыте продукции вовсе не приходилось заботиться, так что единственной целью фабрикантов было произвести как можно больше одних и тех же, всё время нужных товаров; это подстёгивало конкуренцию и, следовательно, стимулировало снижение цен, а тем самым и цены на труд, со всеми последствиями для рабочих.

Несомненно, этот “промышленный бум” (как сказали бы в наше время) был предметом вдумчивых наблюдений Адама Смита, как приближение к описанной им картине “свободного рынка”. Проницательный анализ Адама Смита, исходившего из широкого эмпирического материала, не пострадал от этих специальных условий; но его нынешние последователи, а вернее — консервативные апологеты свободного рынка, неизменно возвращаются к описанной особой ситуации раннего капитализма, упорно отказываясь видеть факторы ограниченности — ограниченность населения Земли, ограниченность её ресурсов, ограниченность её экологической ёмкости, то есть её способности перерабатывать отходы производства. Эти люди как будто живут в неограниченном мире первых американцев, ещё не знавших, что “фронтьер” не может *вечно* отодвигаться на запад. Представления таких консерваторов о “естественном” способе производства не свидетельствуют о понимании Адама Смита, а скорее напоминают *частный случай* рыночной экономики — лихорадочную конкуренцию при неограниченном сбыте одних и тех же товаров. Это те представления о капитализме, которыми подсознательно руководствовался также Карл Маркс.

История английской промышленной революции начинается примерно с 1750 года; впрочем, некоторые историки полагают, что таким временны́м рубежом был 1760 год, после которого новые изобретения начали входить в массовое производство. В этом процессе можно различить три периода. В первом периоде новые машины вводились в текстильной промышленности, причём для движения станков использовалась энергия человека или животных, а в некоторых случаях энергия воды. Во втором периоде была изобретена паровая машина универсального действия, способная приводить в движение *любые* машины. Наконец, в третьем периоде начали применять паровые машины для обработки металлов, то есть для изготовления металлических изделий — в том числе машин. С этого времени *машины стали делать машины*, что и было завершающим актом описываемого исторического переворота. После этого началось повсеместное внедрение машин в человеческую жизнь, со всеми положительными и отрицательными сторонами этого явления.

Машины заменяют работу человека и животных в двух различных областях: в обрабатывающей промышленности и в производстве энергии. Простейшие машины первого рода уже позволили человеку выполнять операции, недоступные его голым рукам: это бы-

ли каменные рубила и ножи, костяные иглы и гребни, деревянные луки и стрелы, наконец, телеги с колёсами. Мы не знаем, кто изобрёл лук или колесо, но, несомненно, это совершил однажды человек, научивший других. Миф о Дедале и Икаре свидетельствует о том, что уже в глубокой древности люди мечтали о более удивительных изобретениях: они хотели летать, и притом не с помощью колдовства, а приделав себе крылья — то есть с помощью машины. Трудно представить себе, по какому пути пошла бы история, если бы идеи Архимеда и Герона получили применение; но ум человека всегда опережал его общественную жизнь.

Первой машиной, производившей энергию, был костёр, и миф о Прометее изображает революцию, совершенную обретением огня. Уже тогда родилось консервативное мышление, предупреждавшее об опасности всего нового: оказывается, люди, ещё не знавшие огня, были мудрее нас — они могли предвидеть будущее. Прометей справедливо гордился своим делом. Но он нарушил привилегию власть имущих — олимпийских богов, и Зевс его наказал, чтобы другим было неповадно.

По-иному был наказан Леонардо, опередивший своё время на пятьсот лет. Его постигло проклятие Кассандры: мало того, что ему не верили, его никто не понимал. Он знал уже, до Коперника, что Земля вращается вокруг солнца, он изобретал летательные аппараты вроде вертолёта, подводные лодки, бесчисленное множество других машин — в том числе механическую прялку, в 1500 году. Современникам всё это было не нужно, они хотели, чтобы он рисовал им апостолов, ангелов и прекрасных дам. Поскольку он и это умел делать лучше всех, ему не грозила нищета; а свои изобретения он записывал для себя. Только в двадцатом веке расшифровали и опубликовали его рукописи, но это уже другая история.

Что касается самопрялки, заменившей веретено, то она была заново придумана в Германии в семнадцатом веке, под названием "силезской прялки". Этой машине суждено было много раз меняться и улучшаться, но уже в Англии. В начале того же века в Италии появились первые шелкопрядильные машины. В 1716 году некий Джон Лэмб тайно вывез их чертежи и построил в Англии свою фабрику, производившую шёлковую пряжу.

Механические прялки создали диспропорцию между выделкой пряжи и производством тканей, на которые в восемнадцатом веке был высокий спрос. В 1733 году ткач-механик Джон Кей изобрёл "самолётный челнок", составивший основу будущих ткацких станков. Станок Кея лишил работы значительное число ткачей, особен-

но занятых на производстве широких тканей. В 1753 году это вызвало настоящий бунт: толпа ткачей уничтожила дом Кея, и сам он едва спасся бегством во Францию. В 1764–67 годах Харгривс сконструировал первую прядильную машину, получившую широкое применение; эта машина получила название "Дженни". Её недостатки устранил в своей "мюль-машине" Сэмюэль Кромптон (1774–79). В 1745 году французский механик Вокансон построил один из первых механических ткацких станков, и уже через двадцать лет такие станки работали в Манчестере. Наконец, в 1775 году Эдмунд Картрайт получил патент на более совершенный ткацкий станок, к которому он же применил в 1789 году паровой двигатель. До тех пор машины приводились в движение руками или силой воды. В 1791 году он построил первую крупную фабрику в 400 станков, но прежде, чем успели установить двигатели, её сожгли ткачи. В одном из угрожающих писем они писали:

"Мы поклялись поддерживать друг друга, чтобы разрушить вашу фабрику, хотя бы нам пришлось поплатиться за это своей жизнью, мы поклялись снять вашу голову за то зло, которое вы причиняете нашему ремеслу".

Но машина должна была победить ручной труд, а рабочие — научиться жить в новом машинном мире.

Быстрое развитие английской текстильной промышленности было началом промышленной революции. Но её решающим, поворотным пунктом было появление *паровой машины*. Эта машина разрешила проблему превращения тепловой энергии в движение и, тем самым, в *работу*. До этого сила человека была ограничена возможностями его мускулов, или мускулов приручённых им животных. Соединение множества людей или животных позволяло иногда выполнять внушительные работы, вроде строительства пирамид или, что важнее, ирригационных сооружений. Но такие предприятия требовали насильственной мобилизации населения государственной властью и продвигались крайне медленно, поскольку в "упряжки" нельзя было запрягать слишком много людей или животных, и они развивали ограниченную силу при небольшой скорости. Появление паровой машины доставило людям безграничную силу и в принципе могло избавить человека от изнурительного, монотонного физического труда, низводившего разумное существо до уровня скота.

Потребность в механической энергии начала особенно ощущаться в Англии в восемнадцатом веке, когда возникла проблема откачки воды из шахт. Как мы уже знаем, в металлургии сначала

использовался древесный уголь; когда леса в Англии поредели, пришлось прибегнуть к каменному углю, так что в первое время уголь применялся лишь как источник *тепловой* энергии, а не механической. Механическую работу откачивания воды выполняли лошади, но она превосходила их возможности. Поэтому получение механической энергии из тепловой стало важной технической задачей; на решение этой задачи ушло почти всё столетие.

Давление водяного пара пытались использовать француз Папен, англичане Севери и Ньюкомен, русский Ползунов и многие другие. Машины Ньюкомена широко употреблялись в Англии для подъема воды в шахтах, но они были крайне неэкономны: терялось больше 99% теплотворной способности сжигаемого в них угля. Шотландец Джемс Уатт начал именно с попыток "уменьшить расход пара, а тем самым и расход топлива", как он говорил в своём патенте 1769 года. По терминологии того времени Уатт был "механик", а по существу инженер, хорошо владевший физикой, химией и математикой; работа в университете Глазго дала ему возможность сотрудничать с профессорами, среди которых были известный физик и химик Блейк и Адам Смит. По словам Уатта, в 1759 году доктор Робинсон впервые обратил его внимание на паровую машину. Уатт не только знал всю литературу о паровых двигателях, но и пользовался физическими приборами для изучения свойств пара. Таким образом, хотя идея паровой машины возникла из технической практики, а не из научной теории, подлинный успех был достигнут с помощью науки.

Важнейшее значение машины Уатта составляла её *универсальность*: она могла применяться не только для специальных целей вроде откачки воды, но для любой механической работы, поскольку Уатт сумел превратить прямолинейное движение поршня в круговое движение колеса. Изготовление деталей паровой машины, особенно цилиндров, было в то время труднейшей задачей. Уатт сумел разрешить её, пользуясь опытом достаточно развитой металлообрабатывающей промышленности, уже создавшей станки для сверления орудий и инструменты для изготовления часов. Естественно, в этой промышленности применялись лишь известные источники энергии — например, пушки делали с помощью лошадей; но Уатту, обладавшему также организационными способностями, удалось изготовить цилиндры и другие части своей машины с достаточной точностью. Уатт изобрёл много механизмов, нужных для эффективной работы его машины; особого внимания заслуживает центробежный регулятор, автоматически контролирующий подачу пара в машину. Принцип обратной связи, использованный в регуляторе Уатта, по-

лучил в кибернетике развитие, о котором в то время нельзя было и подумать.

К 1800 году в Англии был уже 321 паровой двигатель общей мощностью в 5100 лошадиных сил. Они применялись в целом ряде отраслей промышленности: прежде всего на хлопчатобумажных фабриках, где они приводили в движение станки (84 машины), далее, на шерстопрядильных фабриках (9 машин), в угольных шахтах (30 машин), в медных рудниках (22 машины), на металлургических заводах (28 машин), на пивоваренных заводах, каналах, водопроводах, и т. д. Эти числа, в особенности общая мощность, могут теперь показаться незначительными: в самом деле, в Англии было гораздо больше 5000 лошадей! Но паровые машины могли решать задачи, недоступные лошадям.

Как уже говорилось выше, паровые машины начали применять в машиностроении: первым примером был завод по производству паровых машин, построенный самим Уаттом. Универсальность паровой машины позволила применить её к транспорту. Уже в 1807 году Фултон испытал первый практически пригодный колёсный пароход "Клермонт", совершивший рейс в 240 километров из Нью-Йорка в Олбани за 32 часа — против течения и при противном ветре. В 1825 году, после ряда экспериментов, Джордж Стефенсон построил паровоз, способный везти поезд по гладким металлическим рельсам. Железные дороги покрыли весь мир, и стала возможной быстрая перевозка пассажиров и грузов на любые расстояния.

Все эти достижения техники, как можно считать, вышли ещё "из мастерской механика", в том смысле, что принципы их работы можно было понять без научной подготовки, хотя решающие достижения потребовали привлечения научных данных. Совершенно новым явлением были изобретения, основанные на открытиях учёных, то есть на теориях и на экспериментах, выходящих за пределы повседневного опыта людей и их исторически сложившегося воображения. Открытие Эрстедом взаимодействия электричества и магнетизма (1820) и открытие Фарадеем электромагнитной индукции (1831) сразу же получили применение. Уже в 1833 году Гаусс и Вебер устроили в Геттингене электрический телеграф, в котором использовались индукционные токи, а во второй половине века из опытов Фарадея возникли динамомашины и электромоторы. Изобретение радио было сделано, исходя из абстрактных уравнений электродинамики Максвелла, и уже в двадцатом веке из физики вышла вся атомная технология. Принципы развития техники уже с девятнадцатого века определяются работой учёных, непонятной

для подавляющего большинства людей, и окружающая нас техника столь же непредсказуема, как научная мысль.

3. Капитализм в Англии

Первыми жертвами дикого капитализма были прядильщики и ткачи. В текстильной промышленности события развивались по простому сценарию. Резкое возрастание спроса на ткани привлекло к этой отрасли капиталистов, и вскоре между ними возникла безудержная конкуренция. Эта конкуренция происходила в промышленности, где вырабатывались однородные дешёвые изделия, главным образом хлопчатобумажные ткани, и где машины совершенствовались не так быстро, чтобы можно было удешевить производство за счёт улучшения техники. В этих условиях единственным методом снижения цен было снижение заработной платы, и для этого были все возможности, поскольку обучение работе было нетрудно, а масса безработных порождала конкуренцию рабочих за любой заработок и позволяла тотчас же выгнать любого несогласного с условиями предпринимателя. Очевидно, пределом эксплуатации (здесь трудно не назвать этим словом использование безвыходного положения рабочих!) был рабочий день, физически возможный для рабочего, и продолжительность его доходила до 16 и даже 18 часов; во всяком случае, 12–14 часов были не вызывавшим комментариев средним рабочим днем. Оказалось, что можно добиться большего: почасовую оплату рабочего снижали настолько, что его заработок становился ниже уровня выживания семьи, и таким образом рабочих вынуждали посылать на работу своих жён и детей. Это противоречило английским обычаям семейной жизни, но у рабочих не было выхода. Дети работали с 5–6 лет, как только им можно было объяснить, что от них требуется, и каким-то образом их тоже заставляли оставаться у станков до 16 часов! В сумме семья зарабатывала достаточно, чтобы выжить. Дети, как правило, страдали хроническими болезнями и редко достигали зрелого возраста. Когда их спрашивали, “не устают ли они”, они не понимали, что это значит. Применялись и другие способы эксплуатации. Рабочих, полностью зависевших от работодателя, вынуждали покупать еду в специально устроенных лавках, и часто им приходилось жить в принадлежавших ему квартирах. Всё это завершалось системой штрафов, выжимавшей у рабочих каждый заработанный грош. Описание трущоб, где жили рабочие, не напоминает ни “старую добрую Англию”, ни тем более нынешнюю: такие

жилища есть теперь только в городах Индии или Китая. Неудивительно, что в этих кварталах начинались эпидемии тифа и холеры, но английские буржуа об этом не думали, потому что способы распространения инфекций ещё не были известны. Буржуа старались только, чтобы жители бедных кварталов по возможности не появлялись на богатых улицах, нередко проходивших рядом с массивами трущоб, и полиция охраняла покой этих господ. Фантазия Уэллса об элоях и морлоках возникла в то время, когда всё это можно было увидеть, и когда ничто не мешало верить в такое будущее.

Английская текстильная промышленность развивалась по описанному выше сценарию, и поскольку это был в то время передний фронт самого передового производства, Маркс принял этот манчестерский кошмар за главный закон капитализма и предсказал его неограниченное действие в будущем. Это и был его "закон абсолютного обнищания рабочего класса" — к счастью, оказавшийся не абсолютным.

Положение рабочих при диком капитализме не обязательно было связано с появлением машин, хотя сами рабочие нередко так думали. Существенны были другие факторы — усиление спроса и наличие "резервной армии" безработных. Первый из них был скорее причиной, чем следствием введения машин; но раз машины появились уже в важных отраслях промышленности, они создавали безработных или не давали найти работу новым беглецам из деревни, тем самым направляя их в другие отрасли, ещё мало затронутые изобретением машин. Так обстояло дело, например, в каменноугольной промышленности, где добыча угля всё ещё производилась вручную, но где был постоянно возрастающий спрос. Это привело к таким же злоупотреблениям человеческой жизнью, как и в текстильной промышленности. В Северной Англии продолжительность жизни шахтёров была на 10 лет короче статистически средней, выведенной для рабочих. Откалывание руды, требующее большой физической силы, выполнялось мужчинами, часто работавшими в штольнях, где можно было стоять лишь в согнутом положении. От угольной пыли, в то время не подвергавшейся никакому контролю, разрушались лёгкие: болезнь под названием black spittle (чёрная мокрота) за несколько лет сводила шахтёров в могилу. Грузчики, наполнявшие углем бадьи, старились уже к тридцати годам. Перевозка угля по штольням обычно выполнялась женщинами и детьми: женщина волокла кузов с углем без колёс, а дети подталкивали его сзади руками и головой. Женщина ползла при этом на коленях, надев цепь от ку-

зова на голое тело: такой способ работы оправдывался тем, что в штольнях нельзя было использовать лошадей. Так же добывалась железная руда.

Такое положение рабочих не всегда было связано с крупной промышленностью: достаточно было, чтобы спрос и наличие безработных позволяли предпринимателям держать людей на грани голодной смерти. Швеи, работавшие вручную, трудились с 4–5 часов утра до полуночи за плату, едва достаточную для пропитания. Их судьбу изобразил Томас Гуд в своей знаменитой “Песне о рубашке” (*The Song of the Shirt*):

With fingers weary and worn,
With eyelids heavy and red,
A woman sat, in unwomanly rags,
Plying her needle and thread —
    Stitch — stitch — stitch!
In poverty, hunger, and dirt,
And still with a voice of dolorous pitch
She sang the “Song of the Shirt”.
. . . .
    Work — work — work!
My labour never flags;
And what are its wages? A bed of straw,
A crust of bread — and rags.
That shattered roof, — and that naked floor, —
And a wall so blank, my shadow I thank
For sometimes falling there[1].

Эта песня, потрясшая Англию, была опубликована в 1843 году в *сатирическом журнале* “Панч”. Если это сатира, то на викторианскую Англию и на эту вершину европейской цивилизации, девятнадцатый век. Ещё более известны романы Диккенса, изображающие бедных людей. Можно удивляться кротости персонажей Диккенса и Гуда, но ведь были ещё Шелли, Байрон и Годвин. Английские историки с ужасом оглядывались на этот дикий капитализм.

[1]С усталыми и измученными пальцами, / С тяжёлыми и покрасневшими веками, / Сидела женщина, в неженских лохмотьях, / Усердно работая, с иголкой и с ниткой — / Стежок — стежок — стежок! / В бедности, голоде и грязи, / И все ещё горестным голосом / Она пела “Песню о Рубашке” / . . . Работай — работай — работай! / Моему труду нет конца; / А что же мне платят? Постель из соломы, / Корка хлеба — и лохмотья. / Эта разбитая кровля, — и этот голый пол, — / И стена, такая пустая, что я благодарна моей тени, / Иногда падающей на неё.

Но затем, как это часто бывает, возник "ревизионизм". Простейший приём искажения истории — статистика, искусство вычислять средние значения: стали подсчитывать, какой доход приходился в *среднем* на одного англичанина, и оказалось, что это был приличный, и притом всё время возраставший доход. Затем оказалось, что в то время лишь часть населения Англии находилась в условиях безысходной нищеты и трудилась из последних сил: может быть, четверть, а то и меньше. Остальные жили, по-видимому, на старый лад и не бросались в глаза. Обнаружилось, что рабочая семья, где работали *муж, жена и дети* (до 16 часов в сутки!), получала в сумме *приличный доход* (a decent income). Такими же доводами можно было бы обосновать и людоедство, если бы оно касалось *только* части населения. Это сравнение принадлежит Свифту; правда, оно относится к ещё более обездоленной части королевских подданных[1].

Не надо думать, что бедность рабочих быстро исчезла. С. Раунтри, посвятивший всю жизнь изучению заработков англичан, провёл в 1899 году детальное изучение населения провинциального города Йорка, переходя из дома в дом. Он нашёл, что 28 процентов жителей Йорка жили в такой нищете, что "весь их заработок был недостаточен для поддержания их физической работоспособности". В Лондоне, богатейшем городе богатейшей страны мира, около 1900 года треть населения испытывала острый голод и спала зимой в одежде, не надеясь улучшить своё положение в течение всей жизни.

Классовые различия были столь же резки во всей Европе. В исследовании Э. Леруа-Ладюри (1972) показано, что до 1860 года рост "видимого пролетариата" в Европе в среднем составлял, для мужчин, 152 см, и лишь с этого времени, которое он называет "концом антропологического Старого режима", рост бедных начал постепенно повышаться, приближаясь к 180 см. Впрочем, в конце 19 века даже в Англии бедные были на 7,6 см ниже богатых. Уэллс мог отличить на улицах элоев от морлоков.

Кастовым признаком были также загоревшие во время работы лицо и шея, резко отличающиеся по цвету от остального тела. Во время Первой мировой войны британский офицер поразился, увидев белые тела купавшихся в реке солдат.

[1]"Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества". Свифт рекомендует употреблять их в пищу.

Но, конечно, для статистики все люди *в среднем* одного цвета.

Наёмный труд рабочих сравнивали с рабством, и возникло даже выражение “наёмное рабство” — мне не удалось определить, кто его пустил в ход. Конечно, нанимающийся рабочий *свободен* в том смысле, что его не заставляют работать силой. Но сплошь и рядом он вынужден наниматься, чтобы прожить, и у него мало выбора, поскольку конкуренция фабрикантов устанавливает примерно одинаковую заработную плату в каждой местности. Если у рабочего нет особой квалификации, он должен принять ту плату, которую ему дают — или умереть. Даже сейчас ему *приходится* наниматься на работу, и он радуется, если это удаётся, потому что лучше иметь какую-нибудь работу, чем никакой; но сейчас есть пособия для безработных.

Сравнение наёмной работы с рабством с самого начала вызвало и другие комментарии. Вот что сказал об этом Адам Смит:

“Говорят, что расходы на изнашивание раба лежат на его хозяине, а расходы на изнашивание свободного рабочего — на нем самом. На самом деле расходы на изнашивание свободного рабочего также лежат на его хозяине. Заработная плата подёнщиков, слуг и т. д. должна быть настолько высокой, чтобы она позволяла им в такой мере продолжать породу подёнщиков и слуг, в какой этого требует возрастающий, стационарный или понижающийся спрос со стороны общества. Но если изнашивание свободного рабочего происходит за счёт его хозяина, то всё же оно последнему сто́ит обыкновенно гораздо меньше, чем изнашивание раба”.

Энгельс напрасно полагает, что Адам Смит “рассчитал это в утешение буржуазии”. Он подозрительно относится ко всему, что говорят “буржуа”, забывая своё собственное происхождение, и плохо понимает английский тип юмора, как это видно и в других местах его книги. Последняя фраза этой цитаты, приводимой Энгельсом, как раз объясняет, почему правящий класс Англии с присущим ему великодушием отказался от рабства в колониях, когда оно перестало окупаться. В самой Англии оно и раньше было не нужно.

Замечательной чертой дикого капитализма было невмешательство государственной власти в условия фабричного труда, до сих пор вызывающее ностальгию у фанатиков “свободного рынка”. Рабочие были юридически свободны, то есть могли “добровольно” заключать контракты со своими работодателями или отказываться от них. Но на практике сложившиеся условия позволяли предприни-

мателю делать со своими рабочими едва ли не всё, что один человек может навязать другому — начиная с эксплуатации детей, часто не доживавших до зрелости, до принуждения к сожительству жён и дочерей рабочих, составлявшего особую черту раннего капитализма. И во всех случаях фабриканту ничего нельзя было поставить в вину, потому что, в отличие от рабовладельца, он не прибегал к физической силе, а использовал разрешённое средство принуждения — голод. По выражению того времени, предприниматель был "естественный повелитель" рабочего, и в цехах были надсмотрщики, следившие, чтобы их подчинённые не позволили себе никакой передышки. Нетрудно представить себе, что могли позволить себе эти господа в обращении со "свободными англичанами", для которых увольнение означало немедленный голод. Внимание публики привлекал разве какой-нибудь особенный эпизод, когда, например, надсмотрщик верхом на лошади и с бичом в руке гнался за сбежавшим из цеха подростком.

В Средние века трудовые отношения в значительной степени определялись государственной регламентацией, но в начале капитализма законодатели сочли такие ограничения вредными для экономики — в значительной мере под влиянием теорий Адама Смита. После отмены в 1814 году елизаветинского Закона о ремесленниках (1563) до 1909 года в Англии не было ни одной попытки законодательного вмешательства в заработную плату. Это и был "золотой век" капитализма, но в то же время век нищеты и бесправия рабочих, потому что те же законодатели, как мы увидим, отняли у них всякое право защищать свои интересы.

В 1802 году была сделана первая попытка вмешаться в условия фабричного труда: парламент ограничил часы работы для детей из приходских приютов, принудительно направляемых в цеха. В этом случае не было свободных контрактов, и дети очевидным образом не имели выбора. В 1819 году под давлением кампании, развитой Робертом Оуэном и его друзьями, парламент решился ограничить *двенадцатью часами* рабочий день всех других детей, запретив принимать на работу детей моложе девяти лет; но этот закон практически не соблюдался, потому что не было эффективного контроля за наёмным трудом: фабричная инспекция было учреждена лишь в 1833 году. К чести английского образованного общества, когда рабочие были ещё неграмотны и беззащитны, находились люди, замечавшие безобразия фабричной системы, говорившие и писавшие о продолжительности рабочего дня, о нищенской оплате и о санитарных условиях в цехах; это были врачи, священники, литераторы

и даже некоторые из предпринимателей, такие, как отец премьер-министра Пиля, или сам Оуэн, управлявший текстильной фабрикой в Шотландии.

Английские рабочие, в отличие от своих собратьев на континенте, привыкли уважать закон и надеялись на защиту парламента, хотя сами и не пользовались избирательным правом: по известному выражению того времени, это было “уважительное общество” (a deferential society). Но Англия оставалась под властью олигархии феодалов-землевладельцев, правда, с постепенно возраставшим влиянием буржуазии. Вновь возникший класс наёмных рабочих не имел в этой системе никакого политического влияния, потому что избирательное право было ограничено ничтожным меньшинством населения и контролировалось олигархией. Французская революция смертельно испугала эту олигархию, уже забывшую об открытом сопротивлении. Вначале на события во Франции реагировали, конечно, не простые труженики, большей частью неграмотные и не читавшие газет, а образованные люди. Радикалы, давно уже требовавшие реформ, были воодушевлены крушением французской монархии. Они стали устраивать клубы и собирать сторонников. Правительство решилось приостановить действие habeas corpus act[1] и ввело необычные ограничения для печати; самых смелых агитаторов сажали в тюрьму и даже ссылали в колонии. Эдмунд Берк, продажный публицист и сикофант аристократии, издал своё сочинение против Французской Революции, ставшее с тех пор библией всех разновидностей консерватизма. В этой книге[2] он защищал — со смехотворным лицемерием — толкование компромисса 1688 года, по которому англичане, призвав на престол новую ганноверскую династию, якобы *навсегда* отказались от дальнейшего права контролировать власть своих королей — за себя и за всех своих потомков. (Это говорил человек, незадолго до того бывший платным агентом штата Нью-Йорк!). Впрочем, в этой книге Берк впервые сформулировал подлинную философию консерватизма. Вся она сводится к тому, что люди привыкают к своему начальству, любят всё, к чему привыкли, а потому слишком быстрые и резкие перемены опасны. Поскольку, однако, некоторые системы власти вообще не содержат механизмов собственного изменения (как это было во Франции), или отдают их в руки корыстных клик (как это было в Англии), то при таком подходе, как можно подумать, вообще *ничего* невоз-

[1]Закон 1679 года, запрещавший произвольные аресты.
[2]“Размышления о Французской Революции“, 1790.

можно изменить. Очевидно, с политической стороны консерватизм Берка столь же бесплоден, как всякий консерватизм. Но, в отличие от средневекового консерватизма континентальных реакционеров, английская форма консерватизма содержит, в сущности, и готовность к компромиссу, при соблюдении установленных форм. Это последнее требование, равно как и рекомендация не торопиться с реформами, вряд ли полезно тем, кто уже участвует в революции, но заслуживает внимания тех, кто пытается её предотвратить.

Войны с наполеоновской Францией, тянувшиеся до 1815 года, тяжело отразились на жизни английских бедняков, зависевших от цен на товары первой необходимости. Между тем, всё это национальное бедствие никак не отразилось на самочувствии богатых, продолжавших как ни в чем ни бывало свои развлечения и мелкие расчёты (как об этом безмятежно повествует Джейн Остен). Обострение классового антагонизма вызвало появление первых, ещё небольших профессиональных союзов, тогда ещё не называвшихся этим выражением (trade unions), а известных под именем "комбинаций" (combinations). Государственная власть, всегда позволявшая фабрикантам сговариваться в своих интересах, быстро реагировала на это движение двумя законами, 1799 и 1800 года (Combination Laws), запрещавшими все рабочие организации. Эти законы поставили рабочих под строгое наблюдение и облегчили судебную расправу над всеми, кто отказывался подчиняться своим "естественным повелителям". Рабочие, лишённые всякой защиты, начали бунтовать. Их гнев направился прежде всего против машин, в которых они видели причину своих бедствий. В 1811–1816 годах в промышленных областях Англии развилось движение "луддитов", получившее своё имя от мифического покровителя рабочих, генерала (или короля) Лудда. Точно так же, сельскохозяйственные рабочие ломали машины, сваливая это на загадочного "Суинга". Сравнивая эти факты народного сознания с понятиями наших нынешних тружеников, можно прийти к выводу, что предрассудки невежественных людей не составляют особенного свойства России.

Между тем, радикалы из образованных классов пытались направить рабочих к более конструктивным целям — к политическому действию, что означало в Англии расширение избирательного права. Они устраивали массовые митинги под открытым небом, собиравшие толпы людей из соседних городов. Неурожай 1818 года усилил это движение, всё больше страшившее правящие классы и вызывавшее их беспорядочные репрессии. 16 августа 1819 года пятьдесят тысяч человек собралось в Манчестере на Поле св. Петра

(St. Peter's Fields), где должен был выступать известный "демагог" Генри Хант. Чиновники решили его арестовать. Солдаты, пытавшиеся прорваться через толпу, убили 11 человек и ранили сотни людей. Это событие получило ироническое название "Питерлоо", по созвучию с битвой при Ватерлоо, и вызвало негодование всей либеральной и гуманной Англии. Вот знаменитый сонет Шелли, написанный в том же году:

An old, mad, blind, despised, and dying king, —
Princes, the dregs of their dull race, who flow
Through public scorn, — mud from a muddy spring, —
Rulers who neither see, nor feel, nor know,

But leechlike to their fainting country cling,
Till they drop, blind in blood, without a blow, —
A people starved and stabbed in the untilled field, —
An army, which liberticide and prey.

Makes as a two-edged sword to all who wield, —
Golden and sanguine laws which tempt and slay;
Religion Christless, Godless, a book sealed;

A Senate, — Time's worst statute unrepealed, —
Are graves from which a glorious Phantom may
Burst, to illumine our tempestuous day[1].

(*England in 1819*)

В Англии складывалась революционная ситуация. Сами по себе работники физического труда в то время — и много позже — не были способны к политической деятельности, к созданию собственных политических организаций. Крестьянские восстания в Египте и в Китае приводили только к анархии, после чего восстанавливался

[1]Старый, безумный, слепой, презираемый и умирающий король, — / Принцы, отбросы своей тупой породы, обливаемые / Презрением общества — грязь из грязного источника, — / Правители, которые не видят, не чувствуют, не знают, / Но присосались, как пиявки, к своей падающей в обморок стране, / Пока они не отвалятся, ослеплённые кровью, без сопротивления, — / Народ, голодающий и протыкаемый штыками в нераспаханном поле, — / Армия, убивающая свободу и зверствующая, / Обоюдоострый меч в руках любой власти, — / Золотые и кровавые законы, которые соблазняют и убивают, / Религия без Христа, без Бога, запечатанная книга; / Сенат, — где не отменён худший закон всех времён, — / Всё это могилы, из которых может выйти величественный призрак, / Который осветит наше бурное время.

(*Англия в 1819 году*)

тот же общественный строй. Успешная революция предполагает взаимодействие, или хотя бы совпадение народного восстания с возмущением образованной оппозиции, способной организовать рабочее движение и, в случае успеха, новую власть. Таковы были голландская революция, американская революция и — увы, недолговечная — февральская революция в России. Если оппозиция оказывается слишком радикальной, революция заходит дальше объективно достижимых целей и терпит поражение: происходит реставрация, сохраняющая некоторые из завоеваний революции, или возникает, в виде реакции на неустойчивость режима, военная или политическая тирания, как это было дважды во Франции, и как это произошло (пока что один раз) в России. За этой бесплодной фазой следует медленное установление *нового* строя.

Англия избежала революции в девятнадцатом веке, потому что сохранившийся в ней со Средних Веков парламентский строй оказался способным к *мирной эволюции.* Архаическая избирательная система обеспечивала сохранение власти в руках феодальной аристократии, но давно уже не удовлетворяла формировавшийся "средний класс", состоявший из мелких и средних предпринимателей и торговцев, зажиточных фермеров, низшего духовенства и людей "свободных профессий" (учителей, врачей, инженеров, юристов и т. д.). Все эти люди, которых на континенте причисляли к "буржуазии", и для которых в английском языке до сих пор нет подходящего слова, чувствовали себя бесправными и требовали избирательной реформы. Под влиянием этой буржуазной оппозиции рабочие тоже начали требовать избирательного права, надеясь парламентским путём улучшить своё положение. Таким образом, в Англии сложилась сильная внепарламентская оппозиция, с которой пришлось уже считаться господствующей олигархии.

Другой формой внепарламентской деятельности были тайные рабочие союзы, возникавшие вопреки "Закону о комбинациях". Сначала рабочие устраивали небольшие организации — "союзы друзей", с номинальной целью взаимопомощи или страхования, но в действительности обходившие запреты и игравшие роль первых профсоюзов. В некоторых местах такие группы сливались. В Шотландии тайная ассоциация ткачей в Глазго уже в 1812 году смогла организовать общую стачку; в 1818 году ассоциация шотландских рудокопов провела всеобщую забастовку. Незаконный характер таких организаций создавал в них обстановку конспирации, с обетами верности и соблюдения тайны, и с актами мщения отступникам. Парламентское расследование пришло к выводу, что конспиративные при-

вычки могут привить рабочему движению насильственный характер и создать революционные настроения. Когда обнаружилось, что в рамках закона нельзя придумать никакого механизма, способного преодолеть упорное стремление рабочих к организации, парламент отменил (в 1824–25 годах) "закон о комбинациях". Уже в 1830 году была сделана первая попытка объединить рабочих в общенациональный союз. Несмотря на оставшиеся юридические помехи, профсоюзы постепенно превратились в необходимую "обратную связь", препятствующую произволу предпринимателей и обеспечивающую устойчивость социальной системы. Таким образом, Англию спасли от революции не столько либеральные реформаторы, сколько английские рабочие, без сознательного нажима которых олигархия не проявила бы спасительной для себя гибкости. Вспомним слова Платона, что каждый город содержит в себе два города — город богатых и город бедных! Такие же ощущения стали испытывать самые чуткие люди английского правящего класса. Консерватор Дизраэли высказал мысль, что крупная промышленность разделила англичан на две различные нации. И одновременно, независимо от него к тому же выводу пришёл социалист Энгельс.

И всё же, английский правящий класс пошёл на серьёзные уступки только после французской революции 1830 года, когда стало ясно, что общее недовольство политической системой соединило буржуазных либералов с нарастающим рабочим движением. Парламентская реформа 1832 года имела целью разделить эти две силы: она расширила избирательное право буржуазии, но не дала его рабочим. Это предотвратило назревшую революцию, но положило начало развитию нового общества — того, в котором мы живём.

4. Капитализм во Франции

Если Англия в девятнадцатом веке избежала революций, то Франция, напротив, стала классической страной революций; и если Англия была родиной капитализма, то родиной социализма надо, несомненно, признать Францию. История этих стран, как мы уже видели, сложилась различно, и это различие можно выразить коротко: во Франции было очень мало свободы. На это можно возразить, что французская мысль была самой свободной в мире, что именно французы доводили до логического завершения все новые идеи, где бы они ни родились. Но в Англии свобода личности была обеспечена законом habeas corpus — с конца семнадцатого века, и все попытки нарушить этот закон сталкивались с непобедимым сво-

бодолюбием англичан; и так же давно в Англии исчезла цензура. Во Франции же все вольности светского общения и нелегальных публикаций зависели от благоволения или снисходительности правящих лиц, и любое нарушение неписаных правил могло вызвать lettre de cachet — королевский приказ о заключении в Бастилию или другое укромное место, где человек мог быть попросту забыт.

Для менее важных случаев во Франции была централизованная полицейская власть, от которой могло защитить только заступничество важных господ. Свобода, которой мог пользоваться француз, была такой же *привилегией*, как и все другие: во Франции не было *прав*.

Несомненно, отсутствие свободы печати своеобразно влияло на французское мышление: оно становилось более абстрактным и “теоретическим”. Это и был тот “классический дух” (esprit classique), который Ипполит Тэн ставил в упрёк своим соотечественникам, принимая его за коренную черту французского интеллекта.

Выше были уже рассмотрены исторические причины сложившихся различий, и Французская Революция (революция с большой буквы, начавшаяся в 1789 году) лишь отчасти изменила такое положение вещей. В 1800 году граждане Франции были формально “равны перед законом”, но читатели французских романов знают, как мало могли пользоваться этим равенством Жан Вальжан или Эдмон Дантес. Крупная буржуазия отвоевала себе место в государстве, но городской и сельской бедноте, особенно наёмным рабочим, революция не дала ничего — не дала даже какого-либо облегчения их вечной нищеты. Как только “третье сословие” — буржуазия — получила влияние в Национальном Собрании, она позаботилась надеть узду на тех, кого стали называть “четвёртым сословием”, и которых Гюго впоследствии назвал misérables[1]: был издан закон 1791 года, запрещавший любые рабочие ассоциации. Это достижение революции сохранилось почти до конца девятнадцатого века: его не тронула ни одна из менявшихся властей — ни военная бюрократия Наполеона, ни реставрированная монархия Бурбонов, ни буржуазные монархии Луи-Филиппа и Наполеона III — пока восстановленной республике не пришлось его отменить.

В отличие от Англии, во Франции оставался бесправным также “средний класс”. Этот английский термин обычно не употребляется на континенте, а в русском языке чаще всего заменяется выражени-

[1]“Несчастные” или “убогие”— название романа Гюго, обычно переводимое словом “отверженные”.

ем "мелкая буржуазия". Вряд ли надо объяснять, что это выражение носит уничижительный характер, соединяя в себе "буржуазность" и "мелкость"; а в политическом жаргоне двадцатого века оно приобрело ещё худшие ассоциации[1]. Между тем, мы имеем в виду очень важный слой, включающий почти всё образованное и политически активное население страны.

Итак, французский средний класс оставался бесправным. "Хартия" 1814 года, навязанная Бурбонам победителями Франции — в особенности попечением царя Александра — дала избирательное право лишь 88000 человек, из общего населения в 30 миллионов, с особыми преимуществами для крупных землевладельцев и с избирательным цензом, устранявшим из политической жизни не только "четвёртое сословие", но и весь средний класс. Это была подделка под английский парламент, но и такой парламент давал нежелательные для короля результаты, потому что режимом реставрации была недовольна даже крупная буржуазия. Поэтому — в отличие от Англии, где избирательные процедуры оставались неизменными в течение столетий — король и его советники всё время меняли правила выборов, пытаясь получить покорную палату депутатов. Точно так же, "хартия" имитировала английскую свободу печати, но издание газет и журналов всячески затруднялось, и их наказывали крупными штрафами.

На практике власть во Франции всегда принадлежала монарху и придворной клике — кроме недолговечной республики 1848 года, и вплоть до окончательного установления республики после франко-прусской войны. Система *централизованной администрации*, как показал Токвиль в его исследовании о "старом режиме", была создана задолго до Революции: она была орудием абсолютной монархии. После периода анархии якобинцы снова устроили столь же централизованную власть, служившую новым хозяевам, и Наполеон её укрепил и упорядочил. Бурбоны не смогли вернуться к дореволюционным учреждениям, но сохранили административную систему Наполеона: деление Франции на "департаменты", всевластие префектов и строго регламентированную бюрократию. Все проявления местной инициативы подавлялись, и образовалось дрессированное общество с верхним слоем господ, который во всех деталях описал Бальзак, с недовольным и униженным средним классом и с загнанным в свои цеха и лачуги безгласным "четвёртым сословием",

[1]Достаточно напомнить, что в политической литературе (не только марксистской!) фашизм часто характеризуется как "мелкобуржуазное движение".

которое едва заметил Токвиль, а описал только неукротимый народолюбец Мишле. Вся эта система бюрократического управления сохранилась до 1871 года, а во многом дожила до наших дней. Но революция 1830 года передала власть крупной буржуазии, устранив остатки феодальных привилегий: во Франции с тех пор установилась бесстыдная, ничем не ограниченная *власть денег.*

Англичане, с их вековым опытом политических сделок, научились не только ограничивать злоупотребления властью, но и прикрывать сущность этой власти мантией конституционных процедур. Популярная на континенте версия английской системы обвиняет англичан в лицемерии (la Perfide Albion, "коварный Альбион"). Но строгое соблюдение юридических формальностей приучает людей уважать закон, а разделение властей доставляет системе обратные связи. Государственная власть по самой своей природе безобразна, а безобразные вещи лучше не выставлять напоказ. Тогда государственную власть можно уважать: в Англии это было общим правилом, а во Франции — нет.

После Революции французы перестали уважать свою власть, как таковую, и относили свои эмоции к отдельным лицам; но после Наполеона эти лица могли внушать только презрение. Легитимность власти исчезла, но привычка повиновения власти сохранялась, поскольку индивиду противостояли одни и те же бюрократические учреждения.

Французская система правления напоминала паровой котёл с наглухо запаянным предохранительным клапаном. Давление в этом котле в годы реставрации непрерывно повышалось. Во Франции, по английскому образцу, развился промышленный капитализм, и её нищий пролетариат стал промышленным пролетариатом, то есть наёмной рабочей силой крупных предприятий. В отличие от Англии, эта рабочая сила не была рассеяна по стране, а сосредоточена главным образом в Париже (другим промышленным центром был Лион).

Париж сыграл в истории 19 века исключительную роль: это был культурный центр всей Европы, поскольку французский язык был в то время языком общения всех культурных европейцев. В этом городе, наряду с армией рабочих, едва сводивших концы с концами и терявших при каждом кризисе свой скудный заработок, жило также подавляющее большинство образованных людей Франции, большей частью небогатых людей умственного труда. Централизация общественной жизни привела к тому, что в Париже находились правительственные учреждения, административный, финансовый и судебный аппарат Франции, банки, торговые фирмы, издательства

и типографии, Академия наук с её институтами и учебные заведения, в том числе знаменитые, единственные в мире “высшие школы”, созданные во время Революции. Таким образом, в Париже социальный протест рабочих соединялся с протестом работников умственного труда и значительной части среднего класса. Население Парижа было взрывчатой смесью, где вспыхивали революции: здесь работники физического труда, уже в некоторой части грамотные, могли найти образованных союзников и вождей.

Но главную часть населения Франции составляли крестьяне, всё ещё неграмотные и послушные священникам и властям. Они помнили комиссаров Конвента, принудительные гражданские доблести и повинности, инфляцию, а главное — они боялись за свою *собственность*. Физические и умственные работники Парижа, у которых не было собственности, имели на этот счёт странные идеи, внушавшие крестьянам понятные опасения. Расхождение между Парижем и провинцией было главной причиной неудачи всех французских революций.

Первой революцией девятнадцатого века была революция 1830 года, уничтожившая остатки феодальных привилегий и породившая власть крупной буржуазии. Эта революция ничего не дала труженикам, пролившим за неё кровь. История её очень характерна для Франции.

Бурбоны, вернувшиеся на престол по воле победителей, “ничего не забыли и ничему не научились”. Они тяготились “хартией” и пытались управлять страной, как будто продолжался старый режим. Засилье вернувшихся эмигрантов и опека вездесущих священников воспринимались как оскорбление нацией, пережившей всё это на целую эпоху. Крупная буржуазия, цеплявшаяся за хартию, пыталась сторговаться с королём, но в июле 1830 года король распустил только что избранную палату и решил, по-видимому, управлять без конституционных церемоний. Вожди буржуазии растерялись: они ничего не умели делать вне парламентских дебатов. И тут восстал Париж.

Это было стихийное, никем не подготовленное восстание, взрыв общего негодования всех здоровых сил нации. Начали его студенты Политехнической школы и рабочие-печатники. В ночь на 28 июля город покрылся баррикадами, на которых, рядом с пролетариями в лохмотьях, сражались молодые люди из состоятельных семей. Лозунгом образованной публики была “хартия”, но простые рабочие вряд ли понимали это слово: на площади Бастилии толпа женщин кричала: “Работы!”, “Хлеба!”. Королевские войска, под коман-

дой старого наполеоновского маршала Мармона, дрались на улицах, разрушая баррикады, которые вновь появлялись у них за спиной. Во главе восставших не видно было каких-либо известных вождей; в двенадцати округах города возникли революционные комитеты, возглавляемые бывшими наполеоновскими офицерами и "карбонариями" — заговорщиками, называвшими себя этим итальянским словом. Эти комитеты раздобыли оружие, и в Париже было много бывших солдат, умевших им пользоваться. Наконец, два полка перешли на сторону народа, и 30 июля старый хитрец Талейран, когда-то устроивший реставрацию, признал, что династия Бурбонов потеряла власть. Король Карл X бежал в Англию. Париж был в руках повстанцев. Провинция безмолвствовала.

Для этой революции — и для других, последовавших за ней — характерно отсутствие осознанной цели: у восставших не было знамени. Рабочая масса не имела политической организации. Она могла только предъявлять свои бедствия любой наличной власти. Средний класс был расколот: небольшое меньшинство его составляли республиканцы, стремившиеся вернуться к конституции 1793 года, к "свободе, равенству и братству", но не знавшие, что делать дальше в мало известной и глухо враждебной им стране. Бóльшая же часть парижского среднего класса, исчерпав свою революционную энергию, позволила действовать единственной организованной силе — крупной буржуазии, трусливой, но знавшей, чего хочет. Буржуазии нужен был, как всегда, "порядок", и так как не явился никакой подходящий диктатор, деятели распущенной палаты объявили королём Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, из боковой ветви тех же Бурбонов. Они полагали, что этот король будет представлять их интересы и устроит большинство населения, не желавшее опасных перемен. Луи-Филипп несколько расширил цензовое избирательное право, по-прежнему ограничив его богатыми людьми, и обязался уважать "хартию".

Мятежный Париж понимал, что его обманули, и новая власть его боялась. Чтобы держать народ в повиновении, к армии была прибавлена буржуазная "национальная гвардия". Очень скоро эти меры пригодились: в ноябре 1831 года восстали лионские ткачи. Это было первое рабочее восстание в Новой истории.

Лион был второй город Франции. Из 300000 жителей Лиона половину составляли ткачи, производившие главным образом шёлковые ткани, и их семьи. Производство было полукустарным: фабриканты, которых было около 800, давали работу посредникам, владельцам небольших мастерских с 4–5 станками. Эти посредники

присваивали половину платы, полученной от фабрикантов. Ткачи работали 18 часов в сутки и едва могли прокормить себя и свои семьи; наступивший кризис сбыта вызвал дальнейшее снижение заработков, угрожавшее существованию 30–40 тысяч рабочих семей. Нужда заставила рабочих осознать свои интересы: ещё за два года до революции они устроили "союзы взаимопомощи"; но и фабриканты образовали свой союз. Это была чисто экономическая классовая борьба, никак не связанная с политическими доктринами и не руководимая политиками. Волнение в городе удалось успокоить соглашением между комиссиями рабочих и фабрикантов, установившим минимум заработной платы. Но около 100 фабрикантов (из 800) не согласились с принятым тарифом и подали жалобу правительству, которое возглавлял финансист Казимир Перье. Правительство нашло, что соглашение незаконно, поскольку оно "посягает на добровольность трудовых контрактов", и палата (не исключая республиканцев!) поддержала это решение. Революция не научила этих господ делать уступки, они забыли полученные уроки. 21 ноября лионские ткачи восстали. Вооружившись и построив баррикады, они двинулись к центру города под чёрным знаменем, на котором рабочий Альбер начертал лозунг: "Vivre en travaillant ou mourir en combattant!" (Жить в труде или умереть в борьбе). До 3 декабря рабочие контролировали город и устроили в нем нечто вроде временного правительства, предотвращая нарушения порядка, но не знали, что делать дальше. Наконец, явился маршал Сульт с 20-тысячной армией и подавил восстание. Начались поиски зачинщиков и обычные репрессии, *единодушно* приветствуемые обеими палатами парламента: буржуазия презирала рабочих и не хотела поступиться своей выгодой.

Но уже в 1832 году восстали парижские республиканцы. Поводом послужили похороны их лидера, генерала Ламарка. 5 июня, во время траурного шествия, внезапно раздались звуки "марсельезы", и к ораторской трибуне подъехал всадник с *красным знаменем.* "Общество друзей народа" и другие революционные союзы начали подготовленное ими восстание. На следующий день войскам удалось его подавить, и последние повстанцы были расстреляны пушечными залпами возле церкви св. Мерри. Вскоре в Париже было основано "Общество прав человека и гражданина"; так как все политические ассоциации были уже запрещены, оно создало сеть тайных организаций, покрывшую всю Францию. В 1834 году республиканцы устроили второе восстание в Лионе, подавленное лишь на пятый день, а затем восстание в Париже. Солдаты расстреливали инсургентов на

улицах, врывались в дома и учиняли там расправы со случайными людьми. Все беззакония покрывала лицемерная власть, похвалявшаяся соблюдением “хартии”.

Но по существу Луи-Филипп присвоил себе почти единоличную власть и царствовал таким образом до 1848 года. Подавив восстания пролетариев и республиканцев, он чрезмерно полагался на свою армию и Национальную гвардию, упорно отказываясь расширить избирательное право. Это задевало уже интересы буржуазии, бо́льшая часть которой была лишена участия в политической жизни. Вновь создалась ситуация 1830 года: недовольство среднего класса соединилось с нищетой рабочих, и Париж опять превратился во взрывчатую смесь, готовую к революции. Об этом говорил в палате депутатов Токвиль 29 января 1848 года, предостерегая своих коллег: “разве вы не чувствуете ... дуновения революции? ... Грозовая туча уже на горизонте, она надвигается на вас”. Правительственное большинство хохотало, и даже оппозиция аплодировала только из партийной солидарности. Буржуазная оппозиция, действовавшая “в рамках закона”, попыталась прибегнуть к внепарламентской политической борьбе: чтобы обойти запрещение собраний, либералы стали устраивать “банкеты”, где произносили более или менее умеренные политические речи. 22 февраля должен был состояться такой банкет в Париже, на площади Мадлен. Правительство его запретило, и либералы не сопротивлялись. Но с утра на площади начала собираться толпа, с криками “да здравствует реформа!”. Затем в разных местах Парижа начали грабить оружейные магазины и, как обычно, строить баррикады. Попытались собрать Национальную гвардию, но, в отличие от тридцатых годов, даже это буржуазное воинство не хотело поддерживать правительство. На следующий день опять строили баррикады, и в разных частях Национальной гвардии стали требовать смены правительства и реформы; один из её отрядов явился перед палатой с такой петицией. Луи-Филипп, наконец, понял, что это революция, и решился сменить правительство, но было поздно. Повторилась ситуация 1830 года; после ряда кровавых столкновений королевское семейство бежало, и возникло “временное правительство”, которое должно было решить судьбу страны. Его провозгласил поэт Ламартин, и состав его зависел уже не от воли палаты депутатов, а от настроения парижской толпы: в него вошли лидеры республиканцев Ледрю-Роллен, Дюпон, Араго и другие, а также социалисты — Луи Блан и уже упомянутый рабочий Альбер. Прежде всего временное правительство провозгласило республику, в полной уверенности, что страна, как обычно, одобрит решение

Парижа. Ламартин отстоял, с опасностью для жизни, трёхцветное знамя против красного знамени, которого требовал народ. Это было 24 февраля 1848 года.

5. Пролетарская революция

Парижские рабочие внесли в эту революцию новый элемент, изменивший ход мировой истории: *они превратили политическую борьбу за власть в классовую борьбу за социальную справедливость.* Уже 25 февраля, по настоянию Луи Блана, временное правительство признало необычное и очевидным образом неосуществимое на практике гражданское право — "право на труд".

Как мы видели, классовая борьба была неизменной действующей силой истории: в основе этой силы был социальный инстинкт, протестовавший против сословных и групповых привилегий. Фаза классовой борьбы, которую проследил Токвиль, была борьбой европейской буржуазии против феодализма. Буржуазия — "третье сословие" — могла противопоставить средневековому сословному строю своё общественное сознание. В действительности культура Нового времени была главным образом делом буржуазии: почти все создатели этой культуры вышли из её рядов, или, поднявшись из низших слоев народа, вели буржуазный образ жизни. Об этом следует напомнить русскому читателю, поскольку в русском языке существительное "буржуа"[1] и прилагательное "буржуазный" приобрели резко отрицательное значение: в ходе нашей революции они связывались с "эксплуатацией человека человеком", то есть с представлением об асоциальных паразитах. Между тем, любое творчество предполагает некоторые материальные условия и, во всяком случае, свободное время. Люди, которых русские революционеры презирали за их "буржуазный образ жизни", часто были интеллигенты, занятые напряжённым умственным трудом.

Буржуазия выработала идеи, ставшие двигателем прогресса, и умела выразить эти идеи. Но низший класс общества, "четвёртое сословие", имел лишь смутное представление об устройстве общества и о своём положении. Он ощущал "несправедливость" общественного строя и время от времени, когда его доводили до крайности, бунтовал против него. Но этот класс состоял из людей физического труда, а физический труд был, как правило, монотонным и отупляющим

[1] Вместо французского слова "буржуа" русские коммунисты часто употребляли искажённое слово "буржуй", по-видимому, народного происхождения, впервые встретившееся в романе Тургенева "Новь"; это слово ввёл в литературу в одном из своих очерков Глеб Успенский.

занятием, едва оставлявшим время для сна. Этот труд не давал людям возможности думать, и во всяком случае — возможности получить образование, без чего невозможно упорядоченное мышление. Прискорбный факт, обычно упускаемый из виду "левыми" политиками, состоит в том, что "рабочий класс", в традиционном смысле этого выражения, *не мыслил.* Мыслит ли он в наше время — и что он собой представляет в наше время — мы рассмотрим дальше.

Элементы самосознания, вносимые в низший класс общества извне и проявлявшиеся в крестьянских восстаниях и мятежах, происходили обычно из религии. Их приносили в народную массу беглые священники или еретики буржуазного происхождения, и они сводились к требованию "первоначального", евангельского христианства, понимаемого как равенство всех перед богом. Конечно, предпосылкой такого выражения социального инстинкта была глубокая религиозность Средних веков. В девятнадцатом веке этот инстинкт требовал уже другого культурного выражения, которое принёс *социализм.*

Местом, где классовая борьба должна была раньше всего принять это новое выражение, был Париж: здесь были те, кто мог его принести, и те, кто мог его принять. В этом городе, как нигде в Европе, были сосредоточены сотни тысяч рабочих, уже в значительной части грамотных и занятых в сложных механических производствах; и здесь же были сосредоточены тысячи образованных людей, сознававших все безобразия общественного строя и стремившихся к лучшему устройству жизни. Подобно тому, как все взрывчатые вещества состоят из смеси разных частей, в отдельности безопасных, социальная взрывчатая смесь, сложившаяся в Париже, была идеальным материалом для революций. Новым явлением в революции 1848 года было *сознательное* участие в ней рабочей массы. Токвиль, величайший историк Нового времени, недооценил "четвёртое сословие", и только в конце жизни увидел, как оно вышло на историческую арену. Вот его впечатления от первой фазы революции — от улиц Парижа 25 февраля:

"Два явления поразили меня больше всего. Во-первых, не скажу преимущественно, а всецело и исключительно народный характер совершившейся революции, всемогущество, которое она вручила народу в собственном смысле, то есть классам, занятым ручным трудом, по отношению ко всем остальным. Во вторых, слабое развитие ненависти, которое проявляла в этот первый момент масса низшего народа (le bas peuple), внезапно ставшая единственным владыкой Парижа. Хотя рабочий класс часто играл первенствующую роль в

событиях первой революции, он не был никогда ни на практике, ни по праву руководящим и единственным владыкой государства; в составе конвента не было, быть может, ни одного человека из народа; он состоял из буржуа и интеллигентов (lettrés). Война между горой и жирондой велась с той и другой стороны под руководством членов буржуазии, и победа первой никогда не низводила власти исключительно в руки народа. Июльская революция была совершена народом, но буржуазия вырвала её, руководила ею и воспользовалась её плодами. Февральская революция, наоборот, совершилась, казалось, всецело помимо (en dehors) буржуазии и против неё. Во время этого великого столкновения две части, из которых во Франции, главным образом, слагался социальный организм, в некотором роде окончательно разделились, и народ, занявший самостоятельное положение, один сохранял за собой власть. Это явление представляло совершеннейшую новость в наших анналах; аналогичные революции, совершались, правда, в других странах и в другое время, ибо даже история наших дней, какой бы новой и неожиданной она ни казалась, принадлежит по существу к той же истории человечества, и то, что мы называем новыми фактами, в большинстве случаев представляет лишь факты забытые. Флоренция в особенности представляла в конце средних веков в малых размерах зрелище, похожее на то, что совершается у нас; преемником знати сделалась сначала буржуазия, затем и она, в свою очередь, была насильственно лишена власти, и можно было видеть гонфалоньера, идущего босыми ногами во главе народа и вводящего таким образом республику. Но во Флоренции эта революция была вызвана временными и специальными причинами, тогда как здесь она была вызвана весьма постоянными и настолько общими причинами, что, как можно было ожидать, взволновав Францию, они приведут в движение всю Европу. На этот раз дело заключалось не в том, чтобы дать победу партии; стремились к тому, чтобы основать социальную науку, философию, я почти мог бы сказать религию, способную быть усвоенной и принятой к руководству всеми людьми. В течение этого дня я не заметил в Париже ни одного из старых агентов государственной власти, ни одного солдата, ни одного жандарма, ни одного полицейского; даже национальная гвардия исчезла. Один только народ носил оружие, охранял общественные здания, следил, приказывал, наказывал; было непривычно и страшно видеть, что весь этот громадный город, полный стольких богатств, или, вернее, вся эта великая нация находится во власти неимущих (ceux qui ne

possédaient rien)[1], ибо вследствие централизации тот, кто царит в Париже, властвует над Францией. Вот почему страх всех остальных классов был глубок; я не думаю, чтобы он был столь же велик в какую-либо иную эпоху революции, и я полагаю, что его можно было бы сравнить лишь с тем страхом, который должны были испытывать культурные центры римского мира, когда они внезапно оказывались во власти вандалов и готов".

Описав мирное настроение народа после февральской революции, Токвиль предчувствует, что "придёт какая-нибудь власть, полиция вернётся на своё место, а судья в своё кресло" — как это бывало прежде. Но вскоре он замечает, что происходит нечто новое и неожиданное:

"Впоследствии именно социалистические теории, то, что я сам назвал раньше философией февральской революции, зажгли истинные страсти, обострили чувство зависти и возбудили, в конце концов, войну между классами. Если действия народа вначале были менее беспорядочны, чем можно было опасаться, то на другой же день после революции в идеях народа в самом деле проявилось чрезвычайное возбуждение и неслыханный беспорядок.

Начиная с 25 февраля, тысячи странных систем возникли с шумной внезапностью в умах новаторов и распространились среди сбитых с толку умов толпы. Кроме королевской власти и парламента всё остальное осталось ещё нетронутым, а между тем казалось, что революционные события повергли в прах самое общество, что объявлен конкурс на изобретение новой формы здания, которое предполагалось возвести вместо него; каждый предлагал свой план; один излагал его в газетах, другой — в плакатах, скоро покрывших стены; ещё один — устно на открытом воздухе. Один обещал уничтожить неравенство имуществ, другой — неравенство умственного развития, третий собирался устранить самое древнее из неравенств, неравенство мужчины и женщины; указывались специфические средства против бедности и предлагались средства против зла, мучающего человечество с начала его существования — против труда.

Эти теории сильно отличались друг от друга, были часто противоположны, а иногда и враждебны друг другу. Но все они объединялись тем, что касались явлений, более фундаментальных, чем система правления, и стремились приняться за общество, на котором зиждется эта система; они присвоили себе общее название социализма.

---

[1] Буквально: "тех, у кого не было ничего".

Социализм останется основной характерной чертой и самым грозным воспоминанием о февральской революции. Если взглянуть на дело с расстояния, то республика окажется здесь не целью, а средством. ... Первоначально народ хотел улучшить своё положение путём изменения всех политических учреждений, но после каждого изменения он находил, что его судьба не улучшалась, или улучшалась с медленностью, невыносимой для его стремительных желаний. Рано или поздно он неизбежно должен был прийти к открытию, что не организация государства удерживает его в его положении, а неизменные законы, создающие самое общество; естественно, он должен был спросить себя, не имеет ли он права изменить и эти законы, как он раньше изменил другие. Что же касается в частности собственности, являющейся как бы фундаментом нашего социального строя, то разве не было неизбежно, я не хочу сказать, её уничтожение, но по крайней мере возникновение мысли об её уничтожении в умах тех, у кого её не было, — после того как были разрушены привилегии, покрывавшие и, если можно так выразиться, скрывавшие привилегию собственности, и после того как собственность осталась главным препятствием к установлению равенства между людьми?

Это естественное беспокойство народного ума, это неизбежное возбуждение его вожделений и его мыслей, эти потребности, эти инстинкты толпы образовали в некотором роде ткань, на которой новаторы вышили столько безобразных и грубо-комических фигур. Труды их можно находить смешными, но почва, на которой они работали, представляет самый серьёзный предмет внимания для философов и государственных людей".

"Естественное беспокойство" народного ума создавалось, конечно, не только пропагандой "новаторов" — иначе оно не было бы естественным. Токвиль понимает, что контраст между нищетой бедных и выставляемой напоказ роскошью богатых достигает в Париже остроты, вызывающей не только "вожделения", но и "мысли"; он догадывается не только о потребностях, но даже об *инстинктах* толпы, не дающих ей примириться с таким положением. Конечно, идеи первых социалистов были столь же причудливы, как планы первых паровозов, или как летательные аппараты Дедала и Икара. Вопрос о собственности — проклятый вопрос эпохи — не даёт покоя Токвилю. Он не может отделаться от него насмешками, с которых Тэн начинает свою историю. Собственность уже много раз меняла свои формы, и форма, в которой застал её 1848 год, не вызывает у Токвиля доверия. Чувства собственника борются в нем с проница-

тельностью историка, и он выражает удивительные сомнения:

“Будет ли социализм навсегда покрыт тем презрением, которым были столь справедливо покрыты социалисты 1848 года? Я ставлю этот вопрос, но не отвечаю на него. Я не сомневаюсь, что с течением времени законы нашего современного общества сильно изменятся; они уже подвергались изменениям во многих существенных чертах, но случится ли когда-нибудь, что они будут уничтожены и заменены другими? Это мне кажется неосуществимым. Я не иду дальше этого: чем больше я изучаю прежнее состояние человечества и чем детальнее я знакомлюсь с современным нам миром, чем больше я принимаю во внимание отличающее его поразительное разнообразие не только законов, но и принципов, на которых основаны законы, а также разнообразные формы, которые принимало и, что бы там ни говорили, посейчас принимает право собственности на земле, тем более я склонен думать, что *то, что называют необходимыми институтами, часто есть не что иное как институты, к которым привыкли, и что в деле социальной организации область возможного значительно более обширна, чем воображают люди, живущие в каждом обществе*” [1].

Париж был в самом деле охвачен невиданным возбуждением: люди впервые могли свободно говорить и объединяться с единомышленниками. Возникли десятки газет, сотни клубов. Эту атмосферу веры и надежды прекрасно передаёт историк Жеффруа[2]:

“То, что характеризует 1848 год, это окончательное выступление народа на мировую сцену. Анонимный хор впервые подаёт отчётливый голос. Толпа выступает из мрака истории, заявляет, что она сознаёт свою жалкую судьбу, высказывает свою грёзу о лучшем мире. Хотите вы увидеть его, этот 1848 год, лучше, чем в грудах документов и в диссертациях историков? Наблюдайте его на лице какого-нибудь современного ему человека, которого вам удалось встретить в вашей жизни. Вспомните его лицо, утомлённое ежедневным трудом и заботой о заработке, помятое годами. Изучите это лицо рабочего, не знавшего с детства ничего, кроме труда, вслушайтесь в его голос, постарайтесь проникнуть в смысл его слов. В его лице глаза остались глазами наивного ребёнка. За морщинистыми веками вы увидите светлый луч, простодушную прозрачность. Голос его все ещё полон доверчивости. Произнесите дату: 1848 год, роковое слово «сорок восемь», и, несмотря на прошедшие

---

[1] Курсив мой.
[2] В своей биографии Бланки.

годы, на все накопившиеся разочарования, глаза его засияют, точно отражая зарю, речь старика станет живой и радостной, как будто предвещая некое освобождение. Он знает, что то был год его надежды, момент, когда его судьба и судьба его родных должна была измениться, и он благодарен судьбе за это неясное обещание, на мгновение проникшее в его жизнь. Назовите ему имена деятелей того времени, он их повторит и произнесёт своё суждение о них без пояснений и без критики, отзываясь о всех с одинаковой доброжелательностью, говоря об этих людях как о чудесной фаланге людей, отдавшейся общему делу. Он их соединяет всех, даже самых противоположных, даже тех, кто приказывал в него стрелять. А, Ламартин, поэт! А, Виктор Гюго! А, Ледрю-Роллен, трибун! И Прудон! И Барбес! И Бланки! И Луи Блан, маленький Луи Блан! ... Он любит их всех, он апостол их противоречивых слов, он создаёт ... согласие между людьми и между идеями, он формулирует для собственного употребления наивную философию истории — быть может, истинную — где все усилия направлены к общей цели. <...>

Повсюду проявлялось радостное стремление образовывать бюро, избирать президентов, квесторов, приставов, исполнительные комитеты, вотировать порядки дня. Одна и та же страсть к законодательству охватила клубы женщин, школьных учителей, прислуги, эмигрантов, художников и писателей. В каждом квартале, повсюду, где можно было поставить скамьи для слушателей, трибуну для ораторов, возникал клуб, заседало народное собрание, происходили манифестации. Клуб аббатства... препровождает временному правительству один франк 25 сантимов, чтобы помочь материальным нуждам республики. В клубе «революционного бунта» (émeute révolutionnaire), где председательствует соучастник Бланки по заговору 1836 года Паланшон, на головах клубистов красуются красные колпаки, и заседания заканчиваются припевом:

Chapeau bas devant la casquette,
À genoux devant l'ouvrier![1]

В клубе Франклина... головные уборы, галстуки, шарфы точно так же красного цвета, и зал украшен пиками, покрытыми фригийскими колпаками. В клубе «людей без страха» господствуют мистики. Общество прав человека и гражданина... управляется центральным комитетом, в состав которого входят Барбес, Юбе (Huber), Лебон, Виллен и другие, а примыкающие к нему обще-

[1] Шляпы долой перед шапкой (рабочего), / На колени перед рабочим.

ства находятся под управлением окружных комиссаров и начальников секций. Здесь, в этом обществе прав человека, совершается своего рода публичное возрождение прежнего тайного общества, восстанавливается регламент, обязывающий каждого члена иметь ружье, патроны и медаль, свидетельствующую о принадлежности к обществу. Здесь провозглашаются также удивительные предложения. Гражданин Гара требует, чтобы дома богачей, приговорённых (событиями) к смерти, были окружены санитарным кордоном. Гражданин Юбе, верёвочник, жалуется, что бывший префект полиции Делессер мучит его по ночам при помощи злых духов. Гражданин Дювивье радикально разрешает все вопросы, требуя истребить всех людей старше тридцати лет, развращённых старыми нравами и неспособных создать новый порядок. Очень скоро серьёзной задачей общества становится противодействие влиянию Бланки. . . . Это своего рода ярмарочный праздник идей, бесконечно шумный, полный какофонии, праздник, где властвует толпа. Пьер Леру объясняет своё «круговращение». Консидеран рекомендует фаланстеры. Кабэ обещает икарийский рай. Прудон, критик революции, полный отчаяния из-за слишком внезапного приближения социальной революции, страшный, прозорливый и лишённый веры в успех, пробегает поле утопий и покрывает его развалинами. Бланки предвидит необходимость и опасность активного выступления".

Лейтмотив этого хаотического движения — конечно, *социализм*. Обратите внимание на термины, усвоенные впоследствии русской революцией: бюро, комитет, центральный комитет, исполнительный комитет, комиссары. Буржуазия, чувствуя опасность, пытается защитить свою собственность и обосновать своё право на эту "последнюю привилегию". Передо мной небольшая книжка Адольфа Тьера "De la propriété" ("О собственности"), написанная очень популярно. Она стоит всего один франк и издана в 1848 году при поддержке "Центрального Комитета Ассоциации защиты национального труда". (Как видите, буржуа тоже защищали труд, и у них тоже завёлся центральный комитет!). Части этой книжки называются "О праве собственности", "О коммунизме", "О социализме" и "О налогах". Тьер был плодовитый, хотя и посредственный историк, сделавший большую политическую карьеру: при монархии он был премьер-министром, а при республике — президентом, а также "палачом Парижской Коммуны". В его книжке есть уже все аргументы консерваторов, не выдумавших с тех пор ничего нового. Сочинение Тьера открывается "Циркуляром" указанной Ассоциации от 15 ноября 1848 года:

“*Ассоциация защиты национального труда*, верная своему назначению, без устали боролась с коммунистическими и социалистическими учениями, проявившимися в особенности после февральской революции и подвергающими новой опасности защищаемые нами интересы. Таким образом, в газете нашей Ассоциации мы стремимся опровергнуть эти жалкие теории, которые, под предлогом организации труда, угрожают полностью дезорганизовать предприятия и разрушить всё общество, вынудив его опуститься до варварского состояния... Работа г-на Тьера устраняет все парадоксы, с помощью которых пытаются извратить здравый смысл массы населения: нас особенно интересует приводимое им неопровержимое доказательство того, что производительность труда основывается на праве каждого вполне и свободно распоряжаться той собственностью, какую он сумел приобрести. Отсюда и происходит та неусыпная бдительность, то страстное, благотворное усердие и та промышленная предприимчивость, которые создали столько чудес!”.

Тьер описывает преимущества свободного рынка, которые давно уже объяснил Адам Смит. Правда, Адам Смит имел в виду свободу от вмешательства государства, то есть от вмешательства “сверху”. Само право собственности тогда ещё не ставилось под сомнение, и не было вмешательства “снизу”. Тьеру оставалось прибавить, что без собственности вообще не может быть рынка, и вообще неизвестно, как без неё обойтись. Социалисты тоже этого не знали и предлагали, как мы увидим, фантастические проекты. С точки зрения буржуазии, они хотели заменить действующую организацию труда такой, которая заведомо не будет действовать.

Впрочем, теоретические выводы Тьера проявились уже после подавления июньского восстания. Буржуазия сумела уже “защитить свои интересы” на улицах Парижа, натравив всю Францию на восставших рабочих.

Призывы к вооружённой борьбе исходили из клубов и в особенности из обществ, унаследовавших привычки, а отчасти и состав тайных обществ, действововавших во время монархии. Уже 26 марта составился центральный комитет клубов, но единства достигнуть не удалось, особенно из-за взаимной вражды двух главных заговорщиков, Барбеса и Бланки.

Социалисты, напротив, были настроены мирно, во всяком случае вначале. Их лидер Луи Блан, вошедший во временное правительство, добивался от него учреждения “министерства прогресса” для подготовки преобразования общества на новых началах, но так и не добился. Вместо этого ему поручили возглавить комиссию для изу-

чения положения рабочих, с резиденцией в Люксембургском дворце. Этот дворец сразу же превратился в место рабочих собраний, и там был тоже создан центральный комитет. Люксембургские делегаты составили нечто вроде параллельной власти, впрочем, не столь воинственной, как наш Петроградский Совет. 16 апреля они приняли резолюцию, ещё лояльную по отношению к временному правительству:

"Трудящиеся департамента Сены временному правительству:

Граждане!

Реакция поднимает голову; клевета, это излюбленное оружие людей без принципов и чести, изливает повсюду свой заразительный яд на истинных друзей народа. Нам, людям революции, людям действия и преданности, надлежит заявить временному правительству, что народ хочет демократическую республику; что народ хочет отмену эксплуатации человека человеком; что народ хочет организацию труда путём ассоциации.

Да здравствует республика! Да здравствует временное правительство!".

Идеи, которые социалисты внушали рабочим в Люксембургском дворце, были изложены в 1839 году Луи Бланом в его знаменитой книге "Организация труда". Луи Блан полагал, что демократическая республика сможет ввести справедливый, выгодный для всех экономический строй, спроектированный чисто умозрительным путём — без учёта существующих общественных условий и исторически сложившихся привычек. Поскольку республика будет действовать через всенародно избранный парламент, выражающий общую волю нации, то против этих преобразований — как был уверен Луи Блан — никто не будет возражать. Почти неправдоподобная наивность этих представлений имеет понятные исторические корни: они происходят, конечно, от Руссо, выдумавшего "общую волю" нации, и от якобинцев, пытавшихся её осуществлять. Эта полуинтеллигентская идея легла в основу *идеологии*, доступной неискушённым умам рабочих. Представление о том, что власть, таинственным образом воплощающая "общую волю", может быстро и успешно переделать общество своими распоряжениями, отразилось в знаменитой строке "Интернационала", исчезнувшей в русском переводе:

"Décrétons le salut commun!" —

"Декретируем общественное спасение". Большевики были проникнуты этим представлением о всемогуществе своей власти и сразу же начали издавать *декреты.*

Буржуазное большинство временного правительства пыталось противодействовать этой пропаганде устройством “общественных работ”. Революция 1848 года сопровождалась экономическим спадом, особенно чувствительным в Париже, где анархия и неуверенность в завтрашнем дне отнюдь не способствовали сбыту промышленных изделий. По примеру прежних правительств, восходившему ещё к “Старому режиму”, были устроены так называемые “Национальные мастерские”, доставлявшие безработным небольшой заработок за какую-нибудь искусственно спланированную деятельность — чаще всего земляные работы. Вопреки распространённому мнению, это вовсе не был социалистический эксперимент; напротив, министр общественных работ Мари признавал, что целью “Национальных мастерских” было успокоить рабочих, и в то же время скомпрометировать в глазах публики идею государственного управления промышленностью. Работы в этих “мастерских” не соответствовали специальностям рабочих; их организовали в отряды на военный лад и пытались привить им особое настроение, противопоставив их основной массе рабочих. Как мы увидим, из этого ничего не вышло.

Париж, как подсчитали в то время, составлял по населению 1/83 часть Франции. Каково бы ни было значение этого города, принцип всеобщего и равного избирательного права, принятый всеми республиканцами как нерушимая догма, не сулил ничего хорошего парижским радикалам. Их воображение питалось воспоминаниями о Великой Революции; они представляли себе конвент, железной рукой управляющий Францией, очищающий себя от “умеренных”, посылающий на гильотину “врагов народа”. Но история не повторяется, и даже Париж был расколот: буржуазная Национальная гвардия не хотела никаких экспериментов с собственностью. О крестьянах же радикалы и вовсе не думали; один из них выразил презрение к этой несознательной группе избирателей, изобразив их как “семь миллионов лошадей”. Но вот что говорит о них Токвиль, избранный депутатом от крестьянского департамента Ламанш:

“Вначале революция осталась здесь незамеченной. Высшие классы немедленно подчинились этому удару, низшие едва обратили на неё внимание. Тот факт, что земледельческое население испытывает политические впечатления позднее и хранит их упорнее, чем другие классы, представляется обычным; оно поднимается последним и последним успокаивается. Когда человек, стороживший мою собственность, полукрестьянин, давал мне отчёт в том, что творилось здесь непосредственно после 24 февраля, он писал мне: люди говорят, что если Луи-Филиппа прогнали, то это хорошо, и он это

заслужил. Вот в чем была вся мораль этой драмы с их точки зрения. Но когда они услышали о царившем в Париже беспорядке, о предполагавшихся новых налогах[1], о грозившей общей войне[2], когда они увидели, что торговля замирает, а деньги как будто исчезают под землёй, а *в особенности когда они узнали, что нападают на принцип частной собственности*[3], тогда они скоро заметили, что дело тут не в одном Луи-Филиппе. Страх, который распространился вначале только в верхних слоях общества, спустился тогда в самую глубь народной массы, и *всеобщий ужас (terreur) охватил страну.* Именно в этом состоянии я и застал её, когда прибыл туда в середине марта. Я был тотчас поражён удивившим и привлёкшим моё внимание зрелищем. Среди городских рабочих царила, правда, некоторая демагогическая агитация, но *в деревнях все собственники, каково бы ни было их происхождение, их прошлое, их воспитание, их собственность, сблизились друг с другом и представляли, казалось, лишь один класс. ...* В этот первый момент я не замечал вдобавок никаких следов того, что должно называться в собственном смысле политическими взглядами. Можно было подумать, что республиканский строй стал внезапно не только лучшим, но единственным, который можно было себе представить применительно к Франции; династические надежды и разочарования скрывались так глубоко в сердцах, что их не оставалось и следа. Республика уважала личные и имущественные права, и её признавали законно существующей. Что меня поразило больше всего, это было проявление *всеобщей ненависти, смешанной со всеобщим страхом, которую впервые возбуждал к себе Париж*".

Выборы прошли спокойно. Подсчёт голосов окончился 28 апреля. Это были первые всеобщие и равные выборы за 56 лет, и все сторонники республики и демократии, казалось, должны были признать их бесспорные результаты. Нация высказалась в пользу умеренных и "правых" кандидатов, а ультрарадикалы и "коммунисты" полностью провалились. Умеренное большинство временного правительства было избрано наибольшим числом голосов. Из 900 членов Национального Собрания больше 700 считались республиканцами, но было около 200 монархистов. Подавляющее большин-

---

[1]Был введён общий налог в 45 сантимов с человека, и тяжёлое финансовое положение могло привести к новым налогам.

[2]Парижские радикалы призывали временное правительство вмешаться в дела иностранных государств, особенно с целью освобождения Польши и Италии, лишённых национального единства и угнетённых великими державами.

[3]Здесь и дальше в этой цитате курсивы мои.

ство депутатов были новые, неопытные в политике люди; все имевшие опыт парламентской жизни были умеренные или правые, и у них стали спрашивать, что надо делать. С точки зрения радикалов всенародное голосование оказалось катастрофой. Вдобавок, они сделали всё возможное, чтобы запугать депутатов и убедить их в том, что республиканские свободы несовместимы с порядком. На трезвых современников их поведение производило впечатление безумия.

“Были более злобные революционеры, чем революционеры 1848 года, — говорит Токвиль, — но я не думаю, чтобы когда-нибудь существовали более глупые; они не сумели ни воспользоваться всеобщим избирательным правом, ни обойтись без него. Если бы они произвели выборы непосредственно после 24 февраля, когда высшие классы были ошеломлены нанесённым им ударом, а народ был скорее удивлён, чем недоволен, они, быть может, получили бы соответствующее их желаниям собрание; если бы они смело захватили диктатуру, они могли бы удержать её в течение некоторого времени в своих руках. Но они отдали себя в руки народа и в то же время делали всё, чтобы оттолкнуть его от себя; они угрожали ему, отдаваясь в его руки; они пугали его смелостью своих проектов и страстностью своего языка и вызывали его на сопротивление нерешительностью своих действий; они присваивали себе роль его учителей и в то же время ставили себя в зависимость от него. Вместо того, чтобы открыть свои ряды после победы, они старательно затрудняли доступ в них; одним словом, они задались, казалось, целью разрешить неразрешимую задачу, а именно, управлять при помощи большинства, но против его наклонностей. Подчиняясь, не понимая их, примерам прошлого, они глупо воображали, что достаточно привлечь толпу к политической жизни, чтобы привлечь её к себе, и что достаточно дать права, не давая выгод, чтобы заставить любить республику; они забыли, что, делая крестьян избирателями, их предшественники упразднили десятину, отменили повинности, уничтожили остальные сеньориальные привилегии и разделили имущество старой знати между прежними крепостными, тогда как они сами не могли сделать ничего подобного. Восстанавливая всеобщее голосование, они думали, что призывают народ на помощь революции, тогда как они дали ему лишь оружие против неё. А между тем я далёк от мысли, что нельзя было вызвать революционные страсти даже в деревнях. Во Франции все земледельцы обладают какой-нибудь частицей земли, и большинство из них обременено долгами, а потому надо было напасть не на собственников, а на кредиторов; надо бы-

ло обещать не упразднение собственности, а упразднение долговых обязательств. <...>

Вид Парижа, когда я вернулся туда, — продолжает Токвиль, — уже не был смешным, а поистине страшным и мрачным. Я встретил в этом городе сто тысяч вооружённых рабочих, организованных, безработных, умиравших от голода, умы которых были исполнены пустых теорий и химерических надежд. Я увидел здесь общество, расколовшееся на две части: на неимущих, объединённых общими вожделениями, и имущих, объединённых общим страхом. Между этими двумя большими классами не было больше ни связи, ни симпатий; повсюду господствовала идея неизбежной и близкой борьбы".

Конечно, здесь Токвиль увлекается обличительной декламацией и упускает из виду, что если бы даже революционеры были едины в своих намерениях, они были заложниками своих голодных, безработных и вооружённых сторонников, — даже если они и понимали безнадёжность восстания. С другой стороны, они были пленниками своей республиканской идеологии — пленниками той самой "общей воли", которая должна была их сокрушить. Сам Токвиль явно не стеснялся бы прибегнуть к другим методам, будь он на месте своих противников. Может быть, то же сделал бы Бланки, в котором многие чувствовали возможного диктатора. Но у Бланки не было партии большевиков.

Поражение радикальных кандидатов сразу же вызвало рабочие мятежи в Руане и Лиможе, подавленные силой оружия. 4 мая одна из радикальных газет пишет: "Гражданская война уже не служит предметом предвидения. Она уже факт. Её уже не боятся, как самого страшного из всех зол; она признается, как необходимость. ...повсюду вы услышите только одно слово, полное смертельной угрозы: *надо с этим покончить*! Буржуа решил покончить с пролетарием, который, в свою очередь, решил покончить с буржуа; рабочий хочет покончить с капиталистом, наёмный работник — с предпринимателем, департаменты — с Парижем, крестьяне — с рабочими... Всеобщее голосование обмануло ожидания народа". Если это правильное изображение настроений в стране, то *все* стороны конфликта вели себя достаточно глупо, как и полагается вести себя в истории.

15 мая, несмотря на все меры правительства, толпы рабочих врываются в Национальное Собрание, сгоняют с места председателя и начинают беспорядочный митинг. Часть депутатов разбегается, трибуна для публики рушится, — возникает ситуация, напоминающая сцены в Конвенте. Председатель центрального комитета

клубов Юбе, взобравшись на места бюро, водружает там знамя с красным колпаком и кричит сверху громовым голосом: “От имени народа, обманутого своими представителями, объявляю Национальное Собрание распущенным”. Но вскоре Ламартин и Ледрю-Роллен приводят Национальную гвардию, которая разгоняет толпу, на этот раз всё ещё без пролития крови. Не встречая сопротивления, власти арестуют Барбеса, Бланки, Альбера и других лидеров, оставив рабочих без руководства. Теперь Собрание сознаёт свою силу и решается применить её к самому жгучему вопросу — к Национальным мастерским.

Больше ста тысяч рабочих, занятых в этих “мастерских”, находятся, в сущности, на иждивении государства, истощая казну. Работы не хватает, её приходится придумывать, а тем, кто всё же остаётся без работы, приходится платить пособие. Национальное Собрание полагает, что после ареста вождей рабочие уже не опасны. Принимаются крутые меры, чтобы уменьшить число “опекаемых”, а заодно и удалить из Парижа побольше этих людей. Молодым предлагается вступить в армию, других направляют на работы в провинцию. Поскольку положение и настроение рабочих достаточно известно, это либо глупость, либо сознательная провокация. Мне кажется, что первое объяснение более вероятно. 22 июня Париж восстаёт.

“Это страшное восстание, — говорит Токвиль, — не было делом некоторого числа заговорщиков, оно было восстанием целой части населения против другой. Женщины принимали в нем такое же участие, как мужчины. Восставшие сражались без определённого лозунга, без вождей, без знамён, и, тем не менее, они сражались с таким поразительным единодушием и таким знанием военного дела, что им поражались даже старые офицеры”. И дальше Токвиль объясняет, что́ дало им силу сражаться: “Их уверили в том, что средства богатых представляют в некотором роде продукт кражи, совершенной у них самих”.

Национальное Собрание вручает диктаторскую власть военному министру генералу Кавеньяку, который методически и безжалостно подавляет восстание. Четыре дня — с 23 по 26 июня — рабочие дерутся с регулярной армией и с озверевшими буржуа из Национальной гвардии.

Два философа были свидетелями этой трагедии. Один из них, Токвиль, убеждает национальных гвардейцев проявлять умеренность: “Я сделал всё возможное, чтобы успокоить этих взбесившихся баранов. ... Я прибавил, что они не должны расстреливать пленных, но что следует расстрелять немедленно всякого,

кто сделает попытку защищаться. Когда я покинул моих собеседников, они несколько успокоились, а когда я вспоминал свой образ действий, продолжая свой путь, я не мог не удивиться характеру аргументов, к которым я прибег, и к быстроте, с которой я сам привык за эти два дня к тем идеям неумолимого разрушения, которые были совершенно чужды моей натуре". Описание взбесившихся лавочников, предшествующее этому отрывку, не оставляет сомнения, что с ними произошло точно то же.

Другой философ был Александр Герцен. Он вспоминает об этом в "Письмах с того берега":

"Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шёл я берегом Сены в Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шёл дождик. Я остановился на Pont Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым ещё раз обманутый пролетарий — звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи, барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки, на всех переулках и улицах строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни, дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому, оконченную, взошёл молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально торжественным голосом «Марсельезу», все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздавшийся из-за камней баррикад, захватывал душу… набат всё раздавался. Между тем на мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию…

В это время можно ещё было всё предупредить, тогда ещё можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда ещё можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать. Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля; закормы «Насионаля»[1] дали им исполнителей.

[1]Газета "правых" республиканцев, к которой был близок Кавеньяк.

Ну что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельнейший граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Кавеньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, de bons enfants[1] в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Насионаля» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зелёные... «Ведь это расстреливают» — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга.

Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощает такие минуты*!".

Революция 1848 года была кульминацией классовой борьбы в 19 веке и поворотным пунктом Новой истории. Древние греки обозначали словом "акме" сильнейший возраст человеческой жизни, относя его к 30 или 40 годам. Есть серьёзные основания полагать, что акме Новой истории приходится на середину 19 века, и эту вершину цивилизации трагически отмечает 1848 год.

Дальнейшая история Франции — история бессильного регресса. Буржуазия, не полагаясь больше на республику, снова ищет "хозяина" — диктатора, способного установить в стране "порядок". За неимением Наполеона, довольствуются его карикатурой — его племянником, или человеком, выдающим себя за племянника. Это всё равно, поскольку существует бюрократия, которой большинство французов привыкло повиноваться. Для видимости "общей воли" устраивают плебисцит. Затем следует двадцать лет застоя и коррупции. Париж перестаёт быть духовной столицей Европы. Герцен переезжает в Лондон, где есть ещё английская свобода, и устраивает там вольную русскую печать.

Революция 1848 года, вызвавшая широкое общественное движение во всей Европе, была первым столкновением двух мифов: мифа о свободном рынке и мифа о демократии. Оба этих мифа возникли в Англии и были восприняты на континенте с искажениями. Общественные механизмы прежде возникали стихийно, без участия человеческого сознания; это не значит, что так будет всегда. Революция 1848 года была *первой попыткой осуществить с помощью новых учреждений "социальную справедливость"*. Как и все первые

[1]Добрые ребята (фр).

попытки, эта революция не удалась. Это была подлинно *пролетарская революция*, в отличие от революции 1789 года, которая была преимущественно буржуазной революцией, и от Октябрьской революции, которая была военным переворотом. Можно надеяться, что в будущем люди научатся обходиться без *кровавых* революций.

Миф о свободном рынке создал Адам Смит. Он преувеличил благодеяния открытого им механизма, но, как трезвый шотландец, не ожидал от него чудес. Миф о демократии создал Руссо, воспринявший английскую идею представительного правления в искажённой форме "общей воли". Крайне вредная идеология всемогущества и непорочности "общей воли" овладела массами, не привыкшими к самоуправлению, и не была изжита в середине девятнадцатого века. Ей предстояло ещё принести много зла.

Глава 11

Начало социализма

1. Новая религия

Капитализм — это экономическая машина, лишённая духовного содержания. Основные составляющие этой машины — частная собственность, свободный рынок, включающий рынок труда, и машинное производство — связаны только с физическим существованием человека; если воспользоваться идеологическим штампом "материализм", то нельзя представить себе более "материалистической" идеологии, чем идеология капитализма. Иногда можно, правда, услышать, что собственность "священна", но функции бога Термина, охранявшего её границы, давно уже выполняет полиция; а специфические черты собственности, присущие капитализму, уже и вовсе не поддаются освящению. Точно так же, не имеют духовного смысла рынок и машины. Современный капитализм предполагает у людей *только* материальные потребности и не умеет удовлетворить никаких других: в этом смысле его идеология есть не что иное как вульгарный марксизм. Если прибавить к этому чисто охранительную тенденцию современного капитализма — его абсолютный консерватизм — то он не только не имеет духовного содержания, но и не может им обзавестись. Ранняя буржуазная идеология имела идеал свободы и равенства (к которым французы присоединили неудобное "братство"), но это было давно, и нынешние апологеты капитализма полагают, что все нужные идеалы уже имеются в наличии, а другие не нужны.

Удручающая бездуховность капитализма давно уже оттолкнула от него все творческие умы и все чувствительные души. Этим объясняется тот замечательный факт, что в наше время все без исключения деятели культуры, наделённые творческими способностями, критически или прямо враждебно относятся к существующему строю жизни. Но в самом начале капитализма враждебность к нему шла снизу, из класса наёмных рабочих, и находила выражение в примитивных и причудливых мыслях полуобразованных самоучек.

Точно так же начиналось христианство. И точно так же, как церковь организовала это движение в дисциплинированное воинство с наукообразной системой верований, социалисты устроили свои партии и разработали свои доктрины — для чего уже понадобилось участие более образованных вождей.

Религиозный характер первоначального социализма не вызывал сомнений у его современников, видевших, к тому же, его очевидное происхождение от еретического и сектантского христианства. Старший из "утопистов", Сен-Симон, пытался даже представить себя как христианского реформатора: его последняя книга называлась "Новое христианство" и имела эпиграф, приписанный апостолу Павлу и якобы взятый из "Послания к римлянам"[1]: "Кто любит других, тот исполнил закон. Всё сводится к заповеди: люби своего ближнего, как самого себя". В том же 1825 году издаётся литографированный портрет Сен-Симона с самоуглублённым выражением лица и с подписью:

Сен-Симон
Основатель
Новой религии.

Предыдущая книга его называлась "Катехизис промышленников", а после его смерти ученики его издали уже догматическое "Изложение учения Сен-Симона".

Учение Фурье, ещё более причудливое — это разработанный во всех деталях план будущего общества. Хотя Фурье прямо не ссылается на откровение свыше, его космологические фантазии, едва прикрытые авторитетом "науки", носят очевидный пророческий характер. Над ними смеются, но в них видят глубокие мысли; Беранже, самый народный из французских поэтов, нуждается в вере и готов уверовать. Вот его стихотворение, выражающее настроение эпохи:

Les fous

Vieux soldats de plomb que nous sommes,
Au cordeau nous alignant tous,
Si des rangs sortent quelques hommes,
Nous crions tous: A bas les fous!

On les persécute, on les tue,
Sauf, après un lent examen,

[1] В этом послании такого текста нет.

A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain.

Fourier nous dit: Sort de la fange,
Peuple en proie aux déceptions,
Travaille, groupés par falange
Dans un cercle d'attractions;

La terre, après tant de désastres,
Forme avec le ciel un hymen,
Et la loi, qui régit les astres,
Donne la paix au genre humain.

Qui découvrit un nouveau monde?
Un fou qu'on raillait en tous lieu,
Sur la croix que son sang inonde,
Un fou qui meurt nous lègue un Dieu.

Si demain, oubliant d'eclore,
Le jour manquait, et bien! Demain
Quelque fou trouverait encore
Un flambeau pour le genre humain[1].

Русский читатель узна́ет в последней строфе стихи, которые герой пьесы Горького читает в неуклюжем, но вдохновенном переводе:

Если б солнце, свершая свой путь,
Осветить нашу землю забыло,
То сейчас же б весь мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.

Перед нашей революцией эти стихи были услышаны публикой, тоже увлечённой новой религией. Родиной этой религии была Франция. Мюссе сочинил в 1833 году гениальное и ребяческое стихотво-

---

[1]Безумцы

Мы, старые оловянные солдатики, / Все выстраиваемся по верёвочке, / И если кто-нибудь выходит из рядов, / Мы все кричим: Долой безумцев! /

Их преследуют, их убивают, / Чтобы потом, после долгой проверки, / Воздвигнуть им памятник / Во славу человеческого рода. /

Фурье говорит нам: выйди из грязи, / Народ, жертва обмана, / Трудись, собравшись в фаланги, / В кругу тяготений; /

Земля, после всех бедствий, / Заключает брак с небом, / И закон, управляющий светилами, / Дарует мир человеческому роду. /

Кто открыл новый мир? / Безумец, над которым всюду смеялись; / На кресте, орошённом его кровью, / Умирающий безумец завещает нам Бога.

И если завтра, забыв о рассвете, / Солнце не дарует нам дня, что ж, завтра / Какой-нибудь безумец найдет ещё / Светильник для человеческого рода.

рение “Ролла”, выразившее это настроение. Вначале поэт изображает, в духе романтической красивости, античную древность, когда “небо ходило и дышало на земле в племени богов”, потом Средние века, “когда Жизнь была молода, а Смерть надеялась”. После сожалений об этих прекрасных временах Мюссе сокрушается о своей потерянной вере:

Je ne crois pas, ô Christ! à ta parole sainte:
Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux.
D’un siècle sans espoire nait un siècle sans crainte;
Les comètes du nô tre ont dépeuplé les cieux. <...>

Les clous du Golgotha te soutiennent à peine;
Sou ton divin tombeau le sol s’est dérobé:
Ta gloire est morte, ô Christ! et sur nos croix d’ébène
Ton cadavre céleste en poussière est tombé!

Eh bien! qu’il soit permis d’en baiser la poussière
Au moin crédule enfant de ce siècle sans foi,
Et de pleurer, ô Christ! sur cette froide terre
Qui vivait de ta mort et qui mourra sans toi[1].

Эти звучные, несколько искусственные стихи завершаются восклицаниями, свидетельствующими о глубокой религиозной потребности поэта, выраженной ещё в традиционной форме:

Avec qui marche donc l’auréole de feu?
Sur quels pieds tombez-vous, parfums de Madeleine?
Où donc vibre dans l’aire une voix plus qu’humaine?
Qui de nous, qui de nous va devenir un Dieu?[2]

Настроение этих стихов впоследствии стали называть “богоискательством” Мы в наше время больше не ищем бога (хотя и не знаем ещё, чем его заменить), но бога в прежнем смысле нам решительно не надо. В начале девятнадцатого века дело обстояло сложнее:

[1]Я не верую, о Христос, в твоё святое слово: / Я пришёл слишком поздно в слишком старый мир. / Из века без надежды рождается век без страха; / Кометы нашего века опустошили небеса. . . /

Тебя едва поддерживают гвозди Голгофы / Земля ушла из-под твоей божественной могилы: / Твоя слава умерла, о Христос! и над твоими белоснежными крестами / Рассеялось прахом твоё небесное тело! /

Что ж, пусть будет дозволено поцеловать этот прах / Самому неверующему сыну этого века без веры, / И плакать, о Христос, на этой холодной земле, / Которая жила твоей смертью и умрёт без тебя.

[2]Кого же теперь сопровождает пламенный ореол? / На чьи ноги Магдалина прольёт ароматы? / Где раздаётся сверхчеловеческий голос? / Кто из нас, кто из нас должен стать Богом?

люди искали “новую религию” с неистраченным запасом эмоций, оставшихся от старой. Эта духовная жажда охватила и простых тружеников, и образованных людей, но первые социалисты вовсе не были людьми высокой культуры. Они принадлежали к полуинтеллигенции, были чужды логической дисциплине и критическому мышлению своего времени. Творцами социализма не могли быть ни Лагранж, ни Лаплас, ни “другой Фурье, заседавший в Академии наук”[1]. Это были скептики, верившие только доказуемым фактам и неспособные обещать людям “новое небо и новую землю”. В образованных людях уже не было веры! Точно то же было в начале христианства, и надо отдать должное духовным импульсам, идущим из социальных низов.

Но и в низах способность к духовным переживаниям изменилась: люди перестали верить в чудеса. Точнее, они не верили в чудеса, связанные с религией, но были очень легковерны, когда им обещали чудеса от имени “науки”. Поэтому создатели социализма были полуобразованные люди, всё ещё способные переживать всерьёз свои фантастические грёзы и пытавшиеся поддержать их ссылками на науку. Фурье был конторский служащий, не получивший почти никакого образования. О науке он знал понаслышке и воображал, что может перенести на человеческое общество ньютоново “тяготение”, поскольку люди естественным образом стремятся к общению и сотрудничеству. Мы видели, как об этом рассказывал Беранже, для которого эта аналогия не была простой фантазией. Сен-Симон получил очень поверхностное образование; в детстве его воспитанием якобы занимался Даламбер, и его ученики любили восхвалять его универсальную учёность, но достаточно раскрыть любое из его сочинений, чтобы по сумбурному и самоуверенному изложению увидеть полуобразованного прожектёра. Он тоже ссылается на Ньютона и тоже считает себя Ньютоном общественных наук, не имея никакого понятия о научном методе. Стремление опереться на “науку” очень характерно для эпохи, когда наука превратилась в главный авторитет — даже для невежд.

И Фурье, и Сен-Симон верят в то, что человечество может быстро и легко достигнуть совершенства с помощью нескольких простых идей, и не сомневаются в том, что владеют этими идеями. Даже Оуэн, с его более практическим умом и опытом производственной

[1]Так сказал о нем Виктор Гюго. Чтобы показать ничтожество своей эпохи, он декламировал: “Это было время, когда великий Фурье голодал на своём чердаке, а другой Фурье, совершенно ничтожный, заседал в Академии наук”. Этот другой Фурье был отец математической физики.

деятельности, верит во всемогущество “воспитания” с наивностью верующего — хотя сам он не признаёт никакой религии. Несмотря на все обращения к “науке”, неизменный признак первоначального социализма — вера в чудесные методы воздействия на людей. В этом смысле перед нами, несомненно, новая религия, хотя прямое вмешательство сверхъестественных сил, уже не внушающее доверия, не признается. “Новое христианство” обходится без неземного спасителя, творящего “обычные” чудеса. У этой религии нет Христа, она начинается с апостолов. Но это не мешает ей преуспевать даже среди образованной публики, воспринимающей этих апостолов как “безумцев”. По-видимому, представление о спасении через безумцев восполняет некоторым образом эсхатологическое бесплодие современной культуры. Впрочем, это представление прямо идёт от христианства: безумцами были не только наши юродивые, но и западные, такие, как святой Франциск.

Подобно первым христианам, первые социалисты подчёркивали мирный характер своей проповеди и старались отмежеваться от Революции и революционеров. Таким образом они пытались избежать преследований, точно так же, как изображённый в Евангелии Христос, и гораздо менее убедительный в смысле искренности апостол Павел. И Фурье, и Сен-Симон разочаровались во Французской Революции, ничего не давшей “самому многочисленному и самому бедному классу”. Они пришли к выводу, что Революция не коснулась “индустриального строя”, то есть экономической организации жизни. Более того, Фурье вообще не придавал значения государственной власти и думал, что преобразование общества по его планам возможно при любой власти. Но Сен-Симон, напротив, хотел организовать всё государство по своей системе и подчинить этому государству всю жизнь страны. Эту идею развил его ученик Огюст Конт, а затем его последователь Луи Блан, изобретатель термина “Организация труда”. Вместе с тем, Луи Блан подчёркивал поляризацию общества на классы — имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых. Всё ещё настаивая на мирном преобразовании общества — по решению свободно избранного парламента — Луи Блан рассчитывал при этом на решающую роль государства. Таким образом, социализм должен был стать *государственной религией, то есть теократией.* Эти идеи восприняли немецкие радикалы — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они создали нечто вроде социалистического богословия, под названием “научный социализм”, и пытались организовать всех социалистов в единую церковь, под названием “Интернационал”.

2. Утописты

Фурье. Шарль Фурье (1772–1837) был по происхождению и воспитанию мелкий буржуа. Он унаследовал от отца небольшое состояние, но потерял его во время революции, при подавлении лионского восстания. Всю остальную жизнь он провёл в качестве конторщика в разных предприятиях, сочиняя в свободное время свои книги.

Фурье вовсе не был противником частной собственности. Он не мог представить себе общество без денег, и все свои проекты рассчитывал в денежном выражении, доказывая, что они приведут к чрезвычайному приращению доходов. Он не посягал на социальное неравенство людей, полагая, что всегда будут бедные и богатые, и даже предусматривая для них разный образ жизни. Он представлял себе, что какой-нибудь богатый человек даст деньги на устройство первого фаланстера, и что после несомненного успеха этого предприятия ими покроется за несколько лет вся земля. В конце его жизни и в самом деле нашёлся такой энтузиаст, но проект привёл к большим затратам и так и не был осуществлён.

Фурье очень старался, чтобы его не смешали с другими прожектёрами, посягавшими на государственный строй или религию. Как все реформаторы, он обличал своих конкурентов, Сен-Симона и Оуэна, считая их шарлатанами. Оуэна он обвинял в атеизме, и вполне справедливо; вряд ли он сам был верующим, но он настаивал, чтобы в каждом фаланстере непременно был священник. Впрочем, даже в годы реставрации и июльской монархии его никто не преследовал, и ему не мешали издавать свои сочинения за счёт разных покровителей: его считали безобидным чудаком.

Денежные расчёты Фурье, которыми он обосновывал свои проекты, носили химерический характер, но сам он считал себя великим мыслителем и сравнивал себя, конечно, с Ньютоном: Ньютон открыл закон притяжения физических тел, а он, Фурье — закон притяжения людей и человеческих групп. Разумеется, кроме слова “притяжение” между этими учениями не было ничего общего, и о тяготении в смысле Ньютона он ничего не знал.

Уверенность, с которой Фурье проводил свои вычисления и предсказывал будущее, приводила в отчаяние даже его поклонников. Несомненно, это были рассуждения безумца. Фурье был уверен, что введение его системы фаланстеров изменит всё устройство мироздания. Люди станут выше ростом, а женщины станут настолько здоровее, что будут рожать каждые три месяца. Львы станут антильвами и перестанут быть хищниками, клопы станут анти-клопами,

и так далее. В океанах вода станет сладкой, как лимонад, и киты станут буксировать корабли. Все эти вещи Фурье не соглашался исключать из своих сочинений, поддерживая их арифметическими вычислениями. Беранже имел право называть его безумцем; но прочтите Нагорную проповедь и подумайте, что всё это понималось буквально. Фурье был популярен не только во Франции. В России его изучали петрашевцы, а Щедрин остался фурьеристом до конца своих дней.

Что же нового открыл людям Фурье? Он хотел освободить человека от принудительного труда и от стеснения человеческих инстинктов. То и другое считалось неизбежными законами природы и освящалось религией. Но Фурье полагал, что нашёл, наконец, спасение от этих извечных зол. Прежде всего — учил Фурье — человек наделён "страстями" (за которыми, конечно, стоят инстинкты). Попытка Фурье перечислить эти страсти не более смешна, чем перечень категорий мышления у Канта, или классификация наук у Конта: над философами, строящими свои системы, не смеются, потому что они "серьёзны" и пишут учёным языком. Конечно, у человека есть "страсти". Как сказал ученик Фурье, Виктор Консидеран, "до сих пор всегда старались с ними бороться, но дело в том, чтобы их изучать и использовать".

Прежде всего, человек, — говорит Фурье, — не выносит однообразия и жаждет перемен. Эту страсть он обозначает вычурным словом "papillonne", от papillon (бабочка). Главное страдание от труда — его монотонность. Человек способен сохранять внимание и интерес к своей работе в течение примерно двух часов (и в самом деле, нынешние врачи рекомендуют отдых после каждых двух часов работы). Фурье предлагает радикальное решение вопроса: каждые два часа переходить к другой работе. Он составляет фантастические расписания, отдельно для бедных и для богатых. Его решение невозможно, но он указывает проблему. Далее, Фурье рекомендует коллективные формы труда, под именем "ассоциаций". Можно сказать, что он предлагает кооперативный труд, но вовсе не "колхозный", так как его ассоциации добровольны.

В некоторой мере идея ассоциаций осуществилась уже в современном обществе: это свободные кооперативы, с сохранением частной собственности. В наше время такие кооперативы успешно работают, например, в Швеции и Голландии, причём земля остаётся в собственности крестьян, но обработка земли и продукции производится коллективными предприятиями. Конечно, никто не меняет занятия каждые два часа, и другие советы Фурье, способствующие

привлекательности труда, тоже не обязательны, поскольку все они имели в виду только ручной труд. В промышленности кооперативы пока не выдерживают конкуренции частных заводов. Но это в значительной степени связано с чисто коммерческой ориентацией производства, и можно думать, что идея ассоциаций (Фурье и Оуэна) вовсе не абсурдна.

Что касается монотонности труда, то ремесленный труд был несомненно лучше работы у станка; в наши дни "ремесленник" может быть оснащён современной техникой — например, работу конторщика Фурье может выполнять компьютер. Большие предприятия также отказываются от конвейерной системы и находят более выгодным "бригадный" метод (team work), при котором вместо повторения одной и той же операции рабочие сознательно собирают или налаживают сложные узлы машин. Всего этого Фурье не предвидел; он представлял себе, что все виды неприятного и грязного труда неизбежны, и пытался их облегчить, равномерно распределяя их между людьми.

Та же страсть к разнообразию проявляется, по мнению Фурье, в половых отношениях. Он был убеждён, что все люди — мужчины и женщины — полигамны по своим вкусам, и что каждый из них хотел бы иметь "гарем". Оставляя это мнение на совести холостого отшельника, заметим, что Фурье хотел, по-видимому, устранить институт брака "постепенными мерами", не привлекая чрезмерного внимания. Известный роман Чернышевского, где фаланстеры изображаются не только местом свободного труда, но и "свободной любви", вызвал в своё время негодование блюстителей казённой нравственности.

В фаланстерах не предусматривались никакие демократические процедуры вроде выборов; предполагалась сложная иерархия начальства, с комическими титулами, рассчитанными на эксплуатацию человеческого тщеславия.

Другим стимулом труда было у Фурье "соревнование", обозначаемое термином intrigue (интрига) и, конечно, не имевшее ничего общего с ненавистной ему "конкуренцией". Фурье очень рано сформулировал "право на труд" — уже в своей первой работе, опубликованной, правда, лишь после его смерти. Конечно, гарантом этого "права" могло быть только государство, с которым он не хотел иметь дела, так что это выражение не шло к его системе; но оно приобрело значение в системах других социалистов. Русские большевики, захватив власть и не обнаружив у Маркса и Энгельса никаких практических идей по поводу организации будущего общества, заимствовали у Фурье "социалистическое соревнование", как стимул

трудовой активности, и "право на труд", как гарантию от безработицы и прикрытие принудительного труда.

Фурье горячо сочувствовал пролетариям, но, конечно, он не был демократ. Напротив, он высмеивал "бредни, известные под названием свободы и равенства". Проблема власти его не занимала.

Сен-Симон. Анри де Сен-Симон (1760–1825) был знатного происхождения, и родители пытались дать ему образование; но, судя по его сочинениям, он во всех областях остался дилетантом. В молодости он участвовал, вместе с Лафайетом и другими французскими офицерами, в войне американцев за независимость, заслужив высокие отличия. Во время революции Сен-Симон увлёкся республиканскими идеями и отказался от всех своих званий и орденов: граф Сен-Симон превратился в "гражданина Бонома"[1]. Но вскоре, по невыясненным причинам, он разочаровался в революции, и вместо политической деятельности занялся спекуляциями. Нажив большое состояние, он так же быстро его потерял, и затем вёл жизнь бедного философа, за счёт помогавших ему родственников и друзей.

Первое своё сочинение — от имени мнимого "обитателя Женевы" — он опубликовал раньше других социалистов, в 1803 году. Но он очень мало занимался низшими классами населения и, кажется, проявил к ним некоторый интерес лишь в конце жизни. Поэтому Сен-Симона часто не относят к социалистам; но его трудно отнести и к либералам, потому что он — "этатист", государственник, мало заботящийся о свободе. Его роль в истории социализма состоит в том, что он поставил вопрос о государственном контроле над экономической жизнью, столь важный для дальнейших социалистических доктрин.

Сочинения Сен-Симона написаны напыщенным языком, общими фразами, редко опускающимися до повседневной действительности. Он начитаннее, образованнее Фурье, но его стиль — это стиль не мыслителя, а прожектёра и публициста невысокого пошиба. И, конечно, он "чудак", один из тех безумцев, которых приветствует Беранже. В отличие от Фурье, Сен-Симон оказал через своих учеников огромное влияние на развитие Франции в девятнадцатом веке, и многие из его учеников были уже несомненные социалисты. Наконец, Сен-Симон оказал важное влияние на Маркса. В области "общественных наук" приходится читать странных, причудливых авторов, потому что там могут быть корни важных идей. Здесь неуместен

[1]"Добрый человек", в переносном смысле "простак".

эстетический снобизм! С таким снобизмом образованные римляне встречали апостолов христианства. Прочтите послания св. Павла и попытайтесь представить себе, что сказал бы о них Плиний или Тацит.

Сен-Симон одержим идеями "прогресса" и "промышленности". Этот человек, производивший свой род от Карла Великого, презирает феодальную аристократию как бесполезный, паразитический класс населения. "Прогресс" в его понимании — это "научно-технический прогресс" в нынешнем смысле слова, а идеал этого прогресса, разумеется, Ньютон.

"Что может быть прекраснее и достойнее человека, — говорит он, — чем направлять свои страсти к единственной цели повышения своей просвещённости! Счастливы те минуты, когда честолюбие, видящее величие и славу только в приобретении новых знаний, покинет нечистые источники, которыми оно пыталось утолить свою жажду. Источники ничтожества и спеси, утолявшие жажду только невежд, воителей, завоевателей и истребителей человеческого рода, вы должны иссякнуть и ваш приворотный напиток не будет больше опьянять этих надменных смертных! Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!".

Сен-Симон не любит все "непроизводительные" группы населения — военных, священников, юристов. Он ценит только тех, кто прямо участвует в производстве, которых называет "промышленниками" (les industriels), и учёных. К "промышленникам" он относит *вместе* и предпринимателей (фабрикантов, банкиров), и рабочих, не разделяя их на противостоящие группы. С его точки зрения, впрочем, фабриканты и банкиры — *тоже* трудящиеся, и даже самые важные из них. Будущее правительство должно состоять из этих "ведущих" промышленников и учёных. Учёные будут давать советы, а промышленники будут управлять. Замечательно, что война за американскую республику не сделала Сен-Симона демократом!

Поскольку ни "промышленники", ни учёные общества не проявили интереса к его проектам, он возложил в конце концов надежды на короля и папу. Королю — последнему Бурбону Карлу Десятому — он предлагал возглавить "промышленников", а папе — прогнать кардиналов и перейти в его "новое христианство". Эти последние обращения Сен-Симона к светской и духовной власти производят впечатление горячечного бреда.

Между тем, именно в последние годы жизни у Сен-Симона появляются выдающиеся ученики и сотрудники. Три года его секретарём был Огюстен Тьерри, впоследствии выдающийся историк. За-

тем, в течение шести лет, с ним сотрудничал Огюст Конт, основатель "позитивизма", кажется, заимствовавший у Сен-Симона этот термин. Несомненно, мышление Сен-Симона, ориентированное на "прогресс", повлияло на развитие молодого Конта. В конце жизни Сен-Симона опекает известный математик Олинд Родриг, ставший его преданным последователем. Но во главе его "школы" становятся "верующие" ученики, Базар и Анфантен. В 1829 году они выпустили книгу "Учение Сен-Симона. Изложение", а в 1830 году официальный орган сен-симонистов "Глоб" высказал девиз: "*Каждому по его способностям, каждой способности по её делам*". Конечно, для самого Сен-Симона это означало бы просто справедливое вознаграждение всех "промышленников", и фабрикантов, и рабочих; но в будущем эти слова стали лозунгом социализма.

Оуэн. Роберт Оуэн (1771–1858), в отличие от французских утопистов, обладал практическим опытом организации производства и общения с рабочими. Он был сын ремесленника, с десяти лет жил собственным трудом; всем своим образованием он был обязан самостоятельному чтению. Ещё не достигнув тридцати лет, он стал выдающимся знатоком текстильного дела и совладельцем фабрики в Нью-Ленарке, в Шотландии, которой он управлял в течение 18 лет. Он превратил эту фабрику в процветающее предприятие, дававшее высокий доход, и воспользовался этим, чтобы поднять заработки своих рабочих, улучшить их жилищные условия и повысить их культурный уровень, особенно заботясь о школьном обучении их детей.

Необычайный успех Нью-Ленарка, привлёкший внимание всей Англии, объяснялся, конечно, неповторимой личностью Оуэна, соединявшего в себе бескорыстного и терпеливого реформатора с первоклассным техническим специалистом. Кроме того, серьёзные требования, предъявленные Оуэном, привели к отбору трезвых и трудолюбивых рабочих, так что в Нью-Ленарке были не просто добросовестные работники, но люди, способные учиться.

В конечном счёте совладельцы фабрики заставили Оуэна уйти от руководства, придравшись к тому, что в его школе детей не учили религии. Но Оуэн вынес из своего опыта убеждение, что он открыл общий метод воспитания людей, способный радикально изменить судьбу человечества. Метод "ассоциаций", развитый им в ряде книг и статей, составляет контраст с аналогичными проектами континентальных утопистов своим трезвым практицизмом, в нем не было вычурных выдумок и фантазий. Оуэн в самом деле знал, как устроить,

в рамках *обычного* мира, необычное предприятие из нескольких сот человек. Но он хотел сделать необычным весь мир.

Для этого он предлагал устраивать повсюду "ассоциации" наподобие Нью-Ленарка, сельскохозяйственные и промышленные, из 500, 1000 или 2000 рабочих, которые должны затем соединиться в союзы, в целые "королевства" и "империи" свободного труда, пока они не охватят весь мир. Но замечательно, что, в отличие от французских утопистов, Оуэн хотел *устранить частную собственность*. Вот что он пишет о ней в своей "Книге о новом нравственном мире":

"Частная собственность была и есть причина бесчисленных преступлений и бедствий, испытываемых человеком, и он должен приветствовать наступление эры, когда научные успехи и знакомство со способами формирования у всех людей совершенно одинакового характера сделают продолжение борьбы за личное обогащение не только излишним, но и весьма вредным для всех; она причиняет неисчислимый вред низшим, средним и высшим классам. Владение частной собственностью ведёт к тому, что её владельцы становятся невежественно эгоистичными, причём этот эгоизм обычно пропорционален в своих размерах величине собственности. . . .

Частная собственность отчуждает человеческие умы друг от друга, служит постоянной причиной возникновения вражды в обществе, неизменным источником обмана и мошенничества среди людей и вызывает проституцию среди женщин. Она служила причиной войн во все предыдущие эпохи известной нам истории человечества и побуждала к бесчисленным убийствам. . . .

В рационально устроенном обществе её не будет существовать. . .

Когда всё, за исключением только предметов личного обихода, превратится в общественное достояние, а общественное достояние будет всегда иметься в избытке для всех, когда прекратят своё существование искусственные ценности, а требоваться будут только внутренне ценные блага, тогда будет должным образом понято несравнимое превосходство системы общественной собственности над системой частной собственности с вызываемым ею злом".

Описанная Оуэном система "ассоциаций" *без всякой частной собственности* составляет уже крайнюю форму социализма, именуемую "*коммунизмом*". Но при всей радикальности требуемого преобразования общества Оуэн предполагает, что оно будет выполнено *мирным путем*. Он думает, что можно будет постепенно убедить людей в преимуществах нового образа жизни, и что его станут вводить существующие правительства: это позволит избежать слишком

резких потрясений. Оуэн уверен, что мир может измениться быстро, поскольку преимущества новой жизни сразу же станут очевидны — как это было в Нью-Ленарке. Но он не указывает для этой мирной революции никакого определённого срока.

Коммунистический идеал вызывает некоторые сомнения. Если “коллективный” образ жизни кое-кому нравится, то другие люди его не выносят, и мы уже знаем, почему. Человеческая способность к общению ограничена размерами первоначальных человеческих групп, то есть несколькими десятками особей, с которыми у нас может быть прочная эмоциональная связь. Оуэн представляет себе “семью” из 500 или 1000 человек, потому что у него в Нью-Ленарке было столько рабочих, а в нынешних предприятиях рабочих куда больше. Но это уже не семья, а небольшой город, и у жителей этого города могут быть взаимное товарищество и солидарность, но отнюдь не семейные отношения. Если уж искать аналогии, то это нечто вроде “племени”; но у племени надо ещё создать какую-то племенную культуру, а после этого будет совсем не просто устроить мирное сотрудничество таких племён. Во всяком случае, план превращения человечества в “единую семью” не кажется столь лёгким делом, как думает Оуэн.

Частная собственность — камень преткновения всех коммунистических проектов. Человеку свойственно окружать себя продуктами своего труда, или орудиями своего труда, или условиями этого труда. Многие люди предпочитают устраивать своё окружение на свой лад, и в богатом обществе совсем не обязательно, чтобы это окружение сводилось только к “предметам личного обихода”. Это последнее выражение, конечно, означало для Оуэна не только ботинки, рубашки и зубные щётки. Для нас оно может означать отдельный дом для семьи, отдельные машины для членов семьи, собственную библиотеку; для наших внуков оно будет означать, конечно, множество ещё не известных нам вещей. Но, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет быть единственным прохожим на собственной улице, или единственным слушателем в собственном концертном зале. Серьёзный вопрос, конечно, это собственность на средства производства. Можно ли предоставить человеку собственный огород? Собственное поместье, которое он будет отдавать в аренду? Собственный металлургический завод? Собственную космическую ракету?

Возможно, Оуэн недооценил разнообразие человеческих вкусов и интересов. Во всяком случае, он переоценил возможности *воспитания* людей. Мы их недооцениваем, и во многом он прав. Человек

гораздо пластичнее, чем нам кажется, если его воспитанием занимаются с детства — а Оуэн как раз это имел в виду.

Оуэн пытался устраивать коммуны в Соединённых Штатах, но безуспешно. Его последняя коммуна — "Гармони-Холл" — продержалась шесть лет и даже преуспевала, но не могла одолеть конкуренцию соседних фермеров; вероятно, эти фермеры использовали дешёвый наёмный труд. Оуэн прожил долгую жизнь, никогда не отчаиваясь в своих идеях: он помнил свой Нью-Ленарк. Несомненно, он упрощал "социальный вопрос", но упорно пытался его решить, прокладывая новые пути. И если можно представить себе коммунизм без насилия, то он был коммунист. Некоторых это не пугает: в Соединённых Штатах до сих пор много коммун.

Другая сторона деятельности Оуэна, до сих пор недооценённая, — это его реформа основной установки "дикого капитализма". Оуэн первый понял, что количественный рост производства однородных товаров — не единственный путь развития. Он сознательно делал ставку на повышение качества и показал, что такая политика выгодна капиталистам. Это означало более высокие требования к квалификации рабочих и, тем самым, более высокую оплату труда. В дальнейшем развитие этой политики привело к систематическому введению *новых товаров и услуг*, что в конечном счёте смягчило проблему безработицы. Таким образом, Оуэн был не только самым трезвым и вдумчивым из пионеров социализма, но и пионером *современного капитализма* — того социального компромисса, который выработался во второй половине двадцатого века.

Луи Блан (1811–1882). Социалисты-утописты, о которых шла речь, были чужды идее классовой борьбы. Они хотели улучшить участь низших слоев населения реформами "сверху", но без какого-либо принуждения собственников. Фурье вообще не думал при этом о помощи государства, а рассчитывал на богатых филантропов, которые построят фаланстеры. Оуэн предполагал, что существующие правительства — любого рода — убедятся в преимуществах "ассоциаций" и станут их поддерживать, но, как и все англичане, вряд ли надеялся на их денежные средства: в Англии государство никогда не устраивало предприятий. Только Сен-Симон придавал государству важное значение, но это было его фантастическое, нигде не бывшее государство, не имевшее отношения к реальной политике.

Политическая жизнь Франции была заполнена борьбой монархистов и республиканцев; Франция не сознавала ещё другой "размерности" политической борьбы — *классовой борьбы.* Но у рабочих

было уже своё знамя, сознательно противопоставленное и белому знамени монархистов, и трёхцветному знамени республиканцев: это было *красное знамя.*

Классовый конфликт впервые отчётливо осознал Луи Блан. Он соединил в одну концепцию оба конфликта, политический и социальный, вернувшись к истории Великой Революции. Луи Блан видел в якобинцах защитников пролетариата, а в победе Термидора — торжество буржуазии, погубившее республику и навязавшее народу реставрацию монархии. Он хотел восстановить республику якобинского образца, с конституцией 1793 года, и ожидал, что такая республика, выражающая "общую волю" нации, непременно разрешит "социальный вопрос". Пресловутая "общая воля" Руссо была идолом Луи Блана, потому что он был догматик и доктринёр. Он не мог представить себе, что в "свободной" республике, со всеобщим избирательным правом, может сохраниться "социальная несправедливость": в самом деле, подавляющее большинство нации состоит из угнетённых тружеников, "общая воля" которых сразу же проявится, как только им дадут голосовать. Как мы знаем, республиканский строй вовсе не влечёт за собой каких-либо социальных перемен, и Луи Блан мог в этом убедиться, когда парижских рабочих методически расстреливал другой республиканец, генерал Кавеньяк.

Но другая идея Луи Блана имела далеко идущие последствия. Он надеялся, что республиканское правительство доставит первоначальный капитал "ассоциациям" трудящихся, устроив "социальные мастерские". Нечто в этом роде было сделано, под злополучным именем "Национальных мастерских", и сделали это его противники, чтобы опорочить его идею. Национальные мастерские провалились, но идея осталась: идея *государственного управления промышленностью.* Таким образом, доктринер Луи Блан изобрел *государственный социализм.*

Классовую борьбу и государственный социализм взял на вооружение Карл Маркс. Правда, Маркс не любил государство и думал, что оно быстро "отомрет", но в период революции он придавал ему важную роль. Маркс вырос в совсем несвободной Германии и подсознательно ценил *власть*, как орудие достижения политических целей.

Луи Блан был тот представитель французского социализма, которому Маркс был обязан больше всего. Главные книги Луи Блана, повлиявшие на Маркса, были "Организация труда" (1839) и "История десяти лет" (1840). Впрочем, Луи Блан не хотел насилия, рассчитывая на мирное торжество "общей воли". Маркс был человек

другого склада: он понимал классовую борьбу как прямое применение силы.

Иногда говорят, что Маркс был в основном последователь Сен-Симона. В определённом смысле Сен-Симон был близок Марксу наукообразием своей аргументации; но в то время на науку ссылались уже все школы политической мысли. Сен-Симон подчёркивал роль науки в том, что мы назвали бы государственным планированием, и эта сторона его была близка Марксу и марксистам. Но, взвесив все эти обстоятельства, надо всё же признать, что французским учителем Маркса — после Прудона — был главным образом Луи Блан.

3. Маркс и марксизм

Карл Маркс был философ, учёный и политический деятель, с темпераментом и властью над людьми, свойственными пророкам, и со всеми недостатками, присущими этому редкому типу личности. Он и был пророком: он создал *последнюю ересь христианства*, и в то же время *первую религию без бога*. Все утописты были, в том или ином смысле, его предтечи; он, как полагается пророку, использовал их наследие и от них отрекался. Ни один общественный деятель Нового времени не оказал такого мощного влияния на судьбы человечества, и пришло уже время оценить, говоря словами Перикла, содеянное им добро и зло.

Маркс родился в 1818 году в Трире, в “рейнской Пруссии”, то есть в части Германии, принадлежавшей тогда Пруссии, но вовсе не прусской по своему духу. Длительная французская оккупация приобщила рейнских немцев к либеральным идеям, а “кодекс Наполеона” избавил их от сословных ограничений. Отец Маркса, Генрих Маркс, был преуспевающий адвокат и убеждённый либерал, давший своему сыну широкое образование. После “освобождения” Германии от французов были восстановлены феодальные порядки, и всех евреев, выполнявших общественные функции, вынуждали креститься. Отец Маркса этому подчинился и крестил сына, когда тому было шесть лет. Таким образом, Марксу не пришлось выбирать себе религию, и уже очень рано выяснилось, что ему не нужно было никакой. Еврейское происхождение тоже его мало беспокоило — он не придавал ему никакого значения.

Маркс вырос в либеральной буржуазной среде, как и его будущая жена, Женни фон Вестфален. Женни была первая красавица Трира, “королева балов”, и она была на четыре года старше Маркса.

Они обручились, не спросив родителей, когда Марксу было 16 лет, а ей — 20; впрочем, родители и не возражали, так как семьи были хорошо знакомы. Отец Женни был прусский служащий, но не пруссак, и вовсе не аристократ по происхождению, а рейнский бюргер. Дед её согласился принять дворянство, чтобы жениться на дочери шотландского барона, происходившей из рода Аргайлей. По тогдашним обычаям, брак был отложен до того времени, когда Маркс завершит своё образование и найдёт постоянный заработок. Женни ждала его девять лет.

Проучившись один год на юридическом факультете в Бонне, Маркс предпочёл заняться философией и перешёл в Берлинский университет. Гегель уже умер, и преподавание осталось в руках его слабых преемников; но Маркс вошёл в круг молодых, радикально настроенных гегельянцев — так называемый "докторский клуб". Особое влияние оказал на него Бруно Бауэр. У него были тогда, главным образом, философские интересы, но и в этом он был с самого начала крайний радикал. На это указывает уже тема его докторской диссертации: "Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура" (1839–1841). Так как в прусских университетах усиливается реакция, Маркс получает диплом доктора философии от "иностранного" Йенского университета.

Карьера профессора философии потребовала бы от него "умеренности" в политике и религии. На это он не согласен, и навсегда расстаётся с официальной наукой. В апреле 1842 года он начинает сотрудничать в либеральной "Рейнской газете", выходившей в Кёльне и оппозиционной прусскому правительству. В октябре (в возрасте 24 лет) он уже редактор этой газеты. В этот период Маркс — ещё не социалист, и даже защищает свою газету от обвинений в социализме и коммунизме. Но он уже знаком с сочинениями Консидерана (изложившего систему Фурье без его фантазий) и Леру (впервые пустившего в обращение термины "социализм" и "солидарность"). И он осторожно пишет в газете, что эти понятия заслуживают серьёзного изучения, прежде чем делать выводы. В дальнейшей жизни он редко будет так осторожен!

В ноябре 1842 года, в редакции "Рейнской газеты", Маркс знакомится с Фридрихом Энгельсом, который на два года моложе его. Энгельс направляется в Англию, чтобы служить там на хлопчатобумажной фабрике своего отца. Он тоже ещё не социалист, но уже крайний радикал. При этой первой встрече они ещё холодны друг с другом, их разделяют отношения с оппозиционными кругами в Берлине.

Наконец, в начале 1843 года прусское правительство закрывает "Рейнскую газету". Маркс не может быть в Германии ни профессором, ни журналистом. Поскольку он не может уже рассчитывать ни на какой заработок, незачем больше откладывать создание семьи: в июне он женится на Женни фон Вестфален, а в ноябре они уезжают в Париж. Там Маркс собирается издавать, вместе с более умеренным радикалом Руге, "Немецко-французские ежегодники". Настоящая причина переезда в Париж — стремление изучить социализм и коммунизм по их первоисточникам. Он признает "мощное" влияние книги Прудона "Что такое собственность" (1840), где главной причиной общественных бедствий впервые названа *частная собственность*. Он устанавливает связи с французскими социалистами и с немецкими рабочими в Париже, уже объединившимися в "Союз Справедливых". Но он ещё не занимается экономикой. Пока он только философ, но уже социалист.

В конце 1843 года Энгельс, изучивший в Манчестере новейшую организацию промышленности, пишет для "Ежегодника" статью "Наброски к критике политической экономии". Таким образом, первые начала "экономического учения" Маркса принадлежали Энгельсу, хотя Маркс дал им полное выражение. В августе они встречаются в Париже и начинают совместную работу, продолжавшуюся всю жизнь. В мае 1845 года в Лейпциге выходит книга Энгельса "Положение рабочего класса в Англии", на немецком языке, которая станет классическим трудом о начале капитализма. Но английский перевод её выйдет лишь в 90-ые годы!

После появления "Немецко-французского ежегодника" со статьями Маркса прусское правительство распоряжается арестовать их автора при переезде границы; отныне он изгнанник, а в начале 1845 года, по настоянию Пруссии, правительство Гизо высылает его из Парижа. Он переезжает в Брюссель, где работает вместе с Энгельсом над созданием "коммунистических" организаций. Таким образом, друзья делают выбор между терминами "социализм" и "коммунизм", уже бывшими в обращении. "Коммунизм" более радикален: он решительно отвергает частную собственность, государство и буржуазный тип семьи. Этим Маркс и Энгельс отмежёвываются от всех видов "утопического социализма". Их коммунизм признаёт необходимость насильственного захвата власти "пролетариями", в отличие от социализма их предшественников, пытавшихся изменить общество мирным путём.

В феврале 1847 года Маркс и Энгельс вступают в Союз Справедливых, который отныне становится Союзом Коммунистов. По

поручению этого союза они составляют "Манифест Коммунистической партии", опубликованный в Лондоне накануне французской революции, 24 февраля 1848 года. В марте Маркса арестовывают и высылают из Бельгии; он переезжает в Лондон, где и поселяется навсегда.

Англия, уже вступившая на путь мирных реформ, не боится революционеров всех видов, составивших в Лондоне беспримерное международное сообщество. Среди них глава итальянских карбонариев Мадзини, изгнанники из злополучной Польши и Герцен, представляющий новую Россию. После подавления революций в Германии, Австрии и Венгрии приходится расстаться с надеждой на скорую победу пролетариата. Но Маркс и Энгельс продолжают свою работу, поддерживая связь с коммунистами всех стран.

28 сентября 1864 года в Лондоне, на митинге в Сент-Мартинс Холле, было основано Международное Товарищество Рабочих, более известное как Первый Интернационал. Маркс становится вдохновителем и идеологом этой организации, где ведёт непрерывную борьбу за чистоту своего коммунистического идеала. В конечном счёте это ему не удаётся: Бакунин с его сторонниками-анархистами расшатывают единство организации. Несмотря на всю эту политическую деятельность, Маркс продолжает работу над своим основным трудом: 14 сентября 1867 года в Гамбурге выходит первый том "Капитала". Первый перевод этой книги — на *русский* язык — выходит в 1872 году: царская цензура, отметив тенденции книги, находит её доступной только для учёных, и, следовательно, безвредной. Второй и третий томы так и не были завершены; Энгельс издал всё, что Маркс успел написать. В действительности и первый том не получился вполне цельным: в нем подразумевается учение Маркса о человеке — его "философская антропология" — намеченная им в его (не опубликованных при жизни) юношеских работах; не была подробно изложена также идея классовой борьбы. "Капитал" остался недостроенным колоссальным сооружением. Причина этой неудачи была в том, что Маркс, подобно своему учителю Рикардо, не мог справиться с "трудовой теорией стоимости" и видел её трудности. Он был удовлетворён этой теорией как философ, но недоволен ею как экономист.

Между тем, после поражения Парижской Коммуны Первый Интернационал явно разрушается. 1–7 сентября 1873 года Маркс и Энгельс участвуют в его последнем конгрессе в Гааге. Но уже через два года, несмотря на яростную критику Маркса, его немецкие сторонники ("эйзенахцы", под руководством Августа Бебеля и Виль-

гельма Либкнехта) соединяются на съезде в Готе со сторонниками Лассаля и основывают Германскую Социал-Демократическую Партию. Вслед за тем во всех странах Европы возникают *национальные* партии социалистического и социал-демократического направления. В 1880 году Гед и Лафарг составляют, с помощью Маркса и Энгельса, программу Французской Рабочей Партии. Впоследствии социалистические партии образуют — уже без Маркса — Второй Интернационал; но это будет уже не *коммунистический*, а *социалистический* Интернационал, хотя и впитавший в себя идеологию Маркса, но не стремящийся к насильственному перевороту. Этим путём идёт западный марксизм. В 1919 году в Москве будет основан Третий, Коммунистический Интернационал, вдохновителем которого станет марксист восточного толка, Ульянов-Ленин.

Маркс был учёный, философ и общественный деятель, причём все эти три вида деятельности были в нем неразрывно слиты. Он начал с философии, но вскоре стал заниматься экономикой. В экономике главным достижением Маркса была его модель расширенного капиталистического производства. Эта вполне реалистическая модель была изложена им на неуклюжем языке того времени: как и другие экономисты, Маркс не владел математическим аппаратом, нужным для этих исследований. Теперь эта модель называется моделью Маркса — фон Неймана, по имени математика, давшего ей современное изложение. В наше время это одна из многих моделей математической экономики, отнюдь не исчерпывающая явление "капитализма" и, во всяком случае, не позволяющая предсказать его судьбу. Маркс экстраполировал свою модель в будущее, не предвидя качественных изменений в способе капиталистического производства и в общественной жизни — в частности, вмешательства государства в рыночное хозяйство, и особенно в вопросы труда и заработной платы. Выводы, сделанные Марксом из его модели, относились уже не к науке, а к философии, или, точнее, к созданной им "религии".

Сам Маркс считал своим главным открытием в экономике не эту модель, а "теорию прибавочной стоимости", которая, по его мнению, доказывала "несправедливость" капиталистического строя. Этой теорией, несостоятельной в научном отношении, мы теперь и займёмся.

Центральное место в политической экономии ещё до Маркса занимало введённое Рикардо понятие "трудовой стоимости". Мотивом его введения было стремление объяснить образование цен. Уже

Адам Смит допускал, что наряду со случайными рыночными ценами каждый товар имеет некую "внутреннюю" или, как он говорил, "естественную" цену, определяемую не спросом и предложением, а *самим товаром* — его свойствами как материального тела. Вот решающее место, цитируемое Марксом в его работе "Заработная плата, цена и прибыль":

"Естественная цена как бы представляет собой центральную цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более высоком уровне, а иногда несколько понижать по сравнению с нею. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, цены постоянно тяготеют к нему".

Понятие "естественной цены" товара и было первоначальной научной ошибкой, породившей понятие "стоимости". Дэвид Рикардо был классик экономической науки. Он ввёл понятие ренты, то есть уровня дохода, который является важнейшим стимулом экономической деятельности, и выяснил её связь с производительностью труда и затратами производства. Его главной ошибкой, перешедшей к Марксу и имевшей важные исторические последствия, была "трудовая теория стоимости". Как это часто бывает с ошибками великих учёных, она поучительна и заслуживает особого внимания. Чтобы понять её происхождение, надо принять во внимание интеллектуальный климат эпохи — начала девятнадцатого века. Мировоззрение этой эпохи определялось механикой, самой развитой в то время наукой, заложившей основы современного естествознания. В механике господствовало понятие *силы*, введённое Ньютоном в его теорию тяготения и заимствованное из повседневной практики человека. Конечно, сила тяготения, действовавшая через пустое пространство, не похожа была на силу человека и животных, применяемую в их работе, что и вызывало трудности у Галилея. Но происхождение этого понятия не вызывает сомнений. Понятие *работы* тоже нашло своё место в механике: самое слово появилось у физиков позже, но работа по существу входила уже в "уравнение живых сил" Лагранжа. Это старинное название того, что мы теперь называем законом сохранения энергии, ярче всего свидетельствует о переносе законов Ньютона из небесной механики в механику земных механизмов, то есть в новое инженерное искусство.

Вряд ли Рикардо читал работы Лагранжа, но представление о том, что применение силы к некоторой системе изменяет её состояние, и что это изменение допускает численную оценку, было уже воспринято промышленной практикой. Простейшим примером та-

кой деятельности была работа шотландских женщин или чилийских грузчиков-индейцев, поднимавших из шахт корзины с рудой. На нашем языке эта работа выражалась в возрастании потенциальной энергии руды, причём величина возрастания зависела в этом частном случае лишь от высоты подъёма, но не от подробностей этой операции, и в среднем была пропорциональна времени труда. Рикардо представлял себе, что превращение сырья в товар, или одного товара в другой, можно разбить на этапы, соответствующие простым трудовым операциям. Если измерить затрату труда на каждом из этих этапов числом рабочих часов, то общее число часов, как полагал Рикардо, может служить мерой приращения "ценности", или "стоимости" товара, по сравнению со "стоимостью" сырья. Но тогда, прибавив это число к уже известной цене сырья, можно получить "естественную" цену товара.

Эта процедура выглядела похожей на вычисление приращения механической энергии у Лагранжа, что несомненно поддерживало репутацию "трудовой теории стоимости". Но Рикардо не мог не видеть и различия между этими построениями. В механике — что самое важное — приращение энергии не зависело от этапов перехода системы из начального состояния в конечное, а только от этих состояний. Системы, для которых верна теорема Лагранжа, называются "консервативными": таковы системы небесной механики и, с некоторым приближением, многие технические устройства. Но при изготовлении товара этапы производства и трудовые операции могут выбираться по-разному, так что общее время работы не является постоянной величиной; оно в особенности зависит от применяемой техники. Поэтому то, что Рикардо называет приращением стоимости, зависит не только от начального и конечного состояния товара: экономические системы заведомо "не консервативны".

Рикардо сознавал эту трудность. Он пытался справиться с ней, говоря об "общественно необходимом" времени труда, то есть допускал зависимость "стоимости" от наличной техники и представлял себе, что при данном состоянии техники берётся "среднее" время, необходимое для каждой операции. Но и это не решало дела: в конце жизни Рикардо усомнился в самом понятии "стоимости".

В физике процедура Лагранжа получила широкое применение. Материальной системе приписывается содержащаяся в ней энергия, энтропия, и т. п.; но при этом приращения рассматриваемой величины должны зависеть лишь от начального и конечного состояния системы, а не от способа перехода из первого во второе; кроме того, в физике *все приращения величин вычислимы*, тогда как в экономи-

ке затраты труда невозможно выразить объективно установленным числом. Поэтому "стоимость" — вовсе не *величина* в смысле естествознания.

Что же такое "стоимость"? Это иллюзорное понятие, аналогичное "флогистону" и "эфиру" старой физики и родственное "сущностям" философии Аристотеля, от которой все такие заблуждения произошли. Следуя Аристотелю, схоласты средневековья пытались понять "сущность" производства и торговли. Фома Аквинский считал, что труженик является естественным собственником произведённого им продукта. В этом выразилась также социальная доктрина христианской церкви, о которой уже была речь в главе 6: эта доктрина признавала только "трудовую" собственность. Рикардо, разработавший незадолго до Маркса теорию "трудовой стоимости", был вовсе не социалист, а либерально настроенный капиталист. Эта теория имела, таким образом, долгую историю, но отнюдь не прочное обоснование. Маркс, перенявший у Рикардо эту теорию, получил только гуманитарное образование, в котором главное место занимала философия — особенно философия Гегеля. Маркс не был "полуинтеллигентом"-самоучкой, как утописты, но он не знал науки своего времени. Об этом свидетельствуют многие места его сочинений, и прежде всего родственные им сочинения Энгельса — "Диалектика природы" и "Анти-Дюринг"[1].

Маркс полагал, что "метод" Гегеля — его "диалектика" — составляет самую сущность всякого глубокого мышления, ключ ко всем открытиям во всех областях. Он думал (и подчёркивал), что учёные, работающие в конкретных науках, "бессознательно" применяют "диалектическое мышление", и был уверен, что *сознательное* применение этого метода в экономике даёт ему решительное преимущество перед усилиями его коллег. В действительности же он внёс в свои представления, вместе с гегелевской философией, схоластические способы образования понятий, не контролируемые экспериментом. Вот что он говорит в оправдание своего подхода (в той же работе)[2]:

"Рассматривая товары *как стоимости*, мы рассматриваем их исключительно как *воплощённый, фиксированный* или, если угодно, *кристаллизованный общественный труд.* С этой точки зрения они могут *отличаться* друг от друга лишь тем, что представля-

[1] Уверенный тон суждений Маркса и Энгельса основывается в таких случаях вовсе не на знании. Гегель был анекдотически невежествен в естественных науках, но так же уверен в себе. Было бы слишком скучно перечислять их ошибки.

[2] Все курсивы этой цитаты принадлежат Марксу.

ют большее или меньшее количество труда. Например, на шёлковый платок может быть затрачено большее количество труда, чем на кирпич. Однако чем измеряется *количество труда? Временем, в течение которого продолжается труд*, — часами, днями и т. д. Для того чтобы к труду можно было прилагать эту меру, все виды труда должны быть сведены к среднему или простому труду, как их единству.

Итак, мы приходим к следующему заключению: товар имеет стоимость потому, что он представляет из себя *кристаллизацию общественного труда. Величина* его стоимости или его *относительная стоимость* зависит от того, содержится в нем большее или меньшее значение общественной субстанции, т. е. она зависит от относительного количества труда, необходимого для производства товара. Таким образом, *относительные стоимости товаров* определяются *количествами* или *суммами труда*, которые *вложены, воплощены, фиксированы в этих товарах. Соответствующие* количества товаров, для производства которых требуется *одинаковое рабочее время*, равны. Или: стоимость одного товара относится к стоимости другого товара, как количество труда, фиксированное в одном из них, относится к количеству труда, фиксированному в другом".

Только что приведённый отрывок демонстрирует абстрактное мышление Маркса. Конечно, упорное повторение одних и тех же слов ("вложенный, фиксированный, кристаллизованный в товаре труд") должно означать некоторое "количество", связанное с физическим телом товара, а не с его рыночной оценкой (иначе "стоимость" не нужна!). Можно представить себе, что в шёлковый платок "вложено" больше труда, чем в кирпич — но *во сколько раз больше*? В этом всё дело, и здесь Маркс ничего не может прибавить к своим философским рассуждениям. Требуется найти *число*, а нам говорят о "единстве" и "общественной субстанции". Пока нет способа выразить "стоимость" числом, всё это "слова, слова, слова". Новый способ выделки кирпичей или изготовления платков может изменить то отношение часов труда, о котором говорит Маркс, но при этом кирпич и платок могут остаться теми же телами. Конечно, можно сказать, что теперь изменилось число "*общественно необходимых*" часов труда, но *во сколько раз*? Мы не можем определить величину "стоимости", *рассматривая самый товар*, а должны ещё знать *всю процедуру его изготовления.* Но тогда все разговоры о "воплощённом, фиксированном, кристаллизованном" в товаре числе часов не имеют смысла. "Стоимость" — не *величина* в смысле естествознания, а философская фикция. Рыночная цена товара не связана ни

с какой его “естественной” ценой, потому что “естественной” цены у товара нет.

Большую трудность представлял для Маркса особенный товар — *рабочая сила.* Ещё Рикардо видел, что рабочий *продаёт* предпринимателю своё согласие выполнять определённую работу в течение определённого времени, так что это его согласие есть тоже товар, выходящий на рынок наравне с другими товарами. Маркс решил определить “стоимость” этого товара таким же способом, как стоимость всех других товаров: числом часов, необходимых для производства рабочей силы, то есть для поддержания способности рабочего выполнять условленную работу (и подготовлять потомство, необходимое для воспроизводства своей рабочей силы). Иначе говоря, все вещи, нужные для жизни рабочего и его семьи — в предположении, что эта жизнь не имеет никаких других целей, кроме работы — имеют совокупную “стоимость”, которая и принимается за “стоимость” его рабочей силы. Маркс очень гордился этой конструкцией и сделал из неё далеко идущие выводы.

Конечно, численная величина этой “стоимости” ещё труднее поддаётся определению, чем в случае обычных товаров. Но *предположим*, что все нужные “стоимости” известны. Что же происходит, согласно Марксу, на капиталистическом предприятии?

Маркс допускает, что на рынке все товары, включая рабочую силу, покупаются в точности по их “стоимости”, то есть, выражаясь языком Адама Смита, по их “естественной” цене. В частности, рабочий получает заработную плату, равную “стоимости” проданной им рабочей силы, то есть (с точки зрения рыночного хозяйства) капиталист его “не обманывает”. Но рабочий день, входящий в понятие “рабочей силы”, имеет продолжительность, вовсе не связанную с потребностями или вкусами рабочего; он задаётся общественными условиями: более короткий рабочий день капиталист не купит, а на более длинный рабочие не пойдут — или не способны. За “стандартный” рабочий день рабочий производит товар, “стоимость” которого всегда *больше* “стоимости” его рабочей силы. Разность между “стоимостью” произведённого товара и “стоимостью” затраченной рабочей силы Маркс называет “прибавочной стоимостью”. Эту разность, — говорит Маркс, — и присваивает капиталист, продав произведённый товар. Получается так, *как будто* рабочий уже за часть своего рабочего дня производит “стоимость”, равную “стоимости” его рабочей силы, а всё остальное время трудится *даром.*

Выражение “как будто” нуждается, конечно, в пояснениях. Поддержание, а тем более создание производства требует от капитали-

ста затрат, да и сам капиталист вкладывает в производство *свою* рабочую силу (в старину он и в самом деле часто управлял производством). Если всё это учесть, то всё равно капиталист получает *доход.* Если в предприятие вложен некоторый капитал, то в среднем годовой доход с него ("норма прибыли") составляет в наше время около 11%, а в прошлом был значительно выше. Если даже принять в расчёт периодические расходы на модернизацию, то всё равно доход остаётся: капиталист кладёт его себе в карман и использует, как хочет. Если бы не было этого дохода, никто бы не становился капиталистом.

Получение дохода собственниками предприятий — это факт, которого никто не оспаривает, совершенно независимо от каких-либо "теорий стоимости". Вопрос состоит в том, *справедливо это или нет*?

Слово "это" означает здесь, конечно, рыночную систему с наёмным трудом, то есть *капитализм,* при котором извлекается этот доход. Сложнее понять, что имеется в виду под словом "*справедливость*". Это понятие нельзя определить в терминах экономики. "Справедливость" — ценностное понятие. Оно предполагает *систему ценностей,* зависящую от господствующей культуры. Если считать справедливыми учреждения, не противоречащие *законам* данного общества, то, как отмечает сам Маркс, капитализм, при котором все товары покупаются по их "стоимости", вполне справедлив; столь же справедлив был капитализм в южных штатах Америки, где было рабство: по законам этих штатов, раб рассматривался как товар (не рабочая сила раба, а сам раб!), и если раба покупали по его "стоимости", то не возникало проблем. Очевидно, под "справедливостью" понимают нечто иное, чем простое соблюдение законов.

Подлинную систему ценностей, на которой в действительности основываются наши суждения о том, что "справедливо", и что нет, доставляют нам *моральные правила* нашей культуры, происходящие из племенного общества и имеющие, как мы знаем, инстинктивный характер. Важное моральное правило, часто забываемое, но неизменно вспоминаемое снова и снова, состоит в том, что *каждый должен вознаграждаться по его полезному для общества труду.* Это правило гораздо старше всякого "социализма": оно испокон веку применялось к оценке личности человека. Само собой разумеется, нет никакого общего способа оценить выполненный человеком труд и, тем самым, его личность: такие оценки зависят от исторических условий и человеческих понятий в данное время и в данном месте. Но ведь и чувства людей не оцениваются численно: речь идёт не

об измерении справедливости. Несомненно, что при капитализме, то есть в рыночном хозяйстве с наёмным трудом, предприниматель получает гораздо бóльшую долю от проданного товара, чем наёмный рабочий. Если вы верите, что его особый вклад в производство заслуживает такого чрезвычайного вознаграждения, то вы можете найти такое распределение дохода "справедливым" — даже если он акционер, лишь получающий дивиденды и никогда не видевший предприятия. Если вы в это не верите — а подавляющее большинство наёмных рабочих в это не верит — то вы и без Маркса осудите капиталистическую систему, при которой слишком много людей получает особые блага за свой статус собственника, то есть за бумаги, так или иначе оказавшиеся в их владении. Это ваше суждение будет носить *не количественный, а качественный* характер: вы не будете *в точности* знать, как много предприниматель получает без всяких заслуг.

Я привёл только что очень распространённое суждение, но не *моё* суждение, поскольку я занимаюсь в этой книге не выяснением того, чтó справедливо, а только описанием, как люди реагируют на так называемую "социальную несправедливость". Иначе говоря, я занимаюсь описанием происходящего, а не рассуждениями о том, чтó должно быть. Выяснение самого *понятия справедливости* — гораздо более трудная задача, за которую я не берусь.

Теперь вернёмся к Марксу и его "прибавочной стоимости". Суждения, которые я выше привёл, настолько распространены, что, как можно подумать, его построения ничего не могли к ним прибавить. Казалось бы, люди, к которым обращались социалисты, и так были убеждены в том, что капиталисты незаслуженно присваивают себе все упомянутые блага. Но особая историческая роль понятия "прибавочной стоимости" состояла в "рационализации" этого убеждения: оно создавало иллюзию, будто эти незаслуженные блага можно оценить *количественно*. В самом деле, *если* известна "стоимость" рабочей силы и "стоимость" произведённого этой силой продукта, то разность этих стоимостей, то есть "прибавочная стоимость", как раз и составляет незаслуженный доход капиталиста, то есть меру *эксплуатации* рабочего капиталистом!

В действительности *"стоимости" невычислимы и никогда не известны, и самое понятие "стоимости" — схоластическая философская конструкция; но эта конструкция вызывает доверие своей мнимой близостью к количественным построениям естествознания. Главное экономическое "открытие" Маркса — ловушка, замаскированная видимостью науки.*

Справедливость требует признать, что и Маркс, и Энгельс, и все их последователи — так называемые марксисты — *верили* описанной выше конструкции и, следовательно, не были сознательными обманщиками. Самые опасные заблуждения возникают таким путём. Но всё это не означает, что капитализм “справедлив”!

Итак, экономические идеи Маркса — это нереалистическая концепция “стоимости”, поддерживавшая классовую борьбу рабочих, и вполне реалистическая, но частная модель расширяющейся капиталистической экономики, из которой он сделал неправомерный вывод об “абсолютном обнищании” рабочего класса и о неизбежности социалистической революции. Влияние этих идей в девятнадцатом, и особенно в двадцатом веке трудно переоценить: они вызвали невиданную волну социальных движений и революций. Благодаря этим доктринам и их пропаганде Маркс сыграл роль пророка новой религии.

Но историческая роль Маркса этим не исчерпывается: Маркс был не только учёный, но больше *философ*. Рассел, посвятивший Марксу главу XXVII своей “Истории западной философии” [1], признаёт значение Маркса в области *философии истории* — и его влияние на своё собственное развитие. И всё же, создаётся впечатление, что заслуги Маркса в этой области у Рассела недостаточно подчёркнуты. Маркс понял значение — и стимулировал изучение — двух движущих сил истории: *экономических мотивов человеческого поведения и классовой борьбы.* Конечно, у Маркса были предшественники, но он осознал важность этих идей, как никто до него.

До Маркса историю объясняли либо волей богов, либо намерениями людей. Фукидид явно предпочитал второе объяснение, причём самые намерения людей выводил не только из их страстей, но также из их интересов; в этом смысле величайший историк древности был предшественник Маркса. Напротив, Гегель, учитель Маркса в философии, держался в объяснении истории первого способа: Гегель изображал историю как игру “Абсолюта”, последовательно выбирающего тот или иной народ для исполнения очередного спектакля. Конечно, это вариация старой темы преемственности наций (Восток — Греция — Рим — Галлия), но гегелевский Абсолют, по-видимому,

[1] В первом русском переводе, изданном с грифом “Для научных библиотек”, эта глава была опущена, и пропуск был скрыт сплошной нумерацией остальных глав. Впрочем, и в новом издании перевод настолько безграмотен, что смысл часто ускользает от читателя.

не только развлекается, но и сам развивается в ходе игры. Самая концепция исторического развития, конечно, была здесь не нова[1].

Философию истории Гегеля Маркс решительно отверг. Он объяснил историю как естественный процесс, детерминированный экономическими условиями. По Марксу, в этом процессе мало значит разумная воля людей: всё происходит по законам общественного развития, и Маркс полагал, что открыл главный из них: "Бытие определяет сознание". Он недооценил при этом другую сторону процесса взаимодействия: сознание, в свою очередь, определяет бытие. Без этого исчезли бы стимулы развития самой экономики: даже рубила наших древнейших предков изготовляли они сами, совершенствуя их по мере роста своего сознания. Но до Маркса как раз экономическая сторона истории находилась в пренебрежении, и его заслуга состоит в том, что он подчеркнул роль "бытия".

Ясно, что философия Маркса, столь заинтересованного общественной "практикой", должна была отразить роль практики уже в своей гносеологии. Отсюда и его "активизм": практика оказывается у Маркса критерием истины. Рассел справедливо отмечает, что Маркс впервые ввёл *в философию* этот подход, в сущности признающий решающую роль эксперимента.

Вторая заслуга Маркса перед философией истории — его концепция классовой борьбы. "Борьбу народов", составлявшую у Гегеля (и всех его предшественников) главное содержание истории, Маркс заменил борьбой классов. Конечно, это была другая крайность, но философия всегда движется из одной крайности в другую, и сам Гегель не стал бы против этого возражать, если бы только за "тезисом" и "антитезисом" последовал какой-нибудь синтез. Но, увы, философия истории после Маркса ни к какому синтезу не пришла.

Влияние Маркса на философию продолжается до сих пор. В американских философских журналах он остаётся самым популярным автором — конечно, потому, что поднятые им социальные проблемы до сих пор не решены. Маркс был последним "классиком философии", если это выражение имеет какой-нибудь смысл. За ним начинается уже критическая философия, не строящая больше философских "систем".

Но Маркс был не только учёный и философ, он был также политический деятель, и притом крайний радикал. Он не строил подробных планов будущего общества, чем так грешили "утописты", и

[1]Главные идеи философии истории (и права) Гегель заимствовал у Гердера, которому был и лично обязан, но на которого не ссылался. Впрочем, Гегель исправил план Абсолюта, чтобы завершить его прусской монархией.

всегда подчёркивал, что “научный” социализм не занимается фантазиями о будущем. Но процесс коммунистической революции он предвидел достаточно ясно, и эти его пророчества были подтверждены усердием его учеников — правда, не в тех странах, которые он имел в виду. В “Коммунистическом манифесте” его программа приводится в краткой, но весьма впечатляющей форме:

“Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности; неудивительно, что в своём развитии она самым решительным образом порывает с идеями, унаследованными от прошлого”.

Разумеется, философ может порвать с идеями прошлого, хотя и не со всеми, потому что и марксистская философия, как мы видели, имела свои исторические корни. Но человеческие массы никоим образом не способны к такому разрыву, а между тем революция должна была быть произведена их руками и ради них. Здесь просто опущена вся воспитательная работа, нужная для подготовки будущего человечества. По-видимому, пролетарий, освобождённый от первородного греха собственности, предполагается уже свободным и от всех унаследованных привычек. Дальше говорится:

“Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии”.

Из дальнейшего видно, что “демократия” означает здесь не права отдельного человека, а в лучшем случае права большинства:

“Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом капитал, централизуя все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно быстро увеличить сумму производительных сил. Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, т. е. при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают сами себя и неизбежны как средство переворота во всем способе производства”.

По-видимому, описываемые дальше мероприятия, как ясно авторам, сами по себе не могут “быстро увеличить сумму производительных сил”, поскольку они “кажутся недостаточными и несостоятельными”. Выход из этой ситуации содержится в загадочных словах: “перерастают самих себя”. В английском издании 1888 года Энгельс прибавил в этом месте пояснение: “делают необходимыми

дальнейшие атаки на старый общественный строй”. Таким образом, эти мероприятия носят не столько экономический, сколько политический характер — должны обессилить прежний господствующий класс. Чтобы “быстро увеличить сумму производительных сил”, потребуется нечто другое. Вот эти мероприятия, которые “в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены”:

“1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов.

2. Высокий прогрессивный налог.

3. Отмена права наследования.

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.

5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией.

6. Централизация всего транспорта в руках государства.

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней.

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и т. д.”

Очевидно, эта система мер установит и в самом деле “деспотическую” власть государства над всем населением, то есть власть руководителей “победившего пролетариата”. Но затем эта система насилия чудесным образом исчезнет, как доказывает следующее философское рассуждение:

“Когда в ходе революции исчезнут классовые различия и всё производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова — это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путём революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и своё собственное господство как класса.

На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех".

Маркс был человек сильных страстей, не умевший признавать свои ошибки. Он верил в себя, и если ему казалось, что он открыл истину, он яростно защищал её от всех возражений. Из таких людей редко получаются учёные, чаще — религиозные сектанты. Но у Маркса были также способности учёного, и он хотел, чтобы его прозрения были "наукой". Своё учение он назвал "научным социализмом". В молодости Маркс был гуманным и общительным человеком, и всю жизнь он искренне стремился помочь страждущим труженикам. Но преследования, эмиграция и политические дрязги испортили его характер. Он всё больше становился авторитарным главой секты. В действительности он не умел вести за собой массы и не способен был идти на компромиссы; оставаясь кабинетным учёным, он передал политические задачи другим. Но он уверенно предсказывал будущее, и в этом смысле исполнял функцию пророка. Был ли он *последним* пророком, покажет будущее, которое он так неверно предсказывал.

Маркс был пророком ещё в другом, более важном смысле: он создал новую *доктрину спасения человечества.* Эта доктрина была ересью христианства, подобно тому как христианство было ересью иудейской религии — при этом крайне радикальной ересью. Христианство можно было ещё изобразить как продолжение "материнской" религии, но марксизм вообще отрицает, что он религия, и претендует на совсем иной статус, более респектабельный в глазах современного человека: он хочет быть "наукой".

Между тем, его религиозные черты, связывающие его с иудеохристианской религией, очевидны. Христос изменил еврейское представление об "избранном народе", превратив его в общину праведных, тайный союз своих последователей: он скрывал, что он Мессия, и настаивал, чтобы апостолы не говорили о его чудесах. Союз, который возглавил Маркс, так и назывался: Bund der Gerechten, Союз Праведных (что чаще переводят как "Союз Справедливых"). Это был тоже тайный союз, и состоял он тоже из простых тружеников. Замысел Маркса тоже состоял в коренном улучшении человеческого общества, и он, так же как Христос, вызывал ироническое

отношение высших классов: немецкое выражение Weltverbesserer[1] представляет презрительное прозвище вроде тех, какие, вероятно, давали Христу раввины. Маркс, потомок раввинов, не считал себя верующим, и в самом деле не верил в бога, но он подсознательно ввёл в свою философию “первородный грех” и “избранный народ”, переделав их в соответствии с духом его времени. Первородным грехом стал для Маркса “капитал” — не просто “деньги”, а прибыль от наёмного труда, то есть “эксплуатация человека человеком”. Отсюда ясно, почему Маркс так торжествовал, когда открыл “прибавочную стоимость”: к этой конструкции его подталкивала подсознательная психическая установка. “Избранным народом” стал для Маркса класс людей, свободных от этого “первородного греха” — пролетариат. Естественно, Маркс хотел построить, с этим избранным народом, своё “тысячелетнее царство” — коммунизм. Главной эмоцией верующих марксистов было ощущение нечистоты имущих и чистоты неимущих. В их религии предполагалось, что можно освободить людей от первородного греха корысти *уже на этом свете*; Гейне сказал об этом знаменитыми стихами: Wir wollen hier, auf Erde schon / Das Himmelreich errichten[2]. Это было написано в пору наибольшей близости поэта к молодому Марксу.

Конечно, это была странная религия — религия без бога. Потом явились другие религии без бога, которые сами были уже ересями марксизма. Но каждая по-настоящему *новая* религия столь непохожа на прежние, что её не сразу признают религией: она должна отличаться от старых религий атрибутами своего божества. Евреи поняли, что бога нельзя изображать и называть по имени: они отняли у бога атрибут материальности, и язычники полагали, что у них нет настоящего бога. Марксисты отняли у бога атрибут существования, столь важный в христианском богословии, и отказались от веры в загробную жизнь. Может быть, это уж слишком радикально, но вспомним, что у древних евреев, тоже не знавших загробной жизни, религия обещала лишь земные блага. Может быть, человек, *снова ставший смертным*, удовольствуется таким блаженством?

Основанная Марксом земная религия имела бесчисленных верующих, героев и мучеников. Но его пророчества не сбылись. “Закон абсолютного обнищания рабочего класса” не оправдался — ещё при жизни Маркса пришлось это признать. Пролетарии Европы не стали устраивать дальнейших революций, а встали на путь компро-

---

[1] Улучшатель мира.

[2] Мы хотим уже здесь, на земле / Устроить небесное царство.

миссов с буржуазией, и сами постепенно превращались в "мелких буржуа". Но на Востоке — в ненавистной Марксу России — религия Маркса нашла пламенных неофитов, сделавших из неё нечто совсем другое, как это всегда бывает в истории религий. На старости Маркс, кажется, смирился с задержкой революции и с оппортунизмом европейских социалистов, предпочитавших синицу в руках журавлю в небе. Такова была судьба всех пророков, если их не удавалось вовремя распять.

4. Социал-демократы и современный капитализм

Марксизм дал сильный импульс рабочему движению в Европе. Люди, продающие свою рабочую силу, осознали свои общие "классовые" интересы и научились за них бороться. После революционных бурь середины века будущее общество, о котором говорили социалисты, казалось чем-то недостижимым. Рабочие чувствовали, что все попытки посягнуть на собственность натолкнутся на ожесточённое сопротивление. Но можно было заставить предпринимателей отдать бóльшую долю дохода, сговариваясь между собой и устраивая забастовки; и можно было заставить их улучшить условия труда, навязав им через парламент государственные ограничения.

Для такого нажима на хозяев нужны были рабочие организации — профессиональные союзы и партии. В Англии, под угрозой революции, правящей олигархии пришлось их разрешить. На континенте, где не было традиций парламентского правления, этот процесс занял целую половину века. Франция должна была стать, наконец, республикой, а Германия должна была отменить "исключительный закон против социалистов".

Постепенное улучшение положения рабочих обнаружило в них те самые черты, которые были ненавистны марксистам — рабочие сами становились чем-то вроде мелких буржуа. Свидетелем этого процесса был Герцен, вначале столь же пламенный революционер, как Маркс, но более свободный мыслитель. В конце жизни, в 1869 году Герцен написал "Письма старому товарищу" (Бакунину), опубликованные в неполном виде после его смерти; лишь в 1953 году появился их полный текст, по авторской рукописи. Письма Герцена представляют собой самый зрелый суд над *революционизмом* — стремлением как можно скорее переделать мир насильственным путём. Вот что он говорит, через двадцать лет после трагического расстрела рабочих на улицах Парижа, описанного им самим:

"Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный, юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу. ... Знание и пониманье не возьмешь никаким coup d'état[1] и никаким coup de tête[2]. Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо это, или нет? В этом весь вопрос. ... Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплочённый в одну дружину, мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать — но что было бы, если бы победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные борцы высказали всё, что у них было за душой? ... Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти...

Я нисколько не боюсь слова "постепенность", опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разуменья. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?

Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии. ...

Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти. ...

Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление, то это не её вина. Механика равно служит для построения железных дорог и всяких пушек и мониторов.

[1]Государственным переворотом.
[2]Силовым решением.

Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем. ...

Я не верю в серьёзность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращённая к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нужны нам прежде авангардных офицеров, прежде сапёров разрушения, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам. ...

Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и кристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила уничтожит вместе с межевыми знаками и те *пределы* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации.

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказнила статуй, картин и памятников, — нам не пристало играть в иконоборцев".

В этих же письмах Герцен объясняет сложную природу собственности и различие между собственностью, нажитой личным трудом, и собственностью, приобретённой чужим трудом. Он указывает прежде всего на землю, принадлежащую крестьянину и обрабатываемую им самим, с его семьёй. При нынешнем состоянии человеческой психики, — говорит он, — было бы безумием посягнуть на эту собственность и на право её передачи наследникам. Герцен видит также, что и промышленный рабочий привязывается к своему скудному имуществу и представляет себе лучшее будущее как приращение этого имущества. Попытки игнорировать это исторически сложившееся отношение к собственности ведут к катастрофе — к *развалу экономики, нищете и гибели культуры.* Это понял Герцен, но этого никогда не могли понять марксисты. История доставила им странные места для опытной проверки их доктрины — Россию и Китай.

Подобно христианству, марксистская религия раскололась на две ветви — западную и восточную. В обеих ветвях конечная цель развития человечества описывалась одинаково: это должно было быть "бесклассовое" общество, то есть общество без частной собственности и наёмного труда, с рационально планируемым общественным производством и без государственной власти, которая са-

ма собой “отомрёт”. Предполагалось, что в таком обществе, освобождённом от “первородного греха” собственности, получат свободное развитие лучшие возможности человека, носителем которых является в наше время “сознательный пролетарий”. Восточные марксисты, считавшие себя единственными наследниками марксистской ортодоксии, называли это будущее общество словом “коммунизм”. Западные социалисты тоже признавали такое общество своей конечной целью, но называли эту цель “социализмом”. Впрочем, очень скоро они перестали принимать эту цель всерьёз: бытие определяло их сознание. Один из лидеров западного марксизма, Эдуард Бернштейн, выразил своё неверие в конечную цель знаменитым изречением: “Движение для меня — всё, цель — ничто”. Это принципиальный отказ от всякой стратегии общественного движения, о которой говорил Герцен, обессмысливающий всю деятельность европейских социалистов. Любопытно, что все формы “активизма”, распространившиеся в двадцатом веке — движения, называвшие себя фашистами, “повстанцами”, “партизанами” — подчёркивали существенную роль самого “движения”, считая несущественной его цель. Можно сказать, что Бернштейн выдал своим афоризмом тайну всех людей, инстинктивно жаждущих что-то немедленно сделать, но в сущности не знающих, чего они хотят. Конечно, при такой психической установке “движение” преследует только *ближайшие* цели, подсказываемые текущим положением вещей. Это может быть то, что в данный момент понятно массе людей, но этого мало для тех, кто думает о будущем.

Я уже не раз говорил о локальных и глобальных мотивах поведения. Напомню простейшую модель, позволяющую это понять. Представьте себе, что вы движетесь по неровной местности, с впадинами и холмами, и что ваша цель — подняться как можно выше, что символически может означать “возможно большее счастье”. Тогда простейшая тактика поведения может состоять в том, чтобы двигаться в направлении градиента, то есть в сторону наибольшего подъёма. Конечно, это может оказаться слишком трудным, и вы можете подниматься какими-нибудь зигзагами, но вы всё время будете идти в сторону большей высоты. Если вы и не видите, *куда* идёте (следуя девизу Бернштейна), то рано или поздно окажетесь на вершине одного из ближайших холмов. Но когда вы на неё подниметесь, может случиться, что перед вами откроются более высокие вершины (пусть только в воображении или на карте!). Чтобы до них добраться, потребовалось бы *спуститься* с достигнутой высоты и начать путь к выбранной вами более отдалённой вершине, а затем,

вероятно, вам пришлось бы одолеть *особенно крутой подъем.* Таков закон человеческого дерзания: это была бы уже не тактика, а стратегия вашего счастья!

Но тот, для кого “движение — всё”, ни о какой стратегии не задумывается: для него существует лишь *градиент*, то есть видимое в данный момент направление вверх. Таким градиентом в истории европейских рабочих оказалось повышение “уровня жизни”, то есть покупательной способности заработной платы. Тем самым единственным мотивом их поведения стало стремление *немедленно* повысить своё потребление. Другие мотивы марксистской религии были отодвинуты в отдалённое будущее. Вожди социал-демократии, ориентируясь на ближайшие, и прежде всего избирательные перспективы, научились думать только в терминах заработной платы. Массовые партии, созданные ими в разных странах Европы, разучились даже обещать что-нибудь, кроме материального благополучия. Следствием этого стал застой. В самом деле, представьте, что вы взобрались на самую вершину ближайшего холма. Ваша программа (не фиктивная партийная программа, где могли уцелеть какие-нибудь реликты прошлого, а выученная вами программа движения по градиенту!) тут же отказывается служить: вам вообще незачем больше двигаться. Вы усаживаетесь на вершине холма и наслаждаетесь жизнью.

Однако, в отличие от описанной неподвижной местности, рельеф общественной жизни постепенно меняется, а иногда и резко меняется, когда случаются кризисы. Вы видите вдруг, что почва под вами колеблется, и вот вы уже не на вершине холма, а на склоне! Теперь вам придётся снова карабкаться вверх, чтобы усесться на новой вершине — до следующего толчка. Всё это скорее напоминает поведение насекомых, чем человеческую жизнь. Но такова жизнь нынешнего западного общества.

Европейская социал-демократия сложилась под сильным влиянием марксизма, но она имела и другие источники. В Англии, где Маркс прожил много лет, его влияние было гораздо меньше, чем на континенте Европы. Началом рабочего движения в Англии был чартизм, возникший в сороковые годы, и это движение с самого начала ставило себе только “материальные” цели — что бы ни писали в своих программах лейбористы. В Германии настоящим инициатором массового рабочего движения был Лассаль, не философ, а оратор и пропагандист, и его влияние склоняло партию скорее к сотрудничеству, а не к вражде с государством. Лассаль не нашёл ничего интересного в учении о “прибавочной стоимости”, и хотя марксизм

долго держался в программах германских социал-демократов, их направлением стал "оппортунизм" — стремление к ближайшим *возможным* целям, о чём и говорил Бернштейн.

Сильные социалистические партии марксистского направления развились во Франции, в Италии, в Испании и во многих других европейских странах. В Швеции социал-демократы были у власти в течение полувека, с небольшими перерывами. Но во всех случаях стратегические цели социалистов были забыты. Их вытеснили тактические соображения: ближайшие выборы — вот предел мышления западных социалистов! Как мы видели, Герцен рекомендовал гибкую тактику, рассчитанную на приготовленную историей психику народной массы. Но Герцен выдвигал на первое место *воспитание* этой массы, чтобы можно было вести её к более высоким целям. У европейских социалистов эти отдалённые цели мертвы: они не умеют воспитывать массы и не знают, зачем.

Маркс и Энгельс, стараясь отмежеваться от "утопистов", намеренно отказывались от всяких гипотез о будущем обществе. Они предполагали, что устройством этого общества займутся вожди победившего пролетариата; и когда Ленин оказался перед этой задачей, он горестно констатировал, что о будущем обществе у "классиков марксизма" ничего нет. Конечно, партия, так много говорившая о планировании производства и обличавшая буржуазную "анархию производства", *должна была* заранее думать о том, что она будет делать, захватив государственную власть. Меры, перечисленные в "Коммунистическом манифесте", предназначались только на переходное время. Они и были применены в России — и привели к катастрофическим последствиям.

Социал-демократы не думали о захвате власти, а если они побеждали на выборах и пытались осуществить какие-то части своих программ, то ограничивались "национализацией" некоторых отраслей промышленности, как это было в Англии после 1945 года, или во Франции в 80-ые годы. На эти робкие меры капиталисты отвечали решительным сопротивлением, и социалисты сразу же отступали, под угрозой экономического спада. Массы не согласны были спуститься с ближайшего холма!

Застойное общество Запада неспособно изменить себя, оставаясь при своей тактике рефлекторно реагирующих насекомых. Но оно не сможет выжить в таком виде. Ему *придётся* сойти со своего холма.

Глава 12

Русская революция и коммунизм

1. Сущность коммунизма

Как мы видели, первые социалисты не придавали особого значения государству и не занимались политической деятельностью. Оуэн представлял себе, что будущий общественный строй может мирно вырасти на почве современной ему Англии и искал поддержки правящих классов; Фурье не требовал политических перемен и хотел устроить свои фаланстеры на деньги капиталистов. Только Сен-Симон связывал свои проекты с государством и представлял себе, что будущее государство, во главе с правительством из промышленников и учёных, будет планировать экономическую жизнь. В этом Маркс был, по существу, последователем Сен-Симона. Но Маркс всячески старался отмежеваться от "утопистов" и остерегался строить планы идеального общества. Впрочем, он предвидел, что старые правящие классы не согласятся отказаться от своих привилегий и окажут сопротивление «социалистической революции". Как мы помним, на этот случай в "Коммунистическом Манифесте" были предусмотрены насильственные меры, получившие название "диктатуры пролетариата". Термин этот также принадлежит Марксу; он был высказан им случайно, в одном письме, но Ленин взял его на вооружение.

Коммунистическая утопия, провозглашённая почти одновременно с социалистической — в сороковые годы девятнадцатого века — имеет с ней общие черты: в обоих случаях целью было создание общества без "эксплуатации человека человеком". Но между этими двумя доктринами были важные различия — в целях и средствах. В том и другом коммунизм был более радикален.

Что касается *целей*, то социалисты требовали не столь радикального изменения социального поведения человека. Они выдвинули лозунг: "От каждого по его способностям, каждому по его труду", признавая тем самым, что у людей могут быть разные способности, и что обществу — даже идеальному обществу будущего — придётся в некоторой степени контролировать их деятельность. Это предполагает некоторый общественный аппарат: Луи Блан говорил об "орга-

низации труда", и республиканцы 1848 года пытались устроить "национальные мастерские". Можно понять, почему социалисты впоследствии примирились с идеей государственного вмешательства в экономику и стали участвовать в политической жизни демократических стран.

Коммунисты, напротив, надеялись настолько изменить поведение человека, чтобы его уже не надо было контролировать. Их лозунг гласил: "От каждого по его способностям, каждому по его потребностям". Это означало, что в идеальном обществе каждый будет работать в полную меру своих сил, при полном доверии общества к этим усилиям. В таких условиях государство должно будет за ненадобностью отмереть: коммунисты всегда считали государство аппаратом классового насилия и потому ненавидели всякую государственную власть. В этом коммунизм напоминает анархизм.

Если теперь перейти к *средствам*, то и в этом отношении социалистическая доктрина не столь радикальна, как коммунистическая. Она мирится с "буржуазной" демократией, потому что этот строй даёт социалистам возможность свободно пропагандировать свои взгляды. Социалисты надеются даже достигнуть своих целей мирным путём, с помощью выборов и парламентских реформ. Насилие вызывает у них отвращение: они не верят в продуктивность насильственных методов, хотя и уверяют, что готовы прибегнуть к силе для защиты демократических свобод. Социалисты хотят жить и добиваться своих целей в свободном обществе, при твёрдом соблюдении законов. Средства, применяемые социалистами, признают особое значение человеческой личности; в этом смысле их доктрина представляет собой умеренный коллективизм.

Напротив, коммунистическая доктрина, предполагающая в человеке гораздо бóльшую потенцию развития — вряд ли совместимую с его инстинктами — верит в необходимость и полезность "революционного насилия". Только в борьбе, в насильственных конфликтах может быть преодолено сопротивление "классового врага", и вместе с тем достигнуто освобождение "пролетария" от болезненных извращений классового общества. Маркс говорил: "Есть только одно средство укоротить, ускорить корчи старого общества: кровавые родовые муки нового — это революционный террор". Теоретически он рассматривал террор как крайнее средство и хотел его по возможности избежать. Но ему не удавалось сдержать эмоции революционера, обострённые изгнанием и преследованиями: "классовая борьба" всегда вызывала у Маркса жгучую ненависть к своим врагам и ко всему старому миру, который он хотел разрушить. Террор

против “классового врага”, несомненно, вызывал у него также и эмоциональное одобрение.

Вера в творческую роль насилия — очень старая философия. Мы находим её ещё у Гераклита, видевшего в войне “начало всех вещей”. Гёте называет это начало устами Фауста “благотворно созидающим насилием” (heilsam schaffende Gewalt), и это представление стало одним из лейтмотивов немецкого романтизма. Очищение кровью входило в ритуалы всех древних народов, и не так уж странно, что ученики Гегеля — Маркс и Энгельс — переняли у него и эту сторону магического мышления. Анархист Бакунин выразил это представление в ещё более чувственной форме: “Наслаждение от разрушения есть также творческое наслаждение” (Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust).

Коммунисты всегда смешивали гражданскую свободу с анархической свободой “вседозволенности” и, хотя они были врагами государства, настаивали на дисциплинированных действиях “сознательных пролетариев”. Их вера в творческое насилие ввела их в соблазн использовать государство против своих врагов. Конечно, марксисты не смущались этим противоречием, а объясняли его своей диалектикой: отрицание государства было для них “тезисом” гегелевской триады, “диктатура пролетариата” — “антитезисом”, а “синтезом” должно было стать, естественно, “отмирание государства”. Как известно, из коммунистического эксперимента получился совсем другой “синтез”.

Как мы видели, социализм был проявлением социального инстинкта в форме религиозного движения. Развитию этого движения в Европе (и в Северной Америке, представлявшей колониальный вариант европейской цивилизации) препятствовал сложившийся там буржуазный строй, сковывавший религиозную потенцию человека. Герцен очень рано почувствовал это препятствие: Европа оказалась “слишком буржуазной” (или, по созданному им русскому выражению, “слишком *мещанской*”). Этот мещанский элемент, привитый к социализму, придал ему “светский” характер социального реформизма (что и составляет содержание социал-демократии). Уже самое выражение, сочетающее два понятия, передаёт гибридный характер этого явления: в нем социальный инстинкт мирится с “демократическим” строем, то есть с буржуазным государством.

Социализм возник как ересь христианства. Эта новая религия тотчас обзавелась собственной ересью — коммунизмом. Но в Европе эта крайняя секта не имела шансов на успех, из-за снизившейся религиозной потенции европейского человека. Распространение рели-

гий во многом напоминает распространение болезней. Как известно, многие вирусы, слабо действующие на организм европейцев, давно уже выработавший против них антитела, вызывали опустошительные эпидемии в незащищённых от них популяциях. Так же обстояло дело с коммунизмом. В Западной Европе коммунизм проявлялся лишь в виде кратковременных вспышек, при общем ослаблении общества нищетой или отчаянием. Такими вспышками были, задолго до Маркса, восстание Уота Тайлера, Жакерия, Мюнстерская Коммуна. Уже при жизни Маркса Парижская Коммуна продемонстрировала те же черты религиозного энтузиазма. Но в Европе для коммунизма не было "массовой базы". Подходящей для него почвой оказалась Россия, потрясённая Первой мировой войной.

Общественные движения, в своём историческом развитии, изменяются до неузнаваемости, но обычно сохраняют своё словесное выражение. Христианство сохранило свои священные легенды и свои заповеди, но трудно найти общие черты между общиной галилейских бедняков, собравшейся вокруг Христа, и пышными церемониями во дворцах Ватикана. Такая же пропасть отделяет утопии первых коммунистов-утопистов от социал-демократов нынешней Европы и от чиновников сталинского режима, по-прежнему изображавших из себя "коммунистов". Начиная рассказ о русской революции и её последствиях, я хотел бы ещё раз предупредить об опасной *инерции слов*. Те, кто называли себя коммунистами в России, были в разное время совсем разные люди. Большевики-утописты, безжалостные к себе и к другим, были истреблены ренегатами, повторявшими те же слова, а потом этих кровавых комедиантов сменили нечистые на руку чиновники, устроившие "обыкновенный фашизм". Особенность массового сознания, сохраняющего старые названия для новых явлений, можно назвать семантическим идиотизмом; она испокон веку помогала ловким политиканам обманывать людей.

В этом термине нет презрения к простому человеку, который, при всех исторически обусловленных ограничениях его сознания, может быть и обычно бывает искренне верующим последователем своих наставников и вождей. Но масса людей слишком часто проявляет инертность в своей привязанности к старому и легковерие в своём восприятии нового, приводящие в отчаяние всех добросовестных друзей человеческого рода. Не раз и не два эти добрые люди жаловались на "невероятную коллективную глупость человечества", мало задумываясь о его воспитании и, по-видимому, сваливая эту задачу на школу и коммерческую рекламу.

История русской революции продемонстрировала несостоятельность социалистических утопий и планов “диктатуры пролетариата”, изложенных в “Коммунистическом манифесте”. Общество невозможно изменить ни внезапным пробуждением доброй воли, ни насильственным проведением благодетельных мер.

2. Россия

В Новое Время человеческий дух развивался главным образом в Европе. Вне Европы был духовный застой: различные общества застыли в той или иной стадии развития и больше не производили новых идей. Типичным примером такого застойного общества был Китай, соединивший в себе материальную самодостаточность с духовным самодовольством. Культурные страны Ближнего Востока и Индия исчерпали свою религиозную потенцию и впали в спячку. В остальной части мира жили отсталые племена, которым история не дала времени самостоятельно созреть. Идеи рождались в Европе, и оттуда распространялись на весь мир.

Было бы очень трудно — при современном состоянии историографии даже невозможно — объяснить, *почему* так получилось. Я ограничусь поэтому констатацией того, *чтó* происходило в Новой истории: весь мир заимствовал у европейцев не только технические навыки, но ещё больше системы мышления и чувствования, то есть воспринимал европейскую духовную жизнь.

Процесс усвоения европейских идей сталкивался с культурными препятствиями, с традициями других культур, более или менее далёких от европейской. Мы очень мало знаем о психологии различных культур, особенно неевропейских. Но можно предполагать, что к восприятию европейских идей были больше всего готовы народы, близкие к европейцам по происхождению и языку, хотя и не влившиеся в русло общеевропейского развития. Такими народами были славяне, в частности, русские.

До татарского нашествия история России была частью истории европейского феодализма. Племена, из которых возник русский народ, были индоевропейского происхождения; славяне были при этом ближе к германцам, чем к грекам, римлянам или кельтам. Как почти все страны Европы, Русь подверглась германскому завоеванию: подобно тому, как франки дали имя Франции и англы — Англии, Россия получила своё имя от шведских завоевателей, родственных норманнам. Финны и до сих пор называют своих соседей-шведов именем “росс”, а на Руси их называли другим словом германско-

го происхождения — варягами. Варяги растворились в России, как норманны в Англии, дав завоёванной стране княжеские династии. Христианство пришло в Россию в конце десятого века, чуть позже, чем к скандинавам. Это было греческое, а не римское христианство, и случившийся вскоре раскол церквей отдалил Россию от Европы. Но в основном, до 13-го века русские княжества развивались по образцу, общему для всей феодальной Европы. Татарское завоевание прервало этот процесс и надолго привязало Россию к Азии.

Характерным признаком русской культуры была её крестьянская община. Открытие этой общины немецкими учёными показалось вначале сенсацией, но потом обнаружилось, что такие же общины были в средневековой Германии и до сих пор сохранились в Индии: это была первоначальная земледельческая культура всех индоевропейцев. Но в Западной Европе сельская община не сохранилась до Нового времени, а в России она уцелела — точно так же, как в Индии — под прикрытием помещичьего землевладения. Коллективизм общинной жизни был пережитком племенной эпохи, и в нем отчётливо проявлялся тот *социальный инстинкт*, который в более развитых обществах был фрустрирован институтом частной собственности. Этот коллективизм племенных обычаев выражался в решении дел общей сходкой и в совместном владении землёй, с периодическими переделами участков. Переделы земли служили для того, чтобы все члены общины могли получить, по очереди, выгодные участки: на современном языке, это предотвращало возникновение земельной ренты. Племенные обычаи, описанные у нас в главе третьей, возникли на более ранней, охотничьей стадии развития. Если вы перечитаете это описание, то оно скорее всего напомнит вам американских индейцев и, несомненно, вызовет у вас симпатию; эти обычаи вызывали восхищение просветителей восемнадцатого века. Но люди с подобными обычаями жили у нас в России сто лет назад: это были русские крестьяне.

Первыми, кто заметил особые обычаи и понятия русского крестьянства, были так называемые славянофилы — Хомяков, братья Киреевские и их окружение. Эти люди, воспитанные на немецкой идеалистической философии, заимствовали из неё романтическую реакцию на французскую революцию и буржуазную культуру. В поисках идейного оправдания этого настроения они стали подчёркивать особенные свойства России. Особая психология русского народа, как они думали, выражалась в обычаях русской крестьянской общины. Эти обычаи они принимали за образец чистого христиан-

ства, сохранившегося в простом русском народе, и объясняли это его православной верой. Их не привлекало казённое церковное православие с его византийскими корнями: для них только *русское* православие было истинным христианством. Они приписывали русским крестьянам особый вид общественной солидарности, для которого придумали название "соборность", и который, конечно, выводился из любви к ближнему. В этой доктрине заключалась немалая идеализация, но тем упорнее они за неё держались: как выразился славянофил Кошелев, "без православия народность наша — дрянь". Это мнение иллюстрирует барское отношение славянофилов к простому народу.

Нетрудно понять, почему славянофилы связывали древние обычаи русских крестьян с христианством. Ведь само христианство было тоже выражением социального инстинкта, и эта его первичная основа, столь отчётливая в Новом Завете, всегда была мотивом еретических народных движений. Впоследствии русские народники, видя эти обычаи, уверовали в природный социализм русского мужика — но ведь и сам социализм был, как мы видели, ересью христианства. Конечно, русские помещики, искавшие идеал праведной жизни у своих мужиков, не понимали всех этих связей и вовсе не думали бороться с угнетателями крепостных, которыми были они сами. Но народники, так же мало понимавшие природу русской общины, пытались поднять её на борьбу.

Взгляды славянофилов и народников вызвали впоследствии не только беспощадную критику, но и насмешки, поскольку распад крестьянской общины происходил у всех на глазах, и русские крестьяне, по-видимому, не проявляли интереса ни к "соборности", ни к социализму, да и вообще вели себя в послереформенных условиях не так, как предполагали их почитатели, правого и левого толка. Россия становилась всё более "буржуазной", и марксисты подчёркивали, что ей предстоит пройти стадию капитализма. Между тем, взгляды славянофилов (а впоследствии народников), как это видел Герцен, содержали в себе некоторую долю истины: психология русского народа в самом деле была особенной. Этой особенностью был *коллективизм*, и мы объясняем этот коллективизм как проявляющийся в пережитках племенной культуры *социальный инстинкт*. Конечно, в "великом парламенте инстинктов" (как его назвал Лоренц) раздаются и другие голоса. Но Герцен и народники были не так уж неправы, полагая, что Россия, с её пережитками племенной морали, будет особенно восприимчива к социализму: она приняла его крайнюю ересь — коммунизм.

Примечательно, что Маркс и Энгельс рассчитывали на победу коммунизма в самых передовых странах Запада, а в действительности это произошло как раз в отсталых странах, сохранивших племенной коллективизм и, тем самым, легко возбудимый социальный инстинкт. Коммунизм апеллировал к будущему человечества, но оказался ближе его прошлому. Он не был навязан России чуждыми ей заговорщиками. Он в самом деле пришёл в Россию из Европы, но попал на подходящую для него почву и принёс свои плоды. Коллективизм русской души выродился в коллективное безумие.

Россия, воспринявшая при Петре Великом технические навыки Запада, стала великой державой под властью самодержавных царей. Для управления этим огромным государством и для ведения войн нужно было множество чиновников и офицеров. Чиновники и офицеры должны были быть грамотны; а поскольку приходилось иметь дело с иностранцами и иностранной техникой, то некоторым из них требовалось даже образование, в европейском смысле этого слова. Пётр убедился, что надо посылать молодых людей в Европу для обучения нужным профессиям. Не все они возвращались, но те, кто возвращался, усваивали много других вещей, вовсе не предусмотренных начальством. С этого началась русская интеллигенция: через сто лет, в начале девятнадцатого века в России было уже третье поколение образованных людей, главным образом дворян.

Этим людям трудно было помешать читать иностранные книги, и они начинали думать, как европейцы. Французское Просвещение и Французская Революция произвели на них сильное впечатление. Они думали о России и видели вокруг себя, прежде всего, *рабство.* Поэтому первым побуждением русской интеллигенции было стремление к *свободе.* Когда русские офицеры — почти все владевшие иностранными языками — увидели Европу во время наполеоновских войн, их главным впечатлением была свобода, потому что к тому времени в Европе уже не было крепостных. Из этих офицеров вышли первые русские революционеры, пытавшиеся устроить военный переворот 14 декабря 1825 года. Их прозвали "декабристами". Замечательно, что эти дворяне, восставшие против самодержавия, действовали против интересов своего класса, что стало особой чертой русской революции. Они боролись за интересы другого класса, и людей из этого класса — солдат — вывели на Сенатскую площадь. Но солдаты не понимали, чего хотят их офицеры. Их пришлось обмануть: наученные офицерами, они требо-

вали другого царя — Константина, и конституцию, которую, кажется, считали женой Константина. Так началась трагедия русской революции.

Несомненно, декабристы могли совершить дворцовый переворот и устроить военное правительство, но они продержались бы недолго. Подавляющее большинство дворянства было бы против них, и они не смогли бы поднять крестьян. Русская интеллигенция, в самом деле совершившая впоследствии революцию, уже не была дворянской.

В России становилось всё больше образованных людей. В начале девятнадцатого века, как свидетельствуют тиражи русской печати, было всего несколько тысяч человек читающей публики, а в середине века она уже насчитывала десятки тысяч. Образованные люди происходили теперь из разных слоев общества, и потому назывались "разночинцами". Они были детьми чиновников, ремесленников, торговцев, иногда даже крестьян, но особенно часто они происходили из духовенства: дети священников очень скоро освобождались от религии. Чаще всего им приходилось служить в государственных учреждениях, но в России образование было европейским и неизбежно свободным, а государство деспотическим, и по своему образу действий справедливо считалось азиатским. Между образованными людьми и российским государством возник раскол, не сравнимый ни с чем в истории Европы.

Образование отчуждало человека от русской жизни. Крепостное рабство подавляющей массы населения представлялось ему чудовищной несправедливостью, правящее и не работающее барство — классом паразитов-рабовладельцев, а вся система управления — колоссальной бессмыслицей. Вся официальная идеология была для него очевидным лицемерием, и поскольку она основывалась на православной религии, то и религия стала для него частью этой системы угнетения и лжи. В Европе молодой человек, получивший образование, сохранял уважение к занятиям своего отца и чаще всего наследовал его общественное положение: это была естественная, исторически сложившаяся "социализация". В России же образованный человек, смотревший с одинаковым отвращением на барскую усадьбу, чиновничью канцелярию и церковь, становился *асоциальным*, не находил себе места в сложившейся русской жизни. Это и была та "беспочвенность" русской интеллигенции, на которую жаловались впоследствии её консервативные ренегаты.

Неизбежный разрыв между идеалом и действительностью принял в России особенно резкую форму, потому что реформы Петра

застали её культуру неразвитой и по существу бесписьменной. Развитие воспринималось как подражание “чужому”, а когда из этого развития возникали гибридные квазиевропейские учреждения и понятия, из Европы вскоре приходили новые идеи, и всё “своё” снова представлялось нелепым и смешным. Нечто подобное происходило в азиатских странах, например, в Китае и Японии, но там была развитая, давно сложившаяся культура; впрочем, Китаю тоже предстояла необычная судьба.

Разрыв с традицией, происходивший у разночинцев в течение одного поколения, имел особенные психологические следствия. Люди, получившие европейские понятия из книг и разговоров, придавали европейским идеям полное, бескомпромиссное значение: религия отбрасывалась как “опиум для народа”, демократия понималась как “народовластие”, и очень скоро выяснилось, что, по выражению Прудона, “собственность — это воровство”. Все ограничения и препятствия, возникающие при практическом применении таких идей, русским интеллигентам были неизвестны, потому что практическая жизнь вокруг них была совсем другой. Конечно, они были наивны — часто наивны, как дети. Мемуары девятнадцатого века — Герцена, Кропоткина, Морозова — правдиво описывают эту среду.

Новые идеи приходили с Запада, потому что культурный потенциал России был ниже европейского: в России очень долго не было оригинального мышления. Первыми пришли идеи французского Просвещения, так называемое “вольтерьянство”. Они были усвоены ещё дворянской интеллигенцией. Затем пришли идеи Революции: декабристы уже писали для России конституции. Потом появилась немецкая “романтическая” философия, Шеллинг и особенно Гегель. Трактаты, напечатанные готическим шрифтом и пахнущие средневековой схоластикой, воспринимались как “последнее слово европейской *науки*”, и в них надеялись найти ответы на все жгучие вопросы современной жизни.

Влияние Гегеля в России заслуживает особого исследования. Русским университетам нужны были профессора, и первый русский царь, получивший европейское образование — Александр I — посылал молодых людей в Европу “для подготовки к профессорскому званию”. Конечно, их нельзя было посылать в кипящую революциями Францию, или в слишком свободную Англию — да в России и не учили английского языка; самым подходящим местом была учёная и полицейски охраняемая Германия. Молодых учёных отправляли в Берлин, в столицу дружественного прусского короля; а в Берлинском университете главным философом был Гегель. Для

молодых русских учёных гегелевская философия и стала "последним словом европейской науки". Вернувшись домой, они внесли эту премудрость в русские университеты. В кружках русской молодёжи жадно её поглощали: кто не читал Гегеля, считался отсталым.

Первым интеллигентом-разночинцем был Белинский, читавший по-французски, но не знавший немецкого. Ему переводил Гегеля друг, дворянин Бакунин. (С такой же серьёзностью через полвека изучали "Капитал"). Гегель утверждал, что "всё действительное разумно, и всё разумное действительно", а это допускало — как и всё у Гегеля — самые различные толкования. Друг Мишель Бакунин (в то время ещё не анархист) истолковал это таким образом, что русская действительность тоже имеет разумные основания, и Белинский целый год пытался примириться с этой действительностью. Но потом из Европы пришла мода на социализм, и Белинский стал социалистом. Всё это было не смешно, а трагично, потому что русские интеллигенты принимали европейские идеи всерьёз и посвящали им свою жизнь.

Конечно, разрыв русской интеллигенции с русским государством означал её радикализацию. Людям, ненавидящим весь строй русской жизни, трудно было заниматься в России какой-нибудь практической работой. Но после отмены крепостного права выделилось "умеренное" крыло интеллигенции, которое можно назвать либеральным. Либералы шли на государственную службу, участвовали в работе земских учреждений, преподавали в гимназиях и университетах, устраивали больницы; они проводили судебную реформу, пытаясь привить русским уважение к закону. Благодаря умной и самоотверженной работе этих интеллигентов Россия вступила в двадцатый век более цивилизованной страной, развивавшейся в европейском направлении. К несчастью, правящий класс России не проявил реализма и не умел делать уступки требованиям времени. Страной управляла безответственная и жестокая бюрократия, во главе с царём и его дворянским окружением.

Радикальная часть русской интеллигенции не могла примириться с этой властью и стремилась к насильственному свержению самодержавия. Первые русские социалисты — "народники" — верили в прирождённый социализм русского крестьянина и хотели возбудить крестьянское восстание. С этой целью они устроили (в начале семидесятых годов) "хождение в народ", одеваясь в крестьянское платье и раздавая революционные прокламации. Но крестьяне плохо понимали этих агитаторов, а иногда связывали их и сдавали властям; начались судебные и полицейские преследования, толь-

ко ожесточившие народников. В 1876 году они основали конспиративную партию "Земля и Воля" и принялись за более систематическую подготовку революции. Правительство ответило репрессиями и казнями. Тогда из партии народников выделилась террористическая организация "Народная Воля", устроившая ряд покушений на царских сановников; 1 марта 1881 года народовольцы убили царя Александра II. Конечно, небольшой группе террористов не удалось запугать правительство, и вскоре их силы были истощены. Более умеренная фракция народников, "Чёрный Передел", занималась мирной пропагандой; но в начале двадцатого века из неё возникла партия социалистов-революционеров (эсеров), опять вернувшихся к террору.

Неудачи народников скомпрометировали их идеологию. Новая идеология, как обычно, пришла с Запада: это была *социал-демократия*, философией которой был *марксизм.* Повторилась история с Гегелем: русские интеллигенты уверовали, что это и есть "последнее слово западной науки", дающее ответ на все вопросы жизни. Как мы видели, Маркс претендовал на построение "научного социализма", и русские (не только русские!) марксисты полагали, что, наконец, найдено *научное* объяснение истории и общественной жизни, предсказывающее неизбежное наступление социализма. Замечательно — и характерно для духа этого времени — что утопические предсказания и революционные замыслы выступали здесь, прикрываясь авторитетом "науки". Точно так же, для русских гегельянцев сочинения их учителя тоже были "наукой", и притом новейшей!

"Капитал" Маркса представлял собой огромный трёхтомный трактат, написанный запутанным гегельянским языком. Маркс, считавший себя учёным экономистом, никогда не мог избавиться от методов высоко ценимой им гегелевской "диалектики" и от гегелевского языка, который немцы называют "кудрявым" (kraus). Самые усердные марксисты читали его, конечно, в оригинале; но вскоре вышел и перевод: царская цензура не усмотрела в этом учёном труде ничего опасного. Обыкновенные марксисты, конечно, не были в состоянии прочесть "Капитал" и принимали на веру то, что им объясняли в популярных брошюрах. Сильная сторона марксистской доктрины — экономическое объяснение истории — внушила русским социалистам особое доверие, потому что именно в то время, в 80-ых и 90-ых годах, в России возникла крупная промышленность и стало ясно, что экономические силы не позволят ей избежать капитализма. Но и другая сторона марксизма была важна для русских социалистов: по новейшей науке оказывалось, что будущей револю-

ционной силой было не крестьянство, а только что возникший в России рабочий класс. Надо было искать сторонников не в деревне, а в городе, и за это сразу же принялись.

Первая группа русских марксистов возникла в 80-ых годах, и лидером её был Плеханов. Русские марксисты, разделяя общие идеи своей доктрины, конечно, не рассчитывали, что в России удастся мирно перейти к социализму (как этого ожидали европейские социалисты). Напротив, они предвидели ожесточённую борьбу с русским самодержавием, а потом и с народившейся в конце века русской буржуазией. Но Плеханов и его сторонники высмеивали наивность народников, пытавшихся поднять на восстание отсталые крестьянские массы: как учил Маркс, революцию должен был совершить сознательный пролетариат. Они отвергли также, как авантюризм, индивидуальный террор. Рабочий класс, — говорили они, — применит к своему классовому врагу *массовый* террор: враг будет *ликвидирован как класс.*

Эта программа революционного террора тоже не была изобретена в России: даже и эти взгляды русских марксистов были заимствованы с Запада. Самое слово "террор" (по-латыни означающее "ужас") было пущено в ход в его нынешнем смысле во время Французской Революции. В "Послании Коммунистической Лиге" (1850) Маркс рассматривает ситуацию, которая возникнет, если рабочие совместно с буржуазными демократами выиграют битву с феодализмом и установят демократический режим. В таком случае, — говорит Маркс, — рабочие должны выдвинуть лозунг "Перманентная революция!", в котором нельзя не узнать "превращение буржуазной революции в социалистическую". Как видите, Ленин и в этом был не очень оригинален, а Троцкий прямо перенял этот лозунг. Практические советы Маркса, содержащиеся в том же "Послании", не оставляют сомнений, как его ученики должны были устраивать эту "перманентную революцию":

"Они должны действовать таким образом, чтобы революционное возбуждение не угасло сразу же после победы. Напротив, они должны поддерживать его, сколько возможно. Они никоим образом не станут противодействовать так называемым эксцессам, когда ненавистные личности приносятся в жертву народному мщению, или когда разрушаются общественные здания, вызывающие ненавистные воспоминания. Такие действия должны быть не только терпимы: их следует направлять, подавая этим пример".

Можно сказать, конечно, что эти советы отражают скорее практику якобинцев, чем склонности самого Маркса, который был всего

лишь кабинетным учёным. Но в апреле 1871 года, во время Парижской Коммуны, он говорит, что если "геройские парижские товарищи окажутся побеждёнными", то это произойдет из-за их "великодушия" (и ставит это слово в кавычки), из-за "честности", доведённой до мнительности" (письмо Кугельману). И там же он объясняет по поводу демократии: "Центральный комитет слишком рано сложил свои полномочия, чтобы уступить место Коммуне". Конечно, Маркс не стал главнокомандующим и не отдавал приказов о расстрелах, но Троцкий, тоже профессиональный литератор, делал на практике всё, о чем писал.

Таким образом, идеи коммунизма были в России тоже импортным товаром, как и другие идеи, заимствованные из Европы перед тем. Но все социальные учения, воспринятые из европейских источников, русские интеллигенты понимали — вне их естественного контекста — буквально и прямолинейно, пытаясь немедленно воплотить их в жизнь. Эта черта хорошо известна из истории религиозных сект, столь же серьёзно воспринимавших священное писание, пришедшее к ним из далёкой восточной страны и возникшее там во время крайних общественных бедствий. Многие сектанты пытались немедленно применить на деле предписания Нагорной Проповеди, и нетрудно понять, к чему это могло привести. Обычно такие движения возникали в группах, переживавших социальную и культурную неустойчивость. Как мы видели, русская интеллигенция как раз была такой группой: большинство её членов, в первом поколении усвоивших начала европейской цивилизации, приняло её новейшие доктрины с наивностью и рвением неофитов.

Многие пытались объяснить это явление особыми свойствами русского народа, но в этой гипотезе нет нужды. Народы, не имевшие опыта самоуправления, всегда воспринимали политические утопии со "звериной серьёзностью" (любимое выражение Конрада Лоренца: tierisch ernst). Даже англичане, когда у них ещё не было демократии, произвели пуритан, в изображении Маколея психологически неотличимых от большевиков[1]. Французы, вовсе не знавшие политической самодеятельности, произвели все ужасы террора не потому, что жестокость была их национальной чертой; и немцы, привыкшие полагаться на своё начальство, вовсе не были какой-нибудь особенной нацией, поддавшись соблазнам нацизма.

Важно отметить, что политический радикализм не был присущ русской интеллигенции *в целом*. Но в русской революции, к которой

[1]См. его эссе Milton, *The Edinburgh Review*, 1825.

мы сейчас перейдём, решающую роль сыграло её небольшое радикальное меньшинство.

Русская революция была самой разрушительной и самой неудачной из революций. Люди, начинавшие эту революцию, хотели свергнуть самодержавие и установить в России свободный демократический строй. Люди, продолжившие эту революцию, хотели уничтожить эксплуатацию человека человеком и открыть угнетённым труженикам путь к всестороннему развитию. Но русская революция привела к невиданной в истории системе автократического правления, всеобщему рабству и уничтожению культурного слоя населения — прежде всего тех, кто начал и продолжил эту революцию.

В отличие от народных мятежей, революции имеют сознательное руководство, ставящее себе определённые цели. В России руководить революцией могла только интеллигенция — сплошь оппозиционно настроенная, но отчётливо делившаяся на либеральное, то есть умеренно демократическое большинство, и радикальное меньшинство, готовое прибегнуть к насилию. Революции всегда используют возбуждение народа, но характер их определяют те, кто ими руководит. Февральской Революцией 1917 года руководили либералы, и она была политической революцией. Октябрьской Революцией руководили радикалы, и она была не только политической, но и социальной, то есть изменила не только политический строй, но и все общественные условия в стране. После периода возбуждения народная масса обычно примиряется с порядком, установленным победившими партиями; но эти партии должны создать порядок, с которым народ *может* примириться. Если это им не удаётся, возникают гражданские войны и новые революции.

Главной либеральной партией России была партия конституционных демократов, сокращённо прозванных "кадетами". Основной психологической установкой этой партии было стремление к *свободе*, в гражданском и гуманистическом смысле этого слова: она называла себя "партией народной свободы". В отличие от Западной Европы, свобода экономической деятельности никогда не была "классовым" мотивом русских либералов: хотя в их партию входили самые развитые из русских промышленников, в основном это была партия русских интеллигентов. Кадетами были университетские профессора, преподаватели, служащие государственных учреждений и частных компаний, инженеры и техники, а также большинство людей свободных профессий — журналисты, адвокаты и

врачи. Почти все люди с основательным образованием и знанием практической жизни были кадеты. С точки зрения пришедших к власти большевиков, это была "буржуазная" партия; поэтому кадеты были в конечном счёте изгнаны или истреблены, что означало конец русской культуры. Даже хозяйственные меры советской власти удавались лишь до тех пор, пока их проводили "буржуазные специалисты".

С начала двадцатого века кадетская партия, хотя и не имевшая юридического статуса, действовала почти открыто; у неё были влиятельные газеты и журналы, издательства, связи во всех слоях общества и значительная фракция в Государственной Думе — зачаточном русском парламенте, созданном после 1905 года. Как правило, кадеты были солидно устроенные, зажиточные люди, не призывавшие к насильственным действиям; поэтому власти их не очень преследовали.

С другой стороны, радикальные партии проповедовали насильственное изменение государственного строя и экспроприацию частной собственности, а поэтому строго преследовались полицией и её секретной службой — так называемой "охранкой". Эти партии действовали нелегально, а их "центральные комитеты" обычно находились за границей. Для защиты от полиции им приходилось прибегать к фальшивым документам, а иногда и к вооружённому сопротивлению; некоторые из них применяли экспроприации государственных денег и индивидуальный террор. Царское правительство, сравнительно мягко наказывавшее нелегальную пропаганду, применяло к террористам (и даже подозреваемым в терроре) смертную казнь. Некоторые члены радикальных партий имели легальный статус, конспирируя свои связи с партией, но главную часть "партийных кадров" составляли "профессиональные революционеры", которые вели нелегальный образ жизни, переезжая с места на место с поддельными документами. Их было всего несколько тысяч, но, конечно, люди, избравшие такой образ жизни, твёрдо верили в партийную доктрину и отдавали партии все свои силы. Влияние нелегальных партий на историю своей страны отнюдь не соответствует их численности: Россия доставила классические примеры этого рода.

Конечно, у русских радикалов не было времени учиться: это были, как правило, "полуинтеллигенты", люди, не окончившие университет, или даже гимназию. Они мало читали и принимали партийную доктрину на веру: учёные люди были у кадетов. Для этих людей, неискушённых в истории, экономике и тем более в филосо-

фии, достаточно было партийных программ, которых они держались с догматическим упрямством, напоминающим христианских сектантов. Ленин, с его узким схоластическим умом, был среди них образованным человеком. "Идейные споры" русских революционеров кажутся ребяческими, но из-за таких разногласий они потом убивали друг друга.

Главными радикальными партиями были партия социалистов-революционеров ("эсеров") и социал-демократическая рабочая партия ("эсдеков"). Первая из них считала себя "крестьянской" партией, а вторая — "рабочей", хотя обе состояли главным образом из интеллигентов.

Эсеры рассматривали себя как наследников "Земли и Воли", и в самом деле насчитывали в своих рядах некоторых уцелевших народников. Для них Россия всё ещё была крестьянской страной, и они не обращали особенного внимания на утвердившийся в стране капитализм. Средоточием их мыслей была *земля*, которую надо было отобрать у помещиков и отдать крестьянам; эта проблема и в самом деле всё ещё была жгучей в некоторых местностях России, хотя к моменту революции в Европейской России, где только и были помещики, им принадлежало в целом лишь около 20 процентов пахотной земли. Что касается воли, то есть свободы, то эсеры были ей привержены больше своих конкурентов, эсдеков. Они не хотели никакой диктатуры и собирались — после революции — передать всю власть народу, который изберёт для этого Учредительное Собрание. Термин они заимствовали, как это всё время делали русские революционеры, у Французской Революции (Assemblée Constituante). Эсеры — даже "левые эсеры", входившие несколько месяцев в советское правительство — в самом деле заботились о правах человека и хотели водворить в России демократию; история не дала им возможности подтвердить всё это на деле. Во всяком случае, у эсеров не было разработанной теории эсдеков, в частности, гегелевского доктринального презрения к свободе личности и "классового" коллективизма. Впрочем, эсеры, вслед за народниками, применяли "индивидуальный террор", то есть пытались запугать правительство, убивая царских генералов и чиновников. Этим занималась их "боевая организация", во главе которой, примечательным образом, оказался агент охранки Азеф.

Разработанная теория была у марксистов — русских социал-демократов. Марксисты видели становление капитализма в России и считали это подтверждением своей теории. Они не замечали особых условий России, где было ещё мало промышленных рабочих,

и где большинство населения составляли неграмотные и связанные с частной собственностью (а следовательно, “классово чуждые” им) крестьяне. Почти сразу же после образования социал-демократической партии — в 1903 году — в ней произошёл раскол. Более ортодоксальные марксисты, ощущавшие себя частью европейской социал-демократии и признававшие демократическую организацию партии, получили название “меньшевиков”; к ним примкнули первые русские марксисты, в том числе Плеханов. Другая часть партии, “большевики”, считали, что в нелегальных условиях России демократией внутри партии можно пренебречь, и хотели превратить свою партию в эффективную, дисциплинированную на военный лад организацию профессиональных революционеров. Эту группу социал-демократов возглавил молодой, так и не приступивший к практике адвокат Ульянов, принявший псевдоним “Ленин”. Замечательно, что очень скоро самое слово “социал-демократия” стало у большевиков ругательным. Продолжая называть себя марксистами, они всё дальше уходили от европейского мышления и образа действий. Очень русской чертой большевиков — к чему мы ещё вернёмся — была преимущественная ориентация на *захват власти*. Как подданные русского царя, они подсознательно верили во всемогущество власти, но не знали, что́ будут делать с этой властью, когда она окажется в их руках: у Маркса об этом ничего не было сказано. Можно спросить, почему эти люди, так стремившиеся к власти, не позаботились заранее продумать, как её употребить. Мой ответ состоит в том, что большевики подсознательно не верили в реальность такого события. Конечно, ссылки на подсознательные мотивы трудно проверить, но многое в поведении большевиков перед Октябрём и сразу же после него свидетельствует о том, что власть свалилась им в руки неожиданно для них самих. Они были “запрограммированы” бороться за власть, но не пользоваться властью.

Революции обычно происходят, когда какие-либо необычные изменения нарушают равновесие общественной жизни. Как уже было сказано в главе 4, люди терпеливо переносят убожество своей повседневной жизни, но остро реагируют на новые условия, навязанные им непостижимым ходом истории. В двадцатом веке таким катализатором социальных катастроф чаще всего была война. Первой из этих катастроф была русско-японская война.

Россия, ставшая великой европейской державой, участвовала в колонизации отсталых стран, и на этой почве столкнулась с конкуренцией других империалистов. В сущности, Россия и возникла в

процессе колонизации малонаселённых территорий Восточной Европы и Сибири, племена которых не оказывали серьёзного сопротивления и были в значительной степени ассимилированы русскими. Но на Кавказе и в Средней Азии русские встретились с уже сложившимися цивилизациями, и захват этих колоний потребовал военных усилий. Вскоре обнаружились и границы этой экспансии, поскольку Россия столкнулась с колониальными интересами Англии. Крымская война научила царское правительство осторожности в соревновании с европейцами, но на Дальнем Востоке правящая клика России не видела никаких препятствий. Китай, разлагающаяся феодальная империя, не мешал предприимчивости русских царей, и Николай II не рассчитывал встретиться с сопротивлением японцев. Поводом к войне были притязания придворных паразитов, пытавшихся эксплуатировать беззащитную Корею. Японцы считали эту страну свой "зоной интересов" и неоднократно предупреждали об этом русское правительство, но Николай и его министры, не понимавшие сложившегося соотношения сил, относились к Японии с откровенным презрением. До начала двадцатого века европейцы легко справлялись с представителями "низших рас", и постыдное поражение русской армии и флота на Дальнем Востоке было первым примером, опровергнувшим эту самоуверенность белых господ.

Как чаще всего бывает, революция вспыхнула стихийно. Тяготы войны легли прежде всего на беднейшие слои населения. Правительство не шло на уступки рабочим. Вместо этого оно прибегло к полицейской провокации: чтобы отвлечь рабочих от пропаганды социалистов и от начавшегося профсоюзного движения, царская охранка устроила для них монархические организации во главе со своими агентами. В Петербурге главным организатором этих "рабочих союзов" был священник Гапон. Под действием общего возбуждения этот полицейский провокатор вошёл в роль "народного вождя" и убедил рабочих идти с петицией к царю. Мирная демонстрация двинулась к Зимнему Дворцу, с хоругвями и портретами царя. Но царя не было во дворце, а войска имели приказ разгонять демонстрации любыми средствами. Рабочих встретили ружейными залпами, и это "кровавое воскресенье" — девятое января 1905-го года — навсегда рассеяло монархические иллюзии рабочих. Николай сделал всё возможное, чтобы стать последним царём.

Волне рабочих забастовок и крестьянским восстаниям сопутствовало студенческое движение, возмущение образованной публики и либеральной буржуазии. К тому времени в России была уже сильная независимая печать, вопреки цензуре находившая путь к

читателю, и были политические партии, способные возглавить начавшуюся революцию. В легальной или полулегальной деятельности руководящую роль играли кадеты. Кульминацией революции было декабрьское восстание в Москве, где главную роль играли эсеры. Большевики считали это восстание авантюрой и мало участвовали в нем. Между тем, соотношение сил зависело от настроения солдат, во многих местах уже выходивших из повиновения. Железные дороги бастовали, и правительству трудно было перебросить в Москву надёжные войска. Был момент, когда держали наготове царскую яхту — царь со своим семейством собирался бежать в Англию, но до этого не дошло.

Испуганный царь уступил настояниям министра Витте, предложившего компромисс с буржуазией, и издал "манифест 17-го октября". Этот манифест облегчил бремя цензуры, отменил самые грубые полицейские меры и обещал нечто вроде представительного учреждения, из которого вышла так называемая "Государственная Дума". Витте рассчитывал расколоть революционное движение, успокоив интеллигенцию и буржуазию, и этот план удался. Подавив революцию, царь вовсе не собирался проводить серьёзные реформы. Правительство вернулось к репрессиям. Хозяева России ничему не научились и удивительным образом забыли, что солдаты не всегда повинуются приказам. Они продолжали политические интриги на Балканах и снова втянулись в войну.

Первая мировая война была для России неожиданной катастрофой. Испокон веку люди затевали войны, рассчитывая на какие-нибудь выгоды, или просто поддаваясь страстям. По-видимому, государственные деятели редко задавались вопросом, во что может обойтись их стране решение начать войну. Меньше всего мог понять это Николай II, человек слабого характера и ограниченного ума; между тем, решение вступить или не вступить в эту войну зависело от него одного.

Россия переживала в то время промышленный подъем и нуждалась в политических и социальных реформах. Растущая страна задыхалась в тесноте самодержавия, не способного ни оставаться, ни уйти. Капитализм без законодательных ограничений вызывал рабочие беспорядки. Незадолго до войны, перед самым визитом союзника — французского президента Пуанкаре — Петербург был ареной ожесточённых столкновений полиции с рабочими демонстрациями. Война могла на некоторое время отвлечь внимание от жгучих внутренних проблем, но лишь в том случае, если бы это была успешная война. На это и рассчитывали недальновидные политики и военные,

давившие на безвольного царя. Между тем, Россия и в военном отношении не была готова к войне с грозным противником, превосходившим её в технике и организации. Военная программа, начатая после проигранной японской войны, не была завершена. Германский император Вильгельм II всё это знал, и вполне мог рассчитывать на своё превосходство. Хотя Германия вела войну на два фронта, вопреки советам Бисмарка, на восточном фронте она по существу выиграла эту войну.

Разрыв между интеллигенцией и народом привёл к политической бессловесности народа. Его пытались привлечь на свою сторону крайние партии, но не очень успешно. Эсеры имели некоторое влияние в деревне, а эсдеки пытались внедриться в рабочие организации — сначала в монархические союзы священника Гапона, потом — в начавшие развиваться нелегальные профсоюзы. Но ячейки эсдеков были слабы. В 1913 году на всю Россию насчитывалось около 2000 зарегистрированных эсдеков обоих направлений, из них 1300 большевиков и 700 меньшевиков. Те и другие, вдобавок, делились на фракции, враждовавшие друг с другом. Ленин с его твёрдыми сторонниками — "ленинцами" — отнюдь не был силен: его конкуренты говорили, что все ленинцы помещаются на одном диване. Диван этот находился в Женеве, но, конечно, ленинцы были не только там. Если прибавить к этому, что революционные партии были битком набиты полицейскими агентами, то трудно было бы предсказать известное нам развитие русской революции. В 1913 году, когда было торжественно отпраздновано трёхсотлетие династии Романовых, скорее можно было предвидеть постепенное продвижение России по пути к конституционной монархии.

Невероятный успех путча большевиков можно объяснить только войной. В начале войны все партии России — за единственным исключением большевиков — стали на позицию "национального единства", как это произошло и в других странах, вступивших в войну. Даже меньшевики, за некоторыми исключениями, стали "оборонцами", то есть высказались за "оборону отечества". Только большевики были против войны; более того, они с самого начала стояли за *поражение* своего отечества в мировой войне, полагая, что это ускорит социалистическую революцию. Эта "пораженческая" позиция большевиков логически вытекала из их принципиального интернационализма: для них врагом была мировая буржуазия, а рабочие всех стран были их братья по классу, которые должны были соединиться, согласно лозунгу, ещё недавно украшавшему заголовки всех коммунистических газет. Вторивший им Горь-

кий издевался над “патриотизмом и другими болезнями духовного зрения”.

Война шла неудачно. Немцы и австрийцы захватили огромные территории — Польшу, Прибалтику, западные русские губернии, но большевики твёрдо держались своей доктрины: выше всего для них были грядущие интересы мирового пролетариата. Конкретные страдания родной страны были преходящим эпизодом, предваряющим предсказанный Марксом всемирный переворот. В этих страданиях были виновны русские помещики и капиталисты, затеявшие ненужную России войну и наживающиеся на войне. Такое настроение лучше всего выразил Гейне, друг молодого Маркса, в своём стихотворении “Ткачи” (Die Weber):

Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt![1]

Как видите, и это отношение к отечеству не было исключительным признаком России. Силезские ткачи, восставшие против своего отечества, могли иметь к нему те же чувства. Но образованная публика такой политики не понимала: это было ни на что не похоже, и особенно на историю Французской Революции, служившую ей руководством. Ведь даже якобинцы защищали своё отечество — и с полным успехом — а русские якобинцы желали ему поражения! Никто не мог поверить, что кучка сектантов, повторяющих такой лозунг, может приобрести политическое значение. Классовый конфликт, замаскированный условиями “спокойного” общества, в критических условиях прорывается со страшной силой. Но чаще всего правящим классам удавалось направить его против какого-нибудь иностранного “врага”, потому что простому человеку трудно было расширить свои чувства за пределы отечества. Такую глобализацию классовой солидарности и выполнил “пролетарский интернационализм”. Не следует недооценивать власть идей над людьми — у большевиков была поистине революционная идея.

Война шла, и шла крайне неудачно. Русской армией командовали бездарно: верховным главнокомандующим объявил себя сам царь. Армии не хватало всего: ружей, снарядов, даже сапог. Казённые и частные воры наживались на военных поставках. Царь находился под властью своей жены, немецкой принцессы, едва гово-

[1]Проклятие ложному отечеству, / Где процветают лишь стыд и позор, / Где каждый цветок гибнет, едва раскрывшись, / Где гниль и плесень питают червей.

ившей по-русски; а царицей, в свою очередь, руководил шарлатан Распутин, которого в царской семье считали святым. По советам Распутина меняли министров. Народ терял веру в царя, а царицу прямо обвиняли в измене. Во всяком случае, солдаты, вынесшие три года кровавой войны, больше воевать не хотели. В 1916 году полтора миллиона дезертиров, уйдя с фронта, пробирались в родные места. Война была проиграна, надо было её кончать. Но этого не понимали ни правящие круги, ни оппозиция: все политические партии России — за единственным исключением горсти большевиков — стояли за "продолжение войны до победного конца": этого требовала честь России, её слово, данное союзникам, и даже её прямые интересы — за участие в войне России обещали турецкие проливы и много других благ. Возникло расхождение между "политической" Россией, Россией образованных и рассуждающих людей, и простонародной Россией, попросту желавшей кончить эту войну. Расхождение это было невиданным в русской истории. Народная масса всегда была "за царя" — если не этого, то другого царя — а теперь она впервые была против него, а вместе с тем против всей "политической России". В этих условиях партия, перешедшая на сторону простого народа, имела шансы на успех. Для этого она должна была стоять *за простого человека*, но *против "отечества"*, и такая партия нашлась: это была партия большевиков.

Не надо думать, что Ленин и его сторонники всё это ясно понимали. Радикальные партии не ждали революции, и меньше всего большевики. Ленин, живший в Женеве, почти потерял связь с Россией, и три дня не мог поверить газетным сообщениям о революции в Петрограде. Большевики, имевшие столь важное преимущество на русской политической сцене, сами этого не знали: они были просто доктринёры, повторявшие свой лозунг, без особой надежды на успех. Остальное сделала для них история.

Иностранцы плохо понимают русское значение слова "патриотизм". Конечно, русским всегда было свойственно естественное чувство привязанности к родной стране. Но перед внешним миром Россию представляла её самодержавная власть, равнодушная к интересам своего народа и безответственно втягивавшая его в свои военные авантюры. Каждое усиление внешнего могущества России означало отягчение её внутреннего рабства. Самое слово "отечество" приобрело в России казённое, фальшиво-официальное звучание, в противоположность слову "родина", сохранившему своё интимное эмоциональное значение. Русские интеллигенты всегда отличали подлинную любовь к родине от казённого патриотизма. Они понимали, что

реформы шестидесятых годов были вызваны поражением России в крымской войне, и не ждали ничего хорошего от русских побед. Поэтому "пораженчество" большевиков было не только следствием их "пролетарского интернационализма", но и крайним выражением двойственности русского патриотизма. Война, вызвавшая вначале стихийные демонстрации энтузиазма, пробудила у мыслящих людей России тяжкие опасения. Эти опасения оправдались с лихвой.

Февральская Революция произошла внезапно. Положение петербургских рабочих становилось всё хуже: цены росли, а законы военного времени подавляли всякое недовольство. Вдобавок начались перебои с хлебом. В стране было много хлеба, но доставка его в столицу была расстроена из-за беспорядка на железных дорогах. Настроение народа стало тревожным: любое происшествие могло вызвать взрыв. В конце февраля в лавках не стало хлеба. Жены рабочих начали мятеж, солдаты гарнизона отказались стрелять, и через день столица вышла из повиновения властей. Комитет Государственной Думы назначил "Временное правительство", и 2 марта Николай, по совету своих генералов, отрёкся от престола. Русской монархии пришёл конец. Не пришлось штурмовать никаких Бастилий: казалось, это была самая прекрасная, самая мирная из всех революций. Либералы торжествовали и спешили пользоваться внезапно возникшей свободой.

Но война продолжалась, и Временное правительство, где оказались кадеты и другие "оборонцы", стояло за "войну до победного конца". Между тем, радикальные партии — главным образом эсеры и меньшевики, потому что в Питере было очень мало большевиков — устроили в противовес кадетам своё параллельное правительство — "Совет рабочих и солдатских депутатов". Эсдеки мешали работе Временного правительства, но как будто забыли завет Маркса о "перманентной революции". И тут вернулся Ленин, которого немцы пропустили из Швейцарии в Швецию в знаменитом "пломбированном вагоне". Немцы знали пораженческую линию большевиков и рассчитывали ослабить сопротивление русского фронта. Они щедро снабдили большевиков деньгами, для той же цели[1]. С точки зрения большевистского руководства, такое тайное сотрудничество с немцами было вполне допустимо, потому что шло на пользу их

[1] Всё это окончательно подтвердили документы германского генерального штаба, опубликованные в 1957 году.

правому делу. Правильно было всё, что могло ускорить мировую революцию. Ленин ехал в Россию с большими опасениями, боялся ареста; но его ожидал триумфальный приём: он был принят как один из вождей революции. Ленин был неважный стратег, но искусный тактик революции: он быстро оценил положение и напомнил большевикам их задачу. На фронт пошли газеты и листовки, откровенно направленные против "империалистической войны", и вся эта агитация дозволялась, потому что теперь в России была свобода печати. Армию невозможно было заставить воевать, но главное — популярность большевиков росла с каждым днем.

Политика большевиков после Февральской Революции часто осуждается с моральных позиций, но эти позиции, естественно, зависят от принятой системы ценностей. Система ценностей, для которой высшей ценностью является собственное национальное государство (т. е. "отечество"), в ряде случаев вызывает серьёзные сомнения с точки зрения гуманизма. Известное английское изречение "right or wrong — my country"[1] служило для оправдания национального эгоизма и колониальной политики, и теперь вряд ли кто-нибудь решится всерьез ссылаться на такую мораль; известно также, к чему привело немецкое изречение "Deutschland über alles"[2]. Несомненно, есть более высокие ценности, позволяющие судить о поведении людей, ссылающихся на интересы своего отечества. И всё же, нельзя оправдать полное пренебрежение к отечеству ради отдалённых, может быть, недостижимых целей. Но ещё более сомнительны средства, с которыми Ленин начал свою политическую кампанию. Сделка с одним из врагов против другого — типичная черта любой "реальной" политики (Realpolitik в немецком смысле этого выражения), и если мы прощаем такую политику обычным государственным деятелям, то есть согласны с тем, что *всякая* политика должна быть грязной, то приходится простить её и большевикам. Ленин вообще не испытывал по этому поводу никаких сомнений. Ещё хуже были советы Маркса по поводу "эксцессов": это уже и в самом деле средства, способные уничтожить любую цель!

Временное правительство вскоре возглавил эсер Керенский, благонамеренный, но бесхарактерный человек, непременно желавший выполнить обязательства перед союзниками и довести войну до победного конца. Это роковое заблуждение — стремление к явно недостижимой цели — погубило русскую демократию: оно расширило

[1] « Права или нет моя страна — это моя страна».
[2] «Германия превыше всего».

разрыв между революционными партиями и народом, который они хотели представлять.

Параллельная власть — Советы — быстро переходила в руки большевиков, и *теперь* Ленин провозгласил лозунг: "Вся власть Советам!". Юридически Советы были вовсе не властью, а общественной организацией, но соблюдение законных форм меньше всего беспокоило Ленина и его товарищей. Их целью был захват власти, и для этого все средства были хороши. Партия большевиков насчитывала уже десятки тысяч человек. Её влияние было особенно сильно в армии, потому что солдаты не хотели продолжать войну. В Петрограде стоял гарнизон в 150000 человек, больше всего опасавшийся отправки на фронт. Агитация большевиков не сделала из этих солдат коммунистов, но они не хотели и защищать Временное правительство, как раз вознамерившееся послать их в окопы. "Нейтралитет" гарнизона и решил дело. Ленин понимал, что надо иметь преимущество в решающем месте, и подготовил военный переворот. 25 октября (по старому стилю) Временное правительство было низложено — почти без сопротивления — и было создано правительство большевиков. II Съезд Советов, уже большевистский, "легализовал" этот переворот: так началась *советская власть*.

Между тем, в стране шли выборы в Учредительное Собрание, первые в истории России (и до сих пор единственные!) подлинно демократические выборы. Эсеры, энергично готовившие эти выборы, сумели привлечь на свою сторону крестьян: они получили 60 процентов голосов. Долгожданное Учредительное Собрание заседало лишь один день: 5 января 1918 года. Большевики его разогнали и взяли под контроль все газеты. Демократии пришёл конец.

3. Большевики и советская власть

Большевики получили массовую поддержку: десятки тысяч людей, вступивших в партию, уверовали в её учение и готовы были посвятить ему свою жизнь. Только этим можно объяснить победу большевиков в трёхлетней гражданской войне, перенесённой Россией после четырёх лет мировой войны. То, что совершили "красные" во время гражданской войны, было несомненно проявлением искреннего революционного энтузиазма. Все другие объяснения — большевистский террор, сговор с немцами и политические разногласия среди белых — никоим образом не позволяют понять, как это могло произойти. Ведь до войны большевиков было немногим более тысячи, а влияние их было очень слабо! Лозунги большевиков,

очевидно, упали на благоприятную почву, созданную проигранной войной и крушением старого режима. Большевики не только верили в своё учение, они соблюдали партийную дисциплину и повиновались партийному руководству.

Кто же были лидеры большевистской партии? Ленин, Троцкий и Бухарин оставили нам свои сочинения — они сочинили немало. Зиновьев и Каменев не столько сочиняли, сколько произносили речи. И даже Сталину, вначале малозаметному деятелю, приписывается тринадцать томов сочинений, которые он, во всяком случае, просмотрел и одобрил. Таким образом, у нас достаточно данных, чтобы судить об этих людях, даже не считая документов и воспоминаний. Революционеры редко бывали выдающимися мыслителями, и всё же вожди большевиков поражают своей посредственностью. Все они были недоучки — Ленин получил экстерном юридическое образование, но имел очень поверхностные знания, Сталин же был попросту малограмотен. За немногими исключениями, все они были люди невысокой культуры. Ни один из них не обладал литературным даром, ни один не имел представления о методах настоящей науки. "Наукой" был для них только "научный социализм" Маркса и Энгельса: они были схоласты, и все их споры на бесчисленных партийных заседаниях сводились к обмену надёрганными цитатами из этого священного писания. После смерти Ленина такую же функцию исполняли цитаты из его сочинений.

Члены партии были ещё менее образованны, а большей частью едва грамотны. Искренне уверовав в марксизм (известный им по брошюрам партийных пропагандистов), они не очень понимали препирательства своих лидеров, боровшихся за власть, но принимали всю эту идеологию всерьёз. Принимали ли её всерьёз сами лидеры? Думаю, что принимали: эти ограниченные люди подсознательно ощущали, что борются за власть, но сознательно думали, что ведут идейную борьбу. В них не было и следа юмора, ни один из них не понимал искусства и литературы. Это были духовно бедные люди.

После гражданской войны во власти этих людей оказалась огромная страна с разрушенным хозяйством и, что ещё хуже, с полностью разрушенными структурами общественной жизни — им могло казаться, что перед ними была та самая "чистая доска", table rase, о которой поётся в "Интернационале" — и они в сущности не знали, что с ней делать. Как известно, Маркс намеренно воздерживался от всех подробностей предсказанного им социализма, столь увлекательно описанных "утопистами": "научный социализм"

предоставлял всё это неизбежному ходу истории. Известно было только, что государство должно отмереть через короткое время; отсюда, по-видимому, пренебрежительное предсказание Ленина, что при социализме государством сможет управлять "каждая кухарка". Столь же беззаботно большевики смотрели на управление экономикой. Здесь были определённые указания Маркса, что социалисты должны будут попросту перенять у капиталистов их предприятия, когда те "созреют" для обобществления. Правда, Маркс имел в виду самые развитые страны — Англию и Америку. О России он вовсе не думал, рассматривая её лишь как опасную для революции реакционную силу; впрочем, Маркс и вообще не питал симпатий к славянам. Но всё же указания были, и Ленин в своей книге "Государство и революция", опубликованной *в августе 1917 года*, легко разделался с будущим экономическим строем. Он писал, что рабочие возьмут в свои руки управление производством, причём "всё, что потребуется, это чтобы они работали поровну, регулярно выполняли свою часть работы и получали равную плату. Капитализм крайне *упростил*[1] необходимые для этого бухгалтерию и управление". Всё это рабочие могут просто взять на себя, поскольку эти методы контроля "доступны каждому, кто умеет читать, писать и знает четыре правила арифметики". Конечно, сам Ленин умел читать, писать и выполнять арифметические действия; любопытно, пробовал ли он когда-нибудь управлять заводом? Вот как он понимал своего Маркса — перед самой революцией! Какой-то советский писатель выдумал, будто ленинское правительство было "самым интеллигентным правительством в истории России". В действительности это было правительство самоуверенных дилетантов, а их способ управления страной можно сравнить только с известной сценой из рассказа Мериме, где взбунтовавшиеся невольники, перебив команду, принялись управлять кораблём. После захвата власти Ленин жаловался, что "ни в одном учебнике марксизма" не нашёл указаний, что и как делать после победы революции. Большевики импровизировали, как могли, но всё же пришлось звать "буржуазных специалистов".

Эти же специалисты спроектировали для них "новую экономическую политику" — нэп, о чем вспоминал единственный уцелевший в эмиграции участник этого дела, Валентинов. Большевики начали с абсурдных экспериментов: пытались заменить денежное хозяйство прямой раздачей продуктов, дезорганизовали предприятия и транс-

[1] Курсив Ленина.

порт, передав их в ведение рабочих комиссий, полностью разрушили торговлю. При "военном коммунизме" люди работали под угрозой расстрела, но в 1920 году все умевшие что-то делать, кроме немногих энтузиастов, просто разбежались, и нельзя было уже добиться, чтобы ходили поезда. Партия направила на транспорт своего лучшего организатора, Троцкого. Тот пытался применить прежние методы, провалился, и в том же 1920 году предложил ЦК партии план временной "либерализации"; этот план "буржуазные специалисты" впоследствии превратили в нэп. Ленин яростно обрушился на план Троцкого. Но через год крестьянские мятежи, и особенно восстание матросов в Кронштадте, поставили советскую власть на грань гибели. Тогда Ленин согласился принять нэп.

По этому плану партия, сохраняя контроль над всеми сторонами жизни, разрешила частную торговлю, ремесло и мелкую промышленность. Вместо простой экспроприации всего наличного зерна (так называемой "продразверстки") крестьяне должны были сдавать предварительно установленное количество ("продналог"), а остаток могли продавать на рынке. Возник целый класс новых (а в действительности уцелевших старых) предпринимателей, прозванных "нэпманами".

Эксперимент вполне удался, благодаря двум условиям. Во-первых, уцелел ещё "человеческий капитал" — люди, сохранившие навыки крестьянского хозяйства и предпринимательства. Во-вторых, в стране была твёрдая, хотя по-прежнему террористическая в своей основе, но дееспособная и честная власть[1]. Были изданы законы, регулировавшие частное хозяйство, и эти законы *соблюдались*, потому что большевики следили за выполнением правил. Коррупция неизбежно развивалась "снизу", но сверху были большевики, и красть было опасно. Честные директора кое-где сохранились до пятидесятых годов!

Если оценивать общественный строй по критериям марксизма, то есть по его экономической "базе", то советская власть попросту была нэпом: никакой другой экономики большевики не могли придумать. Но, конечно, они считали это временным отступлением, до тех пор, пока созреют условия для общественного хозяйства.

Уже через несколько месяцев труд крестьян, освобождённый от государственного контроля, принёс свои плоды: в стране было изобилие продовольствия. В 1925 году, на "вершине" нэпа, Россию

[1]Примерно такие же условия (с не столь честной властью) существуют теперь в Китае. В России их нет.

нелегально посетил эмигрант Шульгин; из его воспоминаний видно, насколько большевикам удалось привить к своей бесплодной утопии живые ростки частной инициативы. Но этот гибрид был заранее обречён. Большевики не рискнули, конечно, вернуть в частные руки крупную промышленность[1]. Но они использовали оставшихся в России инженеров, добросовестно восстановивших старые предприятия. Наряду с этим человеческим капиталом, было сохранившееся оборудование, материалы и золотой запас старой России. Этого хватило на несколько лет, но машины устарели и износились, а на модернизацию не было средств.

Нужно было дальнейшее освобождение производительных сил. На эту экономическую необходимость возлагали надежды русские эмигранты, ожидавшие, что коммунизм будет развиваться в направлении социал-демократического прагматизма. Но правившие Россией "марксисты" на это не шли, опасаясь, что такое изменение "базы" разрушит сооружённую ими "надстройку". Между тем, в России уже укрепился новый правящий класс и новый государственный аппарат, который должен был сменить химерическую систему большевиков.

Итак, советская власть — то есть власть большевиков в виде нэпа — установилась в 1921 году и продержалась до 1927 или 1928 года. Это была самая продолжительная и широкомасштабная из всех попыток утопического общественного устройства, начиная с Платона. Но фантазия Платона лишь воспроизводила воображаемую древность, по образцу отсталого строя спартанцев, и никогда не была осуществлена. Между тем, более радикальная утопия большевиков была осуществлением чисто умозрительного плана, устремлённого к будущему, и этот план в самом деле проводили сотни тысяч верующих коммунистов, при пассивном или враждебном недоумении большинства населения, уже неспособного сопротивляться.

Конечно, "строительство коммунизма" происходило не в пустом пространстве, а в России, со всем её наследием патриархальной крестьянской жизни, царской бюрократии и уже вошедшего в привычку капитализма. Причудливое наслоение коммунистических экспериментов на эту историческую основу изобразил в своих сюрреалистических повестях Андрей Платонов. Коммунизм начинался с личной жизни его строителей. Многие из молодых коммунистов счи-

[1] То же было в польском варианте нэпа при Гомулке, и то же ещё продолжается в Китае.

тали семью буржуазным пережитком и хотели сразу же заменить её обычаями “свободной любви”; в самом деле, каноническая книга Энгельса называлась “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, и поскольку государство должно было отмереть, а частная собственность отменялась, то вряд ли стоило сохранять семью. Но старые большевики, уже большей частью состоявшие в браке, отнеслись к этому увлечению без энтузиазма, так что институт брака был официально признан. Вступление в брак и развод были, впрочем, весьма облегчены. Была подорвана патриархальная установка мужчин. Женщины получили юридическое равноправие, и большинство их пошло на работу. Положение “домохозяйки”, хотя и дозволенное, считалось “мещанством”.

Мещанством считалась и любая приверженность к собственности. Конечно, “частная собственность на средства производства” была в сознании коммунистов первейшим, можно сказать, первородным грехом. По закону, вся земля была “национализирована”, то есть принадлежала государству; но крестьянские наделы, исторически сложившиеся или полученные при экспроприации помещичьих имений, оставались в распоряжении их владельцев. Крестьяне были слишком многочисленны, и на их фактическую собственность пока нельзя было посягать: её закрепил нэп. Но в принципе эта земельная собственность была для коммунистов лишь временно терпимым злом, потому что владение *любой* собственностью, как они полагали, извращает психику человека и делает его непригодным для будущего коммунистического строя. Если крестьянин сам работал на своей земле, то нэпман — торговец, мелкий заводчик или ремесленник — считался эксплуататором, потому что он пользовался, или *мог* пользоваться наёмной рабочей силой. Нэпмана коммунисты ненавидели, как средневековые христиане ненавидели приспешников дьявола — колдунов и ведьм. По той же причине они ненавидели зажиточных крестьян — “кулаков”, которые, как предполагалось, потому и были зажиточны, что эксплуатировали батраков. Нэпманов и кулаков терпели, поскольку партия приняла такое решение, но лишь до тех пор, пока не придёт время их “ликвидировать как класс”. Эти настроения почти всех большевиков впоследствии облегчили Сталину ликвидацию нэпа — *то есть* советской власти, потому что экономической основой этой власти был нэп.

Но ненависть коммунистов не ограничивалась “собственностью на средства производства”; она распространялась на все предметы личного обихода — квартиры, мебель, одежду, на все удобства и удовольствия жизни. Всё это можно было иметь нэпману, которого счи-

тали “недочеловеком”, но коммунист должен был презирать любой комфорт. Партийные “чистки” — собрания, где каждого могли обличить в “буржуазном перерождении” и изгнать из партии — очень напоминали ригоризм первых христиан. Памятником этой эпохи, а также эпохи военного коммунизма, стал роман Николая Островского “Как закалялась сталь”. Это сочинение верующего коммуниста — плохая литература, но достоверный памятник своего времени и изображение человеческого типа, который уже трудно представить себе в наше вполне мещанское время.

Конечно, бо́льшая часть российского населения не включилась ни в ту, ни в другую сторону “классового” противостояния: эти люди не были ни нэпманами, ни коммунистами, а попросту заботились о собственном благополучии — насколько это дозволялось правилами советской власти. Чем же мог владеть советский обыватель? Крестьянин мог иметь дом, не слишком большой или богатый (чтобы не попасть в кулаки). Горожанин мог иметь небольшой, чаще всего деревянный дом, который в самом деле числился его собственностью, так что его можно было продать. Этот дом должен был иметь площадь, соответствующую числу членов его семьи, и почти всегда был одноэтажным; как правило, такие частные дома оставались за владельцами с дореволюционных времён. Впрочем, большинство горожан жило в квартирах, принадлежавших государству, в качестве нанимателей. Жилая площадь для них тоже была ограничена: у кого её было слишком много, тех “уплотняли”, то есть вселяли к ним в квартиру посторонних людей. Семье разрешалось иметь мебель и одежду, которые считались “личной собственностью” (в отличие от “частной”!). Нэпманы могли иметь гораздо больше собственности, но все понимали, что это “не настоящая” собственность, которую у них рано или поздно отберут. Художники двадцатых годов оставили нам изображения нэпманов и их женщин: в глазах этих обречённых ощущается страх.

В двадцатые годы “частникам” разрешали держать небольшие издательские фирмы, но все газеты и журналы, а также издательства, выпускавшие массовую литературу, принадлежали государству. Всё, что печаталось, подвергалось цензуре. За всю историю России печать была свободна лишь в течение семи месяцев Временного правительства; большевики сразу же снова ввели цензуру, которая исчезла — во всяком случае, была официально упразднена — лишь в 1991 году. Об этом основном факте не следует забывать всем, кто задумывается о русском общественном мнении: в Англии цензуру отменили в 1695 году, а в Америке её не было никогда! Но

при советской власти — то есть до сталинской диктатуры — цензура была сравнительно мягкой. Не разрешалось выражать "буржуазные" взгляды, но это относилось лишь к политике и идеологии. Цензоры были сами большевики, и способны были понимать прочитанное. Беллетристика и научная литература были почти свободны. Конечно, интеллигенты, привыкшие к "свободе" царского времени, всё время жаловались; они не знали ещё, что́ им предстоит.

Коммунистическая пропаганда, монопольно действовавшая на умы и проводимая убеждёнными большевиками, в двадцатые годы была весьма эффективна. Экономическое положение страны казалось благополучным: достижения нэпа, то есть результаты *разрешённого* свободного труда, можно было выдавать за достижения советской власти, но это означало, что советская власть в действительности была нэпом — чего большевики не хотели признать.

В планы большевиков входила не только пропаганда марксизма, но и повышение общей культуры. Ленин учил, что "коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество". Конечно, это нужно было не только для хозяйства: речь шла о создании нового человека. При всей утопичности этих планов, большевики принялись за них с большой энергией. На их стороне были важные факторы: они были честны, и им удалось возбудить бескорыстный энтузиазм. Может показаться странным, что я называю "честными" людей, придумавших себе партийную мораль вместо общечеловеческой, но они придерживались своей морали. В этом же смысле были честные иезуиты, совершавшие свои тёмные дела ad maiorem Dei gloriam, но не для личной выгоды, и честные инквизиторы, верившие в признания своих жертв. Можно не сомневаться, что у Дзержинского были честные чекисты из старых большевиков. В большинстве случаев, впрочем, большевики не занимались инквизицией, а ведали какимнибудь предприятием и, осознав свою некомпетентность, учились или привлекали "буржуазных" специалистов. Конечно, было во много раз больше "примкнувших" к новой власти обывателей, и эти не всегда были честны. Но старые большевики сохранили за собой главные посты и принимали решения для блага коммунизма: они работали, не щадя сил.

К старым большевикам прибавились их последователи, усвоившие их веру и усердие: это были молодые большевики. Часто они были малограмотны, учились на рабфаках и с трудом добывали инженерные дипломы, но верили в коммунизм. Молодые интеллигенты, получившие образование в двадцатые годы, были почти все

убеждённые коммунисты. Я знал некоторых из них, уцелевших во время террора. Даже в пятидесятые годы можно было встретить этих людей во главе предприятий и учреждений, особенно научных институтов и вузов.

Большевики, безжалостно расправившиеся с "буржуазной" культурой в лице её лучших представителей, много сделали для распространения грамоты и элементарного образования. В Советском Союзе тратили большие средства на дешёвые издания классической литературы, на музыкальные и художественные школы. По радио звучала серьёзная музыка — правда, вперемежку с советскими песнями. Устроенная большевиками система просвещения по инерции работала и после того, как большевики были истреблены. В издательствах и на радио долго еще сидели интеллигенты, оставшиеся там от советской власти. Даже во время войны по радио звучали симфонии Бетховена. Эта парадоксальная культурная политика привела к тому, что Россия, лишившись своей элитарной культуры, приобрела широкую поверхностную культуру — культуру людей, обученных грамоте и применяющих этот навык на работе.

Большевики сохранили также некоторые важные освободительные реформы Февральской Революции — уничтожение сословий и равноправие женщин, но и эти революционные акты приобрели у них парадоксальный характер. Исчезло почтение к "господам", но очень скоро привилегии привели к новому, ещё худшему барству; а все, кто принадлежал к прежним привилегированным сословиям, даже принявшие сторону новой власти, подвергались преследованиям. Наконец, женщины освободились от власти мужей, но скоро нужда заставила их пойти на работу. Некоторые из них в самом деле развились, но другие попросту несли двойное бремя.

Конечно, вокруг старых и молодых большевиков выросла многомиллионная толща чиновников, потому что бюрократическая машина большевиков, претендовавшая на управление всей жизнью страны, скоро стала в несколько раз больше дореволюционной. Эти обыкновенные советские служащие заботились только о собственном благе, и никто из них не был заинтересован в сохранении источника всех благ. Такие системы — даже при полной покорности населения — невозможны по чисто "кибернетическим" причинам и разрушаются, как мы видели, без всяких революций.

Что же можно сказать о "настоящих" большевиках? Они захватили неограниченную власть и стали жертвами этой власти. Парадокс тирании состоит в том, что "благонамеренный" тиран может и в самом деле сделать не только много зла, но и много добра своей

стране; однако, при этом неограниченная власть неизбежно извращает характер человека — нельзя безнаказанно быть тираном. Об этом свидетельствует история всех тираний, от Писистрата до Сталина. Первоначальная эффективность тирании скоро превращается в бессилие и коррупцию.

Идеология большевиков и их практика была *тоталитарной.* С нашей точки зрения, тоталитаризм двадцатого века был болезнью роста, связанной с глобализацией социального инстинкта. Ещё в девятнадцатом веке перед человечеством встали две задачи: преодоление национальной вражды и преодоление классовой вражды. Коммунизм, возбуждая классовую вражду, стремился устранить национальную вражду; фашизм, возбуждая национальную вражду, стремился устранить классовую вражду. Поскольку обе идеологии прибегали к насилию, они были тоталитарными. Но коммунизм исходил из биологически прогрессивной идеи равенства и братства всех людей, а потому многие видели в нем продолжение гуманистической традиции. Напротив, фашизм, в принципе отрицавший равенство и братство людей, был попросту биологически регрессивным движением, загонявшим людей обратно в изолированные племенные сообщества. То и другое движение были по существу враждебны свободе — то есть исторически сформировавшимся и уже осознанным правам человека. То и другое, извращая социальные побуждения человека и подчиняя его подлинные потребности предполагаемым интересам "коллектива", привели к порабощению человеческой личности и разрушению культуры.

4. Террор и конец коммунизма

Если понимать под "утопией" некоторое представление об идеальном обществе, задающее цели общественной деятельности, то без таких идеальных представлений за серьёзную политику нельзя и браться: иначе она вырождается в препирательства о частных интересах. Но, к несчастью, утописты обычно предполагали, что люди примут идеальное общество сразу и с трогательным единогласием. Вероятно, единственным исключением был первый из всех утопистов, Платон, предлагавший тоталитарное государство с аппаратом насилия, поразительно напоминавшим фашистское государство.

Большевики скоро убедились, что Россия не примет добровольно их систему. Следуя Марксу, они обвинили в этом сопротивление правящих классов и устроили революционный террор. Тоталитарный характер большевистской власти имел две стороны: *полити-*

ческое и экономическое насилие. Политическое насилие состояло в том, что гражданам не разрешалась никакая политическая деятельность, кроме участия в предусмотренных партией мероприятиях. Экономическое насилие состояло в запрещении любой хозяйственной инициативы. В отношении экономики большевики делали — во время нэпа — некоторые послабления; но в политике они действовали беспощадно. На XI Съезде партии (1921 г.) Ленин добился запрещения всякой фракционной деятельности; это означало, что члены партии лишились права обсуждать политические вопросы *между собой.* Ясно, что в такой партии неизбежные расхождения во мнениях должны были превратиться в интриги, а сама партия в нечто вроде мафии; история ещё не знала мафии, владеющей целой страной, но теперь у нас есть такой опыт.

Пока у власти были "старые большевики", привычные к партийным разногласиям, ленинское запрещение фракций не удавалось полностью провести: члены партии спорили, как им лучше строить коммунизм, а партийные вожди, представлявшие разные точки зрения, по существу боролись за власть. Но партия должна была держать в повиновении большую страну, где активное сопротивление прежних политических сил сменилось глухим пассивным сопротивлением народной массы, главным образом крестьян, всё ещё владевших землёй. Нэп не вызывал восстаний, но "мелкобуржуазная стихия", как выражались большевики, непрерывно "рождала капитализм". С другой стороны, сохранялась внешняя опасность: капиталисты, как можно было подозревать, только и думали о том, как расправиться с первой страной советов. Советская власть должна была быть сильной.

Красная Армия, почти разложившаяся в конце гражданской войны, была распущена, и её большевистское ядро принялось строить новую, дисциплинированную и хорошо вооружённую армию. Около 1930 года она насчитывала около полумиллиона человек и из всех армий мирного времени уступала в численности только французской. Красные командиры, имевшие опыт гражданской, а часто и мировой войны, прошли обучение с помощью немецких офицеров (с Германией в 20-ые годы были близкие отношения). Таким образом, большевики построили первоклассную современную армию — к сожалению, разрушенную Сталиным перед войной.

Другим достижением большевиков была внутренняя армия — ЧК, впоследствии переименованная в ГПУ, НКВД и КГБ. Функция этой армии состояла в защите советской власти и подавлении всех зачатков политического несогласия. Немцы, пережившие фа-

шизм, могут составить себе понятие об этой организации, сложив все функции гестапо, СС и СД.

Большевики, и ещё больше сменившие их сталинцы, стремились к максимальной концентрации власти, но парадоксальным образом власть в Советском Союзе имела три параллельных аппарата — партийный аппарат, "советский аппарат" и ЧК. Все три имели отделы, ведавшие всеми отраслями жизни, и "дублировали" деятельность друг друга. Предполагалось, что партийные органы дают общие установки и назначают кадры, а также следят за деятельностью всех остальных учреждений; советские органы занимаются хозяйством ("выполняют планы"); а чекисты, окружённые секретностью, всюду имеют своих тайных агентов, производят аресты и охраняют места заключения, а в случае надобности подавляют сопротивление внутри страны. Советский аппарат и в самом деле всегда повиновался партийному, но чекисты временами имели собственные цели и боролись за власть.

Как уже было сказано, уже в начале 20-ых годов бюрократический аппарат советской власти намного превышал численность царской бюрократии, одной из самых дорогостоящих в мире. К концу Советского Союза (1990) он насчитывал 19 миллионов человек; все эти люди пользовались бóльшими или меньшими привилегиями, но не должны были работать; содержание этой армии паразитов становилось всё более тяжким бременем для страны. Понятно, что аппарат такого размера нельзя было заполнить большевиками: образовался класс чиновников, мещанского и крестьянского происхождения. Эти люди предпочли физической работе канцелярские кресла, специальные пайки, лучшую жилплощадь. Чиновники, как всегда, ориентировались на существующую власть. До революции власть была сословной: во главе её стоял царь, окружённый аристократией, а чиновники, при всем их значении, оставались на подчинённых ролях. Революция уничтожила сословную власть и создала *абсолютную бюрократию.* В этом смысле советскую Россию можно сравнить разве что со старой Китайской империей, но там над всеми мандаринами всё-таки стоял наследственный император, Сын Неба, окружённый длинноволосыми маньчжурами. В Советской России не было аристократии: все были государственные служащие, за исключением одного человека — диктатора. Это была единственная в истории "однородная" пирамида власти, без всяких врождённых и приобретённых прав. В этом смысле диктатура Сталина превосходила не только Китайскую империю, но даже Турцию и Персию под властью узурпаторов, потому что шахи и султаны должны бы-

ли всё же считаться с обычаями, религией и национальностью своих подданных. Такая власть могла возникнуть лишь там, где были уничтожены *все* традиционные иерархические структуры. Эту предварительную работу проделали для Сталина большевики.

После смерти Ленина лидеры большевиков ожесточённо боролись за власть. Самым выдающимся из них был Троцкий, главный организатор октябрьского переворота и главнокомандующий во время гражданской войны. Его боялись все остальные, опасавшиеся, что он станет диктатором. Они объединились против него и отстранили его от власти. В течение всех этих споров и интриг кадровую политику партии контролировал малоизвестный партийный деятель Иосиф Джугашвили, принявший псевдоним "Сталин". До революции он был, по-видимому, агентом царской охранки, сумевшим втереться в доверие к Ленину. Ленин использовал этого человека для различных поручений, а с 1921 года поручил ему вновь созданную должность "генерального секретаря" партии, то есть, в более точном переводе с английского, "секретаря по общим вопросам". В английских и американских политических партиях General Secretary — это человек, которому поручают технические дела партии: печать, финансы, наем помещений и подбор людей на разные должности. Лидеры партии не занимали этот пост, так что "генеральный секретарь" вовсе не определял политику партии и не представлял её в парламенте. То же имелось в виду и в России, хотя титул этого партийного чиновника приобрёл, может быть, особый оттенок по аналогии с "генералом". Лидерами партии, после Ленина, были Троцкий, Зиновьев, Каменев и Бухарин. Сталина они не опасались: этот трудолюбивый грузин должен был выполнять для них техническую работу. Но в условиях абсолютной бюрократии всё зависело от расстановки людей на ключевые посты. Сталин вовремя понял, что в советской системе "кадры решают всё". За спиной у лидеров партии он поместил своих людей в местные органы и ловко организовал "выборы" делегатов на партийные съезды. Затем, сталкивая лидеров друг с другом и поддерживая то одного, то другого, Сталин к 1928 году стал неограниченным диктатором в партии и стране.

После этого ему надо было убрать "старых большевиков": он знал, что те не примирятся с узурпацией власти. Даже отстранённые от должностей, они были опасны, потому что члены партии помнили их старые заслуги, а Сталин был почти неизвестен. Кроме того, среди партийцев распространялись сведения о его дореволюционной связи с охранкой. Но на XVII Съезде партии (1934) они не

решились, или уже не смогли его снять, хотя и сделали попытку в этом направлении. Для диктатора это был сигнал тревоги.

К тому времени органы ЧК (ГПУ) полностью подчинялись Сталину: оставшиеся там большевики больше дорожили своим положением, чем партийной совестью. Пользуясь этими "кадрами", Сталин устроил убийство Кирова, которого делегаты XVII Съезда прочили на его место, затем устранил агентов, которым поручил это дело, и свалил убийство на Зиновьева и Каменева. Троцкий был уже выслан из СССР в 1929 году, когда Сталин ещё не решался его убить. После убийства Кирова начался "большой террор".

Способ проведения сталинского террора вызвал на Западе много комментариев и гипотез. Нередко наивные люди приписывали Сталину глубокие политические соображения, даже признавая, что мотивом его деятельности была борьба за власть. Примером такой усложнённой "политической" трактовки Сталина была книга Дейчера (I. Deutscher, *Stalin*). Единственным преимуществом Сталина перед его соперниками была его полная беспринципность и неразборчивость в средствах: он ничего не хотел, кроме власти, и ничего не понимал, кроме борьбы за власть. Примитивность его психики, простота его мотивов давали ему особое превосходство в бесформенной партийной массе, уже приученной идти за лидером и нуждавшейся в лидере. Сталин, как и все демагоги, использовал стадный эффект.

В середине двадцатого века физиолог Эрих фон Гольст выполнил удивительный опыт. Он исследовал вид мелких стадных рыб, под названием гольян. Обычно эти рыбки движутся все вместе, связанные друг с другом социальным инстинктом, механизм которого ещё непонятен. Но было известно, какая часть мозга отвечает за социальное поведение этих рыб, и фон Гольст вырезал этот кусок мозга у одной рыбки. После этого "асоциальный" индивид начал двигаться не так, как принято у этого вида, а отдельно от всех, преследуя только собственные цели. И тогда всё стадо начало следовать за ним! Он стал "вождём". Лоренц, сотрудничавший со знаменитым физиологом, приводит этот пример в контексте, не оставляющем сомнения: индивид, лишённый социального поведения, имеет преимущество и в *человеческом стаде.*

Если искать ближайшие аналогии такого поведения в человеческих сообществах, то надо рассмотреть образ действий узурпаторов, "незаконно" захватывавших власть в деспотических государствах — поздней Римской Империи, Византии или, ближе всего, в Турции или Персии. Человек тёмного происхождения, каким-нибудь обра-

зом сделавшийся шахом или султаном, старался укрепить свой авторитет, опираясь на привычную для населения систему власти — в особенности на господствующую религию. Придя к власти преступным путём — совершив с помощью сообщников фальсификации и убийства — новый султан или шах при первой возможности пытался устранить этих сообщников, как неудобных свидетелей или конкурентов. Затем обычно оказывалось, что некоторая часть прежней власти, какие-нибудь мамелюки или янычары, ропщут или имеют особые притязания. Этих привилегированных надо было при первом удобном случае перерезать. После этого, устроив новый аппарат власти из непричастных к прошлому незначительных людей, султан или шах время от времени менял этот персонал, чтобы новые начальники не захватили слишком много власти и не сговорились между собой: засидевшихся на своих местах убивали под каким-нибудь предлогом, или без предлога. Идеалом восточного правителя была пирамида власти, где всё приводилось в движение сверху одним человеком, а все остальные, чтобы сохранить жизнь, должны были выполнять приказы ближайшего начальника. Это я и называю "абсолютной бюрократией", хотя ситуация постоянного страха, пожалуй, лучше описывается, как "абсолютная тирания".

В психологическом смысле Сталин был "восточный человек": так его и понимали более умные из его противников. Вероятно, с самого начала своей партийной деятельности он видел в ней *только* борьбу за власть, хотя и научился переписывать (не очень грамотно) нетрудные марксистские рассуждения. Впрочем, неясно, много ли из приписываемых ему сочинений написал он сам; например, известную "сталинскую конституцию" сочинили для него Бухарин и Радек, которых он потом уничтожил. Сталин не понимал психологии европейцев и часто выдавал себя циничными замечаниями и жестокими шутками. У него не хватало ума понять, что его собеседники — такие, как Рузвельт, Черчилль или де Голль — могли иметь другие внутренние мотивы, чем он сам, и что они пришли к власти другим путём. В действительности у него был только *один* талант — к предательству. Всё остальное делали для него его жертвы, перед тем, как он их устранял. Но периодическая смена персонала — обычная техника восточных тиранов — кончалась тем, что очередная команда приспешников тирана устраняла его самого. Не избежал этой участи и Сталин.

В отличие от султанов и шахов, опиравшихся на вековую привычку народа к повиновению и на неизменную социальную струк-

туру общества, Сталин получил в наследство от Ленина и старых большевиков только что устроенную утопическую систему власти и растерянное, взбудораженное и цепляющееся за старые привычки население. Конечно, он должен был использовать ленинский аппарат власти (во многом сформированный им самим) и большевистскую идеологию. Но он должен был убрать большевиков, и притом таким образом, чтобы партия и вся масса населения могла поверить в продолжение коммунистической системы. Это он и выполнил — в два этапа.

На первом этапе ему удалось убрать соратников Ленина, партийных вождей, скомпрометировав их перед "молодыми большевиками". В этом сами "вожди" ему помогли, вступая с ним в сделки и понося друг друга. К 1929 году власть была полностью в руках Сталина; но аппарат власти всё ещё состоял из большевиков. Способ правления к тому времени стал не просто тоталитарным, а *фашистским*; применение этого термина вполне оправдывается общим исследованием подобных систем, выполненным Нольте и Боркенау. Последний указывает то же время перехода к фашистскому правлению в СССР — 1929 год.

С помощью среднего и низшего слоя большевиков Сталин мог теперь очистить своё государство от пережитков нэпа — чуждых советскому строю остатков частной инициативы. Большевики, всегда неохотно мирившиеся с нэпом, ревностно в этом участвовали, проводя "коллективизацию", то есть экспроприацию крестьянской собственности и закрепощение крестьян по месту жительства, и "раскулачивание", то есть насильственное выселение и уничтожение зажиточных крестьян ("кулаков"). Многие большевики, направленные в деревню, погибли в столкновениях с крестьянами; других героев коллективизации Сталин истребил впоследствии. Коллективизация означала расстройство сельского хозяйства и вызвала голод; только на Украине умерло от голода 6 миллионов. Число погибших "кулаков" оценивается в 10 миллионов. Весь этот переворот удалось выполнить с помощью заранее подготовленного аппарата ЧК — ГПУ. К 1931 году коллективизация была завершена.

Но ещё с 1929 года Сталин начал другую утопическую затею, "индустриализацию". И в этом случае он не придумал ничего нового, а следовал (с грубыми ошибками и ненужными жертвами) планам большевиков. Это была модернизация промышленности, с применением дешёвой рабочей силы и купленного за границей оборудования. Валюты не было, капиталисты не давали займов; нужные средства были получены "демпингом" — продажей на иностранных

рынках отобранного у крестьян зерна по низким ценам. Этот демпинг был одной из причин голода, местами доходившего до людоедства. Сталинский способ "социалистического строительства", основанный на бездумном уничтожении миллионов людей, и вообще можно назвать каннибальским. Примерно в 1934 году индустриализация также была в общих чертах завершена.

Таким образом Сталин дал большевикам осуществить их планы и руководил, как умел, этим организованным безумием. Он рассчитывал получить от этих мер достаточно продовольствия (что не удалось) и сделать Советский Союз современной промышленной страной (что в некотором смысле получилось — если не считать потерь). Если бы не было революции, то Россия, несомненно, достигла бы этой цели быстрее и не столь ужасной ценой.

Теперь большевиков можно было убрать. Это надо было делать, по-прежнему сохраняя видимость коммунистического строя. Для наивного населения, отрезанного от независимой информации, были инсценированы знаменитые "московские процессы", на которых бывшие лидеры партии — Зиновьев, Каменев, Бухарин и другие — сознавались в самых невероятных преступлениях — "вредительстве", саботаже, шпионаже и т. п., после чего их расстреливали. Эти признания известных всему миру коммунистов, соратников Ленина и — как предполагалось — стойких революционеров вызвали на Западе удивление и различные гипотезы. Некоторые думали, что лидеры большевиков, с их пренебрежением к морали, в самом деле прибегли ко всем этим неблаговидным средствам в борьбе за власть. Другие вообразили, будто подсудимые говорили всё это "в интересах партии". Были и совсем экзотические предположения, например, таинственные восточные медикаменты, изменяющие психику. Действительность была проще.

Прежде всего, лидеры партии, выступившие в роли подсудимых, вовсе не были особенными героями. Они и до революции не особенно пострадали, сидя в эмиграции или в безопасной царской ссылке. В двадцатые годы они были развращены беспринципной борьбой за власть — и самой властью в условиях террора, который они начали проводить. Они стали жертвами машины, которую сами пустили в ход. "Сотрудничеством" на процессах эти изолгавшиеся люди надеялись спасти себе жизнь. Сталин им это обещал, обманывал, и снова обещал другим.

Труднее было справиться с другими, не столь знаменитыми большевиками. Их уже не выводили на публичные процессы, а просто расстреливали. Но перед этим их долго, систематически пытали,

по указаниям Сталина, одобренным сталинским политбюро: это доказывают документы, сохранившиеся в обкомовских архивах. Эти регулярные, рутинные пытки, применённые не к отдельным важным лицам, а к миллионам ни в чем не повинных людей, были в самом деле новым явлением в истории и вызывают удивление. Сохранились признания обвиняемых в самых невероятных преступлениях, показания против кого угодно — своих знакомых, собственных жён и мужей, а также против коммунистов всех уровней, вплоть до членов политбюро. Массовый террор и массовые пытки были следствием болезненной подозрительности Сталина: по-видимому, у него постепенно развивалась психическая болезнь, связанная с манией преследования. То же было и с другими тиранами, облечёнными непомерной властью, например, с Иваном Грозным; но у Сталина были несравненно бóльшие средства полицейского преследования. В отношении методов он не был оригинален и повторял своим палачам одно и то же: "бить, бить и бить!".

В прошлом, как и в наши дни, пытки применялись избирательно, к отдельным лицам, для получения определённой информации. Сталин же давал "общие" указания, направленные на уничтожение всех верующих большевиков, старых и новых. Как он думал, для этого надо было собрать как можно больше "признаний" — и народ поверит. Этот расчёт в значительной степени оправдался: люди просто не могли поверить, что вся эта мифология о "врагах народа", "шпионах" и "диверсантах" была выдумана с начала до конца. Поверили и многие люди на Западе. Как известно, пропаганда Геббельса тоже опиралась на невероятные размеры лжи, в сочетании с ещё сохранившимся авторитетом государства.

Что же касается самих показаний, то их нетрудно объяснить известными фактами. Способность переносить пытки зависит не только от воли и убеждённости человека, но и от его физиологической выносливости; герои, не боящиеся смерти, после длительных пыток теряют способность к сопротивлению и делают всё, что ни подсказывают им следователи. Это не изменение личности, так как личность обычно восстанавливается после прекращения пыток, но временное ослабление личности. Прежде никому не нужно было столько признаний и, следовательно, столько пыток. Но Сталин хотел скомпрометировать большевиков и не дозировал своих указаний, а давал их в общей форме, способной возбудить активность его агентов. А эти агенты, сами напуганные и опасавшиеся, в свою очередь, попасть в "мясорубку", старались изо всех сил. Это расширило террор до самых нелепых размеров: никто ведь не мог возражать или реко-

мендовать умеренность! На языке кибернетики, это была система без обратных связей, то есть неспособная к равновесию. Общее число жертв "большого террора" оценивается в десятки миллионов, а вместе с жертвами гражданской войны, коллективизации и индустриализации достигает, по-видимому, 50–60 миллионов. Эта сумма кажется невероятной, но её отдельные слагаемые, поддающиеся подсчёту, заставляют ей верить. Вся ситуация сталинского режима, беспримерная в истории, может быть эмоционально понятна лишь тем, кто её пережил.

Мне было пять лет, когда няня вела меня по улице мимо старого барского особняка с высоким подвалом. Показав на зарешеченные окна подвала, она почему-то вдруг сказала мне: "По ночам здесь кричат кулаки". "Почему они кричат?" — спросил я. Няня объяснила: "Потому что их бьют". Прошло много времени, прежде чем я узнал об этом всю правду. Люди, истязавшие этих "кулаков", часто попадали в ГПУ по призыву, против своей воли. Большей частью они сами верили, что имеют дело с "врагами". Члены партии верили тому, что читали в газетах и слышали на собраниях. Они подозревали "врагов" в своих сослуживцах и старых знакомых, жены подозревали мужей, мужья — жен. Доносить на "врагов" считалось коммунистическим долгом. В парках ставили памятники пионеру Павлику Морозову, якобы донёсшему на своего отца и убитого за это кулаками. Жена начальника ГПУ Ежова жаловалась мужу, что подозревает в себе "врага народа", и отравилась. Ближайшие сотрудники Сталина ждали своей очереди: у них расстреливали братьев, сажали в лагеря жён, и Сталин следил за их реакциями. Он не верил в преданность — верил только в страх. Вспомнив знаменитые стихи, можно сказать: не было времени хуже этого, и не было подлей.

Чтобы понять, как это было возможно, вспомним известные из истории патологические извращения власти. В каждом обществе существует традиция, воспринимаемая в детстве. В эту традицию входит уважение и повиновение существующей власти, тем более прочное, чем старше традиция. Если система правления в целом не меняется, то она сохраняется и в том случае, когда верховная власть оказывается в руках случайного узурпатора, тирана или даже сумасшедшего, потому что сумасшедший может получить её по наследству, как Нерон или Иван Грозный, и потому что тирания — бесконтрольная власть — сама по себе сводит человека с ума: самым известным примером этого и был Сталин. Если сохраняется старая система власти, то все безумства какого-нибудь Нерона мало отра-

жаются на жизни простых людей; они продолжают уважать существующую власть и повиноваться ей. Но если система власти едва установилась, то в стране нет полного доверия к ней, и начинается возбуждение. Недавняя смена идеологии вызывает гражданские войны, охоту за ведьмами и террор — как это уже было во время Французской Революции.

Англичане первые поняли, что бедствий тирании можно избежать, ограничив власть системой учреждений. Такие системы были уже в древности, но плохо работали. Англичанам пришлось немало потрудиться, а в прошлом пролить немало крови, чтобы заставить их работать лучше: отсюда возникла "парламентская демократия". Эта система сохранилась и в Америке, где поселились английские колонисты. Урок революций в том, что опасно разрушать слишком много в слишком короткое время:

Gefährlich ist den Leu zu wecken,
Und schrecklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —
Es ist der Mensch in seinem Wahn.[1]

Между тем, на Россию надвинулась война. Сталин расстрелял в 1938 году всех способных генералов Красной Армии, потому что они были большевики и, по-видимому, говорили об его устранении. Как и во всех таких террористических мерах, в этом не было рассудка: армия была обезглавлена как раз накануне нападения Гитлера. Сам Сталин, хитрый только в аппаратных интригах, плохо понимал мировую политику. Он с недоверием оттолкнул западные демократии и вошёл в "дружбу" с Гитлером, который, конечно, его обманул. Сталин не верил сообщениям с разных сторон, полагая, что все его обманывают, хотя согласие независимых данных не могло быть случайным, и нападение застало его врасплох. Он готов был на союз с Гитлером, но силой обстоятельств оказался на стороне западных стран. После страшных жертв и разрушений союзники выиграли войну. Сталин готовился к новой войне, против бывших союзников, или хотел использовать мнимую военную угрозу для ещё одной волны массовых репрессий.

На этот раз жертвами террора должны были стать, среди прочих, "соратники" Сталина, палачи, вместе с ним терзавшие стра-

[1] Опасно будить льва, / И ужасна пасть тигра, / Но ужаснее всех ужасов — / Человек в своём безумии (Шиллер). Schrecken — по-русски «ужас», по-латыни — «террор».

ну, но в последние годы жизни полусумасшедшего диктатора ограничившие его власть и, по-видимому, готовившие его устранение. Таким образом они надеялись спастись от намеченной им "смены персонала", для которой он уже начал инсценировку в виде "дела врачей". Так же, как при устранении большевиков, эта борьба за власть старого диктатора должна была принять характер массового террора, с преследованием "врагов" по тому же сценарию: он не придумал ничего нового и ничего не забыл. Но внезапно и при подозрительных обстоятельствах Сталин заболел и умер — не позже 5 марта 1953 года. По-видимому, "соратники" позаботились, чтобы он умер.

Тоталитарный режим в Советском Союзе, особенно в годы сталинской диктатуры, во многом сходен с другими фашистскими режимами, например, с немецким и итальянским. Общие черты этих режимов достаточно известны, но советский строй отличался более глубоким разрывом с традицией — полным уничтожением исторически сложившихся отношений собственности и сословной иерархии. Вспомним, что Гитлер и Муссолини, как правило, не отнимали имущество частных лиц и корпораций, не закрывали церкви и оставляли аристократии командные места в армии. Конечно, это была власть люмпенов, но державшаяся на некотором компромиссе с прежним классом господ. Советская власть уничтожила этот класс не только в общественном смысле, но даже физически: лишь немногие из его членов, даже служивших режиму, остались в живых. После недолгой власти полуинтеллигентов-большевиков новыми господами стали люмпены — люди уголовного склада, истреблявшие сначала большевиков, а затем друг друга, пока не установился, наконец, брежневский "застой". Удивительнее всего период массового террора, с 1929 до 1953 года. То, что тогда было, нельзя объяснить *интересами* людей, даже интересами Сталина. Тем более нельзя объяснить всё это политическими идеями. Несомненно, события того времени не укладываются ни в какую идеологическую схему, даже в схему большевистского марксизма: идейные установки менялись причудливым образом в зависимости от очередных выдумок Сталина. Ужасная действительность состояла в том, что судьба страны зависела от *одного* человека — больше, чем когда-либо в истории. Пирамида власти возглавлялась диктатором, всецело ориентированным на *удержание* этой власти, но по существу не знавшим, что́ с ней делать. Мы видели, какие исключительные условия отдали эту власть в руки человека, безусловно неспособного руководить страной. Он подражал планам Ленина, но плохо их понимал; впро-

чем, сам Ленин в конце жизни понял, что они неосуществимы, и предлагал продолжить нэп на целый исторический период. Сталин не умел работать с нэпом и его развалил — между тем, советская власть только и держалась нэпом.

Сталин был способен только к интригам, но не к регулярному труду. Он был невежествен и ленив. Отсутствие творческих способностей он пытался возместить своей цепкой памятью, имитируя слова и поступки других — обычно своих жертв. Прошлое не давало ему покоя: он несомненно был агентом охранки и смертельно боялся большевиков. Главным мотивом его поведения был страх: он метался, как загнанный зверь, но должен был разыгрывать уверенность в себе, спокойствие и даже что-то вроде благодушия. Этого актёрского грима едва хватало на торжественные спектакли. Люди, видевшие его вблизи, слишком боялись его, чтобы найти для этого слова, но описали его истеричным и жалким. Несомненно, его подозрительность развилась в психическую болезнь, которой незачем придумывать название. Генрих Манн изобразил её в одной новелле — это была болезнь тирана, не уверенного в своём ремесле. Он не был ни Кромвель, ни Наполеон, он был смехотворно случаен. Конечно, он был циник и никому не верил, но верил своим фантазиям. Он и в самом деле верил в происки врагов народа, верил протоколам допросов, и потому приказывал выбивать признания. Детали его разговоров свидетельствуют, что он верил показаниям, полученным на пытке. Он и в самом деле подозревал, что Молотова завербовали американцы, что Ворошилов был английский агент. Он видел в окружающих "двойных агентов", и нетрудно понять, почему это был доминирующий симптом его паранойи. В этих случаях он не мог оценивать свои мысли; в других вопросах он мог делать оценки, но часто срывался. Срывался в присутствии важных иностранцев, демонстрируя свой примитивный садизм и, если можно так выразиться, свой садистский юмор. Его политика была рядом импровизаций, иногда маниакально упрямых; как правило, за ней стоял страх.

Решения его были чаще всего ошибочны, с точки зрения его собственных интересов. Он делал вид, что всё знает и умеет, потому что не верил экспертам и не умел их выбирать. Он и в самом деле верил, что Гитлер не нападёт на Россию, в самом деле думал, что все хотят его провести. Далеких планов у него не было, он реагировал на обстоятельства или пытался прощупать противника. Если он встречал прямое сопротивление, то всегда отступал, потому что был труслив. Упрямый Трумен заставил его отступить в Берлине, пото-

му что не боялся его. Иногда ему удавалось обмануть иностранцев, потому что он был непредсказуем.

Россия металась во власти обезумевшего тирана. Никто не был уверен, что выживет. Так как человек всегда стремится осмыслить происходящее, люди пытались понять и принять политику Сталина, и вместе с ним сходили с ума: это был *массовый психоз*. Думаю, что этого больше не будет, потому что способность *верить* явно идёт на убыль. Социальная психиатрия едва начинается, но у этой науки большое будущее.

Дальнейшая история Советского Союза — это ряд бессильных попыток выйти из исторического тупика. Наследники Сталина пытались поддержать эту нежизнеспособную систему. Прежде всего они устранили начальника КГБ Берия, пытавшегося захватить власть, и по обычаю перестреляли его "кадры". Затем, для собственной безопасности, они остановили истерическую охоту на "врагов", успокоили Запад некоторыми уступками и несколько ослабили грабёж деревни, ещё раз поставивший страну на грань голода. Формально считалось, что Советским Союзом управляет "коллективное руководство", и даже были осуждены некоторые крайности "культа личности", то есть сталинского режима. Но вскоре власть фактически захватил один из младших "соратников" Сталина, Хрущев, удержавшийся на своём месте до 1964 года. Впрочем, это была уже не столь жёсткая власть, как раньше: "соратники", блокировавшие Сталина в последние годы его жизни, заключили между собой сделку, запретившую аресты и расстрелы "руководящих кадров". Когда они решились в конце концов снять болтуна и пьяницу Хрущева, им пришлось ещё раз устроить заговор; но затем они оставили его в живых, и он умер своей смертью.

Постепенно сложилась квазифеодальная система правления, при которой почти невозможно было снимать с должностей прочно устроившихся в ней бюрократов. Первые секретари обкомов и крайкомов, опираясь на связи в ЦК партии, превратились во что-то вроде удельных князей. Министерства, как будто демонстрируя "законы Паркинсона", заботились о своих внутренних интересах. Несколько раз предпринимались попытки "реформировать" управление хозяйством, но аппарат неизменно срывал все меры, которые могли бы привести к кадровым переменам и лишним хлопотам. Сталин мог добиться усердной работы в отдельных отраслях, угрожая расстрелом, но после сделки о безопасности кадров советские бюро-

краты могли не опасаться за свою шкуру и даже — при соблюдении принятых обычаев — за свои посты. Обычаи же были в том, сколько каждому разрешалось красть, и с кем полагалось делиться краденым. Как и во всех бюрократиях, сложилась система коррупции, но абсолютная бюрократия превратилась в абсолютную коррупцию. Террор всегда начинается с убийства и кончается воровством.

С 1964 года в Советском Союзе установилась система, в которой не было эффективной власти и не допускалось никаких перемен. Политбюро составляла клика бывших доносчиков, занявших места расстрелянных в годы террора большевиков. Главой её считался жалкий пьяница по имени Брежнев, а им управляли незаметные манипуляторы из аппарата ЦК. К концу 80-ых годов эта система, прозванная "застоем", дошла до полного маразма. Практически несменяемые старцы из политбюро заботились только о сохранении своего положения. Двадцать лет "застоя" обошлись стране так же дорого, как проигранная война.

Кремлёвские старцы боялись что-нибудь изменить в своей системе, понимая её хрупкость. Но когда более молодая группа партийных бюрократов попыталась провести очередную реформу, система уже не смогла амортизировать эту "перестройку". "Империя зла", как её назвал американский президент Рейган, развалилась, как карточный домик, — к удивлению не только внешних наблюдателей, но и внутренних противников режима, не ожидавших столь быстрого развития событий.

Последовательных противников советской власти было очень мало, поскольку все политические направления, кроме официального коммунизма, были уничтожены. Но, в отличие от старого Китая, у советского населения была альтернатива: идеи свободы и законного порядка не были устранены из человеческого сознания, и были другие страны с другим строем жизни. Хотя очень немногие из советских людей хотели возвращения к "буржуазному" строю, многие из них находили, что практика советского режима противоречит его официально провозглашённой доктрине. Особое возмущение вызывали у них беззаконные расправы над "инакомыслящими". Советская интеллигенция, оставаясь советской по своим взглядам, надеялась на эволюцию партийной политики в сторону большей свободы. В стране распространялся "самиздат" — самодельная литература, бедная по содержанию, но всё же критическая по отношению к режиму. Некоторые наивные люди обращались к правительству с жалобами и предложениями устранить различные злоупотребления. Эти люди не выходили за рамки советских законов, но их "судили" и

сажали в лагеря, а самых надоедливых убивали без суда. Это и были так называемые “диссиденты”. Термин, придуманный иностранцами, оказался очень удачным: английские диссиденты семнадцатого века тоже не посягали на господствующую систему, а только настаивали на исправлении нескольких деталей. Советские диссиденты были ещё менее радикальны: они вовсе не отвергали каких-нибудь статей принятой веры и позволяли себе только смиренные жалобы властям. Но в стране было отчётливое недовольство маразматическим режимом и стремление к переменам.

Единственной средой, где это недовольство могло проявиться в виде политического действия, была сама партия, где тоже было много недовольных. Хозяйство приходило в упадок, коррупция разъедала все учреждения и, наконец, власть старцев из политбюро и несменяемость местных кадров не давала продвинуться более молодым честолюбцам. Эти младшие партийцы хотели всего лишь “отремонтировать” советскую власть и “омолодить” её руководство, пробив себе путь к высоким постам; единственным средством для этого были аппаратные интриги. Но партийным реформаторам способствовало настроение общества. И точно так же, как масса недовольных вне партии, они вовсе не хотели разрушить однопартийную систему и Советский Союз. Партийные реформаторы сумели протолкнуть на ключевой пост генерального секретаря малоизвестного деятеля Михаила Горбачёва. Горбачёв был порождением партийного аппарата, узко специализированным на аппаратных интригах и не способным ни к чему другому. Он был крестьянского происхождения, малограмотен и говорил с южнорусским акцентом; только иностранцы, не понимавшие его речей, могли строить себе иллюзии о его образованности и способностях. Речи его были пусты: как все партийные ораторы брежневского времени, он умел долго говорить, ничего не сказав; но он был моложе и не уставал говорить и интриговать. Он знал, что одна только должность генсека не принесёт ему реальной власти: как и в предыдущих случаях, он ещё должен был её завоевать, и для этого у него был лишь один путь, тот, которым шёл Сталин: он начал сталкивать между собой разные группы в партийном руководстве, входя в сделки с одними против других. Но он воспользовался ещё и другим, “внепартийным” средством, пытаясь опереться на недовольство населения: чтобы справиться с областными и республиканскими “феодалами”, он начал возбуждать против них “общественное мнение”. Это был рискованный путь и, конечно, он рассчитывал впоследствии успокоить все эти страсти; но пока что он расшатывал лодку, где сидели все партийные чиновники.

“Съезды народных депутатов”, при всей фальсификации выборов, привели к неожиданному результату: они обнажили перед всей страной убожество партийного руководства. На Съездах говорили по-разному и без предварительных указаний: это было необычно и даже страшно. Я смотрел эти зрелища, у знакомых, где был телевизор. Члены политбюро сидели уже не в президиуме, а в отдельной ложе, и были очень похожи на подсудимых: на их лицах можно было прочесть страх. Горбачёв в конце концов одолел своих противников из политбюро, но это была пиррова победа: к тому времени партия уже теряла власть над страной. Как же это произошло?

“Перестройка” (как Горбачёв скромно назвал свою реформу) вызвала в стране возбуждение, а в отдельных местах начались открытые политические действия: люди собирались, обсуждали разные вопросы и даже устраивали, не спрашивая разрешения, свои организации. Всё это осторожно представлялось как законная деятельность в рамках советской конституции (и с формальной стороны было таковой), но с 1917 года никто не видел ничего подобного. Особенно возбудились национальные окраины: Прибалтика, где стремление к независимости всегда сохранялось, Закавказье, и даже Средняя Азия, где “национальная политика” партии приняла совсем уж феодальный вид, как будто вернувшись к временам ханов и эмиров. По советским правилам национальные чувства не должны были проявляться и наказывались как “национализм”. Массовые выражения такого “национализма” требовали репрессий; но Горбачёв боялся прибегать к репрессиям, чтобы не разрушить свой “имидж” внутри страны и за рубежом. Если бы дальнейшая политика нуждалась в репрессиях, то Горбачёва можно было заменить кем-нибудь другим; поэтому он был робок в применении насильственных мер и пытался свалить их на других или отмежеваться от того, что делали другие. Впрочем, надо признать, что Горбачёв и в самом деле не умел проливать кровь: он ведь начал свою карьеру в послесталинское время, когда конкурентов уже не полагалось убивать. Я не назову его гуманным человеком, но многие партийные товарищи считали его “слабонервным”.

Возбуждение в национальных республиках, после безуспешных и трусливых попыток его остановить, достигло таких размеров, что местным партийным бюрократам надо было решиться — идти ли дальше вместе с Москвой, или попытаться возглавить процесс обособления национальных республик, срочно сменив свой политический цвет. Они видели, что сама Россия выходит из-под контроля партии, что Горбачёв быстро теряет контроль над ситуаци-

ей в РСФСР, где вокруг Ельцина складывается новый центр власти, соперничающий с союзной властью. В этих условиях "национальные" партбюрократы предпочли не подавлять национальное возбуждение, а "возглавить" его. Заведующий отделом пропаганды ЦК компартии Украины, некий Кравчук, стал таким образом первым президентом Украины. Ему понадобилось только говорить прямо противоположное тому, что он говорил раньше! В Средней Азии партийные лидеры сразу превратились в мусульман, а в Закавказье проявили, вместо дружбы народов, надлежащую ненависть к соседним народам. И все они сохранили власть. Только в Прибалтике власть оказалась в руках "правых", то есть не коммунистов.

Статья конституции СССР, сохранившаяся со времени Ленина, гарантировала республикам "право на самоопределение", то есть на выход из Советского Союза. Эта статья никогда не рассматривалась всерьёз, как и другие записанные в этом документе права. Теперь она оказалась как нельзя более кстати. Республики объявили о своём "суверенитете", избрали себе президентов, и им осталось только выйти из Союза. Россия всегда была суверенной, но РСФСР тоже поторопилась объявить о своём "суверенитете" — непонятно, от кого. Часть московских чиновников пыталась удержать за собой власть над СССР, но это становилось нереальным; бóльшая часть чиновников решила, что выгоднее отделаться от этого бремени, и перешла на сторону Ельцина с его "российским" аппаратом. Это и был конец СССР.

Президенты трёх славянских республик — России, Украины и Белоруссии — тайком собрались в Беловежской пуще и объявили о денонсации договора 1922 года, по которому был создан Советский Союз. Этот договор не предусматривал ликвидации Союза, точно так же, как Конституция Соединённых Штатов. Недовольные могли, конечно, начать гражданскую войну, но никто не захотел. Ельцин распустил коммунистическую партию — КПСС; теперь в России другая коммунистическая партия, КПРФ, но это уже не правящая, а обыкновенная партия. Так завершился коммунистический эксперимент в России, начатый большевиками.

Я не буду здесь рассказывать, как освободились от советского режима страны Восточной Европы, которым эту систему навязали после войны. Теперь так называемый коммунизм остался только в Китае и Вьетнаме, в виде чего-то вроде нэпа, и в Северной Корее, где он превратился в наследственную монархию, и где народ вымирает с голоду. Да ещё на Кубе продолжается власть Кастро, и вме-

сте с ней голод, потому что Кастро боится ввести нэп. Эти системы очень скоро превратятся в нечто более устойчивое, чем коммунизм: всё говорит за то, что после 1991 года коммунизму пришёл конец.

Коммунизм, понимаемый как утопическая идея — то есть как отдалённая общественная цель — был уже описан в начале этой главы. Общество, какое хотели устроить первые коммунисты, предполагало крайнюю добросовестность всех людей в трудовых отношениях и крайнюю благожелательность всех людей в отношениях друг к другу, при которых не понадобится никакая форма контроля и, тем более, принуждения людей; иначе говоря, коммунисты считали, что не будет никакого государства, а все виды организации людей будут приниматься добровольно и без споров. Сообщества такого рода встречаются в природе у муравьёв, пчёл и других — по старому зоологическому названию — "государственных насекомых", поведение которых *полностью* определяется инстинктами. Поэтому противники коммунизма давно уже обозначили идеальное общество коммунистов, как "муравейник". Но из людей такое общество составить нельзя. Муравей может прожить отдельно от своих собратьев шесть часов; строго говоря, он является не отдельной живой системой, а частью такой системы — муравейника. Человек тоже "общественное животное", но его отношения с другими людьми зависят не только от инстинктов, а ещё от его личного опыта и мышления. В этом смысле человек обладает *индивидуальностью*, то есть разные люди по-разному ведут себя в одной и той же ситуации. Ничего подобного нет у муравьёв или пчёл. Несомненно, общество может существовать с гораздо меньшим применением контроля и насилия над людьми, но мы не знаем, *насколько* меньшим. Описанный выше идеал первых коммунистов мог пониматься как утопический план, вроде планов Платона и Мора, или как "предельное состояние", к которому можно стремиться. В этом качестве он не более странен, чем другие идеалы, например, идеал тысячелетнего царства христиан, с которого он в действительности списан.

Люди не могут жить без идеалов. Коммунистический идеал никогда не имел *культурной* перспективы — это очень бедный идеал, порождённый голодом и страхом. В действительности он сводился к сытости и безопасности, как это изобразил Оруэлл в своей Ветряной Мельнице. Но такие блага уже доставляет трудящимся современный капитализм, в сущности воплотивший этот идеал голодного скота.

Коммунистический идеал изжил себя и сохранил притягательность, может быть, лишь в самых бедных частях света.

В действительности проблема коммунизма состояла не в его утопической цели, о которой никто всерьёз не думал, а в средствах её достижения, рекомендованных в "Коммунистическом Манифесте" 1848 года, и в практическом применении этих средств в "коммунистических" государствах. Эти средства предполагали ограничение *свободы*, во всяком случае, в течение "переходного" периода. Маркс полагал, что этот период будет очень коротким, но в России оказалось, что он может затянуться на целые поколения. Конечно, большевики были фанатики насилия. Ленин хотел иметь идеально управляемую систему и сидеть у её пульта управления; он верил, что найдёт наилучшие ответы на все вопросы, какие могут возникнуть в жизни общества. Такая уверенность бывает только у очень ограниченных людей, какими и были большевики. Сталин довёл эту систему управления до абсурда. Он представлял себе желательное для него общество в виде "дерева", перевёрнутого сверху вниз. В верхней точке находится диктатор, отдающий приказы членам политбюро; каждый из них, в свою очередь, отдаёт приказы индивидам следующей ступени власти, скажем, министрам, имеющим только одного начальника; каждый из министров командует, например, управляющими, знающими только своего министра, и так далее. Я описал эту пирамиду власти без устройств, обеспечивающих исполнение приказов: можно, если угодно, считать, что не исполнять приказы уже нельзя (ведь это, по представлению диктатора, *идеальное* общество!). Оставив в стороне все этические проблемы, рассмотрим только "кибернетический" вопрос: может ли эта система эффективно работать?

Если целью её работы является не только удовольствие от управления, то к пирамиде власти надо прибавить какие-то связи с внешним миром, например, с животными, растениями, горными породами и прочими объектами, которые не всегда повинуются команде. Для такой "хозяйственной" деятельности изображённая система крайне неэффективна: в ней нет обратных связей, сообщающих информацию о происходящем снизу вверх, и от каждого звена к некоторым другим. Для эффективности, и даже для устойчивости самой системы требуются совсем другие принципы управления. Теперь это объясняется в кибернетике, но это давно уже знали в цивилизованных странах, где изобрели, например, представительное правление, дающее обратные связи, и принцип равновесия властей, не дублирующих, а контролирующих друг друга — таких, как зако-

нодательная, исполнительная и судебная власть.

Когда Ленин запретил в 1921 году все обратные связи в партии, он этого не понимал. Диктатура удручающе неэффективна и недолговечна.

Необычайные успехи коммунизма в двадцатом веке объясняются тем, что это учение обещало устранить социальную несправедливость и построить “справедливое общество”. Коммунизм заменил людям религию, обещавшую все эти блага в загробном мире, но примечательным образом не уточнял своих *целей*. Вся его пропаганда, все его лозунги и песни ограничивались *средствами*, прославляя и поэтизируя такие сомнительные средства, как коммунистическая партия, красная армия, деятельность всевозможных подпольщиков и партизан, наконец, “трудовые подвиги” на каком-нибудь производстве. Эта пропаганда доставляла людям замену утраченной религии и способы общения, удовлетворявшие их *социальный инстинкт* — торжественные собрания и шествия, революционные песни и лозунги, наконец, гневные проклятия в адрес врагов. При этом речь шла только о “борьбе за коммунизм”, о “построении коммунизма”, но никогда о самом “коммунизме”. Все эти формы организации масс, в самом деле, имели мало отношения к их номинальной цели, что лучше всего видно при сравнении с другой тоталитарной доктриной — фашизмом: массовые мероприятия фашистов и коммунистов психологически неразличимы, то есть переходят друг в друга при замене слов. Были и случаи прямого заимствования: популярный гимн советских лётчиков имел немецкое происхождение.

Люди верили в доктрины, вызывающие теперь недоумение и смех. И при всех ужасах пережитой эпохи эти люди были в *чем-то* счастливее нас: у них было, как им казалось, радостное общение. Чудовищная петля русской истории замкнулась, вернувшись к ухудшенному варианту прошлого — ненавистного нашим предкам. Раньше нас призывали идти к коммунизму, теперь нас соблазняют дарами рынка. Люди жаждут осмысленной жизни, а им предлагают идти на базар. Мы стали народом без песен.

Глава 13

Двадцатый век

1. Фазы разрушения и созидания

В исторических главах этой книги главное внимание уделялось основной тенденции развития культуры, её творческому развитию, обычно обозначаемому словом “прогресс”. Мы уже сравнивали это развитие с ростом живого организма и с эволюцией вида, отметив, что творческое развитие — не простая аналогия, а *общая закономерность всех живых систем.* Понимание этого основного факта отличает гносеологическую позицию Лоренца от примитивных сравнений, обычных в традиционной философии истории.

Менений Агриппа сравнивал человеческое общество с телом человека, но при этом рассматривал общество в статическом состоянии: древние вообще не представляли себе, что общество может развиваться, они допускали только процессы упадка и разрушения. В этом смысле философия древних уподобляла культуру живому организму, явившемуся на свет взрослым и совершенным, но сразу же начавшему дряхлеть.

Историки и философы Нового времени тоже руководствовались биологическими аналогиями, но обычно сравнивали историю культуры с жизнью индивида, проходящей через стадии роста, зрелости и старения. Эти аналогии столь привычны, что трудно проследить их происхождение. Но, конечно, жизнь индивида — плохая модель развития культуры, хотя бы потому, что продолжительность жизни отдельной культуры вовсе не ограничена заранее её врождёнными свойствами, как жизнь отдельного организма. Как известно, некоторые изолированные культуры, мало подвергавшиеся внешней агрессии, могли существовать в течение тысячелетий, сохраняя свою традицию. Таковы были не только простые земледельческие культуры индейцев, но и высокие культуры Египта и Китая. Как можно заметить, эти культуры были консервативны: в некотором смысле им пришлось расплачиваться за свою прочность явлениями застоя, также несомненно связанными с изоляцией.

Действительно полезная биологическая модель культуры была предложена Лоренцем: это модель вида животных. Виды эволюционируют, развиваясь в сторону усложнения функций и, тем самым,

лучшего приспособления к среде. В благоприятных условиях они могут, по-видимому, существовать сколь угодно долго, в отличие от отдельного организма: вид совсем иначе составлен из особей, чем индивид из клеток. "Консервативные" виды, например, акулы, живущие в относительно постоянной среде, существуют сотни миллионов лет, а некоторые одноклеточные, вероятно, миллиарды лет — в почти неизменном виде. Но и более "динамичные" виды живут миллионы лет, приспосабливаясь к изменениям среды, если только слишком резкие изменения не приводят к их гибели. По сравнению с ними наш вид *homo sapiens* очень молод, ему около двухсот тысяч лет. Человеческие культуры меняются гораздо быстрее, чем виды, но вовсе не обречены на гибель, если только умеют приспособиться к меняющимся условиям. В наше время это относится не столько к условиям среды, сколько к внутренним условиям самой культуры.

Биологическая модель Лоренца позволяет понять многие исторические процессы. Создание новых органов или новых функций у каждого вида сопровождается отмиранием других органов или, как говорят биологи, их рудиментацией. Но поскольку развитие культуры происходит гораздо быстрее эволюции вида, фазы созидания и разрушения в нем более заметны. Лоренц иллюстрирует общие закономерности развития ярким примером. Вот что он говорит в главе 10 своей книги "Оборотная сторона зеркала" (эта глава называется: "Факторы, сохраняющие постоянство культуры"):

"Жизнеспособность вида зависит от того, что постоянство его наследственных задатков находится в правильном равновесии с их изменчивостью. Филогенетики и генетики сейчас уже довольно точно знают, каким образом животный или растительный вид справляется с помощью текущих приспособительных процессов с постоянно происходящими независимо от них бо́льшими или меньшими изменениями их жизненной среды. Равновесие между факторами, обусловливающими постоянство наследственного материала, и факторами, изменяющими его, у разных видов различно и во всех случаях приспособлено к изменчивости жизненной среды. ...

Ряд известных аналогий между видообразованием и историческим становлением культур наводит на мысль проследить и в человеческой культуре две категории процессов, гармонический антагонизм которых устанавливает и поддерживает необходимое для сохранения жизни равновесие между постоянством и приспособляемостью. ...

В двойственности действия любых структур заключена проблема, стоящая перед каждой живой системой — как перед видом, так

и перед человеческой культурой: её *опорная* функция должна быть куплена ценой *жесткости*, т. е. потери степеней свободы! Дождевой червь может изгибаться как хочет; мы же в состоянии менять позицию нашего тела лишь в тех местах, где предусмотрены суставы. Зато мы можем стоять прямо, а дождевой червь не может. Постоянные структуры вида обеспечивают его приспособляемость и в то же время состоят в примечательном отношении к знанию. С одной стороны, каждая приспособленная структура содержит знание; знание только и может закрепиться в приспособленных структурах, таких, как молекулярные цепочки генома, ганглионарные клетки мозга или буквы учебника. Структура — это приспособленность в готовом виде; и она должна быть в состоянии, по крайней мере частично, опять *разрушаться и перестраиваться*, когда происходят дальнейшие приспособления и должно быть усвоено новое знание.

Прекрасный пример такого процесса — рост кости. Он никоим образом не сводится к тому, что костеобразующие клетки, "остеобласты", откладывают всё время новое сразу же обызвествляющееся вещество кости; одновременно должны работать также клетки, способные уничтожать старое вещество кости, так называемые остеокласты. Посредством гармонического взаимодействия этих антагонистов растущая кость в целом всё время приспосабливается к величине растущего животного и на каждой стадии роста вполне гармонирует с общим строением организма. Все накопление знания, определяющее культуру человека, основывается на возникновении прочных структур. Эти структуры должны обладать относительно высоким постоянством, чтобы вообще возможна была передача от поколения к поколению и кумуляция знаний в течение длительных промежутков времени. Совокупное знание некоторой культуры, заключённое во всех её правах и обычаях, в её процедурах земледелия и техники, в грамматике и словарном составе её языка и тем более в "сознательном" знании так называемой науки, должно быть отлито в структуры относительно постоянной формы, чтобы возможна была её кумуляция и дальнейшая передача."

Процессы созидания и разрушения, сопровождающие рост культуры, не программируются заранее, как действие остеобластов и остеокластов. Как подчёркивает Лоренц в главе 13 ("Бесплановость культурного развития"), процессы развития культур были до сих пор стихийны: обратные связи в этих процессах задавались не сознательной волей людей, а условиями внешней среды, и в особенности инерцией культурного окружения.

Афинская демократия была раздавлена численно превосходящей коалицией отсталых греческих государств во главе с примитивной олигархией Спарты. Она не сумела использовать преимущества своего демократического строя, не смогла объединить вокруг себя греков, отбиться от внешнего завоевания. Эта трагедия высокой культуры произошла в пятом веке до нашей эры. Другой культурной катастрофой была гибель Римской империи, не умевшей защититься от агрессии варварских германских племён: это было через тысячу лет после крушения греческой демократии.

Культура Возрождения, освободившая творческие силы человека и подготовившая Новую Историю, потерпела поражение от сил феодальной реакции и новой схоластической разновидности христианства — так называемой реформации. Вслед за расцветом культуры в шестнадцатом веке наступил мрачный семнадцатый век, с католической контрреформацией, инквизицией и религиозными войнами. К счастью, в конце века английская революция и английская наука открыли человечеству путь из этого тупика.

Восемнадцатый век был веком расцвета новой европейской культуры, когда сформировалась философия гуманизма — под именем Просвещения. Эта культура достигла своего высшего развития в середине девятнадцатого века, но столкнулась с трудностями, которых не могла преодолеть, и двадцатый век оказался веком регресса, тоталитарных деспотий и бессмысленных мировых войн. Трудности — или, лучше сказать, болезни европейской культуры — можно свести к двум неразрешённым вопросам: социальному и национальному.

Социальный вопрос, занимающий главное место в этой книге, особенно важен для будущего. Национальный же вопрос, постепенно уходящий в прошлое, возник из самого образования наций, то есть из естественного этапа глобализации культуры. Национальные культуры складывались во всей Европе, где к началу двадцатого века каждая нация стремилась заполнить одно из уже существующих государств, или устроить себе новое государство. Но глобализация социального инстинкта отстала от развития европейской мысли и "застряла" на уровне национальных культур. Искренний социалистический порыв рабочих не смог преодолеть их национальную ограниченность. Нужны были страшные жертвы и потрясения двух мировых войн, чтобы народные массы могли переступить порог национальной изоляции, а буржуазия научилась делиться с наёмными работниками частью своего возросшего дохода — на какое-то время усмирив классовую борьбу.

Болезни культурного развития до сих пор не встречали сознательной реакции человека, потому что культура до сих пор развивалась стихийно. Но при современных технических средствах такое стихийное развитие неизбежно приведёт к гибели человечества. Вне разума для человека нет спасения.

2. Национальный вопрос и война

Напомним основные этапы глобализации культуры. Мы предполагаем, что глобализация социального инстинкта стала возможной благодаря мутации, заменившей генетически наследуемую программу "узнавания" члена своей первоначальной группы (перешедшую к людям от стада гоминид) открытой программой узнавания индивидов более широкой группы по её *культурным* признакам. Вначале такой более широкой группой было *племя*, а первым результатом глобализации было распространение на племя действия человеческих инстинктов: социального инстинкта и инстинкта, корректирующего действие инстинкта внутривидовой агрессии. Таким образом, первыми культурами были племенные культуры. Каждому племени свойственны отличительные признаки, по которым члены его с детства учатся узнавать друг друга — антропологический тип, язык, татуировка, одежда, ритуалы и религия. Эти признаки служат для защиты от смешения с другими племенами, по отношению к которым инстинкт внутривидовой агрессии включается с полной силой в его специфически *человеческой* форме, допускающей (при отсутствии корректировки) убийство своего собрата по виду.

Отличительные признаки культуры очень похожи на "плакатную" окраску, различающую некоторые близкие виды животных. Защитные функции этих признаков тем более необходимы для образования культуры, что, в отличие от видов животных, разные человеческие культуры способны к генетическому смешению, причём их сближает не только половой, но и социальный инстинкт. Действие *биологических*, то есть инстинктивно обусловленных механизмов, предназначенных для защиты племенной культуры, несомненно лежит в основе войн между племенами. Эти механизмы описаны в главе 10 книги Лоренца "Оборотная сторона зеркала". При этом конкуренция в использовании природных ресурсов чаще всего вторична, поскольку предполагает уже сложившиеся племена, которые не могут образоваться без защитных механизмов.

Войны между примитивными племенами, когда-то составлявшие предмет их ребяческой гордости и тщеславия, вызывают теперь ма-

ло интереса и ещё меньше энтузиазма. Нам трудно следить за перипетиями бесконечной резни, составляющей содержание “Илиады”, и мы не понимаем этого увлечения дикарей, хотя мы сами были свидетелями таких же подвигов в бóльшем масштабе — например, двух мировых войн двадцатого века.

Несомненно, те же биологические механизмы действуют и теперь, когда место племенных культур занимают “национальные культуры”, или даже сверхнациональные, вроде европейской. Они вызывают у индивида, воспитанного в некоторой культуре, спонтанные реакции отталкивания людей, принадлежащих к другой культуре, например, жителей соседних стран, или представителей национальных меньшинств собственной страны. Заметим, что эти спонтанные механизмы защиты культур, сыгравшие некогда важную роль в их образовании, в наше время являются пережиточными. Спонтанное проявление инстинктов, например, инстинкта внутривидовой агрессии или полового инстинкта, вообще контролируется культурой и допускается лишь при определённых обстоятельствах. Бессознательное публичное выражение этих инстинктов считается неприличным. Так же обстоит дело с отталкиванием “чужих”. Чем выше культура, тем меньше она нуждается в защите от “вторжения” других культур, и тем более чужды ей механические реакции их инстинктивного отторжения. С точки зрения гуманизма, то есть складывающейся теперь общечеловеческой культуры, такие реакции осуждаются и вызывают у *культурного* человека отвращение — как и многое другое, что делают *дикари.*

Между тем, как замечает Лоренц, исторически образовавшиеся культуры представляют для человечества высокую ценность, а конкуренция между ними имеет важное значение, как стимул их развития. Конечно, в наше время эта конкуренция должна быть только мирной: люди могут найти средства сублимации своей агрессивности, не прибегая к “традиционному” механизму войны. Было бы печально, если бы, например, такие культуры, как французская или русская, погибли под давлением “массовых средств информации”; от этой опасности их в самом деле надо защищать. Защита культуры нередко становится даже лозунгом политического шарлатанства. В восемнадцатом веке складывавшаяся тогда немецкая культура защищалась от засилья французского языка и литературы; но когда в двадцатом веке её “защитой” занялись нацисты, то очень скоро было бы уже нечего защищать. Русский язык нуждается теперь не столько в защите от английского, сколько от внутреннего варварства.

С другой стороны, происходящая время от времени "гибридизация" культур — которую Лоренц обозначает заимствованным у поэта Валери словом la greffe, "прививка" — вызывает быстрое образование новых культур. Дарвин отметил когда-то, что скрещивание рас сообщает их потомкам особые биологические преимущества, которые он обозначил выражением "гибридная сила". Напротив, такие культуры, как египетская и китайская, географически изолированные в течение тысячелетий, впали в застой, одной из причин которого могло быть отсутствие взаимодействия с другими культурами.

Слепое действие спонтанных биологических механизмов некрасиво и недостойно высоко развитой культуры, но нельзя закрывать на них глаза. Культура меняется несравненно быстрее этих механизмов, создавая необходимые этой культуре условия их проявления. К несчастью, в начале двадцатого века об этом никто не думал!

Трудно провести границу между племенной и национальной культурой. В результате войн, завоеваний и ассимиляции из племён постепенно складывались государства с более или менее однородным населением; в благоприятных условиях это население могло насчитывать миллионы людей. Человеческие сообщества, говорившие на одном языке и имевшие близкие обычаи, в Новое время стали называть "нациями". Государства часто состояли из нескольких наций, но в них была обычно господствующая нация. Точное определение понятия нации для нашей цели не важно, так как нас будут интересовать сейчас европейская культура и двадцатый век, а в Европе около 1900-го года смысл этого понятия не вызывал сомнений. Поэтому мы ограничимся его описанием.

Важным, хотя и не обязательным элементом нации всегда была религия. В Средние века Европа была объединена христианской религией, и настолько прочно, что можно говорить о *христианской культуре*, из которой и произошла нынешняя европейская, или западная культура. Как и всякая культура, христианская культура имела свои символы, свой (по крайней мере сакральный) язык — латынь, а главное — единую католическую религию. И, конечно, эта культура решительно отвергала все другие культуры, называя их представителей "неверными" и, в эмоциональном и даже юридическом смысле, не считая их людьми. Напротив, христиане всех стран Европы, при всех непрерывных раздорах между ними, всегда сознавали свою общность и признавали — до Реформации — единую Римскую церковь с папой во главе. В течение тысячи лет христианская культура была духовной реальностью: все грамотные люди Европы были грамотны в смысле знания латыни, понимали

друг друга на этом языке, учились, независимо от происхождения, в одних и тех же школах и университетах, одним и тем же наукам. Почти все они были "клирики", то есть священники или монахи. Конечно, они помнили место своего рождения и свой родной язык, но подчинялись единой церкви, ездили во все страны с поручениями папской курии и часто служили при чужих дворах. По существу это была космополитическая культура образованных людей Европы, по своей духовной однородности напоминавшая китайскую и обещавшая стать столь же неподвижной, как культура мандаринов. Так как складывавшиеся нации Европы были, таким образом, лишены интеллектуального слоя, то общая христианская культура, в определённом смысле, задерживала образование национальных культур.

Нации чаще всего бывают однородны по языку и обычаям. Но после завоевания Римской Империи германскими племенами произошла культурная катастрофа, которую мы можем себе представить только по её отдалённым последствиям. Мы не знаем даже, как случилось, что население Галлии и Испании сменило свои кельтские и иберийские языки на "вульгарную латынь": число римских колонистов и солдат было не столь велико, чтобы повлиять на язык преобладающей части населения. Чтобы понять, как это вообще могло произойти, надо было бы исследовать, как, например, английский язык вытеснил коренной кельтский язык ирландцев, к тому же не очень любивших всё английское. Во время упадка Империи и после её гибели наши сведения об истории европейских стран становятся всё более отрывочными, поскольку их население было неграмотно, а римские клирики писали только о королях и войнах. Мы не знаем, как родились новые европейские языки, принявшие свою узнаваемую форму не раньше 1000-го года. Но прежде чем сложились языки, их носители вряд ли могли ощутить себя нацией, и тем более создать национальную культуру.

Новые языки приблизительно соответствовали группам родственных племён, и постепенно в Европе возникли области родственных диалектов — будущие области национальных языков. Такой областью прежде всего была Италия, сильнее всего державшаяся римских традиций: итальянцы всегда называли себя этим именем и считали себя потомками римлян. Германия, в её нынешних границах, была населена германскими племенами, сознававшими своё родство и понимавшими друг друга. Раньше всех языков Европы сложился старофранцузский язык, достигший высокого развития уже в десятом или одиннадцатом веке. В Англии, завоёванной в одиннадцатом веке франкоязычными норманнами, к четырнадца-

тому веку сложился единый английский язык — самый удивительный гибрид из всех языков мира, на 60% состоящий из французских слов и на 40% из германских. Но во Франции на юге был отдельный провансальский язык, тоже латинского происхождения, а на севере — бретонский, до сих пор живой кельтский язык, родственный ещё недавно живым языкам кельтов Шотландии и Ирландии; в Испании до сих пор сохранился отдельный каталанский язык латинского происхождения и загадочный, вовсе не индоевропейский баскский язык.

При таком разнообразии языков, отражающем различие племён, нации не случайно сложились прежде всего там, где возникла единая государственная власть. Близость племенных культур содействовала их слиянию в одно государство, а появление такого государства, в свою очередь, ускоряло сближение племенных культур, связывая их общим экономическим и правовым образом жизни. Из нынешних государств Европы первым национальным государством стала Англия — в четырнадцатом веке она имела уже не только единую государственную власть, но и единый язык: англосаксы ассимилировали норманнов, усвоив их культуру. Франция стала единым государством лишь в шестнадцатом веке. Эти две страны сыграли решающую роль в Новой истории.

Движущей силой образования национальных культур была *глобализация социального инстинкта*. Культурное развитие Европы поздно внесло в сознание людей нужное для этого понятие: самое понятие нации было отчётливо формулировано лишь в восемнадцатом веке. Французская Революция провозгласила “принцип национальностей”, призвав все нации бороться, по примеру французов, за свои права. Таким образом инстинктивные стремления племенных групп получили свою культурную мотивировку, усилившую их развитие. К тому времени в Европе уже была интеллигенция, способная возглавить национальное движение.

В начале девятнадцатого века в Европе были две высокоразвитых нации, создавших мощные культуры, но не имевших единого государства — итальянская и немецкая. Эти две нации с очень разной историей постигла в двадцатом веке катастрофа, наложившая отпечаток на целую эпоху.

Италия, с её благодатным климатом и накопленным веками богатством, всегда привлекала завоевателей. Особенным центром при-

тяжения была столица Империи — Рим. Но до Карла Великого никто из германских князей не претендовал на императорскую корону, да и позже императоры не жили в Риме. Они довольствовались суверенитетом над Италией, в действительности над её северной частью, где фактическая власть перешла к местным феодалам, разделившим между собой страну к северу от Рима, и к городским республикам. На юге власть принадлежала сначала византийцам, потом испанцам. Наконец, Рим и окружающая его область в центре Италии перешли под управление пап. Со временем итальянские государства на севере страны оказались во власти Австрии, за исключением пограничного с Францией Пьемонта, а на юге образовалось "Королевство обеих Сицилий" со столицей в Неаполе, где деспотически правила ветвь испанских Бурбонов. Единственным независимым от иностранцев государством Италии было Сардинское королевство, где правила Савойская династия; главной частью его был Пьемонт.

Стремление к национальному единству породило в середине девятнадцатого века национальную революцию, вдохновителями которой были республиканцы и демократы, а главными вождями — Мадзини и Гарибальди. Но плоды этой революции присвоила себе Савойская династия, вокруг которой Италия объединилась в 1870-ом году. Италия стала парламентской монархией, по примеру Англии, но с сильными пережитками феодализма, особенно на отсталом Юге.

Объединение Италии было неполным: вне Итальянского королевства осталось итальянское население Трентино и Триеста, попрежнему под властью Австрии. Это возбуждало страсти итальянских националистов, напоминавших о "неискуплённой Италии" (Italia irredenta).

Хуже всего сложилась судьба Германии. Формально она входила с 800-го года в Германскую Империю, претендовавшую на продолжение традиции Римской Империи, но имевшую с ней мало общего. Фактическая власть в Германии принадлежала князьям, и эта власть была наследственной; княжества часто воевали друг с другом. Главные из князей — курфюрсты — выбирали императора, власть которого была пожизненной. Эта система правления не дала укрепиться центральной власти, хотя с пятнадцатого века почти все императоры были из одной и той же австрийской династии Габсбургов. После первых побед Наполеона Германская Империя перестала существовать, и (с 1806 года) Габсбурги правили только Австрией, Венгрией и вассальными землями с итальянским и

славянским населением. Северные государства Германии вышли из Империи и стали независимыми, но Германия по-прежнему оставалась раздробленной. Жители этих государств считали себя немцами и стремились соединиться в одно государство.

Но австрийцы, оставшиеся под властью Габсбургов, хотя и принадлежали немецкой культуре, не считали себя немцами (Deutschen): во всяком случае, в начале двадцатого века они не стремились образовать с северными немцами единую нацию. Тем более не считали себя немцами швейцарцы германского происхождения, образовавшие ещё в Средние века, вместе с французскими и итальянскими "товарищами по Союзу" (Bundesgenossen), конфедерацию независимых республик. Швейцарская нация, говорящая на трёх разных языках, составляет удивительный и важный пример национальной культуры, основанной на общей истории и общих обычаях.

Особенно трудной была проблема Эльзаса (и примыкающей к нему части Лотарингии), с населением германского происхождения. В семнадцатом веке войска Людовика XIV, жестоко разорив эту часть Германии, присоединили её к Франции. Но после двухсот лет французского господства эльзасцы, сохранившие свой диалект немецкого языка, считали себя французами.

Наполеон подчинил себе все германские земли и по существу лишил немцев независимости. Реакция на это "национальное унижение" положила начало немецкому национализму. Но в первой половине девятнадцатого века немцы ещё не внушали опасений европейским державам; в романах Бальзака и Тургенева немец всегда простодушный чудак, музыкант или учитель, и русские юноши привозили из Германии "туманной учёности плоды", то есть гегелевскую философию и другие, по-видимому, невинные произведения, произраставшие "под небом Шиллера и Гёте".

Рост немецкой культуры был очевиден. Несмотря на феодальную раздробленность страны, в её старинных университетах расцвела особая немецкая учёность, начавшая с филологии и очень эффективно перешедшая впоследствии к технологии. Германия произвела не только всем известных учёных, но ещё более известных философов и поэтов. Немецкая культура стала единой культурой — в стране "сорока шести государей". На очереди стоял вопрос о единстве. Но феодализм цепко держал Германию в своих руках. Революция 1848-го года была подавлена, и постепенно гегемоном Германии стала Пруссия — бывшая для самих немцев символом рабства и военного деспотизма. После победы над Францией прусский король объявил себя императором Германии, и все другие короли и кня-

зья, сохранив свои титулы, потеряли значение: вся Германия стала Пруссией.

Власть осталась, по существу, феодальной. Пруссия ещё со времени Фридриха Великого была солдатской страной; униженная Наполеоном, который бил пруссаков, как хотел, она воспрянула после победы над его бездарным племянником. Царствовал Вильгельм II, неумный и агрессивный болтун, слепо полагавшийся на свою военную силу. Его окружала аристократия из прусских землевладельцев — "юнкеров", сохранивших бóльшую часть своих крепостнических привычек. Эти юнкеры, или их сыновья, составляли офицерский корпус немецкой армии, хорошо обученный и дисциплинированный, но ослеплённый самоуверенностью и лишённый политического реализма.

Немецкая буржуазия, потерпев поражение в революции, так и не принявшей массовых масштабов, пошла на компромисс с феодальной властью, позволявшей ей наживаться и ораторствовать в бессильном рейхстаге. Миллиарды французской контрибуции содействовали развитию немецкой промышленности. У Германии были первоклассные инженеры и рабочие. Германия становилась не только главной военной силой, но и промышленным монополистом Европы, вытесняя с рынка английские товары.

Быстро созревшая немецкая национальная культура не довольствовалась этими успехами. Она сохранила значительные феодальные пережитки, восходившие к племенному строю, и потому вместе с успехами возросла её агрессивность, толкавшая Германию на ненужные ей конфликты с соседними странами. Освободившись от опеки осторожного Бисмарка, правительство Вильгельма, руководимое военной олигархией, готовилось к будущим войнам: целью их было окончательное унижение Франции, соперничество с Англией на морях, захват колоний и, в конечном счёте, передел мира.

В этом безумном плане военную олигархию поддерживало столь же высокомерное учёное сословие, уже разработавшее доктрину расового превосходства немцев. Постыдную роль сыграли в этом некоторые немецкие биологи, так называемые социал-дарвинисты, пытавшиеся обосновать и оправдать войны между нациями фантастическим искажением дарвиновой эволюционной теории и прикрывавшиеся лозунгом "борьбы за существование". К сожалению, сторону расистов в начале века принял и крупный немецкий биолог Эрнст Геккель. Брошюры социал-дарвинистов, твердившие о превосходстве немецкой "расы господ", читала масса людей, не способных одолеть серьёзные книги — в том числе молодой Адольф Гитлер.

Напомним, что естественный отбор, по Дарвину, вовсе не означает прямой борьбы между особями одного вида, которая у высших животных представляет редкую патологию. Конкуренция, лежащая в основе естественного отбора, — это конкуренция в использовании ресурсов и, тем самым, в размножении особей, осваивающих эти ресурсы. Связь социал-дарвинизма с возникновением фашизма иллюстрирует роль науки в современном массовом сознании, в значительной степени принявшей на себя идеологические функции религии.

Если таковы были учёные, то уж совсем нечего было спрашивать с прусских офицеров. Когда в многочисленном и сильном племени или союзе племен складывается единая культура, эта культура всегда становится самоуверенной и агрессивной, враждебно ощетиниваясь против своих соседей. Это спонтанное явление, с которым ничего не могли поделать дикари, и отсюда неизбежно происходили войны племён. Если племенная верхушка способна была контролировать эту воинственность, правильно оценивая свои силы и ставя перед собой на каждом шагу разрешимые задачи, отсюда могли происходить такие явления, как Римская Империя в древности, или Британская Империя в Новое время. Немецкие стратеги, переоценив свои силы, вооружили против себя коалицию, которая неминуемо должна была их разбить, и допустили эту ошибку *дважды*. Это хороший аргумент против способа управления Германией: ничего подобного не допустил бы ни римский сенат, ни британский парламент.

В середине девятнадцатого века глобализация европейской культуры задерживается на уровне "национального государства", агрессивно ограждающего свою культуру, как будто пытаясь увековечить её изоляцию. Теперь мы переживаем следующий этап глобализации, когда она выходит за рамки государственных границ. Но в начале двадцатого века это могли представить себе лишь немногие мыслители.

Идея национальной независимости, поддержанная Французской Революцией, стала частью европейской культуры. Успех итальянцев и немцев, добившихся национального единства, стимулировал национальное движение всех племён Европы, ощутивших себя нациями. На западе Европы созрело национальное сознание ирландцев, потерявших свои государства ещё в раннем средневековье, утративших свой язык, но сохранивших ощущение особой нации. Они

могли бы разделить судьбу шотландцев, если бы не соединявшая их и прочно отделявшая от англичан католическая религия. Та же причина, возможно, спасла от распада польскую культуру, когда Польша была разделена между тремя хищными империями — Россией, Австрией и Пруссией. К началу двадцатого века польская культура, несмотря на государственные границы, была жива и стремилась к независимости. Так же обстояло дело с чехами, словаками и другими славянскими народами, входившими в Австро-Венгерскую и Турецкую империи. Становление национальных культур проявлялось не только в возникновении письменности, литературы и искусства. Как только где-нибудь возникала сознающая себя национальная культура, она тотчас проявляла всестороннюю агрессивность, направленную против всех соседних наций и против давно живших внутри неё, казалось бы, привычных национальных меньшинств. Завершение "государственной" фазы глобализации — или, в других случаях, её незавершённость — были опаснейшей угрозой для европейского общества. Опасность, в конечном счёте, происходила от уже описанной "реакции защиты культуры".

Национальные государства, или будущие государства ещё "непризнанных" наций, были очагами пожара, вскоре охватившего европейский континент, а затем и весь мир.

Старые, давно сложившиеся государства — Англия и Франция — не составляли исключения: их преследовал страх. Французский национализм, выросший после франко-прусской войны, носил реактивный характер и ставил себе целью реванш. Английский империализм прославлял свою собственную "расу господ" и не хотел делиться ни с какой другой.

Наконец, повсюду были национальные меньшинства, страдавшие больше всех. Каждая культура защищается от инородных элементов в соседних странах, но особенно чувствительна к таким элементам, проникающим — или всегда бывшим — внутри её собственной страны. Одно такое меньшинство было рассеяно повсюду — это были евреи, к тому же отделённые от основного населения барьером религии.

Ещё раз подчеркну, что "защита" культуры, о которой здесь идёт речь, не имеет ничего общего с сознательной защитой национальной культуры от реальной опасности. Имеется в виду *спонтанная реакция* культуры на "чужие" элементы, биологическое происхождение которой было подробно выяснено выше. Это явление природы, неприятное и некрасивое, — но природа не всегда прекрасна.

Конечно, процесс глобализации культуры не остановился на "государственной" стадии и, вопреки национальным границам, продолжал непрерывно развиваться. Люди стали больше ездить, мигрировать, селиться в других странах, особенно в больших городах. В отсталых, малокультурных группах населения это вызывало враждебные реакции. Юноша, приехавший в мировой город, сталкивался с массой людей из разных стран и поражался всем этим непривычным впечатлениям, что нередко бывало первым стимулом национализма. Шарль Моррас, в будущем вождь французских фашистов, приехав из провансальской глуши в Париж, был поражён, как много магазинов принадлежало людям с нефранцузскими фамилиями — на K, W и Z. Ему объяснили, что это эльзасцы, то есть немцы или евреи. Адольф Гитлер, приехав из Линца в Вену, сначала (по его словам) не различал на улицах евреев, одетых, как все; но потом он заметил странных бородатых людей, одетых в долгополые чёрные кафтаны: это были галицийские евреи, ещё сохранившие свой провинциальный вид. Ему сразу же стало ясно, что это и есть чуждый элемент, разлагающий немецкую культуру. Моррас получил неплохое образование, а Гитлер — никакого, так что описанная реакция имела, несомненно, "элементарный" характер, то есть была обусловлена инстинктивным побуждением "защищать" собственную культуру.

В современном обществе непрерывно происходит не только миграция людей, но и распространение идей, для которых нет границ, — их переносят все современные средства коммуникации, от научных журналов и художественных выставок до популярных фильмов. Но в двадцатом веке главную роль стала играть особая форма глобализации, переступавшая через все границы. Это была "классовая солидарность" рабочих, входивших в Социалистический Интернационал. В начале двадцатого века это было грозное движение, потрясавшее основы капитализма. В то время капиталисты ещё не понимали, что социальный инстинкт можно заглушить материальным благополучием, и уровень жизни рабочих лишь немного превышал "прожиточный минимум". Социализм, выросший на идеях Маркса, был воинственно интернационален в своей идеологии. Социалисты делили человечество не на государства и нации, а на *классы*: пролетарии всех стран были их братья, а капиталисты всех стран — их враги. Первая часть этой установки, способствовавшая глобализации культуры, была слишком трудной: рабочие не умели отойти от привычек своей собственной культуры и подозрительного отношения к "чужим".

Враги рабочего движения, в страхе перед его международным единством, поспешили использовать “национальный” мотив. Это означало противопоставить социальному инстинкту в его общем значении частное и ограниченное проявление того же инстинкта — описанный выше механизм “защиты культуры”. Конечно, эти люди не всегда руководствовались отчётливо понятым “классовым интересом” и часто сами верили тому, во что убеждали верить других. Страх был и в самом деле велик: социалисты получали всё больше голосов на парламентских выборах во Франции, в Германии, Италии и даже в Англии, где они готовились сменить либералов в роли оппозиции. Бисмарк, сначала заигрывавший с течением Лассаля, увидел, как социал-демократы переходят на марксистские позиции, и попытался применить против них полицейскую меру — “исключительный закон против социалистов”. Но в условиях “либерального” строя прямые запреты не действовали, а диктатуру Бисмарк ввести не мог. Закон пришлось отменить, и социализм стал опять расти. Во Франции после Парижской Коммуны буржуазия пыталась ввести нечто вроде диктатуры, но республика одержала верх, а при республике нельзя было запретить партию, пока она не прибегает к оружию. В этих условиях капиталисты и феодалы прибегли к *национализму* как к средству классовой борьбы.

Некоторые из них делали это сознательно, другие нет, но, конечно, все они не ведали, что творят. Они подготовили многолетними вооружениями Армагеддон мировой войны, рассчитывая, что это будет война обычного типа, с переделом земель и контрибуциями; но вышла чудовищная, бесконечная война, какой никогда раньше не было, война, вызвавшая первую в Новой истории социальную революцию в России, массовые движения в Западной Европе, и едва не развалившая всю систему капитализма. Конечно, этого никто не предвидел. Но мировая война сама по себе была столь чудовищным преступлением, что её зачинщиков следовало судить. Чтобы это сделали, понадобилась ещё одна мировая война.

Как известно, богатые и влиятельные люди умеют избегать неприятностей войны, сваливая их на других. Только атомные бомбы, вероятно, заставили их задуматься о собственной судьбе. Когда появилась водородная бомба, Рассел думал, что она предотвратит третью мировую войну, и оказался прав. Но вообще люди, готовые сжечь свой дом, чтобы изжарить в нем жаркое, вызывают удивление. Вильгельм бежал в Голландию и там бесславно умер; Николай расстрелян вместе с семьёй; Гитлер отравился, Муссолини расстрелян и повешен в Милане вверх ногами; другие зачинщики Второй

мировой войны повешены в Нюрнберге с соблюдением всех юридических правил. Эти люди исчерпали терпение человечества.

“Национализм” продлится ещё долго, если не в Европе, то в других местах, где теперь формируются зачатки национальных культур. Как можно надеяться, при нынешнем понимании этого явления агрессивность всевозможных националистов удастся умерить.

Явление войны настолько укоренилось в истории, что многие философы считали войну неотъемлемым свойством нашего вида, и даже приписывали ей величайшее положительное значение. Первым это мнение высказал Гераклит, вообще невысоко ценивший человека. Из всех мудрецов он хвалил только некоего Тевтама, философия которого сводилась к изречению: “Многие — плохи”. Гераклит был мистик и считал огонь особой субстанцией; всё, подобно пламени, рождается благодаря чьей-то смерти: “Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны, смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают”. Самое знаменитое из его сохранившихся изречений относится к войне: “Война — отец всего и всего царь; одним она определила быть богами, другим — людьми; одних она сделала рабами, других — свободными”. Особенно ему ненавистен был Гомер, создавший, после поэмы о бесконечном убийстве, поэму о мирном царстве феаков: “Гомер был неправ, говоря: “Да исчезнет война среди людей и богов!”. Он не понимал, что молится за гибель Вселенной; ибо если бы его молитва была услышана, все вещи исчезли бы”. “Следует знать, — объяснял Гераклит, — что война всеобща и правда — это борьба, и что всё происходит через борьбу и по необходимости”.

В Новое время похожие взгляды высказывал Ницше. Этот больной, не способный к военной службе мечтатель приходил в восторг при звуке военного оркестра и с омерзительным мазохизмом преклонялся перед прусским офицером, подсознательно сублимируя его до “сверхчеловека”. Хотя более тонкие черты его характера не позволяли ему принять всю пошлость кайзеровской Германии, он сделался после смерти философом немецкого национализма и фашизма. Эта психология была характерна для эпохи национального милитаризма. Граф Сегюр и наш доморощенный мудрец Розанов падали в обморок от восторга при виде проезжавшего кавалерийского полка. Казалось, войнам не будет конца. Между тем, мы присутствуем теперь при поразительном историческом событии: *человечество отвергает войну.*

Как мы видели в разделе о происхождении человека, начало нашего вида и в самом деле было эпохой бесконечных войн. Эти

войны стали возможны, несомненно, вследствие мутации, ограничившей действие общего для всех высших животных инстинкта, запрещающего убивать собратьев по виду. После этого запрещение убийства сохранилось только внутри первоначальных групп; а когда образовались племена, оно расширилось на членов "своего" племени, к которому и относились вначале понятие "ближний" и заповедь "не убий". Дальнейшее расширение пятой заповеди не требовало новых мутаций, поскольку "узнавание своих" определялось уже открытой программой, заполняемой культурной традицией. Войны между членами одного племени стали уже невозможны, но войны между племенами были общим правилом, о чем Дарвин и говорит в начале своей книги о происхождении человека. Дарвин не одобряет и не осуждает эти войны, изображая их с беспристрастием учёного. Но другой представитель викторианской Англии, поэт империализма Киплинг, высмеивает уже явившихся пророков, мечтавших о прекращении войн:

> When the Cambrian measures were forming, they promised perpetual peace.
> They swore, if we gave them our weapons, that the wars of the tribes would cease.
> But when we disarmed they sold us and delivered us bound to our foe,
> And the Gods of the Copybook Headings said: "*Stick to the Devil you know*"[1].

Между тем, в ранний период истории нашего вида войны и в самом деле могли играть "творческую" роль, как думал Гераклит. Войны осуществляли *групповой отбор*; выживали "более приспособленные" из групп, а "менее приспособленные" вымирали. Более того, истребительный характер этих войн и каннибализм означали не просто вытеснение проигравших в неудобные места, как это наблюдал Дарвин на современных ему племенах, а *полное истребление* проигравших, что соответствует выбраковке неудачных экземпляров при *искусственном отборе*. Как известно, искусственный отбор действует несравненно быстрее естественного, так что необычайная скорость развития нашего вида — которому всего двести тысяч лет — как можно предполагать, связана с групповым отбором, то есть с

[1]Когда складывались кембрийские пласты, они обещали нам вечный мир. / Они клялись, что если мы отдадим им наше оружие, то прекратятся войны племён. / Но когда мы разоружились, они нас продали, и выдали нас связанными нашему врагу, / И Боги Прописных Истин сказали: "*Держись того Дъявола, которого знаешь*".

истребительными войнами групп, а затем племён. Может быть, развитие человеческого мозга, в сущности и составляющее историю нашего вида, было бы невозможно без этого ужаса первобытных войн. В таком случае механизмы защиты племенной культуры, разделявшие человеческие племена и возбуждавшие в них агрессию против других племён, были биологически необходимым фактором эволюции, без которого не было бы человека. Бессмысленно спрашивать об этом прошлом, "хорошо" это было или "плохо". Сравнение истории *homo sapiens* с образом жизни наших родственников, шимпанзе и горилл, твёрдо соблюдающих пятую заповедь, могло бы привести к выводу, что они нас превосходят, во всяком случае, в моральном отношении. Если такой подход имеет смысл, то самое возникновение такого чудовища, как человек, надо было бы осудить. Но как бы ни возник человек, он стал *человеком*, и образ жизни его предков ему не подходит.

Рядом с нами, в наших жилищах живут крысы — единственный вид высших животных, кроме человека, также получивший от эволюции разрешение убивать своих собратьев. Крысы делятся на племена, и запрет убийства действует внутри племён; племена эти ведут истребительные войны всякий раз, когда встречаются между собой. При виде члена чужого племени крыса ведёт себя, как убеждённый националист. Кто знает, может быть, у крыс идёт уже групповой отбор того же типа, что был когда-то у человека. Крысы всеядны, освоили все климатические зоны и в биологическом смысле представляют весьма преуспевающий вид. Если мы будем продолжать войны с нашим нынешним оружием — не могут ли они нас сменить и стать хозяевами Земли? Но крысы всё-таки не практикуют каннибализма.

Сравнение с крысами принадлежит Лоренцу. Десятая глава его книги "*Das sogenannte Böse*" ("Так называемое зло") завершается цитатой из "Фауста", иллюстрирующей достижения Третьего Рейха:

Das Unglück macht ihn zahm und mild,
Er sieht in der geschwollnen Ratte (!)
Sein ganz natürlich Ebenbild[1].

Может показаться, что изложенная в этой книге концепция группового отбора и его роли в эволюции человека в какой-то мере

[1] Несчастье делает его смирным и мягким, / Он видит в распухшей крысе (!) / Свой очень похожий портрет. /

Восклицательный знак во второй строке добавлен Лоренцем, не позволившим себе никакого другого исторического комментария.

оправдывает взгляды социал-дарвинистов, поддержанные в своё время Эрнстом Геккелем и даже нашедшие опору в некоторых неосторожных высказываниях Томаса Гексли. Конечно, естественный отбор по Дарвину — это *индивидуальный* отбор, и “борьба за существование” в смысле социал-дарвинизма вовсе не похожа на конкуренцию в использовании ресурсов, которую имел в виду Дарвин. Но сам Дарвин ввёл в рассмотрение также концепцию группового отбора (хотя и без этого названия), и можно подумать, что этот способ борьбы за существование ближе подходит к тому, что имели в виду социал-дарвинисты. Если принять концепцию группового отбора в её весьма радикальной форме (для чего сам Дарвин ещё не имел оснований), то не означает ли это некоторой реабилитации социал-дарвинизма?

Разумеется, не означает. В самом деле, социал-дарвинисты ссылались в своих сочинениях на “высший закон эволюции”, на общую закономерность всей природы, где “живые существа безжалостно пожирают друг друга”, и пытались оправдать этим современные войны. Но “борьба за существование” — это вовсе не борьба хищника с его жертвой, а конкуренция между особями *одного* вида. Пожирание одних животных другими надо сравнить не с войнами, а с мясным питанием человека, которое тоже может вызвать возмущение, но явно не относится к интересующему нас вопросу. Что же касается конкуренции, то, как уже говорилось выше, она (во всяком случае, у высших животных) не означает *прямого* конфликта между особями, и даже между группами — кроме человека и крыс. Но тогда от всей риторики социал-дарвинистов остаётся лишь сравнение с крысами, поскольку во всей природе воинственное поведение человека нельзя сравнить ни с чем другим!

История человека — совершенно исключительное событие в эволюции жизни. *Сравнивать* можно лишь различные стадии этой истории. И тогда возникает вопрос — хотим ли мы быть похожими на наших предков, несчастных каннибалов, и вернуться к их понятиям и их поведению? В двадцатом веке этот вопрос был, как это ни странно, поставлен и, как можно надеяться, разрешён.

До самого последнего времени война оставалась законным способом решения политических споров или, по выражению Клаузевица, “продолжением политики другими средствами”. Как и любое освящённое традицией установление, война обросла обычаями и правилами. Прежде всего военнопленных перестали съедать, а стали обращать их в рабство. Затем были приняты правила объявления войны, ведения войны и заключения мира, снимавшие с воюющих зна-

чительную долю моральной ответственности за убийство. В Средние века рыцари старались не сражаться между собой всерьёз, сводя свои столкновения к демонстративным поединкам; кровавая резня предоставлялась их вассалам. В Италии эпохи Возрождения буржуа вообще передали военное дело в руки наёмных солдат, возглавляемых "кондотьерами". Наёмники не были заинтересованы в кровопролитии и не испытывали страстей своих хозяев; поэтому войны между итальянцами приняли характер сложных маневров с очень небольшими потерями. Это был несомненный прогресс в военном искусстве, приблизивший его к тому, что делают дерущиеся олени или петухи.

Но, конечно, в остальной Европе феодалы продолжали проливать кровь своих солдат, и тем более чужих. Впрочем, феодальные войны как правило не имели целью "уничтожение" противника. Побеждённый государь сохранял своё государство, но отдавал победителю какую-то часть своих земель вместе с их жителями, желания которых не принимались во внимание. Часто государства соединялись в коалиции, и такие коалиции могли уже основательно разорять друг друга. Например, в Тридцатилетней войне (1618–1648), первоначально возникшей из религиозного конфликта, было истреблено около трети населения Германии, что при технике того времени было немалым достижением. Но способ ведения войн оставался феодальным: за противником признавались суверенные права, и партнёры по коалиции не позволяли окончательно уничтожить ни одно государство, чтобы не допустить чрезмерного усиления других. В конце войны заключали мир, и коалиции принимали другой вид.

Сражались между собой профессиональные армии, обычно из наёмных солдат, с офицерами из дворян. Мирные жители, как предполагалось, не участвовали в войне. Часто их грабили и убивали, но не было правил, как их грабить и убивать. Армии были гораздо меньше нынешних — они насчитывали десятки тысяч, а не миллионы. Сражения представляли собой столкновения выстроенных в колонны и "марширующих" армий; не было "линий фронта" в нынешнем смысле, с окопами и колючей проволокой. Оружие столетиями почти не менялось.

Важно заметить, что войны — даже религиозные войны эпохи Реформации — не носили "идеологического" характера. Князья просто навязывали своим подданным угодное им верование, под девизом: "Чьё правление, того и религия". Наконец, никому не приходило в голову *наказывать* предполагаемых виновников войны. После Второй мировой войны Черчилль, один из последних представите-

лей феодального мировоззрения, всё ещё возражал против суда над главными военными преступниками, хотя и допускал наказание их подчинённых.

Войны двадцатого века имели другой характер. Французская Революция заменила наёмную армию принудительной мобилизацией граждан, и все государства Европы последовали этому примеру, резко увеличившему число солдат. Войны стали "тотальными", то есть такими, какой была Первая, а затем Вторая мировая война. Чудовищный рост военных расходов не позволял вести такие войны слишком часто, и людям говорили, что это будет "последняя война", или "война, чтобы уничтожить войну". Новая военная техника, особенно бомбардировки с воздуха, сделала жертвой войны всё население. Наконец, идеология ведения войны резко изменилась, также приняв "тотальный" характер.

В прежние времена наёмным солдатам и профессиональным офицерам не надо было объяснять мотивы войны. Мотивы эти состояли обычно в материальных или престижных требованиях к соседним государствам, и война кончалась компромиссом заинтересованных сторон. Но в двадцатом веке стали вести "национальные" войны или "идеологические" войны, в которых враг рассматривался как воплощение всякого зла и подлежал безжалостному "уничтожению". Некоторые народы собирались просто истребить, другие поработить, и во всяком случае целью войны было лишить противника всякого суверенного существования. Войны двадцатого века не могли завершиться никаким мирным договором; это были войны "до победного конца", и побеждённые присылали своих представителей лишь для того, чтобы подписать продиктованную им "безоговорочную капитуляцию". Всё это напоминало возвращение к истребительным войнам наших первобытных предков, но в таких масштабах и с такими средствами, что перспектива новой большой войны — после появления ядерного оружия — оказалась слишком страшной.

3. Первая Мировая война и кризис социализма

Причины двух мировых войн можно объяснить. Можно понять не только сознательные, или рационализированные мотивы, которыми руководствовались их зачинщики, но и подсознательные мотивы правящих классов, в действительности вызвавшие войну.

Сознательные мотивы были связаны с феодальными пережитками в мышлении этих правящих классов. До 1914-го года господствующая элита европейских стран всё ещё была феодальной,

то есть рекрутировалась (кроме Франции) преимущественно из отпрысков знатных семей. Так было даже в Англии, и так безусловно было в Германии, Австро-Венгрии и России. Эти люди, воспринявшие традиции своей среды, думали о политике в терминах территориальных приобретений — значительно больше, чем о промышленных и торговых интересах своей буржуазии. Страны другой культуры — в Азии, Африке и Америке — не могли сопротивляться превосходству европейской техники и организации и насильственно захватывались европейскими державами; это называлось "колонизацией". Исключением была Япония, сумевшая сохранить независимость и включиться в колониальную экспансию. Захват колоний начался ещё до капитализма, и его движущей силой была вначале не столько торговля, сколько грабёж. Испанцы и португальцы по существу и остановились на этой фазе, захватив много колоний, где они эксплуатировали невольников. Эти страны перестали развиваться и не оказали существенного влияния на историю двадцатого века.

Большие колониальные империи создали затем Англия и Франция, а также Россия. Эти страны не имели существенных претензий в Европе, кроме реваншистских мечтаний Франции по поводу Эльзаса и Лотарингии; в сущности они занимали оборонительные позиции и не хотели войны, хотя Россия пыталась расширить своё влияние на Балканах, используя чувства славянских народов. Несомненно стремилась к войне правящая клика Германии, полностью подчинившей себе политику Австро-Венгрии, а затем Турции. Таким образом, вместе с Россией в Европе было четыре империи, управляемых, по существу, безответственными феодальными кликами. Решение о войне или мире зависело от таких личностей, как Вильгельм или Николай, и можно видеть из документов, как напористый и глупый германский император буквально загонял в угол безвольного и глупого царя, требуя от него постыдных унижений. Бюрократы и генералы, окружавшие царя, тоже давили на него, толкая его к войне, и жалкий Николай не в силах был сопротивляться — имея власть принять любое решение. Всё дальнейшее развитие событий было фатальным образом запущено этим диалогом двух глупцов, поскольку все великие державы были заранее связаны системой союзов и тайных договоров. Конечно, ни три императора, ни турецкий султан не понимали, что принимают решение, которое разрушит их империи и уничтожит их династии. Повод для ультиматумов Вильгельма дало убийство в Сараеве наследника австрийского престола, устроенное сербской разведкой — несомненно без ведома России. Начало мировой войны выглядит,

как дурной сон. Оно доказывает, конечно, что современным государством не может управлять ни император, ни царь, ни султан — марионетки безответственных клик, не понимающие смысла своих поступков.

Но за внешней картиной событий стоит социальная действительность, породившая эту войну. Её главным *подсознательным* мотивом был страх перед социализмом. Людей, активно стремящихся к войне, в каждой стране очень мало; но можно так подготовить страну к войне, чтобы люди могли принять её как необходимость, а своё участие в ней — как свой долг. Такая подготовка к войне велась давно, и особенно в Германии и Франции. В этих странах были сильнейшие социалистические партии, составлявшие главную преграду росту национализма. В 1889-ом году представители социалистов всех стран Европы собрались в Париже на конгресс, создавший II Интернационал. В этом конгрессе принял участие Энгельс, и принятая им программа носила отчётливо выраженный марксистский характер. В отличие от I Интернационала, отдельные партии не были связаны обязательными решениями международного центра и могли определять свою политику в зависимости от местных условий. Но важнейшим принципом всех социалистов был "пролетарский интернационализм", созданная Марксом доктрина, выраженная заключительным лозунгом "Коммунистического манифеста": "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Согласно этому учению, трудящиеся всех стран должны были считать себя братьями и защищать общие интересы рабочего класса от своего врага — капиталистов и помещиков всех стран. Программа Интернационала призывала всех сторонников социализма бороться против войны, поскольку все войны затевает в своих интересах правящий класс, а рабочие не согласны проливать кровь своих братьев в интересах своих врагов.

Марксизм выступил как социальное учение с явными чертами новой религии, претендовавшей изменить весь мировой порядок, уничтожить не только частную собственность, но и национальные государства — немыслимые без суверенного права вести войну — и даже угрожавшей уничтожить традиционный тип семьи. Чтó бы ни говорилось о "научной" основе этого учения, оно выражало глубокие чувства работников наёмного труда — их социальный инстинкт и их инстинктивное отвержение асоциальных паразитов. Марксистская религия распалась, но она сообщила мощный импульс развитию человеческого общества; и, конечно, она была решительно направлена против войны.

В наше время трудно представить себе, какие глубокие убеждения и надежды были связаны с социализмом в начале двадцатого века. Стремительный поток истории унёс в прошлое человеческие типы того времени; люди, жившие и страдавшие тогда за свои убеждения, кажутся теперь столь же далёкими и непонятными, как христианские мученики, с которыми у них и в самом деле было много общего. Эпоха, в которой нам довелось жить, называется "мещанской", а по-французски "буржуазной". Окружающие нас люди невольно приписывают своим предшественникам свои собственные мотивы и полагают, что люди всегда стремились только к безопасности и материальному благополучию. Теперь почти невозможно объяснить людям русскую революцию.

Но в начале двадцатого века люди верили в лучшее будущее и думали, что путь к этому будущему — социализм. Ещё при жизни Маркса рабочие осознали уроки 1848-го года и Коммуны и не рассчитывали достигнуть этого будущего вооружённым восстанием. Они поняли, что на защиту собственности станет большинство населения, и чувствовали даже, что собственник живёт в них самих. К тому же "закон абсолютного обнищания" не подтвердился, а напротив, материальное благополучие рабочих постепенно росло. Поэтому в рабочем движении одержал верх "оппортунизм", стремление на каждом шагу добиваться "возможного". В 1894-ом году, за год до смерти, Энгельс написал предисловие к книге Маркса "Классовая борьба во Франции", очень отличающееся по настроению от "Коммунистического манифеста". Энгельс признаёт уже, что рабочие не пойдут на вооружённое восстание, и объясняет, почему в новых условиях безнадёжно строить баррикады. Он радуется успехам социалистов на выборах — особенно успехам немецких социал-демократов — и, кажется, разделяет их надежды на мирную эволюцию общества в рамках демократии. Впрочем, он допускает, что буржуазия может не согласиться с итогами голосования и "нарушить конституцию": Энгельс надеется, что *в этом случае* рабочие всё-таки восстанут. Неясно, как согласовать такую возможность с соображениями о неэффективности баррикад, и весь оптимизм этого предисловия кажется искусственным. Старый бунтарь явно не понимал, что́ может выйти из европейского социализма.

После смерти Энгельса оппортунизм окончательно одержал верх, и социалисты раскололись на фракции; кроме самых "левых", все они готовы были — и хотели — прийти к власти парламентским путём. В большинстве стран Европы в начале века было уже всеобщее избирательное право, и лидеры социалистов тешили себя

надеждой, что законно избранные правительства введут их, наконец, в обетованную землю, в предусмотренный их программой земной рай.

Сегодня, после неоднократных избирательных побед социалистов и неизменных провалов их правительств, эти иллюзии кажутся странными. В сущности, они мало отличаются от магического мышления Руссо, верившего в "общую волю", и от доктринального оптимизма якобинцев и Луи Блана. Никакое политическое учреждение не может механически разрешить социальные и личные проблемы людей, а может, в лучшем случае, внести некоторый вклад в бесконечный процесс решения этих проблем. Может быть, это и понимали самые умные из социалистов, но в большинстве они проявляли безудержный энтузиазм. На выборах 1912 года Германская Социал-демократическая Партия получила одну треть поданных голосов и 110 мест в рейхстаге, где она стала крупнейшей фракцией; Французская Социалистическая Партия получила в 1914 году 103 из 602 мандатов; австрийские социал-демократы имели в 1907 году 87 мест в парламенте из 516; британские лейбористы получили на выборах 1906 года 29 мест из 670, преодолев все трудности сложившейся двухпартийной системы; даже в России, на выборах во вторую Думу 1906 года, когда ещё не был окончательно фальсифицирован избирательный закон, социалисты-революционеры вместе с социал-демократами получили 103 места из 520. В германском рейхстаге огромная социал-демократическая фракция отказалась встать при появлении императора, по традиционному возгласу "Kaiser hoch" (да здравствует кайзер), а кайзер назвал их лидеров "врагами Германии" (deutschfeinde). Европейские либералы, верившие в свои представительные учреждения, видели, как волна социализма заливает все парламенты. Хозяева Европы имели причины для страха.

Более умные из них, впрочем, искали компромисса, приручая лидеров социалистов. Еще в 1899 году социалист Мильеран вошел в кабинет Вальдека-Руссо; товарищи по партии были шокированы и называли его предателем, но он правильно понял, куда дует ветер, и впоследствии был президентом. Трибун французских социалистов Жорес допускал уже сотрудничество с либералами, и даже его оппонент, марксист-догматик Гед в конце концов стал министром. В Италии Джолитти обхаживал социалистов, рассчитывая вовлечь их в своё правительство. В Англии правящие круги освоились с умеренными и респектабельными лейбористами; впоследствии, когда эта партия стала получать больше голосов, лейбористы становились министрами и уходили в отставку лордами. Только в Германии и

России феодальные правители боялись компромиссов и не шли на уступки.

Не столь умные буржуа, а их было большинство, панически боялись социализма. Они связывали воедино угрозу собственности и угрозу отечеству; государственная власть была гарантией безопасности их имущества, и недавний опыт Коммуны научил их, что только армия может уберечь их земли, фабрики и банки от пролетарской руки. Но армия была орудием национального государства и содержалась на случай войны. Нельзя было признать, что армия защищает их от *своего* народа — поэтому нужен был внешний враг, и очень удобно было, что он был. Офицеры, большей частью дворянского происхождения, были естественным образом консервативны. Буржуа, дворяне и священники не любили новых идей, приписывая им иностранное происхождение. Крестьяне тоже боялись за свою собственность и рассчитывали на защиту государства; они были неграмотны и боялись всего нового и чужого, как все крестьяне в истории. Даже мелкие буржуа, дрожавшие за свою службу или свою лавку, были большие консерваторы, почитали всякую наличную власть и были настроены весьма национально.

Люди, посягавшие на собственность, были рабочие и неимущие интеллигенты. Собственности у них не было, им "нечего было терять, кроме своих цепей". Но им тоже не чужды были национальные чувства, и на этом можно было сыграть. Не всякий умел соединять эти чувства с уважением к соседним народам, как профессор философии Жорес. И эти люди подвержены были общему закону "защиты собственной культуры", который с почти инстинктивной силой внушает человеку недоверие к людям непривычного вида, говорящим на непонятном языке. Необычные фамилии на вывесках магазинов мог заметить не только философствующий буржуа Моррас; необычные одежды галицийских евреев могли насторожить не только босяка Гитлера, но и честных венских рабочих. Фольклор всех народов содержит нелестные обозначения для чужих племён, например, их именами называют некоторых насекомых: в России тараканов называют "пруссаками", а в Германии — "русскими", "французами" и даже "швабами". Эту дурную привычку, коренящуюся в общих закономерностях всех культур, всегда использовали в своих интересах демагоги любой политической окраски.

Необязательно натравливать людей на "чужих". Того же результата можно достигнуть "позитивным" путём, подчёркивая свою преданность собственной нации. Это может принести политическую выгоду, связав партийную программу с исконным, "домашним" на-

строением. Этот приём применяли задолго до того, как его взяли на вооружение фашисты. Уже в 1907 году ветеран немецкой социал-демократии Август Бебель, некогда сидевший в тюрьме за сопротивление войне с Францией, заявил, что “готов защищать отечество”, на которое, впрочем, никто не нападал. Это ему нужно было, чтобы не допустить (на Эссенском партийном съезде) обсуждения вопроса о пропаганде против войны. На этом настаивал молодой радикал Карл Либкнехт, но Бебелю это уже было не с руки.

На Амстердамском Конгрессе Социалистического Интернационала (1904), состоявшемся в разгар русско-японской войны, была единогласно принята резолюция, призывавшая “социалистов и рабочих всех стран, хранителей международного мира, всеми средствами противиться всякому распространению войны”. Осуждение войны было продемонстрировано речами Плеханова и японского социалиста Катаяма и их торжественным рукопожатием. Впрочем, эта война шла далеко от Европы, и в обеих воевавших странах мало что зависело от социалистов. На Штутгартском Конгрессе 1907 года на первом месте стоял уже вопрос: “Милитаризм и международные конфликты”. Француз Эрве предложил принять следующую резолюцию, точно отражавшую первоначальный марксистский взгляд на этот вопрос:

“Принимая во внимание, что для пролетариата безразлично, под каким национальным и правительственным ярлыком его эксплуатируют капиталисты, принимая во внимание, что интересы рабочего класса полностью противоположны интересам международного капитализма, конгресс отвергает буржуазный и казённый патриотизм, выставляющий лживое утверждение о существовании общности интересов между всеми жителями одной и той же страны; конгресс объявляет долгом социалистов всех стран объединиться для низвержения этой системы, чтобы создать социалистический строй и защищать его; ввиду же дипломатических интриг, угрожающих с разных сторон европейскому миру, конгресс приглашает всех товарищей отвечать на всякое объявление войны, с какой бы стороны оно ни исходило, военной забастовкой и восстанием”.

Ленин, присутствовавший на конгрессе, мог быть вполне доволен этим предложением, против которого решительно выступил Бебель. Бебель начал с того, что народы, находящиеся под иностранным господством, восстают против него, и это “отодвигает на задний план все другие цели”. Доказав этим, что понятие отечества не всегда лишено смысла (хотя его аргумент явно не имел отношения к главным странам Европы), Бебель выразил опасение, что антимилита-

ристическая агитация во Франции может спровоцировать немецких генералов напасть на эту более слабую страну. Другой немецкий социалист, Фольмар, высказал подлинное настроение, стоявшее за этими увёртками:

"Неправда, что интернационализм есть антинационализм; неправда, что у нас нет отечества. И я употребляю слово «отечество» без всяких тонких разъяснений. Любовь к человечеству не может помешать нам быть добрыми немцами".

Именно этого хотели от рабочих немецкие милитаристы. Любовь к отечеству "без тонких разъяснений" означала принятие того отечества, какое есть; а "быть добрыми немцами" означало принятие языка и мышления националистов. "Интернационализм" оставался для резолюций; на практике же немецкие социал-демократы признали, что не могут — и даже не хотят — поднять своих рабочих против войны.

Конгресс принял резолюцию германских социал-демократов, с русской поправкой, осуждавшую войну, но призывавшую массы к восстанию лишь в случае, если война вызовет "экономический и политический кризис".

Через пять лет, на Базельском Конгрессе, социалисты подтвердили свою антивоенную позицию, но милитаристы могли быть спокойны: единый фронт рабочих был разбит. Национализм оказался сильнее, а это означало войну. Вызвать войну могла теперь любая случайность.

Когда в августе 1914 года началась мировая война, из всех социалистических партий серьёзное сопротивление войне оказали только две малочисленных партии — русская и сербская. Во всех других странах, вступивших в войну, правительствам удалось заставить "своих" социалистов исправно проголосовать за военные кредиты и все меры военного времени. Дело было здесь не в том, что лидеры этих партий продались буржуазии, как думал Ленин. Дело было гораздо хуже: эти лидеры уступили стихийным настроениям членов партии, поддавшихся официальной пропаганде. Угроза II Интернационала была устранена! То, что произошло, было подлинной *социальной катастрофой Европы*, притом в двух отношениях.

Во-первых, незрелость европейского капитализма, вызвавшая мировую войну, была следствием несоответствия между развитием производства и всей политической организацией Европы, с её архаическими способами государственного управления, во многом сохранившего (особенно в четырёх обречённых империях) свой сакральный средневековый характер. В двух мировых войнах изжил себя

активный национализм, и европейский капитализм перешёл к механизмам “парламентской демократии”, единственно совместимым с его техническим развитием.

Во-вторых, социалистическое движение не было готово к сложившейся ситуации, во многом подготовленной господствующими классами, но в значительной степени вызванной незрелостью рабочего класса и его буржуазным перерождением. Начало мировой войны было кризисом европейского социализма.

Марксистский тезис о “противоречии между развитием производительных сил и производственных отношений” применялся обычно к противоречиям внутри капитализма. Предполагалось, что организация капиталистического общества не сможет вместить новые средства производства, откуда и произойдёт социалистический переворот. Но мировые войны двадцатого века были вызваны другим противоречием — между капитализмом и тем, что мешало ему созреть, то есть остатками феодализма. Внутри *зрелого* капитализма могут развиться, в свою очередь, противоречия, которые превратят его в нечто иное — хотя совсем не обязательно в порождённый благими пожеланиями “социализм”.

В России — стране, во многих отношениях не входившей в складывавшуюся “европейскую культуру” — нашлась фракция социал-демократов, принявшая всерьёз крах II Интернационала, а точнее, принимавшая всерьёз лежавшие в его основе идеи “пролетарского интернационализма”. Это были большевики во главе с Лениным. Фракция большевиков — единственная политическая организация, выступившая против войны — насчитывала несколько сот активных членов и несколько тысяч сочувствующих. По сравнению с “организованным пролетариатом” Европы большевики были крайне слабы, и не случайно Ленин, в тяжкие дни Брестского мира, ждал, когда поднимутся немецкие рабочие, которых поведёт Карл Либкнехт. Могло бы показаться, что большевики — всего лишь кучка лишённых политического реализма фанатиков. К тому же они провозгласили фантастическую политику, ориентированную на *поражение* собственной страны в мировой войне!

Но эта политика была вполне последовательна с точки зрения марксистской доктрины: вспомним, как её формулировал Эрве на Штутгартском Конгрессе. Ленин предлагал рабочим всех стран перестать убивать друг друга ради чуждых им интересов их эксплуататоров и объединиться со своими братьями по классу против капитализма. Этот лозунг, столь неуместный в атмосфере патриотической истерии начала войны, нёс в себе силу социального инстинкта,

проявившуюся уже в Первую мировую войну. Через четыре года уставшие от войны солдаты уже слушали Ленина, и не только в России! Это было пробуждение социального инстинкта, осознание людьми своей фундаментальной общности — под видом классовой солидарности, тоже вполне реальной в расслоённом на классы обществе, проявилась общечеловеческая солидарность людей, которых заставили забыть, что перед ними, по ту сторону фронта, тоже *люди.* Реальность этого прорыва национальной ограниченности каждый может себе представить, взглянув на сегодняшнюю Европу и сегодняшний мир. Ленин, ограниченный догматик и духовно бедный человек, оказался выразителем идеи гуманизма, пробивавшей себе дорогу через средневековый национализм. Сам он, конечно, с негодованием отверг бы такую "буржуазную" формулировку. Как и все пророки, он не ведал, что творил.

Всё это оставляет нерешённым вопрос об отечестве, до сих пор ещё лихорадящий Россию. Конечно, каждый человек принадлежит культуре, в которой он воспитан. Ему не обязательно быть "добрым немцем" или "истинно русским человеком", но он вырастает просто немцем, или просто русским, и даже Ленин разъяснял большевикам, что ничего дурного в этом нет. Привязанность к родной культуре и родной стране не так уж уродует человека, как думал Максим Горький, презиравший "патриотизм и другие болезни духовного зрения". Более того, культура каждой нации содержит богатства, которыми можно законно гордиться, как гордится хороший хозяин собственным домом: надо только не презирать соседа, у которого дом кажется победней. Может быть, в этом ощущении есть нечто буржуазное, но ведь не всё плохо и в буржуа!

Для меня сохранение высоких культур — таких, как культуры европейских народов — самоочевидная предпосылка будущей общечеловеческой культуры, неоценимым сокровищем которой будет её разнообразие. Но те, кто в самом деле ценят эти культуры, ненавидят войну.

Во время Первой мировой войны патриотические страсти, казалось, довели интеллигенцию до полного безумия, и неглупые от природы люди довольствовались набором казённых штампов. "Защита отечества" началась походом на Восточную Пруссию, как это изображается в романе Солженицына "Август 14-го". Герои этого романа, да и сам автор, не сомневаются в том, что для блага отечества надо убивать немцев. В чём состоит это благо, они не знают. Я пытался понять, чем этот автор оправдывает войну. По-видимому, он считает, что война — это нечто вроде непостижимого испытания,

ниспосланного богом России, и надо стойко переносить его, проявляя *национальную* солидарность. До человеческой солидарности он не развился, а классовой не понимает. Близкую позицию занимает философ Бердяев. Война, — говорит он вслед Гераклиту, — есть вечный закон мироздания. Войны ведутся и на небе, так что земные войны, быть может, лишь отражение небесных. Там, на небе, может быть, идёт война между ангелами, а может быть, и в самом существе гегелевского бога. По этим причинам должны умирать одетые в шинели русские мужики.

Больше реализма проявляет профессор Милюков, знаток всех тонкостей балканской игры. Он знает, что России (а точнее, некоторым русским) нужны турецкие проливы, лучше всего вместе с турецкой столицей. Солдатам лучше не говорить о Дарданеллах, они не захотят за них умирать.

4. Вторая Мировая война и кризис демократии

Вторая мировая война была почти неизбежным следствием первой, как будто надо было лишь подождать двадцать лет, чтобы подросло пушечное мясо. Победители ничего не забыли и ничему не научились. Благородные попытки президента Вильсона ни к чему не привели: "союзники" руководствовались страхом и местью. Подлинные виновники войны не были наказаны, не был распущен ни рейхсвер, ни немецкий генеральный штаб. Контрибуции и голод легли на немецкий народ, и когда мировой кризис довёл немецких рабочих до отчаяния, ничего не было сделано, чтобы не дать этому отчаянию превратиться в жажду реванша. Победители не заметили, как потеряли все результаты своей победы. Попытка обеспечить мир при помощи Лиги Наций провалилась, потому что Лигу сделали бессильной. Это был не пацифизм, а маразм недомыслия, лени и эгоизма.

Первая мировая война разрушила Австро-Венгерскую империю, но породила на её месте нелепое сочетание искусственно состряпанных государств. Миротворцы не спрашивали, чего хотят "освобождённые" нации. Народы Балкан они произвольно отдали трём королям, сербскому, румынскому и болгарскому, каждый из которых повторял в миниатюре всю практику габсбургской империи, то есть пытался поработить подчинённые ему нации.

Югославия стала принудительным сожительством сербов, хорватов, словенцев, черногорцев и македонцев, а также вовсе не славян — албанцев и венгров. Румынии отдали Трансильванию, насе-

лённую венграми и немцами. Польше, наконец восстановленной после четырёх разделов, победители подарили украинцев, белорусов и немцев, не спросив их, хотят они этого или нет. Ей не помешали также захватить столицу независимой Литвы. Президент Вильсон напрасно призывал уважать волю народов. Его не понял даже американский сенат, не признавший Лигу Наций. Вильсон умер в отчаянии, а Европа превратилась в ещё худший клубок национальных проблем. Местами этот старый континент вмещал, казалось, столько проблем, сколько было пар соседних наций.

Повсюду, как грибы, росли ядовитые фашизмы, единственным содержанием которых была национальная вражда — поиски козлов отпущения. Это явление вышло за пределы Европы: молодые и старые народы Азии стали искать, кто виновен в их колониальном унижении, и многие нашли врага в "белой расе". Чемпионом этих азиатских националистов, и очень скоро новым поработителем азиатских народов, стала Япония.

Фашизм был переходным явлением: он возник при созревании капитализма в странах, ещё сохранивших феодальные пережитки. Фашизм вырос из национализма, как дальнейшая стадия племенной регрессии, то есть сопротивления глобализации культуры. Жертвой этого движения стала масса европейской буржуазии, беззащитная перед мировым экономическим кризисом 1929–32 годов: фашистская пропаганда давала видимое объяснение неожиданных бедствий, указывая виновных — иностранные державы, или какое-нибудь национальное меньшинство. За фашистами пошла и часть рабочего класса, давно уже усвоившая буржуазную систему ценностей. Фашисты искусно использовали в своей демагогии прежние социалистические установки рабочих, бесстыдно имитируя символику и лозунги людей, которых они тут же принялись преследовать: Гитлер назвал свою партию "национал-социалистической рабочей партией" и перенял у социалистов красное знамя, поместив в его середине свастику; итальянских фашистов возглавил ренегат Муссолини, ранее бывший одним из лидеров социалистической партии и извративший на свой лад её фразеологию.

Главным требованием фашистов было "исправление несправедливостей Версальского договора", действительных или мнимых. Немецкие фашисты требовали возвращения "германских земель", в особенности Эльзаса и Лотарингии, жители которых считали себя французами и боролись с немецкой оккупацией; итальянские фашисты требовали дальнейших уступок от соседних стран, хотя по Версальскому миру почти все населённые итальянцами земли

были отданы Италии. Маниакальное повторение территориальных претензий к соседним государствам придавало программам фашистов пародийно-средневековый характер, подчёркивая разделение Европы, суверенную замкнутость держав и святость национальных границ.

Внутри собственной страны фашисты искали, и всегда находили себе козлов отпущения — какие-нибудь национальные меньшинства. Даже в Италии, почти однородной по национальному составу, фашисты отыскали врагов — славянские меньшинства в Триесте и Фиуме, где они стали устраивать регулярные погромы. Немецкие фашисты воспользовались присутствием малочисленного еврейского меньшинства, давно усвоившего немецкий язык и культуру. Гитлеру легко было возбудить пережитки средневековой ненависти к евреям, составлявшим, наряду с колдунами и ведьмами, традиционный предмет народных суеверий и истерических преследований. Кроме евреев, нацисты травили цыган, тоже не вызывавших симпатий коренного населения, и при каждом случае разжигали ненависть к немногим оставшимся в Германии славянам.

Разумеется, подлинные хозяева Германии, крупные капиталисты, отлично понимали смысл этих провокаций, не разделяли этих взглядов и даже презирали человеческий материал, податливый на такую пропаганду. Но эти господа поддерживали фашистов или, во всяком случае, не оказывали им никакого сопротивления, справедливо полагая, что это движение отвлекает внимание народа от безработицы и нищеты, а вместе с тем подрывает влияние левых партий. В двадцатые годы социалисты были ещё сильны и в Германии, и в Италии, причём в обеих странах из их рядов выделилось активное коммунистическое меньшинство, не скрывавшее своих революционных намерений и своей солидарности с советской Россией. Фашисты получали от крупных промышленников и денежную поддержку, которую тщательно скрывали.

В начале тридцатых годов нацисты и коммунисты оспаривали друг у друга улицы немецких городов. Нацисты вначале даже снискали себе прозвище "национал-большевиков". Каждая из этих партий имела свои вооружённые и обмундированные отряды — штурмовикам противостоял "ротфронт". Но нацисты оказались сильнее, прежде всего потому, что на их стороне была государственная власть и стоявшая за ней денежная власть, но также и потому, что их "национальная" идеология была доступнее "интернациональной": фашистская демагогия оказалась более привлекательной пищей для отчаявшейся толпы.

Глубокое различие между социализмом и национализмом, маскировавшимся украденными у социалистов лозунгами и символами, состоит в их отношении к глобализации культуры. Социализм, при всех ошибках и слабостях этого движения, был направлен в будущее, а национализм — только в прошлое; первый из них означал направление общественного прогресса, временно задержанного регрессом первой половины двадцатого века, второй же означал лишь этот недолговечный регресс. Вторая половина века с очевидностью продемонстрировала, что эпоха фашизма прошла.

Вторая мировая война была, в сущности, подготовлена близорукой политикой победителей первой мировой войны, их жадностью, направленной на ближайшие, второстепенные интересы, их пренебрежением к чувствам побеждённых народов, и в немалой степени — их любительскими экспериментами над картой Европы, созданием нежизнеспособных государств и эфемерных союзов.

Нельзя сказать, чтобы правящие круги победителей не опасались новой войны. Первая мировая война оставила страшные раны в живом теле победивших наций. Франция и Англия были обескровлены, потеряв миллионы юношей; Италия по существу проиграла войну, хотя и выступала на стороне Антанты; Соединённые Штаты, впервые принявшие участие в европейской войне и поздно вступившие в неё, тоже понесли жестокие потери. Наконец, Россия, проиграв по существу войну, вышла из европейской культуры со страшными потерями и с полным разрушением экономических и социальных структур. Общее настроение во всех победивших странах можно было выразить девизом: пусть никогда больше не будет войны. Это настроение называлось пацифизмом, но под таким названием могли выступать разные психические установки — не только искреннее миролюбие, но часто трусость и эгоизм. Такие свойства были присущи не только правящим классам: это было столь же распространённое настроение, как и в наши дни.

История Второй мировой войны была парадоксальна. Агрессором была очевидным образом Германия, втянувшая в войну Италию, а затем соблазнившая своими успехами Японию. “Жертвами” были демократические страны, Франция, Англия и Соединённые Штаты, которых прямо заставили вступить в войну, а затем — вовсе не демократический, а давно уже фашистский Советский Союз. Взвешивая post factum соотношение сил, трудно представить себе, на что рассчитывали агрессоры. Конечно, это были авантюристы, поработившие свои народы и внушавшие им свои бредни; но всё же они должны были оценивать свои шансы на успех и представлять

себе, чтó может означать для них успех. Гитлер заранее составил план завоевания мира, в своей книге “Моя борьба”. Конечно, никто из государственных деятелей мира — в том числе и немецких — не принимал эту бредовую книгу всерьёз. Даже когда Гитлер пришёл к власти, эти люди думали, что в действительности придётся сделать Германии кое-какие уступки, а всё остальное — демагогия для внутреннего употребления. Несомненно, так думал Чемберлен, когда направлялся в Мюнхен для личного знакомства с диктатором, и так он мог думать ещё некоторое время после Мюнхена. А думали ли Рузвельт и Хэлл, накануне Пирл-Харбора, что японцы решатся нанести первый удар? Конечно, они рассматривали наглость “этих азиатов” как неуклюжий шантаж.

Демократии внушают диктаторам подсознательное презрение, почти парализующее их сознание. Мне случилось быть в Америке в те дни, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, и когда американцы обсуждали, чтó надо по этому поводу предпринять. Каждый вечер я слышал и видел на экране телевизора американских генералов, сенаторов и министров, действующих и отставных, без конца пережевывавших свои за и против. Как я потом узнал, эти же передачи смотрел Саддам, и он решил, конечно, что *такая* нация не хочет и не может воевать; соответственно этому он себя вёл. Кто были эти агрессоры — люди, принимавшие роковые решения? Гитлер был во время войны ефрейтором и умел водить мотоцикл, а после войны стал полицейским шпиком. Геринг был летчиком-ассом и понимал войну на уровне своей эскадрильи. Геббельс был провалившийся литератор и журналист, ставший уличным оратором. Много ли знали эти люди о своих врагах? Гитлер смеялся, когда Рузвельт предложил построить 50000 боевых самолётов: он не знал, как работают американцы. А когда ему сказали об атомной бомбе, он сразу понял, что это “еврейские выдумки”. Генералы рейхсвера в три недели разгромили деморализованную Францию; Гитлер посетил побеждённый Париж и произнёс там — как говорят — несколько французских слов. Судьба и дальше поддерживала его иллюзии: зимой 41-го года немцы стояли в Филях, откуда видно было Москву. Японские генералы — прусской выучки — решили, что их час настал: теперь или никогда! Конечно, эти вояки рассуждали примерно так же, как Саддам, и, как всем авантюристам, им вначале везло.

Конечно, жулики и авантюристы не должны управлять государством: в наше время это слишком опасно. Демократия, при всех её слабостях, лучше выбирает свой курс. Её президенты и премье-

ры могут быть бездарны, но у них не так много власти, чтобы всё погубить.

Вторая мировая война означала кризис буржуазной демократии. Перед лицом рабочего движения, поставившего под угрозу экономическое господство капиталистов, буржуазия нескольких стран предала демократические идеалы своих предков и гуманистическую традицию европейской культуры, передав власть фашистским диктаторам. Безответственная агрессивность этих правителей привела ко второй мировой войне, в которой коалиция демократических стран, с участием тоталитарного Советского Союза, с величайшим трудом и потерями защитилась от союза фашистских держав. В этой войне было поставлено под угрозу самое существование цивилизации на Земле; более того, победа фашистов, при современном развитии техники, означала бы коллективное самоубийство нашего вида. Представьте себе ядерное оружие в их руках!

5. Усталый мир

Чудовищные войны, навязанные человечеству воинствующими националистами, пошатнули веру в прогресс и вызвали общую усталость. В сущности, "религия прогресса", часто называемая принявшим буржуазную окраску словом "либерализм", после победы буржуазии над феодальным строем становилась всё более пассивной. Описанное Токвилем стремление к равенству могло быть движущей силой истории до тех пор, пока оно встречало сопротивление, а сопротивлялся ему феодальный мир. В сущности, национализм был последней атакой средневековья против "нового мира": смыслом этого нападения была защита неравенства, извечного деления людей на господ и рабов. Победа буржуазной демократии в войне с национализмом привела к тому, что победившая сторона, выступавшая под лозунгами свободы и демократии, *потеряла свою цель*.

В самом деле, победители — Франция, Англия, Соединённые Штаты и союзные с ними демократические государства — в действительности не имели никаких планов на будущее. Можно спросить, имели ли они такие планы раньше. Французская Революция начертала на своём знамени великие слова "Свобода, Равенство, Братство", предоставив потомкам уяснить себе их более конкретный смысл. Если этот девиз выражал подлинные желания сторонников прогресса, то цели прогресса должны были определяться в свете этих идей. Та демократия, которой управляла победившая буржуазия, — назовём её "буржуазной демократией" — очень убо-

го истолковала свободу и равенство, а о братстве попросту забыла. Свобода должна была означать соблюдение установленных законов, а равенство — одинаковое положение всех людей по отношению к законам. Отсюда вытекало, что в обществе не должно было быть сословных привилегий, что в принципе отменяются все виды власти, кроме "власти всех граждан", а это означало *представительное правление*.

Таким образом, целью прогресса оказывалось определённое устройство государственной власти. Вопрос, для чего нужна эта власть, оставлялся в стороне, и даже нарочито подчёркивалось, что это незаконный вопрос, так как государство вовсе не должно ставить перед людьми какие-либо цели, или учить их чему-нибудь, кроме соблюдения законов. Иначе говоря, демократия понималась — и до сих пор понимается — как "правила процедуры", но не указывается, что́ регулирует эта процедура. Можно сравнить это с правилами уличного движения, устанавливающими, как должны вести себя прохожие на улицах города, но не предписывающими им, куда они должны идти. Если сравнить эту систему с другими, испытанными в злополучном двадцатом веке, то эти другие системы напоминают город-казарму, где полиция вовсе не ограничивается регулированием движения, а выстраивает людей в колонны и ведёт их куда-то, куда им не всегда хочется идти. При виде этого "тоталитарного" регулирования Синклер Льюис в конце жизни ужаснулся и готов был броситься в объятия той Америки Бэббитов, с которой он всю жизнь враждовал; а Владимир Набоков пытался даже сделать из процедуры философию, настаивая на том, что общественная жизнь его не интересует, а в личную жизнь государство не должно вмешиваться.

Соблюдение законов вовсе не определяет, как люди живут, и тем более — для чего они живут. Если снова обратиться к аналогии с уличным движением, то полицейские, регулирующие движение, не должны выходить из своих функций, но нам-то всё-таки надо знать, *куда мы идём.*

Чтобы отделаться от этого вопроса, нам чаще всего говорят, что жизнь является "самоцелью", что она "спонтанна", и что все попытки формулировать общественные цели принципиально порочны, поскольку ведут к тоталитарной регламентации жизни. На практике эта позиция означает *реактивное* поведение: жизнь сводится к неизбежным реакциям на опасности и физиологические потребности. Так ведут себя животные, и только что описанная концепция жизни-самоцели пытается превратить нас в животных. Человек от-

личается от животного не только сознанием того, что́ он делает, но и осмысленностью поведения: он ставит себе *цели*.

Если присмотреться к тому, что́ делали в двадцатом веке хозяева жизни — буржуазные собственники — то больше всего поражает отсутствие целей, полная реактивность поведения. Когда им ничто не угрожало, они занимались пищеварением. Они не проявляли никакой инициативы и вообще ничего не делали, если их к этому не вынуждали. Рабочее движение, организованное социалистами, заставило этих господ улучшить положение рабочих; рабочим пытались привить буржуазные вкусы и понятия, чтобы они забыли разницу между тем, кто нанимается на работу, и тем, кто его нанимает. Эти уступки на какое-то время усмирили классовую борьбу. Но воинствующий национализм навязал буржуазии две мировых войны, в которых была в значительной мере виновна она сама. После Второй мировой войны капитализм оказался перед новой угрозой: врагом была теперь Россия, где коммунизм давно уже превратился в своеобразный русский фашизм.

Это понимали циничные наблюдатели, знавшие, чего стоит навязанный войной союз западных демократий с советским фашизмом. Знаменитый математик фон Нейман, создатель математической теории игр, предсказывал, что вчерашние союзники сразу же подерутся друг с другом, как только кончится война. Но это нельзя было навязать массам простых людей, принёсших столько жертв ради свободы и демократии и веривших всему, что говорила пропаганда союзников, чтобы их к этому побудить. Для *простых людей* (это название придумал для них Рузвельт) надо было разыграть после войны торжественный спектакль, отпраздновать победу и, отложив пока все разногласия, провозгласить гарантии мира на будущие времена. Такой гарантией должна была стать Организация Объединённых Наций.

Уроки Первой мировой войны были, наконец, учтены: Германия и Япония, даже после их капитуляции, всё ещё внушали страх. Германию разбили на четыре зоны оккупации; Советскому Союзу досталась восточная часть страны, которую и без того уже заняли советские войска, а Западную Германию разделили между США, Англией и Францией. Таким образом, Германия как государство больше не существовала, а её главные правящие структуры были объявлены преступными организациями. Главных "военных преступников", переживших войну, должен был судить международный три-

бунал в Нюрнберге, где проходили гитлеровские партийные съезды. Сталин прислал в Нюрнберг своих судей и прокуроров, которые были не лучше подсудимых; они следили, чтобы среди преступлений нацистов не всплыли рассказы о преступлениях Сталина.

Японию оккупировали американцы, но японское государство не уничтожили: секретный пункт капитуляции предусматривал, что японский император сохранит свой титул. Впрочем, Японией управлял американский генерал. Японская армия и флот перестали существовать.

Все эти меры должны были убедить людей, что война принесла свои плоды, что больше не будет войн. И в самом деле, в сознании людей произошёл перелом. Люди устали ненавидеть и мстить. Более того, у них резко снизилась общая способность к сильным эмоциям и, в частности, коллективная агрессивность. Это явление очевидно, и можно предложить для него два правдоподобных объяснения. Первое относится ко всем европейцам более развитых стран, а второе — к тем из них, кто был воспитан при фашистском режиме.

Первое объяснение связано с буржуазным перерождением всего населения, которое Джон Стюарт Милль заметил в Англии, а Герцен во Франции ещё до франко-прусской войны. Способность к сильным переживаниям — страстям — зависит не только от физиологии человека, которая неизменна, но ещё от его воспитания и образа жизни, которые обусловлены культурой и, следовательно, могут меняться в течение нескольких десятилетий. Коллективная агрессивность, или воинственность, была очень сильна у тех, для кого война была по традиции главным занятием, то есть у европейского дворянства. Значение этого слоя резко снизилось в течение девятнадцатого века, особенно во Франции. Престиж дворянства исчез, когда оно потеряло почти все свои наследственные земли и сословные привилегии, и когда не стало больше военной славы. В Национальном Собрании 1871 года дворяне всё ещё составляли треть депутатов; к 1914 году их было в парламенте всего несколько.

Буржуазия была агрессивна ещё и в девятнадцатом веке, когда перед ней стоял стеснявший и унижавший её феодальный строй. Она могла быть агрессивной перед лицом восставших рабочих 1848 года и коммунаров 1871 года, испугавшись за свою собственность. Но потом буржуазия уже безраздельно господствовала и, в сущности, потеряла движущие мотивы. Уже Герцен, увидев Францию после двадцати лет империи, был поражён изменением французского буржуа.

Присмирел и рабочий класс. На грани отчаяния он способен проявлять сильные страсти, о чем говорят летописи всех революций. Но когда рабочий обретает хотя бы скромное благосостояние, он начинает ориентироваться на образ жизни буржуа, не видя перед собой ничего лучшего. Неспособность европейских социалистов научить рабочих чему-то лучшему как раз и составляла их основную слабость. Кто видел нынешних западных рабочих, не сомневается, что на баррикады они не пойдут.

В литературе много раз описывалось настроение французской публики в начале каждой войны — в 1870, 1914, 1939 году. Эти описания не оставляют сомнения в том, что французы становились всё менее воинственными. В последнем случае они просто не хотели понять, почему на них свалилась война, и долго надеялись, в месяцы "смешной войны" (drôle de guerre), что всё это как-нибудь обойдётся. Агрессивность — по крайней мере в её коллективном проявлении — всё время шла на убыль. Объяснение, данное выше ("обуржуазивание" наций) можно, конечно оспаривать, но вряд ли можно отрицать самый факт. Хорошо это или плохо — другой вопрос, к которому нам ещё придётся вернуться. Современное общество эволюционирует в сторону менее эмоционального (может быть, более рационального) поведения.

Другое объяснение касается людей, воспитанных при фашизме — таких, как немцы, получившие школьное образование с 1933 по 1945 год, или русские, начиная с 1930-ых годов. Можно было бы подумать, что эти люди, напичканные лошадиными дозами тоталитарной идеологии, должны быть особенно воинственны. Но дело обстоит как раз наоборот. Например, в Германии активные фашисты вышли из людей, получивших воспитание при кайзере: это были молодые люди из чиновников, лавочников, ремесленников — в общем, из мелкой буржуазии — реже из крестьян или рабочих; они получили строгое авторитарное воспитание дома и в школе, ориентированное на традиционный немецкий "порядок" (Ordnung), а затем чаще всего прошли через войну. Как правило, это были не люмпены, а люди с устойчивыми привычками, крепким характером и "патриотическими" убеждениями, которые оставалось только переключить с лояльности фатерланду и монархии на лояльность фатерланду и фюреру. Это из них получались штурмовики в коричневых рубахах, выходившие кричать и драться на улицы немецких городов; это они стойко воевали потом даже за безнадёжно проигранное дело. Командные кадры гитлеровской армии были из офицеров рейхсвера, прошедших первую мировую войну, тоже получивших свою выучку

при кайзере. Эти люди и до сих пор, в глубокой старости, могут сохранять те же чувства ненависти и мести, но в послевоенном мире такие чувства некуда деть.

Совсем иначе вели себя юнцы, воспитанные при нацизме. Они тоже воевали, или собирались воевать, и верили фюреру, но после поражения их вера быстро исчезла. Как видно из социологических исследований, эти молодые люди легко вписались в "демократическое" общество, занялись мирными профессиями, и теперь, в сильно американизированном немецком обществе, ничем не выдают своего прошлого воспитания, да и вообще политически пассивны. Конечно, находятся и молодые люди другого рода, главным образом и привлекающие к себе внимание разными выходками, но их мало, и они не видели фашизма. Теперь, по-видимому, немцы не более воинственны, чем американцы, которым они пытаются подражать. В общем, фашистское воспитание, по сравнению с кайзеровским, оказалось крайне неэффективным. То же было и у нас в России, но при нашей хозяйственной системе ничто, даже деньги, не может заставить таких молодых людей работать. Фашизм не воспитывает крепкий тип человека: он способен лишь использовать человеческий материал, доставшийся ему от прошлого, но сам производит только мусор.

Для фашизма больше нет человеческого горючего. Это значит, что в нынешней европейской популяции мало страстей. Тогда их не хватит и на что-нибудь другое; значит, это не только хорошо, но и плохо. Но пока что в Европе — уже полвека — царит мир.

Усталость, о которой я говорил вначале — это не физическая усталость. Люди по-прежнему занимаются каким-нибудь трудом, в свободное время — спортом или сексом, и очень заботятся о своём здоровье. *Моральная усталость*, о которой идёт речь, — это нежелание дерзать, рисковать, переносить лишения. Период такой усталости, как можно надеяться, продлится достаточно долго, чтобы сложились эффективные *механизмы запрещения войны.*

Люди, выросшие в обществе без войны — даже в обществе, где войны редки и не слишком продолжительны — обычно не хотят войны. Нынешние европейцы не видят, зачем затевать войну. Они не считают даже военную службу почётным долгом, а предпочли бы, как это всегда делали англоязычные народы, нанять кого-нибудь вместо себя. Европа живёт без войн, если не считать её некультурных окраин. Но похоже на то, что даже ирландцы уже слишком культурны для войны, и только на Балканах бывшие турецкие подданные всё никак не научатся решать свои проблемы без резни.

В 1945-ом году этого никто не предвидел, и победители хотели избежать третьей мировой войны — в этом западные демократии были едины. В сущности, для этого было достаточно военной оккупации побеждённых стран и политического контроля над их правительствами (что не было сделано после Первой мировой войны). Но для успокоения народов решили устроить ещё раз организацию вроде Лиги Наций, и получилась ООН. Считалось, что это организация победителей, так что Германия, Италия и Япония ещё долго в неё не входили; впрочем, в Германии и не было ещё никакого государства. Не вошла и Швейцария, подчеркнув этим свой нейтралитет. Но, конечно, пришлось включить в ООН Советский Союз и его сателлитов, поскольку это были доблестные союзники в войне.

В этом и была главная трудность. Против прежних врагов ООН была очевидным образом не нужна: пока западные демократии сохраняли своё единство, они и так имели все нужные средства. В действительности миру на Земле угрожал Советский Союз, которым руководил непредсказуемый и, вероятно, готовившийся к войне диктатор.

Сталин был неудобным, но неизбежным союзником во время войны. Если бы не расовые и политические предрассудки нацистов, он мог бы оказаться и на другой стороне: он подражал Гитлеру, сколько мог. До войны он подбирал крохи с немецкого стола, округляя свои границы; а после войны он присвоил себе всю Восточную Европу, занятую советской армией, и насадил там, под разными названиями, советский режим, нарушив соглашения с союзниками. Сталин был жаден, но труслив. Он вовсе не был завоеватель, но воспользовался плодами войны. В сущности, последними "великими завоевателями", стремившимися к мировому господству, были Гитлер и японские милитаристы; можно надеяться, что таких попыток больше не будет. Но у Сталина было особое подрывное оружие, которым он хотел добиться гегемонии без риска большой войны: этим оружием был "коммунизм". Я ставлю это слово в кавычки, потому что настоящих коммунистов — всех русских и всех иностранных, попавших в его руки — Сталин давно истребил, и во всех захваченных им странах он их вылавливал и уничтожал; коммунистическое учение на практике было заменено русским шовинизмом и культом едва говорившего по-русски вождя. Но в "странах капитала" были коммунистические партии, всё ещё делавшие ставку на Советский Союз и сохранявшие свой прежний идеологический багаж. Лидеры этих партий могли поддерживать Сталина и

получать от него субсидии, но рядовые члены партий были искренние коммунисты, принимавшие всерьёз свою доктрину и молившиеся на Москву. Коммунистические партии были особенно сильны во Франции и в Италии, где во время немецкой оккупации коммунисты проявили подлинный героизм. В послевоенные годы Западная Европа впала в нищету, что всегда действовало в пользу коммунистов. Призрак коммунизма снова явился в Европе, и Сталин рассчитывал, как обычно, использовать в своих целях чужой энтузиазм. На Востоке коммунисты были ещё активнее: в 1949-ом году они захватили власть в Китае, контролировали северные части Кореи и Вьетнама, вели партизанские бои в джунглях Малайи и Филиппин.

Таким образом, сразу же после войны обнаружился новый враг, как и предвидели политики западных стран. Это не сразу можно было признать публично; тем более, из-за инерции человеческих понятий нельзя было сразу же напасть на изнурённого войной союзника. Этого не принял во внимание фон Нейман, предсказавший такой ход событий. Итак, надо было допустить Сталина в ООН, предоставив ему там почётное место. Но после провала Лиги Наций, не сумевшей ничего сделать для предотвращения войны, надо было создать впечатление, что новая организация будет действенной, способной принимать решения, вплоть до сопротивления агрессии вооружённой силой. Для быстрого и эффективного действия ООН был устроен "Совет Безопасности", куда вошли, в качестве постоянных членов, представители великих держав — Соединённых Штатов, Англии, Франции, Советского Союза и Китая. Каждая из этих стран имела "право вето", то есть могла наложить запрет на решение всех остальных; таким образом, Сталин мог не опасаться, что могут быть приняты какие-нибудь меры против него или его спутников: иначе он никогда не согласился бы войти в ООН.

Но поскольку единственным возможным агрессором в послевоенном мире был Советский Союз, то всем сколько-нибудь сведущим в политике людям было ясно, что ООН никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет действовать. Это было сознательно предусмотрено всеми её основателями — и демократическими странами, и Сталиным. ООН должна была быть форумом для "обмена мнениями" и, возможно, для принятия фиктивных соглашений, которые всё равно не будут выполняться. Вся эта сознательно разыгранная комедия должна была амортизировать неизбежный разрыв между западным и восточным блоками, болезненный для сознания "про-

стых людей", и показать этим людям волю к миру обеих сторон. Но юридические фикции непредсказуемы: каждая из них может в подходящий момент послужить целям, не приходившим в голову её хитроумным авторам.

Послевоенные трудности Европы вызвали у Сталина большие надежды. В Западной Германии экономика была разрушена, инфляция уничтожила деньги. Англия была разорена войной, и лейбористское правительство прибегало к непопулярным мерам регламентации. Но опаснее всего было положение во Франции и в Италии, где сильные коммунистические партии получали поддержку рабочих и рвались к власти. Тольятти в очень прозрачных выражениях намекал своим товарищам, что они "должны быть готовы к прыжку". Обманутые рабочие Европы не знали, какие блага приготовил им "коммунизм": нищета и голод работали на Сталина. Единственной силой, способной спасти Европу, были Соединённые Штаты: это была единственная в мире страна, вышедшая из войны с процветающей экономикой и прочной финансовой системой. Если бы там, как после Первой мировой войны, одержал верх изоляционизм, то Америка могла бы остаться последним бастионом западной цивилизации, посреди моря красного террора. Конечно, коммунистическая система рухнула бы, потому что её тоталитарное устройство делало её нежизнеспособной; но распад "красного мира" мог бы занять ещё одно бесплодное столетие.

К счастью — для того, что осталось от нашей культуры — на этот раз капиталистические господа поняли, в чем состоял их жизненный интерес. Западные страны заключили военный союз, действующий до сих пор под именем НАТО[1], и эта военная сила устрашила диктатора. Восточная Европа была отделена от Западной "железным занавесом", но Западная Европа была спасена. Более того, американцы поняли, что им выгоднее прийти на помощь Европе, чем дать ей погрузиться в разруху. Это было нетривиальное решение, поскольку в их традиционных расчётах страны Европы рассматривались как потенциальные конкуренты; но на этот раз общий интерес капитализма взял верх. В этом случае он, несомненно, совпадал с общим интересом человеческого рода, как понимает каждый переживший советскую власть. Америка приняла "план Маршалла". Небольшой части американского богатства хватило, чтобы не только накормить страны Европы, но, главное, доставить им в кредит

[1]North Atlantic Treaty Organization (Организация Северо-Атлантического Пакта).

оборудование для оживления их предприятий. Этим Соединённые Штаты создавали себе в будущем опасных конкурентов. Конечно, господа рассчитали, что так будет выгоднее; но простые американцы, зная, что такое Европа, не хотели видеть её под сталинской железной пятой.

Не смея начать большую войну, Сталин пытался прощупать западный фронт в слабых местах. В 1948 году он нарушил послевоенный договор, отрезав от мира Западный Берлин. Эта часть города находилась под контролем трёх союзных держав и управлялась на западный лад; договор оставлял ей свободный доступ на Запад. Сталин рассчитывал, что западные страны не начнут войну из-за части одного города, и можно будет одержать победу без серьёзного конфликта. Но американский президент Трумен проявил мужество и дал отпор. Для снабжения Западного Берлина был мобилизован огромный по тому времени воздушный флот, и по воздуху перевозили, не считаясь с расходами, все нужные городу грузы. Вначале советские истребители пытались этому мешать, но всё же Сталин не решился сбивать самолёты. Через несколько месяцев он уступил и снял блокаду: Сталин всегда отступал перед силой.

В сущности, он вряд ли решился бы вообще начать большую войну; он был не настолько безумен и никогда не рисковал всем. Но он продолжал искать слабые места у противника, устраивая провокации. С психологической стороны это, скорее всего, объясняется безнадёжностью внутреннего положения: внешние авантюры должны были отвлечь внимание народа от безвыходной нищеты и унижения. Для самого Сталина, ощущавшего своё бессилие что-нибудь сделать внутри страны, эти авантюры были, несомненно, единственным развлечением. В 1950 году “коммунистическая” (а на самом деле фашистская) Северная Корея напала на Южную, почти не охраняемую американцами. Как всегда, вначале успех был на стороне агрессора, тем более, что операциями руководили опытные советские офицеры, а самолёты имели советские экипажи. Агрессия в Корее была прямым вызовом всей системе послевоенной безопасности и требовала международного ответа. Совет Безопасности ООН, блокированный советским вето, сумели обойти. Генеральная Ассамблея ООН, подавляющим большинством голосов осудив агрессию, создала особый комитет для организации сопротивления. Этого не предусматривал Устав ООН, к чему тотчас же придралась сталинская пропаганда; но устав и не запрещал Генеральной Ассамблее — главному органу ООН — принять такое

решение. Дело здесь было не в военной силе. Войска для войны в Корее дали американцы, а участие других стран было лишь символическим; но надо было показать миру, что установленный после войны порядок будет защищён, и что это будет сделано под демократическим контролем всемирной организации. ООН впервые доказала в Корее, что может действовать. Сталин начал переговоры уже через год, когда стало ясно, что авантюра не удалась.

До сих пор ООН не пришлось прямо участвовать в большой войне, но самое её существование и её резолюции поддерживали усилия тех, кто сопротивлялся агрессии. Ещё большее значение имела Хартия ООН и основанные на ней гуманитарные действия. Циничные политики, придумавшие ООН, и в этом случае не принимали всерьёз того, что делали: в самом деле, ясно было, что Сталин и его спутники не будут соблюдать никаких хартий; он, в свою очередь, знал, что никто не заставит его что-нибудь соблюдать. Но за этой бесчестной сделкой стояла огромная незримая сила — мировое общественное мнение, воплощавшее *социальный инстинкт человечества*. Подлинным хозяином всего происходившего был твёрдо решивший выжить человеческий род. Хартию ООН поручили составить не политикам, а гуманистам, и этот документ отразил, пусть в несовершенном и слишком общем виде, то, чего хотели люди после двух мировых войн. Те, кто подписывал хартию, не представляли себе, что всё это в самом деле придётся исполнять!

В Европе уже нельзя воевать. Попытка провинциального диктатора устроить ещё один геноцид встретила сопротивление НАТО. Если ООН и не участвовала прямо в операциях, она их одобрила. Дошло до того, что не дают убивать людей даже на острове Тимор! Россия и Китай всё ещё настаивают на своём суверенном праве убивать и пытать собственных граждан, рассчитывая, что им это сойдёт. Но плыть против течения становится всё трудней.

6. Глобализация капитализма

В сущности, теперь есть уже зародыш мирового правительства: это “семёрка”. Люди, заседающие под этим названием, не вызывают энтузиазма, но это и не важно. Время великих людей ещё впереди.

Как мы видели, обе мировые войны были вызваны пережитками феодализма в отставших капиталистических странах — Германии,

Италии и Японии. В этих странах экспансия капитализма сопровождалась стремлением к завоеваниям. Зрелому капитализму эта черта не свойственна: его единственная цель — извлечение прибыли, всё равно, где и с кем. В начале Первой мировой войны в Англии, и особенно во Франции было ещё много патриотического энтузиазма, но перед Второй в демократических странах не было уже ни малейшей воинственности. Эти страны были втянуты в войну "против своей воли", то есть против воли их правящей элиты и "среднего класса". Трудящиеся никогда не хотели войны.

Так называемый "империализм" начала двадцатого века имел целью вовсе не большую войну, а захват колоний; в военном смысле его предприятия были местными операциями вроде англо-бурской войны. Впоследствии оказалось, что политическая власть над колониями не окупается, что их выгоднее эксплуатировать экономическими средствами, с помощью "компрадоров". Большие войны оказались крайне рискованными: в современном мире они приводят к социальным катастрофам и обходятся слишком дорого. После Второй мировой войны европейский капитализм смог удержаться лишь благодаря американской помощи, но и это нельзя было с уверенностью предсказать. Зрелый капитализм — это система власти в "сытых" странах, а сытые не любят рисковать.

"Деколонизация" и образование транснациональных компаний были началом глобализации капитализма. В наше время конкуренция "наций" всё больше превращается в *мирную* экономическую конкуренцию компаний. Этот результат приветствуют и те, кто не любит капитализма. Однако, последствия этой конкуренции — экономическая (а следовательно и политическая) власть над миром капиталистов семи главных мировых держав и общий застой культурного развития, заключающий в себе, как мы видели, будущие опасности.

Государства нашего времени можно разделить на три группы. Первую группу составляют ведущие индустриальные государства — "семёрка". В неё входят шесть "западных" стран, владеющих главными средствами производства и технического развития, и Япония. Германия и Япония, которым было запрещено иметь военную силу, извлекли из этого особую выгоду, поскольку не должны были нести военных расходов. Их экономика быстро восстановилась. Особое место заняла Япония. Эта страна, занимающая теперь второе место в мировой экономике, далека от западной культуры и западного образа жизни. Её правящие круги не используют творческие способности своей нации, а перенимают интеллектуальные дости-

жения западных стран, рассчитывая на особые свойства японской рабочей силы. Таким образом, Япония стала чем-то вроде паразита западной цивилизации.

Во вторую группу входят малые страны Европы, давно усвоившие правила рыночной игры, и отсталые страны "Третьего мира", только усваивающие эти правила. Все эти очень разные страны полностью зависят от "семёрки" и транснациональных компаний, хотя в некоторых из них продолжаются архаические хозяйственные традиции, не имеющие будущего. Их развитие определяется "градиентом" экономической силы и культурного превосходства, неизменно направленным в сторону Запада.

Третья группа — это три больших отсталых страны, Россия, Китай и Индия, ещё не вполне подчинившиеся правилам рынка и не умеющие отделаться от пережитков племенного строя, феодализма или коммунизма. Индия представляет конгломерат различных по языку и культуре племён, возникший из английской колониальной империи. Она не воинственна и никогда не угрожала внешнему миру. Россия и Китай долго держались "коммунистической" системы, пародировавшей марксизм, и пытались навязать её другим странам; теперь эта система распадается и бессильна, а её патриотическая словесность служит для внутреннего употребления. Все эти три страны представляют экономический вакуум, который не сможет долго выдержать давление внешнего мира. У них нет никакой действенной идеологии. Их будущее — экономическая колонизация или "японизация", то есть превращение в экономические системы псевдозападного типа; то и другое займёт, конечно, немало времени.

Поскольку западная культура намного опередила все другие в духовном и техническом развитии, она непреодолимо завоёвывает земной шар. Это объясняется, прежде всего, безнадёжным отставанием других культур, не успевших выработать интеллектуальную технику, сравнимую с западной. В наше время все образованные люди получают *западное* образование, а обратное влияние других традиций на западную пренебрежимо мало. В некотором смысле западная культура универсальна: достижения других культур параллельны некоторым её очень старым аспектам. В ней можно найти, под разными названиями, и конфуцианскую этику, и буддийскую мистику, а при желании и мусульманский ригоризм.

Поэтому я и занимаюсь, главным образом, проблемами западных стран. Можно не сомневаться, что другие страны столкнутся

с ними, когда придёт их черёд: мы это чувствуем в России. Конечно, по мере глобализации культуры западная культура будет меняться. Только она и может решить свои проблемы. Мы не можем рассчитывать, что спасение принесут нам неграмотные рыбаки из какой-нибудь новой Галилеи. Наш мир уже слишком сложен. И мы не хотим вернуться в Тёмные Века.

Глава 14

Явление человека

1. Почти невозможная история

История была издавна предметом религиозных и философских доктрин. Люди нуждались в объяснении и оправдании своей истории. Подобно тому, как отдельный человек хотел иметь благородных, достойных уважения предков, всё человечество нуждалось в высоком, респектабельном происхождении.

Библия говорит, что всемогущий и всеведущий бог создал человека по своему образу и подобию, и что вся человеческая история, до мельчайших подробностей, следует предустановленному божественному плану. Цели и средства этого плана нам неизвестны, они зависят от неисповедимой воли господней. Тем не менее, особая богословская доктрина, именуемая "теодицеей", занималась её истолкованием и оправданием. Все несчастья, случившиеся с людьми, приписывались их собственным прегрешениям, которые, впрочем, заранее предвидел всеведущий и всемогущий бог. История этих бедствий длилась так долго, что нужна была очень твёрдая вера в мудрость и благость Провидения.

В Новое время объяснением истории занялись философы. Даже в девятнадцатом веке особым уважением пользовалась философия истории Гегеля, в сущности пародирующая библейскую историю. По Гегелю, прошлое человечества отнюдь не случайно, а имеет глубокий смысл: оно представляет собой последовательность экспериментов Абсолютного духа, в котором нетрудно узнать того же бога. Но этот бог, как обнаруживается, не всеведущ и даже в некотором смысле не завершён, а нуждается в развитии, и для этого устраивает спектакли, выпуская на сцену, одно за другим, человеческие племена и наблюдая их приключения. Складывается впечатление, что этот развивающийся Абсолют есть попросту абстрагированное содержание истории, но это содержание многозначительно и величественно. Увенчанием этой божественной драмы оказывается прусская монархия, что совсем уже напоминает известное стихотворение Гейне:

Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!
Ich will mich zum deutshen Professor begeben.
Der weiß das Leben zusammenzusetzen,
Und er macht ein verständlich System daraus;
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus[1].

Более реалистичную философию истории построил Маркс. Его объяснение истории было тоже монистическим, то есть он пытался вывести всё прошлое человечества из единственного принципа. Для Маркса история была развитием производительных сил, составляющих "базис" общественной жизни, тогда как все другие её стороны считались всего лишь "надстройкой". Во всяком случае, в этой картине есть развитие, как и в доктрине его учителя Гегеля; но можно спросить, кто же развивает эти производительные силы? Вся жизнь человечества оказывается в картине Маркса лишь аккомпанементом к суверенному грохоту машин, очевидным образом заглушившему в его время все другие мотивы.

Поиски закономерности в истории всегда наталкивались на принципиальную трудность: история — единственное в своём роде явление. Научные закономерности относятся к регулярно повторяющимся явлениям, но человечество имеется в единственном числе. Можно искать повторения в исторических событиях, чем всегда занимались историки, но эти события напоминают друг друга лишь в самых общих чертах. Самое возникновение человека загадочно. Более того, загадочно и возникновение вселенной, которая тоже имеется в единственном числе. В существующей теории "большого взрыва", хорошо описывающей многие особенности известного нам мира, лежащие в основе жизни тяжёлые элементы могли появиться лишь при крайне маловероятных соотношениях атомных постоянных.

Ещё менее вероятным кажется возникновение жизни. Жизнь означает особый, более высокий уровень организации вещества. Даже простейшие формы известной нам жизни основаны на сложных структурах ДНК, образование которых, при нынешнем состоянии наших знаний, представляется удивительной случайностью. Ещё удивительнее возникновение человека, с его культурной традицией, положившей начало новому, ещё более высокому уровню организации живых систем. Если представить себе объективный внеш-

[1] Слишком разорваны мир и жизнь! / Я обращусь к немецкому профессору. / Он умеет соединять жизнь в одно целое / И сделает из этого понятную систему; / Клочками своего ночного колпака и халата / Он штопает дыры мироздания.

ний разум, оценивающий эти события, то явления жизни и человека представились бы этому разуму почти невозможными. Можно допустить, что они единственны во всей вселенной; во всяком случае, почти достоверно, что в Солнечной системе никакой другой жизни нет.

Нашими предками были насекомоядные животные размером с крысу. С какими-то из них случилась мутация, и от них произошли обезьяны. С другими ничего не случилось, и потомки их до сих пор живут в джунглях Мадагаскара. Тупайя до иллюзии похожа на крысу, но она не грызун. И у неё странные глаза: если бы мы не знали, что она почти наш предок, эти глаза невозможно было бы понять. Обезьяны, при всем своём внешнем сходстве с человеком, не так уж выделяются из царства животных: между животными и человеком — качественный разрыв, не поддающийся измерению в рамках биологии. Между тем, биологи ещё недавно всерьёз рассуждали о "разуме животных", сравнивая умственные способности обезьян и человека. Непрерывного перехода здесь нет, потому что только у человека есть понятийное мышление, выражаемое символическим — словесным — языком. Поистине, "вначале было слово".

У предков человека — гоминид — образовался "избыточный", излишний для сохранения вида мозг, главным применением которого была внутривидовая борьба. Такая борьба, убийственная для всех видов животных, наблюдается лишь в редких патологических случаях. И вот у гоминид выпал инстинкт, останавливающий внутривидовую агрессию и предотвращающий убийство собратьев по виду. Эта редчайшая случайность вызвала войны между группами, приводившие к истреблению побеждённых. В соответствии с общим биологическим законом, все гоминиды, за исключением одного вида, вымерли.

Этот единственный вид избежал судьбы всех остальных благодаря дальнейшей — самой удивительной — мутации мозга. Эта мутация (возможно, вместе с рядом последовательных мутаций, происшедших вслед за ней) сделала возможным развитие понятийного мышления, то есть создала человека, с его способностью к накоплению и передаче потомству приобретённых знаний. Можно предположить, что возникший таким образом вид приобрёл свойства, позволившие ему выжить, несмотря на истребительные внутривидовые войны. Мы называем этот вид *homo sapiens* — человек разумный.

Мутация мозга, создавшая человека, не оставила следа в костных остатках, но отразилась на изготовлении орудий. Скелеты, в точности похожие на скелет современного человека, датируются 100–120 тысячами лет, и предполагается, что в Восточной Афри-

ке такие же существа появились примерно 200 тысяч лет назад. Но около 50 тысяч лет назад резко меняется качество орудий, изготовляемых этими гоминидами: их изделия начинают быстро совершенствоваться. Вероятно, тогда и произошла решающая мутация, о которой идёт речь. Первых людей называют кроманьонцами, по местности во Франции, где нашли их стоянки.

Люди не удивляются человеку, потому что повсюду встречают себе подобных. Удивление вызывают более редкие вещи. Путешественники и мореплаватели повсюду находили людей — белых, чёрных, жёлтых или краснокожих, но всегда людей. Можно понять, почему писатели-фантасты населили все планеты и звёздные системы существами, скопированными с людей. Но человек — величайшая случайность и величайшая редкость во вселенной.

Разумеется, все явления истории человечества были не только случайны, но в то же время закономерны — в том смысле, что они подчинялись законам физики, которые мы в значительной степени знаем, законам кибернетики сложных систем, которые мы лишь начинаем понимать, законам биологии, о которых мы имеем лишь первое представление. Эти закономерности принадлежат последовательным, возвышающимся один над другим уровням организации, над которыми, несомненно, лежат законы культурной организации. И все эти закономерности налагаются на описанную выше картину случайных событий, почти невероятных мутаций, в которые мы вынуждены верить лишь потому, что существуем.

Случайность господствует и в истории "разумного человека". Ход истории напоминает плавания Колумба и Магеллана, где тоже соблюдались все закономерности низших уровней организации — все вещества вели себя по законам физики, Земля была устроена по законам её географии, экипаж подчинялся законам человеческой физиологии, и так далее, но всё предприятие в целом было прыжком в неизвестность.

Невозможно отрицать, что мы достигли в нашем плавании удивительных результатов. Удивление легко переходит в почтительность к истории, в которой она не нуждается, или в благодарность истории, которая этого не заслуживает, поскольку она закономерна, и тем более — поскольку она случайна. От таких эмоций нетрудно избавиться, но почти невозможно отделаться от моральной оценки истории. В этом мы слишком человечны, и мы склонны оценивать историю наподобие того, как мы оцениваем отдельную человеческую жизнь. Иначе говоря, мы почти неизбежно морализируем по поводу истории. Вероятно, это занятие полезно в том отношении,

что мы можем чему-то научиться на исторических примерах. Но единственный критерий для такой моральной оценки, какой у нас может быть — это наша собственная современная мораль. И если никакая религия или теоретическая догма не сковывает нас, мы неизбежно приходим к заключению, что эта история чудовищна.

Если опять сравнить историю с плаванием в неведомые страны, то бросается в глаза различие: на кораблях мореплавателей был всё же капитан, руководствовавшийся какой-то теорией и сознательно принимавший решения. Вначале не было и этого, а просто лодку уносило в море. В этом сравнении есть некоторый урок. Конечно, невольные моряки на такой лодке создавали себе мифы, осмысливая происшедшее и пытаясь угадать будущее. Иначе говоря, у них ещё не было теорий, но была религия.

Все религии несут на себе несмываемую печать чудовищной истории человечества. Не все верующие отдают себе в этом отчёт. Не все верующие знают, что таинство причастия происходит от людоедского ритуала — торжественного съедения принесённого в жертву человека. Священник, называющий непонятную ему науку "вавилонской блудницей", скорее всего не знает, что это выражение происходит от храмовой проституции. И апостол Павел, убеждающий раба повиноваться своему господину, свидетельствует лишь о психической установке христианской церкви, видевшей в людях "рабов божьих" и не мыслившей иного отношения к своему богу.

Вера несла в себе рабство, и рабство сковывало мышление. До восемнадцатого века история была случайным процессом, поскольку действие множества естественных причин приводило, как это часто бывает в сложных системах, к непредсказуемым последствиям. К таким причинам надо отнести и решения людей, вызванные случайными обстоятельствами и преследовавшие частные цели. Людям чуждо было представление, что ход истории может зависеть от сознательной воли людей. Напротив, точно так же, как в сложных путях планет видели непостижимую волю божью, пути истории приписывались Провидению; возникшая в Новое время претензия угадать и изменить их осуждалась как пагубное своеволие.

Но в восемнадцатом веке, вместе с промышленной революцией, началась реакция против слепого повиновения истории. Совпадение обоих явлений не случайно. Возмужавший человеческий разум, положивший начало современной науке и промышленности, в то же время требовал осмысления общественной жизни. Началом такого осмысления была "религия прогресса", которая подчёркивала творческую роль человеческого разума и требовала сознательного фор-

мирования общества усилиями людей. Энтузиастами этой прогрессивной философии были французские просветители восемнадцатого века.

Неверующие могут судить об истории лишь с точки зрения *современной* им логики и морали — логики, происходящей из человеческой практики, и морали, уже освободившейся от обязательных фикций религии. С этих позиций её и восприняли философы Просвещения. Они увидели, что человечество едва начинает выходить из тысячелетней тьмы, и осмелились считать себя первыми свободными людьми. В этом они были правы, даже если преувеличили достижения разума, какими справедливо гордился их век.

Для нас, точно так же, история человечества — это история случайного поведения людей, движимых страхом и корыстью, оправдывавших свои преступления суевериями и основывавших свои притязания на давности этих преступлений. Но в то же время — это история упорной борьбы человека за выживание, история удивительных изобретений и открытий, великолепных творений искусства! Поразительно, как мало историки занимались этой светлой стороной культуры, уделяя внимание всем подробностям войн и разрушений.

Трудно сказать, какова была бы судьба цивилизации, если бы не произошла — на пороге Нового Времени — мутация общественного сознания. Все высокие культуры прошлого, кроме европейской, перестали развиваться и увяли. Я не настаиваю, что *любая* застойная культура ведёт к катастрофе. Это трудно доказать, поскольку ни египетской культуре, ни китайской не дали умереть естественной смертью: для чистого эксперимента нужна была бы строго изолированная культура, наподобие тех, какие разводят в пробирках. Но европейская культура, по счастливой случайности, не погибла, отбилась от гуннов, сарацин и норманнов, и в ней развилась — впервые в истории — идея прогресса, сознательного развития общества по воле человека. В наше время эта воля ослабела, и наша культура несомненно впадает в застой. Мы должны спросить себя, чего мы хотим, и что нам говорит наше знание.

2. Инстинктивные и культурные установки человека

Напомним биологические предпосылки этой книги. Наша главная тема — социальный инстинкт человека. Человек, по древнему изречению, — общественное животное. Это значит, что человек генетически запрограммирован для жизни в обществе своих собра-

тьев по виду, в непрерывном взаимодействии с людьми, и не способен жить без отношений с людьми, предусмотренных этой программой. Общественная жизнь высших животных представляет собой динамическое равновесие *социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии.* Первоначальным обществом человека была группа из нескольких десятков особей, как и у наших предков-приматов. Размеры этой группы и отношения между её членами определялись *социальным инстинктом*, возникшим путём группового отбора. Социальный инстинкт вначале не распространялся на другие группы: отношения между группами определялись *инстинктом внутривидовой агрессии.* У всех высших животных этот инстинкт корректируется другим инстинктом, запрещающим убивать собратьев по виду: столкновения оканчиваются изгнанием слабейшего. Но у человека этот корректирующий инстинкт выпал — вероятно, в процессе быстрого мутирования. Вследствие этого столкновения между группами приняли кровавый характер и завершались истреблением побеждённых групп. Это необычное в эволюции явление, несомненно, поставило наш вид на грань вымирания, подобно тому, как вымерли все другие гоминиды; но при этом истребление целых групп ускорило групповой отбор, наподобие выбраковки при искусственном отборе, что могло быть причиной необычайно быстрой эволюции человека.

Дальнейшая мутация, по-видимому, сделала возможной *глобализацию* социального инстинкта, распространив его первоначальное действие на бо́льшие коллективы. Вероятно, такая мутация сняла генетическое ограничение социального инстинкта первоначальными группами. После этого узнавание "своих" и, тем самым, запрет их убийства стали предметом *культурной* наследственности. Вследствие этого стало возможным образование *племён*, а затем наций, стимулируемое преимуществом численного превосходства. Но при этом социальный инстинкт, первоначально сконструированный эволюцией для небольшой группы, в более широком сообществе действовал слабее, и способность человека к общению с незнакомыми людьми была чрезмерно напряжена. Эта способность сосредоточилась на членах *рода.*

С накоплением имущества в родовом обществе возникла *частная собственность* на землю и орудия производства. Собственность сыграла важную роль в освобождении индивида от племенного строя. Заставляя человека самостоятельно принимать решения, она содействовала также реализации его творческих способностей, которые связаны, как можно предполагать, с *ориентировочным ин-*

стинктом. Но укрепление собственности и возникновение рабства — собственности на человека — породило классовое общество и сословные привилегии, воспринимавшиеся как *социальная несправедливость*, откуда возникла классовая борьба. Классовая борьба, в основе которой лежит социальный инстинкт и связанный с ним *инстинкт устранения асоциальных паразитов*, стала неизменным содержанием истории, усиливаясь в периоды нужды и военных бедствий. Господствующие классы всегда пытались направить классовую ненависть на “внешнего врага”, отвлекая внимание от своих привилегий. История была последовательностью внешних и внутренних конфликтов — войн и восстаний.

Каждое расширение или сужение социального инстинкта — образование племён и государств, возникновение родового общества — сопровождалось революционным изменением способов производства, изменявшим весь образ жизни общества. Но ни одно общественное устройство не удовлетворяло социальный инстинкт человека, и это недовольство вызывало все общественные движения, известные нам из истории. Действие инстинктов никогда не прекращается, но социальный инстинкт и агрессивность могут быть незаметны, пока они находятся в относительном равновесии. Они проявляются с полной силой во время социальных катастроф.

В сословном обществе подавляющее большинство населения неизменно жило в бедности, часто переходившей в нищету. Но в двадцатом веке развитие науки и техники привело к устранению нищеты в развитых странах, к возникновению глобальной экономики, сближающей народы и, как можно предполагать, исключающей возникновение войн. В наше время, под действием социального инстинкта, распространившегося на всё человечество, а также *инстинкта самосохранения*, обострённого опытом двух мировых войн и угрозой атомной войны, складывается единая мировая культура. Ценности этой культуры, получившие признание в Хартии Объединённых Наций, выработались в европейской культуре и включили в себя также идеи других высоких культур. Главная из них — признание за всеми людьми неотъемлемых *прав человека*, то есть прав, прежде бывших привилегией отдельных классовых групп и племён.

В наше время запрет убивать человека и отвращение к бесчеловечному обращению с женщинами и детьми приобрели на нашей планете общее значение, какого они никогда не имели в истории. Попытки религиозного фанатизма и племенной исключительности повернуть вспять это достижение нашего вида не имеют никаких шансов на успех.

Такой исторический поворот можно было бы только приветствовать, но, к несчастью, всё развитие человеческого общества приняло односторонний характер и теряет свои цели. Отпали многие культурные мотивы, и единственным регулятором человеческого поведения стали деньги. Внимание человека сосредоточилось на том, что можно купить за деньги — на личном потреблении, и это глубоко фрустрирует его биологическую природу.

Денежная установка крайне ограничила интересы и деятельность человека. Его широкие способности больше не нужны. Социальный инстинкт и агрессивность не находят себе выхода, ориентировочный инстинкт работает лишь на уровне узнавания улиц и чтения вывесок, половой инстинкт, отделённый от естественных способов своего проявления, низводит человека на уровень скота. Наша культура, по видимости преуспевающая, перестаёт быть высокой культурой.

Человеческое общество — живая система, во многом подобная другим видам животных. Разумеется, с точки зрения *биологии* единственным критерием преуспеяния вида является его численность, определяемая коэффициентом размножения. Но человек — не просто живое существо, а *культурное существо.* Поэтому человеческое общество — также *культурная система*, с единственной во вселенной культурной традицией и духовной жизнью.

Цели культуры тесно связаны с инстинктами и выражают, в специфической для человека форме, его инстинктивные установки. Но *культурная жизнь человека не сводится к его инстинктам*: она имеет собственные закономерности и составляет, в смысле Лоренца, более высокий уровень организации. Попытки объяснить явления культуры, исходя из одних биологических данных, представляют собой столь же невозможный "редукционизм", как попытки объяснить явления жизни, исходя из одних законов физики. Точно так же, как живые организмы подчиняются законам физики, явления культуры подчиняются законам биологии, но не могут быть поняты без учёта их специфической организации. Иначе говоря, будущая социология никогда не станет простой отраслью биологии. Некоторые черты этой будущей науки, однако, подсказываются аналогией между видом животных и культурой.

Культурная жизнь человека создаёт собственные формы "аппетентного поведения"[1], аналогичные инстинктивному поведению жи-

[1]Аппетенцией (ср. гл. 1) называется стремление к выполнению инстинктивно запрограммированных действий, наблюдаемое у животных — часто в виде спонтанно возникающих движений — даже при отсутствии объектов, возбуж-

вотных. Явления воинственности, ищущей себе врага, поиски “козла отпущения” при неудаче, потребность в повиновении авторитету — все эти и многие другие черты человеческих племён сохранились до наших дней и часто омрачают нашу жизнь. В прошлом такие формы поведения, спонтанно возникавшие в некотором сообществе, нередко задавали цели коллективного поведения. В других случаях цели культуры могли быть более рациональны. Самосохранение племени, предотвращение реальных опасностей было первой из них, и в основе этой цели очевидным образом лежал инстинкт. Точно так же, племена первых земледельцев ставили себе целью освоение речных долин — Тигра и Евфрата, Нила, Инда или Хуанхэ — и решали для этого сложные организационные и технические задачи. В таких случаях, опять-таки, очевидна инстинктивная мотивировка этих действий. Труднее понять такие цели высокой культуры, как влечение к красоте, так дорого стоившее гражданам Афин и Флоренции.

На ранних этапах высокая культура может быть невыгодна для её носителей. Развитие культуры требует значительной доли общественного труда, и эта доля непрерывно возрастает. Племена низкой культуры, специализированные на некотором военном преимуществе, — например, кочевники — могут временно одерживать верх над более культурными обществами. Но творческое превосходство высокой культуры, в конечном счёте, доставляет ей средства противостоять всем вторжениям варваров. Более того, единая мировая культура сделает невозможным сохранение резерватов этого варварства, от которых мы не можем больше ожидать никаких благ. Высокая культура несёт в самой себе средства своего спасения. Её широкое развитие сообщает ей гибкость, доставляющую ей преимущество над любой узко специализированной культурой.

Качественное развитие этой культуры, в частности, её эстетическое развитие, составляет её важнейшую цель. Необходимым элементом культуры является её искусство. Искусство рождается как функция религиозного культа, но на некоторой стадии своего развития освобождается от этой зависимости и удовлетворяет психические потребности человека, прежде связанные с религией. Культура, потерявшая своё искусство, уже не может быть высокой культурой. Несомненная инстинктивная потребность человека — почти не изученная, но с самого начала свойственная нашему виду — это “эстетическая” потребность, то есть потребность в красоте.

дающих инстинкт.

Другая культурная цель человека выражает его “космологическую” потребность, потребность в *связной картине мира*; это специфическое свойство человека, возникшее из его понятийного мышления. Человеческий мозг, уже в доисторические времена вышедший за пределы своей первоначальной функции сохранения вида, стал “жить собственной жизнью”: психика человека, вначале побуждаемая ориентировочным инстинктом, приобрела собственные аппетенции, не вытекающие из материальных потребностей человека. Одна из них — *это потребность в познании*, часто не связанная ни с какими нуждами тела. Речь идёт здесь не только о научном познании, отвечающем на точно поставленные вопросы. Так называемые “вечные вопросы” философии — о начале мира, о природе человека, о смысле жизни — выражают эти стремления человеческого сознания к созданию определённой космологии, которые долго удовлетворяла религия, и которым трудно придать логически определённую форму. Эти стремления можно выразить одним утверждением: человек нуждается в цельной и связной *картине мира*. В наше время эта потребность гораздо лучше удовлетворяется на уровне всего мироздания, чем на материале более близкой человеку действительности: у нас есть изощрённая теория происхождения вселенной, и мы много знаем о строении атома, но совсем плохо знаем, как устроено человеческое общество и как оно относится к нашему личному существованию. Этот вопрос для нас, людей, важнее всех других проблем философии и науки.

3. Картина мира

Нужную человеку связную картину мира в былые времена давала религия, и образ мира, складывавшийся у человека, определял его самопонимание. Так обстояло дело в Средние века, когда христианская картина мира была столь убедительна и самоочевидна для европейцев, что среди них не было неверующих — в течение полутора тысяч лет. Лишь в семнадцатом веке эта картина мира перестала внушать доверие, потому что — впервые в истории — религиозная концепция мироздания столкнулась с другой, научной.

Резкость этого столкновения трудно преувеличить; но не следует упускать из виду, что религия тоже по-своему объясняла мир, используя модель, доступную примитивному человеку — самого человека. Его свойства и побуждения приписывались сверхъестественным существам, сначала антропоморфным, а потом более абстрактным. Этот маскарад “спиритуализма” был окончательно разоблачён

лишь Фейербахом в девятнадцатом веке, когда религиозное объяснение мира стало не просто ненужным, а смешным. В древности и в средневековье религия была, по известному выражению двадцатого века, "примитивной наукой"; такое обозначение могло появиться лишь тогда, когда когнитивная функция религии стала предметом беспристрастного анализа.

В восемнадцатом веке новая картина мира окончательно вытеснила старую — во всяком случае, в уме образованных людей Европы. Вероятно, тогда же возникло и немецкое слово Weltanschauung, калькой которого является "мировоззрение"[1]. Мировоззрение — то же самое, что "картина мира", о которой мы говорим; надобность в таком термине возникла лишь тогда, когда можно было представить себе *разные* картины мира. Но слово "мировоззрение" звучит наукообразно, и можно заподозрить, что мировоззрение бывает только у образованного меньшинства. В действительности у каждого человека есть некоторая картина мира, заимствованная из его культуры, картина, которая его удовлетворяет. Но не все люди заботятся о логической стройности этой картины.

Ньютонианство. Научное мировоззрение появилось в семнадцатом веке, под влиянием работ Ньютона. До Ньютона были уже астрономические наблюдения и открытия Коперника и Кеплера, а затем работы Галилея и его учеников, впервые сознательно применивших экспериментальный метод, то есть не ограничившихся наблюдениями, а задававших природе вопросы в специально созданных условиях. Эти работы относились к физике и астрономии, и достижения Ньютона, опиравшегося на своих предшественников, намного их превзошли. Ньютон описывал движения тел под действием заданных сил и предсказывал эти движения по начальным данным, то есть по их положению и скорости в начальный момент. Он создал метод такого предсказания — дифференциальное и интегральное исчисление, и открыл закон всемирного тяготения, позволивший ему применить свой математический метод к телам Солнечной системы. Как уже было сказано в главе 8, найденное Ньютоном объяснение движения планет разрешило вопрос, остававшийся с древности главной загадкой астрономии. По причинам, не имевшим отношения к механике Ньютона, это решение считалось по-

[1] Это слово означает "совокупность взглядов, относящихся к миру и к положению человека в мире" (Duden, *Das große Wörterbuch der deutschen Sprache*). Любопытно, что французский и английский языки не имеют для этого термина адекватного перевода.

чти превосходящим человеческие силы: вековое суеверие связывало человеческую жизнь с движением небесных светил, и эта воображаемая связь "микрокосма" с "макрокосмом" придавала открытиям Ньютона особую значительность. Людям того времени казалось, что Ньютон не только решил эту старую проблему, но и открыл главный закон мироздания, Закон природы с большой буквы.

В это уверовали и сами учёные, создатели новой науки. Конечно, они не принимали всерьёз нелепости астрологов, но метод Ньютона казался им универсальным. Они полагали, что все тела состоят из малых частиц, подобных "материальным точкам" ньютоновой механики и притягивающихся по закону тяготения. Попарное притяжение этих частиц друг к другу, как они думали, определяет силы взаимодействия любых тел, и предполагалось, что других сил в природе нет. Следовательно, — полагали учёные, — рассчитав движения всех точек по методу Ньютона, можно предсказать все будущие движения любых тел. Они знали, что этот расчёт может оказаться трудной математической задачей, но верили, что с ней можно справиться, как Ньютон справился с задачей движения планет. Более того, энтузиасты новой науки ожидали, что вскоре явится новый Ньютон, который разрешит и все проблемы человека и общества. Эта эйфория веры в науку, продолжавшаяся два столетия, свидетельствует о том, насколько нужна была людям связная картина мира: им казалось, что ньютонианство, как называли новую науку, доставило им достоверную картину мира, вместо религиозного мировоззрения, в которое уже нельзя было верить.

Наука и религия. Ньютонианское мировоззрение составило целую эпоху в развитии человечества. На нем была построена идеология прогресса, часто именуемая "религией прогресса". Это название, соединяющее два несовместимых явления, выражает всё же некоторую аналогию между ними. С одной стороны, ньютонианцы уверовали в своё учение с энтузиазмом неофитов, очевидным образом перенося в него наследие религиозного абсолютизма: убеждённость в универсальности своих принципов, в достаточности предлагаемых объяснений, и даже в моральном превосходстве своего учения над всяким другим. Но, с другой стороны, ньютонианцам недоступны были важные психологические преимущества старой доктрины: утешение молитвой, надежда на заступничество святых и вера в чудеса, прежде всего в величайшее из чудес — бессмертие души.

Могло бы показаться, что новое мировоззрение не имеет шансов заменить прежнее: оно освобождало человека от бремени греха и от

страха адских мучений и обещало ему — в необозримом будущем — счастливую жизнь на Земле, но не сулило ему бессмертия и вечного блаженства. По сравнению с христианской мифологией доктрина ньютонианцев казалась убогой: отказ от загробной жизни уже сам по себе должен был сделать её ненавистной всем людям, не взысканным судьбой. Но научное мировоззрение, в его ньютоновской форме, одержало победу над христианством: в самом деле, мы живём среди людей, не принимающих религию всерьёз. Тем самым, произошло радикальное изменение в общепринятой картине мира, подлинная мутация человеческой культуры, но историки и философы вряд ли уделили этому факту достаточное внимание.

Заметим прежде всего, что иудео-христианская религия, вместе с развившимся из неё исламом, не была единственной религией и, конечно, не была самой древней. Ей предшествовали, или наряду с ней существовали другие, во многом непохожие на неё религии, так же сильно привлекавшие миллионы верующих и отчасти сохранившиеся до наших дней. Даже еврейская религия в её первоначальной форме не знала загробного воздаяния и вряд ли вообще имела разработанное представление о потустороннем мире. Еврейский бог обещал своим праведникам награды в земной жизни — долголетие, многочисленное потомство и богатство в понятном для них смысле, то есть большие стада. Точно так же, мало занимались загробной жизнью древние греки. У них было представление о Гадесе, куда направляются души умерших, но, как видно из "Одиссеи", их изображали в виде жалких теней; во всяком случае, греки не боялись ада и заботились лишь о земной жизни. Египтяне, напротив, думали о загробной жизни едва ли не больше, чем о своём земном существовании: по-видимому, от них это суеверие и перешло к христианам. Китайцы имели когда-то развитую иерархию небожителей, но сохранили только мало обременительный культ предков, и вся их религия свелась к этическому учению Конфуция, решительно отказавшегося определить их обязанности перед небом.

Религии были у всех народов; они доставляли людям необходимую им картину мира, но картины эти могли быть весьма разнообразны, как и другие черты культуры, и некоторые народы уже в древности потеряли интерес к загробной жизни. Разнообразие религий доказывает пластичность человеческой психики, потребности которой могут удовлетворяться разными способами — в частности, разными космологиями. Загадка смерти всегда тревожила людей, но по мере развития человеческого мышления она перестала быть жгучим вопросом жизни, потому что никто не возвращался с того

света, а вера в чудеса постепенно угасала. Стала возможной картина мира без сверхъестественных сил, и притом единая для всех людей — вначале доступная лишь образованным европейцам, но потом оказавшая решающее воздействие на все народы Земли. "Религия прогресса" не обещала чудес, но обращалась к человеческому разуму и демонстрировала реальные возможности этого разума — открытия и изобретения, недаром прозванные "чудесами науки и техники". Поскольку новая идеология была очень непохожа на старую, ей не придавали столь серьёзного значения, как "настоящей" религии; а между тем она заменила религию в её важнейшей функции: люди обрели картину мира, которой *можно было верить*. "Человек бессмертный" стал "человеком смертным".

Тем самым жрецы — хранители племенного мировоззрения — потеряли свою "объяснительную" функцию. Но у них была и другая функция: они были духовными вождями своего племени. Духовное руководство состояло в хранении и передаче традиционных ценностей культуры, в защите их от искажения и от смешения с ценностями других культур, что было особенно важно в периоды конфликтов. Учёные, доставившие материал для "религии прогресса", не берут на себя духовного руководства человеческим обществом, да и не способны к такой роли. Непригодны к ней и популяризаторы науки, не имеющие, как правило, серьёзных знаний и литературных способностей; эта профессия не пользуется уважением. Роль посредников берут на себя журналисты, а в последнее время деятели телевидения. Такое положение привело к возникновению варварских псевдонаучных верований, аналогичных религиозным сектам. Отсюда можно понять роль всевозможных шарлатанов, в наше время непременно ссылающихся на "науку", на таинственные "биополя", и описывающих при этом уже не "чудеса науки", а чудеса в старом смысле, нарушающие законы природы. В отличие от религии, наука не имеет ни теологии для выработки обязательной доктрины, ни приходских священников для попечения о душах верующих. И всё же религии не вернутся: предлагаемый ими способ ви́дения мира не согласен с созревшим человеческим разумом, и человечество ищет новый синтез — новую картину мира. Её может дать нам только наука, возможности которой лишь начали раскрываться, во всем разнообразии её творений.

Но прошлые суеверия всё ещё напоминают о себе. Время от времени против науки выдвигаются обвинения, находящие отклик в общественном мнении. Учёные не ограждены от них никакой инквизицией и пытаются отвечать на все возражения, к чему они не

всегда готовы. Первая волна антинаучных нападок поднялась в конце девятнадцатого века, в эпоху так называемого fin de siècle[1], и то же повторяется в наши дни. Сто лет назад говорили, что “наука не исполнила своих обещаний”, — как будто учёные взяли на себя какие-то обязательства перед обществом, кроме обязанности добросовестно изучать природу. Оказалось, что наука не всесильна и не способна творить “настоящие” чудеса: учёные не только не могли избавить людей от страха смерти, но даже не могли справиться с болезнями, и тем более с эпидемическими болезнями общественного мнения. По общему закону социальной психологии, преувеличенные надежды, возложенные на науку “религией прогресса”, привели к чрезмерному разочарованию. Консервативные круги стали обличать “несостоятельность” науки, её “ложные притязания”, прямо рекомендуя вернуться к спасительным истинам откровенной религии. Это происходило как раз в период наибольших триумфов точного естествознания, когда гуманитарные учёные, историки, психологи и даже философы усердно подражали методам количественного описания явлений, утвердившимся в физике и астрономии, стараясь придать своим “словесным” предметам наукообразный вид.

Научное мировоззрение особенно сильно повлияло на экономистов: возникла иллюзия, что из имеющихся данных можно уже объяснить всю материальную жизнь общества и, более того, вывести отсюда объяснение всей истории. Напомним, что именно этого ожидали от учёных восторженные ньютонианцы восемнадцатого века. Анализ доктрины Маркса, проведённый в главе 11, показывает, каким образом этот талантливый исследователь был введён в заблуждение аналогией своей “теории прибавочной стоимости” с энергетическим подходом, столь плодотворным в физике и во всех естественных науках. Историческое значение этой научной ошибки вряд ли нуждается в комментариях, но оно ярко иллюстрирует общественное влияние науки в наше время. Нас не удивляет, что в былые времена богословские споры об отношениях лиц святой троицы, или о присутствии плоти и крови христовой в просфорах вызывали яростные эмоции, расколы и войны между народами. Но вряд ли достаточно оценена роль теории Маркса, доставившей идейную мотивировку коммунистических революций и гражданских войн, или роль ошибочных выводов из теории Дарвина, вдохновивших фашистскую реакцию против марксизма. Теории учёных стали в наше

[1]Конец века (фр.). Это было обычным обозначением конца девятнадцатого века в декадентской литературе и философии.

время столь же важным историческим фактором, как доктрины богословов в былые времена.

Так называемый исторический материализм был отнюдь не единственным продуктом наукообразных построений, стремившихся объяснить историю. Попытки этого рода получили название "историцизма". Но предсказания будущего плохо удавались историкам, претендовавшим на научную объективность — не лучше, чем историкам прошлого. Наука причастна к нынешнему положению человечества. Она содействовала, особенно в последние десятилетия, бессмысленному расширению потребления и созданию новых видов оружия. Но только от науки мы можем ожидать анализа общественных явлений, угрожающих разрушить нашу культуру. Это приводит к принципиальному вопросу — *возможно ли научное исследование человеческого общества*?

Границы ньютонианства. Ответ на этот вопрос зависит от того, что называется научным исследованием. В течение двухсот лет господствовало представление о науке, возникшее из механики Ньютона. Метод Ньютона сводился к определению движения тел по их начальному состоянию, для чего надо было решить математическую задачу, получившую название "задачи Коши" [1]. В сущности, последователи Ньютона считали задачу Коши единственным подходом к предсказанию явлений природы. Дифференциальные уравнения, входившие в эту задачу, уже для взаимодействия трёх тел приводили к неразрешимым вопросам, но это не смущало учёных, полагавших, что *математические* трудности в принципе могут быть преодолены — если уравнения составлены правильно, в чем у них не было сомнений.

Сомнения возникли при попытках применить этот подход к *сложным системам*, таким, как живой организм или человеческое общество. Нильс Бор рассмотрел эту трудность с позиций квантовой механики. В этой новой механике тоже были дифференциальные уравнения, применимость которых ко всем явлениям природы не вызывала сомнений. Бор попытался оценить, что́ эти уравнения могут сказать о поведении животного. Он отвлёкся от разрешимости уравнений (которые уже представляли бы непреодолимую трудность) и занялся начальными условиями движения. Чтобы предсказать движение животного хотя бы на несколько минут, надо было бы задать начальные состояния всех его атомов. Эти данные мож-

[1] Огюстен Коши (1789–1857) — французский математик.

но получить лишь посредством облучения атомов частицами, например, электронами. Бор оценил, какую энергию должны иметь такие электроны, чтобы получить достаточно точную информацию об атомах. Оказалось, что энергия этих электронов *убьёт* животное. Задача Коши в таком случае теряет смысл, поскольку никакого движения животного не будет.

Несколькими годами позже Карл Поппер, в книге "Нищета историцизма", рассмотрел вопрос, можно ли предсказывать исторические события в том же смысле, как Ньютон предсказывал движения планет. Поппер отвлёкся при этом от трудности получения начальных данных, но обратил внимание на невозможность точного описания условий задачи, то есть составления чего-то вроде дифференциальных уравнений. Для этого надо было бы знать условия исторического процесса на какое-то время вперёд. Но в них входит такой непредсказуемый фактор, как новшества, зависящие от творчества *одного* человека и, в частности, научные открытия и изобретения, которые могут оказать решающее влияние на историю. Книга Поппера вышла незадолго до появления на политическом горизонте атомного оружия!

Высокая репутация "точного естествознания" привела к недооценке специфических методов познания, приспособленных к уровню организации природных явлений, то есть к неоправданному перенесению "задачи Коши" на все области знания. Конец эпохи ньютонианства вовсе не означает отказа от применения методов Ньютона там, где они уместны. Он означает расширение методов научного исследования, опирающихся также на опыт биологии, и распространение их на человеческое общество, с учётом более высокого уровня организации, составляющей культурное развитие. Вот что пишет об этом Лоренц[1]:

"Естествоиспытатель, конечно, вправе избрать себе предмет исследования, принадлежащий любому слою реального бытия, любому, сколь угодно высокому уровню интеграции жизненных явлений. Наука о человеческом духе, и прежде всего теория познания, также начинает превращаться в биологическую естественную науку. Так называемая точность естествознания не имеет ничего общего со сложностью и с уровнем интеграции её предмета, а зависит исключительно от самокритичности исследователя и чистоты применяемых им методов. Употребительное обозначение физики и химии как «точных естественных наук» есть клевета на все другие науки.

[1]"Восемь смертных грехов цивилизованного человечества", гл. 8.

Известные изречения вроде того, что любое исследование природы является наукой в той мере, в какой в ней используется математика[1], или что наука состоит в том, чтобы «измерять то, что измеримо, и делать измеримым то, что не измеримо», представляют собой и в смысле теории познания, и с человеческой точки зрения величайшую нелепость, когда-либо срывавшуюся с языка у людей, которым следовало бы лучше понимать, что они говорят".

Кибернетика современного общества. Конечно, научное исследование человеческого общества находится ещё в зачаточной стадии, но уже сейчас можно привести некоторые вопросы, неизбежно возникающие на первых шагах такого исследования. Естественно начать с простейшего аспекта общественной жизни, рассматривая социальный механизм как машину, подчиняющуюся общим закономерностям сложных систем. Такой подход можно назвать кибернетическим. Кибернетика, возникшая в середине двадцатого века, открыла новые пути изучения сложных систем любой природы. Кибернетика использует методы *современной* математики, не ограничиваясь традиционной схемой Ньютона. Применение методов кибернетики к биологии привело уже к пониманию важных механизмов жизни, и в особенности — системы обратных связей, лежащих в основе интеграции функций организма. Несомненно, на этом пути можно понять лишь простейшие общественные явления, и я вовсе не пытаюсь свести задачу исследования общества к кибернетике. Но в системах высшего уровня должны соблюдаться все законы естествознания, присущие более низким уровням организации. Никто не сомневается, что человеческое общество подчиняется, например, закону сохранения энергии, и экономисты подсчитывают, хватит ли ему энергетических ресурсов. Точно так же можно рассмотреть общество как сложную машину и поставить вопрос, способна ли она, в её нынешнем виде, выполнять свои функции. Подчеркнём: это вовсе не значит, что общество представляет собой машину; машина — всего лишь *модель* общества, полезная для определённой цели.

Таким образом, мы вовсе не впадаем в заблуждение редукционизма, видевшего в человеке и человеческом обществе *всего лишь* машину. Но мы отдаём себе отчёт в том, что у нас нет ещё специфических методов исследования, приспособленных к его особой

---

[1] Имеется в виду высказывание Канта: "...Любое исследование природы является наукой в той мере, в какой в ней используется математика". Примечательно, что Лоренц выражает здесь неодобрение мнению высоко ценимого им философа.

организации. В этих условиях использование моделей — первый шаг к пониманию системы. Мы уже не раз прибегали к биологической модели, уподобляющей общество виду животных. Применим теперь более простую кибернетическую модель. Что же можно сказать, с кибернетической точки зрения, о *машине* современного общества? Здесь напрашиваются самые очевидные вопросы.

Машина должна иметь некоторое *назначение*, чтобы можно было понять, хорошо ли она работает. Поскольку — наглядно выражаясь — все мы сидим в этой машине, нам бы следовало знать, куда она едет.

Против этого вопроса сразу можно возразить, что он относится не к современному обществу, а к любому обществу вообще, и что человеческие общества не должны иметь никаких целей. Очень распространено представление, что "жизнь есть самоцель", то есть что живая система не имеет никаких других целей, кроме собственного существования. Вероятно, это справедливо для жизни животных, и человеческие сообщества тоже имели, прежде всех других целей, трудную цель выживания. Но внешние опасности, требовавшие определённой деятельности, заставляли их *изменяться.* Необходимые для выживания изменения уже составляют *сознательные* цели. Племена и государства редко находились в столь безопасных условиях, чтобы вовсе не меняться, или считать, что изменения им не нужны. В таком особом случае, как древний Египет, защищённый от внешних врагов природными условиями и выработавший устойчивую систему земледелия, общество в самом деле могло долго оставаться неизменным и видеть в такой неизменности свою единственную цель. Представление о совершенном обществе, которому ничто уже не грозит, возникло давно, и такие общества называются утопиями. Современное общество, во всяком случае — не утопия. Оно, правда, не имеет внешних врагов (которыми могли бы быть только другие разумные существа); но проблемы внешней среды угрожают этому обществу гибелью, и его до сих пор раздирают такие внутренние противоречия, что оно *не может* не изменяться. Впрочем, мы далеки от идеала египетской неподвижности, как ни одно общество в истории. Напротив, бесконтрольное, стихийное развитие техники, стимулируемое научными разработками, уподобляет машину современного общества бешено мчащемуся автомобилю — без водителя и без цели. Можно сказать, что современная культура почти не задумывается о собственном сохранении. Сохранение этой культуры — наша *ближайшая* цель. Она тесно связана с более отдалёнными целями, с общим направлением движения нашей культуры.

Мы рассмотрим теперь, никоим образом не претендуя на оригинальность, простейшие кибернетические представления об эволюции культур, а затем соображения о самой очевидной и, угрожающей нашей культуре.

Квазистатическая модель эволюции культуры. В этой книге, согласно идее Лоренца, моделью развивающейся культуры служит эволюция вида животных. Между тем, для Дарвина важным образцом послужила эволюция горных пород, исследованная Лайелем. Эти три вида эволюции относятся к разным уровням организации вещества: в случае геологии эволюционирует некоторая масса неорганических соединений, в биологическом — коллектив животных одного вида, в социальном — коллектив людей одной культуры. Но можно заметить во всех трёх случаях сходные черты, свойственные, по-видимому, всем эволюционным процессам. При таком подходе система не делится на “индивидов”, а рассматривается как “сплошная масса”. Это столь же правомерно, как аналогичный подход в классической механике сплошных сред, рассматривающей такую среду отвлекаясь от составляющих её молекул, или в космологии, рассматривающей вещество вселенной как “звёздную жидкость”.

Во всех случаях система находится под действием сил — внешних и внутренних. Одна из внешних сил (по отношению к рассматриваемой системе) подавляюще велика и играет основную роль: в геологии это сила тяжести, в биологии и социологии — общие условия среды, используемой живой системой. В системе действуют внутренние силы, зависящие от её строения и от внешних условий. В геологической эволюции — это силы давления и химические взаимодействия, определяющие смещения и превращения веществ. В эволюции вида роль внутренних сил играют *инстинкты*, научное изучение которых началось лишь в двадцатом веке. Как уже было сказано в главе 3, для высших животных особенно важно напряжение между социальным инстинктом и инстинктом внутривидовой агрессии, но у всех животных действуют классические “большие” инстинкты: инстинкт самосохранения, инстинкт питания и половой инстинкт. Несомненно, этим не исчерпываются существующие инстинкты; например, существует мало изученный ориентировочный инстинкт, важный в поведении высших животных, и особенно человека. Вся жизнь животного проходит во взаимодействии стимулов, которое Лоренц назвал “великим парламентом инстинктов”: поведение индивида определяется результирующей всех инстинктив-

ных побуждений в данный момент. Если вид рассматривается как “сплошная масса”, подобная горной породе, то действие инстинктов, усреднённое по всем индивидам, аналогично напряжению внутренних сил, зависящему от места и времени. Наконец, в случае эволюции культуры к силам инстинктов, проявляющимся в обусловленной этой культурой форме, прибавляются культурные побуждения.

Эти культурные побуждения, аналогичные инстинктивным аппетенциям, наряду с внешними условиями существования общества всегда были предметом внимания историков и философов. Напротив, инстинктивные побуждения людей, общие с другими высшими животными, мало принимались во внимание, разве что в общей форме, под именем “страстей”. Психоаналитики, прежде всего Фрейд и Фромм, часто ссылались на инстинкты, но мало о них знали. В конце девятнадцатого века, когда формировалось мировоззрение Фрейда, изучение инстинктов едва начиналось; а Фромм даже в конце жизни не понимал значения инстинкта внутривидовой агрессии и начал некомпетентную полемику с Лоренцем. В нашей книге, напротив, инстинктивным мотивам человека уделяется главное внимание. В отличие от психоаналитиков, сосредоточивших свой интерес на половом инстинкте, и тем самым на проблемах индивида, мы занимаемся главным образом *социальным инстинктом*, определяющим, вместе с инстинктом внутривидовой агрессии, общественное поведение людей.

Заметим, что во всех процессах эволюции, разумеется, соблюдаются общие законы природы, формулируемые в физике. Но к интересующим нас явлениям невозможно применить количественные способы описания, принятые в математической физике. Речь идёт о сложных системах, не допускающих такого описания: для предсказания их движений невозможно получить необходимые начальные данные, невозможно учесть все действующие силы, наконец, невозможно решить математические задачи невообразимой сложности, которые могли бы получиться этим путём. И всё же, даже при нынешнем неразвитом состоянии наших знаний об обществе некоторые качественные особенности социальных явлений можно объяснить.

Процессы эволюции, о которых идёт речь, протекают очень медленно. Земля кажется неподвижной, потому что изменение геологических формаций занимает много миллионов лет, и лишь внезапные катастрофы, вроде горных обвалов и вулканических извержений, наглядно свидетельствуют о динамике земной коры. Виды существуют миллионы лет — все известные нам дикие животные несравненно превосходят наш вид своей древностью — но даже *homo*

sapiens насчитывает около двухсот тысяч лет. Виды медленно меняются; это можно заметить в случае долгоживущих видов с достаточным числом ископаемых остатков. В неблагоприятных условиях виды нередко вымирают, причём такие биологические катастрофы могут быть внезапными: таким образом вымерли динозавры, скорее всего вследствие космического воздействия на поверхность Земли. Но общая картина изменения видов напоминает медленные процессы геологии: недаром геологические периоды связываются с определёнными формами жизни. Даже культуры, характерное время изменения которых составляет сотни или тысячи лет, кажутся неподвижными в своей сложившейся традиции: люди сохраняют из поколения в поколение одни и те же обычаи, говорят на том же языке, повинуются тем же властям. Революции и гражданские войны по отношению к продолжительности существования культур составляют столь же редкие явления, как геологические катастрофы или внезапное вымирание видов.

Медленные процессы эволюции, в обычном течении которых трудно заметить изменения, можно назвать “квазистатическими”. Конечно, полная неизменность в природе не встречается, но с достаточным приближением можно считать некоторые структуры постоянными. Это вовсе не значит, что в таких системах не действуют внутренние силы. Например, геологическая система находится под действием огромной силы тяготения; её неподвижность означает, по законам механики, что эта сила уравновешивается силой давления лежащих ниже слоев земной коры. Внутренние напряжения в породе очень велики, но незаметны, поскольку не вызывают движения.

Если не считать редких катастроф, эволюцию системы можно представить себе следующим образом. Поскольку равновесие сил, действующих на части системы, всё время нарушается по случайным причинам, система испытывает непрерывные медленные изменения, компенсирующие изменение действующих сил. Эти изменения, происходящие внутри системы, обычно не поддаются наблюдению, но со временем могут стать значительными. Когда они достигают определённой величины, происходит катастрофа — разрушение системы или её частей, резко меняющее конфигурацию системы и действующие в ней силы. Научное описание таких явлений стало возможно — в самых простых случаях — совсем недавно; примечательно, что необходимые для этого математические средства выходят за пределы математической физики Ньютона: это так называемая теория катастроф, где применяются методы дифференциальной топологии.

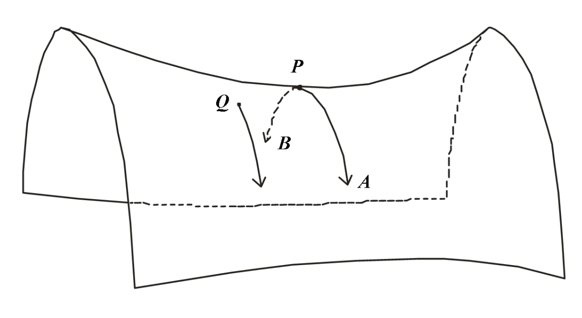


Рис. 8

В центре внимания этой дисциплины находятся особые состояния системы — так называемые *критические точки.* Пока система не достигает такого состояния, она изменяется непрерывно, по законам, напоминающим классическую механику. Но если система входит в критическую точку, её дальнейшее изменение зависит от не поддающихся учёту небольших случайных воздействий и становится непредсказуемым. Например, тяжёлое тело, находящееся на горном склоне, под действием силы тяжести скатывается по вполне определённому пути, который можно точно предсказать по начальному положению. Но если оно начинает движение с седловой точки перевала (см. рисунок 8), где оно находится в неустойчивом положении равновесия P, то оно может скатиться в двух разных направлениях (PA и PB). При любом другом начале движения путь тела мало меняется от небольшого изменения начального положения. Но при исходном положении сколь угодно малое воздействие приводит к тому, что тело движется в разные стороны и со временем приходит в разные места.

Такие критические точки были давно известны в механике под названием "точек бифуркации"[1]. Их систематическое изучение и классификация составляют предмет теории катастроф.

Критические ситуации в истории имеют сюда прямое отношение. История человеческого общества изобилует примерами этого рода, когда судьба целых наций и массовых движений зависела от незначительных случайностей. Пожалуй, самым ярким примером такой случайности был бесславный конец Российского Учредительного Собрания, заседавшего единственный раз 5 января 1918 года. Государственный переворот, названный Октябрьской Революцией, удался благодаря поддержке небольшого меньшинства матросов и

[1]От лат. bi, означающего "удвоение", и furca — "двурогие вилы".

питерских рабочих. Гарнизон Петербурга колебался. Броневой дивизион, потерявший доверие к большевикам, предложил охранять Учредительное Собрание. Но лидер эсеров Виктор Чернов, имевший уже в Собрании 60% голосов, с негодованием отверг это предложение: он полагал, что никто не посмеет посягнуть на избранников народа. Ленин послал другую охрану, и судьба русской демократии была решена. Очень вероятно, что если бы Собрание могло продолжить свою работу, то вокруг него собралось бы устойчивое большинство народа, вовсе не стремившееся к утопическим целям большевиков, и не было бы "советской власти". Случайное событие, происшедшее в критической ситуации, определило дальнейший ход истории.

С критическими точками тесно связан старый вопрос, развивается ли история по определённым законам, или зависит от случайных событий. Старые историки склонялись скорее к последней точке зрения, сосредоточивая внимание на исключительных личностях, войнах и революциях. Историки-детерминисты, подражавшие методам физики, рассматривали, напротив, происходившие в обществе закономерные процессы и периоды их беспрепятственного развития. В действительности этот старый спор решается теорией катастроф. Периоды мирного развития соответствуют предсказуемому поведению системы вдали от критических точек, но если система входит в критическую точку, происходит катастрофа. Внутренний кризис называется революцией, а внешний — военное нападение — означает обычно кризис в соседнем государстве. В свете нового подхода случайность истории перестаёт казаться столь загадочной.

Мы находимся в самом начале развития этих методов, но можно отметить существенную черту, отличающую их от старых подходов: они доставляют не количественное, а *качественное* описание явлений природы. Только таким образом можно, как правило, исследовать поведение сложных систем. Переход к качественному описанию составляет важнейшее отличие современной математики от классической. Философы — насколько они вообще следили за развитием науки — обратили внимание на возросшую роль теории вероятностей, в связи с вероятностным способом описания, утвердившимся в квантовой механике, но вряд ли даже заметили революцию в математике, произведённую топологией.

Конечно, от катастроф, изученных математиками, ещё очень далеко до сложных общественных явлений, послуживших стимулом к нашему исследованию[1]. Но уже сейчас можно понять, например, за-

[1]Впрочем, любопытно отметить, что одна из первых работ по приложениям

гадочный аспект классовой борьбы, встречавшийся нам в нескольких местах этой книги.

Социальный инстинкт и связанный с ним инстинкт устранения асоциальных паразитов, присущие всем особям нашего вида, неизбежно действуют во все исторические эпохи. Но в эпохи полного порабощения трудящихся, в деспотических государствах Древнего Востока, массы крестьян оставались в повиновении в течение тысячелетий, и только в редких случаях восставали против своих господ, как это было в Египте и в Китае. Мы не можем обнаружить причины этих катастроф, поскольку не находим в исторических данных никаких особенных изменений, объясняющих такие явления.

Другим примером социальной катастрофы, возникшей без видимой причины, была Французская Революция 1789 года. Эта революция вспыхнула в условиях, хорошо известных историкам, и вовсе не в период самых тяжёлых страданий угнетённого населения. Напротив, это было время либеральных реформ, предпринятых с целью улучшить положение бедных классов, время, когда, как надеялись, созыв Генеральных Штатов станет началом постепенного устранения феодальных привилегий. Токвиль в своей знаменитой книге "Старый режим и революция" (L'ancien régime et la Révolution, 1856) отметил этот парадоксальный факт, и даже обобщил своё замечание. Согласно Токвилю, революции вообще происходят не тогда, когда положение народа тяжелее всего, а, напротив, в периоды реформ, когда это положение пытаются улучшить. Если даже это эмпирическое наблюдение справедливо, Токвиль не делает никакой попытки его объяснить.

Октябрьская Революция могла бы послужить подтверждением тезиса Токвиля, поскольку в России также проводились реформы и начиналось, в некоторой форме, представительное правление; но, в отличие от Франции, обе русских революции были очевидным образом связаны с военными поражениями, так что тезис Токвиля не кажется в этих случаях вполне убедительным. Больше подходит к нему конец Советского Союза. Реформы Горбачева, начатые в мирных условиях, при отсутствии каких-либо признаков серьёзной оппозиции, привели к катастрофическому распаду государства.

Я предложил выше, в главе 4, более общую интерпретацию социальных катастроф. Я предположил, что они происходят в случаях, когда к привычным формам жизни прибавляются *необычные* новшества, не входившие в традицию. Теперь я имею возможность

теории катастроф имела своим предметом "бунты в тюрьмах".

дать более последовательное объяснение таких явлений, как мне кажется, бросающее некоторый свет на "парадокс Токвиля". В самых общих чертах, оно состоит в следующем.

Как уже было сказано, в культурной системе, находящейся в видимом равновесии, неизменно действуют силы инстинкта устранения асоциального паразитизма и инстинкта внутривидовой агрессии. Но в обычных условиях эти силы компенсируются противодействием других сил — религиозной традицией, обожествляющей власть фараона или царя, чувством кастовой неполноценности, делающей человека существом низшей породы в его собственных глазах, наконец, привычной покорностью, удерживающей человека в том положении, в каком с незапамятных времён оставались его предки. Неподвижность кастового общества была результатом равновесия этих сил, которые сами по себе никогда не исчезали. Однако органы чувств человека предназначены для приёма *информации*, то есть, по определению этого понятия, для восприятия *различий.* Пока нет изменений, органы человека не срабатывают, и человек спокоен. Точно так же человек не ощущает атмосферного давления, которое раздавило бы его, если бы не было равного давления внутри его тела. Но сравнительно небольшое изменение одной из действующих сил — в любую сторону — есть уже информация, побуждающая к действию. Стимулом социального беспокойства может быть, например, война, как это чаще всего бывало в двадцатом веке. Но война — сильное нарушение равновесия сил. Часто случается, что *небольшое* отягчение, и даже облегчение привычного бремени сдвигает психическое равновесие народной массы, высвобождая инстинктивное стремление сбросить с себя всё это бремя. Таким образом, старое сравнение революций с землетрясениями означает некоторое общее свойство сложных систем, теряющих равновесие при относительно небольших изменениях действующих сил. Консерваторы интуитивно понимают эту опасность и преувеличивают её, возражая против любых изменений общественного строя. Отчётливый анализ описанных выше явлений может облегчить изменения, необходимые для выживания культуры. Рассмотрим теперь пример только что описанного кибернетического подхода, где медленное изменение культуры очевидным образом ведёт к катастрофе.

Модель стимулируемого потребления. Фундаментальный факт, угрожающий гибелью нашей культуре, — это искусственно стимулируемое потребление и удовлетворяющее его производство, образующие *положительную обратную связь.* Такая экономиче-

ская система, господствующая в нынешнем мире, является результатом мучительных поисков равновесия, прошедших через кризисы и мировые войны. Её видимая устойчивость, как можно показать, вводит в заблуждение: это всего лишь отсрочка социальной катастрофы.

Капиталистическое общество — общество с рыночной экономикой и наёмным трудом — установилось в Англии в восемнадцатом веке, а затем распространилось на всю Европу, и вместе с европейской культурой — на весь мир. До середины двадцатого века развитие этой общественной системы было хаотично, то есть не делалось сознательных попыток на него влиять. Оказалось, что такое общество неустойчиво: каждые несколько десятилетий его потрясали экономические кризисы.

Вследствие связей, объединяющих мировую экономику, эти кризисы приняли всемирный характер. Наконец, великий кризис 1929–1932 годов поставил всю капиталистическую экономику на грань гибели. Правящие классы прибегли в то время к необычным средствам, вводя принудительное государственное регулирование: в Соединённых Штатах это были реформы Рузвельта, получившие название New Deel ("Новый курс"), а в Германии — гораздо более радикальные средства нацизма, зашедшие дальше, чем это было желательно немецким капиталистам, и вызвавшие Вторую мировую войну.

Ещё до этой войны Дж. М. Кейнс (1883–1946) развил идею государственного вмешательства в экономику, которая вскоре стала руководящей для правительств западного мира. После войны Я. Тинберген и Р. Фриш создали математическую теорию экономических циклов, которая объясняла это явление и доставляла средства предотвратить его вмешательством государства. Если бы понимание этого механизма было достигнуто раньше, то можно было бы предотвратить фашизм и Вторую мировую войну: в самом деле, после этой войны, несмотря на временные депрессии и колебания деловой активности, больше не было мировых кризисов, что несомненно объясняется государственным регулированием.

Устранение кризисов представляет важный пример роли, которую может играть наука в решении проблем современного общества. Однако это зависит не только от учёных, но и от правящих кругов, с трудом научившихся применять подсказанное учёными вмешательство.

Конечно, такое вмешательство, ставшее в наше время общим правилом, означает решительное нарушение принципов свободного

рынка, всё ещё играющих важную роль в идеологическом оправдании капитализма. Поскольку большинство социалистов настаивало на государственном руководстве экономикой, современный западный мир уже в значительной мере представляет собой "государственный социализм" в стиле Сен-Симона.

Впрочем, регулирование экономики, применяемое в настоящее время, крайне примитивно. Его можно формулировать как стремление сохранить равновесие производства и потребления простейших материальных благ, без учёта всех остальных потребностей человека. На языке теории катастроф, такое поддержание равновесия означает избежание критических точек общественной системы. Так как в странах Запада население почти не растёт, это наводит, казалось бы, на мысль о статической экономике. Но в действительности происходит медленное изменение, ведущее к ещё худшей глобальной катастрофе.

Под давлением конкуренции и технических новшеств происходит непрерывное совершенствование способов производства и, тем самым, рост производительности труда, что автоматически снижает потребность в рабочей силе. Как мы уже видели, для обеспечения всех материальных потребностей нынешнего населения развитых стран, то есть потребностей в еде, одежде, жилищах и средствах транспорта и связи, вполне достаточно труда 10–15 процентов этого населения. Отсюда возникают проблемы перепроизводства и занятости. Только недавно я слышал по американскому радио жалобы, что производство растёт, конъюнктура как будто благополучная, а рабочих мест по-прежнему не хватает. В сущности, занятость — это главная забота правительственных экономистов, и это можно понять. Безработица — самый страшный предвестник социальной катастрофы.

Современное западное общество, с его примитивным потребительским мышлением, нашло до сих пор лишь один выход из такого положения: оно принялось выдумывать новые потребности. Конечно, *подлинные* потребности человека гораздо шире его материальных нужд. Это *культурные* потребности, подавленные не только у большинства наёмных тружеников, но и у самих хозяев этого общества, и выходящие далеко за пределы экономической жизни. Всё это больше не имеет значения. Специалисты выдумывают новые товары и услуги — новые виды еды, одежды, жилищ, новые средства транспорта и связи. Чтобы заполнить досуг мало работающих и эстетически неразвитых людей, выдумывают разные виды псевдокультуры, обычно упрощающие и пародирующие старую культуру.

Таким образом возникли "жёлтая" печать, детективная литература, а затем, для совсем уже разучившихся читать, коммерческое радио и телевидение. Все эти новые виды продукции уже почти превзошли по своей трудоёмкости продукцию материальных благ. Эта масса ненужных, как правило вредных товаров и услуг порождает непрерывно растущее производство, что даёт возможность занять всё или почти всё население. Таким образом сложилось так называемое "общество массового потребления".

Мы отвлечёмся теперь от более глубоких характеристик такого общества и рассмотрим чисто кибернетический аспект его развития. Допустим для простоты, что численность населения неизменна. Тогда основным и неустранимым фактором развития экономики остаётся "технический прогресс". Несмотря на отсутствие новых идей, способных разрешить главные трудности техники, поток изобретений и технологических новшеств не иссякает: его источником является почти безграничный "задел" современной науки. Предположим — опять-таки для простоты — что рост производительности труда постоянен, скажем, равен 2–3 процентам в год. Поскольку население, по предположению, постоянно, ежегодно на рынок труда приходит молодёжь, вместо уходящих на пенсию. Но "технический прогресс" каждый год оставляет без работы 2–3 процента рабочей силы, то есть часть молодёжи, начинающей трудовую жизнь. В описанной экономической системе это требует расширения производства, то есть создания новых "потребностей". Каждый год этот процесс повторяется: это и есть положительная обратная связь *стимулируемого потребления.*

Ясно, что перед нами циклический процесс, в котором технический прогресс создаёт искусственные потребности, а искусственные потребности стимулируют новые виды производства и, тем самым, технический прогресс. С каждым таким циклом "общество массового потребления" медленно, но верно приближается к критической точке — к катастрофе, подобной горным обвалам, лавинам или нашествиям саранчи. Люди научились избегать кризисов, обходя известные им пропасти, но медленно сползают в неизвестную, ещё худшую пропасть. В природе положительная обратная связь редка и каждый раз завершается исчерпанием какого-нибудь ресурса. То же неизбежно произойдёт с обществом стимулируемого потребления, если оно не найдёт другого способа обеспечить свою устойчивость. Ограниченные ресурсы, которые положат конец "расширяющемуся производству" — это природные условия Земли и природные свойства человека.

Прежде всего, описанный циклический процесс истощает доступные запасы минерального сырья. Опасения этого рода высказывались давно, особенно в отношении нефти, угля и металлов. В действительности эти запасы оказались гораздо больше, чем предполагалось, причём многие вещества можно заменить другими. Гораздо опаснее исчерпание экологической ёмкости Земли, неспособной больше выдержать безудержную эксплуатацию природы. Экологическая катастрофа неизбежно прекратит циклическое расширение производства, даже независимо от всех других причин: наша Земля конечна.

Другой ограниченный ресурс, используемый в этом процессе, — выносливость человека. Происходящее теперь вырождение человеческого типа начинается с физической деградации. Состояние здоровья детей, растущих в разлагающейся культуре, ухудшается из года в год. Снижается доля молодёжи, пригодной к военной службе, то есть здоровой в самом нетребовательном смысле этого слова. Общество, развивающее в своих членах искусственные потребности и не умеющее удовлетворить естественные, всё больше превращается в больницу для людей, чаще всего не сознающих, что они больны. Эти экологические и популяционные факторы составляют отрицательную обратную связь, которая через несколько десятилетий положит конец лавине "стимулируемого потребления".

Но эта стихийная обратная связь несёт в себе только разрушение. Развал современной культуры означал бы регрессию к культурам прошлого, из которых с таким трудом вышли наши предки, и повторение исторических процессов освобождения от этого прошлого, над чем сегодня бьются народы отсталых стран. Наша культура имеет важные преимущества, которые надо сохранить и развить. Для её спасения нужны сознательные усилия людей. Критическое исследование культуры и её радикальная реформа могут составить другую обратную связь, способную выполнить эту задачу. В последней главе я выскажу некоторые предположения об этой возможной реформе, выйдя за пределы научно доказуемых суждений, и позволю себе выразить некоторые пожелания и надежды.

Глава 15

Возможное будущее

1. Идеалы культуры

Главное несчастье современного общества в том, что оно *не знает, чем хочет быть*. Иначе говоря, у него нет *общественных идеалов*.

Я говорю здесь об идеалах, а не о "ценностях", потому что термин "ценность" несёт в себе консервативный, охранительный смысл. Когда мы говорим о ценностях некоторой культуры, то невольно подразумеваем *традиционные*, заимствованные у предшественников понятия о правильном поведении. Но слово "идеал" подразумевает не только старые, но и вновь созидаемые понятия.

Живое, развивающееся общество активно творит свои идеалы — отдалённые цели своего развития: это неизбежно очень общие, не поддающиеся точной формулировке, но важные для этого общества цели. Застойное, бессильное общество уже не способно создавать идеалы; оно цинично высмеивает идеалы своих предков. Для современного общества как раз и характерно такое ироническое, мнимо снисходительное и мнимо высокомерное отношение к идеалам прошлого. Такое общество внушает себе, что все идеалы смешны, и не ставит себе далеко идущих целей. В сущности, оно ищет только лёгких удовольствий.

Лоренц описывает это потрясающими словами[1]:

"...Наслаждение можно ещё получить, не расплачиваясь за него ценой неудовольствия в виде тяжёлого труда; но прекрасная божественная искра Радости даётся только этой ценой. Всё возрастающая в наши дни нетерпимость к неудовольствию превращает возникшие по воле природы вершины и бездны человеческой жизни в искусственно выровненную плоскость, из величественных гребней и провалов волн делает едва ощутимую зыбь, из света и тени — однообразную серость. Короче, она создаёт смертную скуку".

[1]"Восемь смертных грехов цивилизованного человечества", глава 5. Здесь имеется в виду ода Шиллера "К Радости", на текст которой написан хорал Девятой симфонии Бетховена.

Так называемое “общество благосостояния” подсчитывает свои успехи в денежной мере, покупая и расходуя всё больше энергии. Лоренц сравнивает этот процесс с известным из физики обесценением энергии, измеряемым возрастанием энтропии, и называет эту главу своей книги: “Тепловая смерть чувства”.

Возникновение идеалов. Будущее нашей культуры зависит от её идеалов. Забвение идеалов всегда предшествует гибели культуры. Напротив, рождение новой культуры всегда начинается с появления новых идеалов. Как вообще появляются идеалы?

Простейший способ обретения идеалов — это *заимствование*. Самым очевидным образом заимствуются идеалы других культур, ранее отделённых друг от друга географическими или политическими барьерами. Завоевание или вторжение в чужую страну может привести к “гибридизации” культур. Влияние чужих культур возрастает при развитии международных связей и ослаблении защитных механизмов, препятствующих смешению культур. Смешение приводит не только к разрушению старых культур, но и к созиданию новых. Этот процесс можно сравнить с эффектом смешения рас, который Дарвин назвал “гибридной силой”. Примером является хотя бы английская культура. В наше время западная культура, преодолевшая сопротивление всех других культур, становится господствующей культурой нашей планеты. Можно видеть в этом угрозу существованию других культур, но не следует недооценивать и преимущества такой “прививки”.

Процессы заимствования не ограничиваются усвоением идеалов других культур. Они происходят и внутри каждой отдельной культуры. Давно замечено, что в классовом обществе идеалы различных социальных групп могут различаться — тем больше, чем более жёстки разделяющие их барьеры. В кастовом или феодальном обществе, где эти барьеры почти непроницаемы, каждая группа развивает свои собственные идеалы, рассматривая своё положение как “закон природы”, вроде различия между зоологическими видами. Но когда барьеры между сословиями разрушаются, начинается “фильтрация” идеалов и обычаев внутри одной и той же культуры — сверху вниз и снизу вверх. Первый их этих процессов происходил в Греции при переходе от архаической сельскохозяйственной экономики к торгово-промышленной. Как показал Вернер Йегер в своей книге *Paideia*, понятия и обычаи “благородных” начали распространяться в массе простого народа, обычно считающей “лучшим” то, что делают высшие классы. Так сложились идеалы греческой культу-

ры. То же происходило в Европе в конце феодальной эпохи, когда буржуазия стала перенимать идеалы аристократов и подражать их поведению; а затем, уже в девятнадцатом и двадцатом веках, рабочий класс стал подражать буржуазии. Историю этой фильтрации идеалов можно проследить по распространению принятых форм обращения. Обращение “господин” (monsieur, Herr, mister, pan и т. п.) применялось в Средние века только к привилегированным сословиям, а в Новое время стало общим для всего населения — впрочем, в России до этого дело не дошло.

Не столь обычной была фильтрация идеалов снизу вверх. Первым примером такого процесса было распространение христианства. Эту религию, по преданию, основал сын плотника, кормившийся со своими учениками подаянием и казнённый позорным распятием на кресте. Первые христиане были бедные труженики, и лишь постепенно их учение стало проникать в высшие классы Римской империи.

Конечно, процессы культурной фильтрации не создают новых идеалов: они сводятся к заимствованию идеалов другой культуры или другого общественного класса. Создание *новых идеалов* происходит особым способом, уже описанным в предыдущих главах. Напомним основные этапы нашего изложения.

В древности и в Средние века представление о произвольном новшестве было настолько неприемлемо, что все секты и общественные движения настаивали на возвращении к старым обычаям, на *восстановлении нарушенной традиции.* Миф о Золотом Веке существовал у всех народов; греческие философы были все пассеисты, то есть полагали, что мир становится всё хуже, и предлагали даже остановить все возможные новшества, чтобы замедлить этот упадок. Китайские крестьяне устраивали восстания, чтобы заменить плохого императора хорошим, и если это им удавалось, то получалась лишь новая династия. Индийские реформаторы пытались вернуться к той древности, когда ещё не было каст, но дело кончалось тем, что они становились ещё одной кастой.

Еврейские пророки, начиная с восьмого века до нашей эры, впервые переместили Золотой Век из прошлого в будущее, предсказывая грядущее улучшение мира. Правда, это улучшение должно было совершиться по воле бога, но верующие могли участвовать в нем, воздерживаясь от грехов. Пророческое движение, никогда не исчезавшее среди евреев, привело через несколько столетий к возникновению христианской религии, означавшей начало новой культуры.

В восемнадцатом веке возникла идея прогресса, основанная на научном мировоззрении и получившая первую формулировку во Франции. Это было начало новой культуры, которая теперь называется европейской, или западной. Наконец, в девятнадцатом веке новые идеалы принёс социализм, зародившийся на почве еретического христианства: социалисты соединили идею прогресса с понятием социальной справедливости. Теперь происходит формирование единой мировой культуры.

Культура и человек. С точки зрения философии гуманизма, выработанной европейской культурой и включившей в себя идеалы всех высоких культур прошлого, *целью человеческого общества является создание более высокого типа человека.* Это значит — создание человека, всесторонне развивающего свои способности во всех областях жизни — от простого к сложному, от грубого к утонченному, от неразумного к разумному. При этом, в отличие от бесчеловечных понятий сословного общества, высокое развитие должно быть доступно *каждому* человеку, что предполагает, тем самым, высокое развитие всего общества в целом.

Отсутствие идеалов, потребительская ориентация культуры, избегающая опасностей и серьёзных усилий, означает для общества застой, а для отдельной личности — скуку.

Лоренц проследил процесс возникновения и развития культурных идеалов и увидел в нем некоторую закономерность, о чем уже была речь в главе 4. Изменение культуры начинается с образования в ней некоторых субкультур, несущих в себе новые идеалы и называемых, по Эриксону, "псевдовидами". Несомненно, это свойство *любой* культуры, но описание Лоренца[1] построено на материале нашей западной культуры, где процессы развития происходят несравненно быстрее, чем во всех культурах прошлого, и воспринимаются как органическая черта самой культуры. Эту культуру можно назвать "динамической", и она сама себя так рассматривает, включив в свои ценности "прогресс". Изменение культуры зависит от образования в ней прогрессивных субкультур. Мы приведём примеры этого явления.

Первые христиане. Важнейшим примером прогрессивной субкультуры было раннее христианство — учение последователей Иисуса Христа до утверждения христианской церкви. Это учение, воз-

[1] "Оборотная сторона зеркала", главы 11, 12; "Восемь смертных грехов цивилизованного человечества", глава 7.

никшее в начале нашей эры — две тысячи лет назад — по историческим условиям могло быть только религиозным. Христианство было не первой попыткой создать новое учение о смысле жизни. Во всяком случае, ему предшествовал буддизм, имевший с ним общие черты. Но учение Будды происходило из высших слоев общества и несло на себе отпечаток абстрактной философии и аристократического индивидуализма; оно стало религией отшельников, но не смогло овладеть вниманием масс. Можно думать, что эта историческая неудача буддизма была связана также с примитивностью индийского политеизма, вскоре исказившего его первоначальные идеи.

Учение Христа родилось на более благоприятной почве. Еврейский народ, давно уже веровавший в единого бога, стремился освободиться от иноземных завоевателей. Евреи боролись с подавляющими силами мировых империй — египетской, ассирийской, македонской и, наконец, римской. Они надеялись, что их бог пошлёт им непобедимого вождя — Мессию. Отсюда возникло их пророческое движение, подготовившее учение Христа. Несомненно, сам Христос тоже считался пророком, и успех его проповедей объясняется тем, что простые люди, и прежде всего его ученики, видели в нем Мессию.

Христианство могло родиться лишь в виде религии: никакая другая доктрина не была бы доступна людям того времени. Но с точки зрения всемирной истории, в которой оно составило новую эпоху, надо прежде всего отметить две его главных идеи: *единство человечества и социальную справедливость*. Учение Христа, первоначально обращённое к евреям, не нашло поддержки в этом народе, возможно, по той причине, что евреи представляли себе Мессию в виде победоносного царя и не могли отождествить его с распятым проповедником из Галилеи. Но это учение, не знавшее, по словам апостола Павла, “ни эллина, ни иудея”, завоевало Римскую империю, а затем всю Европу. Оно завершило древнюю историю и открыло Средние века.

Христианство стало формой *распространения социального инстинкта на всё человечество*. Как мы видели, расширение понятия “ближнего” отразил уже Ветхий Завет. Но ограниченность еврейского культа препятствовала этому процессу: пророк Исайя соглашался признать в качестве ближних лишь те племена, которые примут еврейского бога со всем его жреческим ритуалом. Иисус снял эти ограничения, и ближним стал каждый человек. Мы всё ещё далеки от этого идеала, но начало ему положил Христос.

Другой чертой первоначального христианства было отвращение ко всем социальным привилегиям, в особенности к частной собственности. Эта сторона учения Христа была очевидна в первых христианских общинах. Нагорная проповедь означала отвержение классового общества, и святой Пётр, придерживаясь этой идеи, покарал смертью грешников, утаивших от общины часть своего достояния. Несомненно, первоначальное христианство осуществляло общность имущества, составившую впоследствии идеал бесчисленных ересей — в том числе и последней ереси христианства, марксизма. Это был, в примитивной утопической форме, *протест против асоциального паразитизма*.

Конечно, в этой форме “социальная справедливость” была невозможна; утопии невозможны, но содержат судьбоносные идеи будущего. Первые христианские общины могли существовать лишь в щелях классового общества; христиане должны были работать в этом обществе, покупать и продавать на его рынках и повиноваться его порядкам. Когда образовалась церковь, учение Христа было приведено в соответствие с потребностями этого политического учреждения и в значительной мере извращено. Но мир стал уже иным: это был великий исторический переворот.

Французские просветители. Следующий пример прогрессивной субкультуры мы находим в начале Нового времени. Во второй половине восемнадцатого века во Франции сложилась общественная атмосфера, беспримерная в истории. В европейской культуре встречались еретики, ставившие под сомнение отдельные догмы религии или отдельные учреждения общественной жизни. Но в восемнадцатом веке расширение образования и распространение литературы создало целый слой населения, осознавшего несостоятельность всей католической религии и феодальной монархии, противоречие между образом жизни общества, инертно повторявшего шаблоны средневековья, и новой научной картиной мира.

Развитие европейской культуры после Возрождения, задержанное в Италии католической реакцией, а в Германии Тридцатилетней войной, сосредоточилось в Англии и Франции. Англия опережала Францию в науке и технике, что можно объяснить её более свободными условиями жизни, сложившимися после революции семнадцатого века. Но те же условия, не стеснявшие мысли и чувства образованного общества, и склонность к компромиссам, выработанная английской политической жизнью, смягчали конфронтацию идей и не позволяли этим идеям созреть до полной ясности. Англичане

умеренных взглядов не добивались логической завершённости своих понятий, а крайний радикализм был в Англии редок.

Напротив, во Франции, где укрепилась при Людовике XIV абсолютная монархия, где реформация была подавлена и сохранилась тираническая власть католической церкви, выработалась склонность к конфронтации идей и тот стиль рационального рассуждения, который получил название esprit latin[1]. Французы, воспринявшие шедшие из Англии научные идеи, видели преимущества английского конституционного строя перед произвольным правлением свой страны; образованное общество с негодованием комментировало всё, что делало правительство, в том числе бессильные попытки реформ. Государственный аппарат, не имевший систематической политики и действовавший без внутреннего убеждения, прибегал время от времени к жестоким преследованиям, чаще всего обрушивая их по случайным поводам на случайных людей. Этих преследований было недостаточно, чтобы усмирить общественное мнение, но вполне достаточно, чтобы его раздражать и возбуждать.

В этих условиях во Франции произошёл небывалый в истории раскол в мышлении людей. Образовался *целый слой* образованной публики, порвавший с вековой традицией и устремлённый к будущему. Главные деятели этой эпохи, получившей название Просвещения, происходили из буржуазии: Вольтер, Дидро, Гельвеций и даже Гольбах, не имевший права на своё прозвище "барона", были буржуа по рождению и воспитанию; Даламбер был подкидыш, воспитанный в буржуазной семье; кажется, только Монтескьё был из дворян. Но идеи просветителей встретили понимание и одобрение даже в высшей аристократии. В светских салонах вошли в моду философские и политические дискуссии. Господа и дамы не получали удовольствия от общения, если не присутствовал кто-нибудь из свободомыслящих философов, обычно ротюрье, то есть человек простого происхождения. Во Франции возник особый род просвещённых аббатов, не державшихся доктрин своей религии и рассуждавших о всевозможных новых идеях. Аббат де Сен-Пьер развивал идею всеобщего мира, итальянский аббат Гальяни следил в салоне Гольбаха за чистотой атеизма, а скромный сельский священник Мелье втайне приготовил труд, выходивший за пределы всех дерзаний своего времени, посягавший не только на веру и го-

[1] Латинский дух (фр.). Основной чертой этого духа считалась логическая отчётливость понятий.

сударство, но и на частную собственность. Учители Просвещения получили имя "философов", и слово "философия" приобрело новое значение, непохожее на средневековое представление об этом предмете.

Группа просветителей во главе с Дидро выполнила великое предприятие, опубликовав "Энциклопедию, или объяснительный словарь наук, искусств и ремёсел". Это многотомное издание, искусно проведённое через препятствия цензуры и разошедшееся по всей Европе, распространило взгляды философов на природу человека и общества: "религия прогресса" обрела свои канонические книги.

Новые идеи, родившиеся в кабинетах учёных и писателей, вышли за пределы печатной полемики и салонных разговоров. Они нашли дорогу к простому народу, терявшему уважение к своим господам и воспринимавшему разрушительные мысли, даже без ясного понимания стоявших за ними свободных идеалов. В передаче упрощённой идеологии народной массе главную роль сыграла полуинтеллигенция — многочисленный слой мелких чиновников, юристов и приказчиков, впоследствии породивший вождей революции. Главным вдохновителем Французской революции стал Руссо, не согласный с просветителями в самом главном — не доверявший разуму и выдвинувший иррациональную концепцию "единой воли" народа.

Просветители не дожили до революции. Представление, будто революция была делом этих философов, глубоко ошибочно. Они не одобрили бы её, потому что не верили в насильственное исправление общества. Они лишь косвенно содействовали революции, подрывая авторитет церкви и королевской власти. В действительности они стремились к мирным реформам и надеялись, полагаясь на убедительность своих аргументов, провести их сверху, мерами просвещённых властей. Швейцер полагал, что такой путь был бы предпочтительнее революционной ломки всех учреждений, и высоко ценил просветителей за их мудрую умеренность в политике. Подлинное мировоззрение философов обстоятельно рассмотрел уже в наше время американский историк К. Беккер[1].

Вопрос, возникающий при анализе явлений Просвещения, состоит вовсе не в том, надо ли было устраивать революцию: революции происходят не по воле людей, и даже при нынешних знаниях труд-

[1]Carl L. Becker. *The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers.* Yale University Press, New Haven & London.

но избежать таких катаклизмов. Урок французского Просвещения в том, что изменение принятой людьми картины мира, равносильное мутации культуры, *может быть* результатом сознательной деятельности людей. Эти люди — непохожие на прежних основателей религий, не пророки и не святые, а мыслители и писатели, собравшие в систему научные идеи своего времени — положили начало новому мировоззрению, сменившему христианскую религию и по существу вообще завершившему эпоху религиозных верований. Просветители сами не были учёными[1]. Они осуществили синтез идей, необходимый для своего времени и составивший эпоху в истории.

Философы Просвещения были подлинными организаторами общественного сознания. Созданное ими гуманистическое мировоззрение — возникшее без "откровения" свыше, без веры в сверхъестественные силы — стало мировоззрением Нового Времени, заменившим человечеству религию. Эпоха Просвещения создала понятие о "правах человека", основное для современной культуры.

Поражение Французской революции вовсе не вернуло людей к старой картине мира. После всех политических переворотов, после бессильных попыток восстановить авторитет религии люди утвердились в рациональном мировоззрении, и то, что люди принимают всерьёз в наши дни, в общих чертах соответствует идеям Просвещения. А главное, мы видим в этой истории первый пример мировоззрения, построенного сознательными усилиями людей.

Слабой стороной этого мировоззрения было невнимание к социальным вопросам. Просветители думали, что правильно устроенные политические учреждения достаточны для человеческого счастья. Иначе говоря, они не приняли во внимание условия жизни народа. Для них человек был слишком абстрактным существом, и притом по преимуществу разумным.

Можно удивиться, что французские просветители — заклятые враги церкви — сопоставляются здесь с первыми христианами. Просветители напоминали первых христиан своим отвращением к существующему строю жизни, своим пламенным энтузиазмом, своей неустанной проповедью новых идей, и это почувствовал христианский мистик Альберт Швейцер, оценивший по достоинству роль Просвещения.

"Религия прогресса" не была похожа на старую религию; но так бывает всегда: ведь и христианство не признавалось вначале настоящей религией, и даже еврейский монотеизм, не имевший изобра-

[1]За исключением Даламбера и немногих других.

жений своего бога, вызывал у римлян недоумение. Поскольку новое всегда отрицает старое, черты сходства попросту не замечают. Так же, как христианство открыло новую историческую эпоху, получившую название Средних веков, "религия прогресса" означала наступление Нового времени. В восемнадцатом веке произошла мутация культуры, напоминающая те мутации, которые создают новые виды.

Третьим, ближайшим к нам примером прогрессивной субкультуры была русская интеллигенция, ставившая на первое место конкретные потребности человека.

Русская интеллигенция. Деятельность, направленная на благо других людей, часто встречалась в истории, но в прошлом обычно ограничивалась людьми своей группы или своего племени. Представление, что надо "делать добро" чужим людям — людям вообще — развилось не так давно. Людей, помогавших бедным, называли филантропами, но помогать надо не только бедным, и не только каждому отдельно. Для более общей установки деятельного человеколюбия Огюст Конт придумал в девятнадцатом веке название "альтруизм", от латинского alter, означающего "другой". Ещё в Ветхом Завете можно прочесть заповеди о том, как надо обращаться с "ближним", но самое слово это напоминает об ограничении заповедей определённым кругом людей — соплеменников или людей той же религии. Мы уже много говорили о процессе глобализации этой "любви к ближнему", то есть социального инстинкта. Иисус Христос, каким его изображает Новый Завет, был несомненно великий альтруист, отдавший свою жизнь для блага людей. Но те христиане, которые заботятся преимущественно о собственном "спасении", должны быть отнесены к эгоистам.

В основе всей жизни русских интеллигентов лежало представление, что важнейшей целью человеческой деятельности должно быть благо народа. В этом представлении влияние западного гуманизма соединилось с традицией русского христианства. Разночинцы были дети верующих, воспитанные в христианской религии, хотя и потерявшие веру в бога. Но они сохранили важнейшую заповедь этой религии, её этическое содержание: любовь к людям. Первым русским интеллигентом был Радищев, осознавший свою ответственность за судьбу крепостных крестьян. Потом в Россию пришли учение Фурье, романы Жорж Санд, проекты Оуэна и Сен-Симона. Идеи социализма глубоко отразились на мировоззрении русских интеллигентов. Но в российских условиях не могла возникнуть открытая

социал-демократическая партия, а в нелегальных группах экстремистов, под действием полицейских репрессий, развилась установка на насильственный переворот.

Русская интеллигенция выработала *активный* взгляд на общественную жизнь, свойственный всем поднимающимся группам. Русские интеллигенты не имели уважения к учреждениям и обычаям своей страны — с их точки зрения вовсе не заслуживавшим такого уважения. Они верили, что способы общественной жизни людей могут быть изменены сознательной деятельностью, а деятелями считали самих себя. Эту позицию иногда называли "субъективным" взглядом на прогресс; скорее следовало бы называть такой взгляд "активным", поскольку развитие общества объективно зависит не только от исторического прошлого и наличных условий настоящего, но также от сознательной воли людей, составляющей важную компоненту формирования будущего. Непонимание этого факта следовало бы назвать *фаталистическим* взглядом на историю, и такой фатализм, сознательный или бессознательный, проявляется во все эпохи застоя и упадка — в частности, в наше время.

Несомненно, русские интеллигенты переоценивали сознательную компоненту исторического процесса и ожидали быстрых результатов от своих действий — легальных или революционных. Поскольку они не могли воздействовать на практическую жизнь и заимствовали свои взгляды из книг, они недооценивали темноту и патриархальную инертность русского крестьянства, возлагая на него чрезмерные надежды и приписывая ему неправдоподобную способность к развитию. Впоследствии марксисты перенесли эти иллюзии на рабочих, ещё недавно пришедших из деревни и почти сплошь неграмотных. Более трезвые взгляды были свойственны "либералам", то есть умеренному крылу интеллигенции, состоявшему в кадетской партии; но радикальная часть интеллигенции презирала этих людей и обвиняла их в трусости, или прямо объясняла их поведение "буржуазными" интересами. Репрессии царского правительства, направленные прежде всего против радикалов, ставили русских либералов в трудное моральное положение.

Подавляющее большинство русских интеллигентов — и в том числе все люди высокой культуры, какие были в России — стремились к целям, прямо противоположным результатам октябрьского переворота. Они стремились к свободе и демократии. Идеи демократии, родившиеся на Западе, были поняты в России наивно и буквально — как "народовластие", а западный либерализм означал для русских попросту гражданскую свободу. Европейский либера-

лизм прежде всего означал свободу промышленной деятельности и торговли. Но в России почти до конца девятнадцатого века не было этой проблемы, так как не было буржуазии, а население жило, главным образом, "натуральным хозяйством". В России "либералами" называли тех, кто хотел *просто* свободы. Наконец, в России свободолюбие и демократизм, пришедшие с Запада, образовали своеобразный сплав. В России было особое отношение к собственности. Крестьяне, главный трудящийся класс России, не имели собственности, а сами были собственностью; собственниками же были помещики, то есть рабовладельцы, использовавшие принудительный труд крепостных. Собственность чиновников, по народным понятиям, имела своим источником лихоимство, а собственность купцов — надувательство. Всё это не могло развить у русских интеллигентов уважение к собственности вообще. Да и в русском народе её не было: недаром пословица, до сих пор не утратившая справедливости, говорит: "От трудов праведных не наживёшь палат каменных". Здесь главный источник своеобразия русской интеллигенции: она было *бескорыстна*. На Западе *свобод*а и *равенство* означали прежде всего защиту групповых и классовых интересов; в России же на первый план выступало *братство* со всеми угнетёнными и забвение собственного интереса.

Понятия, перенесённые из Европы, вызвали в России единственное в своём роде явление: коллективный альтруизм. Всегда и везде были отдельные люди, бескорыстно работавшие на благо других. У христиан их называли "святыми", но их религия давала им санкцию такого поведения и обещала награду. Русские интеллигенты часто жили как святые, хотя были неверующими и не могли рассчитывать на воздаяние ни от земного, ни от небесного начальства. В начале двадцатого века их были уже сотни тысяч: это были учителя, врачи, земские служащие, инженеры, профессора, литераторы, иногда даже чиновники. Братство русских интеллигентов имело свои неписаные законы. Главным законом был бескорыстный труд для народа.

Если искать для них сравнения, то они напоминали монашеские ордена, дававшие обет нестяжания. Они исполняли свой обет всерьёз, и даже с радостью, потому что богатство не было для них соблазном. Для некоторых из них соблазном оказалась власть: они хотели употребить её, чтобы скорее переделать этот мир.

Русские интеллигенты составляли по существу бесклассовую группу, так как происходили из всех классов общества и не считались с интересами класса, откуда они вышли. Усвоенные ими по-

нятия передавались их детям и сообщали русским интеллигентам особый, ни с чем не сравнимый этический облик. Поэтому бóльшая часть интеллигенции не пошла за марксистами, видевшими в человеке прежде всего представителя "своего" класса и впоследствии перешедшими к прямому преследованию людей "чуждого" происхождения.

Таким образом, идеология русской интеллигенции сумела подняться выше классовых барьеров — и, конечно, выше национальных преград, потому что вряд ли в истории была когда-нибудь группа людей, столь открытая мыслям и чувствам своих иностранных братьев. По существу, организующим началом, которого искали интеллигенты, был *социальный инстинкт.* Кропоткин, вслед за Дарвином, находил его уже в мире животных, а Михайловский[1] называл его "кооперацией".

Конечно, интеллигенты боролись с "угнетателями народа", со всеми, кто извлекал доходы из эксплуатации трудящихся. Но враждебная им идеологическая установка по существу была также бесклассовой, и также наследственной, поскольку передавалась путём воспитания: Герцен назвал эту установку "*мещанством*". Это слово обозначало бездумную привязанность к установленным нормам жизни, выражаемую правилом: *"Живи, как все*". Позицию русской интеллигенции, противоположную мещанству, впервые сформулировал Герцен, а впоследствии развил Михайловский.

Русскую интеллигенцию обвиняли в "беспочвенности", то есть в отрыве от русской действительности. В самом деле, прочные изменения общественной жизни предполагают обычно интересы определённого класса людей, постепенно пробивающие себе путь. Интеллигенты же полагали, что выражают интересы трудящегося народа — но *не свои.* Обвинение в "беспочвенности", выдвинутое их противниками, с тем же правом можно было бы предъявить святому Франциску, когда он ушёл голым из дома своего отца. В сущности, это обвинение констатировало отсутствие у нашей интеллигенции классового эгоизма, и в этом смысле было справедливо: она не умела, и не сумела себя сохранить.

Если же "беспочвенностью" называлось непонимание тех классов, за которые вступались интеллигенты, то в этом было много правды. Народники непомерно идеализировали крестьян, а социалисты — рабочих, и жестоко поплатились за эти ошибки, когда при-

[1]Николай Константинович Михайловский (1842–1904), выдающийся русский социолог и публицист, считался идеологом "народничества".

шлось столкнуться с их психическими установками при устройстве общественных дел. Впрочем, обвинители интеллигенции, свернувшие к православию и монархии, понимали свой народ ещё хуже.

Русская интеллигенция не была обычным общественным классом. Это была *субкультура особого рода, возникшая не генетическим, а культурным путём.* Люди входили в неё не по рождению, а по образу мыслей и чувств. Она не была замкнутой, хотя и отгораживалась от окружающей среды, как от "мещанской". Эту субкультуру можно назвать *гуманистической*, потому что в основе её лежала философия гуманизма.

Русские интеллигенты были главным образом озабочены условиями жизни народа. Для них социальный вопрос был важнее политических вопросов, и они мало думали о будущей структуре общества, рассчитывая на европейские образцы. Политика оказалась в руках фанатиков-полуинтеллигентов, воображавших, будто им известно единственно правильное учение об обществе. В конечном счёте идеалы интеллигенции были забыты, и она сделалась предметом невежественных спекуляций.

Поскольку русские интеллигенты были, как правило, неверующие, можно упустить из виду их психические характеристики, весьма напоминающие религиозный энтузиазм. Некоторые из них ощущали свою зависимость от христианских идеалов. Но все они стремились осуществить идеал социальной справедливости, провозглашённый в Нагорной проповеди. Это были верующие в Человека. Может быть, с них начинается новая эпоха истории[1].

Русская интеллигенция погибла, но в ней можно видеть пример общественного явления, которому принадлежит будущее.

Во всех этих случаях внутри старого, разлагающегося общества возникала субкультура людей, несогласных с образом жизни своей культуры. Старая культура механически воспроизводила свои нравы и учреждения, повторяя одни и те же неудачные попытки справиться с нарастающими явлениями распада. В этот процесс встраивалась прогрессивная субкультура, игравшая роль *обратной*

[1]Концепция прогрессивной субкультуры по существу была впервые развита Николаем Васильевичем Шелгуновым (1824–1891) в статье "Европейский Запад" (Собрание сочинений, т. 1, изд. Ф. Павленкова, Спб., 1891). Шелгунов называет эти субкультуры "интеллигенцией", придавая этому слову универсальное значение особых общественных групп, начинающих новую историческую эпоху.

связи[1]. Люди этой субкультуры отвергали ценности старой культуры и провозглашали идеалы новой, открывая тем самым новую историческую эпоху.

2. Проблема человека

Народ и его друзья. Гуманисты, пытавшиеся изменить ход истории, хотели освободить человека от нищеты и унижения; они думали, что для этого достаточно предоставить ему *свободу.* Как они видели, порабощение человека было его обычным состоянием в течение всей известной им истории. Более того, сами порабощённые люди, по-видимому, свыклись с таким положением и жаловались только на какие-нибудь особенные притеснения. Но гуманисты не мирились с этим наследием, считая его неразумным и несправедливым.

Гуманисты, выступавшие в защиту человека от исторически сложившегося строя жизни, плохо понимали, каким его сделал этот строй, и наделяли его фантастическими свойствами. Их фундаментальная ошибка состояла в представлении, будто они знают "природу человека". Но в действительности их концепция человека была заимствована из библии. Библия изображает человека как совершенное существо, созданное по образу и подобию божьему, но опороченное первородным грехом. Этот грех может быть устранён: праведники освобождаются от него после смерти, и легенда о Тысячелетнем Царстве предсказывает, что люди будут жить на Земле без этого греха, под началом Христа. С точки зрения религии человек не что иное, как падший ангел.

Гуманисты прошлого, пытавшиеся помочь человеку, бессознательно восприняли это представление. Им казалось, что человеческие пороки происходят от какого-то заклятия, наложенного на человека богом или дьяволом, которое можно снять неким волшебным способом, превратив его снова в совершенное, прекрасное существо. Философы Возрождения были рационалисты; они пытались обосновать естественное совершенство человека, смешивая богословские

[1]Напомним, что обратная связь отражает информацию о действии системы. Обратная связь, усиливающая установившееся действие системы, называется *положительной* обратной связью; препятствующая этому действию тенденция называется *отрицательной* обратной связью. Таким образом, в случае консервативных общественных систем именно отрицательная обратная связь содействует обновлению общества. Это надо иметь в виду, избегая эмоционального понимания терминологии.

аргументы с описанием удивительных качеств этого и в самом деле ни с чем не сравнимого существа. Пико делла Мирандола говорил от имени бога:

“Ты можешь быть свободен по собственной воле и совести — и сам себе будешь творец и создатель. Лишь тебе даровал я расти и меняться по собственной воле твоей. Ты несёшь в себе семя вселенской жизни”.

И Шекспир говорил устами Гамлета:

“Что за мастерское создание человек! Как благороден разумом! Как бесконечен способностями! В обличии и в движении — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с богом! Краса вселенной! Венец живущего!”

Ирония Гамлета лишь подчёркивает общепринятые мнения, которые он приводит. Художники изображали красоту человеческого тела, и через красоту — его духовное совершенство. Прекрасны даже грешники Сикстинской капеллы, стряхнувшие с себя первородный грех.

Но каков на самом деле человек? Нельзя сказать, чтобы друзья человечества этого совсем не знали. Как мы видели, Лабрюйер ещё в семнадцатом веке изобразил французских крестьян с беспощадной правдивостью, вряд ли позволявшей предположить в них особенные совершенства: он лишь настаивал, что они всё же люди. Вольтер и Дидро, Гольбах и Гельвеций, происходившие из благополучных буржуазных семей, не могли не знать, какие человеческие типы производит нищета. Но французские просветители были рационалисты. Они видели в человеческом обществе, как и во всей природе, систему причинно-следственных отношений, и были уверены, что достаточно устранить причины угнетения человека, чтобы исчезли и все их следствия. Люди, освобождённые от феодальных притеснений и религиозных суеверий, должны были превратиться в сознательных граждан, понимающих свои интересы и свой общественный долг. Во всяком случае, в это верили ученики просветителей, заседавшие в Национальном собрании: они приняли конституцию, предполагавшую такое внезапное превращение людей. Естественно, эта конституция не выражала подлинного состояния нации и не годилась для практического применения. Французы, объявленные гражданами, но не имевшие никакого опыта самоуправления, получили обширные права, центральная власть была ограничена искусно придуманной системой местных учреждений, и осталось проверить, что из этого выйдет. В результате Франция погрузилась в анархию, почти прекратилось поступление налогов, и правительство оказалось бес-

сильным перед военной угрозой. Очень скоро оно начало прибегать к насильственным мерам, не обращая внимания на конституцию, а поскольку эти меры встречали сопротивление, отсюда возникла система правления, названная террором.

Оказалось, что условия жизни человека оставляют в его психике неизгладимые следы. Человек, выросший в рабстве, в чем-то навсегда остаётся рабом, даже получив свободу; и особенно прочно держатся усвоенные в детстве религиозные суеверия. Более того, эти свойства передаются при воспитании детям, так что существенные изменения психических установок и привычек неизбежно растягиваются на несколько поколений — каковы бы ни были новые учреждения и доктрины. Конечно, пионеры "религии прогресса" не видели во всеобщем избирательном праве универсального средства, решающего все проблемы, а надеялись на просвещение народа усилиями образованного меньшинства — при "мягком" либеральном правлении наподобие английского. Но вряд ли философы Просвещения предвидели, в каких формах может проявиться отчаяние голодных масс, в условиях хозяйственного кризиса и войны. Они не предвидели ни парижских санкюлотов, ни вандейских мятежников, и уж конечно не могли представить себе комиссаров Конвента. Идеализация "народа" объяснялась не только их философским рационализмом, но и жизненным опытом самих философов. Почти не было случаев, чтобы просветители непосредственно ощутили на себе условия жизни простых тружеников. Разрыв между простым народом и образованными людьми существовал всегда, но во Франции, где образованные люди осознали свой долг перед народом, этот разрыв привёл к трагическим ошибкам. Философы-просветители не дожили до революции; ошибки совершили незадачливые революционеры — вульгарные рационалисты и ученики не верившего в прогресс фантазёра Руссо.

Подобная же трагедия произошла в России, где, при всем различии общественных условий, русские интеллигенты внимательно изучали опыт Французской революции. Как мы уже видели, народники составили себе идеализированное представление о русском крестьянине, а марксисты перенесли те же иллюзии на "сознательного пролетария".

Вдохновители русской интеллигенции не дожили до революции, как и французские философы. Во Временном правительстве заседали люди, не понимавшие, что происходит в стране, и упорно повторявшие все наивности Национального собрания. Разрыв между образованным меньшинством и простым народом России был тем

более удивителен, что большинство интеллигентов произошло из неимущих классов общества, и почти все они знали образ жизни и понятия людей физического труда. Историк Милюков продолжал верить в патриотизм русских солдат; писатель Горький, вышедший из низов и обошедший всю Россию, негодовал, не видя в революционной массе сознательности и дисциплины; и даже Ленин, не стеснявшийся расправляться с инакомыслящими, до конца жизни верил в здравомыслие простых, не испорченных пропагандой рабочих. Упорное сохранение раз навсегда принятых убеждений, вопреки опыту и здравому смыслу, объясняется особыми свойствами идеологии, заменяющей человеку религию.

Философия и идеология. Мыслители восемнадцатого века, отвергнувшие религиозное объяснение мира, заменили его рациональной конструкцией, которую назвали "философией". В древности, когда религия не имела философской доктрины, словом "философия" обозначали любое абстрактное знание, так что в понятие философии входили и начала уже возникшей науки, и мифологические построения. Границы между философией и религией вначале не было; позднее конкретные науки (прежде всего математика и астрономия) выделились из философии, которая всё больше погружалась в мистику. В средние века философией называли, по существу, вспомогательную часть богословия. В Новое время, начиная с Декарта, философия стала обособляться от богословия, пытаясь опереться на непосредственные чувственные данные, а в восемнадцатом веке это слово, в устах английских эмпиристов и французских просветителей, стало означать новую картину мира. С этого времени люди и начали искать в философии ответ на "вечные вопросы" — и прежде всего на вопрос о природе человека и о правильном устройстве общественной жизни.

Термин "философия гуманизма", применяемый в этой книге, не означает, что в ней предлагается решение этих "вечных вопросов". Этот термин, объяснённый в главе 8, означает *систему ценностей*, в которой важнейшей ценностью является *человек.* Такая система ценностей, в конечном счёте, выражает социальный инстинкт человека, а её современная формулировка происходит от учения философов восемнадцатого века. В наше время она получила общее признание и постепенно вытесняет другие системы ценностей, восходящие к Средним векам, или даже к древности. К сожалению, этот процесс происходит медленно, и во многих местах *права человека* существуют только на словах.

Философия просветителей заменила религию в умах образованных людей, но для массы полуобразованной публики она была слишком сложной. Люди нуждались в упрощённой картине мира, дававшей понятные объяснения общественных явлений и простые рецепты исправления всех зол. Очень скоро эту потребность начала удовлетворять *идеология*, возникшая перед французской революцией и руководившая действиями её вождей. То же было и в Русской революции, где руководящую роль сыграла полуинтеллигенция, быстро вытеснившая интеллигенцию из общественной жизни.

Идеология — важное общественное явление. Практическая связь между идеологией и революцией, столь отчётливая в двух рассмотренных примерах, много раз наблюдалась и в других странах, при самых разных культурных условиях. Жертвой различных идеологий оказывается неразвитый человек, неспособный критически оценить предлагаемые ему идеи.

Простой человек. "Простой человек" — человек, вынужденный трудиться для заработка и не способный к самостоятельному мышлению — представляет главную проблему современного общества. Простые люди составляют тот *народ*, о котором так заботились наши интеллигенты, и который теперь брошен на произвол судьбы. Самый термин "простой человек" изобрёл Франклин Рузвельт, обозначив таким образом самый распространённый тип избирателя, которому он адресовал свою пропаганду. Рузвельт мог искренне думать, что действует в интересах простого человека, хотя по существу его задача состояла в защите американского истеблишмента, то есть буржуазной государственной системы.

В современном обществе этот термин относится не только к работникам физического труда, но и ко многим другим, не только работающим по найму. Конечно, для Рузвельта простым человеком был также и мелкий собственник, лавочник или предприниматель, самостоятельно ведущий своё дело. Он тоже трудится, и если его ум не развит, его тоже можно включить в это понятие. В социальном смысле "простого человека" можно отождествить с пассивным членом общества, то есть с объектом экономических и политических манипуляций, лишь в редких случаях — при особых бедствиях — оказывающим влияние на ход общественных дел.

В прежние времена его можно было отождествить с человеком, создающим необходимые для жизни вещи, и можно было понять выражение "праздный класс" (leisure class), которым некоторые радикальные мыслители обозначали всех остальных. Теперь, когда

бóльшая часть производимых товаров не нужна или вредна для жизни, труженик по-прежнему трудится, но труд его не всегда полезен.

Нелегко сказать, какую часть человечества составляют “простые люди”. Можно думать, что в наше время не меньше девяноста процентов, и при очевидном численном преобладании этого типа более точная оценка вряд ли нужна. Проблема состоит в том, что подавляющее большинство этих людей, составляющих девять десятых человеческого рода, с экономической точки зрения оказывается лишним. В самом деле, при современной технике земледелия один фермер может прокормить сто едоков, а о промышленных изделиях, таких как одежда и жилища, нечего и говорить. Всех людей, и простых и сложных, может содержать небольшая группа производителей. Можно задаться вопросом, кто должен работать, чтобы содержать всех остальных? Ещё более трудный вопрос: чем будут заниматься остальные?

Как известно, современное общество решает эти вопросы, изобретая *искусственные потребности.* Несомненно, человеку высокой культуры нужно для жизни гораздо больше, чем для *выживания.* Несомненно также, что потребности, создаваемые и удовлетворяемые современной культурой, не имеют отношения к идеалам культуры: как правило, они противоречат любым признанным идеалам и сводятся к поддельной роскоши и к пассивному развлечению. В чем же состоят реальные потребности человека?

Важная, инстинктивно обусловленная потребность человека — это *потребность в осмысленной деятельности.* В начале существования нашего вида такая деятельность сводилась к выживанию. Впоследствии прибавились культурные задачи, выходившие за пределы выживания, например, завоевание чужих стран или строительство пирамид. Эти занятия были осмысленными в культуре своего времени, хотя и не кажутся осмысленными нам с вами. Завоевания были выражением инстинкта агрессии, а возведение пирамид выражало инстинкт самосохранения. Уже в этих случаях цели инстинктов были обобщены культурой, поскольку завоевание не было уже защитой своей территории, а пирамида служила для сохранения мумии одного фараона. Можно сказать, что и наша культура обобщает и формирует цели человеческих инстинктов. Вопрос в том, удовлетворяет ли она эти инстинкты.

Безусловно, нет. Способы удовлетворения инстинктивных потребностей человека, предлагаемые современной культурой, представляют *не действия, а имитацию действий.* Человеку предлага-

ют сидеть у телевизора и говорят ему, что это и есть жизнь. Но такие суррогаты жизни разъединяют людей, и этим фрустрируют их социальный инстинкт. Человеку предлагают смотреть спортивные состязания и говорят ему, что это и есть борьба. Но вместо личных стимулов борьбы у него возникают лишь чувства "болельщика", и этим фрустрируется его инстинкт агрессии. Вместо реальной жизни человеку предлагается *суррогат жизни*[1].

Реальная жизнь означает совместную с другими людьми деятельность для достижения культурно обусловленных целей, выражающих, в формах этой культуры, инстинктивные установки человека. Культура, способная к самосохранению и развитию, должна доставлять человеку такие цели.

3. Цели культуры

Высшей целью культуры является *человек*. Культура создаёт человека — свою высшую цель — ставя перед ним идеальные цели, отдалённые и ближайшие. Отдалённые цели культуры решающим образом влияют на ближайшие. Они выражают инстинктивные установки человека, в форме, зависящей от его традиции, и тем самым отражающей историю его культуры. Приведём два примера отдалённых целей нашей культуры.

Инстинкт внутривидовой агрессии в наше время не может выражаться в нападении на наших братьев по виду: двадцатый век войдёт в историю не двумя мировыми войнами, а сознательным прекращением войн. В конечном счёте эта установка выражает возвращение к более древнему инстинкту всех высших животных, запрещающему убивать себе подобных. Но свойственная человеку агрессивность нуждается в выходе, и таким выходом несомненно будет присущее человеку стремление к *экспансии*. В течение всей истории люди расселялись по Земле и осваивали её возможности — к несчастью, причиняя вред людям других племён. Теперь, как может показаться, освоение Земли окончено, больше нечего открывать, и самые размеры нашей планеты кладут предел экспансии человека. Со времени Мальтуса представление об ограниченности Земли порождает навязчивую идею о "перенаселённости" Земли и подсказывает биологически невозможную для человека цель "статического общества". В основе этого взгляда лежит подсознательное ощущение Земли как нашей космической тюрьмы.

[1] По-английски: vicarious life.

В действительности мы только начали освоение нашей планеты. Огромные пространства Земли остаются вне хозяйственной деятельности человека, испытывая лишь вредные воздействия его техники. Для восстановления территорий, уже повреждённых этими воздействиями, потребуются длительные усилия. Даже при современном, очень несовершенном уровне земледелия Земля может прокормить во много раз большее население. Но мы должны решить для этого экологические проблемы, превосходящие все технические трудности, когда-либо стоявшие перед человечеством. Эти задачи, дающие выход человеческой экспансии, не могут быть решены в рамках укоренившейся денежной психологии. Мы можем и должны превратить нашу Землю в достойное жилище Человека!

Мы не обречены всегда оставаться на Земле, как наши предки не были обречены сидеть на берегу моря. Отдалённая цель человечества — освоение Вселенной. Немногие люди думают об этом всерьёз, и президент Картер, как известно, решил сэкономить на Луне. Когда-то люди вроде него не хотели финансировать и проект Колумба. Между тем, мы уже слушаем радио и говорим по телефону через спутники, и без сомнения постоянная станция на Луне, дорогая и опасная, скоро будет устроена и окупится даже в денежном выражении. Сюжеты фантастических романов стали теперь повседневной практикой. Вещи, когда-то сказочные и невероятные, мы видим вокруг нас — и давно перестали им удивляться.

Другой пример отдалённой цели — это братство всех людей, к которому стремится наш *социальный инстинкт.* Совсем недавно события в дальних странах не вызывали у "цивилизованных" людей почти никаких реакций. Когда в 1915 году в Турции были истреблены миллионы армян, цивилизованные европейцы едва это заметили; впрочем, они были в то время слишком заняты — убивали друг друга. Но вот совсем недавно девятнадцать западных государств уже не позволили истребить албанцев в самом нищем и диком закоулке Европы. Это делалось крайне медлительно и бездарно, но всё же сотни тысяч людей были спасены от убийства, защищены и накормлены — хотя все эти государства, по существу, не имели в Косове интересов. А затем ООН вступилась за чёрных на острове Тимор, которых в прошлом веке почти не считали людьми. Ближайшие цели всё же действуют, но можно надеяться, что люди не забудут свои отдалённые цели. Где забывают отдалённые цели, там не будет прока и от ближайших. То же бывает и в жизни отдельного человека: кто не имеет далёких целей, далеко не пойдёт.

Ближайшей, очевидной целью современной культуры является

её самосохранение. Эта задача, в некотором смысле, решается любой живой системой. Каждое живое существо наделено механизмами самосохранения, и сохранение вида — результат естественного отбора — даёт ключ к пониманию биологической эволюции. Аналогичные процессы в человеческих культурах, также возникшие путём отбора, способствуют сохранению культур. Но сохранение видов не предполагает никаких "целей", точно так же, как сохранение отдельного животного. Мы уже говорили об эвристическом значении этого слова в биологии: дело происходит так, *как будто* все живые системы ставят себе цель самосохранения. Цели свойственны только человеку.

Человеческие культуры всегда заботились о своём сохранении, если даже не формулировали эту заботу в общем виде. Обычаи культуры, даже её символы и внешние признаки составляли тщательно охраняемое культурное достояние, чем занимались вожди и жрецы. Таким образом, в человеческих культурах общая "цель" самосохранения живых систем приобрела уже осознанное значение. Такая цель стоит перед нашей, современной культурой, которой угрожает гибель, и хуже всего, что ощущение этой опасности беспокоит лишь небольшое меньшинство. Традиционные механизмы защиты культуры в наше время не работают, поскольку опасность порождается самой культурой и не предусмотрена её традицией.

Мы должны сохранить нашу современную культуру, с её достижениями, дорогой ценой доставшимися нашим предкам. Только она может доставить нам средства для великих предприятий нашего будущего! Стремление к миру, к запрещению войн, к помощи отсталым странам — важный итог двадцатого века, урок его исторических несчастий. Несомненно, эти стремления также имеют инстинктивный характер: они выражают *инстинкт самосохранения*, свойственный нашему виду — самый могущественный из наших инстинктов. Он действует с неотвратимой силой в жизни отдельного человека; он с глубокой древности распространился на наших собратьев — сначала на защиту своего племени, потом государства. В наши дни действие этого инстинкта очевидным образом глобализуется: мы начинаем реагировать на опасности, угрожающие нашему виду. Человек по своей природе не может выжить в одиночку; с глубокой древности люди поняли, что не могут выжить в небольшой группе; теперь они начинают понимать, что могут выжить только все вместе. Как мы знаем, отдельный человек с великим трудом усваивает свой личный опыт и учится избегать прошлых ошибок. Насколько труднее даётся эта мудрость всему человечеству!

4. На пороге будущего

Процесс развития культуры нередко сравнивается с развитием индивида — то есть с процессом развития ребёнка. Но ребёнок вырастает и перестаёт расти. Если верно, что существуют общие законы роста живых систем, то возникает вопрос о "пределах роста": можно спросить, когда же человечество будет "взрослым"?

Вспомним, однако, что развитие человечества — это развитие не только индивидов, а *культуры*, всё более — единой человеческой культуры. Культура аналогична видам животных, способным жить очень долго — по-видимому, сколь угодно долго. История человеческих культур свидетельствует, что в не слишком быстро меняющихся условиях они не погибают, а изменяются. Общечеловеческая культура очень молода, она только складывается. Всё предшествующее ей развитие человека, по сравнению с временем жизни "обычных" видов, было очень коротким. *Человечество не старо, а молодо.* И поскольку это живая система, способная существовать неограниченно долго и наделённая разумом, можно полагать, что её функция самооценки также эволюционирует вместе с ней.

Понимание кризиса нашей культуры, столь отчётливо сформулированное её лучшими представителями — такими, как Альберт Швейцер, Томас Манн и Конрад Лоренц — вовсе не означает фатальной неизбежности её гибели. Напротив, это понимание представляет собой возникающую обратную связь, ощущение необходимой восстановительной работы, предотвращающей распад культуры. *Ближайшая цель современной культуры состоит в её спасении от гибели.* Осознание этой цели может объединить людей разного мировоззрения и разных профессий, а дело спасения культуры может предохранить их от разрушительного пессимизма. Мы не безоружны перед слепыми силами истории и не обречены им покоряться, но для этого мы должны знать, что́ происходит.

Я позволю себе процитировать окончание "Оборотной стороны зеркала" — может быть, величайшей книги нашего времени:

"...Можно видеть верные признаки того, что начинает пробуждаться самосознание культурного человечества, основанное на естественнонаучных знаниях. Если — что вполне возможно — это самосознание расцветёт и принесёт свои плоды, то тем самым культурное духовное стремление человечества поднимется на высшую ступень, точно так же, как в глубокой древности фульгурация[1] мышления подняла на новую, высшую ступень познавательную способность

[1] Слово, введённое Лоренцем: быстрое, подобное вспышке молнии развитие.

отдельного человека. *До сих пор на нашей планете никогда не было разумного самоисследования человеческой культуры*, точно так же, как до времени Галилея не было объективного в нашем смысле естествознания.

Задача естественнонаучного изучения системы, образуемой человеческим обществом и его духовной жизнью, необозримо огромна. Человеческое общество — самая сложная из всех живых систем нашей Земли. Наше научное знание о нем едва коснулось поверхности этого сложного целого, наше знание относится к нашему незнанию таким образом, что выразить его могут лишь астрономические числа. И всё же я полагаю, что человек как вид находится сейчас у поворота времён, что именно сейчас есть потенциальная возможность невиданно высокого развития человечества.

Конечно, положение человечества теперь более опасно, чем было когда-либо в прошлом. Но потенциально мышление, обретённое нашей культурой благодаря естествознанию, даёт ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого. Это происходит *впервые* в мировой истории."

Здесь содержится, в сущности, предсказание возможного спасения культуры, в которой созревает оценивающий её разум. Предсказание будущих событий невозможно, но можно предвидеть в общих чертах вероятное будущее. Конечно, можно возразить, что самый вероятный исход описанных выше явлений — это попросту гибель нашего вида. Сторонники такого взгляда никогда не боялись предсказывать будущее, но до сих пор их пророчество не оправдалось. Предположим, что они ошибаются. В таком случае возникает вопрос, каким образом человечество может выжить. Есть *необходимые условия*, без которых это заведомо невозможно. Я возьму на себя смелость их указать. Более того, можно заметить главные тенденции развития человеческого общества, которые могут определить историю ближайших столетий. Это не лозунги, а наблюдаемые тенденции, впервые явившиеся в истории и опровергающие старый философский предрассудок о "неизменности человеческой природы".

Первое необходимое условие развития человечества — это *мир*. Социальный инстинкт и построенные на нем инстинктивные правила морали, сначала запретив убийства в пределах своего племени, затем — своей нации, в наше время распространяют этот запрет на весь человеческий род. Две мировых войны, омрачившие первую половину двадцатого века, с предельной ясностью показали невозможность достижения спорных целей насильственным путём. Угроза

ядерного оружия внушила представление, что война будет означать гибель для обеих сторон конфликта, что единственное спасение — отказ от войны. Вопреки всем ухищрениям политиков, эта идея, выраженная Хартией Объединённых Наций, одерживает верх. Народы не хотят войны. Уже больше полувека сильнейшие государства, что бы ни говорили провозглашаемые ими доктрины, воздерживаются от войн, и теперь приучаются совместно усмирять взрывы насилия во всех частях Земли. Появилась реальная *перспектива прекращения войн.*

Другое явление, впервые наблюдаемое в наше время, — это *перспектива изобилия.* В течение всей истории человечества неизменным условием существования подавляющего большинства людей была *нищета.* "Нищие всегда будут с вами", — говорил своим ученикам Христос. И мы видим, что даже в самых богатых странах, в самые просвещённые времена главным мотивом человеческой деятельности была угроза голодной смерти. В царствование "короля-солнца" Людовика XIV треть населения Франции умерла от голода — вследствие неурожаев и непосильных налогов; викторианская Англия, возглавлявшая победоносное шествие европейского капитализма, вынуждала своих рабочих под угрозой голода посылать на фабрики шестилетних детей, у которых было мало шансов остаться в живых.

В двадцатом веке, впервые в истории, развитые страны избавились от голода и нищеты. Условия жизни трудящихся в этих странах — во всяком случае, условия их материального обеспечения и труда — теперь лучше, чем в утопиях Мора и Кампанеллы. Эти условия, при сохранении резкого неравенства доходов и асоциального паразитизма богатых, возникли вследствие машинного производства, удешевившего и умножившего изготовление всего необходимого для жизни.

Исчезновение нищеты, наряду с устранением войны — это те невероятные, немыслимые в прошлом факты, к которым наши современники настолько привыкли, что перестали их замечать. Но причины, вызвавшие эти факты, продолжают действовать, даже в условиях нынешнего мира, с его архаическими культурными пережитками и бездумной конкуренцией. Можно предвидеть, что дешевизна и доступность предметов широкого потребления распространится на весь мир. Насколько быстро это произойдёт, зависит от энергии. Если появится предсказанная физиками дешёвая, практически даровая энергия, это радикально изменит мировую экономику и намного ускорит приход общества изобилия. Поскольку бо́льшая

часть мира всё ещё живёт в условиях хронической бедности, мы не отдаём себе отчёта в том, что главной проблемой будущего будет не нищета, а изобилие!

Война и нищета сопровождали человечество на всем протяжении его истории; с психологической стороны, причинами их были властолюбие и жадность. Вопреки мнению философов и моралистов, эти свойства вовсе не присущи "природе человека", то есть не входят в его генетическую программу, а обусловлены культурой и являются извращением его инстинктов. Карен Хорни показала в книге "Невротическая личность нашего времени" [1], что в основе их лежат страх и голод, то есть неудовлетворённость инстинктов самосохранения и питания. В наше время в развитых странах созданы условия, в значительной мере устраняющие такие извращения. Было бы важно изучить, как это отражается на психологии разных слоев населения. Можно предположить, что уже сейчас там в некоторой степени уменьшились воинственность и скупость. Таким образом, *необходимые* условия развития человечества — устранение войны и нищеты — в наше время вполне достижимы.

Ближайшей задачей этого развития является спасение культуры. Возникает вопрос, что надо для этого делать. Очень медленно утверждается представление, что социальными процессами можно и нужно управлять. Для этого надо знать средства такого управления и его этически допустимые границы.

Лоренц обращает внимание на преимущества, доставляемые человеку его научным знанием. При всём несовершенстве этого знания, оно даёт нам отчётливую картину нынешнего положения нашего вида. В течение его долгой истории социальные процессы происходили стихийно, наподобие эволюции геологических формаций. Но в последние десятилетия развились простейшие методы управления этими процессами, до сих пор основанные на использовании только *одного* параметра — денег. Эти методы позволили справиться с экономическими кризисами и привели к возникновению системы стимулируемого потребления, доставившей развитым странам хотя бы временную устойчивость. Конечно, люди всегда пытались улучшить своё положение, не полагаясь на естественный ход событий; но в наше время впервые предпринимаются *глобальные* действия, согласуемые правительствами сильнейших государств. Без этих мер вся мировая культура несомненно развалилась бы: достаточно вспом-

[1] Karen Horney. *The Neurotic Personality of our Time*, Norton & Co, New York — London, 1950.

нить, к каким последствиям привёл последний всемирный кризис. Как бы мы ни оценивали возникающие отсюда культурные явления, перед нами сознательная попытка воздействия на историю, и эту попытку надо признать небезуспешной.

Но спасение культуры требует более содержательного подхода, не сводящегося к одним только денежным расчётам, требует готовности к временным убыткам и длительным усилиям, к которым не способна современная государственная машина. Государственное вмешательство породило бюрократический аппарат, преследующий не общественные, а чаще всего свои собственные цели, и по существу не зависящий от общественного мнения. Контроль над этим аппаратом предполагает бдительность избирателей, не дающих себя обмануть сиюминутными выгодами и вовремя меняющих своих служащих. Но упрощённый человек на это не способен. Некультурную демократию нельзя спасти, потому что разрастающаяся бюрократия убьёт всё, что ещё осталось от эффективности рыночного хозяйства, и застынет в виде цемента, связывающего застрявшие механизмы представительного правления. Без сознательных усилий, без *изучения и воспитания культуры* у человечества нет никакого будущего! Нам нужна культурная демократия и демократическая культура.

Общая черта всех социальных исследований нашего времени — их локальность: все анализы производятся в предположении, что основные черты сложившейся системы нельзя менять. *Серьёзные изменения общества могут быть только нелокальными*, а это предполагает временные жертвы и приспособления, необычные для нынешнего общества. Это общество цепляется за свой “уровень потребления”, и ему трудно будет решиться на такие жертвы. Но одно лишь потребление не может быть целью цивилизации. Общество без целей бессмысленно и обречено. Культуры, потерявшие духовные мотивы развития, достигшие материального изобилия и застывшие в самодовольстве, неизменно гибли, и нашей культуре угрожает та же судьба. Спасение культуры является *духовной* целью, потому что речь идёт не только о наших личных интересах, но и о будущем человечества.

Самой очевидной является экологическая реформа. В экологическом смысле Земля неделима: её атмосфера и мировой океан должны быть предметом заботы всех людей, поскольку промышленное загрязнение среды отражается не только на ближайшем окружении, но и на жизни всей планеты. Наши научные знания уже достаточны для принятия самых неотложных мер, но эти меры стал-

киваются с национальным эгоизмом и примитивным непониманием надвигающейся катастрофы. С непониманием можно бороться, распространяя честную научную информацию (что далеко не тривиально, поскольку в экологии особенно щедро оплачивается как раз нечестная информация). Что же касается эгоизма отдельных наций — особенно самых богатых и экологически опасных — то здесь может понадобиться нечто вроде мирового правительства. Эта идея, давно уже выдвинутая Эйнштейном и Расселом, теперь не кажется столь утопической, как прежде. Как мы уже видели, в наше время воздействие человека на природу впервые приняло космические масштабы. Такие уже доказанные преступления, как загрязнение атмосферы углекислым газом, или загрязнение мирового океана химическими и радиоактивными веществами, не могут быть остановлены изолированными мерами отдельных стран. Унаследованный от феодального прошлого принцип национального суверенитета препятствует эффективным действиям, защищая частные интересы против общего интереса всех людей. Экологическое тупоумие происходит от того, что здесь речь идёт о медленно нарастающих бедствиях, подобных мягким симптомам неосознанной болезни. Некоторые пессимисты предсказывают уже “экологические войны”, но я думаю, что в этом смысле опаснее экономические конфликты.

Экономическая реформа необходима для сокращения разрыва между богатыми и бедными народами Земли. Мы рассматривали классовый антагонизм в его наиболее современных формах, на материале стран “западной цивилизации”. Но подавляющее большинство человечества живёт вне этих особых условий, по-прежнему в нищете и бесправии, унаследованных от прошлого. Люди, живущие в Азии, Африке и Латинской Америке, имеют свои причины жаловаться на социальную несправедливость. Один и тот же труд оплачивается в Соединённых Штатах в десятки раз выше, чем в России, и в сто раз выше, чем в Китае. Экономическое просвещение уже достигло всех стран, и все знают своё положение. Разрыв между уровнем жизни “западных” стран и остального мира, кажется, никого не беспокоит.

Отсталые страны теперь независимы и должны сами заботиться о своей судьбе. Пример Японии показывает, что это положение может быть изменено в течение одного поколения. Три великих страны — Россия, Индия и Китай — не могут выйти из кризиса. Они ищут свой путь. Россия и Китай уже пережили тоталитарный строй, а Индия к нему не склонна. Будем надеяться, что эти страны изберут

демократию. Экономическая наука, уже в её нынешнем состоянии, может обеспечить глобальные реформы, хотя и с неизбежным нарушением некоторых привилегий.

Наконец, нужна реформа образования. Она необходима и самым передовым странам, где школьное обучение уже не даёт простой грамотности, и отсталым странам, часто не имеющим даже начальной школы. Но, по-видимому, особенно важна реформа высшей школы, без которой не будет грамотных учителей. Образование сильно зависит от местных культурных условий и не допускает унификации. Наши научные знания о процессах обучения ещё недостаточны для решения этой задачи, от которой зависит воспитание будущих поколений. В этой области надёжнее полагаться на опыт прошлого, избегая поспешных экспериментов; поскольку система образования особенно пострадала от общего упадка культуры, здесь может быть полезно возвращение к лучшим образцам прошлого! Вспомним, что Возрождение началось с воспоминания о прошлом.

В наше время происходит процесс глобализации культуры, создающий единую мировую культуру. В основе этой культуры будут лежать ценности гуманизма, выработанные людьми всех народов и получившие свою наиболее отчётливую форму в европейской культуре. Эта культура, именуемая также западной, несомненно является самой высокой и, следовательно, самой сильной в нынешнем мире. Она отказалась теперь от прямого насилия и "завоёвывает" мир экономическими средствами.

Единственный способ противостоять этому завоеванию — это развивать собственную промышленность, способную изготовлять более дешёвые товары и, самое главное, те же технологически сложные и уже незаменимые товары. Наша российская промышленность неспособна даже изготовлять компьютеры, и уже по этой причине Россия не может сохранить свою экономическую изоляцию — если бы и не было множества других причин! Как только отсталые страны начинают развивать современную технику, они обнаруживают, что она неразрывно связана с другими основами западного образа жизни, в особенности со свободной экономикой и, тем самым, с гражданской свободой — с теми правами человека, без которых пытаются обойтись все тоталитарные режимы на Земле. Таким образом *глобализация экономики неизбежно влечёт за собой культурную глобализацию.*

Очевидная необходимость серьёзных реформ наталкивается на устаревшие, часто архаические политические системы, неспособные ни к каким реформам, и на нелепости международного права, при-

знающего суверенитет любых захвативших власть бандитов. Происходящий теперь процесс демократизации будет неизбежно расширяться и углубляться, размывая все оставшиеся пережитки средневековья и древности, а международные отношения будут подчинены главной задаче — охране прав человека.

У нас есть технические средства, нужные для глобальных реформ, и научные знания, нужные для того, чтобы их начать. В развитых странах есть уже производство, способное создать материальное изобилие, и сильнейшие страны очевидным образом отказываются от войны. Но эти преимущества не могут использовать люди, мыслящие в денежных категориях. Культуру можно спасти, если возникнет гуманистическая субкультура, *бескорыстно* стремящаяся к своей цели. Как мы видели, такие субкультуры стояли на рубеже великих исторических эпох. Мыслящая элита может состоять из людей любого происхождения, готовых бескорыстно служить человечеству, как это делали их предшественники. Такую элиту можно было бы назвать "аристократией духа", потому что она должна выделяться не особыми привилегиями, а особыми обязанностями. Но лучше назвать носителей этой культуры будущего русским словом *интеллигенция.*

Конечно, большинство образованной публики в наше время ориентировано на деньги и карьеру, но интеллигенция — мыслящая элита — это творчески активное меньшинство. Можно заметить, что подлинная элита науки и искусства во всех странах единодушно презирает современную псевдокультуру с её средствами массовой информации и коммерцией развлечений, что она враждебна господствующей психологии, сводящей все ценности к деньгам. Лучшие люди ищут выход из тупика стимулируемого потребления. Можно надеяться, что они найдут этот выход, доставив нашей культуре необходимую обратную связь. Как мы видели, так было уже не раз!

Интеллигенция будущего должна служить человечеству убеждением и примером. Новые идеалы рождаются во всех слоях общества, но пробивают себе путь в будущее лишь в том случае, когда навстречу стремлениям народных масс идёт движение образованного, мыслящего меньшинства, способного выработать новые формы общественной жизни и дать им отчётливое выражение. В наши дни мыслящих людей трагически не хватает. Воспитание культурных людей заменяют теперь массовым производством специалистов. С помощью компьютеров и приборов обучают человека, способного

обслуживать эти машины для выполнения какой-нибудь специальной работы. Таким образом не может быть воспитан культурный человек.

Главное бедствие нашей культуры — разрушение культурной традиции. Передача традиции неизбежно происходит от учителя к ученику, из уст в уста. Механические средства обучения не могут заменить прямую связь поколений. Чтобы воспитать мыслителя, не нужны дорогие средства: достаточно карандаша и бумаги, мела и доски. Надо учить молодого человека думать, а не нажимать клавиши, читать книги и вырабатывать собственное мнение, а не повторять общепринятые штампы. Мотивом обучения должен быть бескорыстный энтузиазм, а не карьерный успех. Но для этого нужен человек, передающий традицию, — *учитель*. Разрушение связи между учителем и учеником есть разрушение культуры. Воспитание — это неторопливое постижение, озаряемое вспышками интуитивного прозрения. Воспитание — это теснейшая связь между людьми. Сидя в одиночестве за своими компьютерами, люди не чувствуют, как "распалась связь времён"!

Высокая культура складывается в небольших группах и постепенно расширяет своё влияние. Если в обществе *нет* мыслящей элиты, если его лидеры ничем не лучше "среднего человека", их не принимают всерьёз. Спасение культуры должно быть делом культурных людей, способных организовать общественное сознание. Будущая интеллигенция, подобно прошлой, должна научиться объединять свои усилия. Люди, знающие друг друга, должны научиться работать вместе, высказывать свои взгляды и искать единомышленников.

Дети культурных людей должны стать культурными людьми. Мы должны спасти наших детей от разлагающего влияния нездоровой среды. На нашей стороне инстинктивное стремление самих детей, ищущих руководство и пример своих родителей. Уверенные в себе родители сильнее любого влияния среды. Во время фашизма в семьях убеждённых антифашистов вырастали чистые дети. Для этого надо сознательно воспитывать детей похожими на нас самих, как это предусмотрено наследственной программой нашего вида. У детей черно-белое восприятие мира, они требуют ответа, что хорошо и что плохо. Отвечайте на их вопросы, не делайте вид, будто перед вами маленькие мудрецы: чего вы им не скажете, скажет за вас улица и скверная школа, и продуктом этого влияния будут *не ваши* дети. Чтобы сохранить культуру, мы должны прежде всего сохранить наших детей.

Человеческое общество — не муравейник, где все неразличимы. Оно нуждается в духовном руководстве, и можно надеяться, что оно его найдёт. Духовное руководство — это не власть. В демократическом обществе власть должна принадлежать всему обществу, и можно надеяться, что область применения власти в будущем резко уменьшится — сведётся к согласованию стандартов и, в самом широком смысле, к общественной медицине. Но руководство необходимо людям. Люди не равны по способностям. Лучшие — умные и мудрые — должны иметь не власть, а влияние и почтение. Конечно, демократическое общество будущего не будет бесформенно, как нынешнее. В нем будет иерархия, какая была некогда во всех человеческих племенах — иерархия, *предусмотренная системой наших инстинктов*. Но это не будет иерархия принуждения и страха. Уже и сейчас авторитет не прибегает к виселицам и позорным столбам, как это было в недавнем прошлом. Культура развивается, и самый ужас перед бесчеловечностью — при всем, что происходит в нынешнем мире — отличает нас от наших предков.

Глобализация социального инстинкта, начавшаяся с племенной морали и продолженная мировыми религиями прошлого, составляет теперь задачу гуманистической философии, постепенно объединяющей всё человечество. Задача гуманистического воспитания людей может быть выполнена — и несомненно будет выполнена — интеллигенцией будущего.

Можно спросить себя, оправдан ли этот оптимизм? Есть ли будущее у современного общества? Как мы видели, начиная с середины девятнадцатого века, когда европейская культура достигла своего высшего выражения, её человеческие идеалы оказались недостаточными для дальнейшего развития, что привело к катастрофическим последствиям: буржуазному перерождению рабочего движения, агрессивному национализму и двум чудовищно бессмысленным и разрушительным мировым войнам. В наше время часто можно услышать мнение, что европейская культура, с её гуманистической философией и научным знанием, уже сыграла свою историческую роль и теперь клонится к неизбежному упадку, подобно всем высоким культурам прошлого.

У нас и в самом деле более чем достаточно оснований для пессимизма! Кто решится предсказать такой культуре лучшее будущее? Но представим себе, что́ подумал бы о перспективах нашего вида объективный наблюдатель, рассматривая наших предков, живших в пещерах сорок тысяч лет назад. Такой наблюдатель, зная судьбу всех предыдущих гоминид, тщетно пытавшихся стать людьми,

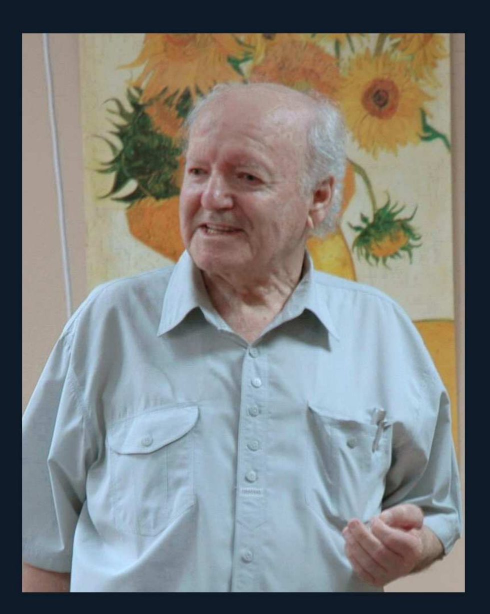
мог бы не заметить особые свойства сапиенсов, *уже сделавшие эти существа людьми* — без их ведома и понимания!

Мы способны уже перейти от слепого повиновения животным инстинктам, выражающим страх и голод, к сознательному творению своей культуры, удовлетворяющему наш единственный в мире, давно уже *человеческий* социальный инстинкт. Мы находимся на пороге новой эпохи, и в нашей власти переступить этот порог.

История учит нас, что глубокая реформа культуры требует обращения к опыту предков — к их высшим достижениям и надеждам. Уже древние греки времён Гомера знали, что их предшественники, ахейцы, обладали утраченной высокой культурой, и не переставали думать об этом прошлом. Итальянцы эпохи Возрождения знали, что их предки превосходили их знанием и могуществом, изучали древнюю культуру и стремились с ней сравняться. Наша западная культура достигла своей вершины, по-видимому, в девятнадцатом веке, и мы напрасно думаем, что превзошли её, впадая в комфортабельное варварство "потребительского общества". Нам недостаёт больших идей и далёких целей.

Россия достигла высокого развития культуры в том же девятнадцатом веке, усвоив и своеобразно преломив европейскую культуру в её лучших достижениях. Изучение и понимание этого прошлого составляет необходимую предпосылку нашего Возрождения. Мы должны сделать свободный выбор — не подражания худшим образцам западного общества, а спасения и развития нашей культуры. Традиция, к которой мы должны обратиться — это не узкая традиция русского рабства, а широкая традиция русского освободительного движения. Это и будет наш путь к единой культуре будущего.

“Человек нуждается в цельной и связной картине мира. В наше время эта потребность гораздо лучше удовлетворяется на уровне всего мироздания, чем на материале более близкой человеку действительности: у нас есть изощрённая теория происхождения вселенной, и мы много знаем о строении атома, но совсем плохо знаем, как устроено человеческое общество и как оно относится к нашему личному существованию. Этот вопрос для нас, людей, важнее всех других проблем философии и науки.”



Абрам Ильич Фет (5 декабря 1924, Одесса — 30 июля 2007, Новосибирск) — известный российский математик и физик. Работал в Сибирском отделении Академии Наук.

Абрам Ильич много размышлял о человеческом обществе, о биологической и культурной природе человека. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

В книге “Инстинкт и социальное поведение” равновесие человеческих сообществ рассматривается как динамическое равновесие двух противоположных инстинктов — социального инстинкта, играющего роль притяжения, и инстинкта внутривидовой агрессии, играющего роль отталкивания.

American Research Press, 2015
Printed in the USA

